А. В. Амфитеатров

7

А. В. Амфитеатров

А.В. АМФИТЕАТРОВ

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений
в 10 томах

КОНЦЫ И НАЧАЛА

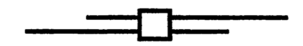
Хроника 1880–1910 гг.

Москва
НПК «Интелвак»
ОО «РНТВО»
2003

А.В. АМФИТЕАТРОВ

**Собрание сочинений
в 10 томах**

Том седьмой



ЗАКАТ СТАРОГО ВЕКА

ДРОГНУВШАЯ НОЧЬ

Москва
НПК «Интелвак»
ОО «РНТВО»
2003

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Научный руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-016-2 (т. 7)

ЗАКАТ СТАРОГО ВЕКА

От автора

Величайшую неприятность для автора, осужденного заочно выпускать в свет книги свои, слагают те непреодолимые случайности, которыми даже при условиях добросовестнейшегоиздательства фатально врываются в дело шутки пространства и времени. Так вот вышло и теперь с этим томом «Концов и начал», с «Закатом старого века». Он выходит в этом отдельном издании точным воспроизведением того текста, который печатался в «Современнике» 1911 года. Между тем я намеревался пополнить роман тремя главами (между нынешними III и IV), пропущенными мною в журнале по необходимости дать больше места роману другого автора, и закончить роман картиною всероссийской Нижегородской выставки 1896 года. Критика, довольно благосклонная к «Закату», покуда он печатался в «Современнике», ставила мне в упрек, что он — покуда — не роман, но лишь ряд схваченных с натуры бытовых карт и сцен. Думаю, что упрек будет повторен, и не могу заранее не согласиться с ним до известной степени — ввиду тех пропусков, о которых я говорил выше, потому что вместе с ними из романа исчез целый ряд действующих лиц, именно для «романической» его части весьма немаловажных. Но обстоятельства случайно сложились так, что я не только не мог сделать предполагаемых вставок, но даже и продержать авторскую корректуру. Весьма извиняюсь в том пред читателями и прошу верить, что в том неповинны ни отсутствие доброй воли со стороны автора, ни небрежности со стороны издательства, а исключительно «пропавшие грамоты» международной почты, вследствие запоздания которых издание было сразу отпечатано в том виде, как теперь оно выходит в свет, и какие бы то ни было изменения в нем стали уже технически невозможными.

Александр Амфитеатров

Fezzano. 1912. V. 15

I

В Петербурге было гнусно.

Вместо воздуха в окна смотрело грязное молоко. Из комнаты влажный гнет его прогнали дыхание калорифера и электричество, сверкающее вопреки 11-му часу утра четырьмя матовыми колпаками, но тем гуще и мутнее текло и слоилось оно за окном, по улице. Между стеклами молоком слезились решеткою капель струи талой сырости, столь гнилой и презренной, что почесть ее снегом или дождем значило бы и снег, и дождь обидеть. Нагнулась в три погибели над городом великая, от века и навыки простуженная слякоть — флюсовая, ревматическая, катаральная: тускло висела, холодно потела, кисла, мокла, оседала, капала. И это называлось апрелем.

Молодой, но весьма осанистый и с преблагородной наружностью действительный статский советник Илиодор Алексеевич Рутинцев любовался радостями столичной весны из величественного кабинета — угловой четырехоконной комнаты в длинном казенном здании, вмещавшем под своим глазастым сундуком одно из самых важных и сильных правительственных ведомств. Одетый в темную зелень тя-

желых мебельных бархатов, с угрюмыми складками драпировок по узким и высоким, якобы готическим дверям и окнам, этот кабинет-катафалк почитался историческим и символическим, как временная пристань больших кораблей, которым суждено большое плавание. С основания самого ведомства и от начальника к начальнику он отводился тем чиновникам, любимцам и деловикам, которых главы ведомства избирали своею «правою рукою». В 1896 году ведомством управлял действительный тайный советник Бараницын, а Бараницыным — вот этот самый Илиодор Алексеевич Рутинцев, стоящий теперь в ожидании телефонного зова к утреннему докладу у окна, равнодушно и брезгливо созерцая петербургское воздушное молоко. Мужчина — хоть куда. Сразу видно, что не кровный петербуржец и не природный чинуша, а барин и москвич, выделывающий себя — не весьма, впрочем, успешно — под лорда английского. Великороссийский столбовик-дворянин с головы до ног, и даже светлые пуговицы «государственной ливреи», всех почти обезличивающие и облакеивающие, тускнут на нем как-то благородно, не в пример прочим. Лик крупичатый, светлоглазый блистает жизнерадостью и говорит о несокрушимом здоровье; плешь, спереди русокудрявой стрижки вполволоса, с зачесом, еще незначительна и даже производит впечатление нарочно выдранной ради солидности, чтобы не казаться преждевременному генералу уж слишком молодым не по чину; корпуленция столь благонадежна, что завистники Илиодора Алексеевича давно уже прозвали его из какого-то стихотворения «Матильдою с плотным усестом».

Сквозь молоко мутнела узкая полоса, о которой предлагалось догадываться, что это река, потому что над нею время от времени мелькали бегущими призраками тучи-тени легких пароходов, а за нею вздымалась туманная громада башен, будто скал, одного из суровейших между суровыми

петербургскими дворцами. Четверо городовых попарно мокли на панели у двух подъездов здания. Три призрачные кареты, запряженные привидениями лошадей и с фантомами кучеров на козлах, вытянулись в промежутке подъездов вдоль тротуара. На мостовой — на полурасстоянии от дома до реки — стоял, мок и потопывал ногою великан околоточный, чуть серее молока, в котором он добросовестно тонул. Илиодор Алексеевич Рутинцев признал околоточного и с удовольствием думал о нем, шевеля дворянскою московскою рукой русые бюрократические петербургские бакенбарды.

«Это Габриельский. Бравый. Его часто к нам назначают. Это хорошо, что его. Отличный служака. В нем есть что-то утесное, вызывающее желание облокотиться. Ему выходило назначение полицеймейстером в провинцию, но градоначальник келейно просил заменить денежною наградою. Старик прав: такие уличные истуканы нам здесь нужны. Когда Габриельский у подъезда, я стою спокойно у окна. Если взлетим на воздух, то хоть с утешением, что, значит, неизбежная судьба и — вместе».

Тени двух извозчиков — живое воплощение петербургской весны, потому что у одного, уже пролеточного, лошадь еще не брала мостовой на колесах, а у другого, еще санного, лошадь уже не брала мостовой на полозьях, — съехались, обманутые туманом, чуть не нос к носу, сцепились и бестолково заметались одна перед другой, дергаясь, мотаясь, напрягаясь, и обе ни с места. Рутинцев смотрел, улыбался и думал: «Вот дураки. Выбрали же место, где застрять. Габриельский запишет их и — в участок. А в участке им накладут. Говорят, больно бьют у нас в участках. Неизбежное зло. Во Франции республика, но...»

Звякнул у двери автоматический докладной звонок. Курьер — инородческая фигура из обруселой Литвы, эстов или латышей, мундирный атлет, бледнолицый, бледногла-

зый, бледноусый, бледноволосый, весь и сплошь — одна ровная и бесцветная, даже будто безвозрастная мужская дюжесть, — подал визитные карточки. Илиодор Алексеевич прихмурил к левому глазу соболиную бровь и неприятно изумился:

— Так рано?

— Личные, к вашему превосходительству, — успокоил курьер.

Голос у него был густой и внятный, но не гремучий, не из себя, а в себя — как шибкий шелест в лесу осенних листьев.

Илиодор Алексеевич взял карточки ленивою рукою, но на письменном столе задребезжал комнатный телефон. Рутинцев уронил карточки обратно на поднос и поспешно сел к трубке. Из нее заскрипел, будто закашлял и заплевал, старческий голос, носовой, мягкий, разбитый. При обрывочных отзвуках его, прыгавших в комнату, будто переплескивая аппарат, курьер подтянул живот, выпятил грудь с медалями, поднял плечи и, выпучив глаза, принял всем лицом такое выражение, будто его снутри раздувает опарою и сейчас он лопнет. Рутинцев у трубки, приемля в розовое ухо шепелявые слова, вслед ритму их согласно закрывал и открывал глаза и, почтительно склонив высокое чело свое пред невидимым, как бы видимым, вставлял в паузах короткие реплики голосом, вещавшим преданность с достоинством и веселую независимость, готовую к услугам не за страх, но за совесть.

— J'entends parfaitement, excellence...

— Rien de pressé, excell...

— Déja expédié, exc...

— C'est entendu...

— Il n'a qu'à attendre, excell...

— Je ne manquerai pas à l'ordre...

— Je ne manquerai pas à l'ord...

— Si fait, s'est copié, exc...

— Son excellence n'a pas d'autres ordres à faire?

— J'ai l'honneur... *)

По-французски произносил он очень хорошо — и без осторожного ученичества, и без старательной изысканности, столько характерных для французской речи петербургских бюрократов. Слышен был язык, пришедший в жизнь не поздно и не случайным путем, по удаче школы либо необходимостям карьеры, — язык барского детства, обставленного безукоризненными гувернантками, и молодости, не один год свой отдавшей Парижу. Да не международному и всеязычному Парижу растакуэров ** и каботинов ***, но настоящему Парижу французов, Парижу избранной литературы и большого общества, в замкнутую среду которого редки и трудны тропы для иностранца. Так, с щеголеватою старомодностью, будто легким, небрежным кокетством, говорят по-французски крупные польские магнаты, а из русских — лишь московские баре, да и то больше седые старики, реже — пожилые, и совсем уже чудеса, если молодежь.

Трубка перестала плеваться старым голосом. Курьер выпустил живот, убрал грудь, понизил плечи и ввел глаза в орбиты. Рутинцев встал от телефона веселый. Он видел впереди легкий, почти свободный от службы день. Генерал Бараницын оповестил любимца своего, что не успеет принять личного доклада, так как сейчас сидит у него генерал-

---

*) — Слышу, ваше высокопревосходительство...
— Ничего спешного, ваше...
— Уже отправлено, ваше...
— Будет исполнено...
— Подождет, ваше выс...
— Немедленно распоряжусь...
— Переписано, ваше...
— Никаких приказаний более?
— Имею честь... (*фр.*)

** Авантюрист, пижон (*фр.*).

*** Актеришка, комедиант (*фр.*).

губернатор Восточной Сибири и, вероятно, по важности разговора пробудет еще долго, а затем он должен ехать на заседание комитета министров. Доклад отсрочился до вечера, но Рутинцев знал по опыту, что это значит — уже до завтра, так как стоит генералу-домоседу только выбраться из уютной казенной квартиры, а уж потом он катился, как шар с горы, и его не удержать. Обрыскает по делу и без дела пол-Петербурга, перевидает тьму народа, нужного и ненужного, переговорит с другом и недругом и вернется — дай Бог — к вечернему столу, измученный, раскисший, как старая баба, с трескотнею в висках, с ломотами в груди, ногах и пояснице, с отвращением ко всему роду человеческому, кроме двух дочерей своих, аляповатых старых дев с физиономиями опухлыми, будто их пчелы покусали, и с ненавистью ко всем занятиям человеческим, кроме детских игр в «блошки» и «хальму».

Курьер дожидался с подносом. Рутинцев принял карточки.

— Брат Авкт? Проси. Другие ждут?

— Никак нет. Только карточки. Визиты-с.

— Тем лучше. Авкта Алексеевича проси и — больше ни о ком мне не докладывать. Я буду занят и скоро уеду. Кто будет настаивать, пусть идут в департамент, приму, как всегда, в три часа.

— Слушаю-с.

Курьер замялся, что-то невесело глянув и выразив некоторое смущение на рыбьем лице своем.

Рутинцев взглянул, чуть указывая повелительно бровью на дверь: не проминайся, мол, двуногий брат мой, иди творить волю пославшего тя.

Но курьер возразил неспешно и бесстрашно:

— Изволили приказывать, чтобы напомнить вашему превосходительству относительно графа Оберталя. Если они опять заедут, как им прикажете сказать?

Илиодор Алексеевич нахмурился уже обеими бровями и, испытуя курьера проникновенными гвоздями голубых очей

своих, шевельнул в воздухе грозящим указательным перстом — бело-розовым, упругим, с чудесно, почти по-дамски обточенным ногтем.

— Я никогда ничего не приказывал относительно графа Оберталя. Берегись, Таратайкин. Это не в первый раз.

Если бы на месте Таратайкина стоял полицеймейстер какого-либо провинциального города или даже начальник какой-либо захолустной губернии, то, вероятно, под голубою молнией гневных очей Илиодора Алексеевича он почувствовал бы душу свою раздвоившейся и на пути к пяткам. Но курьер, обстрелянный за десять лет службы при этом кабинете, видывал и не таких: грозный взгляд скатился с Таратайкина, как с гуся вода, и он, как ни в чем не бывало, возражал с тем же бесстрастием:

— Никак нет, ваше превосходительство. Изволили запамятовать. Потому, что я единственно осмелился в том рассуждении, что граф Оберталь вчера тоже трижды заезжали и не могли застать, так что ваше превосходительство изволили выражать сожаление.

Рутинцев сердито усмехнулся. Курьер был прав, но, во-первых, не показывать же перед курьером, что ошибся. Во-вторых, с каких это причин он, курьер, уж так старается распинаться за графа Оберталя, чуть не вчера еще надменного гвардейского кавалериста, а сегодня уже искательного и улыбающегося прожектера на посылках у московских капиталистов, который вот уже две недели носится по Петербургу в вихре железнодорожных и банковых дел и стал — как вездесущий дух какой-то? Околачивает пороги влиятельных лиц, шнырит по разнообразнейшим ведомствам, свой человек у берущих и повелевающих дам, актрис и кокоток, рассыпает дождем визитные карточки своего могущественного дяди — министра и генерала Долгоспинного... Дадено курьеру, конечно, и много дадено. Таратайкин на этот счет знаменитость по всему ведомству. Говорят, будто он серебром

и рук марать не станет, единицей взятки полагает маленький золотой, и когда докладной день приносит ему меньше ста рублей, то он ходит как опущенный в воду и почитает себя ограбленным. Говорят, будто он торгует аудиенциями крупных чиновников ведомства чуть не с аукциона, что он тончайший жулик-психолог и совершенный знаток дельцов и генералов своих: за хорошую мзду выберет момент и сумеет впустить просителя, когда начальство по радужному настроению духа способно вооружить надеждами и увенчать осуществлением даже совсем невероятные мечты; и, обратно, просителей, которыми недоволен, насовывает на такие свирепые аудиенции, что погибает в них и самое простое и наизаконнейшее право. Говорят, будто у Таратайкина два собственных дома в которой-то из Рождественских, а в Любани земля и дачи: все — на имя свояченицы там какой-то или кумы. Говорят, будто все мелкие чиновники ведомства и даже некоторые начальники отделения у Таратайкина в долгу как в шелку и поэтому боятся его чуть ли не столько же, как самого генерала Бараницына, и уж отнюдь не меньше, чем Илиодора Алексеевича — добродушного московского барина, новичка бюрократической лестницы, который держится со всеми, равными и низшими, на дружеской ноге, как хороший товарищ и бонвиван, живет жалованьем и рентою с имения, взяток не берет, доходов и дач не имеет, взаймы дать не в состоянии и очень часто сам занять не прочь бы.

— Смотри, Таратайкин! — повторил он суровым голосом человека, который безнадежно знает, что говорит то, чего говорить не стоит, и грозит чем-то, чего сам не знает, а если бы и знал, то не исполнит, однако старается внушить, будто верит в слова свои и надеется на их силу. — На тебя жалуются. Я все знаю. Шутить не стану.

Таратайкин выслушал внушение с опущенными глазами, щеками, углами губ, палками усов, бесцветный и хмурый, как заоконное кислое утро.

«И чего канителишь? — безмолвно говорила скучливая игра его белесых бровей. — Твое ли дело? И тебе все равно, и я не перестану. И оба мы это прекрасно понимаем, понимали и впредь понимать будем. Черт ли тебя дергает языком воздух трясти?»

И — единственно чтобы великодушно дать начальству развязывающий выход, изобразил глазами вялый испуг и произнес, как суконку прожевал:

— Уж и не знаю, ваше превосходительство, какие могут быть на меня жалобы. Кажется, служу. Единственно, что злодеи мои…

— Да! Злодеи! — Облегченный Рутинцев принял предложенный ход и разрешил праведный гнев свой в усмешку. — Злодеи!.. Грамотный? читаешь? «Ревизора» в Александринке видел? «По чину бери!..»

На эти слова Таратайкин даже уж и не возразил ничего. Но, когда начальник кончил, он спокойно заговорил опять:

— Так что, коль скоро граф Оберталь пожалуют...

— В три часа в департамент, — сухо оборвал Рутинцев.

Но курьер решил поставить на своем. Он знал характер Рутинцева. И, зная, ломал дурака.

— Стало быть, прикажете и графу Оберталю в департамент? — тянул он, следя за сердитым ростом румянца на совсем еще свежих щеках юного генерала.

— Куда же еще? — раздраженно изумился Рутинцев — и сорвалось, не удержался: — Не в Исаакиевский же собор!

— Никак нет, я только осмелился для твердой памяти, что, стало быть, ваше превосходительство, приказываете, чтобы и графу Оберталю…

— Фу! — вспыхнул наконец Рутинцев, обливаясь, как пасхальное яйцо, краскою по всему лицу, от бакенбарды до бакенбарды, так что и они будто зажглись и на мгновение стали из русых рыжими. — Фу!.. Невозможный болван!.. Пошел вон, ска-а...

Курьер бросился к дверям, притворяясь смертно испуганным и даже от страха сгибаясь на ходу чуть не вполроста. Но Рутинцев уже окликнул его:

— Таратайкин!

«То-то!» — самодовольно подумал курьер и вытянулся. А Илиодор Алексеевич говорил, не глядя на него, гася румянец на лице и обыкновенным голосом, старательно подавляя сконфуженные остатки гневного тембра:

— Скажешь графу... в час я буду у Кюба... пусть спросит мой кабинет... Проси брата.

Курьер сохранил бесстрастное лицо, покуда не вышел за двери, потому что в кабинете — по всем четырем стенам — зеркало отражалось в зеркале и не могло быть ничего тайного, что не стало бы явным. Но в коридоре он ухмыльнулся весело и даже щелкнул языком: сотенный билет, вчера полученный от графа Оберталя, с приятностью поджигал к себе другого, посуленного Таратайкину за то, чтобы Рутинцев принял графа интимно и особо, а не официально и зауряд с другими просителями. Эту штуку о Рутинцеве давно постигла служебная мелочь ведомства: если хочешь, чтобы он сделал по-твоему, надо его раздразнить, покуда не крикнет, а тогда ему станет совестно, что он вспылил на тварь ползущую, нарушил в себе европейца и явил москвича. И тут — чтобы загладить — он хотя бы и скрепя сердце, но все сделает, как пить дать.

Брата Илиодор Алексеевич принял с искреннею радостью — нежно и задушевно. Он любил этого блудного сына гордой семьи своей, променявшего придворные перспективы на богему, живого самоубийцу, спалившего себя на костре нелепейшего мезальянса, циника-романтика, отдавшего и карьеру, и фортуну за мгновенный каприз назвать своею женою красивую, но пребеспутную и даже немолодую хористку из московского «Яра». Баба эта вот уже десять лет отравляет Авкту полунищую жизнь болезнями, пьянством, ревностью,

неверностями, вздорным характером ранней старости, а он — ничего, выжил и вытерпел. И вот теперь, слышно, становится наконец на ноги, выходит в люди, носит значок присяжного поверенного, ведет крупные процессы и обрабатывает в Петербурге железнодорожное дело, которое должно сделать его богатым человеком, а следовательно и авось, опять сблизит с разгневанной фамилией. Между братьями давно было условлено, что если Авкту нужно видеть Илиодора, то навещал бы его отнюдь не на квартире, но либо в ведомстве, либо по условной встрече в каком-либо ином публичном месте, где имеет право быть всякий и легко изобрести к тому объясняющий повод. Частный визит Авкта к Илиодору знаменовал бы примирение последнего с фамильным изгоем, и — дойди это дело как-нибудь до гордых ушей Рутинцевой-матери, урожденной графини Очкиной, — дорого обошелся бы Илиодору такой мятеж против родительской воли, даром что он сам генерал и вертит весьма грозным генералом над многими генералами. Эта встреча была уже не первая между братьями по недавнем приезде Авкта в Петербург.

— На всех московских есть особый отпечаток! — улыбнулся Илиодор, кивая на котиковую шапку, которую Авкт держал в левой руке, и топырились из шапки пальцами бурые перчатки, и висело из нее складками белое шелковое кашне. Известно, что упрек особым отпечатком, когда раздается за границею или в Петербурге, действует на москвичей почему-то устыжающе.

— Сам-то, поди, какой кровный петербуржец! — отшатнулся слегка краснеющий Авкт, поправляя на довольно-таки румяном носу своем толстое золотое пенсне, которое никак не хотело сидеть прямо. Борьбою с этим полезным, но непослушным инструментом Авкт Рутинцев от младости занимал добрую половину своего времени, но редко и ненадолго в ней торжествовал.

— Нет, право?! Кто же, кроме москвича, войдет этак, имея в руках мокрую выдру и аршин полотенца? Преподозрительная наружность. Удивляюсь, как мой Таратайкин тебя такого ко мне впустил.

— Очевидно, на челе моем не лежит Каиновой печати, а оруженосцы твои еще не настолько одурели от усердия, чтобы не различить шапки от бомбы и родного брата от злоумышленника.

— Смейся, смейся! Хорошо вам, вольным людям, в свободной-то профессии. А у нас, друг любезный, война. Ну и — à la guerre comme à la guerre...* Переживаем междоусобные времена. Ты говоришь: брат. Нет, милый: в наш век, в фэндесьекль этот милейший, это еще не великая рекомендация, что брат. Ты — Авкт Рутинцев, я — Илиодор Рутинцев. Это гарантия. А узы родства... oh — la-la, c'est fichu**, прогоревший институт! Ты улыбаешься?

— Тому, что служишь ты по охране потрясенных основ и починке расшатанных устоев, а с места в карьер подносишь мне, в некотором роде Вениамину своему, этакие цинические афоризмы.

Илиодор приосанился, стал серьезен, положил руку за жилет и отвечал с расстановкою:

— Дорогой друг, надо именно здесь служить, чтобы понять трагедию нынешней семьи. Ты думаешь, мало проходит их пред моими глазами? Поверь мне: из десяти доносов, к нам поступающих, по крайней мере два или даже три порождаются недрами семьи... Поэт был прав: «Брат от брата побежит и сын от матери отпрянет!» В воздухе междоусобная война. Мы воины. Nous sommes des guerriers***.

---

* На войне, как на войне... (*фр.*)

** Конец века (*фр.*).

*** Мы все воины (*фр.*).

— Ты бы уж и о присвоении военного мундира ходатайствовал, что ли? — усмехнулся Авкт. — Или — боишься — голубой цвет не к лицу? Не бойся: ты блондин.

Илиодор вскинул на брата глаза свои с укоряющею серьезностью, которая смутила Авкта: он понял и пожалел, что зацепил брата за больное место.

— Это неловкая шутка, Авкт, — сказал Илиодор голосом, несколько приглушенным, в котором сквозь строгость укоризны дрожали огорчение и даже как бы некоторый испуг. — Неловкая шутка, — повторил он и отошел к окну, чтобы, стоя боком к брату, успокоиться в созерцании молочного тумана и верной тени околоточного Габриельского. — Неужели ты действительно разделяешь этот нелепый предрассудок, что мы и жандармы — все равно?

Авкт, сконфуженный, водил за ним толстым золотым пенсне и с досадою на себя думал: «Дернуло за язык-то... Угораздило же!»

— То есть... — сказал он, изучая в одном из перекрестных зеркал щегольской покрой Илиодорова форменного фрака. — То есть... видишь ли, ты напрасно так остро принимаешь... Я совсем не в том смысле. Я лишь относительно общего, так сказать, поля действий. Потому что, согласись, все-таки: пользуетесь же вы ими...

Илиодор повернулся к нему с торжественно-строгими глазами.

— Вон — я вижу — дворник, чтобы мести улицу, пользуется метлою, — произнес он с поучительною важностью, — но разве он метла?

И, поставив вопрос, как Сократ, победоносно ждал ответа.

Авкт, как побежденный Критий или Алкивиад, должен был согласиться, что дворник отнюдь не метла.

— Пользуемся, — с великодушно прощающим вздохом продолжал успокоенный Илиодор. — Кури, пожалуйста, — спохватился он, указывая брату на табачный прибор. — Для

вас же стараемся, господа российские дворяне! О Москва! Привыкли вы там, князья-бояре, белая кость, либеральничать, фрондируете чуть не с Грозного царя, и настолько слепит вас фрондерская наследственность ваша, что вы уже на друзей фыркаете, как на врагов.

Авкт Рутинцев, польщенный неожиданным открытием, что он с Грозного царя фрондирует, тоже немножко выпятил было дворянскую грудь и лихо оправил пенсне. Однако наивная добросовестность его — всегда и всюду enfant terrible'я* — была ему с измладу и довечный враг.

— Я, брат, откровенно сказать, ни на кого не фыркаю, — сказал он, расплываясь в ухмылку, с обычным своим добродушием. — Зарабатываю хлеб свой в поте лица своего и благословляю дающего он. А затем всякое даяние благо, всякий дар совершен, и всякое дыхание да хвалит Господа.

Илиодор засмеялся, водя в воздухе папироскою и качая головой.

— Вы, московские адвокаты, вечно со священными цитатами на языке.

— Плевакин камертон, — шутовски мигнул Авкт. — А что? разве не хорошо?

— Напротив. Если придется представиться Константину Петровичу Победоносцеву или приглашен будешь к графу Буй-Тур-Всеволодову, это — шанс!

Авкт лукаво прищурил на брата под толстым золотым пенсне один глаз и глядел другим, голубым, смеющимся.

— А у madame la comtesse? — спросил он значительно. — Для madame la belle comtesse ** — какой шанс ты рекомендуешь мне, друг милый?

Илиодор у письменного стола играл разрезательным ножом в жесте рыцаря благородного, но несколько печального

* Ужасное дитя (*фр.*).

** У графини... Для прекрасной графини... (*фр.*)

образа; румяное лицо поблекло в маску красивой грусти, сквозь которую сквозило самодовольство почти детское, и русые бакенбарды искусно повисли в необыкновенно достойной меланхолии, ветвям плакучей ивы подобно. Он бросил нож, красиво нагнувшись над столом, переложил синюю папку какого-то дела с места на место без всякой к тому надобности — и... ничего не отвечал. Опытный Авкт заключил из этой немой драмы, что брату очень хочется поговорить с ним о прекрасной графине, которой он был протеже и ставленник по службе и которой любовником или вздыхателем считал его весь Петербург. Авкт нашел благоразумным предоставить Илиодору это невинное удовольствие и подал вступительную реплику конфидента.

— Прекраснейшая, брат, особа эта графиня, — сказал он проникновенным голосом серьезного дружества, поправляя над переносицей скосившуюся дужку пенсне. — Премило приняла меня. Конечно, я тебе обязан, но все же не ожидал... Она теперь на такой высоте...

— Ты давно не встречался с графиней Ольгой? — спросил Илиодор отрывисто и глухо, как будто уже самое имя графини Ольги наполняло его потрясающим волнением.

— Давно, с Москвы. Еще за первым мужем знал ее, за архитектором Каролеевым...

Илиодор поднял от бумаг светлые глаза и выразительно взглянул в лицо брата.

— О! действительно давно! Более пяти лет.

Авкт открыл было рот возразить, что — какие пять лет, друг милый? Считай, добрых десять, если не все пятнадцать. Но ясный взор брата диктовал ему вместе с таким же голосом, трогательным и твердо убежденным:

— Не правда ли, как графиня Ольга еще молода и хороша собою? Даже враги ее не хотят верить, что ей уже двадцать восемь лет.

— Уже двадцать восемь? — нашел полезным изумиться Авкт. — Ай-ай-ай! Как время-то летит, Илиодор!

Старший Рутинцев изумление принял и тон одобрил.

— Да, Авкт, дружище! — слабо вздохнул он. — И мы с тобою, к сожалению, далеко уже не юноши.

— Э, нет! Это я — правда: хоть и младший, но поизносился-таки, поизносился, черт возьми! И физиономия красная, и жилки в глазах, и pattes d'oie*, как сетка... вообще пожилая мебель. Помнишь, какой у меня был нос? Точеная слоновая кость! А вон стал огурец огурцом: уже и пенсне не держит... собираюсь перейти на очки. А ты сберег себя молодцом. Смотрю и удивляюсь: красавец! Жених!

Но Илиодор поникнул головою и разочарованно вздыхал.

— Что наружность, Авкт! Внутри старик.

Авкт польстил:

— Это тебя чин старит. Вольно же тебе было прыгнуть в генералы чуть не с лицейской скамьи. Выбрал себе долю ворочать государством — понятно, простись с молодостью. Per aspera ad astra**, мой друг. Звезды не прыгают даром на фраки и мундиры.

Илиодор улыбался меланхолически, как Екклесиаст, постигший до дна суету сует чести мирской.

— Уж и ворочать государством! Родственное обольщение, брат мой. Это нашей доброй и святой maman там, в Москве, на Старой Конюшенной, простительно воображать меня каким-то полубогом, у которого в передней, как у Хлестакова, стоят навытяжку фельдмаршалы и министры. Но ты юрист и понимаешь столько же хорошо, как я сам, что, по существу, я — ничто: у меня даже должности штатной нет, простой чиновник особых поручений, прикомандированный

---

* Гусиные лапки (у глаз) (*фр.*).

** Через тернии к звездам (*лат.*).

к начальнику ведомства и «в случае»... и ничего более! rien de plus!*

— Брат мой, брат мой! унижение паче гордости! Не напрашивайся на комплименты.

Но Илиодор возразил как-то в самом деле нерадостно:

— Сам же ты пять минут тому назад определил меня в одной категории с жандармами.

«Скверно! — подумал Авкт. — Дорка-то ведь серьезно обиделся. Вот — не знаешь, где найдешь, где потеряешь».

А вслух подхватил весело:

— Ваше превосходительство! вы становитесь злопамятны.

Илиодор устремил на него взор задумчивый и почти мечтательный.

— Нет. Но я люблю, чтобы меня понимали. Между тем меня никто не понимает. Меня трудно понять. Никто. Единственная — она.

— Графиня Ольга Александровна? — любезно догадался Авкт.

Илиодор благоговейно склонил голову.

— Это святая женщина, Авкт.

— Я не сомневаюсь, Илиодор.

А тот говорил:

— Ты удивлен, что меня несколько зацепила твоя, извини, легкомысленная оценка моей службы...

— Я, право, не ожидал, Илиодор... — взметался удрученный Авкт, ерзая неизменным органом всех душевных эмоций своих, золотым пенсне, чуть не по всему носу.

— Нет, нет, ты не тревожься, — заторопился Илиодор и даже руку поднял предостерегающим жестом, — но я хочу тебе объяснить... да, необходимо объяснить...

И, бросив косой взгляд на дверь, он придвинулся к брату и, погружая бритое усатое Авкта в благоухание бакенбард своих, заговорил вполголоса:

---

* Ничего более! (*фр.*)

— Tu n'es pas seui à le dire, mon ami*). Я слышу это не в первый раз. Это — открытая рана, c'est une plaie saignante**, по которой меня царапают часто и много даже дружеские руки. Врагов я не считаю. Je méprise mes ennemis. C'est de la canaille! Mais dans le monde... certes***) не среди наших чинушек: как бы они там ни титуловались, это лакейская дворня, мой друг, la valetaille! *1, а в настоящем, нашем обществе потомков бояр, которые помнят, что дворянское дело не торгом торговать, но конем воевать... Crois-tu que je sois assez aveugle puor ne pas m'apercevoir des regards de reproche ou de pitié?*2) Рутинцев — на службе государственной полиции. Потомок прусского князя — Рута — нечто вроде штатского жандарма. И тогда сердце мое обливается кровью, потому что я горд, Авкт. Я очень горд. И это рыцарское общество, un monde de chevaliers *3 — единственное, которое я уважаю; оно мне дорого, как родная плоть и кровь, je lui appartiens corps et ême, je me prosterne devant lui*4). Обречь себя в нем на роль добровольного парии —это унижение, милый мой, не вознаградимое никакими служебными выгодами и успехами, ничем, кроме сознания своей доброй совести, стремящейся к благу отечества, и уважения двух-трех почтенных людей, видящих мою душу и знающих идею... И в особенности — *ее* уважения.

Он в совершенном волнении провел рукою по увлажненным глазам и закурил папиросу, держа ее у румяного рта слегка трясущейся рукой.

---

*) Мой друг, не ты один говоришь это (*фр.*).

** Это открытая рана (*фр.*).

***) Я презираю врагов моих. Это все — канальи! Но — когда я бываю в обществе... само собой разумеется (*фр.*).

*1 Челядь (*фр.*).

*2) Разве я не вижу в этом обществе глаз, посылающих мне упрек или сожаление? (*фр.*)

*3 Рыцарское общество (*фр.*).

*4) Я — весь его, я на коленях пред ним (*фр.*).

— Ведь это она заставила меня принять место... ты знаешь? Графиня Ольга... oui, c'est elle*.

— Да, — подтвердил, с любопытством слушая, Авкт, — эти слухи и к нам доходили, что она.

Илиодор кивнул головою. Внутреннее волнение все чаще и чаще перегоняло его на французский язык:

— Mon cher ami, je ne suis ni fou ni aveugle. Pouvais-je ne pas m'apercevoir du gouffre qui s'ouvrait sous mes pas et au devoir qui m'engageait de m'y précipiter, pareil a un nouveau Curcius?**) Я трепетал, я предчувствовал горькие испытания и опасности, я сомневался, выдержат ли их даже мои железные и — между нами фальшивая скромность была бы смешна — недюжинные силы... Но она и отечество требовали жертвы, et mon sacrifice est offert***).

Он прислонил папиросу к пепельнице и, сложив на груди длани свои, смотрел на брата великолепным Наполеоном; Авкт выжидательно поерзал пенсне.

— Я был совершенно доволен моим скромным положением при ее супруге, графе: я был к близок к ней. Если бы это положение нарушилось, то мой чин, моя маленькая известность, мои связи и, наконец, признательность графа Буй-Тур-Всеволодова, которому я был так долго полезен, гарантировали мне губернаторский пост на выбор. Вместо того — me voici!..*1 Она мне сказала: «Iliodore! Aimez vous votre patrie?»*2)

Он склонил голову, чуть сияя под электричеством будущею плешью, точно испускал из нее некий астральный свет, кругло поднял правую руку к жилету, а левую повесил так

* Да, это она (*фр.*).

**) Мой друг, я не дурак и не слепой. Разве я не понимал, что предо мною открывается бездна, в которую я должен броситься, как новый Курций? (*фр.*)

***) И вот — моя жертва принесена.

*1 Я здесь!.. (*фр.*)

*2) «Илиодор! Любите ли вы свое отечество?» (*фр.*)

изящно, что, видимо, воображал себя в бальном фраке и вооруженным шапокляк.

«Olga! — отвечал я... ты понимаешь, Авкт, наша давняя дружба упрочила мне права этой маленькой интимности... Olga! Après celle qui n'a pas besoin d'être nommée devant vous, la patrie tout pour moi *). Она улыбнулась, как ангел, но возразила: «La patrie doit être avant tout, Iliodore!..» — «Je le sais bien, Olga, mais dussé-je surcharger mon âme d'un gros péché, je ne puis me soustraire à ma préferance»**). Самое большое усилие, на которое я способен, это — поставить обе любви мои рядом... Elle est ma patrie et ma patrie c'est elle!***)».

Тогда она продолжала: «Илиодор. Отечество в опасности. Вы слышали, что Бараницын получает назначение? Я рада за старика, но он слаб, болен и, — Илиодор понизил голос, как заговорщик, — не умен. Он нам рассыплет Россию!.. Илиодор! vous devez vous sacrifier, vous devez nous sauver*1), чтобы он ее не рассыпал!.. — Moi, comtesse? — Vous, rien que vous. — Mais Olga, voyons, que puis-je y faire, moi, un tout petit*2) чиновник, — тогда я был еще только статский, заметь, мой друг! — притом совершенно постороннего ведомства. — Бараницын желает взять вас, как правителя дел, или там не знаю, как это у вас называется... Вы должны принять этот пост!.. — Moi? Olga! Vous quitter?*3)

— Вы, потому что иначе Бараницын рассыплет Россию. Мой муж — vous savez bien que malgré toute la tristesse de nos

---

*) Ольга! После той, которую мне не надо называть вам, отечество для меня — все (*фр.*).

**) «Отечество должно быть прежде всего, Илиодор!..» — «Я знаю, Ольга, но да останется это предпочтение грехом на моей душе» (*фр.*).

***) Она — мое отечество, и мое отечество — она (*фр.*).

*1) Вы должны принести себя в жертву, вы должны спасти (*фр.*).

*2) — Я, графиня? — Вы, и никто другой! — Но, Ольга, что могу здесь сделать я, маленький чиновник (*фр.*).

*3) — Я? Ольга! Покинуть вас? (*фр.*)

relations je ne puis ne pas apprécier en lui un homme d'état et je crois en son esprit politique*), — так прямо и сказал, когда пошли слухи о назначении Бараницына: «Прекрасный человек, но, — et il leva même son doigt et vous savez bien que c'est trés — significatif lorsque le comte lève son doigt**), — но, если около него не будет дельца с железною рукою в бархатной перчатке, то Россия — тю-тю!..» Он, знаешь, всегда несколько тривиален, этот милый граф, — бросил Илиодор в виде примечания, — тю-тю, финти-финти, сарафанчик-растеганчик, по одежке протягивай ножки... старая игра пятидесятых годов! — когда-то смолоду карьеру этим сделал... великой княгине Елене Павловне русские песни пел, Константину Николаевичу анекдоты из народного быта рассказывал.

— Так что, — свел заключение Авкт, широко улыбаясь и кивая мерным движением пенсне, — ты приставлен к Бараницыну в качестве, так сказать, собирателя земли русской на случай, если бы он ее рассыпал и сделал нам тю-тю?

Илиодор согласно сомкнул веки.

— Вот именно. Je suis un contre «тю-тю» si tu veux***). Совсем не розовая профессия, мой друг, но я принял на себя крест этот как жертву на алтарь патриотизма... Ну, конечно, — небрежно прибавил он, садясь на ручку кресел, — я не могу жаловаться, чтобы мое самопожертвование не было замечено и — оценено... On a fait beacoup de bruit à Petersbourg... et même à la Cour...*1) Практически я могу быть доволен: оклад блестящий, квартирные, разъездные, наградные, близость к бесконтрольным суммам ведомства, быстрое чинопроизводство, легкие ордена: все это, как выражается тот же добрейший граф Буй-Тур-Всеволодов, не баран начихал. Но по-

---

*) Вы знаете, что при всей печальности наших отношений я не могу не ценить в нем государственного человека и не верить его политическому уму (*фр.*).

**) И тут он даже поднял палец, а вы понимаете, какой это важный знак, когда граф поднимает свой палец (*фр.*).

***) Если угодно, я один один против «тю-тю» (*фр.*).

*1) Было довольно шума в Петербурге... даже при дворе... (*фр.*)

верь мне, дорогой: практические соображения были последними в моем расчете. Впереди всего стояли, решая: она и моя идея...

Илиодор опять обмахнул увлажненные глазка, щелкнул портсигаром, обремененным бесчисленными приятельскими монограммами, в золоте, платине и камнях, взял папиросу и заговорил:

— Но какова графиня Ольга, Авкт? Каков патриотизм? Oh! si tu pouvais seulement voir ce geste, cette figure au moment oú elle m'exhortait. Je te jure, ce fut Déborah! Norma! Une druidesse, quor![*] Я видел, что она вполне способна заклать... да, именно заклать! C'est une sainte, je ne te dis que ça![**]

Он остановился, подумал, покурил и продолжал, омрачаясь:

— Я должен предупредить тебя. Петербург — город сплетен. Фантазия зависти здесь гораздо злее, чем даже в каких-нибудь Бронницах или Кобеляках. Ты услышишь, а может быть, уже слышал самые дурные клеветы обо мне и графине. Толпа не щадит наших чувств, не хочет верить искренности и правде наших отношений. Не могу же я публиковать план, с которым принял из рук ее мой настоящий пост, объявлением в «Новом времени»! И вот, когда нас облыгают в тысячу языков, мы должны довольствоваться лишь ответом немого презрения... терпеть и молчать! До чего доходят эти господа, Авкт! До чего они в своих вымыслах доходят!

Лицо его, вспыхнувшее было румянцем негодования, теперь выцвело в бурую какую-то бледность сосредоточенной злобы, и в глазах появился зловещий свинцовый свет, видя который, Авкт невольно поежился в душе и подумал: «Однако, брат любезный, генерала-то ты в себе уже воспитал!»

---

[*] Если бы ты видел ее жест, ее лицо в те минуты, когда она убеждала меня. Клянусь, это была Дебора! Норма! Друидесса (*фр.*).

[**] Я тебе говорю: она святая! (*фр.*)

— Я знаю источники, — говорил Илиодор, даже с писком в голосе, щетиня сердитою рукою бакенбарды и косо дергая гневным ртом, — я знаю всех... и когда-нибудь их давну! да, давну!.. Я христианин, но не настолько, чтобы подставлять ланиту... «Она» — христианка, как в первые века. Когда ее оскорбляют, она плачет и молится за врагов своих: Отпусти им! не ведят бо, что творят! Ну нет-с! Я почтительно и благоговейно снимаю шляпу пред христианским всепрощением, но я мужчина-с... и — давну! Некоторые милые люди очень скоро узнают, что у меня действительно стальная рука в бархатной перчатке. Я сумею поставить этих голубчиков в фигуры, которые не совсем-то будут похожи à celles d'un cotillon...*) совсем-с!..

Авкт Рутинцев чувствовал себя вчуже неловко под этим, вскипавшим в пространство, привычным и давно назревшим гневом. Миролюбивый по натуре, истертый трудною жизнью в пестрой борьбе за существование, среди смешанного общества и покладистых богемных нравов, он давно отучил свое самолюбие от легкой и острой обидчивости. Мягкий такт не вовсе истраченного хорошего воспитания подсказывал ему в щекотливых случаях удачные выходы из скользкого положения, но втайне то было лишь счастьем его, да почтенная и внушительная фигура выручали; в действительности же он давно держался про себя того мнения, что «брань на вороту не виснет», «собака лает, ветер носит» и «хоть Ванькой зови, только хлебом корми». Все, что Петербург говорит об отношениях брата его к графине Буй-Тур-Всеволодовой, Авкт знал прекрасно и совершенно верил тому, что говорят. В Москве слыхал он еще больше, в провинции еще больше, и сквозь раздутую, преувеличенную молву часто выдавала себя неприглядная правда. Но ему было жаль совсем расстроившегося брата, хотелось утешить и умиротворить.

— Э! стоит обращать внимание! — успокоительно заметил он с добрыми глазами, глядящими поверх пенсне, съехав-

*) На котильон (*фр.*).

шего почти к ноздрям, и любовно разглаживая ладонью на колене мягкошерстую влажную шапку свою, точно живую кошку. — Ты так высоко стоишь... За глаза кого не ругают!

Но Илиодор возражал с дрожанием губ:

— Нет, ты не знаешь... нет, значит, я вижу, ты ничего не знаешь...

И почти вскричал, с резким движением как бы стирающей кого-то с лица земного руки и вздыбив русые бакенбарды:

— Ты пойми: осмеливаются обвинять ее, будто она взятки берет!.. Она! Святая!.. Взятки!.. Ты пойми!.. Негодяи!.. В заграничных газетах было... На кого работают своими интригами эти здешние господа?.. Чтобы погубить ее, меня, они изменяют отечеству, готовы снабжать материалом даже крамолу... Подпольные листки, конечно, обрадовались — перепечатывают... Желаешь полюбоваться? Взгляни.

Он порылся на столе, в большом кожаном портфеле, и подал Авкту номер французской социалистической газеты. Фельетон, озаглавленный «Les sangsues de la Sainte Russie»*, бойко щелкал нескольких общеизвестных петербургских казнокрадов и — в том числе — двадцатью строками, обведенными красным карандашом, язвительно распространялся о некой прекрасной графине, которая-де, не довольствуясь продавать справедливость одною правою рукою, то есть по ведомству своего законного супруга, остроумно приспособилась продавать ее и левою, посадив на влиятельный пост по другому сильнейшему ведомству — своего любовника.

— Ха-ха-ха! — желчно и насильственно смеялся Илиодор. — Son amant... Excusez du peu!** Это я-то amant?! Их бы устами да мед пить!.. Ah, s'ils savaient seulement, ces coquins, s'ils le savaient!***

---

* «Пиявки святой Руси» (*фр.*).

** Ее любовник... Вот это да! (*фр.*)

*** О, если бы они только знали, эти мошенники, если бы они знали! (*фр.*)

Авкту и жаль брата было, и смешно на него, потому что фельетон написан был хлестко и, заметно, по живому материалу из источников осведомленных.

Как «берет» святая графиня Ольга Александровна, Авкт успел сам если еще не испытать, то уже нащупать в этот приезд свой, хлопоча по железнодорожному делу своих доверителей — уездного города Дуботолкова и в нем двух коммерсантов-воротил: Тихона Постелькина с сыновьями и Матвея Корнева с внуками. Цинический и интересный московский делец, Авкт Рутинцев смотрел на Петербург не лучше, чем Югурта на Рим, верил, что нет таких дверей, которые не отворялись бы золотым ключом, и не находил ничего неестественного и оскорбительного в том, что питерская министерская дама «грабит». Лишь бы за дело грабила и прок был, а то — на то она и есть министерская дама. В совете присяжных поверенных, в редакциях больших газет, в ресторанах за столами биржевиков и предпринимателей обо всех этих госпожах известно: которая, где, как и чем. К одной — прямо через компаньонку. Другая любит дешево покупать и дорого продавать недвижимую собственность, земли и дома. Третью надо ловить за границею на каких-либо скачках или гонках и при сем удобном случае проиграть ей крупное пари. Эта — биржевая азартница, лови ее, когда ей не везет и приспичило платить онколи. Той под видом контрабанды надо — через такой-то магазин, через такую-то модистку — предложить за бесценок драгоценные, но преспокойно оплаченные пошлиною в таможне материи и кружева. Не берут жены — берут любовницы, содержанки, тещи, тетки, дочери, зятья, экономки, лакеи. И весь этот задний двор государственной механики и справедливости изучен петербургскими сведущими человеками наизусть, расчерчен и рассчитан с точностью шахматною. Можно дать, можно не дать. Можно дать глупо, можно дать умно. Дал глупо — хуже, чем вовсе не дал. Дал умно — хоть закрой

глаза и махни рукой на свое дело: само покатится, как по рельсам, к вожделенному исходу. Об Ольге Александровне Авкт помышлял искренно и просто: «В двух-то ведомствах главную силу иметь да не пользоваться? Это петой дурой надо быть! Кому ни приведись...»

Разгоряченный тон брата смущал его больше тем, что он не решался определить: комедию ли великолепно играет с ним Илиодор или на самом деле права петербургская молва, будто этот обязанный все видеть и ведать грозный чиновник не видит и не ведает только одного — как его, напрасного рыцаря и вотще бескорыстного, водит за нос la belle dame sans merci*, без совета с которою в ведомстве Бараницына теперь, говорят, и потолка нельзя побелить, и швейцара уволить. Авкт недоумевал, а Илиодор, провалившись телом в сиденье, повесив ноги через ручку кресла и упершись поясницей в другую ручку, хмурился, бил по ляжке разрезательным ножом и говорил спокойнее:

— Конечно, я сам был не совсем осторожен и иногда подавал поводы к инсинуациям. Вернее сказать, принял несколько поводов от нее, — нежно улыбнулся он в воздух, будто далекому капризному ребенку. — Были назначения по ведомству... особенно в провинцию... награды... несколько решенных дел... Mais, mon Dieu! est-ce que je reine l'empire de la comtesse sur moi? Aucunement. Je pleurerais amèrement si ce ne fût ainsi. Il m'est absolument indispensable!**) Но зачем предполагать гадости? Кто же виноват, когда графиня рекомендует чиновника, то он — золото? Если она дает совет, то он, наверное, практичен и всегда в правую сторону? Глубину этой женщины надо знать, как я знаю. C'est un grand coeur***) и государственный ум.

---

* Беспощадно (водит за нос) прекрасная дама (*фр.*).

**) Разве я отрицаю влияние на меня графини Ольги? Нимало. Оно есть, и я рыдал бы, если бы его не было. Настолько оно мне необходимо! (*фр.*)

***) У нее великое сердце (*фр.*)

Как ни был Авкт приготовлен к высоким нотам акафиста братнего, но эта, неожиданная, его смутила, и, должно быть, он взглянул дико, потому что Илиодор окинул его подозрительным оком и спросил с недовольным вызовом:

— Это тебя удивляет?

Авкт, чувствуя, что опять у него нечто выскочило некстати, как давеча с жандармами, пошевелился в креслах, уронил и подхватил пенсне и дипломатически отвечал:

— Да ведь я, собственно говоря, помню ее почти девочкой, канарейкой этакой...

Но Илиодор уставил на него поднятый перст свой не хуже самого графа Буй-Тур-Всеволодова и внушительно вещал:

— Теперь эта девочка-канарейка — я говорил тебе: святая, — мало: она великомученица. Ее вся жизнь — испытание и подвиг. Je ne te dis que ça!*

— Неужели вся жизнь? — пожалел Авкт, старательно упрочивая пенсне к переносью.

— Parfaitement, mon ami**. Я расскажу тебе. В девицах раба деспотической матери...

Авкт вспомнил кроткое и прекрасное старушечье лицо и тучную фигуру покойной Маргариты Георгиевны Ратомской, которой безволием все дети вертели, как волчком, куда хотели, а уж в особенности эта нынешняя графиня Ольга Буй-Тур-Всеволодова, и подумал: «Ну-ну!» — однако безмолвствовал. Илиодор, загибая палец за пальцем, высчитывал:

— Первый муж, Каролеев этот, был ревнивец, деспот, тиран, пьяница...

— Ну где же, Илиодор? — робко возразил Авкт. — Ты с кем-нибудь смешиваешь, и, конечно, как тебе помнить, но Евграф был премилый...

---

* И ничего более! (*фр.*)

** Потрясающе, мой друг (*фр.*).

— Хорош милый, — сухо возразил Илиодор. — Un beau personnage il n'y a pas à dire!* Просвистал состояние, стал общественный вор — растраты, подлоги — и только самоубийством ушел от скамьи подсудимых.

Авкту очень хотелось заметить: «Да ведь из-за Оленьки же!»

Но под строгим взором брата понял, что обвинительный акт покойного Каролеева установлен здесь столь же крепко, как и тот давешний факт, что тридцатисемилетней графине Ольге теперь только двадцать восемь лет от роду, — и пробормотал:

— Вот не подозревал! Казалось, жили душа в душу.

— Москва, — резко отрубил Илиодор. — Она вышла за Каролеева от семейных притеснений, все равно как в реку бросилась. В то время она полюбила другого человека, но не посмела открыться ему, — глухо и отвернувшись, продолжал он. — А этот человек, malheureusement ne fut qu'un gamin**) и так глуп и пуст, что не сумел заметить своего счастья... Имя этого жалкого господина предоставляю тебе угадывать.

— Угадываю... — сочувственно протянул Авкт, соображая: «Ага! Вот на каком аркане тебя, брат мой, водят?!»

Илиодор считал:

— Второй брак ее... это уж Бог знает что такое!

В недоумелом негодовании он даже развел руками.

— Положим, граф Буй-Тур-Всеволодов — высокий сановник, миллионы, государственный ум, одно из первых мест в самом большом свете, доступ ко двору... Но за все это она заплатила терновым венцом и крестом кровавым. Да, Авкт! Крестом!.. Il n'est pas méchant, en somme ce gros comte*** Буй-Тур Всеволодов, но ханжа, лицемерный трус и, между нами будь сказано, прегрязное животное, une sale bête*1). По-

---

* Хороший человек, ничего не скажешь! (*фр.*)

**) К несчастью, был тогда еще мальчишка (*фр.*).

***) Он, если хочешь, не совсем дурной человек, этот толстый граф (*фр.*).

*1) Грязное животное (*фр.*).

ловину свободного времени он отдает монастырям, половину — извини за выражение — à ses mignons*). И это супруг прелестнейшей женщины Петербурга... У тебя сделалось недоуменное лицо. Ты хочешь спросить — кто заставил ее выходить замуж за этакого... ramoli vicieux?**)

Авкт, тяжело уставший поддакивать, обрадовался разрешению сказать хоть маленькое «нет» и заметил с неодобрительною расстановкою:

— Тем более если она любила... другого?

Илиодор потряс головою, поднял плечи, развел руки — всею фигурою изобразив горькую, но сочувствующую и уважающую насмешку: вот, поди же, мол, ты! не судьба!

— Идеи, мой друг... все идеи!.. Когда она жила в Париже, то вдруг сделалась вся — в России... И тут граф... Eh biens, que veux tu? On ne pourrait le renier!***) Великий государственный ум, надежда русская на черный день... Между тем погибает в праздном вдовстве, окружен недостойными любимцами, монахи его грабят, того гляди, как-нибудь скомпрометирует себя, потеряет благоволение... Она поплакала... Oh ce qu'elle a pleure! Rien qu'au souvenir mon couer en est remué!*1). Я один знаю, потому что один я был свидетель ее слез...

— Ты сам-то не заплачь! — остановил брата Авкт, дружески притянув его за руку и крепко потрясши ее, что не замедлило скосить ему пенсне так, что одно стекло полезло к правой брови, а другое к левой ноздре.

Илиодор обмахнул глаза и красиво качал головою.

— Нет, — произнес он трагически, — это уже перегорело, это изжитое... Ah oui!..*2 Поплакала и решила принести себя в жертву: спасти графа, чтобы спасти Россию... Это

---

*) Своим миньонам (*фр.*).

**) Порочный старикашка (*фр.*)

***) Ну — что же? Кто смеет отрицать! (*фр.*)

*1) О, как она плакала, сердце разрывается, когда вспоминаю! (*фр.*)

*2 О да! (*фр.*)

такая патриотка, такая высокая патриотка, Авкт!.. Она только и думает, как бы России было лучше, только и делает, что спасает нашу бедную, сбитую с толка матушку-Русь... стра-да-а-алицу! — почти пропел он в энтузиазме. — Если я начну считать пред тобою, сколько раз графиня Ольга спасала Россию, ты не поверишь! Клянусь тебе, ты не поверишь! Никто не поверит! Будущий историк, читая мемуары в «Русской старине», всплеснет руками и спросит: почему же этой великой женщине не поставлены монументы на площадях всех больших городов? Да — какого тебе доказательства лучше? — я здесь! я! Рутинцев! И кто причиною? Она!.. Она денно и нощно блюдет вещим оком сторожевые посты государства: не пустуют ли они, делается ли дело государево и грозно ли стоит верная наша стража...

Илиодор даже выпрямился по-солдатски, воображая себя часовым при государственных устоях, и рукою делал жесты, особые — воинственные и старинные, — точно стрелец или латник какой-нибудь на карауле, салютующий невидимым бердышом.

— И — какая христианка! Вот христианка, Авкт! Нам, маловерным и малодушным, даже страшно в присутствии такой искренней чистоты. Когда я хочу немножко поддразнить ее, la taquiner un petit peu*, я начинаю слегка хвалить при ней этого старого грешника Льва Толстого. Клянусь тебе: в ее кротких глазах зажигается тогда пламя испанки, требующей auto da fe!..** А ее отношения к мужу? Между нами будь сказано: оба — и граф, и графиня — далеко не прочь были бы от развода. Но — ни-ни-ни! Опять жертва: если графы Буй-Тур-Всеволодовы будут разрушать семейные очаги, то каков же пример для разночинцев и простолюдинов? Ils perdront la bride et tourne-ront l'hymen à l'orgie ***).

*) Немного подтрунивать (*фр.*).

** Аутодафе (*фр.*).

***) Они потеряют узду и превратят брак в оргию (*фр.*).

И вот — она страдает, но терпит. *Терпит, как скала*. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Когда наши либеральчики, ведь теперь за Липпе и Аланевским, — Илиодор рукою махнул, — красных в свете тучи! толпы! Что делать? Переживаем век превосходительных разночинцев!.. Когда все эти господа начинают ораторствовать в пользу развода или за гражданский брак, графиня Ольга — как тигрица, она готова растерзать!.. Желал бы я, чтобы в эти минуты видела ее сестрица ее пресловутая, эта madame Брагина, «товарищ Евлалия», которая сбежала от прекраснейшего мужа, словно калошу с ноги сбросила, и теперь таскается Бог знает где со студентами. Вот тебе иллюстрация к тому, что мы давеча говорили о междоусобии. Одна сестра — идеал христианки, супруги, верноподданной патриотки и гражданки, а другая — чудовище, готовое залить Россию кровью и взорвать динамитом!

Авкт заикнулся было сказать, что он только что видел Евлалию Брагину в глухой провинции, под Дуботолковом, в имении брата ее, писателя, Владимира Александровича Ратомского, и чудовище показалось ему не так уж свирепым и опасным, но — именно только заикнулся. Всмотрелся в озлобленное лицо Илиодора, которое опять аж розовыми пятнами пошло, — и передумал — черт ли вас тут разберет? еще в донос втяпаешься! — ограничился тем, что сказал:

— Зато графиня братом может быть довольна. Такой государственник и охранитель вышел из этого поэта чувствительного, что даже уж как будто и чересчур.

— Да, — небрежно заметил Илиодор, убирая в портфель французскую газету, с которой давеча начался гнев его, — у Вольдемара твердая мысль и майковский стих... Им довольны... Мы — я и граф Буй-Тур-Всеволодов — очень хлопочем, чтобы Академия дала ему премию... Но зато — уж эта женитьба его! Ох, эта ужасная женитьба!

Авкт багрово покраснел, даже мокрым вдруг от смущения лицом, и ослеп на минуту, потому что пенсне, точно обрадовалось случаю предать хозяина в самый безнадежный для него момент, золотою блохою прыгнуло с носа на стол и легло где-то между папками.

— Ну, брат, что! — глуховато бормотал он, шаря ладонью по столу непокорные стекла. — Это, конечно, да что... тогда не он один... ты понимаешь, в этом случае не мне быть судьею...

Илиодор спохватился. Мысленно послал себе «скотину» и, как недавно с Таратайкиным, поспешил «загладить»:

— Ты, несомненно, тоже сделал ошибку, — с внушительною мягкостью сказал он, точно добрый, но дьявольски старый учитель читал ласковую нотацию умненькому, но шаловливому и дурашливому мальчику, гимназисту. — Но как ты можешь сравнивать? Ты жертва артистического увлечения. Твоя жена — в своем качестве артистки не принадлежит к нашему кругу, но артистка и une femme de chambre — à la parole de àncêtres*), «сенная девка»! Ставить свою жену и эту госпожу Ратомскую на одну доску значило бы не уважать себя.

Авкт всегда очень хорошо знал и теперь понимал, что сейчас брат ломает свой характер и жалостливо лжет, потому что вряд ли был на свете кто-либо еще, кого Илиодор презирал бы и кем гнушался бы более, чем невесткою своею, и уж, конечно, «артисткою» никогда ее не воображал, а почитал эту яровскую «потаскушку» во сто раз ниже всякой горничной и сенной девки. Но насилие, которое Илиодору пришлось употребить над собой для лжи этой, косвенное извинение благодарно тронуло Авкта. Пенсне ему удалось наконец поймать, и это радостное обстоятельство его еще больше возвеселило. Он водрузил стекла — не в обычай себе — прямехонько к гла-

*) Как говорили наши предки (*фр.*).

зам и моргал в них соколом, бодро и гордо, между тем как Илиодор продолжал бранить супругов Ратомских:

— Спасибо еще, что Вольдемар сохранил хоть некоторый такт и стыд людей. Он отлично делает, что безвыездно сидит там у себя в деревне. В столицах этой паре не место.

— Пьет много, опустился сильно, — проговорил жалостливый Авкт.

— Да... это печально... жаль. Но представь себе положение графини Ольги, если бы в Петербурге или даже в Москве появилась вдруг на горизонте невестка, которая когда-то застегивала ей ботинки и стягивала корсет?! Еще если бы Ратомские были бедны и неизвестны. Есть ступени общественной лестницы, на которых родство умолкает, и тогда настаивать на нем может только мещанская дерзость, ни в ком не возбуждающая сочувствия. Но они весьма и весьма со средствами. Говорят, эта бывшая горничная, благоверная Вольдемара, чудеснейшая хозяйка.

— Агафья Михайловна-то? — усмехнулся Авкт. — Это, я тебе доложу, богатырь. Весь уезд в руках держит. Она да вот еще доверитель мой, Тихон Гордеич Постелькин...

— Которому — passez le mot!* — приспичило перетянуть магистраль Никитинской железной дороги с Вислоухова на Дуботолков?

— И который, — искательно и жалко улыбнулся Авкт с бегающим под пенсне взглядом, издевающимся над обычными просительными словами, — который в случае удачи намерен превратить твоего горемычного братишку Авкта из Ира в маленького Креза...

Илиодор в улыбающемся благоволении открыл руку в щедрую ладонь и ребром ее сделал знак величественный и благосклонный, словно легко и мягко перерубил нечто.

* Кстати говоря! (*фр.*).

— Да, ты говорил мне... C'est entendu...* Я думал... Ты можешь быть уверен, что мы сделаем для тебя, то есть для твоего клиента, — я и графиня — решительно все, что укладывается в меру закона, и даже при надобности попробуем растянуть самый закон... Мы говорили... Конечно, этим прекрасным случаем надо дорожить. Тебе, mon vieux**, пора оправиться, приобрести самостоятельность и вынырнуть на поверхность... Тогда, быть может, и maman... Словом, все, что от нас зависит... e'est entendu!..***

Братья стояли теперь друг против друга, и сияющий, красный Авкт, чувствуя, что от радости у него дух захватывает и испарина на лбу выступает, и пенсне соскочило на усы, издавал вместо слов какие-то нечленораздельные благодарственные икания и, уронив котика своего с хвостом белого кашне на пол, тряс, и мял, и раскачивал руку Илиодора обеими своими руками. А Илиодор хлопал его по груди, пониже плеча и с высоты благодеющего величия лучезарно шутил:

— Устроим, устроим — хотя бы уже затем, чтобы ты не звал родного брата жандармом.

— Илиодор!!! — вскрикнул Авкт уже жалобно и полез целоваться.

Поцеловались. Похлопали друг друга по плечам. Прослезились. Повздыхали. Успокоились. Один выправил смятые бакенбарды, другой восторжествовал над непокорным пенсне. Закурили.

— У клиента моего, — начал Авт с некоторою запинкою, поднимая с полу оброненную шапку, — у Постелькина этого есть еще одна примета, которая тебе скажет, вероятно, больше, чем его железнодорожные мечтания... Он женат на Софье Арсеньевой... может быть, вспомнишь? До известной степени подруга детских игр...

---

* Все в порядке... (*фр.*)

** Дружище (*фр.*).

*** Все в порядке!.. (*фр.*)

— А! Эта! — весело воскликнул Илиодор и захохотал. — Еще бы! Страсбургская колокольня! Самое большое и толстое дитя в мире! Да, да… я что-то смутно слышал, что и ее угораздило на какой-то нелепый мезальянс... Как же! Очень помню… Даже сватался к ней когда-то и сохраняю к ее покойному родителю глубокую благодарность, что получил отказ... Один из самых юмористических эпизодов моей жизни!

— Ну вот, я очень рад, что так приятно принимаешь, — засмеялся и Авкт, хотя и с принуждением некоторым, говорившим о задней мысли. — Потому что я имею от нее просьбу к тебе, думая, что совершенно в твоих средствах, так как по вашему ведомству…

Едва последние слова коснулись ушей Илиодора, официальный звук их, будто мыло незримое, смыл с лица его радость и краски смеха, и оно стало чиновничье — надутое и мутное, как погода за окном. Авкт сразу почувствовал, что вдруг отлетел он от брата куда-то за тысячи верст и вот — стоит теперь как бы у подножия скалы Синайской, на вершине коей диктуются Богом и рубятся Моисеем скрижали Завета.

— Что такое? — спросил начальник, а не брат.

И не брат, а проситель продолжал смиренно:

— Видишь ли, мадам Постелькина имеет несчастье... то есть, собственно говоря, имеет брата... Борис Арсеньев... ты помнишь, конечно?..

— Ну-с? — крякнуло носовым звуком над склоненною головою нечто холодное, скучливое, жестокое и — власти бесстрастной и беспощадной.

— Политический... — смущался, не глядя, с ерзающим пенсне Авкт.

То, властное, вверху, перебило боем слов, медным и ровным, как часы:

— Очень знаю. По делу Берцова. Приговорен к смертной казни, но, к сожалению и совершенно незаслуженно, получил помилование. Так что же?

— Софья Валерьяновна… мадам Постелькина... очень просила меня справиться... жив ли он и где находится. Ведь, понимаешь, Илиодор, — осмелел Авкт, — единственный остался любимый брат... и десять лет ни слуха ни духа...

Поднял глаза — и в робости узрел не Илиодора, но как бы некий стройный и грозный сверхчеловеческий истукан с ликом, как непреложный циферблат, и на румяной шири циферблата прочел бесстрастно блещущий иероглиф: оставь надежду навсегда!

— Передай мадам Постелькиной, — медно и густо прозвучало из-за циферблата, — что я не могу удовлетворить ее любопытства, так как оно касается государственной тайны. Ты напрасно берешься за подобные справки.

— Извини, ради Бога, — заторопился растерянный Авкт, в суете десять раз снимая и надевая пенсне, — я думал... я хотел… прекрасная, брат, женщина… милый человек… жаль... я не знал, что это так важно…

— Это я хорошо понимаю, что ты не знал, — смягчила звук свой звенящая сверхчеловечеством медь. — Но впредь — не надо…

В выразительной паузе милостивого упрека с одной стороны, пристыженного раскаяния — с другой, Илиодор взглянул на столовые часы — и распустил сверхчеловеческое лицо в прежнее, жизнерадостное.

— Ого! Скоро двенадцать. Ты где завтракаешь?

— С человеком одним у Кюба... А ты?

— Там же... Как жаль, что мы не можем вместе... Ах, maman, maman... Но я надеюсь, Авкт, Бог милостив, эти тучи — последние над твоею головой... Ты скоро опять будешь среди нас, тебя любящих и твоих равных. Уповай на Бога, Авкт.

— Я уповаю, Илиодор.

— Уповай. Этот твой купец Постелькин не надует тебя?

— Не думаю, Илиодор... Я ему слишком нужен. Это человек больших будущих дел.

— То-то ... А в случае чего, имей в виду: суды судами, а ты — ко мне...

Он прищурил глаза, сложил руку в грациозный кулак и округло тряхнув им, повторил с шутливостью:

— Ко мне... Я его, фис-де-шьена*, того... Конечно, теперь не прежние времена, мы не так всемогущи, как сохранились о нас предания, но все-таки... он какой гильдии, твой дуботолковский купец?

— Второй, — улыбнулся Авкт, заражаясь веселою гримасою пришедшего в дух брата. — Первой по уездным трущобам никто не платит.

— Второй гильдии купца еще можно, — школьнически подмигнул юный генерал и залился добродушнейшим смехом. — Не бойся. Защитим. Дуботолковского второй гильдии купца еще очень можно.

— Очень тебе благодарен, — ответно смеялся облегченный от недавней неловкости Авкт. — Только нашего брата, присяжного поверенного, за такие окольные пути из сословия выпроваживают...

Илиодор сделал смеющееся лицо свое презрительным.

— А! Сословие! Сословие ваше — вот!

Он щелкнул пальцами.

— Если ты помиришься с maman, неужели ты думаешь — я оставлю тебя прозябать в твоем «сословии»? Слышишь? пушка — адмиральский час... Извини, но жму твою руку и — sans adieux, mon frère!** Надеюсь еще не раз видеть тебя перед отъездом... А о том — о купце своем — не волнуйся... Графиня Ольга... Я... мой старик... Это, наконец, наш собственный интерес помочь тебе вылезти из-под горы! C'est entendu!***. Не беспокойся... Sans adieux, mon frère!

---

* Сукин сын (*фр.*).

** До свидания, мой дорогой! (*фр.*)

*** Договорились! (*фр.*)

II

«Черт же знал? — думал Авкт Рутинцев, стремясь в мягко рокочущей пролетке хорошего извозчика сквозь грохот и туман Невского, мимо призрачных, выросших в расплывчатые пятна аничковских коней, — черт же его знал, почтенного брудера, что он обучился так ершиться по делам казенной надобности? Давно ли совершенным «жеманфишистом» был, как они здесь, в Петербурге, теперь изволят по-русски выражаться*). «Я, мой милый, не карьерист и не опричник, я спокойный человек двадцатого числа!» Вот-те и двадцатое число! Нет, видно, коготок увяз — всей птичке пропасть: забрала молодца мать-карьерушка!.. Сколько лет я знаю этот кавказский погреб на углу Караванной? Мальчишкой в Петербург приехал, в нем вечер сидел с Минаевым, с Иваном Федоровичем Горбуновым познакомился... И насолил же им, надо полагать, этот Борис злополучный, если уже за один разговор о нем тебя чуть не сразу на цугундер** тянут? Ну-ну! Как окрысился Дорка-то?! И все врет: никаких государственных тайн... В прошлом году по просьбе Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой справлялся же я о Федосе Бурсте: не хуже Бориса Арсеньева птичка, — однако самым любезнейшим образом указано мне было: сейчас в Акатуе руду моет, а через три года кончает каторжный срок и выходит на поселение, присунем его куда-нибудь на Лену либо Енисей... И кофейную эту я знаю: о ней легенда есть, что перед первым марта здесь собирались революционеры, обдумывали заговор… Жаль, что не мог угодить Софье Валериановне… Ну, да своя рубашка ближе к телу: у нас с ее супругом делишки здесь поважнее ее Бориса… Ах, Дорка,

*) От je m'en fiche (а мне наплевать). Шуточный термин этот приписывается известному бюрократу-цинику К.А. Скальковскому.

** Зд.: на расправу, на взбучку.

Дорка! И жутко с ним, как подумаешь, сколько ему власти и произвола дадено, какие жизни и силы в руках его зажаты, и смешон он мне в величии своем... Опетербуржился — уморушка! Что плетет! Что несет! И все это, как здесь принято, с самым серьезным и торжественным видом... Говорят, Петербург растет и украшается, а думская каланча их все та же мерзость и Гостиный дворишко препакостный; то ли дело у нас ряды Померанцев загнул!.. Ольгу Александровну Буй-Тур-Всеволодову произвели русские в Жанны д'Арк, государственным умом объявляют... рехнуться надо!.. Что в барышнях мазурку лихо танцевала — это помню, а в качестве мадам Каролеевой искусно пела цыганские романсы и отлично пила ликеры. Но когда, где и как она в мазурке и в цыганских романсах подняла государственный ум, эти па и фигуры, котильоном не предвиденные!.. Брр! Какая, однако, у них тут мерзость на дворе вона — в магазинах электричество пущено, в первом-то часу дня!.. Брр... Того гляди, сзади кто-нибудь оглоблей в затылок въедет... Люди — как тени... И это апрель месяц!.. Ах, Петр Алексеевич! Царство тебе Небесное, нашел же ты, не тем будь помянут, местечко выстроить городок».

В той «правой середине», езда по которой на Невском предоставляется только собственным лошадям, профыркали почти над самым ухом Авкта обгоняющие лихие кони, и голос — довольно звучный, хотя уже не молодой и слегка сиповатый — окликнул с высоты ландо:

— Никак москвич? Авкт Рутинцев? Узнаю! Здравствуй! Давно ли в Петербурге?

По молодцеватому грузному силуэту, свесившемуся из ландо, москвич скорее угадал, чем узнал, Георгия Николаевича Брагина, издателя модной и весьма ходкой газеты, которую правительство почитало терпимо либеральною, а либералы — подхалимною с оглядочкой. О нем только что поминал в разговоре Илиодор, браня брату жену Брагина,

урожденную Евлалию Ратомскую, революционную сестру патриотической графини Буй-Тур-Всеволодовой, — зачем она бросила такого превосходного мужа. Авкт приветственно махал рукою вслед промчавшемуся видению и усмехнулся про себя: «Ишь ты! Шику-то, шику что! Кони, кони Израилевы и колесница его... Только теперь вот этаким газетчикам, вооруженным droit de l'insolence*, да инженерам и держать своих лошадей-то. Их точка...»

— Извозчик, заверни-ка, брат, на Большую Конюшенную, мы тут одного синьора прихватим...

— Какой номер, барин? — хриплыми часами откликнулся с козел жестоко простуженный, надо быть, извозчик, словно не человек Авкту отозвался, а дохнул весь петербургский туман.

— А черт их знает, ваши номера... Никогда не помню... Поезжай, остановлю у подъезда... Дома Дмитрий Михайлович? — две минуты спустя спрашивал он, не сходя с пролетки, у длиннейшего и солиднейшего, с ликом византийского угодника швейцара в синем ливрейном сюртуке и с особо блестящими, будто злобно оскаленными большими пуговицами, который с высоты трех ступенек подъезда серьезно наблюдал, как два дворника подметали налитую на панель мокрую слякоть — то ли грязь, то ли снег. И, очевидно, текли в его молчаливом наблюдении какие-то внушительные флюиды, ибо дворники казались смущенными и под взором иконописного швейцара работали — будто напуганными — метлами быстро и чисто. Швейцар оглядел Рутинцева, проэкзаменовал памятью его приметы, не из тех ли он, кого принимать не велено. Но, успокоенный его дорогою котиковою шапкою и толстым золотым пенсне, медленно снял галунный картуз, после чего оказался лыс, как пророк Елисей, и провизжал дискантом, совершенно противоестественным

* Дерзость, нахальство (*фр.*).

при этакой-то черной бородище до чресел и из этакой-то гвардейской фигуры:

— Не выходили. Вы по делу?

— Нет, приятель, из Москвы.

— Пожалуйте.

Авкт разделся внизу, у термосифона, и лифт вознес его высоконько — в четвертый этаж, но — к весьма шикарной площадке на три входа с однообразною внушительностью трех резных дверей, с одинаковыми тремя войлочниками по сердобольскому камню на полу, на которых одинаково красными буквами выткано было «Salve»*. На средней двери медная дощечка объявляла, что здесь обитает присяжный поверенный Дмитрий Михайлович Пожарский. Швейцар снизу дал звонок, и, как только лифт поравнялся с этажом, дверь с медною дощечкою Пожарского отворилась, и в просвете встала выжидающая горничная. Дом, очевидно, был благоустроен и населен людьми дисциплинированными.

— Здравствуй, Феня! — кивнул Авкт.

Горничная оказалась расфранченною вышколенною девицею из аляповатых красавиц, которыми награждают Петербург Новгородская и Псковская губернии: модная прическа, сверхъестественное обилие накрахмаленного фартука и бантов и наглые глаза особы, имеющей крепкую заручку в доме и за свое в нем положение не опасающейся. Она смерила Рутинцева довольно высокомерным взглядом. Но, признав московского господина, с которым барин на «ты» и намедни после дружеского двухчасового разговора наедине лично проводил его до лестницы, чего не делает и для миллионеров и генералов, — удостоила раздуть яблокоподобные щеки свои в улыбку.

— Пожалуйте... Дмитрий Михайлович еще в спальной, да — ничего, пожалуйте в столовую... они сейчас будут готовы... ничего.

* «Привет» (*лат.*).

Пройдя две комнаты, отделанные с большим и новым шиком настолько, что казались витринами с выставки художественной мебели, с парижскою бронзою машинного производства по углам, с Беклином-сыном за Беклина-отца по стенам, — Авкт Алексеевич уселся в просторной и светлой столовой — той непременной столовой из «мореного дуба», которою обязательно обзаводится преуспевающий петербуржец, как скоро начинает получать тысяч пятнадцать в год или воображает, будто получать их начал, а уповает — преуспеть еще больше. На столе ждал завтрак — холодная закуска, сервированная на три прибора.

— Э! да у вас гости! — сказал Рутинцев.

— Нет, это Дмитрием Михайловичем так заведено, в расчете, что кто-нибудь подъедет. Они не любят, чтобы одни. Иной раз, если никого нет разделить им компанию, то ходят, ходят по комнатам-то, прежде чем сесть к столу. Велят подавать — ничего не кушают, только что вилкою котлетку или волован расковыряют. Пойдешь на кухню за вторым блюдом, ан они тем временем уже в передней сами пальто одели и шапку ищут: значит, скучно им очень стало, едут к Кюба... Только даром кухню держим и поварихе деньги платим. Ей-Богу!

Хозяин вышел к приятелю хотя уже щеголем и на выезд одетый, но с ясным надписанием на физиономии, курносой, опухлой и измятой, что сон, от которого только что воспрянул сей очаровательный брюнет, начался не столь вчера, сколь сегодня, не ранее шестого часа утра, и нельзя поручиться, чтобы в трезвой памяти. Рутинцев посмотрел и засмеялся:

— Однако... лицо!

Пожарский только безнадежно рукой махнул.

— Ты где вчера жизнь-то кончил?

— Лучше не спрашивай... Феня!

— Что прикажете? — вывернулась девушка из узкой коридорной двери за буфетом.

— В приемной есть кто-нибудь?

— Никак нет-с.

— Не угодно ли? И никто с утра не заглядывал?

— Ни души-с.

Пожарский обменялся с Рутинцевым многозначительным взглядом, запухлые темно-карие глазки его выразили искреннее негодование, и черная, бобриком стрижка забавно заежилась на круглой голове.

— Вот-с, не угодно ли? — произнес он, трагически потрясая рукавом визитки по направлению к докладывающей горничной. — Слышал? Сегодня ни души, вчера ни души, третьего дня тоже... Можно подумать, что в Петербурге повымер весь клиент.

— Нет дел? — с участием спросил Авкт Алексеевич.

— Есть! — иронически фыркнул Пожарский вздернутым и ноздрястым, что называется, астрономическим носом своим. — Есть! Послезавтра защищаю мерзавца одного по назначению от суда... Не угодно ли?

Рутинцев засмеялся.

— Поздравляю! Это по-татарски называется — йок, а по-русски — нет ничего...

— Да именно, что нет ничего... Кстати… напомнил... Феня, принесите-ка мне из спальни — там остались на тумбочке — бумажник и портмоне...

— Совершенное доверие? — подмигнул Рутинцев вслед уходящей горничной, юмористически шевеля сразу и бровями, и золотым пенсне своим.

— Ангел мой, человек, который ведет такой милый образ жизни, как твой покорнейший, обязан либо не держать в доме ни единого гроша, либо приучить прислугу, что он верит ей безусловно… Я не помню, как вчера вернулся и заснул. Сплю же я — хоть в прорубь меня макай, хоть стреляй над ухом из пушки. Не угодно ли? Следовательно, если Феня желала меня обокрасть, то уже обокрала. Этого

не вернешь. Значит, зачем же я буду осложнять положение, и без того неприятное, давая этой девице понять, что я ее считаю воровкой? Богаче не стану, а в доме поднимется ад... У-а-а-ах! — страдальчески застонал он, сжимая ладонями виски. — В голове — словно черти в чехарду играют... Не угодно ли? С чего бы?.. Кажется, никаких особенных эксцессов... Правда, арманьяк дули... разве с него?

— Арманьяк — он содействует! — сочувственно ухмыльнулся Авкт и подбросил пенсне к переносице. — Ты водки выпей, пройдет.

Пожарский только головою покрутил.

— Мне о ней после вчерашнего и думать-то противно... Спасибо, Феня.

Приняв из рук горничной большой бумажник английской кожи и маленькое, в серебряной оправе портмоне, Пожарский, заглядывая то в один, то в другое, говорил:

— Ты извини, что я при тебе проверяю свою кассу... Надо, понимаешь, сообразить злобы, довлеющие дневи.

— Сделай одолжение, не стесняйся.

— Четвертная... четвертная... А голова-то! голова! А под ложечкою-то томление!.. Давайте, Феня, хоть нарзану, что ли... Рот — словно солдатским сукном обит... Четвертная... Нет, баста! пора бросить эту жизнь — вытрезвить себя да хорошенько заняться своим катаром желудка... Еще четвертная: сто... Этак даже лошадиного здоровья не хватит, сгоришь в какой-нибудь пяток лет... «Матильда»... еще «Матильда»... три серебряных рубля... Итого сто тринадцать. Н-недурно! Не угодно ли?

Дмитрий Михайлович всплеснул руками.

— Феня! В карманах смотрели? Может, засунул... Я могу!

— Никак нет, Дмитрий Михайлович, — вежливо улыбнулась горничная, — чистенькие...

— И в пальто?

— В пальто, в спичечном кармане, три двугривенных. Я так и оставила на случай — понадобится мелочь на улице: нищему дать или газету взять.

Дмитрий Михайлович поник головой в совершенном угнетении.

— Сто тринадцать! Это из трехсот, полученных вчера по чеку! Не угодно ли? Драть меня, подлеца, надо! прямо-таки драть! И куда я ухитрился их рассовать? Главное: и кутеж-то был клиентский — по старой памяти банкрот один оправданный, купец из Курска, угощал. Всякую память отшибло... Это у вас что за архив иностранных дел там на буфете? — кивнул он горничной на кипу бумаг и бумажонок.

— Можно после-с, — деликатно уклонилась та.

— Что после? Авкт Алексеевич — свой человек... Поди, счета?

Феня подала.

— Счета-с.

— Тьфу-с! — передразнил Дмитрий Михайлович и, быстро просмотрев итоги, с искреннейшим негодованием швырнул кипу на стол. — Шестьсот сорок рублей! Вот ты и вертись, как хочешь. А? Авкт? Я в этот месяц пятисот рублей не заработал, а тут шестьсот сорок рублей... Не угодно ли?

— Вот еще, — фамильярно вмешалась горничная, видя, что она не ошиблась, впустив гостя: приятель настоящий, и барин пред ним нисколько не стесняется. — Вот еще, Дмитрий Михайлович, кучер тоже очень пристает...

— После.

— И портной.

— После, Феня, скажите, что после.

— Из магазина часового...

— Да что вы сегодня — взбесить меня поклялись? К черту! после! Сами же говорите, что можно после.

Горничная с искусственным испугом скрылась в свою узкую дверь.

Дмитрий Михайлович с унынием созерцал и шевелил роковую кипу счетов.

— Шестьсот сорок целковых — и ни одного клиента в приемной. Не угодно ли? Стало быть, опять надо ехать в банк и трогать капитал. Этак я его в один год высушу. Нет, больше ничего не остается: именно драть, драть, драть надо нашего брата — Мещерский прав, единственное средство!

— С чего у вас клиент-то перевелся? — спросил Рутинцев, покачиваясь верхом на стуле с папиросой в зубах. — О холере как будто было не слыхать?

— А у вас в Москве этот зверь еще живет?

— Питаемся помаленьку.

— Ишь, мохнатые черти! Не угодно ли? Сказано, что москвичи.

И уже с серьезным лицом, обратив черноватые кладези ноздрей своих от потолка к полу и глядя сверкающими глазками-зверьками исподлобья, продолжал:

— Денег не стало в Петербурге. Ни у кого нет. Какой-то французский экономист говорил, что богатыми государствами называются те, в которых население нищее. Боюсь, что мы живем в чрезвычайно богатом государстве.

— Да у казны тоже денег нет, — возразил Авкт. — Из-за того и французам на шею вешаемся. Мне намедни в Москве фельетонист Сагайдачный немецкую карикатуру показывал: лежит будто Россия — в кружевной сорочке, блонды, чулки шелковые... А Феликс Фор уходит, понимаешь, будто гость, считает деньги в кошельке, вот как ты сейчас, и про себя говорит: «Sehr hübsch, aber teuflisch theuer!..» Хороша, да чертовски дорого обошлась! Вот как они о нас теперь понимают — в Европах-то своих.

Пожарский продолжал:

— У государства нет, в частных руках нет. Не угодно ли? Какие же могут быть дела? Всякому судиться страшно. Вдруг начнешь процесс, да в нем — и не заметишь, как все-

го себя просудишь? Фемида-то ведь в кредит не верит, ей наличные денежки подай. Не угодно ли? Смотри: бракоразводчики — уж на что их специальность постоянна и доходна, — и те носы повесили. Совсем нет разводов, такое целомудрие в столице пошло, словно все супруги вперебой ищут, как бы им для поправки скверных обстоятельств хоть Монтионовскую премию, что ли, стяжать? Прежде муж и жена чуть поругаясь, сейчас же и врозь: десять тысяч ходатаю в зубы и — орудуй! разлучай! расходы наши, барыши твои! Не угодно ли? А теперь зачастую со скрежетом зубовным, как кошка с собакой живут между собою, а все-таки живут, потому что развестись не на что: ау! где она, наличность-то? Витте утешает: девальвация! Да ведь от слова не станется: как пса ни назови, все он — собака. Бог весть, что золотая валюта даст, а покуда — вона! за рубль-то наш не угодно ли получить на Берлин по шестьдесят три копейки. На бирже что делается! Ты не играешь?

— Мой милый, на какие доходы?

— Я баловался, да оплошал недавно, не внес разницу... Ну а привычка следить осталась. Ужас! Бумаги скачут, как шары резиновые... То паника, то ажиотаж неслыханных премий... Вчера бакинские в гору махнули — с 618 сразу на 650! а? Ведь это — в полчаса состояние. Не угодно ли? Если бы предвидеть! 650! А я, идиот, спустил свои два месяца назад по 513.

— Ты в Витте веришь? — спросил Авкт, играя пенсне.

Пожарский прищурился.

— Странный вопрос! А ты в отмычку веришь?

— Сие из притч.

— Когда потерян ключ от комода, сперва требуют к замку все ключи, какие найдутся в доме. Не подходят. Не отворяют. Тогда зовут слесаря — он приходит с отмычкою и отпирает. Не угодно ли? Правда, юридически это квалифицируется не столь отпиранием, сколько взломом. Прав-

да также, замок после того становится ни к черту не годен и надо заказывать новый ключ. Но не все ли равно? Прямая, временная цель достигнута, комод открыт. Были Рейтерны, Бунге, Вышнеградские — может быть, и ключи, да не от тех замков. Народного комода они не отперли. Пришлось звать Витте: министр-отмычка! Вероятно, отопрет. О черт! как же меня ломает!

Он потянулся, точно хотел вывернуться с лица наизнанку, и жестоко зевнул. Рутинцев засмеялся и, зараженный, тоже зевнул.

— Извини, — спохватился хозяин, — соловья баснями не кормят... Будем завтракать... Феня!

— Нет, спасибо, я сейчас уеду: условился с графом Оберталем, что съедемся у Кюба.

— А! Дядюшкин племянник! Наш гвардейский беглец, а ныне, говорят, у вас в Москве — не угодно ли? — такой-то делец сотворился... Общие дела?

— М-м-м... видишь ли, не то чтобы общие, но соприкосновенные. Совершенно по разным причинам, но нам обоим — то есть ему, графу Оберталю, с одной стороны, и моему доверителю, дуботолковскому второй гильдии купцу Тихону Гордееву, сыну Постелькину, с другой, — важно, чтобы новая правительственная железная дорога, так называемая Никитская — слыхал? — прошла вместо некоего богоспасаемого града Вислоухова чрез богоспасаемый град Дуботолков...

— Тебя с дуботолковским купцом понимаю, но графу-то что? Имения у него там, что ли?

— Имений нет, но чрез дядюшку своего, всемогущего генерала Долгоспинного, заручился он подрядом на шпалы по Никитской линии. А капитал, чтобы поднять подряд сей миллионный, ссужает ему некая, весьма у нас в Москве знаменитая княгиня Анастасия Романовна Латвина, урожденная купеческая дочь Хромова.

— Слыхал.

— А у княгини Латвиной, урожденной купеческой дочери Хромовой, имеется в двадцати пяти верстах от Дуботолкова великолепно идущий железоделательный и рельсопрокатный Тюрюкинский завод... Если магистраль пойдет, как предположено, на Вислоухов, то Тюрюкинскому заводу мат, ибо очутится он в 60 верстах от железной дороги, да еще, кроме того, Вислоухов лежит уже в сфере оборота конкурентов его... Понимаешь?

— Не так сложно, чтобы не понять.

— Так вот и рыскаем по сим делам на пользу славного града Дуботолкова: я — по приказу купца Постелькина, граф — по приказу княгини Латвиной. То есть, собственно говоря, тоже купца Постелькина, потому что княгиню на аферу эту опять не кто же иной, как купец Постелькин, настрочил... Проделистый шельмец!

— Счастливцы вы! — вздохнул Пожарский. — Мы, здешние, подобные деньговороты ныне только в телескопы наблюдаем. Ты вот о Витте спрашивал. Виделся ты с ним? В твоем деле без него не обойтись.

— Нет, у нас труд разделен. На подобные высоты взбираться обязан граф Оберталь. Я летаю пониже.

— Смотрите, господа, не зевайте! — пригрозил Пожарский. — В Петербурге скоро начнется великое опустение. Столица намерена в этом году загулять. Все, что в чинах и у власти, собирается сперва в Москву на коронацию, а потом в Нижний на выставку... Россию будем, черт возьми, изучать и себя России показывать: вот, мол, мы каковы богачи и европейцы! Не угодно ли?

Авкт взглянул на часы.

— Ну, мне, пожалуй, и пора... А ты... скажи, Дмитрий Михайлович, ты что же, так весь день намерен просидеть в своей конуре?

— Скажите пожалуйста: это конура! Я за квартиру-то две тысячи плачу, а с осени управляющий грозится четыреста накинуть, не угодно ли?

— Да я не в том смысле... А тоска какая-то берет в четырех стенах... давит... хочется воздуха взять.

— Хорош воздух теперь! Посмотри в окно: час дня, а все нижние этажи огнями светятся из-за тумана... В полдень — сумерки. Не угодно ли? Дивная природа! Удивительно, как мы все тут еще не перестреляемся — те, которые не издохли от туберкулеза!

— Все же лучше... Поедем! Хоть в обществе посидим.

— Эге?! В обществе?

Дмитрий Михайлович осмотрел приятеля сожалительно-негодующим оком и презрительно просвистал:

— Это значит попросту, ты приехал тащить меня с собою к Кюба? Нет, брат, атанде. Старая штука.

— Да если у вас в Петербурге порядочному смертному некуда больше даваться?

— Не пройдет.

— Говорю тебе: хоть людей посмотреть.

— Нашел чем прельщать. Обрыдло мне человечество. Я, брат, сейчас не Пожарский, а Мейнау: «Ненависть к людям — без всякого раскаяния!» Не угодно ли?

— Это с перепою: до буфета. Не знаю я тебя, что ли? Всегда был дитя толпы. Тебе толпа нужна как воздух.

— Да, милый человек, — подался Дмитрий Михайлович, — ведь там, наверное, все наши.

— Ну, так что же? тем лучше.

— Да ведь — дьяволы!

— Ну уж и дьяволы?

— Флаконы пойдут...

— Нет, уж это дудки! — с горячностью запротестовал Рутинцев и для убедительности даже головой тряхнул, так что пришлось поймать пенсне в воздухе перстами. — Это я сам первый протестую. Это надо оставить. Флаконов ваших больше я прямо не позволю. Бутылка бордо на двоих — и никаких! Что это за безобразие, право, завелось у вас в Петербурге?

Каждый день с утра нализываетесь, вечером опять... Еще деловыми людьми называетесь. Интеллигенты вы, наконец, или свиньи?

— Пойдут флаконы, — с мрачным фатализмом повторил Дмитрий Михайлович и прибавил: — Что же ты ругаешься? У вас в Москве — лучше, что ли?

— Может быть, и хуже к ночи, да не с утра же!

— Воздух суше, — вздохнул Пожарский.

— Так поехали?

— Да что же? Конечно, поехали... От судьбы не уйдешь. Феня, отмените ваш мерзейший завтрак, мы едем есть в приличное место. У тебя, Авкт Алексеевич, извозчик порядочный?

— Превосходный.

— Так ты меня и вези. Феня, скажи кучеру, что до трех он свободен, пусть к Кюба подаст.

— Но, Дмитрий Михайлович, — возразил Рутинцев, — раз ты держишь лошадей помесячно...

Пожарский ответил гримасою.

— Ты представить себе не можешь, как гнусно везет своего барина кучер, которому в середине апреля не заплачено за февраль...

Воздух несколько освежил Дмитрия Михайловича. У него зарумянились скулы и кончик астрономического носа, заблестели сквозь томную пелену недосыпа и похмелья темнокарие глазки. Он стал подвижен и разговорчив.

— Так что ты — в вихре великих дел по созиданию дуботолковского прогресса?

—Как в толчее. Сегодня первый день сравнительно свободен.

— Видел его всемогущество, твоего почтенейшего фрера?

— Только что от него... Кстати, чтобы не забыть, Дмитрий Михайлович...

И Рутинцев, перейдя на французский язык, рассказал приятелю о странной неудаче, постигшей его справку насчет Бориса Арсеньева.

— Да, они в последнее время в самом деле что-то накрахмалились, — вяло сказал Пожарский. — Перед коронацией, что ли? Но, строго говоря, действительно, черт ли тебя тянул за язык? Разве об этих вещах с превосходительствами разговаривают? На то маленькие чинушки есть. И даже не чинушки. У твоего братца, то есть в бараницынском ведомстве, имеется курьер, некий Таратайкин по фамилии, не угодно ли? Ему бы в министрах сидеть, а он, по необразованию своему, даже и к первому чину подобраться не в состоянии. Ну а так, неофициально, с заднего крыльца, только с ним там и можно разговаривать. Знает все, что стоит знать, и делает по ведомству что хочет, почтительнейше водит за нос всех от чина мала до чина велика. Я, когда представляется надобность в этой их дыре, ни к кому там другому — прямо к Таратайкину... Тебе, пожалуй, неудобно: фамилия твоя грозная, брат — чуть не самое главное начальство... А то — гораздо выгоднее, чем через графиню Буй-Тур-Всеволодову или других. Там — тысячи подай, а здесь — за четвертной билет не угодно ли? Платишь ужин с двумя флаконами? Завтра будет готова твоя справка.

— Хоть с четырьмя! Я нынче широк.

— Купец-то дуботолковский, стало быть, платит? — с завистливою нотою в голосе усмехнулся Пожарский.

— В купца моего, любезный друг, я, не обинуясь, тебе скажу, просто влюблен. Такой на этот счет душка.

— Не угодно ли? Везет же! — опять вздохнул петербургский адвокат.

Московский отвечал:

— А ты погоди вздыхать... Судьба-то нас, может быть, и недаром свела. С университета не встречались, и вдруг ты тогда мне на Крестовском — словно столб в глаза. Согласись: что-то провиденциальное.

Дмитрий Михайлович возразил с усмешкою:

— Уж не поделиться ли хочешь со старым товарищем? Поделись, брат, поделись. Это благородно, да и не совсем

обыкновенно в наш цивилизованный век. Но — разве так уж кусок велик, что одна утроба не вмещает?

— А черт его знает! — откровенно отвечал Рутинцев. — Я должен тебе признаться, что перед купцом моим стою в некотором недоумении...

— Умен?

— А черт его знает! — повторил Авкт. — Шестой год с ним вожусь, а не разберу... Этак посмотреть — шершавенький чудачок провинциальный: мозги узенькие, как будто даже с глупцой, язык — из «Словаря иностранных слов», образование — по букву «д», до слова «дистилляция», потому что дальше не вышел русский энциклопедический лексикон, воспитание — сам говорит — кулаком в морду и счетами по затылку...

— Да ведь это у их породы ума не отшибает. У них ум не в голове, а в зубах и брюхе.

— Вероятно. Потому что деньгу лопать — гений всесовершеннейший. Поди, в наше студенческое время бывал ты в Москве у Арсеньевых-то? Вспомнишь, может быть, вертелся при Борисе обглодок этакий, Постелькин Тихон, о котором никогда, бывало, не знаешь, как с ним — то ли ему руку подать, то ли приказать, чтобы он тебе калоши подал... Ну так вот. Сейчас сему обглодку лет тридцать пять — тридцать семь, он законный супруг Софьи Валерьяновны Арсеньевой, отец многочисленного потомства, обладатель всех арсеньевских капиталов и царек целого Дуботолковского уезда, в котором без его воли, кажется, уже и птица гнезда не вьет...

— Богат, значит?

Рутинцев опять сделал недоумелое движение плечами под мохнатым пальто и моргнул золотым пенсне на носу.

— Да, конечно, не без средств, и даже хороших... Говорю же тебе: все арсеньевские капиталы проглотил. Один я отсудил ему триста семьдесят тысяч... Но все же как будто не такие капиталы, как он показывает размах...

— Широкая натура?

— А черт его знает! — в третий раз чертыхнулся Рутинцев. — Певичкам у «Яра» — даже совестно с ним — кладет на тарелку по три целковых, словно милостыню. Нищим совсем ничего не подает: из принципу, и хвалит Льва Толстого, что тот денежной помощи не признает. А телефонировал я ему вчера в Москву, что придется нам в некотором модном магазине для некоторой высокопоставленной дамы открыть кредит и депозит сделать тысяч до пятнадцати...

Пожарский склонил долу ноздри с таким одобрительным видом, что — понимаю, мол, и в каком магазине, и для какой дамы, и это ты ловко, хвалю...

Авкт продолжал:

— Так уже сегодня же утром постучался ко мне в номер артельщик из банка — пожалуйте!.. Дело, когда ему объясняешь, так вот из глаз твоих и хватает, и вытягивает, все ему доложи в такую доскональность, чтобы без сучка, без задоринки; зато, когда убежден, пишет чеки — загляденье!.. Точно у него миллиарды в кармане. Всякому американцу нос утрет.

— А не жулик, часом?

— Если бы был жулик, то, вероятно, по чекам банки уже не выдавали бы... Суммы его, говорю тебе, я знаю: миллионов нет и быть неоткуда, но, очевидно, верит в себя... оборотистый черт!

— Господа будущего, — вздохнул Дмитрий Михайлович. — Наше дело — умаляться, ихнее — расти…

Рутинцев усмехнулся.

— Ну что! Все будущего да будущего.. Лет тридцать, если не больше, мы о будущем-то этом все толкуем да предостерегаемся... А оно — давно уже — вот оно: настоящим стало и живет с нами и вокруг нас.

— Думаешь, пришло?

— Да и как? Каких же тебе знамений времени? Вот ты — Пожарский. Положим, не князь, но намедни — на Крестов-

ском — ты доказывал мне, что это лишь геральдическое недоразумение.

— Могу повторить и на Невском... Кому кланяешься?

— Граф Оберталь прокатил на рысаках... Ты разве лично не знаком?

— Нет, просто не узнал. Случалось встречаться...

— Вот и он промелькнул очень кстати. Ты — Пожарский. Я — Рутинцев. Я весьма верю в благородного прусса Рута, от коего род наш производит мой если еще не высокопоставленный, то уже высоколезущий брудер. Зато, наоборот, очень верю в прадедушку Савелия Рутинцева-Юсуповского, семинариста-кутейника, сделавшего карьеру вместе с «графом» Сперанским. А вот этот Оберталь — прямой потомок ливонских рыцарей, гроссмейстеров или командоров там каких-то — как бишь их? И вот: я, колокольный дворянин милостью графа Сперанского, и ливонский рыцарь Оберталь — одинаково мычемся в Петербурге по делам и приказу дуботолковского второй гильдии купца Постелькина, вчера еще только нищего ростовского мещанина. А Пожарский, который лишь по геральдической ошибке не князь...

— Пойми, — засмеялся Пожарский, — покойный папа на поправку этой ошибки всю жизнь истратил. Он так в нее верил, что даже Дмитрием-то я назван затем, чтобы, если мы княжества сыщем, так снова бы нам княжеский род «Дмитрием Михайловичем» начать. Не угодно ли? Так — в сумме?

— Сумма простая: Оберталь и Рутинцев бегают, никому же гонящу, куда и как Постелькин велит, а Пожарский — не то чтобы завидовал, что Постелькин велит Оберталю и Рутинцеву, а не ему, но весьма хотел бы быть на их месте.

— Ты же обещаешься меня примазать? — засмеялся Пожарский и дружески пожал приятелю руку выше локтя. — Ах, милый! Цо до гербув, кеды нема гербаты? — как говорила мне одна милая полька... должен с сожалением сознаться,

что занимала она служебный пост хотя ответственный, но невысокий: экономки в неудобоназываемом заведении близ Банковского моста...

Авкт же задумчиво рассуждал:

— Да-с... Оберталь, Рутинцев и Пожарский: три российские дворянские эпохи, так сказать... А жена у него — урожденная Арсеньева... это уж, брат ты мой, шестьсот лет непрерывной родословной без всяких геральдических недоразумений... Последняя Арсеньева!.. шутка?.. Красавица какая, видел бы ты! В предках у нее и святые были, и полководцы, и министры, и черти, и дьяволы. Ей, по ее породе и капиталу, за владетельным принцем быть — и то бы не в обиду. И, однако, почему-то вышло так, что вот она — не Рутинцева, не Оберталь, не Пожарская, а дуботолковская купчиха второй гильдии, Софья Постелькина... и для того, чтобы сию блистательную карьеру свершить, она кружево плела, и портки мыла, и в мурье нищенской слепла... Нам с тобой, Митя, женщины жертв не приносили!..

— Зато мы их много принесли! — шумно вздохнул Пожарский.

Зеркальные залы Кюба чернели, как муравейник, переполненные гостями. Было дымно, чадно, людно, шумно. Слуги открывали верхние рамы колоссальных зеркальных окон, по залу проходили волны сквозняка, на который из-за столов отвечали воркотня и кашель, — рамы опять послушно стукали, и снова дышали остатком того воздуха, который позабыла в ресторане незримо пролетавшая сырая улица, пока не отравят его человеческое дыхание, пот, кухня и никотин. Под электричеством, в тесноте, стук ножей под громкие разговоры, несколько посетителей, случайных, не из числа habitués*, беспомощно бродили между столиками, окидываемые почти презрительными взглядами невнимательных, избалованных татар, тщетно стараясь найти себе хоть пло-

* Завсегдатаи (*фр.*).

хонькое, на уголке стола, местечко. Белая куртка хозяина и колпак распорядителя оживляли черную массу гостей двумя прыгающими белыми пятнами, появляясь в ней то здесь, то там и переотражаясь во множестве встречными зеркалами. Дмитрий Михайлович и Рутинцев мест не искали: Пожарский вошел к Кюба как свой человек, у которого здесь стул исконный, насиженный. При входе швейцар передал Дмитрию Михайловичу несколько писем на его имя.

— Что это? — изумился Рутинцев.

— Видишь: почта.

— Тебе пишут столько писем к Кюба?

— Да ведь знают, что я бываю здесь каждый день.

Авкт расхохотался.

— Ну, Петербург! А в полиции ты как значишься? Прописан по своему адресу или числишься обывателем ресторана Кюба, по столу № 10?

— Остри, остри... Скальковский и Зволянский не нам с тобою чета: целыми департаментами ворочают, а им сюда не только письма пишут, но, случалось, курьеры деловые бумаги к подписи носили... Не угодно ли? Ну как же мы с тобой? Прямо в «комитет общественного спасения»?

— Что за комитет такой? — засмеялся Рутинцев.

— Провинция! Наш стол... Все наши...

— Ой, нет! Это сразу пойдет шампанское и орлянка, а я имею к тебе слова...

— В таком случае, прямо вверх по винтушке и в кабинет, пока никто не перехватил.

Но перед Авктом Рутинцевым уже вырос рослый господин, щегольски одетый в какую-то особенную, чрезвычайно домашнюю и предорогую бархатную куртку, точно вот он только на минутку, чтобы наскоро поесть, оторвался от работы в кабинете либо студии — и сейчас же, сию минуту, сию секунду вернется назад к своему художественному труду. Господин был красивый двуногий зверь, хорошей пушной по-

роды, хотя и с полинялым несколько мехом: темные вьющиеся волосы над высоким лбом уже весьма пестрели проседью и были редковаты — лысиною не назовешь, да и не кудри; нос не то чтобы красный, но румянее, чем позволяют ждать несколько одутловатые и не без желтизны щеки, и както, не по общей тонкости профиля, растолстевший и тяжеловесный; карие глаза беспокойные, талантливые, с бегающим, острым движением быстрого внимания, сторожкий, пуганой птицы зрачок, — и по белку резкие красные жилки; тело сорокалетнее; но брюхо — зыбкое под коричневым бархатом, подчеркнутое, как границей сверху, золотою цепью, переброшенною по груди через борт из кармана в карман, типическое брюхо, много вина и пива на своем веку вместившее, — выперло вперед на все пятьдесят, да и с хвостиком.

Господин протянул белую, мягкую, барскую руку и произнес тем же звучным от природы и сиповатым от жизни баритоном, что давеча окликнул Авкта на Невском:

— Здравствуй, Рутинцев... Я давеча обогнал тебя... Ха-ха... Ты ужасно скучно плелся в своем пенсне... такой съеженный... Рад тебя видеть... Из Москвы?

В тоне господина звучали благосклонность и важность самодовольствия чрезвычайного. Так должны говорить боги, когда они настолько добры и в духе, что удостоивают снизойти своею беседою до обыкновенных смертных. Пожарского господин оглядел рассеянно, как корпусный командир на смотру запамятованного им подпоручика, но затем, признав в нем довольно ходкого присяжного поверенного, милостиво улыбнулся и широю, ребром, подал и ему левую руку, которую тот, со своей стороны, пожал не без почтительности и, во всяком случае, с заметным самоудовлетворением: конечно, мол, ты знаменитость, ну да и я не обсевок в поле.

— Не совсем из Москвы, Георгий Николаевич, — отвечал Рутинцев, избегая местоимений, потому что не помнил, был ли он с Брагиным раньше на «ты», в ровнях по взросло-

му товариществу или тот обращается к нему на «ты» еще по былому праву близкого старшего, который знал его в Москве мальчиком, когда сам был юношей. — Не совсем я из Москвы... В провинции много путался... в Дуботолкове-городке с недельку пришлось прожить... Имеются в лоне Руси-матушки и такие благословенные недра.

По лицу Брагина прошла тень, и капризные дуги бровей неприятно шевельнулись над омраченными глазами.

— В Дуботолкове... — протянул он, продолжая держать Авкта за руку, и тут же кивнул чрезвычайно фамильярно, пожалуй, даже свысока, мимо проходившему военному в густых эполетах: — Bonjour, général!..* Почему вчера вас не было видно в балете?.. А! а! мы на этот счет слышали кое-что, где вы пропадаете. Напрасно: много потеряли. Оляша танцевала «Балладу о колосе»... mais... c'était tout a fait magnifique! délicieux!..** Малечкины партизаны губы себе съели от зависти...

«А по-французски-то ты, великий человек, говоришь по-прежнему — испанской корове подобно!» — смешливо подумал про себя Авкт Рутинцев.

Брагин отпустил генерала и опять обратился к нему:

— Так... в Дуботолкове был, говоришь, ты?

Он оглянулся и, заметив позади себя пустой стол, сел к нему и потянул за собою Рутинцева, а Пожарскому сделал пригласительный жест.

— Присядьте, господа... очень рад вас видеть... Monsieur Almire!*** — окликнул он проходившего мимо хозяина, но так как тот не расслышал, то Брагин нахмурил тонкие брови свои, стукнул ребром ладони по столу и, повысив голос, оторвал коротко и как-то в нос: — Альмир!

---

* Здравствуйте, генерал!.. (*фр.*)

** Восхитительно... это было прямо-таки изысканно! Сладостно!.. (*фр.*)

*** Господин Альмир! (*фр.*)

Белая куртка быстро повернулась, показав над собою красивое и сразу красное от неудовольствия на фамильярность французское лицо, которое, однако, не замедлило принять ласковое выражение, как только хозяин узнал, кто его зовет.

А Брагин заказывал:

— Флакон... нет, два флакона... И миндаль...

— Помилосердствуйте, Георгий Николаевич, — защищался Пожарский, — мы еще не завтракали...

— Только еще думаем водку пить, — сказал и Рутинцев.

— Ага? — задумчиво произнес Брагин. — Это намерение серьезное и правильное. И патриотическое. Мой друг, Сергей Юльевич Витте, думает на подобных намерениях построить благополучие и счастье России. Очень возможно, что это — единственный фундамент. Да! Исконный, от Владимира, хотя кто его знает, Владимира, что именно пить было веселием Руси? Зубровки ниже смирновки с поповкою в десятом веке, конечно, еще не было... Разве и мне с вами? а?

— Сделайте честь, Георгий Николаевич.

— Положим, я уже завтракал, и водку пил, и вино, и шампанское, и даже пиво, но... Разве и мне с вами? Пойдемте к буфету... там семга архангельская... великолепнейшая, намазывается ножом на хлеб, как масло. Спасибо вам, Савва Иванович, — послал он воздушный поцелуй через два стола красивому пожилому господину в седой французской бородке и с большими музыкальными ушами, — русское вам спасибо до земли... Выстроили дорожку на Архангельск: благодаря вам теперь вот свежую семгу едим. Оттуда к нам — семга, от нас — туда, — всякие ссыльные сеньоры и сеньорши... Excellent!*

Седой господин во французской бородке засмеялся и ответил Брагину тоже воздушным поцелуем.

* Прекрасно! (*фр.*)

— Ну, — прошептал Авкту Рутинцеву Пожарский, проходя к буфету, — если ты имел сказать мне что-нибудь серьезное по делу, то пиши пропало. Брагин уже немножко в градусах и вклепался в тебя. Не угодно ли? Теперь от него не скоро отделаешься. Он, когда кого-нибудь осчастливит своею благосклонностью, то — как пластырь.

У буфетной стойки к Брагину подскочил малорослый слуга-татарин с птицеподобной физиономией, гости так и звали его — Бекас, и он откликался на кличку, как на собственное имя, — и почтительно зашептал, что-то выпрашивая или отклоняя. Брагин выслушал, двигая левою бровью, и презрительно повел плечом.

— А мне очень надо, что это их стол! — сказал он, берясь за рюмку. — Сиятельный стол... большая важность!.. стол свободен, и я его беру. Пусть их сиятельства приходят вовремя, если желают сохранить свой стол от прикосновения простых смертных. Или вывеску над ним прибейте, что, мол, этот стол — сиятельный и просят подле него не останавливаться. Ха-ха-ха! Не так ли, Пожарский? Слава Богу, мы в России. Других гражданских прав не имеем и не ищем, но в кабаке у нас — droits de l'homme: liberté, égalité, fraternité...* Ваше здоровье, господа...

Чуть прикоснулся губами и, сморщась, тут же поставил рюмку — нетронутую — на стеклянный подик буфета.

— Послушайте! Бога вы не боитесь! — страдальческим тоном искреннейшего негодования обратился он к буфетчику, так что тот даже покраснел булкообразным, в маленькой бородке лицом своим. — Бога вы не боитесь! Чего вы мне сюда в очищенную накапали?

— Померанцевой-с, как обыкновенно, — недоумевал буфетчик, даже потея под уничтожающим взглядом Брагина.

— Померанцевой-с, — передразнил его тот и уже почти трагическим басом каким-то внушил, глядя на растерянного

* Правда человека: свобода, равенство, братство... (*фр.*)

буфетчика, точно судил его за государственное преступление: — Мятной-с! мятной-с! заграничной мятной, eau de menthe*, а не померанцевой. Десятый год каждый день у вас водку пью. Пора бы знать.

— Виноват-с, — спохватился буфетчик, меняя рюмки. — Простите великодушно, Георгий Николаевич. Виноват-с. Померанцевую — это господин Кобыльников.

— Мало ли что какая свинья у вас пьет, — сердито возразил Брагин, видимо, не желая стоять на одной доске с каким-то господином Кобыльниковым. — Вы мои привычки обязаны знать... Еще по одной? Как? Уже довольно? Ну, довольно так довольно... Сядем, господа. Мосье Альмир, флакон!

Сесть им пришлось все-таки за другой стол, а не за тот, который наметил было себе Брагин с таким апломбом. И, покосившись на тот, прежний стол, журналист искусно сделал вид, будто не заметил перемены. Покуда они пили водку и закусывали, за тем столом уселись четверо военных, все — в мундирах весьма знаменитых и аристократических полков. Один, светлоусый, в черкеске, стриженный по-казацки, но с типически дерзким лицом прусского поручика, обращал на себя внимание огромною кавказскою шашкою старинного нерусского образца. Пожарский указал на нее Рутинцеву.

— Шамилева шашка... по особому разрешению носит и нигде с нею не расстается... дед или отец, что ли, с Шамилем, еще не замиренным, будто бы поменялись оружием на поле брани... не угодно ли? Ну а теперь много эта шашка ужаса наводит в игорных домах.

— Неужели шулер? — тихо изумился Рутинцев.

— Нет, что ты! как можно! Noblesse oblige!** Но проигрывать не любит... Выигрыши со стола забирает, а проигры-

* Мятная (*фр.*).

** Честь обязывает! (*фр.*)

вая, своих наличных никогда не показывает — удваивает куши, не выставляя, в кредит, пока не отыграется. Не угодно ли?

— Банкомет отказаться вправе.

— Вот тут-то шашка Шамиля и выручает. Как? что? кто смеет не верить сиятельной чести? Изрублю и в ответе не буду! Мой прадед Петербург от Бонапарта спас!.. Не угодно ли? Ну и плачут, а мечут...

Он засмеялся и добавил:

— А между прочим, злые языки говорят, что Шамилева-то шашка — давно не настоящая. Подлинную будто бы еще лет пять тому назад сломал на спине этого самого грозного барина верзила один, тверич или псковин, уж не помню, где было дело...

— Карточная история?

— Нет, что-то из-за жены или свояченицы...

Сосед «шашки Шамиля» был чистенький, приличненький, румяненький офицерчик из не замечаемых никем, как мебель, покуда они не говорят. Он имел вид человека, случайно допущенного в общество круга, гораздо высшего его собственного положения, и, хотя старался держаться независимо, но, заметно, чувствовал себя столько же сконфуженным, сколько обрадованным и самодовольным. Остальные двое — на диванчике под зеркалом — были совсем юнцы, необыкновенно высокого роста и с красивыми, пожалуй, потому что очень большими и правильного длинного разреза, но совершенно оловянного цвета, недвижными глазами.

Звездочки на погонах указывали, что чины на юношах небольшие, и так как старших военных проходило мимо довольно много, то молодым людям приходилось вставать для отдания чести довольно часто. Но, очевидно, юноши были из знати богатой и влиятельной, из тех слоев, о которых император Павел выражался: «У меня, сударь, аристократ тот, с кем я говорю и покуда я с ним говорю». Потому что, про-

ходя мимо них, военные, тоже все без исключения, даже старики, подтягивали животы с подобострастием и на отдаваемую юношами честь отвечали столь поспешно и умильно-игриво, точно — на милую господскую шутку. И только один краснолицый, в очках, генерал великолепно провалил мимо столика в сопровождении адъютанта своего громадным толстым слоном, едва скользнув по юношам взглядом и лишь послав им, вскочившим, снисходительный слабый знак тяжелой рукой: сидите, мол, пожалуйста! Здесь все равны... Потому что на этот раз уже юноши тянулись — длинные, как хмелевые жерди, и ели генерала глазами, покуда он, мерно качая грузное, слоновье тело свое, не исчез в крайнем зале.

— Драгомиров, — кивнул Брагин на широкую генералову спину. — Объясняться вызван... Опять что-то начудил...

Он захохотал.

— Ничего, ему можно... Я, должен вам сказать, его за эти вечные штучки не одобряю. Что за фронда, когда он — корпусный командир? Я в военном деле — поклонник строжайшей дисциплины... Рассуждения — наше дело, штатское, а военные должны не рассуждать, но помнить дисциплину. Драгомиров позволяет своим офицерам слишком много рассуждать. Он делает из них баб каких-то или попов. Солдат должен быть солдатом, гуманности и миндальности — к черту! Довольно нам милютинских-то отрыжек. Нагуманничались и наминдальничались до того, что эта поганая гниль, Западная Европа, смотрит на нас, с позволения сказать, как на свой ассенизационный обоз... Если бы я был военный министр, я провел бы закон, чтобы за вольнодумство, обнаруженное в рядах армии, — расстреливать... прямо, без предварительных формальностей, по простому офицерскому суду, расстреливать, как собак, чтобы паршивая овца не портила стада... Вам не нравится, Пожарский?

— Видите ли, — заежился тот, опуская в тарелку и глазки, и ноздри свои, — я вспомнил афоризм того же Драгоми-

рова, что самые свирепые военные законы обыкновенно сочиняются штатскими.

Брагин посмотрел на него воспаленными глазами своими и ничего не сказал в ответ, а только сложил замечание в памяти, пока само не выскочит возражение.

— Драгомиров... — продолжал он. — Драгомирову можно... Что он либеральничает, гуманничает, фрондерствует там у себя в корпусе — мне претит. Да! Теперь век не Суворовых-с, а Мольтке, Китченеров и Гольц-пашей. Петухом-то ныне кричать — немного выкричишь... Но — старик! Гений вправе иметь слабости. Надо снисходить. Драгомирову можно... Как-никак, наша главная надежда, ежели Вильгельм...

Он в обычном своем жесте стукнул ребром ладони по столу и, вспомнив замечание, обратился к Пожарскому даже плачущим каким-то голосом:

— Друг! Неужели я не понимаю? Неужели вы думаете: я не понимаю? Но — Германия, мой друг, Германия! Разве я жестокий человек? Слава тебе, тетереву, молод был, глуп был — полиберальничал тоже на своем веку. До сих пор мне в известных кругах глаза колют, что я был из красных красный... Сочувствовать бурбонам каким-нибудь, мракобесам-фронтовикам — разве Брагин в состоянии? Брагин? — повторил он, с видимым наслаждением прислушиваясь к звуку своей фамилии. — Сам, батюшка, народником был, в народ ходил, красную рубаху носил, сапоги смазные... Левая печать, — гневно фыркнул он, — на меня теперь собак вешает, ренегатом меня зовет... Наплевать! Я, батюшка мой, себя знаю, мне и довольно. Я, может быть, в душе-то такой далекий прогрессист, что никаким Михайловским с Короленками за мною не упрыгать... Но — Германия, сударь мой! Германия! Какой тут может быть внутренний политический или социальный разговор, когда у нас вдоль западной границы — бельмо длиною в две тысячи верст? Уберите с горизонта усы Вильгельма, раскокошьте мне эту чертову Германию так,

чтобы от нее пух и перья летели, — я к вашим услугам: опять первый либерал буду, готов не то что реформ просить, хоть конституции требовать... Но покуда на носу сидит Германия, извините, нам нужны не конституции, но — во!

Он сжал кулак и кругло потряс им в воздухе. Говорил он громко и, показалось Рутинцеву, не без расчета быть услышанным и замеченным со стола вельможных юношей.

— Во! — повторил Брагин и опустил кулак на стол. — Когда мы расчешем Германию, реформы сами придут. Отберем у них французские-то миллиарды — тогда сделайте ваше одолжение: и просвещение, и улучшение народного хозяйства, и мелкая земская единица, и рабочий вопрос, и права, и совещательные учреждения... совещательные! — строго подчеркнул он, поднимая палец. — Пожалуйста. Потому что страна, богатая и победоносная, имеет право себе позволить. Вы думаете, я враг просвещения? Я? Писатель? Да — помимо всех принципиальностей, — мне просвещение уже просто практически выгодно: у меня читателя прибавится, меня больше читать и покупать станут. Я рад бы всю Россию застроить школами. Но когда же у нас нет денег на просвещение? Ну, понимаете, когда же нет, нет и нет? Как я могу требовать от правительства: дай сто миллионов на просвещение, когда это значит — откажись от постройки броненосца, не заказывай в Эссене пушек, не устраивай больших маневров? Никто больше меня не ценит права гражданства и просвещения, но, покуда не сломаны гордые рога Германии, все это — пуф, бессмысленные мечтания. Да! — разгорячился он, опять-таки очень искусно не замечая, что «шамилева шашка» и длинные юноши к нему прислушиваются с откровенным интересом. — И предаваться им — это, как вам угодно, значит, играть в руку врагам России и разводить смуту... да! смуту! да!.. Жидишкам да полячишкам естественно смутьянить, потому что разложение России для них великий праздник, светлый день. Но когда русские тоже

тянутся за ними и влекут страну к внутреннему перевороту, в то время как на Западе нависла тучею каска померанского гренадера и торчит прусский штык, это грустно. Я таких господ почитаю за изменников своему отечеству и нисколько не питаю к ним сожаления, когда старик Бараницын с твоим, Авкт, любезным братом знакомят их с местами, где не весьма пахнет розами!.. Да! Потому что я не хочу, чтобы ко мне на Захарьевскую пришел в одно скверное утро прусский унтер-офицер со взводом, и ограбил бы мою квартиру, и отправил бы мои бронзы, мои картины под предлогом реквизиции в какой-нибудь Оберпфаффенкухенпфенигунтендорф в подарок своей Liebchen*, и забрал бы в Вильгельмовы солдаты моих детей, и изнасиловал бы мою жену... Впрочем, — вдруг спохватившись, криво улыбнулся он и даже сразу упал голосом, с косым взглядом на Авкта, у которого тоже пенсне смущенно подпрыгнуло на носу, — впрочем, последняя угроза мне лично, как тебе, Авкт, известно, не опасна... Ха-ха-ха... Ты, к слову сказать, не видал ее там?

— Где и кого? — с осторожностью спросил Авкт, выпрямляя пенсне.

— Боже мой! — нетерпеливо, но тихим уже голосом рванул Брагин. — Ну вот откуда ты теперь... Как его? Дуботолков? Чертополохов?.. Ведь там она где-то изволит околачиваться, супруга-то моя, почтеннейшая и прекраснейшая Евлалия Александровна... краса российской революции... ха-ха-ха!.. Не встречал?

— Видел, — подумав, протяжно произнес Авкт, соображая, что раз Брагину известен адрес его бывшей жены, то ему скрывать свою недавнюю встречу с нею излишне.

Глаза Брагина живо блеснули, он открыл рот, хотел что-то спросить. Но в эту минуту мимо стола к выходу шел высокий белоголовый и белобородый старик в золотых очках, тоже в бархатном пиджаке и с великорусским умным лицом, ко-

* Любимой (*нем.*).

торое — глядя по его выражению — одинаково хорошо годилось и для апостола, и для бурмистра. К вящему сходству с последним, красивый старик имел в правой руке дорогую трость с крючком, на которую, впрочем, не опирался, а больше держал ее под мышкой, что нельзя сказать, чтобы удобно было для сзади идущих. Брагин с приветливым жестом встал навстречу старику, и между ними завязался быстрый разговор о театре.

— Собственно говоря, какая, к черту, она актриса? — горячился о ком-то старик. — Собственно говоря, пусть ее смотрят черти собачьи!

Брагин убедительно и нежно говорил старику:

— Алексей Сергеевич, но согласитесь: другой же у нас нет, я не отрицаю недостатков, но нет другой, она — единственная... согласитесь.

Вертя крючком трости под мышкой — к великому смущению шмыгнувшего сзади Бекаса, около головы которого кончик трости описал престрашную дугу, — старик, едва выслушав, сейчас же согласился:

— Да, собственно-то говоря, конечно, вы совершенно правы — другой нету, и она лучше всех, собственно говоря.

Но тут же ужасно рассердился на себя, зачем согласился, и закричал, фехтуя крюком:

— Это вы всех перепортили, собственно говоря! Вы, новые хвалители! У вас все светила да звезды. Астрономы какие-то, а не критики, собственно говоря! Где Васильевы? где Мартыновы? Вымерли, собственно говоря! Ну, есть Стрепетова — что с нею сделали? Проквасили! Обозлили! Измучили! Где она? Вот и смотрите теперь в театре вместо актеров чертей собачьих!

Авкт перегнулся через столик к Пожарскому и спросил его больше глазами, чем шепотом:

— Суворин?

— Заметил ты, — сказал он тихо и улыбаясь, уверенный, что Брагин не слышит его, увлеченный спором, — как Бра-

гин громко программу свою излагал? Полагаю, что не для нас с тобою это предназначалось... Не угодно ли? Мало ему, видно, газеты-то в показании благонадежности своей, живых телефонщиков в горние сферы ищет. А — как сгоряча уж очень разбежался да споткнулся о супругу-то, так и голоса не стало... Хи-хи-хи! То-то! не угодно ли?

Авкт возразил:

— А ты, Дмитрий Михайлович, тоже хорош. Слушаешь, как он дичь порет, и молчишь.

— Ты, кажется, тоже ни словом не обмолвился?

— Мне что! Я не либерал... обыватель компанейский, но самый не общественный. Я со всяким режимом уживусь. Да он к тебе больше и обращался.

— Вот этого не хватало, — произнес Пожарский, несколько сконфуженный, с розовыми пятнышками на выпуклостях лба и на скулах. — Этого недоставало, чтобы я у Кюба политический диспут начал... Я, брат, и то уже у известных господ в подозрении, и без того во мне иные лидера какого-то видят... Не угодно ли? Вон — господин-то сидит! — показал он глазами на дальний столик, занятый брюнетом южного типа, лысоватым со лба, с чудеснейшею бородкою на манер Буланже, с саркастическим складом крепко сжатых губ. Не то — дипломат, не то — крупье, не то — по полиции, не то — не дай Бог встретиться в глухом переулке.

— Кто такой?

Пожарский опять нагнулся через стол и тихо назвал какую-то польскую фамилию.

— Братца твоего влиятельнейший конкурент, — насмешливо прибавил он. — Вот, поди, не угодно ли, поди, справься у него о местопребывании Бориса Арсеньева...

— Нет, благодарю, что-то не хочется, — отшутился Авкт, шмыгая пенсне по красному носу, с пренеприятным жатием в груди. — Я уж лучше на твоего Таратайкина упование возложу.

— А что? обожгло? — поддразнил Пожарский.

— У вас тут такие инкогнито вдруг открываются, что этак, с непривычки и от неожиданности, можно родимчик получить.

— А, мой милый, на то Петербург и Кюба. Вся иерархия сфер. И престолы, и силы. К этому господину, — говорил он, разрезывая ножом рябчика, — к этому господину приходит недавно мать одна, старуха, интеллигентная госпожа, заслуженного полковника вдова, ну, знаешь, из таких, с которыми даже эти господа если не церемонятся, то хоть стараются не быть слишком развязными. «Позвольте, — требует, — ваше превосходительство, на каком основании вы мне не возвращаете из Сибири сына моего? Ему сроки вышли». Не угодно ли? Его превосходительство отвечает с апломбом: «Нет, значит, не вышли; если бы вышли, то мы возвратили бы. У нас это строго. Мы на этот счет святее, чем сам закон, который мы призваны исправлять и дополнять». Старуха не из податливых, дыбится: подай ей сына! где сын? — доказывает, сыплет статьями. Ведь, знаешь, эти матери, когда защищают чада крови своей, такими-то юристами становятся: Ульпианы и Папинианы в юбках, — не угодно ли? Прижала барина в угол, пришлось ему сознаться, что держат парня действительно без всякого соображения и не по закону. «Хорошо, — говорит, — сударыня, я снесусь с иркутским генерал-губернатором; если там на месте не встретится препятствий, то мы ничего не имеем против: у нас это строго! Мы святее, чем закон!..» Старуха, однако, посулом не удовлетворилась и — ко мне: не угодно ли? хлопочите! А я к Таратайкину. Таратайкин, получив две красненькие, справляется по канцелярии, в каких-то ихних там книжках особых и затем — весьма сконфуженный — сообщает мне с совершенною откровенностью: «Они его, Дмитрий Михайлович, освободить не могут». — «Почему?» — «И рады бы — да некого». — «Почему?» — «Да ведь они его потеряли!..» Не

угодно ли?! «Как потеряли?» — «Да так: поленился или позабыл наш бумагу подписать, махнули парня за Челябу, как овцу бездокументную, «в числе прочих», ну и потеряли. Дело — тут, а где человек — неизвестно. То ли в тюрьме, то ли на поселении. Мало ли их, поселенцев-то, в Сибири, ищи теперь, куда его там сунули...» Не угодно ли?.. «У нашего, — говорит, — это не первый случай, потому что — кабы человек был, а то — балда: только шампанское на уме да девочки, да — какой бы новый непристойный анекдот рассказать...» — «Да ведь этак, — говорю, — слушайте, парень наш, пожалуй, уж и помер?..» — «А очень просто, — отвечает, — что очень мог и помереть. Разве Сибирь людей сберегает?» — «А может быть, и жив?» — «Нет ничего удивительного, если окажется и жив: они, политические, страсть живучие, ровно кошки». — «Слушайте, Таратайкин: ведь это черт знает что! как ваш гусь сановный ни силен, но на сем месте он себе шею сломит! Маменька пропавшего — не какая-нибудь беззащитная, она жаловаться будет, поднимет шум...» Но Таратайкин — преспокойнейше: «А вот этого бы я никак не советовал». — «Почему?» — «А потому, что сейчас вот оно нам с вами еще неведомо, как он, парень ваш, жив или помер; а если мать очень беспокойно шебаршить начнет, так тогда он наверное в умершие спишется...» А? Не угодно ли?.. «Мертвою, — говорит, — ведомостью человека покрыть недолго. Поищите-ка его тогда, когда он в бумагах будет покойником значиться». — «Следствие вызовем!..» Смеется: «Ну уж по начальству-то промежду себя отписаться — на это нашего взять, никого другого не попросит. Вы лучше положитесь на меня и потерпите; сразу невозможно, а — месяца три-четыре поискав, найдем...» Не угодно ли?

Брагин возвратился к столу, оживленный, приподнятый.

— Странный народ эти старики! — сказал он, садясь. — Умен, образован, а века своего никак не хочет перескочить.

Из того, что они там видели каких-то Садовских, Васильевых, им в современном театре все кажется, как Гулливеру: был в стране великанов, а теперь попал к лилипутам... И, наконец, я не спорю. Разве я спорю? Конечно, упадок, во всем упадок. Театр, искусство, литература, поэзия... Разве я не понимаю?.. Помилуйте, какого-нибудь Чехова, Антона Чехова, просто сказать, Антошу Чехонте — теперь вдруг производят в великие люди: вот до чего дошло оскудение-то наше! Я этого Антона мальчишкой помню: приносил мне в Москве студентик рассказцы — ну ни то ни се, смешно, конечно, но идеи никакой, форма первобытная... Юноша, — говорю, — вам надо учиться, учиться! Бросьте бумагу-то марать прежде времени, изучайте великие образцы... Сколько я его правил, сколько рукописей ему возвратил... И вдруг теперь — печатают — сам читал: чеховский период литературы... серое время... хмурые люди... рядом с Достоевским, больше Тургенева... Помилуйте! Почему? За что?.. Швыряйтесь великими именами-то! Нет, батюшка мой, дудки! Пока я жив и перо в руках держу, — а ни-ни! Идеалов литературных не выдам и кумиры сокрушить не допущу. Без живого идеала не проживете! Я за авторитет! Я всегда за авторитет. Идолопоклонничество? И наплевать. И очень прекрасно, что идолопоклонничество. Идолы нужны! Да! Нужны, потому что в них сидят народный инстинкт и идеал! Да-с! Начнете ломать идолы, а там и до икон доберетесь! Знаем мы, куда это гнется. Наглотались мы тоже смолоду писаревщины-то, покорно вас благодарю. Крушили, крушили идолов, да и дожили, что должны куклам и чуркам кланяться. Чехов — у них герой времени! Аберрация! Мир карликов...

Он нервно прихлебнул вина и продолжал минорным звуком:

— А впрочем, и впрямь карликовое племя... Ну, в самом деле, кто у нас сейчас хотя бы в литературе? Если не считать Льва Толстого, два-три старика, которые ничего не пишут, да я. Грустно-с! грустно-с! Живешь, как один в поле

воин! Кругом гробы да смертные одры, а что помоложе — бездарно, раздуто, льстит толпе, лезет ради успеха в шоры политической тенденции. Двадцать лет литература воняла мужицкими портянками. Что вы на меня глядите? О! Я себя не исключаю, сам был увлечен и грешил. В «Отечественных записках» тоже рассказы печатал, как крестьяне посылали ходоков новых земель и правды Божьей искать... сам!.. Но мы же огляделись, мы же опомнились, а ведь тут... ни чутья, ни меры!.. Мужик из моды вышел, рабочего на пьедестал тянут. Марксисты какие-то полезли из щелей... И, наконец, прошу покорно: дождались! в увенчание коллекции прет на сцену, уже простым напросто рожном, совершеннейший Стенька Разин... Максима Горького какого-то теперь выдумали, гения высокоумного. Как же-с! в моде-с. Даже в великосветских салонах ахают: ах, босяк! ах, поэт! Да позвольте же, наконец, что за диво такое? Босяк — значит босой человек, бродяга, у которого нет обуви, голоштанник: до генерала далеко! Что за радость особая литературе, что пришел такой писатель, который даже не знает, как сапоги носят? «Море смеялось» — и все восхищаются: Айвазовский! Ну нет, меня словечком не купишь. Я в рецензии прямо написал: «Ничего нет удивительного, если море смеялось: вероятно, оно перед тем читало рассказы г. М. Горького о бывших людях — на них не только жидкая влага, но и твердокаменная суша в состоянии зубы оскалить...» Ха-ха-ха!

Он засмеялся насильственно и неестественно, не веря в надобность и успех своего смеха, и быстро умолк, не поддержанный ни Авктом, который о Горьком не имел понятия, ни Пожарским, который поддакивать не имел резонов, а спорить не хотел. Да и вряд ли можно было бы спорить: Брагин был в настроении говорить, а не слушать, — его стремило речью, как Иматру, вперед и вперед.

— В салонах его читают... В салонах!.. — горько повторял он: развращение Горьким салонов, по-видимому, удруча-

ло его паче всего. — Какая-нибудь графиня Буй-Тур-Всеволодова, моя belle soeur*, у которой ума ровно столько же, как, с позволения сказать, у фаршированной курицы, даже и та пищит мне намедни из блондов своих: «Не спорьте со мной, не спорьте! Мне Михаил Ильич Кази говорил, а ему сама королева эллинов сказала: Горький — новый Гомер!..» Ведь это же...

Брагин в недоумении даже руки расставил и — медленнее — продолжал:

— Я намедни беседовал с новым начальником главного управления по делам печати. То есть, собственно говоря, вызываем был к нему по одному нашему газетному приключению. Я ему прямо сказал: «Вот, ваше превосходительство, нам вы даже патриотами быть не позволяете и всякое наше лыко ставите нам в строку, а что у вас Гомеры завелись, которые открыто проповедуют социализм, и анархизм, и свободную любовь, и собственность всякую отрицают, поострее даже Прудонов французских, и «люмпенпролетариату» дороги требуют, Стеньку Разина призывают, — тому, значит, так и быть?..» Смеется косой демон. «Что? или нового конкурента испугались?..» У меня сердце изболело за литературу русскую, а он — «конкурента испугались»!.. Сидят тоже у нас на ответственных постах-то человечки... Эх! Куда смотрят? Что видят? Да если бы я...

Он оборвался, хлебнул вина и с сердцем поставил стакан на стол.

— А впрочем, если бы даже и боязнь... ну нет, это слово глупое! Чьей конкуренции я бояться могу? Не так-то часто Брагины родятся в России. Но — скажем: нежелание конкурента? — заговорил он другим тоном — человека, как-то сразу вдруг решившегося раскрыть карты на стол, вызывающе глядя глазами, которые вдруг сделались задорными,

* Свояченица (*фр.*).

почти наглыми, бретерскими, главным образом, на Пожарского: в нем Брагин инстинктивно чувствовал тайную оппозицию. — Если бы в самом деле нежелание конкурента? Что же? Разве я не прав? Покорно вас благодарю! Двадцать лет литературного служения обществу... побегал я тоже следом за этою вашею душкою, почтеннейшею публикой-то! Покорно вас благодарю. Двадцать лет!

— Публика вас любит, Георгий Николаевич, — сказал Пожарский, чтобы что-нибудь сказать, потому что молчать было уж слишком неловко под этим тяжелым, назойливым взором.

Брагин сразу смяк:

— Не отрицаю. Конечно, жаловаться на невнимание мне не приходится. Могу сказать: я знаю Россию и Россия меня знает. Ну я считал уже: Лев Толстой в особую величину; ну, пожалуй, из нашего поколения дальше там кто? Короленко, что ли? Хотя он... ну да пусть! пусть! допускаю: он, хотя ничего не пишет, пусть будет прежде меня!.. Господи! разве я за первым местом гонюсь? На что мне? Слава Богу! Богат, известен, окружен... ну на что мне?.. Но дальше-то — за Короленкою — ведь пусто же, конечно! И в первой очереди — хочешь не хочешь, — конечно, я. Так чего же мне это стоило? Я себя, как масло, пахтал, я себя в шнурок вил... А тут вдруг приходят какие-то Гомеры без сапог, смолой от них пахнет, сапожным варом, сельдью керченской, говорят на «у», «кажный» и садятся тебе на шею, и публика — вся оказывается не твоя, но их... Приятно?.. после двадцати-то лет каторги? За выслугу-то? а? Приятно?

С тех пор как оловянноглазые юноши покинули свой стол, что случилось уже давно и как-то совсем незаметно, Брагин раскинулся на диванчике гораздо развязнее, говорил еще громче и все высокомернее в нос и часто подчеркивал концы фраз, ударяя стаканом по столу.

— Намедни Сергей Юльевич Витте говорит мне: «Погодите, Георгий Николаевич, вот есть у меня идея, чтобы при

Академии наук учредить отделение изящной словесности, тогда первого вас в бессмертные попросим! Как только вопрос винной монополии проведем и государственную продажу вина учредим, так сейчас же — следующим делом — за казенною винною лавкой, ждите академию!..» Очень благодарен, ваше высокопревосходительство! Это все равно что прельщать человека: сделай милость, помри — мы тебя похороним с музыкой и по первому разряду. На кой мне прах их академия? Не желаю саркофагов! Мне публику дайте, публику — вот эту самую, — широко повел он рукою, — большую шельму публику, чтобы я ее чувствовал, черт ее побери, что она вот тут, со мною, моя, любит меня, как я ее, демона, люблю... чтобы не надувала она меня, потаскушка поганая, со всяким встречным и поперечным... Вон у меня в сорок с малым лет голова седая: от кого? От нее, канальи, от нее, мерзавки, от ее капризов ведьминских, от дум ежедневных, еженощных, как ее поймать и угадать.

Он грустно покачал редеющими кудрями своими.

— Публика! Публика! Кто, как я, понимает это слово? Чего я ему в жертву не принес? Молодость была, на стену лез, революциями дышал, мир перестраивать собирался. Меня, батюшка, Салтыков надеждою признавал. Меня за «Ходоков»-то моих Михайловский, на что сдержанный человек, поцеловал и обнял. Кабы я в их монастыре-то удержался, игуменом бы теперь был. Конечно, может быть, и в Пинегах, Мезенях морошки отведать пришлось бы, так за то... Нет! Не выдержал характера! Пришла публика — поманила из монастыря, прелестница, — все к черту! Заласкала, затуманила... ничего, кроме ее улыбок, в глазах не осталось. Этак — я, этак — мир, а между нами занавес, пелена, и на ней золотая надпись: «Люблю тебя, дурашка! Твоя публика»». Хватаешь занавес-то, а ощущение такое, будто мир объемлешь, твой стал мир-то! Застелило глаза. Были друзья... хорошие университетские друзья... литературные друзья... Мерзавцы они, конечно, потому что

весьма просто они порвали со мною, как только я благодаря публике сумел самостоятельно стать на ноги и получил возможность к свободе собственного мнения, без их поучительных шор... Но больно было, обидно, когда рвали-то... почему? кого я оскорбил или обидел? за что?.. А публика вокруг меня все больше да больше… веселая, хлопает, деньги несет... Плюнь! дураки! Вот они мы-то где — нас много, власть-то наша, правда-то наша: наш еси, брате Исаакие, воспляши с нами! И восплясал... Бекас! еще флакон! И восплясал!.. — энергически повторил он, вращая глазами. — Восплясал... Жена была. Ты знал мою жену, Авкт. Женщина-то какая? а? человек-то какой? Любил ее, ей-Богу, любил. И ее бросил. То есть она меня бросила!.. Да не все ли равно? Лопнуло! Разошлось! По швам! Все ушло туда — в пасть Молохову... Потому что — не выдержала: поняла, что я публику люблю больше, чем ее, и всегда ее на публику променяю... Сердце гордое, сердце ревнивое… «Либо я, либо улица!» — она всегда меня оскорбляла этим: мою публику улицею звала... Да? Взвесил: не могу — публика дороже... Бог с тобой, иди!.. Ушла...

Он трагически поник головою. Авкт чувствовал себя очень неловко, попав в конфиденты решительно против всякого своего ожидания и желания, и мигнул Пожарскому: не воспользоваться ли, мол, моментом, да не сбежать ли? Но Дмитрий Михайлович, сбыв свое похмелье, освеженный вином, румяный и любопытный, прихлебывал кофе и созерцал Брагина блестящими, осторожно насмешливыми глазами, находя, что случай послал ему в развлечение — не угодно ли — весьма занимательный анекдот... Публика в ресторане между тем редела. Авкт издали видел, как промелькнули к выходу русые бакенбарды его брата, Илиодора, а у хозяйского бюро явился красивый, стройный, янтарный, черненький, на черкеса похожий, с осанкою недавней военной выправки под штатским платьем, граф Евгений Антонович фон Оберталь.

Он мельком что-то сказал даме за конторкою, на что та поклонилась с большой и благодарною почтительностью, оглянулся на дымный, в синеватом облаке зал и, узнав Авкта, Пожарского и Брагина, пошел к ним, радостно расставляя руки.

— Как я рад, господа, вот приятно, что вы еще не ушли, — картавя на «р», говорил он, пожимая руки; голос у него был пренежный и гортанный, тоже говоривший воображению больше о Тифлисе, Ташкенте либо Тегеране, чем об остзейских губерниях: у молодых бачей, которые танцуют в женском платье, сводя с ума персидских и сартских эстетов, бывают такие печально-ласковые, длинные глаза влажными миндалинами и так же звенят соловьиные страстные голоса. — А я, милый Авкт Алексеевич, с вашим братом немножко беседовал; какой он любезный человек... Я так счастлив этим приятным и лестным знакомством. Вот, жалуются, у нас людей нет; в полном смысле слова, государственная голова... Господа! Почему на столе перед нами какое-то оскудение? Мы должны раздавить флакон...

— Умные речи приятно и слушать, — засмеялся Пожарский, но Авкт, у которого в голове начинало шуметь, возразил с шуткою:

— Что-то вы в Петербурге уж очень умны стали... который день я обретаюсь в вашей благородной компании, а не слышу других разговоров, кроме как о флаконах...

— О чем же ты хочешь, чтобы в эту пору порядочные люди разговаривали? — возразил Пожарский, благодушествуя в сигарном дыму. — Видишь длинный стол, откуда мне делают знаки? Дудки-с! Дудки-с! Не пойду... Это и есть наш «комитет общественного спасения». Ежедневное заседание с часу до пяти. Мы как-то подсчитали: шестьдесят тысяч в год этот стол ресторану приносит — по самой малой возможности, а вернее, что ближе к стам... Не угодно ли?

— Богатые люди?

— Как сказать? Двое-трое действительно с крупными состояниями, большинство живут своим трудовым доходом... Вон этот, с козлиною бородою, на поляка похож, — мебельный фабрикант; рядом — цыганское лицо, вроде апельсина с усами, — наш коллега, присяжный поверенный; этот круглый, бритый, все смеется и глазки веселые, умные — мировой судья, остроумнейший и милейший, душа-человек, какого другого не найти в Петербурге; седой поляк — немножко смахивает на Дон Кихота, немножко на Мефистофеля, — психиатр известнейший... Актера, конечно, по портретам знаешь, не надо и называть... Дальше биржевой маклер, rentier* с Урала, журналист... Все народ не праздный: и деловой, и занятой, работают много и не на малые тысячи.

— Да — когда? Если ты говоришь, что от часу до пяти...

— Вот поди же: успеваем!

— Магический фокус-покус какой-то.

— Нет, не фокус-покус, а просто — Петербург.

Брагин и граф Оберталь между тем успели провести маленький разговор и теперь чокались стаканами, причем первый покровительственно говорил:

— Конечно, граф, конечно... Это — прямой государственный расчет. Если бы дорога ушла от Тюрюкинского завода еще на тридцать восемь верст, это погубило бы одно из лучших производств в России...

— Как я рад, что мы с вами, уважаемый Георгий Николаевич, так сразу поняли друг друга.

— Mais, mon Dieu! c'est clair, comme le beau jour...** В наше время, когда государство взялось наконец за ум, отказалось от фритредерских шарлатанств и протекционная система берет промышленность под свои орлиные крылья,

* Рантье (*фр.*).

** Боже мой! Это ясно как Божий день... (*фр.*)

новые пути — первая необходимость; но, конечно, мы должны ими развивать и сохранять существующие производства, а не взрывать их на воздух авантюрами каких-то там заштатных захолустьев.

— И прибавьте к этому, Георгий Николаевич, что мы опираемся на всероссийски известную энергию и инициативу княгини Анастасии Романовны Латвиной...

Брагин одобрительно кивал головою.

— Прибавляю и энергию княгини...

— Кажется, немножко пайщица ваша даже? — осторожно намекнул Оберталь, но сейчас же понял, что сделал промах и напоминать этого не следовало, так как в карих глазах Брагина мелькнул короткий огонек подозрения, лицо стало брезгливым и скучным, и он вяло произнес, глядя не в глаза Оберталя, а на его как смоль черную короткую стрижку:

— Да, но это в данном случае в расчет быть принято не может... Тут на первом плане — государственный интерес. Перед его аргументом меркнут все частные интересы, хотя бы и наших пайщиков.

— О! само собою разумеется! — поспешно подхватил Оберталь и снова чокнулся с Брагиным. — Ваш орган всегда зорко следит за насущными нуждами нашей святой матери России...

— Я сегодня же скажу моему передовику, — сказал Брагин, любезно склоняя в знак полного умиротворения гордо вздернутую было голову. — Это любопытная альтернатива: оживить мертвый захолустный город или убить живой и цветущий завод...

— Вокруг которого, заметь, Георгий Николаевич, — вмешался Авкт Рутинцев: вино и фамильярность Брагина развязали его наконец в вопросе местоимений и охрабрили заменить «пустое *вы* сердечным *ты*». — Вокруг которого, заметь, успел вырасти уже свой фабричный городок, нисколько не меньший этого паршивого Вислоухова и в сотни раз более нуж-

ный и производительный. Тюрюкино — серьезный пункт среднерусского обмена. Завод производит и вывозит, городок потребляет и ввозит. Если магистраль пройдет на Вислоухов, она погасит — гибелью Тюрюкинского завода — годовой оборот в несколько миллионов...

Брагин глубокомысленно кивал головою и говорил:

— Так, так... Я, видишь ли, не специалист, но... Быть может, граф, вам удобнее было бы лично повидаться с моим передовиком? Понимаете, чтобы цифры там... ввоз и вывоз...

— Я не прочь, — любезно поклонился Оберталь, сверкнув в улыбке великолепными, опять-таки кавказскими, в ниточку зубами. — Но вот — еще лучше меня: Авкт Алексеевич налицо, поверенный города Дуботолкова. У него в портфеле все цифры и документы, ему, так сказать, и книги в руки...

— Так, так... — повторил Брагин — имя Дуботолкова опять напомнило ему о жене и, как раньше, опять откликнулось на мгновение растерянностью в голосе и глазах. Он даже, что почитается невежливым в избранном обществе этого шикарного ресторана, потянулся за бутылкою, не ожидая, что слуга нальет стакан. — Так, так... это, значит, ты по этим делам и пропадаешь в Дуботолкове?

Авкт весело кивнул пенсне: он чувствовал, что удачный ныне деловой день выпал ему.

«Глупое место это у них — Кюба, — думал он. — Совершенно мастеровой кабачище, в конце концов. Только и разница от настоящего кабака, что обстановка да мастеровые не в затрапезных халатах, а в мундирах и пиджаках хороших, да хлещут не сивуху, а шампанское. Но, чтобы дело обработать, лучше нет. Все равно как нет места лучше кабака, чтобы у мастерового чуйку за штоф купить или сапоги на опорки выменять. В Москве бы завести этакую мельницу... Да публика наша не та!»

А вслух объяснял, балагуря:

— Веду войну двух великих городов — Дуботолкова против Вислоухова. Знаешь, как в старину перекликались стрельцы: «Славен город Дуботолков!» — «Врешь! Славен город Вислоухов!..»

— Да, старина... старина... русская святая старина! — сочувственно вздохнул Брагин. — Глубина России... коренная, кондовая Русь... кто-то нам возвратит ее, матушку? А пора! ох, пора! Задыхается Федорушка в немецком корсете, не по мерке он ей, родимой... Впрочем, извините, граф: мои слова, быть может, несколько шокируют вас?

— Нисколько! — с готовностью заулыбался граф. — Почему бы? почему?

— Вы носите немецкую фамилию, и в вас течет германская кровь.

— Э! — шутливо отмахнулся Оберталь. — Какой я немец? Я как кто-то у Гоголя: дед был немец, да и тот не знал по-немецки. И матушка моя грузинка, а бабушка, отца моего мать, была француженка, урожденная графиня де Гуфье...

— А ныне все под одной державой благоденствуем! Не угодно ли? — захохотал Пожарский.

Брагин, начинавший совет, посмотрел на него тупо и важно.

— Благоденствуем, — произнес он значительно и грозно, поднимая руку. — Но... Германия? Caveant consules!* Германия... это... тут все... и Вильгельм... и социал-демократия... мы потеряем наш престиж на Балканах и в Малой Азии... Конечно, с присоединением княжича Бориса в лоно православия мы возвратили себе Болгарию... Но Германия! Германия! Это для нас Гог и Магог!

Авкт, вспомнив, как недавно Брагин, вдохновленный кознями Германии, заставил его выслушать целый монолог, спохватился, что великий журналист опять сядет на германского конька своего, и толкнул Оберталя. А тот — хотя не

* Берегитесь, остерегайтесь! (*фр.*)

весьма кстати, но так вкрадчиво, что никак нельзя было не принять от него фразы этой, — произнес:

— А все объявления по своему подряду я, Георгий Николаевич, уже решил делать и в вашей газете. Собственно говоря, мы обязаны публиковать в официальном органе, ну и принято еще в «Новом времени», по его большой распространенности, но я, знаете, держусь того взгляда, что — чем больше и разностороннее публикации, тем справедливее располагаются шансы к удаче торгов...

— Ну, и сверх того, как просвещенный предприниматель, — подхватил Пожарский, — должны же вы, граф, поддерживать прессу, которая вас поддерживает...

Брагин выслушал все это весьма внимательно, но отвечал с равнодушием, почти надменным:

— Это меня не касается. Обратитесь в контору. Объявления — мир, в котором я чувствую себя совершенным профаном.

Авкт и Пожарский поменялись взглядом.

«Облупит», — безмолвно сказал один.

«Вычистит», — согласился другой.

И, когда обратились к Оберталю, в его томных очах прочли то же выражение — живого бумажника, тоскующего пред значительным вскрытием.

А Брагин, поникнув головою, тыкал пальцем в морозный пот серебряного ведерка, в котором еще холодела почти уже пустая бутылка Heidsick Monopole, разводил узоры и раздумчиво говорил:

— Да, Дуботолков... Очень рад... Стройте вашу дорогу, господа... Там у меня жена... Выстроите дорогу — может быть, и я проеду... Проведать ее... в Дуботолкове... Евлалию Александровну... жену...

Он пристально взглянул на Авкта и спросил его внезапно в упор:

— Хороша еще?

— Кто? — растерялся тот, захваченный врасплох.

— Кто... Жена моя... Евлалия Александровна. Прекрасна она была, валькирия моя... Валькирией мы ее — помнишь, Авкт? — звали... Немного таких женщин на земле... Теперь, поди, стаяла красота-то, ведь ей теперь уже за тридцать, и весьма...

— Нисколько. Конечно, сдала немножко, девочкой не назовешь, но еще очень и очень...

— Годится? — грубо перебил Брагин и горько, неестественно засмеялся.

Всем стало неловко.

«Ах ты, актер проклятый!» — с отвращением подумал даже редко способный к злому чувству Авкт.

А Брагин разводил пальцем мокрые узоры и говорил:

— Ах, Лаля, Лаля! Хороший человек моя Лаля, господа... Вы — в вашей жизни, темной и пустой, — не знали такого человека...

Пожарский лениво встал с места.

— Куда ты? — тихо дернул его Авкт. — Погоди, вместе выйдем.

Тот возразил:

— Не люблю я ту шампанскую степень, когда покинутые мужья начинают оплакивать бежавших жен.

А Брагин поднял глаза и говорил:

— Вы, господа, что сейчас делаете? а?

Оберталь пожал плечами:

— Да что же сейчас можно делать? День прошел, вечер не наступил. На five o clock'u* поздно, до обеда далеко. Единственное рациональное предприятие — спросить еще флакон и выпить за успех магистрали на наш Дуботолков...

— Господа! это будет уже пятая! я протестую! — воскликнул Авкт.

* Пять часов вечера; обычное время чаепития в Англии (*англ.*).

— Не угодно ли? Я тебе говорил, что флаконы пойдут! — засмеялся Пожарский, опять опускаясь на диван.

Но Брагин поднялся, делая руками таинственный и торжественный, будто благословляющий жест:

— Подождите... А что если пить этот пятый флакон мы поедем к одной моей знакомой креолке?

Лицо у него стало хитрое, победоносно ликующее, и карие глаза весело и грешно мигали. Авкт не выдержал и фыркнул:

— Ох, Георгий Николаевич, и переходы же у тебя, Бог с тобой!..

Брагин поймал его за пуговицу и, не слушая, настаивал:

— Едем?

— Помилуй, у меня с Пожарским деловой разговор. Если бы не ты нас завертел, мы бы давно были паиньки.

— Переговорить вы можете и у моей креолки, — решил Брагин. — Или в экипаже. Мы сядем с графом, а ты поезжай с Пожарским. Это довольно далеко, чтобы иметь время решить — даже франко-русский союз.

— Ну вот он, Петербург! Всегда так. Пять часов люди сидят в ресторане, дуют вино и толкуют обо всем, кроме того, что им надо, а о деле говорить — успевай на извозчике.

— Откровенно тебе сказать, Авкт Алексеевич, — отозвался Пожарский, кротко улыбаясь, как румяным блином, блаженным ликом своим с двумя черными точками ноздрей, — в голове у меня сейчас такая мельница, что, кроме креольского наречия, вряд ли я способен понимать какое-нибудь другое...

— Вот и извольте на него радоваться... Ну что же мне с тобою делать? Видно, уж поехать, Оберталь?

Тот, совершенно трезвый, словно и не пил ничего, взглянул на часы:

— Поедем, пожалуй. Только ненадолго. В семь с половиною я должен обедать у графини Буй-Тур-Всеволодовой...

Пожарский захохотал:

— Не угодно ли? Ну, граф, это выходит — от креолки к креолке!

А Брагин, влезая в рукава пальто, услужливо подставленные швейцаром, лепетал:

— У бельсерочки?.. Не обижайте бельсерочку, Пожарский. А впрочем, черт с ней. Красивая женщина, но неблагодарная дрянь... Мои репортеры на всех раутах и балах называют ее туалеты первыми в городе, а она смеет мне говорить, что Максим Горький — новый русский Гомер!.. Гомер!.. И для чего это, право, женщин подобным словам учат!..

III

Назавтра Авкт Рутинцев проснулся, нельзя сказать, чтобы поутру, а во втором часу дня, разнеженный автоматическою мыслью: «В три часа у меня свидание с Аланевским».

И в ту же минуту застучал в дверь номерной слуга, которому «с вечера», то есть в девять часов утра, было приказано кем-то, кто доставил бесчувственного Авкта домой, непременно разбудить барина ровно в двенадцать. Это была уже четвертая попытка. Первые три стука до слуха Авкта не достигли.

Авкт сел на кровати и обвел растерянным взглядом номер свой, узкий и длинный, набитый всякою ненужною мебелью и, как водится, лишенный решительно всего, что необходимо для уюта и сколько-нибудь постоянного жилья. Хозяин гостиницы, по-видимому, держался того довольно распространенного в этом классе людей взгляда, что у постояльцев его лишь две потребности неотвратимы: спать и приводить в порядок свою физиономию, одежду и прическу. Поэтому кровать была хорошая и зеркал навешено столько, что теперь Авкт Рутинцев беспомощно водил глазами от стенки к стен-

ке, изыскивая место, которое не показывало ему лика дикого и багрового, копны взлохмаченных, ставших на мокрую мочалу похожими волос и налитых кровью глаз, утонувших под распухшими веками, точно в пуховых подушках.

«Безобразие! — сердито думал он, натягивая штиблеты. — Скандал... Дойдет до брата — что он скажет?.. Проклятый город! Хорошо еще, что я здесь один, на холостом положении. Вернись этаким домой в Москву, Авдотья мне напела бы... Безумный город!»

Покуда он одевался, пил кофе и сельтерскую воду и пудрою приводил чудовищную маску похмелья хоть в некоторое подобие обычного благообразия, глупые ненужные предметы нелепой комнаты — каждый — посылали ему какой-либо выразительный очередной упрек, словно только затем эти шифоньерки, кронштейны и пуфы и были сюда понапиханы. Подтяжки висели на гармонике калорифера, пенсне — к удивлению, не разбитое — нашлось в тумбочке у постели. Платье, уже вычищенное слугою, аккуратно было сложено на стуле у двери, но на нем так же аккуратно сложен был правильный бледно-палевый квадратик чего-то, очевидно, при чистке обретенного в карманах. Недоумевающий Авкт слабою рукою потянул квадратик к себе, а он стал разматываться, пока не повис длиннейшим и тончайшим шелковым женским чулком... Авкт даже плюнул. Откуда он сделал столь неожиданное приобретение и где осталась пара к палевому чулку, память решительно отрекалась подсказать.

— А чулок хороший, — оценил он, — пара таких рублей двенадцать стоит. Удивительно, как позволили увезти... Тоже хороша была, должно быть, та-то!

Но — кто эта таинственная «та-то», лишенная им двенадцатирублевого чулка, он так и не мог сообразить. Несомненно, что не креолка, к которой затащил их вчера — его, Пожарского и Оберталя — Брагин. У креолки этой, маленькой, одутловатой, оливковой женщины, вялой и скучной в сво-

ем богатом пансионе у Таврического сада, точно тропическая обезьяна в холодной клетке, они вели себя с совершенною благопристойностью.

— «Как в лучших домах...» — не угодно ли? — восхищался Пожарский.

Брагин креолки своей заметно побаивался и хозяином распоряжаться у нее не смел. Бутылку шампанского она им дала, но, когда Брагин заикнулся о следующей, энергически махнула пальцем перед носом своим и сказала, как отрубила:

— No.

И под жестом и звуком ее южного «no» Брагин лишь насильственно засмеялся и стал притворяться пьянее, чем был, и будто ему вдруг страшно захотелось спать. Тогда они оставили его у оливковой девицы, а сами поехали — Оберталь на обед к графине Буй-Тур-Всеволодовой, а Пожарский с Авктом — прокатиться, освежения головы ради, по островам. Катаясь, Пожарский вспомнил, что у него в бумажнике лежат два билета в оперу, оставленные ему приятелем-абонентом, который вчера уехал с женою за границу. Решили слушать «Тангейзера». Заезжали домой — к Пожарскому на квартиру и в эту вот гостиницу — менять визитки на смокинги, брились, чистились в парикмахерской. Очутились в синем сумраке Мариинского театра и, покуда охотники на сцене уговаривали безмолвного Ершова:

Вернись к нам, о, Генрих, милый,
Споры оставь, забудь разлад... —

Пожарский трижды толкал Авкта в бок и говорил ему сдавленным шепотом:

— Не спи!

Потом стало занимательно. Полился мощною волною красавец голос Яковлева, умно и страстно врывались в слух теноровые вопли Ершова. Дремота отступила. Стало трез-

во, возбужденно и приятно. Авкт подобрал с колен упавшее пенсне и радостно слушал. А в светлых и шумных антрактах Пожарский указывал Авкту в партере и по ложам петербургские знаменитости. В курилке пришлось пожать много рук и сделать несколько любопытных знакомств. Андреевский, в вихрах рано седеющих волос, придержал руку Авкта в теплой нервной руке своей и не столько сказал, сколько пропел, как соловей, даже по-соловьиному щуря блестящие глаза свои, что-то очень красивое и значительное о Вагнере, Гейне и легенде Тангейзера, — да вот теперь припомни-ка что! Карабчевский, с лицом трагического актера, как вывескою кипящего нутряного огня, готового разразиться пылким монологом по востребованию, стоял в коридоре, не входя в фойе, окруженный, как модный же актер, поклонницами таланта. Они тявкали снизу вверх, словно маленькие мохнатые болонки и породистые тонкононогие, извивающиеся гибкими телами левретки, а знаменитый адвокат смотрел на них сверху вниз «мистическими» глазами, повесив черную гриву, как большой и сильный водолаз. Длинный, тонкий, поджарый, в преждевременно и необыкновенно белой седине, со странными под золотом очков глазами, смешавшими в себе надменную насмешку жесткого опыта и природную доброту, совершенное неуважение к людям и загадочное искание смутной, далекой надежды, скептическую едкость смелого дельца и скорбное разочарование обманутого фантазера, — пробирался левым проходом, будто травленый сутулый волк, насмешливый Коломнин. Как молодой лев, возвышался у барьера оркестра благородною буйно-кудрявою головою артиста широкоплечий Яша Рубинштейн, с профилем римского императора, с благожелательною детскою улыбкою навстречу всему живому миру. Вездесуще мелькало тонкое — будто дорогой фарфор, насквозь прозрачное — лицо молодого князя Барятинского, настолько юное, что казалось девичьим: точно у гётевской Гретхен вдруг выросли борода и усы.

И кометою из библейских времен тянулась седая борода патриархального Петра Исаевича Вейнберга, с таким торжественным обликом, будто он только что принимал участие в поклонении волхвов, принесших злато, ладан и смирну, — с новым анекдотом на иронических губах, с тонкою усмешкою в глубине старых, многоопытных, семитических глаз.

Всех и вся знал Пожарский, и голос его, с характерными хмыканиями после каждой фразы, с перебивами вечного «не угодно ли?» втекал в ухо Рутинцева, точно в трубу уличную дождевой поток, смывающий с мостовой и тротуаров сор, накопленный движением жизни: окурки, обгорелые спички, апельсинные корки, бумажки брошенных реклам, скорлупу, помет конский, размокшие коробки от папирос, обертки от леденцов и шоколада. Всех и вся знал Пожарский, но все его знание сводилось к одному: кто где и за что, сколько взял «бесчестия», как продался вон этот сановник вон тому аферисту, какой гонорар содрал такой-то адвокат за защиту такого-то обер-жулика и казенного вора, во что обходится Министерству финансов негласная субсидия вон тому толстенькому, бритенькому журналисту. Развивалась, как упругая спираль, та спокойная, безразличная сплетня, от которой в Петербурге новичков мороз подирает по коже в первое время, пока они сами не напитаются ее атмосферою, безразличной к правде или лжи, которую лепечет язык, к происхождению, откуда зародился этот лепет, и к результатам, которые он в состоянии породить. Восемнадцать человек стояли у барьера оркестра, обернувшись лицом к зрительному залу, и только троих не знал Пожарский, а для всех остальных этих гордо выпяченных грудей, мундирных или белых с эмалевыми белыми же запонками, были у него готовые аттестации, как ярлыки:

— Помнишь? Миллионное дело: пожар застрахованных складов... Не угодно ли?

— Этот — умница: еще двадцать лет назад, после первых интендантских процессов, когда чудом каким-то выта-

щил его Яков Маркович Серебряный сухим из воды, он забастовал и — ни-ни! Живет, мудрец, как частное лицо, богачом, жрет, пьет, сочиняет поварскую книгу тончайших кушаний... Если и попадет на скамью подсудимых, так разве за то, что насчет малолетних не весьма осторожен... не угодно ли?

— Вот, если у тебя когда-нибудь будет дело с казною по лошадиной части, так ты прямо к этому вон фертику — на поклон. Не гляди, что он с лица мозгляв, а лучше посмотри, какой браслет запаян у него на правой руке. Не угодно ли? Там у них барон фон Пфаффенфельс главный, так этого фертика за глаза злые языки так и зовут «баронессою»... Все может... А уж взяточник! Только что сфера ýже, а то не уступит графине Буй-Тур-Всеволодовой, — не угодно ли?

— Счастливый наследник — новый титулованный капиталист. Едва-едва нищим не остался, потому что состояние-то дядя завещал было на университеты. Не угодно ли? Но племянник тоже не дурак — с приближенною умирающего сиделкою шуры-муры свел: ну и испарилось завещание-то в пространстве воздушном... Полмиллиона хватил. Не угодно ли?

— Скажите пожалуйста! Туда же, красуется в первом ряду. А из клуба его на прошлой неделе попросили удалиться и возвратить членский билет: в третий раз уличен, что играл арапом... не угодно ли?

— Вот этот господин недавно привозит в Волжско-Камский банк векселя к учету. Отказ. Он — в претензию, потому что векселедатели солидные. А Мухин ему: «Извините, Василий Борисович. Банк — дело коммерческое, а не педагогический музей. Образчиков каллиграфии мы не собираем...» Не угодно ли? Проглотил. Смолчал.

— Генерала — поди — по портретам узнаешь? Наш, как в Риме говорили, а libellis*... Тут, душенька, лишь бы карман

* Секретарь (*фр.*).

выдержал по его превосходительной фантазии, а то на сем пределе всякой власти и правосудию конец... Не угодно ли? Ваш «московский Златоуст», когда вел дела уж очень утоплые, сколько раз выплывал на этой соломине. «Двух миллионов, — говорит, — тебе, Мавра Кондратьевна, отсудить от племянников нельзя, а полтора можно». Не угодно ли? Да и пожертвует полмиллиона через эту генеральскую фигуру в такое неприкосновенное учреждение, откуда денег уже, как мертвых с погоста, назад не носят. Ну как же после того дело проиграть, когда его в этаких возвышенных сферах считают настолько правым, что даже приняли из его сумм пожертвование? Плачет Фемида слепая, сердцем скрипит, а делать нечего, решает не по обстоятельствам процесса и совести, но по директивам... не угодно ли?

— Этот седовласый Мефистофель любит, чтобы его Петронием звали. Умница и циник совершеннейший... Недавно он к археологу Пыляеву привязался: «Что вы, Михайло Иванович, все пустяки сочиняете? Вы бы историю какого-нибудь крупного общественного явления предприняли!..» Тот обиделся и говорит: «Да я, ваше превосходительство, уже предпринял». — «Что же вы предприняли, Михайло Иванович?» — «А предпринял я, ваше превосходительство, «Полную историю взятки в России от Рюрика и до вашего превосходительства включительно»...» Сам Петроний это мне рассказывал, хвастал и хохотал... Не угодно ли?

— Известный хлебосол... Прежде обирал всемирного юродивца балетного, Базилевского, а теперь они с супругой — приятнейший дом в Петербурге. Повар и вина такие, что уж, конечно, во дворце не найдешь. Не угодно ли? Только после обеда не следует за карточный стол садиться: голеньким встанешь... Ну и за хозяйкой дома не советуют ухаживать. Любезна очень, и успех многие имели, но затем — либо ты пиши умопомрачительные векселя, либо муж вдруг не вовремя войдет, либо записку перехватит и требует дуэли через платок, — не угодно ли?

— Этот генерал другому однофамилец. Тот — настоящая сила, а этот — аплике — нуль. Однако ухитрился. Стакнулся с двумя ходатаями из получервонных валетов, и стали они к нему посылать наезжих иногородних клиентов, якобы к настоящему — за протекцией. Не угодно ли? Про однофамильца кто же не слыхал? В крупном деле не жаль заплатить, что возьмет, только бы вступилась этакая особа. И поползли провинциальные дураки к подложному генералу. А он-то пред ними тону задает. Подойдет к телефону, министра внутренних дел вызывает, с великими князьями на «ты» в трубку разговаривает... Вашего же московского Вешнякова таким способом в трепет до судорог вогнал и десять тысяч с него счистил. Не угодно ли? А как всплыла эта история, оказалось по обыску, что и телефона-то у него — один только аппарат висел, а проводов даже и не было вовсе... Думали: пропал! Ведь тысяч на сто, говорят, обработал разных фалалеев. Ан, однофамилец сам же постарался замять дело без последствий. Посмеялись недели две и забыли. Нашли, что — молодец генерал аплике! остроумно! Видишь: встряхнулся от трепки и ходит себе гоголем, хоть снова готов начать, — не угодно ли?

— Вон у того жирного толстяка все издатели — податные. Он числится по тому же ведомству, как и твой почтенный фрер, но не служит, а только получает чины и награды. Не угодно ли? Действительная же его служба — вырезывать интересное из газет и наклеивать в вечерний журнал одной чрезвычайно занятой и высокопоставленной особы, которая пробегает этот винегрет пред отходом на сон грядущий и, таким образом, знакомится с текущею жизнью в Петербурге и России. Оклад три тысячи рублей в год, а проживает толстяк тысяч сорок. Один наш друг Брагин, говорят, ему пятьсот в месяц платит... Не угодно ли?

— Бракоразводный адвокат... Практику бросил, беспокойно, стар. Чего ему? Богат, как черт, ростовщик, а в виде ренты шантажирует некоторых старых своих клиентов, на кото-

рых имеет компрометирующие секреты и документы... Не угодно ли?

— Этот вопреки всем нынешним громам на совместительство служит в десятке ведомств и во всех ведомствах ничего не делает, и во всех ведомствах его ненавидят, и ни из одного не могут выгнать. И какой свирепый начальник на него новою метлою ни наскочит, а поговорит с ним наедине — и стоит потом за него горой. Не угодно ли? Потому что еще папенька сокровища этого начал собирать этакий секретный черный кабинет, раскладывал по ящичкам в алфавитном порядке краткие бытописаньица, где, когда и как кто-либо из лиц известных совершил какую-нибудь компрометирующую пакость. Не угодно ли? А сынок алфавитец сей приумножил. И — чуть тучка на его горизонте, сейчас он очередной ящичек и потянет... не угодно ли? Ну и, в конце концов, вместо отставки за него же распинаются: полезнейший человек! необходимо сохранить!

— Этот из строительной комиссии ужом выскочил... Знаешь, по сооружению всенародного монумента? Не угодно ли? Алебастр вместо мрамора, песчаник вместо гранита, и в кассе вместо всероссийской подписки грош и две вышедшие из употребления марки. Стрелочники, виноватыми объявленные, в Томской губернии гниют, а этот вона как грудь колесом пялит. Не угодно ли? Смелый. При дознании ни от чего не отрекался, а только в случае, если ему тонуть, грозил не один пойти ко дну, но и многих великолепных господ с собой потопить. Мать Фемида опять лишь всплакнула и отступилась... Еще чуть ли он и награды не получил. Не угодно ли?

Растрата, взятка, дутые векселя, подлог, кража документов, шантаж, обманные наследства, ростовщичество, фальшивая игра — все дрожжи денежной сплетни вздували золотую грязь, как опару, и казалось, скоро наполнит она, блестящая, зловонная и липкая, весь зал-гигант до самого плафона и за-

душит собою под ним сидящих — ее впивающих и ее испускающих. А когда Авкт Рутинцев с недоверием заметил: «Да правда ли все это?» — Пожарский равнодушно пожал плечами и сказал:

— А черт же их всех знает. Может, и не правда.

— Как, однако, вы, питерцы, легко повторяете сплетни.

— Это не сплетни, — спокойно возразил Пожарский.

— Но раз ты допускаешь, что, может быть, не правда?

— И все-таки не сплетни. Слухи.

— Какая разница?

— Та, что порядочные люди сплетнями не занимаются, а слух передать — каждого право.

— Определение субъективное. Ты как-нибудь — более объективно.

— Изволь. Ты знаешь разницу между галлюцинацией и иллюзией?

— Очень знаю.

— Ну так вот, не угодно ли? Сплетня — галлюцинация, а слух, петербургский слух — иллюзия. Если он не истина вполне реальная, то истина — возможно, воображаемая, приблизительная. Та истина, как она должна была быть по естественным условиям среды. И если ее нет, то это лишь счастливое недоразумение. Сплетники выдумывают, а тут — что же выдумывать? Основа петербургской иллюзии — всегда налицо: не угодно ли? Каждый, видя ближнего своего в пользовании каким-либо запретным благом, сейчас же создает иллюзию, каким бы путем он сам мог получить это благо или, получив, как бы его использовал. И так как все одним миром мазаны и никто не лучше соседа, то при малейшей фактической зацепочке иллюзия крепнет. В нее сперва полуверят, потом верят, и она обращается в слух... ну и пожалуйте, испечен человек, — не угодно ли?

Авкт смущенно поправил пенсне и возразил не без запинки:

— Однако ведь может этак, часом... за подобную иллюзию... и в физиономию влететь?

Пожарский засмеялся и сказал:

— Бывает... но, правду говоря, редко и мало по грехам нашим...

Он подумал и продолжал:

— Вот я тебе сейчас о пятнадцати синьорах «слухи» их сообщил. Не угодно ли? Что же — ты воображаешь — обо мне моего собственного «слуха» нет в Петербурге, что ли? Как бы не так. И каждый из пятнадцати, если ты с ним обо мне заговоришь, конечно, этот «слух» мой тебе прежде всего преподнесет: не угодно ли? А при встрече дружелюбно оскаливаем друг пред другом зубы, крепко трясем руки, водку пьем, семгой закусываем, играем в винт и рассказываем похабные анекдоты...

Как нарочно, мимо прошел тот внушительный господин, о котором Пожарский только что говорил, будто у него в доме после обеда не следует играть в карты. И оба они — господин и Пожарский — проделали всю церемонию дружеской встречи по программе: радостно улыбнулись, зубами дружески оскалились, руки потрясли, словно лет десять не видались...

— Аглая Сергеевна? — участливо спросил Пожарский.

— Благодарю вас. Не решилась выехать. Она, знаете, так легко простужается, а погода...

— О да, сейчас надо беречься и беречься.

— Совсем не похоже на апрель.

— Обыкновенно лучший месяц в Петербурге, но в нынешнем году...

— А барометр все падает.

— Но, говорят, это примета, что май будет хороший...

Поговорив таким образом с полминуты, словно оба составляли практические вокабулы для какого-нибудь иностранного языка, Пожарский и внушительный господин расста-

лись, по-видимому, совершенно довольные друг другом, и Пожарский опять обратился к Авкту Рутинцеву:

— Вот он сейчас подошел к полковнику — кто таков, не знаю: у меня мало знакомых между артиллеристами. И полковник его спрашивает, конечно: «С кем это вы сейчас разговаривали?» А он отвечает: «А некто Пожарский... довольно известный присяжный поверенный и премилый малый... жаль только, что делишки он все защищает какие-то сомнительные, каждый год о нем дисциплинарное дознание в совете, в прошлом году мало-мало практику не запретили...» Не угодно ли?

— Разве было? — неприятно насторожился Авкт: он в профессиональных вопросах был щепетилен.

Пожарский засмеялся и повторил:

— Не угодно ли? Вот оно — как слухи-то возникают! Нет, не было. Но если бы этот господин был присяжным поверенным, то о нем, наверное, производились бы ежегодные дисциплинарные дознания и практику ему время от времени запрещали бы... Поэтому ему кажется невозможным, чтобы и со мною было иначе... Ты улыбаешься?

— Извини, но ведь по логике твоих обобщений выходит, что на его месте ты тоже держал бы что-то вроде игорного дома и заставлял бы поклонников твоей жены подписывать векселя под револьвером...

Пожарский широко открыл глаза.

— Не угодно ли? — протяжно произнес он. — А ведь и в самом деле?!

И засмеялся.

— Оттого, должно быть, мы, петербуржцы, и не обидчивы, что всегда так-то: иллюзия, из нас исшедшая, на нас же обращается... Скажет Иван Петру, что Сидор говорит, будто Петр с несовершеннолетней свояченицей мормонствует, — Петр только отряхнется: не угодно ли? вот свинья! Сам родную тетку отравил!.. На процессах сенсационных из экспромтов

подобных какие неожиданные Шехерезады сплетаются! А на третейских судах? Не угодно ли? Как начнешь разматывать клубок разоблаченных очными ставками и допросами непосредственных свидетелей, сами на себя стороны дивуются и, разиня рот, слушают: не угодно ли? каким же это манером нас угораздило, что мы этак неожиданно и без всякой надобности кругом обоврались? Что-то эпидемическое. Как мы будем воспламеняться гневом Ахиллеса, Пелеева сына, на слухи о нас, шипящие в устах других, когда мы сами себя в слухах этих не жалеем? Не угодно ли? Половину анекдотов, которые ходят о пресловутом Скальковском, он сам о себе сочинил... Знаешь, будто приходят к нему, когда он управлял горным департаментом, какие-то рудоводители уральские и предлагают за что-то: «Ваше превосходительство, мы дадим вам десять тысяч, и об этом никто не будет знать...» А? Не угодно ли?.. А он им будто бы в ответ: «Нет, вот что: вы дайте мне двадцать пять тысяч и звоните об этом во все колокола!..»

— Слыхал.

— Ну и ничего подобного со Скальковским никогда не бывало, и анекдот этот о себе он даже не выдумал, а вычитал в какой-нибудь хронике восемнадцатого века, потому что то же самое Вольтер рассказывает об одном из министров Людовика Пятнадцатого. А один татарин образованный меня уверял, что это можно найти уже в арабских сказках «Тысячи одной ночи»... Не угодно ли?..

Он покачал головою и сказал:

— А слыхал ты анекдот о Вышнеградском, как его Победоносцев возил в Казанский собор присягать на иконе Казанской Божьей Матери, что он, если сделают его министром финансов, воровать не будет? А он будто бы, покуда икону лобызал — не угодно ли? — из нее брильянт выкусил... Как ты думаешь, откуда эта сатира пошла? От близкого ему человека слышал: клятвенно меня заверял, что не кто другой

ее на свет пустил, а сам же шутник-покойник Иван Алексеевич... Не угодно ли? Любит способный русский человек почему-то жуликом слыть...

— Ну и быть тоже, — поправил Авкт.

— Ну и быть, — согласился Пожарский, — и быть. Но — слыть больше. Согласись, что больше!

— Соглашаюсь.

— Мужчины — слыть жуликами, а женщины — куртизанками. Не угодно ли? Сейчас в обществе мода — словесное сладострастие всякое смаковать: неслыханное дело, что и о чем дамы вслух говорят с нашим братом, состоящим при них кавалером развлекательным... Послушаешь — точно в эротическом отделении сумасшедшего дома находишься. Плетут, плетут языками-то... хорошо еще, что на французском языке! И тоже: ни приятельницам, ни себе самим — ни малейшей пощады. И любовники, и влюбленности, и самоудовлетворения, и извращения. И читают они действительно черт знает что, и поставляет этакую литературу Париж-то, ну и из наших россиян кое-кто уже потрафляет... не угодно ли? Врут на себя всевозможную блудную мечту — и хоть бы глазом моргнули... И ведь только врут. Только врут! Соблазнится новичок какой-нибудь, обманется враньем, сунется с любезностями «испробовать почву» — глядь, куртизанка наша и губы распустила, и слезы в три ручья, и — «за кого вы меня принимаете?». Вылезает из-под Фрины-то или Аспазии заемной самая что ни есть добродетельная Марья Ивановна от Пяти Углов, жена мужелюбивая, мать, весьма рожать охочая, и бдительная строительница дому своему... не угодно ли?

— Подумаешь, святой город какой! Все врут у него на себя! Настоящих-то, стало быть, нет?

— Так те не болтают. Кто действует, тот словами не тратится — молчит. Ты вот теперь имеешь дела с графиней Ольгой Александровной. Не угодно ли? Дама, казалось бы,

обстоятельств несомненных, а ну-ка, заговори в ее салоне фривольным тоном и о фривольных предметах, как возлюбили наши дамы и демивьержки, Марселя Прево начитавшиеся?.. А ни-ни! Не угодно ли об Амвросии Оптинском, да о присоединении к православию иноверного княжича Бориса, да о Персидском заливе, да об еретичестве графа Льва Николаевича Толстого, да о стихах К.Р. и пятницах Случевского, да об Абиссинии, да о том, был или не был Александром Первым томский старец Федор Кузьмич.

— Ну у нас в Москве еще не так дифференцировались! — улыбнулся Авкт. — И болтают, и прегрешают... Взять хотя бы новую доверительницу мою, княгиню Анастасию Романовну Латвину...

— Так эта же зато у вас по сей части всероссийская знаменитость! — перебил Пожарский и, глядя в одну из дальних лож бенуара, спросил: — Не угодно ли? А это не она изволит там восседать в брильянтах, индийскому идолу подобно?

— Кто? где?

— Да вот эта самая московская Мессалина купеческая, о которой именно ты говоришь?

Авкт быстро обернулся и — с изумлением к неожиданности — действительно увидал над барьером ложи некоторое величественное, засыпанное сверкающими камнями женское существо, которое на его радостный и почтительный поклон королевски склонило голову и удостоило улыбнуться румяным и простонародным, красивой кормилицы, лицом. А Пожарский вздыхал:

— Брильянтов-то на ней... не угодно ли? Точно ее ими из песочницы посыпали... Тысяч на сто, не меньше... не угодно ли?.. И все-таки видна ваша серая деревня...

— Ну Москва уже у тебя серою деревнею стала! — возразил Авкт рассеянно, потому что очень интересовало его и немножко смутило внезапное появление московской ку-

печеской княгини в ложе петербургского театра, ибо знал он, что эта дама — из деловых деловая — времени своего на праздные вояжи тратить не станет.

«Уж не контролировать ли нас с Oберталем пожаловала?» — неприятно думал он, между тем как Пожарский говорил:

— Конечно, деревня. Какая же в Петербурге дама из света позволит обить себя «пукетами» подобных шелков? Не угодно ли? Совершенно неприлично. Точно софа. Воображаю, как ее здесь сейчас костят наши дамы по ложам...

— Очень ей нужно, что ее костят. Она, брат, Дмитрий Михайлович, если бы захотела голая приехать, — приехала бы и вот таким бы истуканом улыбающимся сидела бы у барьера.

— Из бесстыжих?

— В капитал свой верит. Так полагает, что были бы деньги, а то человеку все позволено.

— Не угодно ли?

Пожарский пригляделся с любопытством знатока и сказал, вздохнув:

— А впрочем, ведь представь: идут к ней пунцовые «пукеты»-то эти... К лицу... Одень ее проще — потеряет... Ты куда? — остановил он, видя, что Авкт поднимается с кресла.

— Да надо проведать землячку... Хоть и не по прямому доверительству, только косвенная, но все-таки в некотором роде хозяйка... О! Вон и Оберталь в ложу к ней входит... Пойду.

— Поздно, — возразил Пожарский. — Не успеешь. Публика уже садится, и оркестр идет по местам...А! Вольф Израэль! — закивал он знакомому молодому скрипачу. — Здравствуйте, здравствуйте!

Очень мало слышал Авкт Алексеевич из того, что затем пела Куза — Елизавета и как состязались и спорили о существе любви певцы в Вартбурге.

— Он в гррроте у Венеры был! — пушкою рявкал на сцене Серебряков, а Рутинцев думал: «Если бы она была здесь по делам, то зачем бы притащила в Петербург всю свою свиту? Полна ложа московских физиономий. И Татьяна Романовна с нею, и Хвостицкая, консерваторочка эта беленькая, и Алябьев, и Реньяк, и Альбатросов... все самые не деловые, домашние люди ее знакомства. Только Кости Ратомского не хватает, а то был бы полный букет...»

В следующем антракте, едва раздались рукоплескания и не стало характерной, толкачиком, старой головы Направника над капельмейстерским пюпитром, Авкт поспешил в московскую ложу, которая — он заметил — привлекала к себе бинокли почти всего театра. У дверей ложи фамильярно кивнула ему хорошеньким личиком задорной японки Марья Григорьевна, известная в Москве своим влиянием на могущественную госпожу свою, камеристка княгини Латвиной. О девице этой сама Анастасия Романовна выражалась: «Чудовище фамильярности, но — единственный человек, которому я сколько-нибудь верю».

Авкт подал Марье Григорьевне руку и спросил:

— Какими судьбами?

Девушка стрельнула с желтого лица японскими глазками и смешливо возразила:

— Разве дорога в Питер заказана? Вам, что ли, одним? Захотели «Тангейзера» слушать. После обеда в вагон сели, к вечеру здесь.

— Да из Москвы такого поезда нет.

Девушка засмеялась и сказала:

— Мы волшебницы. Летаем на ковре-самолете. Входите, что ли, не теряйте времени. Антракт-то невелик.

Анастасия Романовна Латвина — эта купеческая дочь и мужицкая внучка, купившая себе сиятельного мужа и титул, терпеть не могла, когда близкие люди звали ее княгинею, — встретила Рутинцева очень ласково и весело.

— Не ожидали? а? что? — говорила она, самодовольно глядя на него внимательными серыми глазами. — Испугались, поди, хозяйку-то этак невзначай завидя? А? Строгая хозяйка? То-то! Погодите! Я вас тут, питерских, подберу... Кутите небось на свободе с графом-то?

По ободряющему звонкому голосу, по спокойно-насмешливому выражению ее улыбающегося свежего лица, по фамильярному жесту, которым она потянула гостя за руку, заставив его сесть подле нее, Авкт почувствовал, что его опасения были напрасны. И ему стало досадно, что он их имел, и вдвое, что — княгиня догадалась-таки, что он их имел, и, значит, было что-нибудь такое, почему он должен был иметь их.

«Чертова баба, — думал он, пожимая руки всем другим в ложе, довольно-таки наполненной, — насквозь душу видит. Иголку на дне омута в темную погоду — и ту разглядит».

А вслух говорил, поправляя пенсне:

— Ба! знакомые все лица... Ну точь-в-точь на Тверской-Ямской... Давно ли, Анастасия Романовна?

— А вот только что успели пообедать в отеле и приодеться, а то прямо с поезда.

Авкт с недоумением шевельнул плечами.

— Значит, придется верить Марье Григорьевне, что вы прилетели на ковре-самолете?

Кругом засмеялись, а княгиня сказала с одобрением:

— Уж эта мне Машка. За словом в карман не полезет.

— Почти что на ковре, — ответил за нее Авкту стройный, на англичанина похожий Алябьев.

Авкт посмотрел на этого синеглазого красавца; ему вспомнилось, как в прошлом антракте Пожарский объяснял ему разницу между сплетнями и слухом, и он подумал: «Вся Москва уверена, что Анастасия Романовна живет с Алябьевым. Вот это — как будет? иллюзия или галлюцинация?»

— Мы ведь уже пятый день странствуем, — пояснила сестра княгини, Татьяна Романовна, прекрасная собою де-

вушка, цветущая и рослая, но в противоположность старшей сестре с равнодушными, недоверчиво гаснущими глазами, невнимательным, будто сонным лицом и такими вялыми движениями, словно ленивые усилия поднять руку, повернуть голову, переставить ногу стоили ей физической боли.

Алябьев рассказал, что княгиня давно желала побывать на медвежьей охоте, и так как он, Алябьев — Авкту небезызвестно, — не из последних в России специалистов по этому спорту, то он и устроил для Анастасии Романовны желаемое удовольствие в Валдайском уезде по последнему снегу.

— Кстати, там у меня поблизости фабрика строится на речушке одной, — заметила княгиня. — Разобрали корысти на бумажное дело. Сульфитную целлюлозу какую-то вырабатывать будем. Говорят: доходно. А что это за целлюлоза, доподлинно доложить вам не могу. Но главный управляющий мой, Артемий Филиппович Козырев, с которым вы, конечно, знакомы, давно уже пилил меня, чтобы я лично посетила эти мои владения.

О власти своей и богатствах своих она всегда говорила несколько комическим тоном, точно сама на себя удивлялась, как это всего у нее много и когда только она со всем умеет и успевает справляться.

Алябьев рассказал про облаву. Она была удачна, несмотря на позднее время, но весна замешкалась и в лесах еще — сугробы и зимний пейзаж. Убили двух медведей. Третий, обложенный, прорвался сквозь цепь и ушел. Самого крупного княгиня застрелила собственноручно.

— Ну да! — смеялась она. — Застрелила! Скажите: пристрелила. Подогнали чуть не к самому носу — полумертвого... Худущий... Понятно — в упор всякий застрелит. И опасности никакой нет: люди стояли только что не шпалерами — медведь-то, бедняга, на меня, как сквозь строй, приковылял... Алексей Никитич, — кивнула она на Алябьева, — в двух

шагах с ружьем стоит — разве я не знаю, что в случае чего он-то — без промаха? Даже совестно было стрелять-то...

Но Алябьев сказал серьезно и с серьезными глазами:

— Нет, вы на номере хорошо стояли. Никто не поверил бы, что в первый раз.

— В первый и последний, — возразила она.

— Не понравилось?

— Да — что же? Вы не сердитесь на меня, Алексей Никитич...

— За что же, Анастасия Романовна? Если хотите знать правду, заранее был уверен, что вам не понравится.

— Настя — человек уравновешенный, — с вялою усмешкою заметила Татьяна Романовна. — Упоения в бою и бездны мрачной на краю не для нее писаны.

Анастасия Романовна посмотрела на сестру, как бы экзаменуя: позволила та себе посмеяться над нею или только «констатирует факт», — и, успокоенная в напрасном подозрении, возразила:

— Подумаешь, тебе-то больше понравилось!

Татьяна Романовна почти сомкнула согласные глаза.

— Обо мне и речи нет. Это тормошливо и беспокойно.

— Надолго вы в невскую столицу? — спросил Авкт Рутинцев.

Анастасия Романовна равнодушно отвечала:

— А вот прослушаем третий акт да и на вокзал. Мы ведь случайно. Вычитали в Окуловке из «Нового времени», что «Тангейзер» идет и — вошли в фантазию: давай, побалуем себя на вечерок, повернем вместо Москвы на Петербург. Если будете любезны, проводите нас на поезд, милости прошу.

— Очень благодарен, но, Анастасия Романовна, вам, может быть, неизвестно, что этот ночной поезд пассажирский и самый скучный из всего расписания. Он до Москвы почти сутки тянется, останавливается на каждой даже платформе.

— Это-то и хорошо. До утра я чудесно высплюсь, потому что у нас салон-вагон, а завтра к полдню, свеженькая, буду на своей Пурховской мануфактуре, где ждет нас строгий мой судья Артемий Филиппович Козырев. А послезавтра таким же неспешным манером передвинемся мы на Тюрюкинский завод...

— Ах, и на Тюрюкинском заводе будете? — встрепенулся Авкт.

— Будем, — подтвердила Анастасия Романовна как-то протяжно.

Авкту при этом показалось, что на имени Тюрюкинского завода голос ее принял интонацию как бы особенной затаенной мысли. Показалось ему также, что при том же имени по сонному лицу Татьяны Романовны проползла тень насмешливой улыбки. А еще один из москвичей, присутствовавший в ложе и теперь усиленно беседовавший с графом Оберталем о выборах в московскую городскую Думу — барин солиднейший и благовоспитаннейший, — нервно дернул полною белою щекою и прилично, но все-таки покосился в его сторону через щеку эту белым, недовольным глазом. Господина этого звали Владимир Павлович Реньяк. Потомок французского эмигранта и родственник многих столбовых дворянских семей «старой Москвы», жил он в Белокаменной холостым барином среднего состояния, нес нестеснительную службу юрисконсульта при крупном и солидном банке, слыл человеком либеральным и в высшей степени независимым и, хотя делец, никогда не имел и даже принципиально не хотел иметь никакого отношения к громадным делам княгини Латвиной, большой, однако, своей приятельницы. С чего ж это его теперь-то дергает при имени Тюрюкинского завода? И вообще Реньяк, прославленный в Москве внушительным спокойствием своих манер, свободный, непринужденный, теперь казался Авкту что-то не в обычай неловким и даже натопорщенным: будто — не то он тут не к месту и не ко вре-

мени, не то кого-то другого не к месту и не ко времени находит, может быть, и его, Авкта Рутинцева? Все это опять смутило Авкта: что-то скрывают тут от него, — и он опять струсил.

— Да это, я вижу, целую ревизию вы предприняли, — сказал он, неловко сдвигая пошатнувшееся пенсне.

Анастасия Романовна опять заглянула ему в душу, прочла, что он оробел, и опять успокоила его взглядом и голосом, которые сказали ему мимо слов: «Можешь быть спокоен. Тебя это, во всяком случае, не касается».

А слова говорили: «Какая ревизия? Просто хочу отделаться от несносных претензий формалиста моего, Артемия Филипповича, который с тем только и отпустил меня из Москвы, что я побываю в попутных имениях. Если не побываю, ведь он же меня заест упреками. А на Тюрюкинский завод — специально, чтобы исполнить обещание милейшей Прасковье Михайловне Венявской, — это жена главного директора, не встречали? Я очень ее люблю, но вот третий год не могу отдать ей визита... На Тюрюкинском заводе мы, может быть, пробудем долго-долго...»

Ироническая тень опять тронула прекрасно-скучные черты Татьяны Романовны, и она промямлила чуть движущимися губами:

— А может быть, наоборот, уедем скоро-скоро...

В серой глубине внимательных глаз старшей сестры блеснула короткая молния, которую младшая, точно не заметив, погасила студенисто-тягучими словами, сопровождая их почти откровенным зевком:

— Уж помирали бы, что ли, эти Тангейзер с Елизаветою. Самое искреннее мое сейчас желание — очутиться в купе, раздеться и спать.

— Зачем поехала в театр, если устала? — мягко упрекнула Анастасия Романовна. — Спала бы себе да спала в отеле...

— Тогда зачем же было и в Петербург ехать целым обществом? Решили экспромтом — слушать Ершова, Яковлева и Кузу, — надо нести крест свой до конца... Вы еще забыли бы меня там, в отеле-то, — бледно улыбнулась она.

— Какие ты пустяки говоришь!

— Да, право... если я очень разосплюсь... уехали бы без меня... и не заметите, как спохватитесь уже в Любани...

— Нет, мы тебя не забудем, — с лукавым ударением подхватила Анастасия Романовна. — Мы тебя не забудем.

Дверь ложи отворилась. Вошел под руку с редкою красавицею женою, настоящею мадонною мурильевскою, довольно видный, хотя и не из самых крупных, петербургский банкир Датуров: маленький человечек, как жук черный, кроме круглого солнца чистейше вымытой и глянцевитой лысины, улыбающийся вставными зубами, причем брови удивленными запятыми поднялись над глазами в почти черных, о скверной печени свидетельствующих кругах, а взор был мертв, как охладевшая зола в старом, давно отгоревшем костре. И говорили покойницкие глаза эти, что у человека, который ими смотрел на мир, давно уже нету пола, а потому и не видит он в мире живой красоты, а из всей живой красоты, какая есть в мире, всего более не нужен ему тот божественно-женственный образчик ее, что супружески повис на его равнодушном локте. Три красивые женщины сидели в ложе, и одна, служанкою, стояла у дверей, но все они потускнели, как олово пред золотом, когда осветила их вошедшая красавица южными очами своими.

Авкт воспользовался моментом, чтобы откланяться и уйти, но княгиня придержала руку его и, медленно выпуская, сказала:

— Итак, вы провожаете нас на вокзал, не правда ли?.. Лучше всего, прямо после спектакля приезжайте в «Европейскую» гостиницу. Мы с Танею и m-lle Хвостицкою только переменим там наши туалеты. А если ваш приятель, мосье

Пожарский, — она боковым движением кивнула высокою прическою в пространство зала, — захочет быть в нашем обществе, я буду очень рада с ним познакомиться. Только уж, пожалуйста, извините, если я попрошу его пожаловать прямо на вокзал... До железной дороги мне хотелось бы обменять с вами еще несколько слов.

Авкт очень хорошо понял, что все эти просьбы, с приглашением Пожарского включительно, равносильны приказанию, и молча поклонился. Он несколько удивился, откуда Анастасия Романовна знает о существовании Пожарского, но, взглянув на янтарное лицо Оберталя, увидал в его черкесских глазах и яркой улыбке под усами, что это он нашел нужным подсказать и просит этого не забыть как оказанную и когда-нибудь подлежащую учету услугу.

«Не знаю, зачем все они налетели в Петербург, — размышлял Авкт, возвращаясь на свое место в партер, — только уж наверное не за тем одним, чтобы слушать Ершова и Кузу...»

— Вот что значит побывать в многомиллионной ложе, — завистливо усмехнулся ему Пожарский, когда он опустился в кресла, — кто замечал нас с тобою в начале спектакля? А сейчас на тебя устремлено по крайней мере десять биноклей. Не угодно ли?

Авкт передал ему приглашение княгини. Пожарский так взволновался, что даже покраснел, но старался сделать равнодушный вид и сказал напускным басом:

— «Не возили».

— Что такое? — удивился Авкт.

— А это рассказывают, будто у вас в Москве купчихи так знакомятся с тенорами опереточными и баритонами разными... «Вы любите искусство?» — «Да-с». — «Какой вы молодой!» — «Да-с». — «Это, должно быть, очень приятно — петь на сцене?» — «Да-с». — «А в Стрельне вы были?» — «Нет-с». — «Почему же?» — «Не возили-с». — «Ну поедемте!..»

Авкт засмеялся.

— На это здесь, мой друг, не надейся. Не из тех. Но если ты произведешь на нее впечатление толкового человека, то — узнай у графа Евгения Антоновича, когда он именинник, и можешь поставить его угоднику большую свечу. Знакомство с княгиней Латвиной даром не пропадает. Как-нибудь и где-нибудь учтется...

В одной из лож бельэтажа вспыхнула лучезарная красота женщины, которую Авкт только что видел в ложе княгини, а за плечом ее поникла блестящею лысиною унылая фигура жукоподобного банкира.

— Датуров-то? — как-то досадно кивнул Пожарский. — Тоже вернулся с поклона... И смотри: так и сияет! А? Не угодно ли? Даже странно видеть этакое оживление на подобной истасканной, мертвой роже... И что ему, собственно говоря? У самого, поди, близко миллиончика наберется...

— Жена вот у него, — с увлечением сказал Авкт, — это я тебе скажу! Не то что миллион — десять миллионов отдать можно!

— Прекрасная Агриппина? — злобно усмехнулся Пожарский, раздувая черные ноздри. — Прекрасная принцесса Агриппина? Чего же еще?.. Сказано: мадонна... Лохвицкая-Жибер и еще какие-то поэты в стихах о ней писали... Не угодно ли?.. Мадонна, мадонна, что и говорить...

— И этакая-то мадонна — этакому-то мужу?!

Пожарский пожал плечами.

— Муж? — сказал он. — Муж? Что такое в наше просвещенное время значат слова — «муж», «жена»? Паспортные термины, обозначающие право совместного жительства на одной квартире без нарекания со стороны полиции и общества, — и баста! Не угодно ли? Какой женщине способен быть мужем этот господин, от которого в Париже отступились беспутнейшие горизонталки даже из массажисток? Разве это человек? Банка с морфином — не угодно ли? Если бы

он не молчал вечно, как рыба-кит, то давно люди заметили бы, что он сумасшедший, и свезли бы его в больницу Николая Чудотворца. У него все клеточки мозга оглуплены отравою — одна еще как-то держится: которою он онколи считает и дисконт ведет. Захлопнет эту клеточку — и конец: пожалуйте на попечение к Чечотту и Томашевскому... Не угодно ли?

Нехорошо, стыдно, горько улыбаясь, он продолжал:

— Муж! Не угодно ли, я покажу тебе, кто настоящий, фактический муж прекрасной Агриппины? Смотри в их ложу. Видишь третью фигуру — сейчас вышла из-за занавесок и стоит у барьера? Ну так вот, не угодно ли? Это и есть подлинный муж Агриппины Андреевны Датуровой... Не угодно ли?

Авкт недоумевал, потому что в ложе Датуровых бинокль не показывал ему никакой мужской фигуры, кроме самого банкира, все более и более тускневшего и линявшего красками безнадежного лика своего, по мере того как сходило с него оживление, вызванное любезным приемом в ложе московской миллионерши. У барьера же ложи стояла, опершись на него толстыми руками в длинных белых перчатках, дюжая дама лет тридцати с лишком. Она была хорошо сложена и, должно быть, еще лучше этого знала о себе и, за неимением других прелестей, этою красовалась, так как необыкновенно гордо поднимала над могущественным бюстом своим, облеченным в атлас цвета бордо, весьма дурнолицую голову скуластой, свекло-красной, плосконосой и белоглазой чухонки. Перчатки ее не были достаточно длинны, и промежутки между лайкою и рукавами краснели широкими лентами цвета сырой говядины, будто индейцы какие-нибудь сняли с рук дамы кожу на кровавые браслеты. Глядя в пространство зала, дама что-то говорила вполоборота красавице, которая отвечала, светя, как лампада, райскою улыбкою своих святых глаз и жемчужными нитями смеющегося рта.

Авкт в недоумении повернулся к Пожарскому, но тот был бледен, зол и все улыбался тою же своею нехорошею, оскорбительною улыбкою.

— Не угодно ли? — сказал он, досадливою гримасою отвечая на непонимание Рутинцева. — Надежда Филимоновна Гостомыслова, более известная под именем Краснокожей Надины или, кто уж очень ее не любит, как, например, твой покорный слуга, Надьки Пион. «Mademoiselle Giraud ma femme» читал? Или «La femme de Paul» Гюи де Мопассана? Ну, так вот тебе: петербургские отпрыски... Не угодно ли?

— Черт знает что! — пробормотал Авкт, опуская бинокль и смущенный даже до краски в лице. — Этакая прелесть и... да ты врешь, может быть?

Пожарский тряхнул головою, даже не трудясь оскорбиться бесцеремонным сомнением.

— Очень желал бы врать, — произнес он угрюмо, — мне эта скверная история много крови испортила...

Он подумал и прибавил:

— Если бы не она, я, может быть, флаконы-то и не давил бы каждый день, как теперь спиваюсь... Тогда приучился, когда за этою мадонною бегал по всему Петербургу, как собачонка за колбасою... Не угодно ли?

Помолчал и — только что Авкт хотел заговорить — перебил:

— Понимаешь... я человек культурный, не без образования... взгляды у меня широкие... В Отелло или Позднышевы какие-нибудь отнюдь по натуре своей не гожусь и по убеждениям не согласен... Ну там Кассио, ну музыкант, который «Крейцерову сонату» на скрипке изображает, — это я могу по-человечески понять и отстраниться — «дай вам Бог любимой быть другим!..». Но — когда дорогу твоей любви переходят — не угодно ли? — корсет и юбка, когда вместо Кассио прекрасного издевается над тобою старая девка, картофельный нос, морковные волосы и негритянские губы, — ты даже вообразить себе не можешь, каким опереточным дураком

начинает себя чувствовать человек и какое оскорбительное бешенство им овладевает... Мне и сейчас не по себе, когда я этот ménage a trois* вижу, а когда впервые узнал — треснуло меня обухом-то этим, стрелять в них хотел... не угодно ли?

— Ты что же, права, значит, имел некоторые на нее, на мадонну-то?

— Никаких прав, — с досадою отозвался Пожарский, — просто сходил по ней с ума, как кот мартовский. А она холодна была как лед и водила меня за нос, подобно десяткам других влюбленных дураков... Да — чувства-то, чувства-то своего разве не жаль? Богаты мы, что ли, чувством-то? В кои-то веки оно расцветает на болоте нашем ингерманландском? Я надеялся: чувство свое к мадонне несу, а оно — не угодно ли? — в лужу шлепнулось... Перестрелял бы, как собак... Хорошо, что напился я зверски в тот вечер и револьвер у меня в веселом доме украли...

— Однако! — невольно засмеялся Авкт над развязкою приятелевой драмы.

Тот взглянул исподлобья, но сам не удержался и улыбнулся жалкою, обидною улыбкою — стыда и унизительной насмешки над самим собою: не подчеркивай, мол, друже, и без тебя не обольщаюсь собственною особою; мое ничтожество — мне его и сознавать...

— Не угодно ли? Да! Вот они каковы — трагедии-то наши! — сконфуженно пробормотал он и обратил лицо к сцене, потому что зал потемнел и оркестр заиграл.

В «Европейской» гостинице Авкту пришлось довольно долго ждать Анастасию Романовну в одной из читальных комнат, покуда она спустилась к нему, уже в дорожном туалете, более зимнем, чем позволял апрель, хотя бы и такой пакостный, как стоял на дворе.

— Натура зябкая, — объяснила она. — С детства у тятеньки прижарилась на лежанках-то теплых, вот теперь и под-

---

* Сожительство втроем (*фр.*).

мерзаю на этом холодном свете... Ну-с, Авкт Алексеевич, у нас есть полчаса. Рассказывайте. Генерала Долгоспинного можете пропустить: я уже экзаменовала Оберталя. Что брат ваш обещал полную поддержку, тоже слышала. А как графиня Ольга? Оберталь вынес впечатление, что она ненадежна и выжидает.

Авкт — в самом деле, точно студент на экзамене, — смущенно поправил пенсне и выразил свое убеждение, что, напротив, с графиней, по-видимому, тоже все обстоит благополучно, так как... Анастасия Романовна сомнительно покачала головою и перебила:

— Это что она будто бы пятнадцать-то тысяч с Постелькина слупила? Не верю.

«Уже знает! — с удивлением подумал Авкт. — Откуда? Я Пожарскому проболтался, да и то имени не назвал, а Оберталю ничего не говорил».

И вежливо возразил, что не верит она напрасно, так как он сам внес эти пятнадцать тысяч в модный магазин мадам Жюдиты на условный, псевдонимный кредит некой госпожи Благовещенской, прикрытием которого обычно в таких случаях пользуется графиня Буй-Тур-Всеволодова. Анастасия Романовна остановила с маленьким нетерпением:

— Да я не тому не верю, что Постелькин пятнадцати тысяч не дал, а тому, что из этого взноса будет какой-нибудь толк для вашего дела. Постелькин ваш молодчина, можете ему передать. От него можно прока ждать: купец будет. Но он еще молод в больших делах и горяч, и дуботолковское захолустье в нем стержнем сидит. Привык у себя в слободе строить свои расчеты на мужицкой чести, ан тут честь-то графская. Это с волостными старшинами так возможно, что взяты деньги — и, стало быть, куплен человек, не ворохнется, надейся на него, как на каменную гору. Ну а с графинями Буй-Тур-Всеволодовыми не такто оно легко. Пусть Постелькин Бога благодарит, что до меня это дело дошло, а то плакали бы у него пятнадцать тысяч.

И, не давая Авкту, несколько задетому этим уроком, возразить, докончила, обратя к нему стальные, холодные глаза, из которых сейчас не светилось ни искры молодости, но бесстрастно смотрел такой давний, несокрушимый опыт, точно она мало-мало сто лет на свете прожила — и не женщиною, а угрюмым и бесполезным скопцом либо «дьяком, в приказах поседелым».

— Со стороны вислоуховцев ходатай Жезлоносцев тут старается. Вы его берегитесь: хапуга старой школы. Если вы — в ворота, он — в калитку, вы — в калитку, он — в подворотню. В жизнь свою ни к кому с переднего крыльца не хаживал, всегда — с кухни да лакейской ужом ползет...

— Мне известно, — почти обиженно сказал Авкт. — Можете быть уверены, что я стараюсь не упустить из вида ни одного шага противной стороны.

— Я и уверена, Авкт Алексеевич — очень деликатным тоном возразила Латвина. — Но когда в денежное дело вмешаны женщины, поставленные несколько щекотливо и обязанные дорожить своей репутацией, то бывают шаги, которых, кроме женщины же, никто другой уследить не в состоянии. И в этих случаях — извините, пожалуйста, — но я самой глупой камеристке поверю больше, чем самому умному адвокату. Вы вот внесли пятнадцать тысяч в модный магазин мадам Жюдиты на кредит госпожи Благовещенской — и спокойны. А я вам скажу, что Жезлоносцеву чрез некую госпожу Анемонову обещаны те же содействия, что и вам, только запрошено двадцать две тысячи, и он согласен и вносит их завтра в тот же самый модный магазин мадам Жюдиты на кредит госпожи Предрассветовой.

— Что вы говорите? — невольно подался вперед Авкт.

Она холодно шевельнула бровями и продолжала спокойно, без возмущения и осуждения:

— Графинюшка поняла, что дельце наше горячее и к спеху, и пустила слово свое наперебой: кто больше? С вас — пят-

надцать, а с того — двадцать две. Послезавтра вам, с какою-нибудь прицепочкою, предложат доложить еще десять — до двадцати пяти. А Жезлоносцеву после того еще восемь — до тридцати... И так далее, пока чей-нибудь карман не спасует. Аукцион, милый человек. Обыкновеннейший петербургский будуарный аукцион. Пока сможет, будет лущить обоих. А по всей вероятности, обоих же надует.

Она засмеялась все с теми же жесткими, стариковскими глазами.

— Анастасия Романовна, — возразил смущенный Рутинцев, — вы считаете меня уж слишком наивным. Смею вас уверить, что эти пятнадцать тысяч переданы мною графине не так, чтобы они — будто в воду канули. Если бы пришлось к делу, мне было бы очень легко выяснить и восстановить...

— Что? — холодно спросила княгиня Латвина. — Что вы подобно весьма многим пожелали украсить новыми туалетами m-me Благовещенскую, пышную полукокотку, с которою графиня Буй-Тур-Всеволодова мало что не знакома, но самое имя этой грешной госпожи Благовещенской в салоне ее произнесено быть не может? В этом секрете так мало интересного, что, пожалуй, мадам Жюдита вам и расписку в том выдаст, и печать приложит... Эка удивительная, подумаешь, редкость в Петербурге, что за туалеты жены платит не муж, а чужой дядя! Вот мы с вами сейчас в театре были. Высматривали, поди, дам по ложам-то? Каково одеваться стали милочки? а?

Она засмеялась.

— Право, если бы не брильянты мои, я в Петербурге себя Золушкой, Сандрильоной бы чувствовала... Все — герцогини какие-то, принцессы. И — кто же это, в конце концов? Да, как высоко титул ни подымай, все-таки жены чиновников, дочери чиновников, сестры чиновников — и только. Туалеты описывают в газетах, как художественные выставки, и женщина, сделавшая три выезда в одном и том же платье, уже

не мондэнка. И каждый из этих туалетов стоит вдесятеро больше того, чем порядочная женщина среднего состояния имеет право истратить на себя, не разоряя своей семьи до полного зареза. Однако ничего, перевертываются. Что же, с неба, что ли, падает им подобная благодать?

— В заграничной буржуазии то же самое, — заметил Авкт.

— В заграничной! — презрительно повторила княгиня. — За границей, батюшка, и капиталы имеются, а не шиши, извините уж меня, мужичку, за выражение. Вон — Германия Францию ограбила на пять миллиардов, помимо прочего военного разорения. А Франция, чем захиреть бы, двадцать лет всеобщим европейским кредитором оказалась, и мы, русские, первые, уже вдвое должны ей против того, что пруссаки с нее ощипали. В Париже и Берлине есть откуда роскоши явиться: результат естественный — деньги сундук распирают, купон опарою пухнет и выше кадки лезет. А ведь у нас-то — кругом — фу-фу! Особенно здесь, в Питере. Наследственных капиталов в бюрократии российской — дюжина-другая, и обчелся. А из благоприобретенных — кто своевременно казны не ограбил или ближнему своему тем или другим манером карманов не вычистил, так и утешайся к отставке памятью, что какой-то там римский консул, что ли, долгоносый тоже в старости капусту сажал.

Она качала головой и говорила:

— Сейчас Датурова мне ложу одну показывала... неподалеку от ихней, в бельэтаже. Вот эта самая госпожа Предрассветова, около которой хлопочет за вислоуховцев Жезлоносцев. Муж — отставной генералишка какой-то, пьянчужка, захудалейшая личность, получает пенсии 1653 рубля с копейками. А она — как солнце!.. Такой Пакен по телесам пущен, что мне за мою бедную московскую Войткевич даже обидно стало... Ах ты, Господи! Да как же это?.. А просто — вот смотрите: в ложу входит господин в смокинге, ручку целует. Это — понедельник госпожи Предрассветовой: он оплачива-

ет портниху и модные магазины. Другой является с букетом — это вторник; им оплачены брильянты, сверкающие в ушах госпожи Предрассветовой. Третий, с бонбоньеркою — среда: понимай — лошади, забор в гастрономическом магазине. Четверг: поездка на Ривьеру и игра в Монте-Карло. И так далее календарь — хоть и не на одну неделю, а на весь месяц... Кокотка? Да нисколько! Конечно, в самые верхи не допущена, но очень мило принята в своем, выше среднего, обществе, и принимает, и выезжает. Ни сама себя кокоткой не числит, ни те, кто ее покупает, ее кокоткой не числят, и муж-генерал был бы очень удивлен, если бы ему открыли, что он на кокотке женат... Врете! — скажет. Не кокотка, но ее превосходительство.

— Но ведь и сплетен много, Анастасия Романовна! — заступился Авкт. — Хуже уездного города! Мой друг Пожарский только что учил меня даже, как в Петербурге различать сплетню от слуха...

Анастасия Романовна согласно улыбнулась:

— Да ведь я не в осуждение — что защищаете раньше времени? Сама не святая отшельница. Понимаю, что всякой красивой женщине хочется жить не хуже других женщин, которым случайное богатство дает средства и право на роскошь. Красота и женское обаяние, как картина, требуют рамы: извините за избитое сравнение! И — уж если раму, то, понятное дело, каждая считает нужным и справедливым, чтобы рама ей досталась золотая... Не в осуждение, а просто — «ума холодным наблюдением» определяю: сейчас в Петербурге содержать женщину, которая хочет жить в свете, стало одному мужчин не под силу. Нужна... как, бишь, это называется?..

— Кооперация? — засмеялся Авкт.

— Почти, — так же ответила ему Анастасии Романовна. — Ну и вот. Кооперируют. Женщины — продажные, а мужчины — воры.

— Не все же, Анастасия Романовна! — сказал Авкт с неловкостью, вспоминая брата Илиодора, который «не берет», но за которым кроются две цепкие грабельки — белые ручки графини Буй-Тур-Всеволодовой.

Латвина очень хорошо его поняла, но равнодушно качнула головой и возразила:

— Если бы все, то Петербург подобно Содому давно бы бухнулся в тартарары, как, впрочем, и пророчат ему славянофилы. Не все, но тут есть фатальность, избежать которую — уже своего рода подвижничество. Огромных состояний, позволяющих мужчине тратить на женщину десятки тысяч рублей, немного. Должностей с подобными окладами совсем нет. Следовательно, милый кавалер, либо сиди смирно дома и целуйся со своей почтенной, но затрапезной буржуазкой, либо умей воровать. Да! да, мой друг! Когда-то продажных женщин называли полусветом. Маргарита Готье... les lionnes pauvres... N'insultez jamais une femme qui tombe...* Теперь все это — архаические предания, мещанство, третий сорт женского рынка. Полусвет разогнул спину и выпрямился в целый свет. «Эти дамы» в наши дни стали превосходительные, сиятельные, титулованные. И уже не надо им сейчас ни рыцарей, ни защитников, ни спасателей. Потому что — «кто тебя, Кит Китыч, обидит? — ты сам всякого обидишь!». Когда они падают, их не оскорбляют, но пред ними преклоняются, им завидуют, их боятся... вот как мы с вами боимся графини Буй-Тур-Всеволодовой, — закончила она, кольнув не без лукавства.

— Желательно было бы не бояться, — криво усмехнулся Авкт, поникнув головою так, что пенсне сползло почти к кончику носа и трепетало, и вихлялось на хряще, как умирающая золотая бабочка. — Вы меня действительно напугали, Анастасия Романовна.

— Ничего! — рассмеялась она, поднимаясь с места. — Страшен сон, да милостив Бог. Я напугала, я и ободрю... В ка-

---

* Бедные львицы... Никогда не оскорбляйте падшую женщину... (*фр.*)

рете договорим, — сказала она, указывая на приближающуюся Марью Григорьевну. — Вон — Маша идет звать меня... Маша, ты возьми себе извозчика, я беру с собою в карету Авкта Алексеевича: у нас не кончен разговор.

Японское личико сделало гримасу и произнесло с наглою растяжкою:

— Уж вам, барыня, известно, это самое любимое дело — улизнуть с молодым кавалером в тет-а-тет...

Авкт ждал, что Анастасия Романовна круто оборвет свое «чудовище фамильярности», но Латвина только равнодушно возразила:

— Ты дура, Машка!

И прибавила, обратясь к Рутинцеву:

— Вот этакие штучки она мне иногда преподносит при целом обществе. Совершенно избаловалась, дрянь!

— Итак, Анастасия Романовна... — заговорил Авкт в полутьме и мягком качании кареты, как только экипаж тронулся от подъезда гостиницы и княгиня откивала прощальные приветы управляющему, распорядителям и разнообразной челяди, выстроившейся ее провожать.

— Итак, Авкт Алексеевич, ждите, что графиня Ольга вас обманет либо потребует совершенно непосильной прибавки.

— Должны будем дать, — печально сказал Авкт.

— Ни копейки, — хладнокровно сказала Латвина.

Он удивленно возразил:

— Однако, Анастасия Романовна, дело с дорогою зашло так далеко, мы уже совершили такие крупные траты, что пятиться в них назад — не вышло бы нам дороже, чем идти вперед?

— Ни копейки, — повторила Латвина. — Слушайте меня внимательно и, если надо будет, поступайте совершенно так, как я вам скажу. Вы знаете князя Граубинден-Персицкого? Нет? Ну, Боже мой! известный... Его тут, как белого волка, все знают: огромный мужчина в папахе и черкеске, и шашка

у него через плечо особенная, его так «шашкою Шамиля» и зовут...

— Ага! — обрадовался Авкт. — Не знаком, но, если надо, познакомиться нетрудно: даже сегодня еще завтракали у Кюба за соседними столами.

— Добрый малый, но совершенно опустившийся человек, сплетенный из титула и долгов... Ну так вот: если Жюдита, или Благовещенская, или кто там еще из графининых фактотумов станут наседать на вас с новыми требованиями либо вы заметите, что Ольга Александровна тянет на сторону Жезлоносцева, так вы скажите этим душкам, что наличными деньгами в данную минуту не располагаете, но — если вам удастся продать векселя Граубинден-Персицкого, то вы снова к их услугам. И как можно решительнее и тверже. Увидите, что это весьма подействует.

— Но у меня нет никаких векселей Граубинден-Персицкого.

— Зато у меня, если бы вы знали, их на сколько!

— Он пользовался у вас большим кредитом?

— Никогда и ни малейшим. Просто, когда он совсем затрещал по швам, Датуров, банкир, его главный кредитор — вот этот, которого вы у меня в ложе видели, — умолил меня скупить часть векселей за себя, чтобы в случае, если дело дойдет до конкурса, его претензия, поддержанная моею, оказалась преобладающею... А вот и пригодилось...

В голосе Анастасии Романовны звучали ложь и насмешливая недомолвка, которая неприятно действовала на Авкта Рутинцева, — она почувствовала и договорила, глянув в окно кареты:

— Если бы мы имели время, я рассказала бы вам подробно, но мы уже пересекаем Литейную... Могу вам лишь наскоро сообщить, что главная особенность большей части этих векселей в том, что они выданы на имя той самой госпожи Благовещенской, которую вы так щедро кредитуете у мадам Жюдиты...

— Ага! Это наводит на мысли! — промычал Авкт, а она продолжала:

— То-то! Не все же нас давить, можем и мы давнуть. Остальное можете расспросить от моего имени у вашего приятеля Пожарского. Он был в то время юрисконсультом конторы Датурова, и дело это прошло через его руки... Вы мне пишите, Авкт Алексеевич, если что... А в важном случае даже телеграфируйте мне на Тюрюкинский завод.

Рутинцев коснулся качавшегося на передней скамейке кареты баула и сказал:

— Как это вы не боитесь по заводам да по медвежьим охотам подобные вещи возить?

— А что?

— Помилуйте, если здесь все, что было надето на вас в театре, так это — на многие десятки тысяч... Стоит составить нарочную шайку, чтобы ограбить вас в вашем салон-вагоне...

— Из рук не вырвут, — равнодушно сказала она. — А сзади на лихаче сыщик едет.

— Сыщик? — изумился адвокат.

— А то как же? Если я эту парюру надеваю, всегда телефонирую, чтобы прислали телохранителя. Двадцать пять рублей стоит удовольствие. Своего рода налог на роскошь. Положим, Алексей Никитич смеется, что когда-нибудь один из телохранителей-то меня и ограбит. Да ведь я не одна езжу. В карете, если бы не наш деловой разговор, со мною Машка сидела бы, а у нее есть отвратительная привычка носить при себе револьвер, чего я страшно боюсь, но она упряма, как ни бьюсь, и привычки этой мне не уступает. Убьет когда-нибудь кого-нибудь дура. А в вагоне у меня и Реньяк, и Альбатросов, в Порхове Артемий Филиппович сядет...

— Алябьева что же вы не считаете? Человек на веку своем тридцать семь медведей убил. Этот страж — всех надежнее.

— Он в Петербурге остается. Дела какие-то, — опять зафальшивила голосом княгиня. — Да и скучно ему за мною по заводам скитаться. Что он в этом смыслит?

— А остальные могут претерпеть?

Она надменно засмеялась, на лету поймав маленькую лесть:

— Остальные могут претерпеть.

— Но зачем рисковать? Неужели вы всегда так — куда вы, туда и брильянты?

— Напротив, никогда. Случай вышел... — сказала она опять тем странным лукавым тоном, который интриговал любопытство Рутинцева в театре. — Красная горка на дворе, так, может быть, мне тут вскорости на одной свадьбе пировать придется...

— Вот как! А не секрет...

— А нет! много знать будете, скоро состаритесь...

Карета миновала Николаевскую. Княгиня вдруг тронула Авкта за руку и — грубым, нерешительным голосом, точно нечто нехорошее думая, но быстро, — произнесла:

— Слушайте! Вы с художником нашим московским, Ратомским Константином Владимировичем, хороши?

— Приятель близкий, — удивился Авкт неожиданному переходу.

— А как вы почитаете его, — продолжала княгиня тем же голосом, лживым и нечестным, — очень он в делах своих запутавшись?

— Очень, не очень, — возразил Авкт, — но, если бы сразу все взыскания хлынули, есть от чего захлебнуться.

— Вот бы чьи векселя я охотно приобрела, — неожиданно сказала княгиня голосом простым и совершенно искренним. — Если бы недорого, конечно... копеек тридцать—сорок... ну, даже рубль пополам... Постарайтесь-ка, голубчик? а?

— Анастасия Романовна! Да на что вам? Ведь Ратомского автографы не годятся даже стенки оклеивать, потому что почерк у нашего великого художника прескверный...

— Уж это не ваша забота: найду употребление! И, пожалуйста, об этом помолчите — пусть останется между мною и вами. Хорошо?

— Моя обязанность, Анастасия Романовна. Но — бедный Костя! Я начинаю трепетать, что вы его вдруг за что-то возненавидели и готовите ему ужасное крушение...

— А может быть, наоборот, воскресение? — возразила она в тоне его шутки. — Слыхали вы, как московские барыни однажды Николаю Рубинштейну поднесли на серебряном подносе на тридцать тысяч его разорванных векселей? Может быть, и я хочу так же?.. Ну, Знаменская площадь! Теперь в самом деле держите-ка баул мой покрепче — и впрямь на подъезде так-то ли выхватят... И, значит, об этом — условлено? И сделаете — и помолчите, Авкт Алексеевич? Пожалуйста! Особенно сейчас, при наших... при Тане, при Реньяке, при Алексее Никитиче... Внакладе не останетесь... Пожалуйста!

На Николаевском вокзале по позднему часу было безлюдно и только буфет шумел — обычный последний прием петербургских алкоголиков, когда полночь выпирает их из дешевых трактиров, не имеющих права ночной торговли. Княгиня Латвина, окруженная свитою своею, прямо прошла к поезду, до отхода которого оставалось всего несколько минут. На дебаркадере было пусто, так что темная группа провожающих резко выделялась у ярко освещенного салон-вагона. Возле, в нескольких шагах почтительного отдаления, виднелась другая человеческая группа — маленькая, среди которой электричество озаряло полицейские погоны и две красные железнодорожные фуражки. Вдоль вагона прогуливался мерным шагом, тускло отсвечивая электричество на медалях, огромный станционный жандарм. Он при приближении ожидаемых пассажиров сделал фронт, как пред самым высоким начальством.

«Вот ездит-то! — думал про себя Авкт, шагая за княгинею, которую быстро и твердо вел под руку высокий, широ-

коплечий, но с талией чуть не женскою, Алябьев. — Владетельной особе впору».

Пожарский схватил его за рукав и отвлек в сторону. Он был расстроен, и глазки его бегали, а черные ноздри прыгали напрягаясь.

— Не угодно ли? — сказал он подавленным голосом, в возмущении. — Датуровы здесь... Не угодно ли? Знал бы, не поехал...

Рутинцев представил его Латвиной. Анастасия Романовна сказала ему с вагонной площадки несколько любезных слов с видом ласковой царицы, принимающей в милостивой аудиенции нового и полезного верноподданного. «Удостоила» рукопожатия и, кивнув, скрылась в вагоне.

«Только за тем и зван был? — подумал удивленный Авкт. — Немного же!»

Но Пожарский, напротив, остался очень доволен. Именно в формальности этого любезно-этикетного приема он видел, что с ним не просто пожелали познакомиться как с добрым малым московской бесшабашной фамильярности ради, но — понадобился он как серьезный делец, и теперь надо ждать: какие-то да будут ему дела!

«Ай да Таганка! — думал он и весело, и насмешливо. — Не угодно ли, как научилась герцогиню валять!»

Красные фуражки в вагоне лично исследовали купе, в котором Анастасия Романовна должна была провести ночь, причем Марья Григорьевна, сидя у знаменитого баула с брильянтами, командовала железнодорожными господами весьма нецеремонно и одного — толстого, низенького, в огромных рыжих бакенбардах — заставила собственноручно освидетельствовать, гладко ли открывается окно и плотно ли смыкаются занавески.

— Потому что мы намерены спать, — авторитетно трещала она. — И еще: если будут ночью топить без всякого понимания, то имейте в виду, что княгиня душной жары не выносит...

Рыжий железнодорожник смыкал и замыкал занавески с таким многозначительным и ответственно-послушным видом, будто от Марьи Григорьевны зависело все его благосостояние. А товарищ его, тоже рыжий, но длинный, гнутый, только с висячими унылыми усами, гудел спотыкающимся басом к обер-кондуктору, стоявшему с рукою под козырек:

— Обратите внимание, Санданский, что говорит mademoiselle... Если заметите какое-нибудь неудобство, будьте любезны обратиться вот прямо к нему, Санданскому, mademoiselle...

Поездной прислуге вся эта суматоха начальства, кажется, доставляла большое удовольствие. Кондуктора насмешливо переглядывались, и помощник машиниста говорил с мостка, из облака только что выпущенного пара багажному:

— Закрутились клопы вокруг купчихи-то...

— Всякий свою пользу ищет, — откликнулся багажный.

— Им ли еще, дьяволам, от ихних-то доходов? Дай мне в год десятую долю того, что рыжая метла получает в месяц, я пред министром не стану из себя вьюна вить, не то что для богатой купчихи... И что она для них может? Не более как частное лицо... Нет, уж это — так, собственная подлость в них говорит, не могут видеть капитала без преклонения...

— На машину-то вам попало? — подмигнул багажный.

— Или мы не люди? — усмехнулся помощник машиниста. — Самому — четвертная, мне — красненькая, кочегару — пять... До Бологого — квиты. Там — другая смена пойдет...

— Этаких каждый день возить бы! — вздохнул багажный.

— Да дом на Невском купить бы! — передразнил машинист.

Когда поезд тронулся, Авкт Рутинцев взглянул вдоль дебаркадера. Линия склоненных голов показалась ему выразительною. И лысина, как зеркало, Датурова, и мадонноподобный профиль его жены, и ноздри Пожарского были устремлены к окнам вагона, точно там скрывалась отбыва-

ющая чудотворная икона. Да и на своем лице он чувствовал слащаво-искательную улыбку не весьма достойного выражения, как и жест, которым он держал в воздухе над головою свою котиковую шапку, тщательно стараясь сочетать фамильярность только с учтивостью, не переходя в подобострастие. Два артиста, врач из молдаван или греков, три гвардейских офицера и важный вице-директор важного департамента с пожилою тонкою женою — все имели вид больших и малых комнатных собак, вставших на задние лапы, чтобы хоть понюхать аромат вкусного кушанья, которое мимо них высоко проносит на блюде лакей к господскому столу. Сзади козыряли красные шапки, тянулся в струнку полицейский офицер, впереди аршин проглотил и очи вылупил исполин-жандарм. Из движущихся окон вагона притворно и ненужно улыбались широроколицый, белощекий и белоглазый осанистый Реньяк, длинный, тощий, вихрастый Альбатросов, вялая Таня с опущенными ресницами и безлично-смазливенькая физиономия Хвостицкой, ее подруги-консерваторки, на положении компаньонки, но, в уважение хорошего дворянства, без этого имени. Все четверо отлично понимали, что они нисколько не интересны жадным собачьим глазам на дебаркадере, рвущимся только к одному окну, где осветилась электричеством величественно склоненная под черною шляпою голова Анастасии Романовны, а из-за плеча ее корчило нескрываемо презрительную гримасу японское личико смеющейся Маши. Но все-таки почему-то кивали и делали вид, что им очень весело, и что они к себе относят веселые улыбки и поклоны остающихся, и что этим последним их прощальные улыбки и поклоны тоже могут доставить какое-то удовольствие. И, когда видение это исчезло, уйдя из электричества в темную ночь, и остался от него только глухо удаляющийся рокот, Авкт Рутинцев, надевая шапку, чувствовал в себе двойственно — и стыд, точно он несколько минут в лакеях послужил, и какое-то глупое, почти гордостью рас-

плывающееся самодовольство: «То-то наша Москва-то! Вот тебе и «порфироносная вдова»! — думал он, оглядывая группу провожавших. — Нет, «новая царица», ты еще перед нею попрыгаешь».

И на всех лицах замечал ту же печать только что отбытого, за плечами оставшегося стыда, тем более что у других-то — даже не смягченное самодовольством москвича, торжествующего победу своего «колокольного патриотизма». Лишь три фигуры показались ему лишенными общей и уравнительной смази этой, в которой слились возрасты, полы, костюмы, туалеты, чины, военное и статское звания, профессии и службы. Но одна из трех была не в счет, так как оставшийся Алябьев — сам был москвич и всецело принадлежал к улетевшему видению. Другою — стоял рядом с Алябьевым господин, очень странно одетый во что-то вроде светло-серого, почти голубого при электричестве бурнуса или итальянского военного плаща, и на голове с чем-то вроде берета, который, по портретам, носил Гарибальди. Авкт признал в этом массивном, статном человеке с золотистою бородкою Буланже и голубым взглядом — беспечным и смышленым, скромным и холодным, в котором наивность чуть не девичья уживалась с бестрепетною готовностью бретера, — Леонтьева, молодого авантюриста — «конквистадора», начинавшего делать много шума не только в России, но и по Европе, уже именем своим загудевшего. Спокойно и без аффектации, как бы не замечая любопытных взглядов, по нему скользивших, протягивал он из-под плаща своего Алябьеву какую-то коробочку и говорил, страшно заикаясь:

— П...п...п... паа-про-буй... К... к.. к... клянусь, паа-добной карамели нет нигде, кроме Петербурга... УБлигкена и Робинсона...

И когда Авкт услыхал ровность голоса, которым заикался этот богатырь — не в обычай заикам, нисколько не конфузясь своего порока, — он почувствовал под светло-серым плащом

повелительность человека, влекущего и храброго, и с невольной симпатией подумал о нем: «Пожалуй, он и там, в Африке, под пулями, посасывал вот этак-то карамельки какие-нибудь да, угощая соседа, похваливал Блигкена и Робинсона...»

Третьим невозмутимым лицом, несколько отдалясь от группы, являлась та самая Надина, о странных отношениях которой к чете Датуровых Пожарский так горько и много жаловался в театре и по дороге до «Европейской» гостиницы. Она прислонилась к стене у окна, и свет из зала озарял ее черную фигуру как-то подчеркнуто и выпукло, почти зловеще. Она была без шляпы, а повязалась прямо по голове серым башлыком, так что волос не было видно, а вокруг шеи толсто намотан был и падал концами на грудь суконный узел. Это делало лицо ее похожим на широкомордую масляничную маску, которая бульдогом человекообразным прорвала серый картон и застряла в нем, ни взад, ни вперед, слишком смущенная своею некрасивостью, чтобы выдвигаться дальше напоказ свету, и слишком надменная, чтобы прятаться назад в темноту. Сейчас Надина показалась Авкту много безобразнее, чем в театре. И в то же время какою-то незнакомою жутью повеяло на него от ее лобастого и скуластого, с багровыми от сырой холодной ночи щеками лица, уставившего белый, обессмысленный неподвижностью взгляд куда-то в сторону от всех снующих мимо людей, в мглу ночи, с которою победно боролось и блестящим туманом смешивалось вокзальное электричество. Авкт чувствовал себя в поле ее взгляда и, однако, также чувствовал, что она его не видит.

«А просто-напросто — не сумасшедшая ли, часом, сия коварная госпожа Сафо?» — пришло ему в мысли, когда наконец этот женский истукан вдруг вышел из своего оцепенения, зашевелился всею своею круто обтянутою тяжелыми одеждами фигурой и, широко двигая вывороченными губами, закричал мадонне Датуровой, около которой сейчас весьма увивались и врач-молдаванин, и гвардейцы:

— Agrippine, sans oublier les conditions de la chasse: on partage le gibier*.

И слова были двусмысленны, и язык и произношение были не из красивых, и крикнула она неприлично — через несколько человек, нотами визгливого и дерзкого смеха, точно писк огромной летучей мыши. На нее обернулись, что нисколько ее не сконфузило. Красавица засмеялась и подошла к ней, укоризненно покачивая головой. Гвардейцы потянулись за мадонною, как серые гуси за лебедью.

Пожарский тронул Авкта за локоть и сказал:

— Едем.

Но Оберталь задержал и стал уговаривать, что не каждый день удается так дружно встретиться. Алябьев — редкий гость в Петербурге, час еще не поздний, «детский», и зачем же расходиться, если есть возможность провести час в радости?

— Вы согласны, Алексей Никитич?

Алябьев отвечал:

— Я человек, обязанностями не связанный, и если у вас здесь принято не спать, то могу.

— Мы вам покажем ночной Петербург.

Алябьев подумал и возразил:

— Если это не будет связано с морем вина...

— Кофе будем пить! кофе! — засмеялся Оберталь.

— Та-ак ты больше не пьешь? — с одобрением заикнулся Леонтьев.

Алябьеву одобрение это как будто не понравилось, и он ответил «конквистадору» суше, чем говорил с ним вообще:

— Не пью...

И вдруг — словно чтобы загладить, что чересчур уж щекотливо и чуждо покоробился он перед вопросом этим, — поднял на Леонтьева товарищеские доверчивые глаза и сказал с ударением:

---

*) — Агрипинна, не забывайте условий охоты: убитая дичь — исполу (*фр.*).

— Не то чтобы вовсе не пил, а воздерживаюсь... С того самого раза...

— Ага, — произнес Леонтьев очень серьезно и опять с одобрением, — с того самого раза...

Проходя вокзалом, встретили быстро шагающего, запыхавшегося, спешного, грузного, в курчавом драповом пальто Брагина... На лице его изобразилось искреннее огорчение...

— Опоздали, Георгий Николаевич... — сказал ему Пожарский.

А он стал оправдываться, как виноватый:

— Представьте, я, ничего не подозревая, сижу в редакции и читаю корректуры... И вдруг приезжает наш театральный репортер и сообщает: княгиня Латвина была в Мариинском театре, слушала «Тангейзера» и сейчас же отбывает обратно в Москву... Такое животное! Не мог сказать по телефону... Я спешил, как на пожар, и все-таки опоздал...

Но вдруг спохватился, что сгоряча извинился совсем не перед тем, кому это интересно, и оторвался от Пожарского к Оберталю и Алябьеву:

— Вы куда сейчас, господа?..

И опять мчались Невским Авкт с Пожарским. Езда на улице поредела, но с тротуаров хохотали студенты, визжали проститутки, висела ругань «котов»... Палкинский фонарь палил туман, как солнце. И, как дикая карикатура, мелькнула под ним ковыляющая от подъезда через улицу закрашенная маска пьяной женщины, на которую на смех осторожно и глумливо, безвредно, но обидно и страшно напирали мордами лошадей своих пьяные лихачи.. И женщина визжала и моталась, как лоза под бурею, а с козел мужицкие силуэты ревели на нее хохотом, и снисходительно улыбался в том же луче света с поста на разъезд черноусый красавец, старший городовой... На углу Троицкой с тротуара завыла губная гармоника, и нескладный хор пяти-шести молодых голосов рявкнул:

Где ж ты, Разин,
Где ж ты, Стенька,
Где ж ты, славный атаман?

И — наперерез рысаку, который нес Авкта и Пожарского, — бежали от Аничкова моста по направлению поющих голосов околоточный, поддерживая, чтобы не била по ногам, шашку, и два городовых, и заливался полицейский свисток...

Авкт расспрашивал Пожарского о секрете векселей князя Граубинден-Персицкого, который Латвина не успела ему сообщить, отъезжая. Пожарский был очень удивлен и с кислою улыбкою возразил:

— Не угодно ли? Я-то берег этот секрет себе на черный день — воображал, что он денег стоит...

Помолчал, обдумал и сказал:

— Пожалуй, лучше все же будет, если я тебя с самим Граубинденом сведу... Быть может, даже сегодня... Ведь, наверное, встретимся: где-нибудь в той же плоскости путается, что и нам предстоит... Этот ночной Петербург, который Оберталь собрался показывать Алябьеву, уж не так-то велик. Всего два-три места, куда человеку с именем не страшно показаться, а дальше уже риск шантажного скандала — не угодно ли?

И стал жаловаться, что, с одной стороны, и рад он, и благодарен, что Авкт познакомил его с княгиней и тянет его в ее деловой круг, но с другой стороны — видит он, хотя бы вот по этому сейчас вопросу, что не миновать ему через новые дела возобновления знакомства с Датуровыми, что ему — не угодно ли? — нож острый.

— Рассмотрел я на вокзале Надину-то, — заметил Авкт.

— Ну? — оживился Пожарский.

— Опасное лицо. Асимметрия выразительнейшая. Помоему, она либо вскоре на скамью подсудимых попадет, либо в сумасшедшем доме жизнь свою кончит...

— Как она, не знаю, — мрачно возразил Пожарский, — а вот что мадонна прекрасная, Агриппина Андреевна, прямехонько туда метит, — это вот верно: не угодно ли? Ты вообразить себе не можешь, какое влияние эта негодяйка на нее имеет и до какой степени ее воображение развратила...

— Удивительно! Я про подобные романы действительно только во французских книжках читал да у Каспера в казуистике судебной медицины ...

— Не угодно ли? Значит, ты младенец и живешь в младенческом обществе. А у нас это — злоба дня...

И с языка его посыпались имена аристократок, актрис, художниц, писательниц...

— Слушай! да, поди, опять иллюзии?

— Какое, к черту? Визитные карточки печатают с именами подруг: *такая-то*, урожденная *такая-то*... Не угодно ли? Остается только в газетах публиковаться...

— Мужья-то куда же смотрят? Хотя бы тот же Датуров твой?

— Нашел с кого спрашивать! Этакий гнуснейший рамоли... Ему-то что? Еще сам толкнет — не угодно ли? Гарантия: любовника жена не заведет, ребенком чужим не обрадует...

Он грустно поник головою.

— Помню я Агриппину девочкой... в Таганроге... как лилия была! Талант к живописи у нее был... не угодно ли?.. Ветку сирени белой она однажды написала — матери на именины поднесла. Я скажу тебе: так было трогательно и радостно, что плакать хотелось, глядя на эту сирень, росою осыпанную... в каждом цветке — будто ангел белый сидел и улыбался... не угодно ли?.. А сейчас — что она рисует! что она пишет! Клянусь тебе, что, когда я удостоился видеть альбом этой «мадонны», то чувствовал себя совершенно как пушкинский «Гусар» на Лысой горе... А Надина еще с торжеством преподнесла мне, что я видел только цветочки, а есть еще другой

альбом, уже такой заветный, что они его никому показать не могут... не угодно ли? Разве не эротическое помешательство?.. И так-то все наши подобные госпожи... все! Ты не думай: я не обвиняю до конца, — может быть, тех гадостей, о которой психиатры пишут, тут и нету, да легче ли оттого, если налицо весь вид их и все их растленное воображение? Не угодно ли? Вращаются в самой противной, тошнотворной сантиментальности; пустословною тайною, как стеною, обволоклись; оделись в языкособенный, точно argot нарочное, высокопарный, цветистый, а под ним — не мысли, но черви копошатся... Не угодно ли? Что ни копнешь, то какая-то судорога искаженной похоти. И всегда в этаком божественном ореоле, на возвышенном пьедестале кумиром: вот, мол, как у нас на Олимпе сверхсвинства воображаются! а вы там где-то внизу, безмолвные, жалкие, робкие смертные, что можете понимать? Не угодно ли? Начала веткою белой сирени, а теперь рисует, как молодые ведьмы на Броккене присягают Черному Козлу, со всеми милыми подробностями... Не угодно ли?

В загородном ресторане-шантане, куда прибыла компания, время началось было действительно, как обещал Оберталь, очень скромно: чашкою кофе, глотком дорогого коньяку в высоких золотисто-изгибистых рюмках с золотою буквою «N». Но затем Брагин таки не вытерпел и перешел на шампанское. А еще затем — когда-то и как-то — произошло нечто, чего никак не мог теперь вспомнить злополучный Авкт Рутинцев, одиноко сидя и мучительно раскачиваясь на своей номерной кровати... Прошла вдруг черною полосою какая-то пьяная Нирвана, бездна беспамятного мрака. По сю сторону бездны Авкт отлично все помнил, из нее самой ничего не помнил, а по ту сторону помнил что-то, но — кипел совершенно сумбурный хаос! И где в нем кончалась действительность, и где начинался бред, и не была ли бредом действительность, а бред не был ли действительностью, — это все разгоро-

дить решительно отказывалась теперь настойчиво желающая лопнуть голова...

Сидел, подобный старому гному, с ушами нетопыря, старый, лысый, на подобревшего злого духа похожий, Яков Маркович Серебряный и толстым, спотыкающимся, шепелявым языком рассказывал добродушно-ядовитые анекдоты эпохи Александра Второго и отпускал короткие остроты, от которых душа теряла веру, ум холодел и жизнь теряла смысл... Ушли в кабинет и пили крюшон... это было!.. Саша Давыдов светит цыганскими глазами и под аккомпанемент прекрасного, торжественно улыбающегося Яши Рубинштейна поет — поет, захлебываясь слезой, «Пару гнедых»; а Пожарский вымазал салфетку на груди томатным соусом и всех уверяет, что это он наплакал кровавыми слезами, это было... Но — зачем же вдруг все кругом стали играть в шахматы? Дюжины две столов, и на всех играют в шахматы, а между столами ходит задумчивый Чигорин и играет сразу двенадцать партий... Могло это быть? Не могло быть! Откуда? А между тем видится живо, будто было. Пришли цыгане, пели, и Оберталь осыпал Любашу золотыми, и как та ни рада им была, но скривила рот и заплакала, потому что золотые, падая, били больно, и Авкт с Оберталем за это чуть не поссорились... Но какой же это удивительный купец их мирил? Почему он в длинном черном своем рединготе плакал, становился на колени, целовал паркет и говорил: «Братцы, просите прощения у мать сырой земли! Она всех нас кормит!..» И всех угощал шампанским и говорил: «Пряничка хочешь? Мне бы фельдмаршалом быть, а я пряники разношу! Вот она — жизнь-то человеческая!..» И если это было, то было в какой-то странной комнате, которая вся была из зеркал, и ни одного зеркала не было целого... А пол усеян битым стеклом, и голые женщины, много неизвестных голых женщин, кружатся хороводом и дикими голосами поют одну и ту же дикую песню:

Генерал-майор Бакланов,
Бакланов генерал,
Генерал-майор Бакланов,
Бакланов генерал...

А Брагин стоит среди хоровода, серьезный и строгий, как жрец, жертву приносящий, и в руках у него железный ковш, и из ковша этого поливает он на розовые, белые, желтые, оливковые тела золотистое вино...

Что Авкт откуда-то пытался убежать, а за ним гнались и кричали ему: «Авкт Алексеевич! куда ты? попьем! попьем!» — и догнали на лестнице, в серых сумерках, и удерживали так крепко, что смокинг не выдержал и лопнул, — это могло быть: вон и действительно шов рукава распорот, и клок сукна выдран... Но чтобы один из держащих был суровый сенатор, который два года тому назад провалил Авкту кассацию доходнейшего процесса, другой — полковник Генерального штаба, третий — клоун из цирка, а четвертый — инженер, который сейчас где-то за тридевять земель в тридесятом царстве строит сибирскую железную дорогу, — это бред, галлюцинация, этого не могло быть... Что рано и незаметно исчезли куда-то Леонтьев и Алябьев, это понятно: люди такого закала всегда стараются стушеваться от оргии, когда люди становятся опасно фамильярны. Что он ужасно ругал их за бегство и непременно хотел догнать их в каком-то длинном полутемном коридоре — могло быть. Но каким образом из коридора этого, по которому он шел-шел, а тот все не мог кончиться, он вдруг уперся в сияющий огнями зимний сад и там пил брудершафт с теми самыми именитыми оловянноглазыми юношами, рядом со столиком которых завтракал давеча у Кюба? И откуда взялся профессор, который непременно хотел учить его санскритскому языку, и ксендз из какого-то провинциального костела? И куда потом мчался он со всеми ними на лихой, зверской тройке, и все ревели,

как дикари, и он все думал, что сейчас их полиция задержит, но никто не смел остановить! Двор где-то — только не в Петербурге, — казенно усыпанный желтым песком... Огромные деревья смотрят через каменный забор... Светло... В небе гаснет, выцветая из желтого пятна в белое туманное облако, большой, почти круглый месяц... Авкт, совершенно голый, в числе десятка других, таких же голых, — сидят среди двора на корточках, глядят на месяц, стучат зубами от холода и воют, как волки. А какие-то солдаты вдруг принесли корыто, наполненное вином, и все голые другие волки стали урчать, визжать, прыгать на четвереньках, кусать друг друга и лакать вино из корыта... Могло это быть? Разве мыслимо, чтобы это могло быть?.. Откуда надо было возвращаться по железной дороге? Естественно, что в купе рядом храпит на диванчике похожий в зеленом свете утра на мертвеца Пожарский. Но невероятно, что перед глазами трясется ходом поезда и в пестром тумане плавает по-казацки остриженная голова с немецким лицом, и красная маленькая рука в коричневом рукаве опирается на красивую азиатскую шашку, и молодой сиповатый голос басит как раз о том, что с вечера так интересовало Авкта Алексеевича:

— Если человек рыцарь и любит даму... а?.. И если дама льет слезы, ломает руки и признается, что она совершила глупость?.. а?.. Подписала вексель, который отдал ее в руки хама-ростовщика и подозрительной женщины?.. а?.. И если этот человек, который рыцарь, говорит: у меня нет денег, чтобы выкупить ваш вексель... а?.. Но я готов выдать от себя вексель на двойную, тройную сумму против вашего? а?.. И если ростовщик с ростовщицею согласились, и человек, который рыцарь, написал на себя векселей на столько, как ему велела дама?.. а?.. И если потом он пожелал, чтобы ему показали выкупленный вексель, а дама сказала, что его уничтожила?.. а?.. И если человек, который рыцарь, после узнал, что никакого векселя на даму у ростов-

щика не было... а?.. И если его собственные векселя учтены якобы ростовщиком, но на самом деле для той дамы?.. а?..

Немецкое лицо делается страшно, как багровый кошмар, глаза ползут из орбит на Авкта, как две белые, испещренные толстыми красными жилами черепахи, и азиатская шашка стучит в пол вагона, и железный голос гудит: «Он ей сказал: comtesse, вы меня обманули и разорили... а?.. Я нищий благодаря вам... а?.. У меня нет никаких доказательств, что это вы меня разорили... а?.. Она отвечала: я виновата, что позволила себе с вами маленькую хитрость... а?.. Но я совсем не хочу вас разорять, проценты по векселю буду платить аккуратно и, когда окажусь при деньгах, заплачу валюту и возвращу вам документ... а?.. Он был рыцарь, он любил, он согласился... а?.. Но если она никогда не хотела оказаться при деньгах?.. а?.. И если человек, который рыцарь, должен был тянуться из последних сил, чтобы платить ростовщику чертовские проценты и оправдывать сроки? а? И если он должен был унизить свое имя и стал игрок, чтобы жить сообразно своему положению в свете, и если он теперь висит на ниточке, и товарищи не сегодня-завтра предложат ему выйти из полка?.. а?»

Авкт мерно кивает головою. Немецкое лицо расплывается на два лица, две черепахи на четыре, шашка в две шашки. Голос шмелем гудит откуда-то издали: «Что человек разорился — это черт с ним, это судьба... а?.. И этот вексель — для его долгов — как капля в море... а? Но он есть надругательство над рыцарским чувством благородного человека — а? И благородный человек когда-нибудь, если жив будет, все свои долги заплатит, но этого не заплатит... нет!..»

Не то поезд грохочет, ускоряя железный ход свой, не то слышится болезненный, злобный, мучительно-кошмарный, почти сумасшедший смех чей-то, а железный шмель гудит: «И он сказал даме: я ничего не сделаю вам худого, потому что я рыцарь, — а? — но берегитесь, чтобы вексель, кото-

рым вы меня обманули, не был привязан мне, утопающему, как жернов на шею... а?.. Потому что тогда я перестану быть в отношении вас рыцарем и сделаю вам гросс-скандал... а?.. И дама знает, что человек очень может сделать ей гросс-скандал, и боится человека... Потому что хотя она очень важная дама, а он не более как обеднелый солдат, но он знатный рыцарь, а она только счастливая выскочка — а? И нет в России высокого места, куда бы он не имел возможности быть вхожим столько же, как она... даже больше, чем она, — а?.. И хотя она чрезвычайно важная дама и имеет всемогущие связи, но его нельзя выслать из города, посадить в тюрьму или сумасшедший дом, как это бывало с другими... о, нет! его нельзя!.. а?.. Предки человека спасали Петербург от нашествия иноплеменников и менялись с Шамилем оружием на поле брани... а?.. Человек мог бы сделать даме много-много неприятностей, но он не сделал ни одной, потому что он рыцарь... Но если... пусть бережется, — а? Потому что тогда он сдержит слово позабыть, что он рыцарь, и она получит свой гросс-скандал, после которого она будет уже не важная дама, но потерянная женщина... а?.. Он может! И она знает, что он может... Хоть на панихиде в Петропавловском соборе! Хоть на посольском рауте. Хоть на обеде! А?»

IV

В то время, как Авкт Алексеевич Рутинцев с круглыми, кровью налитыми глазами ехал в департамент «Приобретений и отчуждений» на аудиенцию к знаменитому директору Аланевскому и сквозь чудовищную головную боль обдумывал, то есть, вернее, припоминал, как ему связать в систему доказательного доклада обрывки и обломки разрозненных и разогнанных вчерашним алкоголем мыслей, — в этот самый час поезд, с которым вчера отбыла из Питера княгиня

Анастасия Романовна Латвина, давно уже отцепил ее салон-вагон на станции Порхово и, продолжая свой медленный ход, подползал понемножку к глухому полустанку, откуда считалось 37 верст лошадьми — ближайшее расстояние к уездному городу Дуботолкову. До полустанка в поезде оказался лишь один пассажир третьего класса; обер-кондуктор давно уже отобрал у него билет, еще после Твери, а теперь он старательно и умело, с ухватками много и бедно путешествовавшего странника увязывал ремни своего довольно грузного узла с подушками в вытертом тигровом одеяле. Был тот пассажир мужчина лет уже пожилых, необычайно рослый и широкоплечий, в дешевом драповом пальто и шляпе-калабрийке, должно быть, много лет тому назад покинувшей скромный магазин, в котором она была куплена. Несмотря на свой потертый вид, билет третьего класса и мужикоподобие с лица и фигуры, пассажир был человеком гораздо более значительным, чем показывали его приметы. Состоя с некоторого недавнего времени сверхштатным чиновником того самого департамента «Приобретений и отчуждений», в который теперь ехал Авкт Рутинцев хлопотать об изменении магистрали новой Никитинской железной дороги с города Вислоухова на город Дуботолков, мужикоподобный господин употреблялся директором Аланевским лишь по поручениям, требовавшим совершенной доверенности. И сейчас он ехал с таковыми же: проверить на месте цены и сметы подлежащих отчуждению владений в соперничающих уездах, а также обревизовать действия оценочной комиссии по вислоуховским землям, где отчуждение было уже намечено. Соперничество двух захолустных городов — казалось бы, весьма незначительное по существу — неожиданно запутало в себе такие капиталистические силы и власти, что еще более неожиданно выросло чуть не в яблоко раздора между двумя крупнейшими ведомствами, из которых самое денежное тянуло за Вислоухов, а самое властное — за Дуботолков. И второе

настолько выразительно тянуло, что денежное ведомство начинало уже смущаться и подумывать: не уступить ли? С целью взвесить шансы и поступить сообразно их весу душа и воротила денежного ведомства, хотя и не глава его, Валентин Петрович Аланевский командировал мужикоподобного господина в эту поездку — «все равно как бы самого себя». Звали мужикоподобного господина Николаем Николаевичем Лукавиным.

Когда Николай Николаевич Лукавин рекомендовался новым знакомым: «Лукавин!» — редкий мог удержаться от улыбки. До такой степени эта обличительная фамилия, неизвестно за какие грехи неведомых предков доставшаяся Николаю Николаевичу от скромнейших его родителей, не шла к широчайшей и краснейшей волжской образине, честным, наивно вылупленным глазам верной большой собаки, бурлацкой бороде рыжею взлохмаченною лопатою, грузному телу, скучающему в пиджаке по косоворотке и поддевке, степенным простонародным ухваткам, глухо ревущему, окающему басу и демократическому размашистому жесту, которым Николай Николаевич протягивал знакомым могущественную свою руку. В новом веке так руки не подают. Это — пережиток доверчивого романтического народничества, жестюе привидение из кружковщины семидесятых годов.

Встречную насмешливо-ласковую улыбку Николай Николаевич настолько привык видеть на чужих лицах, что, кажется, искренно почитал ее естественным и пристойнейшим выражением глаз и губ человеческих и, когда в ком ее не замечал, даже втайне смущался, пугался и дичился:

— Ишь, сурьезится... неясный человек! А может быть, и «она»?

Мир свой Николай Николаевич делил по политике — двояко: на левых и правых, центра не признавал, а вообще — трояко: на людей ясных, неясных и, с позволения сказать, «сволочь». Последнюю он при дамах деликатно заменял местоимени-

ем «она», но, чтобы отличить от местоимения, склонял как существительное: «она́, оны́, оне́, ону́» и т.д. К первой категории относились, в его мнении, из передовых люди, всегда носящие душу нараспашку, имеющие готовое мнение о каждом политическом и социальном вопросе и громкое откровенное слово на языке, привычном высказывать кстати и некстати все свое сокровенное. Лишь бы слушал его, ясного человека, другой подобный же ясный человек: слушал, не слушая, думая о своем, перебивая, говоря вразлад, волнуясь, спеша и сам до дна изливаясь среди табачного дыма столбом, над засыпанным папиросным пеплом столом со стаканами пива либо остывшего чаю. Ко второй — всех, кто умел держать язык на привязи; слово почитал данным для того, чтобы скрывать мысли, а глаза — чтобы держать их под заслонкою несменяемого ровного выражения, прячущего чувство; к душевным излияниям оставался не склонен даже после третьей пары пива, умел вовремя сделать и сдать срочную работу; туго брал и давал деньги взаймы; в споре дослушивал до конца вопросы и возражения и, когда сам начинал говорить, не позволял себя ни перебивать, ни уводить своей спокойной и размеренной речи в сторону от темы. И, наконец, третья категория — «она» — включала весь мир, отличенный светлою пуговицею, титулом, крупным чином, эполетами, капиталами живущих в собственных домах либо многотысячных квартирах, ездящий в экипажах на резиновых шинах, завсегдатайствующий в дорогих французских ресторанах и кафешантанах, не читающий Михайловского и «Русского богатства», благодушествующий за «Новым временем» и скептическою порнографией «Вопросительного знака». Но эта категория для Николая Николаевича, собственно говоря, реально не существовала вовсе — по крайней мере до последнего времени века его, ибо, дожив до сорока с лишком годов, он до сих пор встречался с «оною» по преимуществу лишь в условиях, так сказать, обязательных — узником

по одиночным и пересыльным тюрьмам, подсудимым на допросах, поднадзорным в ссыльных городах. Вне же этих принудительных свиданий Николай Николаевич отрицал и отметал всякую в «оне» для себя надобность и просто-таки «оны» не замечал. Идет по Невскому мастеровой, артельщик, приказчик, студент, швея, курсистка, едет извозчик, скулит нищий, зазывает проститутка — Николай Николаевич их видит, слышит, понимает, чувствует: это настоящий, живой свет. А — рядом — генерал вышагивает предобеденную прогулку, банкир катит на рысаках, кокотка в драгоценных мехах — это так, мерещится мифология, и для чего она Николаю Николаевичу в глаза лезет, неизвестно. Может быть, просто потому, что Николай Николаевич сегодня с ясными людьми много пива выпил, так — кому чертики, а ему генералы... Что касается ясных и неясных, то Николай Николаевич уважал и даже втайне побаивался последних, чувствуя себя при них, как солдат при офицерах; но истинно и всей душою любил только первых. Для ясного человека он готов был и рубашку с себя снять, и душу положить по мере надобности, и нельзя сказать, чтобы с большою разборчивостью. Сколько жуликов осчастливил он на веку своем этою своею влюбленностью в ясных людей, — история умалчивает, так как считать — рукой махнула. Ясный человек вкатил юного Николая Николаевича в первый студенческий арест и высылку на родину. Ясный человек свел у Николая Николаевича два месяца спустя после свадьбы молодую жену и три года спустя великодушно возвратил ему ее с двумя младенцами и в ожидании третьего. Ясный человек убедил Николая Николаевича, тогда еще едва совершеннолетнего, продать скудное свое именьишко, а деньги отдать ему «на партию». И надо отдать ему справедливость: деньги дошли по назначению, так как хотя ясный человек оказался ни с какими партиями, кроме бильярдных, не знаком, но зато с последними сближался на Нижегородской ярмарке яростнейше

до тех пор, покуда из капитала, вверенного ему Николаем Николаевичем, не иссякла последняя копейка. Потом, уже в настоящем деятельном и партийном возрасте, из-за человека, которого звали Дегаевым, Николай Николаевич увидал «вкрутую» и Петропавловскую крепость, и якутскую ночь. А по счастливом возвращении лет через десяток попал ради хлеба благодаря ясному же человеку на отчетную должность в частном банке. Здесь на директорских местах сидели тоже все ясные люди. И так ловко сидели, что если бы не присмотрелись вовремя со стороны некоторые неясные друзья Николая Николаевича да не выхватили бы этого Божьего младенца из омута, в который он усахарился, то пришлось бы ему пересеть вместе со своими ясными директорами на скамью подсудимых по делу уже отнюдь не политическому. Все подобные уроки нисколько не исцеляли Николая Николаевича от слабости его к ясным людям — тем более что к пожилым годам развилась у него и другая слабость: считать себя необыкновенно тонким человеком и старым воробьем, которого на мякине не обманешь.

— Пропадет в Питере это удивительное явление сибирской фауны, — с сердитою жалостью говорил о Николае Николаевиче в тот день, как газеты огласили позорный крах банка, из которого его успели извлечь, редактор передового журнала: в высокой степени «неясный человек», потому что под тонкою сдержанностью старосветских манер и наружностью старого французского дворянина-гугенота носил он сердце чуткое, теплое, отзывчивое. И секретарь редакции — такой же «неясный человек», потому что хорошо прошел и с благоговением усвоил школу своего знаменитого патрона, подтвердил, кивая, словно скворешницею с высокого шеста, маленькою, лысою — на сухой, жилистой шее, — головой:

— Пропадет. Наивен очень. Так из каши в кашу и будут им пошвыривать разные ясные человеки.

— Не понимаю, — откликнулась из-за стола своего с балюстрадою заведующая конторою, пожилая девица, популярнейшая в образовательных обществах и комиссиях Петербурга. — Не понимаю, каким образом этот святой ребенок, которого каждый, кто хочет, может уверить в чем хочет, был партийным бойцом, стоял на ответственных революционных постах...

— А дисциплина-то на что? — возразил секретарь. — Солдат. В вожди он никогда и не посягал, но солдат — великий. Храбрости беспредельной, честен — аж даже жандармские офицеры при допросах стараются больше сукно на столе разглядывать, чем Лукавину в буркалы посмотреть, и талант исполнительного повиновения — совершенно исключительный... Вы думаете, это часто? В России-то? Лукавин — вне дисциплины — ни к черту не годен, первый встречный плутяга обведет его вокруг пальца и возьмет голыми руками. А Лукавину в дисциплине цены нет. И умен, и догадлив, и проницателен, и изобретателен, и хитер даже. Из тех, знаете, людей, которым суждено — танцевать от печки. Но зато лишь была бы печка, от которой начать, а потом они так станцуют, что и внучки помянут, какие кренделя дед выписывал ногами... А Россию-то как знает? Ведь от Архангельска до Тифлиса, от Вержболова до Якутска собственными ногами исхожено, на Кубани жато-кошено, на Волге—Каме плоты гонял, на Урале лес рубил, на Мурмане с поморами тюленей бил... какого только мужика и промысла он не изведал — да не по-господски, голыми ручками, а в ровнях, всем хребтом, благо спина-то широченная... А нежность-то его душевная? Прирожденная деликатность? Ведь удастся же такая игра природы, что в тело Стеньки Разина попала душа чуть ли не гётевой Гретхен! Живет и симпатизирует Вселенной. Я думаю, что нет на свете человека, которого бы Николай Николаевич «не любил» — так вот, просто, беспричинно не любил, только потому, что — антипатия, физионо-

мия не нравится... Если его вешать будут, так он на эшафоте еще успеет осведомиться, есть ли у палача жена и дети, каких лет, как по имени зовут, да и под саваном прободрит еще палача-то ласковым словом: «Не конфузься, мол, значит, Иван Семеныч, не ты вешаешь, люди вешают... А что ремесло твое гнусное, так ты его, значит, брось... Вот — меня последнего повесишь, да и брось, значит, милый человек, а то — что хорошего? Ребятенки поднимутся — стыдиться станут... А покуда, значит, прощай, брат! Марфуньке-то с Алешкой своим скажи: дядя Николай кланялся, расти велел...»

Секретарь представлял Николая Николаевича удачно, похоже и говором, и лицом.

— И любят же зато и его люди!.. — воскликнул он. — Кто его знает, этого Лукавина. Умен ли он, глуп ли он — этого в нем испытывать как-то никому в голову не приходит... А вот — душу свою перед ним открыть и совестью своею его избрать — всякого тянет. Что он в год народу переисповедует — никакому монаху в лавре того не перевидать... И для всех у него есть свое особое слово — душевное, наивное, не вычитанное, прямо из нутра. И от слова его каждому теплее и легче, точно в глаза совести своей заглянул, а та — ничего, только усмехнулась с добротою да по плечу с жалостью потрепала...

Редактор, стоя у конторки с пером в руках, немножко рисуясь не по годам стройным, юношеским станом своим, качал серебряною бородкою, потряхивал серебряными кудрями и, склоняя тонкий профиль, которым он до шестидесяти лет продолжал нравиться женщинам, говорил:

— Все это прекрасно, но сейчас-то я решительно не знаю, что нам с ним делать. Это какой-то особый талант. Куда бы его ни приставили, немедленно он изыщет мерзавца, который садится ему на шею, и заставляет его возить себя по лужам. Банк этот... Когда я вспомню, чем он, в невинности своей, рисковал, мороз по коже бежит: кошмар какой-то...

Между тем ведь он же нищий совершенный, ему есть нечего, заработок необходим. Вчера он приходил в редакцию в таких сапогах... я подобных и не видывал... ажур какой-то. У гейневского нищего из «Атта Тролля», наверное, лучше были. Хотя бы синекуру ему какую-нибудь придумать при редакции, а?

— Догадается, не возьмет... Он же отлично знает, что литературных способностей у него — никаких, а по технической части у нас в редакции все занято.

— Это правда, что догадается...

Долго редактор крутил и щупал серебряную бородку и подбрасывал нервною белого рукою черепаховое, на длинном шнурке пенсне.

—Да скажите вы о нем словцо которому-нибудь из чистилища, — предложил секретарь.

Все улыбнулись. Чистилищем в этой редакции слыл ряд либералов-семидесятников, которых жуткая пора восьмидесятых и девяностых годов загнала в компромиссы казенной службы и тому подобных официальных и полуофициальных положений, но в то же время сохранила в числе платонических сочувственников...

— Пусть устроят старика к Аланевскому...

— Разумеется, — подтвердила «хозяйка конторы». — Скажите Крестову, или Донау, или Камилавкину...

— Они же там с Липпе министерство свое облагораживать хотят... Мест сколько угодно!.. — подхватил секретарь.

Редактор задумался, яснея умными глазами.

— Это недурно... Аланевский хотя обюрократился совершенно, однако человек либеральный, сколько служба позволяет, честный, а в старину свою красную с Николаем Николаевичем работал и, конечно, его уважал и уважает... Он бы Николая Николаевича нам, пожалуй, сберег... Но что же Николай Николаевич может у него в департаменте делать?

Секретарь улыбнулся:

— А вот именно, что им теперь по сезону требуется: облагораживать. Пусть-ка поищут для сего химического процесса фермента благороднее.

Улыбнулся и редактор тонкими губами, бледностью о болезни сердца говорящими:

— Это верно. Облагораживать — его ремесло.

И недели три спустя после этого разговора — Николай Николаевич, сам себе едва веря, очутился причисленным к департаменту Аланевского — самому деятельному и кипучему департаменту самого денежного русского министерства. Устроить это было нелегко. То есть Аланевский-то, польщенный, что о нем вспомнили и обратились к нему за услугой старые, давно покинутые и позабывшие о нем друзья «левой» юности, сразу же изъявил не только согласие, но даже особенно радостную готовность. Но Николая Николаевича пришлось тянуть в бюрократический хомут только что не на аркане.

— В «ону» меня запрячь хотите, — упорствовал он, наливая глаза кровью, фыркая и бросая кругом добродушно-зверские взгляды, — да... только, значит, не на дурака напали... я, значит, пакостить в душе себе не хочу... я, значит, не пойду в «ону»... значит, чтобы меня презирали... значит, не хочу...

— Что за пустяки, Лукавин! — раздраженно оборвал редактор. — Кто из нас может вас за что-то там презирать, если мы же именно и рекомендовали вас Аланевскому?

Николай Николаевич склонил очи долу.

— Потому что, значит, уже презираете.

— Да чудачина вы! послушайте! Ведь там же, в «оне» этой, как вы мило выражаетесь, давно уже — из наших — и Крестов, и Донау, и Верстаков, и Камилавкин...

— Ах, скажите, какие бесспорные имена!.. Что же их, значит, уважаете вы за это, что ли? — передразнил Николай Николаевич.

Редактор сдвинул к тонкой переносице тонкие брови и с досадою возразил:

— Насколько мне известно, никто им в уважении покуда не отказывает...

Николай Николаевич поймал на лету уклончивый тон ответа и с торжеством возразил:

— То-то вот, значит, «покуда»! А я, значит, не хочу. Ни покуда, ни — никогда.

Долговязый шест — секретарь взялся за него с другой стороны.

— Слушайте, Николай Николаевич, — доказывал он, убедительно кивая вправо и влево своею лысою головою-скворечницею. — Насколько мне известно, вы человек не только ясный, но и партийный человек?

— Что же из этого следует? — бормотал Николай Николаевич с очами, выпученными, как у гигантской рыбы-телескопа. — Была, значит, партия, был я, значит, партийный, теперь, значит, тоже праздно живу, собакам хвосты завиваю.

— Выходит, по-вашему, следовательно, что партия умерла и ждать, что она воскреснет и вы ей опять понадобитесь, вы считаете безнадежным?

Николай Николаевич побагровел, выкатил глаза и, склонив упрямый лоб, бросился, как бык на красный платок, прямо в подставленную ловушку.

— Если бы я, значит, так думал, то я, значит, не имел бы удовольствия с вами разговаривать, а значит, с Николаевского моста в Неву прыгнул бы, значит... да-с!

— А в таком случае, — победоносно словил его секретарь, — надо вам найти такие житейские условия, чтобы могли вы, о, благодушнейший, но неудобнейший остаток старой партии, сберечь себя для партии будущей. Следовательно: принять место у Аланевского и, сидя на нем, ждать у моря погоды.

Николай Николаевич презрительно фыркнул.

— Сберечь! Впервые слышу, чтобы министерства, значит, революционеров сберегали.

— Мало ли чего вы не слыхали, ясный человек. Россия — страна живых парадоксов. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

— Что ж он, ваш Аланевский, значит, меня, значит, в банке со спиртом, что ли, консервировать будет?

— Не в банке, а в департаменте, — не без ехидства кольнул секретарь — в банке, — извините, что плохой каламбур выходит, — вы уже консервировались... и нельзя сказать, чтобы очень удачно.

Этого возражения Николай Николаевич не любил и конфузливо поник головой, но бормотал в закушенную рыжую бородищу:

— А все-таки, значит, под светлые пуговицы не пойду. Не надуете.

— Ах ты, горе мое! Да почему? Свирепый вы младенец! Почему?

Ответ был по-прежнему краток, но выразителен:

— Потому что «она» есть «она».

— Ну, хорошо, — скрепился секретарь. — Вы обобщаете, как женщина, и говорите совершенную чепуху, но, хорошо, допустим, пусть по-вашему. Однако, если бы, по расчетам партии, надо было, чтобы вы пошли под светлые пуговицы, пошли бы?

— Конечно, пошел бы, если, значит, партия велела, почему ж бы мне, значит, не пойти. Мое дело служилое.

— Хоть и в «ону» — тоже пошли бы? а?

— Если партии, значит, надо, я в ассенизаторы пойду, ночные бочки возить, значит. Федос Иванович Бурст, бывало, говаривал, значит: «Дисциплина прежде всего». Клетошников хуже терпел.

— Ну вот и примите теперь место у Аланевского так, будто партия вам указала его взять, чтобы выждать ее воскресения.

Николай Николаевич качал головою и скорбно возражал:

— Партии-то, значит, нет... Ну, а без партии...

— Да, но остались же традиции и, наконец... мы все вас о том серьезно просим.

Николай Николаевич гладил бородищу, лупил глаза и безнадежно вздыхал, словно вулкан замирающий:

— Не могу... вы, значит, не партия. Хорошие люди, но, значит, не партия. Не могу...

И людей разобидел, и себя вконец расстроил.

Но однажды вечером, когда лежал он, одинокий, громадный, руки под кудлатую голову, на кровати в мерзейшем и поднебесном номеришке своем и сотрясал воздух глубокими вздохами богатырской груди, размышляя о том, что с будущей недели, пожалуй, лучше будет ему, ясному человеку, спуститься с небесной вышки своей в преисподнюю земли, то есть — в том же доме в подвальную угловую квартиру, — постучали к нему в дверь. На уныло басоватый окрик «влазьте!» вошел незнакомый, высокий, с седоватыми висками и четырехугольною бородкою, чуть сутуловатый, будто весь устремленный вперед, господин в хорошем меховом пальто и, с грацией чуть помахивая перед собою котиковою шапкою, сказал весело, сиповатым тенором человека, привыкшего говорить много, громко и подолгу:

— Здравствуйте, Николай Николаевич. Не узнаете? Давненько не видались. Аланевский. А я бы вас сразу узнал. Сколько лет-то, сколько зим, Николай Николаевич! что воды-то утекло! Не прогоните?

Николай Николаевич сидел на утлой кровати своей, положив руки на колена, подобно монументальной египетской статуе, вращал на гостя округленными очесами и испускал в бороду звуки удивления, весьма мало членораздельные:

— Это... значит... значит, вроде как бы... значит, потому что... именно утекло... значит... садитесь, сымайте уж, что ли, пальто-то ваше... значит, пожалуйста.

Гость поспешил воспользоваться приглашением, а Николай Николаевич опять — недвижный все — уставился на

него вращающимися зрачками: на этот раз он был почти твердо уверен, что сидящий пред ним сановник — в самом деле не человек, а мифология: отголосок вчерашнего пива, которого приволок ему третьего дня под предлогом, будто именинник, секретарь редакции целую дюжину: вон и сейчас еще на окне стоит из нее последняя пара, рядом с тарелкою, на которой под масляной бумагою сохнут сыр и колбаса.

Но мало-помалу из-за седеющих висков и серой четырехугольной бороды, из-за сети подвижных морщин, покрывших усталое блеклое лицо, из-за выцветших, но все еще живых и беспокойных глаз, что были когда-то голубыми, стали украдкою выглядывать и расцветать молодым цветом давно знакомые черты студента-техника Валентина Аланевского, кругом ясного парня, с которым Лукавин много смелых и удалых дел проделал и которого оставил он двадцать лет назад тюремною птицею, а встречает вот — поди ж ты, значит! дивны дела Твои, Господи! — чуть не министром...

Гость что-то говорил, но Николай Николаевич не слушал, а гость перестал говорить, потому что Николай Николаевич вдруг надул щеки, налил лицо и глаза кровью и, чуть не в лицо ему, прыснул удушливым смехом...

— Ка-ак мы с вами тогда... — проговорил он ждавшему во внимательном удивлении Аланевскому, — значит, с вами тогда... вы, значит, через забор... гвозди... штаны, значит, трах... бунтари свищут...

— А мы-то по репейнику, через поле, — подхватил его тон внимательный гость. — Мы-то через поле!

Но Николай Николаевич усиленно закивал на него головищей с бородищей: дескать, не мешай... знаю!

— Прибежали, следы спутали — думали, Сергей Геннадьевич похвалит нашу удаль, значит, спасибо скажет. А он, значит, глазки сузил: дураки! мальчишки! слушаться не умеете! кто вам позволил рисковать? за это вашего брата, значит, из поганого пистолета, как собаку, стреляют...

И оглушительно захохотал.

Невесело и длинно улыбнулся ему в ответ гость — нерадостно проплыло пред ним воспоминание... И вошло в комнату прошлое, и стало между двумя седеющими людьми и протянуло им обоим руки. Одному — горячую, полную жизни, с веселым, размашистым жестом: что? жив ли, курилка? Другому — холодную, мертвенную, робкую, украдкой старающуюся прикрыть ладонью пристыженное, угрюмое лицо. И когда оба взялись за руки прошлого, побежал от руки к руке старый, давно забытый ток... И вот сидел Николай Николаевич на утлой кровати своей, колеблемый ее шестью слабыми ножками, а гость — на стуле, и кипел перед ними самовар, и хлопал Николай Николаевич гостя по коленке, и бубнил ему с любовною укоризною:

— Слушайте, Аланевский... как же это, значит... ну как же это вы?.. Ну, с чего ж это вас, значит, угораздило-то? Этакий вы, можно сказать, были ясный парень... И вдруг, значит, поди ты, в министры лезет, генерал... Ну, как это вы, значит? Ну зачем вам? Ясный вы человек, зачем?

А гость не убирал колена из-под треплющей руки, улыбался ласково и смущенно и отвечал с чуть меркнущим светом в далекой глубине привычных скрывать внутреннюю тоску глаз:

— Обо мне говорить, Николай Николаевич, — и начинать не стоит: житие мое сложное, не кончим до утра. А времени у меня — в обрез, только — чтобы поговорить с вами о вас же самих... Правда? Давайте, милый Николай Николаевич, поговорим с вами о вас.

Но вместо того вышло так, что заговорил он все-таки именно о себе, и говорил много и долго. Номерная женщина дважды меняла самовар, и накурил Николай Николаевич столько, что, когда Аланевский не вытерпел, попросил открыть форточку, так морозный воздух с улицы даже не сразу в нее пошел — будто уперся в стену синего дыма и озадачился его гущиною.

Ну да, Аланевский понимает отказы Николая Николаевича. Он помнит взгляды Николая Николаевича на чиновников, а, конечно, он, Аланевский, теперь кругом чиновник. Да, чиновник, — и от звания своего не отрекается. Но пусть Николай Николаевич не думает, что его чиновничество — результат какого-нибудь социального ренегатства. Аланевский по чести может сказать, что он тот же, как был в семидесятых годах. Изменились времена, а не он. Ясный парень? Да, он был и остался ясным парнем — и надеется, что Николай Николаевич сам это увидит, если даст себе труд вглядеться в него и вслушаться. Он весь прежний, новая только шкура, как на уже: отслужит шкура свой естественный век, и уж он ее с искренним удовольствием сбросит, чтобы быть опять новым и самим собою. Значит, чиновничество Аланевского комедия? Нет, не комедия. Нельзя играть комедию почти двадцать лет подряд, завоевывая шаг за шагом ответственные посты государства. Взманили почести и знатности, кресты, чины, души мытарства? Аланевский их совершенно презирает. У него дома, в бюро, целый ящик завален футлярами с русскими и иностранными орденами — угодно? слуги могут вымести весь этот блестящий сор за порог хоть сейчас; пожалел бы только солдатского Егория, взятого по приговору роты в турецкую войну. Конечно, он сделал недурную карьеру, но, если бы он хотел, она была бы еще больше. Ему уже несколько раз предлагали «маленькие» министерства — он систематически отказывается, потому что не чувствует возможности быть полезным России на этих условиях, подражательных, показных, никому существенно не нужных постах, сдавленных в тисках между Министерством внутренних дел и Министерством финансов. Служебный пост, который Аланевский теперь занимает, удовлетворяет его, как логическое осуществление его идеи, которая когда-то увела его из революции в чиновники. Он чувствует себя полезным и нужным России. Да, да! Пусть Николай Николаевич не

мычит сомнительно и не трясет головою! Быть полезным России русский интеллигент может только с двух концов: либо революционер, либо чиновник. Революционером Аланевский был — и полагает, что Николай Николаевич не откажется подтвердить: революционером честным, деятельным — без страха и упрека. И он, перестав быть революционером, не изменил революции. Он только подал от нее в отставку. Почему подал? Опять-таки не он ушел от революции, революция ушла от него. Она от многих ушла тогда, от всех, кто проповедовал преображение государства культурою, а не силою. Что же делать? Он не террорист и не верит в террор. Николай Николаевич помянул Нечаева — и сам смеется, какими детьми они, несовершеннолетние студентики, были в его руках. Но ребячьи романтические игры проходят вместе с первою юностью. Дальше — экзамен. Человек находит право мыслить и выбирать. Что делать? Он не мог признать террора. Осуждает ли Николай Николаевич его за то, что он не стал террористом насильно, вопреки своему убеждению? Он уверен, что нет. Иначе Николаю Николаевичу пришлось бы осудить и Жоржа Плеханова — «блестящего Жоржа», — когда он в роще под Харьковом откланялся вчерашним друзьям своим и заявил по той же самой причине, что отныне дороги их расходятся...

Аланевский знает, что хочет возразить Николай Николаевич. Жорж Плеханов, отшатнувшись от террора, ушел не в департамент «Приобретений и отчуждений», а в эмиграцию и стал не бюрократическую лямку тянуть, а готовить социал-демократическую революцию. Аланевский нисколько не жалеет, что не последовал примеру Плеханова и других антитеррористов. Если бы он, как многие другие, сидел теперь в Женеве или Париже, то, быть может, в «Искре» — или что там теперь еще издается — оказалось бы больше несколькими хорошими и бойкими статьями: «Помните, Николай Николаевич, я писал недурно?» Но и только.

— Литературу, Николай Николаевич, я высоко ценю и уважаю, писатель для меня — почтеннейшая сила России, литературный талант — полубог. Но не литература делает жизнь, а жизнь делает литературу. Статьи суть статьи. Scripta manent, конечно, но не scripta creant*. Что же касается практической работы — извините меня, я знаю ваше предубеждение к нам, бюрократии, — но повторяю вам: если не революционер, то чиновник... Да, да. Это не теория: я пришел к этому взгляду опытом, личным наблюдением, собственною работою... Мы с вами, дети шестидесятых годов, — не люди, а дети, — подчеркнул он, — уже на гимназической скамье учились презирать чиновника — и были правы: достаточно есть такого, за что презирать его... Но — подумали ли мы с вами в те времена, что чиновничество — каково оно ни есть — все-таки самый образованный и рабочий, интеллигентно рабочий, класс русского общества? Дворянство? Но оно у нас скифское: либо чуть не Анахарсис: Чаадаев, Герцен, Салтыков, Шелгунов, — либо касимовский татарин, дикарь, полускот, Чертопханов, Куралесов. Свободные профессии? Это бегство разночинца от почвы, интеллигенция, перегрызающая пуповину, что связывала ее с народным корнем. Эти люди обманывают самих себя, когда думают, будто работают для народа: кроме добровольческих полуреволюционных, — отметил он назидательным голосом, — единиц в земствах, в толстовщине, иногда в столичном самоуправлении, — кто из них смеет серьезно на том настаивать? Адвокат выродился еще в семидесятых годах настолько, что щедринского Балалайкина общество приняло без протеста как сословный тип. Врач продолжался дольше, но сейчас пришла очередь и ему выцветать в новобранца пошлости, которую так убийственно и страшно пишет этот новый всеобщий любимец Антон Чехов. Все они не народ строят, но

* Написанное сохраняется... написанное создает (*лат.*).

себя в народе устраивают. Они, так сказать, физически далеки от народа. Тогда как чиновник физически же — обязательно — близок с ним на всех его классовых ступенях. Вы скажете: близок враждебно, ненавистно. Да, не спорю. Но близок, Николай Николаевич, ничего с этим не поделаете — и близок не со вчерашнего дня, а через всю петровскую культуру, вот уже слишком двести лет. Это — гигантский опыт и во времени и по размерам компетенции, подобного не имеет ни одно сословие в России. В архивах наших департаментов и канцелярий накопились горы знания: оно естественным путем стекается к нам чрез народные нужды, которые мы должны ведать и удовлетворять. У вас в глазах сверкнула насмешка. Да, да! вы правы: мы должны, но не ведаем и не удовлетворяем, а часто — еще хуже: ведаем, но не удовлетворяем. А знаете ли, какая из тысячи причин тому — главная? Не будем говорить об эгоизме правительства. Это увлекло бы нас в дальний принципиальный спор, который не удовлетворит ни меня, ни вас, — каждый из нас останется на своем берегу и каждый будет по-своему прав. Но, нисколько не отстаивая этики нашего государственного строя, я не могу не указать вам, что самый эгоизм его, до сих пор перепуганный семидесятыми годами и сконфуженный неумелою реакцией восьмидесятых годов, в наши нынешние дни пришел — вернее: насильственно приведен обстоятельствами — к актам обличительнейшего самопознания. А из них естественным путем вытекает необходимость реформ, и реформ резких, категорических. Александровские реформы оплакиваются либеральной интеллигенцией, но, в сущности говоря, неискренно. Каждый сознает, что плачет не по факту, а по лозунгу, что они умерли изношенными, что обществу нужен не вчерашний угасший день, а завтрашний, новый и яркий. Государство само вынуждено сказать такое «а», на котором нельзя остановиться, — последует и «бе», и «ве», «ге». Вглядитесь в наши финансовые мероприятия: разве не

ясно с совершенною прозрачностью, что, так сказать, закон тяжести влечет нас на путь государственного социализма? Мы с виду ярые протекционисты, но — взгляните на результаты: мы разбудили в русской трудовой самобытности западные идеи, мы вырастили рабочий вопрос... Как вы думаете: мы не понимаем этого? не считаемся с этим? слепо идем в пропасть, которой не замечаем? хуже у нас зрение, чем у всяких там господ Струве, Туган-Барановских и тому подобных школяров с необсохшим молоком на губах? Не беспокойтесь: и учились не хуже, и мира живого видели побольше...

Гость испытующе уставился в выпученные глаза Николая Николаевича своими проницательными, линяло-голубыми глазами и, прихлебывая чай, глядел поверх стакана и говорил строго, веско, раздельно, значительно:

— Революция в России неизбежна. Те, кто с нею борется, уверены в этом не менее тех, кто ее делает. Я уверен совершенно. Как вы полагаете: питая такую уверенность, возможно ли с искренностью служить правительству и до известной степени даже составлять его часть?

Николай Николаевич пошевелился при этом прямом вопросе на кровати своей, хлопнул глазами и выразил сомнение, что насчет искренности он не думал, а вообще сознательно носить воду в решете могут только либо обманутая глупость, либо обманывающая подлость. Гость при этом комплименте не поморщился, а, напротив, одобрительно кивнул головой: следовательно, на свой счет не принял.

— Ну да. Вы повторяете теорию нашей молодости. Время внесло в нее много практических поправок. Я — надеюсь, вы не сомневаетесь в моей искренности? — служу государственным задачам в области, которая мне вверена, не лукавым рабом, но честно и цельно, не только за страх, но и за совесть. И, однако, поверьте мне, Николай Николаевич, никто больше меня не знает, что не пройдет и десяти лет, как все, что мы сейчас делаем, будет исковеркано полити-

ческим смерчем, поставлено вверх дном, быть может, даже вовсе сметено с лица земли... И тем не менее сознание это ничуть меня не смущает. Наоборот, чем ярче встает передо мною революционная неизбежность, тем энергичнее я работаю для планов правительственной реформы, тем больше спешу сделать для нее, прежде чем разразится роковой час...

Он смотрел на Николая Николаевича хитро и торжествующе. Тот качнул лохмами и сложил губы неодобрительною трубкою среди всклоченной бороды.

— Парализовать, значит, уповаете? — возразил он с усмешкою. — Что ж? Дай Бог, значит, нашему теляти волка поймати... Пробовано и это, значит — не в первый раз, пробовано...

— Ошиблись.

Торжествующее выражение глаз Аланевского стало еще ярче.

— Ошиблись, — повторил он. — Нельзя парализовать фатум. А вы слышали: идущую на нас революцию я приемлю фатально. Не парализовать революцию я уповаю, но приготовить страну к ее последствиям: вот как я смотрю сейчас на роль свою... Да-с, Николай Николаевич. Если революции суждено грянуть над Россией, то я желаю, чтобы она совершилась государственным переворотом, но не космическою этакою катастрофою, вроде падения на землю кометы неожиданной, которая в столкновении и сама разрушится, и землю своротит с орбиты движения Бог весть куда в мировое пространство.

И, замечая, что в глазах Николая Николаевича появился не весьма лестный вопрос, Аланевский поспешил предупредить и отгородиться — даже руки выставил ладонями вперед.

— Вы хотите сказать: значит. — Он слегка передразнил обычную поговорку и интонацию Николая Николаевича. — Значит, вы, Валентин Петрович, играете двойную игру, как та старушка, которая ставила перед образом Георгия Победоносца две свечи — одну Георгию, а другую — Змию? Правительству продались, служите, в министры лезете, а есть

у вас в кармане свечечка про запас и на случай торжества революции? Ласковый теленок двух маток сосет? Опять ошиблись, дорогой мой. И знаете ли, почему ошиблись?

Он наклонился к уху Николая Николаевича и произнес шепотом важным и значительным:

— Потому что, если хотите знать всю правду, то я жду не только неизбежной революции, но и неизбежной ее победы. Да-с!

И, вглядевшись в странный, не то испуганный, не то восторженный блеск его линялых глаз, Николай Николаевич, изумленный, аж слегка отшатнулся от такой конфиденции, — понял, что этот человек говорит правду. Настолько правду, что сам ее боится. А тот кивал головою с седеющими висками и продолжал:

— Да-с, победы. А согласитесь, дорогой Николай Николаевич, что победоносные революции никогда и нигде не считали, у кого из побежденных сколько плюсов на народном кредите, сколько минусов на дебете. У них арифметика стихийная, уравнительная. Я смолоду достаточно долго и глубоко был революционером, чтобы на старости лет обманываться в психологии революции. Они топчут. Помните, в «Уриэле Акосте»: «Бог Адонай, бог, топчущий, как глину, своих врагов». Вот образ победоносной революции. Кто его усвоил себе, тот, поверьте, с ним заигрывать, воображая надуть, не станет.

Он энергически — движением былого студента-демократа — тряхнул седеющими висками и, схватив огромную ручищу Николая Николаевича в свои горячие, нервные руки, заговорил, ритмично ими встряхивая, с еще большим теплом, прямотою, искренностью:

— Николай Николаевич! я знаю, с кем имею дело. Если бы я хотел быть политическим плутом, то, поверьте, сумел бы и разыграть пред вами роль революционера в мундире чиновника. Тип, полагаю, вам знакомый, ибо весьма не ред-

кий. Но я, знаете, как Чацкий: не из числа охотников смешивать два ремесла. Революция так революция; правительство так правительство. У меня единое божество, единая мысль, единая цель — Россия, русский народ, его прогресс, его культурный рост, его умножаемое благо. Что божество это выросло во мне, юном, благодаря революционной школе, — признаю открыто и всенародно. Это знает правительство, которому я служу, знает мой министр, от которого я непосредственно завишу, знает двор, знает государь. Опять-таки прошу вас вспомнить и засвидетельствовать: я был честным революционером, как теперь я честный чиновник. Когда я, двадцативосьмилетний, дошел до идеи, что моему божеству, моей России, в данные годы лет на двадцать пять вперед хорошее правительство нужнее революции, — я с мучительными колебаниями пережил разрыв, но — сделал, что велело самосознание: ушел из революции в правительство. И теперь я не кокетничаю с вами революционизмом, не обманываю. Я — человек правительства, настоящий, преданный, весь на его стороне. Я даже не то, что называется либеральный сановник, хотя разные графы Буй-Тур-Всеволодовы и генералы Долгоспинные и величают нас с Липпе и либералами, и революционерами, и нигилистами, и санкюлотами. Я просто человек настоящего, который знает, что в будущем он не нужен и будущим он обречен на гибель, а настоящее его коротко, и поэтому должен он напрягаться и спешить, чтобы из настоящего своего выстроить как можно больше такого, что будущему понадобится и чего оно не должно и не сможет разрушить, даже когда разрушит и уничтожит нас самих.

Он порывисто встал со стула и — длинный и вдохновенный — поднял руки в черных рукавах визитки, почти касаясь кончиками пальцев низкого, закопченного потолка.

— Дорогой Николай Николаевич! Позвольте назвать вас таким именем: старый друг мой! Рельсы русской государ-

ственности давно перепутаны стрелочниками, и нас ждет великое столкновение поездов. Повторяю вам: знают все и ждут все. Это не страх струсивших временщиков, не болтовня либеральных сановников. Это — общее признание фатума. Знают все, боятся все. Старый, угрюмый Победоносцев, веселый бакенбардист Дурново, вспыльчивое, но холодное железо — Плеве, государственный престидижитатор Витте — все знают, все ждут, все боятся, только каждый на свой образец. Одни думают задержать столкновение тем, что пятят свой поезд чуть не к идеалам царя Алексея Михайловича и тормозят его, блиндируют, стараются придать ему большую устойчивость, наполняя вагоны тяжеловеснейшим балластом. Авось, дескать, отпятимся от того-то, встречного-то поезда, а если и налетит он все-таки, то расшибется о нашу твердокаменную грудь, мы же и не шелохнемся. Если послушать генерала Бараницына, вдохновляемого юным карьеристом Илиодором Рутинцевым, и политических кокоток вроде графини Ольги Александровны Буй-Тур-Всеволодовой, то надо нам наш поезд так раскачать и наступательно пустить во всю воинственную прыть, чтобы встречный страшный поезд не успел и от станции своей отойти, как мы уже сшибем его под насыпь... Но меня ни самохвальным задором, ни упованиями твердокаменной груди не проведете. Мое ведомство — ведомство цифр и таблиц, неумолимых выкладок и подсчетов, в нем богинею сидит госпожа Статистика. Средствами этой сударыни можно, при известной ловкости и наметанности, мошенничать с почтеннейшею публикою, но ее, как совесть, нельзя обмануть с глазу на глаз, наедине. И когда мы останемся вдвоем, она твердит мне холодным языком своим ряд роковых банкротств, неумолимо намечающих и сроки, и места будущего непременного столкновения. И я вижу, как в обоих поездах гибнут вставшие друг на друга дыбом локомотивы, и единственное, о чем тут в нашей власти позаботиться, это чтобы поезда не целиком раз-

летелись в прах, чтобы уцелело возможно большее количество вагонов, а в вагонах и людей, и поклажи... Мы, чиновники, больше вас, революционеров, люди настоящего, но настоящее-то наше, как его ни поверни, годится уже только на то, чтобы сооружать и привинчивать буфера, буфера и буфера. Понимаете?

— Это, значит, я понимаю, — проворчал Николай Николаевич, — но не понимаю, для какого, значит, черта — раз вы-то сами, значит, понимаете, надобно нам это ваше буферостроительство? Если вы, значит, верите, что революция будет победоносна...

Аланевский стремительно прервал его:

— А вам никогда не приходила в ум язвительная мысль, что Россия — такая своеобразная страна, что в ней и победоносная революция может прошуметь и отшуметь без последствий?

— Гм... — буркнул Николай Николаевич, отражая свое недоумие в светло-желтой выпуклости самовара.

— А я в этом уверен, — возразил Аланевский. — Да. Уверен. Если бы революция разразилась вот сейчас, после пятнадцатилетней реакции, на прахе разрушенных александровских реформ, в государстве безденежном, задолжавшем, безграмотном, пьяном, она, вероятно, была бы победоносна, но из нее ничего не вышло бы. Вышел бы «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Не мне вас учить, что основное свойство всех подобных бунтов — погибать от самих себя, бесследно распадаться и разлагаться от хаоса собственных сил в анархическое ничтожество. Вы ведь не анархист, я надеюсь?

— Нет, — угрюмо отмахнулся волосами Николай Николаевич, — анархическая идеология мне всегда была чужда и теперь, значит, не удовлетворяет. Но...

Но Аланевский, страстный и порывистый, перебил, тряся его за руку:

— Сознавать железную механику фатума, значит ли это — прийти к уверенности в совершенном испепелении, низвести свое существование к обращению в трын-траву? Если бы так было, то не могли бы под гнетом религий фатума расцветать политические культуры, а они цвели роскошно. И цветут, потому что современное государство есть также религия фатума. Я держусь взгляда древних стоиков. Мудрость есть искусство принимать катастрофу с достоинством, как давно предвиденный исход. Когда настанет час русского движения, я не хочу, чтобы оно прошло воздушною бурею «русского бунта, бессмысленного и беспощадного».

— Что же вы, значит, — усмехнулся Лукавин, отдуваясь в бороду, — значит, собираетесь в некотором роде для льва мясо в котлетку рубить? Вы, значит, барин хороший, не беспокойтесь утруждать себя: льву на то природа, значит, зубы и когти дала... Французскую революцию, значит, вспомните, милый вы человек. Как оглянулся, значит, народ-то да пошел творить...

— Так и вытворил конечным результатом и потащил в развоз по Европе Code Napoleon!..* — холодно возразил Аланевский. — И — знаете ли? Это все-таки уж кое-что. У нас сейчас жиже разрешилось бы. Именно на Францию-то глядя, я вам и пою мою песнь о культуре, должной предшествовать революции, чтобы не выродилась она в русский-то бунт, «бессмысленный и беспощадный», а главное — бесплодный. Там, дорогой мой, революция-то пришла на формы вековой культуры: католическая дисциплина — раз, римское право — два, Кольбер с фабриками — три... Да мало ли!.. Пришло великое, бурное, кровавое отрицание, старое содержание без жалости из старых форм выплеснуло, но формы-то разбить не могло, оказались сильнее его, и мало-помалу оно само в них вливалось... Ну, некоторые не выдержали,

* Кодекс Наполеона!.. (*фр.*)

лопнули — видно, туда им и дорога! отжили свое. Но большинство еще сто лет после прожило и умирать не хочет. Революция смела век испакощенной культуры, но сама оказалась и частью, и слугою культуры, и, когда пришла пора, потекла ее руслом. Но ведь у нас-то не потечет она руслом культуры, потому что нет и самого русла. Ну-ка, где у нас они — формы культуры несокрушимые, которые революцию в себя принять могут без того, чтобы их не разорвало? У нас, батюшка, вместо католической дисциплины — «Духовный регламент», которого чтобы сами попы сколько-нибудь слушались, пришлось Николаю Первому посадить в синод гусарского полковника; вместо римского права — табель о рангах да милютинская чересполосица, результат «великодушия» девятнадцатого февраля; а про наших Кольберов рассказывают, будто один из них, покуда присягал на иконе, что казны грабить не будет, успел из венчика Богородицы бриллиант выкусить... Если в подобные формы революция вольется, так ей, голубушке, и зацепиться у нас не за что: все чашки сразу даже не лопнут, а просто расползутся, словно их и не было, так и поплывет она по степям-то по нашим горячим этаким киселем, все обжигая, но форм не встречая и сама не формируясь... Культура нам нужна, но культура не наспех, а настоящая государственная культура, которая была бы достойна принять революцию и от которой революция могла бы унаследовать отправные точки своих прогрессов...

— Итак, вот, значит, вы эту буферную культуру и строите? — насмешливо спросил Лукавин.

Гость утомленно кивнул головой.

— Сколько могу. Но если бы вы знали, как это трудно, сколько сил мешает... Тормозы справа скрипят, что мы с Липпе — скрытые красные, революционеры... Генерал Долгоспинный в салоне графини Буй-Тур-Всеволодовой на днях громко изумляться изволил: почему это я департаментом управляю, тогда как другие мои товарищи в Шлиссельбурге

гниют либо в Якутке кету ловят... Вы думаете, мне Петропавловка забыта и прощена? Нет, батюшка, при каждом столкновении вспоминается и преподносится — и соком выходит... Через такие тенета и капканы прыгать приходится — никаких нервов не достает иной раз!..

Он поник головою, хмуря тонкие брови, и вдруг коснулся рукою груди Лукавина и сказал:

— А слева — вы.

— Что? — изумился Николай Николаевич.

— Вы мешаете. Вы, по совокупности, как теневая интеллигенция, и вы в частности, Николай Николаевич, вы...

— Я-то, значит, при чем? — вращая зрачками, ощетинился Лукавин. — Я, сударь мой, к сожалению моему, с восемьдесят второго года и, значит, по сие время никому и ни в чем мешать не мог, потому, значит, что вас-то якутскою кетою генералы только дразнят, а я, значит, и в самом деле ловил ее предостаточно...

— Мешаете тем, что помочь не хотите, — ласково возразил, сгибая вперед длинную шею свою и выставляя седеющую четырехугольную бороду, Аланевский.

Николай Николаевич нахмурился и отмахнулся.

— Ну это, значит, у вас сказка начинается, значит, про белого бычка!

Но Аланевский настоял:

— Которую вы упорно не хотите дослушать до конца.

Он, покачивая седыми висками, обратился к самовару, налил себе стакан уже совсем остывшего чаю и стал пить, морща лоб думою. По тому аппетиту, с которым Аланевский прикусывал пеклеванник, Николай Николаевич вдруг с изумлением признал, что именитый гость его голоден — и голоден серьезно, по-настоящему, как волк.

— Послушайте, — сказал он неловким басом, — у меня того... есть сыр и колбаса... будете есть?.. Пару пива, значит, могу предложить... от именинника осталось...

Аланевский выразил живейшее удовольствие и согласие, признавшись, что сегодня он действительно не успел пообедать, так как из департамента проехал на экстренное заседание общества мореходства и торговли, после баллотировал нового председателя в обществе пчеловодства, а оттуда вот забежал на полчасика к милейшему Николаю Николаевичу с надеждою быстро с ним сговориться, но вот не удержался, увлекся, заисповедался. Теперь ехать домой обедать ему действительно уже некогда, так как его ждут в Вольно-экономическом обществе, где он обещал слушать доклад некоего фабричного инспектора об опытах восьмичасового рабочего дня в три смены, введенного графом Паскевичем в своем Гомельском имении, и хотя он, конечно, к началу заседания уже опоздал, но надеется попасть к дискуссии...

— Да помилуйте, Валентин Петрович, — возгласил, ероша волосы и выкачивая глаза, Лукавин, и даже отставил руку со штопором, который готовился вонзить в пробку пивной бутылки, — что вы? Какая же, значит, к лысому бесу, дискуссия в первом часу ночи?!

Гость дико взглянул на хозяина. Хозяин — на гостя. И после короткого многозначительного молчания оба — старые, полуседые товарищи — сановник-государственник и поворотник-ссыльный — сразу затряслись, молодея в ожившем студенческом хохоте, которым Николай Николаевич гудел, как бочка, роняя по щекам обильные круглые слезы, а Аланевский визжал высоким тенором, и глаза его совсем исчезли вместе с веками во впадинах и окружились солнцами лучистых морщин...

И, когда нахохотались они оба — до того, что за стеною недовольно заворочался какой-то сосед, — огромная красная рука Лукавина дружески хлопнула по плечу сановника.

— Эх ты! — сказал он самым внушительным и добрым из басовых тонов своих. — Эх ты!.. Ясный парень... истинно, значит, ясный парень... И кой черт, значит, тебя, Валентин Петрович, этакого на министерскую линию занес?..

А тот утирал глаза рукою и лепетал:

— Ну это хоть бы в технологические времена... Недоставало, чтобы пришел сейчас Андрюша Берцов и мы, постарому, спели на три голоса «Утес»...

— Ну, брат, Берцову из Шлиссельбурга, значит, потруднее прийти, чем тебе из твоего департамента...

— Ох, уж и не знаю! — покачал головою Аланевский. — Вот уж и не знаю... Стены-то, друг, разные вокруг людей бывают. Если бы ты знал мою жизнь...

— Ты ешь, ешь колбасу-то, — сурово заботился Лукавин. — Шутка ли, значит, с полудня человек не жравши ходит... а еще ваше превосходительство!..

Напитавшись сыром и колбасою, его превосходительство стало жаловаться на отсутствие людей. Николай Николаевич прав в своих категориях: мир светлых пуговиц — в большинстве — «она». Но мог бы быть не «оною», должен быть бы иным. Вот мы говорили, что чиновник близок к народу, но враждебно близок. Почему? У враждебности две стороны. Враждебность народа — пассивная, отраженная. Она исчезнет, как исчезла на Западе, — когда ей нечего будет отражать. Надо погасить враждебность сверху — активную враждебность чиновника к народу, привычку его быть барином, правящим классом по праву рождения, образованию, диплому; надо, чтобы он выучился понимать, что светлые пуговицы — не знак отличия, а символ обязанности, ливрея народного слуги. «Надо, если хочешь, чтобы чиновник пошел в народ, как в старину ходили мы, революционеры». Валентин Петрович хорошо понимает, что эти красивые намерения легче произносить, чем исполнять. Но все же ему удается кое-что делать. Он вымел из своего департамента взятку, волокиту, канцелярщину, местничество, бумажную бестолковщину, посадил за столы университетскую молодежь, развил фактические сношения с провинцией и в них через нескольких честных, доверенных лиц непосредствен-

но соприкасается с нуждами народонаселения и непосредственно же несет их — на какие угодно административные высоты, включительно до ступеней трона... Все это Валентин Петрович сделал и делает, но он мог бы сделать гораздо больше и был бы вдесятеро полезнее, если бы не предубеждения слева. Почему левая не хочет давать ему своих людей? Почему, например, вот сам Николай Николаевич предпочитает ждать своей желанной революции, бездейственно сидя у моря и бесполезно тратя стареющие силы, тогда как, решившись стать чиновником в ведомстве Аланевского, он будет полезен каждый день, каждый час? И никто, решительно никто и никогда не посягнет на его убеждения, на его революционные взгляды; больше того: на его революционную готовность.

Вне того, что нам от тебя нужно, мы игнорируем твое прошлое, настоящее, будущее. Нам интересны в тебе не взгляды на самодержавие, но как ты думаешь о рыболовстве в Каспийском море либо — разорим ли мы город Вислоухов, если переведем направленную к нему железнодорожную магистраль к городу Дуботолкову... Придет твоя революция — ну и никто не держит тебя, она — твое дело, ступай себе к своему делу. Будем друг с другом сражаться, как солдаты двух враждебных армий в междоусобной войне. Но — пока-то? пока? Помоги нам в накоплении национального блага. Ведь ты же не сторонник девиза — чем хуже, тем лучше? Как же может чиновник-враг замениться для народа чиновником-другом, если левая не пошлет своих демократических элементов для формировки этого нового чиновника-друга? Мы хотим разрушить чиновника-барина и создать народного чиновника, — так дайте же нам, черт возьми, материал. На правой нет сил. Там давно никто друг другу не верит, никто друг друга не уважает. Там рвут государственный пирог. Столковаться с интеллигенцией правительству необходимо. Чего же вы ждете? Всунули вам справа уже та-

кую радость, как институт земских начальников: хотите естественного продолжения? Чтобы на помощь и в союз дворянской кокарде и попу, чиновнику в рясе протискался еще сюда новый «третий элемент», чумазый чиновник-кулак из вчерашних Разуваевых и Колупаевых, а ныне, как Эртель пишет, «иностранец Липатка»? Берегитесь! Он уже сторожит очередь, стучится... и в конце концов придется и ему поклониться в пояс, если левая будет рассматривать нас попрежнему как отверженных парий. За что? Спроси, Николай Николаевич, Крестова, Донау, Верстакова, Камилавкина... люди не с такого лева, как ты или твой знаменитый друг, редактор передового журнала, но все же с хорошего лева. И пострадали в свое время, и в журналах таких работали, в обществах... ну, вообще... Пришлось ли им хоть раз за время их службы у нас вступить в компромиссы со своими убеждениями, в сделки с совестью? Смущают старые предрассудки — эмблема светлых пуговиц? Ах, какой вздор! Кто сейчас обращает на это внимание? Не нравится — хоть и мундира не шей! Мало ли у нас причисленных и вольнонаемных? Не прежние времена. Я прошлым летом к министру с докладом в сером пиджаке ездил, а он меня встречал в чесуче... Ах, Николай Николаевич! в союзе с твоим-то народным знанием и опытом, с твоим-то всеведением, так сказать, России куда бы я только мог планы и проекты наши разные двинуть вперед...

Когда потом в редакции передового журнала Николай Николаевич рассказывал эту сцену, секретарь на этом месте засмеялся и сказал:

— Сирена! По всему Петербургу знаменит искусством — запеть человека так, чтобы тот и опомниться не успел, как уже на все согласился. Удивляюсь, Николай Николаевич, как это вы устояли? Я бы давно уже был в мундире...

Но седой редактор из-за конторки своей только чуть улыбнулся глазами, помолчал, дописывая какое-то письмо, под-

писался с росчерком, отодвинул листок, положил перо и обернулся уже с папиросою в зубах.

— Сирена-то сирена... — сказал он серьезно. — Но сдается мне: «Он пел, и хвала его непритворна была...» До пятого часа, говорите, беседовали?

Николай Николаевич, сконфуженный, даже руки расставил, точно глину ими мять собирался.

— Без четверти в пять ушел... светало, значит, уже...

— Занадобились же вы ему! — потешался секретарь. — Ай, да генерал! Демократия, сударь ты мой! Министры с вольнодумцами до зари чаевничают и колбасу жуют. А еще самодержавный строй!

А редактор качал серебром кудрей и, тихо и печально улыбаясь, повторял:

— Все тот же... все тот же... Как был — весь темперамент, так и остался... Накопится у него в душе-то дряни, что воды за плотиною — прорвет вот этак-то покаянно-утешающей струей, и понесет, понесет... На прощанье плакал, конечно?

— Д-да... — буро краснея, сомкнул сконфуженные очи Николай Николаевич. — Да и я, признаться, значит, того... Расцеловались, значит, и пошел он... Я из окна глядел, как он в рассвете улицу переходил... жалостный, братцы мои, значит, такой... старый, понурый, голова согнутая... нелегко тоже жить-то, значит... а пальто на нем, между прочим, богатейшее...

— Все тот же... все тот же... — качал головою редактор. И вдруг, бросив окурок в угловую плевательницу, произнес тем особым — серьезнейшим, стальным — голосом, которым он овладевал вниманием на редакционных собраниях, когда дело касалось самых важных организационных вопросов: — Опаснейший материал, Николай Николаевич...

Тот насторожился.

— Кто?

— Об Аланевском вашем говорю... Опаснейший материал.

— Человек, хотите вы сказать? — поправил его секретарь.

Редактор отрицательно шевельнул глазами. Ресницы у него были красивые, шелковистые.

— Нет. Материал... Человеком опасным он не может быть, не умеет. В нем настоящей инициативной активности нет. Энергии рабочей много, но вся — пассивная, по инерции, развивающаяся от чужого импульса на чужом поле. В революции не был опасен правительству, в правительстве — не опасен революции. А вот материал — опасный. Страшной силы материал... для политического жулика!

— Вы же сами, значит, говорили, — возразил с неудовольствием Николай Николаевич, — что Аланевский — человек честный.

— Он-то честный, — согласился редактор, — но что из способностей этого честного человека политический жулик вылепить может, сего — ни в сказке сказать, ни пером описать... То-то я слышу: по ведомству Липпе реформы пошли... Ох уж мне эти грешные энтузиасты! Магдалины вицмундирные, ищущие покаянных пустынь в департаментах!..

Он сел, хмурый и более обыкновенного откровенный:

— Я вас, Николай Николаевич, хотел устроить к Аланевскому ради вас самих, как в безопасное убежище, чтобы вы каких-нибудь ребячеств не натворили... Простите, голубчик: во время войны вы золотой человек, но для затиший и перемирий — неудобнейшее существо в мире...

Он на войне опасен для врагов.
Во время ж мирное он всем опасен!.. —

продекламировал секретарь.

Николай Николаевич стыдливо ухмыльнулся, словно радугу через все лицо растянул, и виновато облизнул губы языком, согласившись безмолвно: «Что ж, мол, поделаешь? Натура, значит, такая! И сам не рад!»

Ну, а теперь я вам советую от всей души и совершенной искренности: идите вы к Аланевскому — ради Аланевского самого... Этот господин на опаснейшую дорогу свихнулся. Около него необходимо нужен человек, который бы его одергивал.

Секретарь пожал сухими плечами:

— Да нам-то какое дело — спасать этих, как вы выражаетесь, департаментских Магдалин? Что общего между нами и ими? Чем больше их свихнется, тем лучше.

Редактор возразил с суровыми глазами:

— Спасать надо не Аланевских, а народ, на шкуре которого они, свихнувшись, опыты свои производить намереваются... Ишь — надумали!.. Ловко... Буфера!.. Этакое жульничество!..

Он презрительно дунул пред собою, так что серебряные усы раздулись и опустились, и закурил новую папиросу.

— Искренний, честный... Тем и опасен. Искренний, честный, блестящий и... неумный.

Даже секретарь всплеснул руками.

— Ну что вы сегодня говорите?! Это Аланевский-то не умен?!

Редактор досадливо поморщился, как человек, которого не хотят понять в то время как он рассчитывал, что говорит азбучную истину.

— Ах, эти слова-мерки, беда с ними... Умный... неумный... Тут определения словом твердым никогда не достанет... Чутьем, инстинктом надо брать. Разумеется, Аланевский не дурак, а умнее в своей сотне, может быть, девяти десятков, может, даже девяносто девяти единиц. Но — в своей сотне! Это — раз. А — два: умственные способности у него большие, но не того качества, которое создает политиков-финансистов... Знаете поговорку: из тысячи кроликов нельзя сложить одной лошади... Ну вот. Этот самый господин Аланевский — великий мастер выдумывать и фабрико-

вать кроликов, но лошади сочинить ему не дано... Тем не менее вид, что лошадь им сочиняется, он будет всегда иметь твердый, потому что сочиняет ее искренно и верит в нее от всей души. А если усомнится, так господин Липпе не замедлит внедрить в нем новое «вещей уверение невидимых», и он примет с наслаждением, потому что иначе — у него жизнь выпустошена, а жить-то он и любит, и хочет... И поэтому, в какую бы дрянь его ни втянули, он будет ее делать искренно, честно, ловко и всех усерднее... Находка для политических жуликов, настоящая фехтовальная рапира! Вам, Николай Николаевич, как хотите, в это фехтование вмешаться надо. Это ваша прямая боевая роль. Если над душою Аланевского честный человек стражем не станет, господа Бараницыны, Липпе, Рутинцевы и Буй-Тур-Всеволодовы таких нам буферов накрутят его руками, что...

Он умолк, выразительно подбросив на шнурке пенсне. Потом опять заговорил:

— Господин Липпе, взгромоздивший этакого вот Аланевского на древо стрясать для него каштаны, хитрее Аланевского раз в пятьдесят... Но он невежда, косноязычный, неуклюжий мещанин. А пришло время, когда надо играть в прогрессивный демократизм. А это — так вот с неба, вдохновением-осенением — не падает. Господам Липпе и К° нужен чужой язык, как Моисею — Ааронов, чужое перо, чужая энергия и, наконец, чужая шкура, в которую можно спрятаться, когда по «сферам» загудит другой ветер... Буфера!.. Вот — подождите: вы увидите — выжмут буфера эти из Аланевского весь сок его... и ждет тогда почтеннейшего Валентина Петровича такой скандал, что Вселенная удивится... Соки выжатые останутся в пользу Бараницыных и Липпе, а исторический срам буферов — примут Аланевские... И поделом!

Он курил и хмурился.

— Буфера!.. Мне из Москвы пишут: там от буферов-то ихних не только в обществе смущенные люди недоумевают,

но и полиция озадачена — ничего не понимает... Фидеин сообщает: на его работу по фабрикам до такой степени смотрят сквозь пальцы, что даже жутко делается — либо ослепли, либо ловушка... Государственные социалисты! Скажите, пожалуйста!.. О господине Зубатове слыхали? Как же! Проявился такой государственный социалист... Сила... Помяните мое слово, если все подобные «государственные социалисты» не затем подвизаются, чтобы бросить народ на штыки...

И вторая папироса полетела в угол, в плевательницу.

— Если бы я Аланевского не считал искренним человеком, так и не предлагал бы вам, Николай Николаевич, так сказать, менторской миссии... Но, право же, время от времени необходимо придержать его за руку: погоди, не греби, не усердствуй — присмотрись, куда руль в чужой руке направляет твою ладью... Вы это можете: он вас уважает, вам верит... А то ведь просто страшно, что они там теперь мастерят, эти теоретики буферные... Договорились же до того, что мужику русскому тем будет выгоднее, чем внутри страны хлеб дороже. Отсюда же один шаг остается — до комиссии для устройства нарочных всероссийских недородов...

В результате таких-то вот бесед и совещаний очутился-таки Николай Николаевич после долгих упрямств и барахтаний «приставом от этики», как острил секретарь, при сановнике Валентине Петровиче Аланевском, не особенно могущественном и даже, пожалуй, бессильном по личному влиянию, но вседеятельном и вездесущем по служебным обязанностям и замечательно разносторонней общественной суетне. Единственное право, которое все-таки Николай Николаевич отстоял себе, это — не быть зачисленным в государственную службу, а служить по вольному найму.

На ближайшем после того докладе министр Липпе воззрился на Аланевского из глубины кресла своего, сделанного аккурат по мерке, чтобы, как футляр, вмещать его жирное, дряблое тело, и, моргая хитрыми крохотными свинцо-

выми глазками со странного курносого лица — точно рыло породистого йоркшира, в голову которого по ошибке попал великолепно развитый человеческий мозг, — спросил тем особым «юмористическим» пискливым голосом, который у него выражал осторожность и неопределенность в отношении к ожидаемому ответу: может быть, оно хорошо, а может быть, и скверно, так я на всякий случай покуда попищу Петрушкою, а серьезные интонации придут, когда повыведаю и повыпытаю, что мне надо.

— Вы-с там у себя, Валентин Петрович, какого-то диковинного секретаря завели-с? Графиня Ольга Александровна уверяет: прямо с каторги-с бежал и кандалов еще даже будто бы разбить не успел-с?

Аланевский рассказал, Липпе выслушал, одобрительно склонил голову, перестал моргать, отчего его лицо сразу перестало быть йоркширским, а сделалось очень умным человечьим, и возразил уже менее пискливо:

— Все эфто оченно прекрасно-с, но о сем господине Лукавине я уже от генерала Бараницына бумажку имею-с... Угодно взглянуть-с?

— Матвей Карлович! Да о ком же нам бумаг не пишут? Стоит взять в департамент порядочного человека, чтобы Бараницын с Рутинцевым нам немедленно ставили на вид, что он тогда-то сидел, тогда-то был выслан, там-то находился под явным надзором полиции, там-то — под тайным... Так было и с Камилавкиным, и с Донау, и с Крестовым, и с Верстаковым...

— Ваши-с все-с ставленники, — со значительным ударением пропищал Липпе.

Аланевский взглянул на него глазами, ясно сказавшими без слов: не беспокойся, игемон Пилат, умывай руки! Мой риск — моя ответственность, не тебе придется в отставку-то подавать....

— Знаю и помню, ваше превосходительство, — с нарочною официальностью произнес он.

Свиные глазки опустились.

— Я ведь, собственно-с, только потому-с, что за вас же тревожусь... Ежели ваши левые протеже вас подведут-с, то вы знаете, сколько мы имеем врагов, готовых утопить нас в ложке воды-с. Если сие предприятие не удастся, то отнюдь не по отсутствию у генералов разных от угля и полиции воинственной энергии-с, но единственно потому-с, что наша линия покуда благосклонно принята в сферах-с и, стало быть, до поры до времени, тут крепко-с... а ни-ни!.. Но «покуда» — не фундамент-с, времена меняются-с, и, на счастье, прочно всяк надежду кинь-с... И еще памятовать надлежит-с: в России, а в особенности в Петербурге-с, все забывается, все прощается, кроме политики-с. Политически подмоченный человек, по нашим здешним понятиям — вы извините-с, что я при вас так выразиться себе позволю, — все равно что девица, потерявшая невинность. Как бы прекрасно она себя ни вела-с, а добрые соседушки все потом ждут, сторожат злорадно-с: авось она какой-нибудь разврат учинит — и тут-то мы ее и слопаем-с... Мы с вами на сей счет кое-что знаем-с. По другим ведомствам, либеральной репутации не имеющим, злоупотребление вековыми кучами копятся, воздух от них прокис в министерствах иных-с — и никто о сем серьезно не беспокоится-с, ничего-с... А у нас чуть маленькая ошибочка вышла, зацепочка сорвалась, уже готово-с: являются носы вынюхивать-с и руки с мехами, чтобы раздувать огонек в пламя-с... Особенно по вашему департаменту-с... Самое опальное в бюрократии место-с... Только тем и спасены, что ведем себя без сучка-с, без задоринки — как в хрустальном доме-с: приходи и смотри, у нас чисто-с...

Эти речи Липпе уже не пищал, а говорил серьезно, даже с жаром и весьма густым и звонким, хотя и сиплым по тембру баритоном.

— Ну, Матвей Карлович, что чистоты касается, то — право же, лишь чрез то она у нас и возродилась, что мы освежили состав передовыми людьми.

— Не отрицаю-с...

— Что же — в самом деле? Из-за вольнонаемного писца, честнейшего в мире Лукавина, доносные бумаги пишут, а сами кого нам ни рекомендуют — Бараницын ли, Долгоспинный ли, Буй-Тур-Всеволодов ли, — все кандидаты — как на подбор: если не вор, так взяточник, не взяточник, так только потому, что даже взятки взять не умеет: идиот родовитый, маменькин сынок, троих приходится приставлять, чтобы поправляли, что этакий Митрофанушка напортит...

— Не отрицаю, не отрицаю-с...

— Если бы мы от подобных насильственных пенсионеров могли отделаться, департамент дал бы экономии тысяч сто в год на одних окладах.

Липпе расплылся в креслах, точно кисель, и, скроив смешную рожу, запищал:

— А неприятностев приобрел бы на миллионы-с. Нет уж, вы себя поберегите-с... Россия — такая страна-с: кто в ней хочет дело делать, тот обязательно должен кому-нибудь взятку дать-с...

— Мы как будто именно с этим принципом боремся, Матвей Карлович, — невесело усмехнулся Аланевский.

Липпе кивнул головою и подтвердил уже серьезно:

— Вот-с: и за право борьбы со взяткою должны давать взятки-с... Очень усердно вас прошу-с: не давайте поводов, чтоб под вас подкапывались... Мы с вами можем быть не весьма высокого мнения о ведомстве и деятельности генерала Бараницына, но на их почве мы им не противники-с. А я от борьбы хотя и не прочь, но только тогда-с, когда уверен, что я своего противника вдвое, а лучше — втрое сильнее-с. Если им удастся вас скомпрометировать, то у меня не найдется достаточно влияния, чтобы вас отстоять-с.

И опять скроил рожу, опять запищал:

— А вы мне нужны... Еще очень нужны.

Аланевский достаточно хорошо знал Липпе для того, чтобы услышать в его шутливо подчеркнутом «еще» угрозу серьезной правды. Цинические откровенности подобного рода входили в политическую систему старого дельца.

— Люди-с, — говаривал он, — животные лживые, недоверчивые и склонные подозревать ближнего своего во лжи-с. А как во взаимном недоверии своем они друг перед другом — можно сказать, в исторической традиции-с — вконец изолгались, то самое неестественное для них ожидание-с — чтобы человек так вот взял да и показал себя по доброй воле в настоящем своем виде-с. Поэтому ежели вы желаете человека обмануть-с, то говорите ему в глаза чистую правду-с, а он будет думать, что вы ему лжете-с, и уже сам себя обманет в самом желательном для вас направлении-с...

И действительно, когда он пищал свои шутливые предупреждения и угрозы, редко кто догадывался и умел принять их всерьез.

— Работайте, работайте, сударь мой! — пищал он на чудовищном, но бойчайшем своем французском языке с совершенным презрением к грамматике, путая роды имен и вспомогательные глаголы, и хлопал по плечу какого-нибудь предприимчивого бельгийца, сцапавшего по его протекции казенный машиностроительный завод. — Сооружайте ваш завод... Россия — страна молодая, деятельная — переживает кризис перехода от земледельческой промышленности к фабричным производствам... Нам заводы нужны, отлично будете зарабатывать...

— Ваше превосходительство, если бы я мог иметь гарантии, что мои старания получат должную оценку и следующий заказ...

— О! — перебивал Липпе, пища и делая свиные глазки. — Что касается оценки, вы имеете дело с людьми дьявольски неблагодарными... Ха-ха-ха! Мы скифы, сарматы, настоящие

чудовища... Мы оберем вас и посадим на мель. Следующий заказ мы, конечно, отдадим вашему конкуренту... Ха-ха-ха!

Бельгиец уходил от шутливого министра в самом веселом духе и с радужными мечтами. Завод он строил, заказ исполнял и сдавал на славу... а нового заказа не получал, потому что последний уже оказывался в руках нового бельгийца, который уже строил для того новый завод...

— Ваше превосходительство! Что же это? Не вы ли мне обещали...

— Я? — уже не пища, но генеральским баритоном говорил Липпе. — Напротив, сударь мой... Если потрудитесь припомнить, я вам лично категорически заявил, что следующий заказ мы сдадим другому...

— Да... но... Я должен признаться, ваше превосходительство, что... тон вашего превосходительства... давал мне право принять ваше категорическое заявление за любезную шутку...

Баритон становился холодным и крепким, как крещенский лед, и гудел с жестокой иронией:

— Я не знаю, в каком государстве министры и предприниматели заключают условия посредством тона и любезных шуток. Может быть, в вашей стране это принято, но мы здесь делаем наши дела серьезно. Не понимаю, с какой стороны мои слова могли вам шуткою показаться. Разве потому, что я по-французски дурно выражаюсь...

— Но, ваше высокопревосходительство, — вопил отчаянный бельгиец, — это неожиданный удар дубиной... Я разорен!

Липпе утешительно возражал:

— О нет... Мы не настолько жестоки... Правительство готово прийти вам на помощь. Если ваш завод вам не выгоден, мы охотно приобретем его в казну или, так как у нас подобные покупки затягиваются долго, подыщем вам частного покупателя... Конечно, при условиях нашей оценки

вы вместо ожидавшихся миллионов наживете только тысячи, но — согласитесь — это все же лучше, чем минус или ничего...

Если бы подобные шутки удавались господину Липпе только раз, другой, было бы не удивительно: одного, другого нажег — прочим наука. Но непостижимо было, каким секретом этот человек, возведший надувательство в откровенную систему, не только не оскудевал, но все более и более обрастал контрагентурами людей и учреждений, казалось бы, к доверчивости совсем не склонных. Каким соблазном на месте одного, только что обманутого и разоренного предпринимателя немедленно вырастали, как грибы, два новых с новыми предложениями, таившими в себе фатум — опять-таки быть обманутыми и отъехать от русской казны не весьма солоно хлебав?..

— Византиец! — говорили о Липпе обжегшие крылышки европейцы.

А дома свои повторяли:

— Жох!

Этот человек презирал людей настолько, что даже не трудился скрывать. Уважал он только тех немногих, которые, столкнувшись в делах, сразу его раскусили и перехитрили. Вот княгиня Анастасия Романовна Латвина — это — для Липпе — человек! Три года тому назад, когда в голодный год Вендрих сделал «пробку» на Юго-Западных дорогах и хлеб погибал на станциях по неимению вагонов, ее вагоностроительный завод сколько хотел, столько и сдернул шкур с казны, и еще кланяться приходилось: «Не задержи, не погуби!» А когда кризис миновал, она производство сократила: норму выдерживает, а сверх нормы — ни-ни!.. Времена, мол, тяжелые... Липпе тогда к ней чиновника посылал — с намеком о возможности правительственной ссуды. Анастасия Романовна приняла чиновника с благодарностью и большою роскошью, но предложение отклонила:

— Передайте его высокопревосходительству, что я его вниманием до слез тронута, но чем злоупотребить великодушием его высокопревосходительства и умножить своим долгом обременение государственной казны, лучше я, как добрая патриотка, петлю себе на шею надену! Шутка ли, весь народ русский своим кредитором иметь... Этак по ночам и не уснешь: подушка под головою вертеться станет.

Столь двусмысленный героизм московской «патриотки» вызвал в петербургском сановнике не менее двусмысленную оценку:

— Вот... стерлядь! — пискнул он, жмурясь, как кот, в креслах своих, не то с одобрением, не то в виде ругательства.

— Как, ваше превосходительство? — отозвался, думая, что ослышался, докладчик.

Но Липпе, не отвечая, возразил:

— С Волги она?

— Кажется, с Волги...

— Да уж будьте-с спокойны-с, что с Волги... Настоящая стерлядь... с Волги... м-м-мерзлая...

И так как докладчик смотрел на него в немом изумлении, подозревая, не спятило ли его высокопревосходительство с ума, успокоил:

— Это у меня, знаете, манера такая-с... Иногда... как бишь их, акростихами говорю-с...

А «м-м-мерзлую стерлядь с Волги» с тех пор зауважал. Уважал бы, по собственному его сознанию, и такого человека, которого купить нельзя, но со спокойным и убежденным цинизмом уверял, что подобной редкости он никогда в жизни не встречал и мало надеется встретить.

— Вы, значит, в честных людей вовсе не верите? — тоскливо спросил его однажды Аланевский.

— Очень верю-с, — запищал он, — честный человек — это тот-с, которому надо заплатить тысячу рублей за то, что подлец сделает за целковый.

Аланевский только отвел глаза.

Со взяточничеством и казнокрадством Липпе боролся в ведомстве своем усиленно, но совсем не по гражданскому к ним отвращению, а по особому расчету:

— Не выгодны-с мне хапуги. Замедляют темп государства. А ежели-с темп государства замедлится, то меня с должности прогонят-с. Потому что ведь меня только для оживления государственного темпа и держат-с — за подвижный мой характер: ходи веселей-с! А я человек небогатый-с и местом своим обязан дорожить-с...

Он никогда не употреблял слова «пост», а говорил «место», «должность», что вносило в его разговоры о высшей администрации специфический запах какой-то принижающей простоты, словно он не государству министром, а хозяину в магазине конторщиком, что ли, служил и других, равных себе, почитал таковыми же.

— Слышно-с, Иван Логгинович хорошее место получает, — пищал он где-нибудь в салоне, а означало это: «Иван Логгинович, по слухам, назначается министром внутренних дел...»

Сам не брал и не крал, но на бирже играл через подставных лиц широко и прозрачно, почти не скрываясь, и, когда его операции всплывали в обличениях заграничной печати, отвечал обычным глумлением:

— Кого это касается-с? Ведь на иностранные бумаги-с...

Близкая и любимая родственница умоляла его указать ценности бумаг, на которые он играл. Долго отнекивался, наконец согласился — назвал. Дама «игранула» широко — и потеряла добрую треть состояния. В ответ на ее упреки Липпе отвечал весьма хладнокровно:

— Ничуть не удивительно-с. Я сам тоже пятьдесят тысяч потерял-с...

— Зачем же вы советовали?

— Затем, что сам так играл-с. Лучше посоветовать не мог-с.

— А почему сами так играли?

— Потому что теория вероятностей того требовала. Самую вероятную и логическую возможность указал-с. Чего же еще-с? Должна была выиграть непременно.

— Помилуйте, дядя! Какая там теория вероятностей? Вы по силе вашего поста должны знать...

— А вот ты теперь и знаешь, сколько я знаю.

— Если вы не знаете, так кто же знает?

— Должно быть, никто не знает-с.

— Это вы могли мне раньше сказать... За что же я капиталом-то заплатила?

— За теорию вероятностей-с... Урок-с... Немногие русские дамы о ней понятие имеют-с...

Если служащий у Липпе чиновник оказывался дельным и полезным, Липпе стоял за него горою и — покуда тот оставался нужен — не выдавал его никаким нападкам... Про одного его любимца пустили клевету, будто он раньше в провинции содержал публичный дом. Липпе лишь спросил хладнокровно:

— И что же-с? Хорошо у него дом этот шел-с?

— Процветал великолепно!

— Вот видите-с: я сразу заметил, что человек с головой!

Награды и всевозможные служебные ассигновки сотрудникам своим назначал он такие, что в других ведомствах только зубами скрипели от зависти:

— Еще бы у Липпе взятки брать: государственное казначейство чистят...

А он, когда упреки адресовались к нему лично, возражал:

— Мне что же-с?.. Я — как велят-с... Мне все равно, место-с: что министерством управлять, что приказ блюсти... С приказными-то еще легче-с... Велено, чтобы честность в ведомстве завести, — и завожу-с... А честность — дама тонкая и ценная-с. Честность на содержание взять — игрушка пребольшая-с, потому что много человеку надо де-

нег заплатить-с за то, чтобы он от соблазна отошел ближнего своего ограбить-с... Угодно чиновника? Платите-с. А не заплатите — все будет старинный приказный хапуга, как его ни назови и ни одень-с...

— А вы так твердо уверены, что у вас не берут?

Закрыл свиные глазки и пищит:

— Совершенно не уверен-с.

— Тогда какая же разница между приказными и чиновниками вашими? За что вашим чиновникам огромные жалованья платят?

Уплыл всем телом своим в глубь кресел — и оттуда, как ни в чем не бывало:

— За умеренность и изящество-с. Не каждый день встречаются. Отечество должно ценить-с.

Однажды по доносу о взятках, получаемых его чиновниками с заднего крыльца, через жен, получил он в сферах резкое замечание и решился произвести в министерстве разгром. Собрал директоров и открыл тайное дознание: начал с самых низких должностей и повышал допросы по ступеням служебной лестницы, покуда не дошел до вице-директоров... Все служащие мужи оказались агнцами праведными, но жены — почти все — обличались дары приемлющими... По мере того как лестница повышалась, кисельный лик Липпе приобретал все более и более юмористическую расплывчатость. Когда же обвинения досягнули уже до вице-директора, он с трудом вытеснился из кресел своих, встал, оглядел физиономии директоров и закрыл заседание. И при уходе каждому из них, растерянных, сконфуженных, глядящих в сторону, крепко жал и тряс руку и приговаривал:

— Прошу засвидетельствовать мое глубочайшее-с почитание вашей уважаемой супруге-с.

И каждый под незначительными словами этими сгибался, как оплеванный, и спешил скрыться с бешенством стыда и страха в душе. Но один, грубый и резкий северянин, из

«диких» вологодских дворян, посмотрел Липпе в свиные глазки и сказал с угрюмостью:

— Не премину передать... Польщена будет... А от меня ее высокопревосходительству Руфине Константиновне тоже особо низкий поклон...

Липпе обласкал его невозмутимо сияющим взглядом и повторил, как эхо:

— Руфине Константиновне *тоже* особо низкий поклон!

Никаких дальнейших последствий расследование это не имело.

Совершенно необразованный, он скрывал свое невежество гениально, тем более что память имел колоссальную. Читать ему было некогда, но именно потому окружал он себя чиновниками большого и разностороннего образования, с Валентином Петровичем во главе. С поразительным искусством высасывал он эти живые книги по нужным ему вопросам так, что они сами того не замечали, и, насосавшись, ехал с докладом во дворец, в комитет министров, в Государственный совет во всеоружии знания, с готовностью цитат, справок, цифровых данных — так что даже недоброжелатели его с почтением говорили:

— Государственная голова! Единственный знаток России!

Эта потребность в изустной библиотеке была главною причиною, что он со снисходительностью и даже с покровительством относился к привлечению Аланевским на службу «левых», что ужасало другие министерства не только как бюрократическая ересь, но и как чуть ли не политическое посягательство.

— Люблю-с понимать, — объяснял он, — а сии красные-с умеют излагать так, что я у них все понимаю-с.

Хотя Николай Николаевич Лукавин служил по вольному найму и, следовательно, в официальный чиновничий сонм не включался, однако Аланевский нашел нужным свести его с министром в личное свидание... Лукавину, сверх всякого ожидания, Липпе понравился.

— Ясный человек? — трунили над ним в редакции.

— А то неясный? — добродушно огрызался Николай Николаевич. — Насквозь, значит, видать...

— Ого! И много вы в нем, насквозь глядя, рассмотрели?

— А что в нем смотреть? Разбойничий атаман!..

Дружный хохот покрыл характеристику Николая Николаевича, но он упрямо лупил глазищи, склонял лобастую головищу, как бык рогатый, и бурчал:

— Сказано: старый режим... ну, значит, и старая психология... вы ковырните-ка, значит, старую Русь... там, значит, только и найдете людей порядочных, что разбойники... Вот тоже самозванец из него, значит, выйти мог бы... чудеснейший!

— Ох, оставьте, Николай Николаевич! Уморил!

А он вздымал плечи к ушам, расставлял руки, водил глазищами по товарищам с лица на лицо и гудел:

— И чего грохочете? Ничего, значит, нет необыкновенного... Русский человек, если, значит, власть имеет да умный, всегда, значит, анархист в душе... Мне один во-о-от какой генерал, значит, признавался: «Только, говорит, Николай Николаевич, одно, что Андрея Первозванного, значит, недополучил я — так карьеру ломать жалко; а то, значит, мне, по моим наклонностям, в самую бы точку Лжедимитрием себя объявить!»

Самому Липпе на прощание он с откровенностью преподнес комплимент, хотя и смягченный, но в том же духе, как и Аланевскому намедни, — по крайней мере выразил искреннее сожаление, что Липпе при богатых своих способностях и задатках «ясного парня» не пошел выше — застрял на каком-то там министерском кресле... Липпе был своеобразно польщен и отвечал — буквально:

— Что делать-с, Николай Николаевич? Надо же кому-нибудь-с... Боги-то у нас не очень-с любят горшки обжигать...

Николай же Николаевич произвел на Липпе впечатление большого знатока крестьянских земельных отношений и обыч-

ного права. Липпе мысленно занес его в свою живую библиотеку, как новый и важный том, и время от времени раскрывал его страницы для справок... Теперь в Вислоуховский и Дуботолковский уезды Лукавин был командирован Алаевским также с одобрения и по выбору Липпе. Николай Николаевич принял поручение с удовольствием. Тем больше, что поездка в Дуботолков давала ему возможность побывать у давно не виданного старого партийного товарища, ссыльного ученого Кроликова и посмотреть, что они там творят, — этот чудачина Иван Алексеевич, неугомонный и мечтательный искатель народного Нового Иерусалима, эта Евлалия Александровна Брагина, о которой с тех пор, как вернулся Николай Николаевич из ссылки, так много наслышался он от петербургских друзей...

V

Ночной поезд, который нес Николая Николаевича к дуботолковским палестинам, шел почти пустой. Пассажиров на все расстояние совсем не было. Николай Николаевич в своем вагоне оказался самый дальний. От Петербурга он спал, удобно постелившись на лавочке пледом и пальто под голову, так что даже кондуктора, проходя, на него диву давались, как ловко этакая человеческая махина ухитряется с удобством поместиться на такой короткой и узенькой скамье. Проснувшись поутру, когда в тусклые окна дряхлого, просящегося в отставку старика вагона заглянуло из-за лесика желтоглазое солнце, наблюдал, как на глухих полустанках входили — до ближайшей большой станции — причугунники-мужики в коричневой заплатанной одежде и синих рваных шапках либо в синей заплатанной одежде и коричневых рваных шапках, испитые и серые с лица, бороды лопатою, бороды клинушком, садились на краешки скамей и ногами обязательно в проход, хотя места в вагоне было сколько угод-

но, и молчали, держа билет в черных, на древесные корни похожих пальцах, покуда не приходила их станция. Тогда они так же молча вставали, взваливали на хребты иссера-белые холщовые мешки свои и выходили, а на их место входили новые мужики в коричневой заплатанной одежде и синих рваных шапках, с серо-белыми холщовыми мешками на хребтах, испитые и серые с лица, бороды лопатами, бороды клинушком...

В Вишере села в вагон плотничья артель. Большие, серьезные люди, глазастые, чистые лицом новгородцы. Было их всего одиннадцать человек, но они как-то наполнили собою вагон. Сели ногами не в проход, но, как следует правильным пассажирам, между скамей, а двое положили ноги в хороших сапогах на свободные места насупротив перед собою. Оглядывали всех других пассажиров снисходительно, как хозяева. Говорили мало. Смотрели пред собою — и каждый думал о чем-то своем, домашнем, далеком, спокойный, с уверенным загадочным взглядом, будто за тридевять земель вдаль таинственно зрячий — и именно то, что ему надо, вторым зрением видящий да умеющий о том про себя молчать. Изредка один другому бросал отрывистое слово, тот отвечал таким же отрывистым, но оно не гасло, крылато перелетало к другим, разгоралось, и на минуту вагон оглашался дружным, нескладным говором, вроде басистого гусиного гоготанья, которое обрывалось так же быстро и внезапно, как возникало...

Перед Вышним Волочком все они вдруг сразу, словно по команде, встали и потянулись к выходу, сверкая под заглядывающим из-за лесика, теперь уже белоглазым солнцем холодною сталью топоров, увязанных на опоясках, и живорыбным трепетом синеватых пил. И каждый, проходя мимо Николая Николаевича, почему-то преласково ему поклонился, хотя за всю дорогу не было сказано между ними ни единого слова, ибо всю ночь Николай Николаевич спал как убитый и увидал их, только проснувшись, в Окуловке, когда, на-

оборот, их почти всех сморило крепким, сидячим, враскачку, рабочим сном. А последний выходивший, седенький и сухонький, как схимник, с жидкою растительностью на лице, о которой говорится в народе, что «благодаря Христа борода не пуста, хоть три волоска — да растопорщившись», вместе с поклоном прибавил певучим сиплым голосом:

— Счастливо оставаться, господин милый, покорнейше благодарим за компанию.

— В земство пошла артель... Земство новые мосты строит: поздним половодьем, почитай что, все пути сорвало, — сказал Николаю Николаевичу от соседнего окна, глядя, как плотники гурьбою тянулись мимо вагона по платформе, невысокий человек в немецком платье, но с московским картузом на голове, опрятный, аккуратный, мещански приличный и бедный. Голос у него был мягкий, слегка надтреснутый, застенчивый — и какой-то такой, что, услыхав его, невольно хотелось заглянуть человеку под блестящий козырек картуза его и — мимо некрасивого, бледного, в веснушках, лица и мочальной бородки — узнать, какие у него глаза. А глаза были грустные и очень хороши — о глубокой и несчастливой душе говорили они своею темно-серою влагою... Сел в вагон этот пассажир ночью, на узловой станции, где к Николаевской железной дороге примыкает узкоколейка от губернского города Рюрикова.

— А вы, значит, здешний? — спросил Николай Николаевич, уже хлопотавший в это время у жестяного чайника с кипятком, который по предварительному уговору принес ему кондуктор, как только стал поезд. — Не угодно ли за компанию? Кружечка-то у вас, поди, найдется?..

— Покорно благодарю... помилуйте! — засуетился, в свою очередь, картузный человек. — Ваш чай, мой сахар...

— Пожалуйте-ка, значит, пожалуйте! — ласково бубнил Лукавин.— Какие счеты? лишь стало бы охоты... Вы, значит, здешний?

Нет, картузный пассажир не был здешний, но случалось ему работать по Тверской губернии, и все главные места в ней ему хорошо известны, а с плотниками он перекинулся ночью, в бессонницу, малым разговором, оттого и знает.

— Хороший народ, — похвалил он, глядя исподлобья, потому что усиленно дул на горячую, клубящуюся паром кружку свою. — Солидный народ, немногословный... Каждый сам по себе свою думу думает. На сорок годов вперед закидывает, на сорок назад — на поверку вспоминает. Каждый отдельно думает, а глядишь — дума-то у всех одна. Может, у иного спросить — так и слов у него не найдется на ответ, о чем он думает, будто немой он окажется. И не то что, знаете, пред людьми, с перепуга, а нем он и перед самим собою, потому что думать может, а говорить не привык. Но на миру, хотя бы вот этак в артели, они все оказывают себя вроде как бы некий поток. Все в одну сторону устремляются, словно вода с пригорка вниз по ложбине — без всякого предварительного сговора. Потому что именно следствует: основная-то дума у всех одна, разногласы уже на обсуждениях порождаются, чрез подробности или, извините, как вы, образованные господа, выражаетесь — детали. А на дне, что старика шевельни, что молодого, что богатого, что бедного, что смирного, который начальству, извините за выражение, пятки лижет, что горлана-голодранца, который сам не понимает, как это его «опчество» в Сибирь не сошлет, — на дне-то души у всех одна дума... одна... Это замечательно, — прибавил он, помолчав и с внимательным уважением глядя на Лукавина, — это замечательно, как у нас на Руси сердце сердцу весть подает и хорошие, простые люди друг дружку издалека чуют... Вот ночью вы спать изволили, следовательно, ничем их приветить и привлечь к себе не могли, а между тем ужасно как вы им лицом своим понравились, и очень они меня расспрашивали, кто вы такой и куда едете...

— А мне вот не нравится, — сухо отрезал Николай Николаевич, — когда вместо того, чтобы, значит, просто сказать: «Давайте познакомимся!» — подъезжать ко мне с комплиментами... Хочется вам, значит, как попутчику узнать, как меня звать и куда я еду — естественное дело, — так бы, значит, и спрашивали... А то на плотников напраслину взводите... Лучше пейте-ка, значит, чай!

Грустная дымка в глазах пассажира затуманилась еще темнее, но обиды не отразила.

— Прошу извинить, — сказал он спокойно и мягко. — Напраслины я на плотников не взводил. Они действительно очень вами интересовались. Куда вы изволите ехать, о том мне любопытствовать излишне, так как давеча при контроле билетов вы сами два раза громко назвали свой полустанок и спрашивали обера, когда будете на месте. Из сего я мог заключить, что едете вы не иначе как в город Дуботолков, потому что полустанок ваш только с ним и находится в сообщении, это совершенно как край света, дальше никуда дороги нет. А относительно того, с кем я имею честь сопутствовать, я также хорошо известен. Конечно, вам меня трудно узнать по давности лет и переменам возраста, но я вас, Николай Николаевич, сразу признал... Но вы не извольте смущаться и беспокоиться, — поспешил он навстречу готовому хмурому слову Лукавина, даже с предупредительным жестом руки, — не соглядатай какой-нибудь. Напротив. Хоть и немного, но ваш же ученик...

Николай Николаевич с удивлением вглядывался: лицо говорившего ему ничего не подсказывало.

— Шапкин — моя фамилия, — назвался пассажир, — Тимофей Александрович Шапкин...*)

И фамилия ничего не сказала.

---

*) См. в 1-й главе тома I моего романа «Девятидесятники».

— То-то, что давно было, — вздохнул пассажир, — припомните: в семьдесят пятом году в Москве, на Арбате... воскресные курсы у Чаевских... вы нам физику читали...

Теперь Николай Николаевич вспомнил пассажира совершенно, и вспомнил радостно и хорошо, потому что и тот напомнил ему время жизни радостное и хорошее... Разгар культурной пропаганды. Либеральная молодая Москва. Интеллигентная передовая семья богатой сочувственницы, вдовы-генеральши Ольги Чаевской с ее экзальтированными девицами-золовками — чопорными дворянками, играющими роль республиканок, с удалым сыном Игорем, убитым потом при третьей Плевне, и с прекрасною, тихою дочерью-гимназисткою Алевтиною... Воскресные курсы для мастеровой молодежи, ищущей самообразования... Начальство не разрешило — стали собираться под видом журфиксов, ограниченным кружком... Да-да! конечно, он, значит, физику читал, освобождал молодые головы от мистики и Бога в природе... Месяца три шло благополучно, потом последовали донос и разгром... Николаю Николаевичу посчастливилось «аллегро удирато», а кроме него, среди лекторов не было ранее компрометированных, так что дело кончилось пустяками. Только Игоря малость подержали под арестом да учтивейший генерал-губернатор князь Долгоруков отчитал m-me Чаевскую в деликатнейшей головомойке на великолепнейшем французском языке. После учего злополучная дама, прилетев домой, как красная буря, возопила к золовкам еще из передней:

— Чтобы у меня в доме духом ваших лохматых не пахло! Я вам не декабристка какая-нибудь далась: не желаю собственноручно мыть полы в Нерчинске!..

Да-да, конечно, Николай Николаевич отлично помнит Тимофея Шапкина, смышленого двадцатилетнего писарька из оптового склада большой железоделательной фирмы, любопытного и цепкого за книгу, в конце каждого урока смотрев-

шего на лектора не удовлетворенными, но выжидающими глазами, словно тот не договорил чего-то самого главного и Шапкин безмолвно и интимно спрашивал его: «Откроешь ли тайну по крайней мере в следующий раз?»

— Я от вас тогда не только физикою воспользовался, — говорил, хлебая чай, Шапкин со своею особенною учтивостью и серьезною улыбкою. — Благодаря вашему совету в Сербию добровольцем не ушел... Отговорили вы меня, что, мол, нечего рисковать головой своей за тридевять земель, когда — была бы лишь охота — и дома полны руки дела, надо прежде чем чужую — свою крышу чинить... Ну и остался я дома дела ждать, искать, куда потребуется моя голова... Вот... жду и ищу до сих пор... — улыбнулся он длинно и печально. — Четыре десятка лет время водило меня за нос, хочет на пятый перевести. Давно пора бы мне либо настоящим человеком под небом ходить, либо тленом под землей лежать. Жизнь моя, прямо вам скажу, Николай Николаевич, была разнообразная, как не всякому дана. Метался-метался, скитался-скитался, дел перепробовано и переделано великое множество, а настоящего своего душевного дела так и не нашел... Пожалуй, напрасно вы тогда меня насчет Сербии-то разбили: лег бы я под Дюнишем каким-нибудь — и шабаш... А то в нашем обывательском, мещанском быту — и живой ходишь, а, извините за выражение, падалью себя чувствуешь. Так только что черви тебя не едят земляные да глаза под лбом мигают. Особенно как молодость отгудела... Намедни, мучимый тоскою, сижу и думаю про себя: что ж это, право, господи! Чем этак-то жить — ни себе, ни людям, — уж лучше бы мне в разбойники пойти... Так и то поздно, и на разбойное дело тогда время подыматься, когда на голове русы кудри вьются, а не седой волос падает и плешь родит...

Он рассказал Николаю Николаевичу свою биографию — заколдованный круг мещанина-самоучки со способностями,

которые смолоду принимались за таланты и, может быть, в хорошей образовательной дисциплине и выросли бы в талант. Но правильной школы не позволила достигнуть материна вдовья семья: с десяти годов слесарю в ученье был отдан, только и счастья было, что от хозяина, кроткого и благочестивого пьяницы, грамоте выучился да возымел он пристрастие к письменному делу, так как оказался у него хороший почерк. И потому, когда кончился его ученический срок, попал он от черной работы на писарское место в тот самый склад, где зазнал его случаем покойный Игорь Чаевский, заинтересовался, стал развивать, ввел вот тогда на курсы самообразования...

— Сидишь, бывало, слушаешь вас либо Игоря Андреевича, и крылья за плечами растут: взвейся, ласточка сизокрылая! Весь мир твой — чего хочешь, того и досягнешь. К планете Марсу в мыслях летишь и по каналам его на подводных лодках плаваешь. И знание-то — вот оно: как ручей, в голову льется! И умишком как будто Бог не обидел, берет он науку, впитывает, словно губка воду сосет, да и прочно же засасывает! Я все, что от вас тогда слышал, как сейчас помню. И про Мариоттов закон, и про Папинов котел, и что угол падения равен углу отражения, и про электричество. Надежд в душе — аж грудь рвется, голова трещит, сердце лопнуть хочет!.. Эх, давай вам бог здоровья, Николай Николаевич! Много вы тогда мне силы в душу вдунули, словно святой дух в мертвую глину... Без вас бы — отумбеть мне надо! Зачерстветь в чугунный фонарный столб!

— Вот вы, значит, — отдулся сконфуженный Николай Николаевич, — вас, значит, не разберешь... Сейчас благодарите гораздо больше, чем, значит, заслуживает моя тогдашняя помощь. А давеча как будто, значит, у вас выходило так, что я вас, значит, с толку в жизни сбил и сложилось для вас чрез то самое несчастное существование...

— Да ведь это — как вам сказать, не соврать? — задумчиво возразил Шапкин, ставя на скамью опорожненную кружку свою.— Пожалуй что, было маленько и того, и другого. Я вам, извольте, отвечу аллегорией. Адам с Евою, когда лишились рая за яблоко, страх как жалели, что угораздило их змия послушаться и яблока вкусить. Однако обратно дураками стать они не пожелали, а лучше, говорит Адам, я в поте лица буду обрабатывать хлеб свой. Лучше, говорит Ева, я буду в болезнях родить чада... Известное дело, если человек не в состоянии выйти к полному свету, то в совершенной темноте, покуда сыт он, ему, пожалуй, покойнее, чем в сумерках. Нет света — ну, и не мечтается о нем, не скребет... Но только что-то не видал я, Николай Николаевич, таких примеров, чтобы человек, вылезши из тьмы хотя бы только в сумерки, полез бы — своею доброю волею — назад во тьму... Все больше ждешь да памятуешь, как в былое время господин Минский стихи написал:

Если стало темнее вокруг,
Если гаснет звезда за звездою,
Если скрылась луна в облаках
И клубятся туманы в лугах:
Это стало темней — пред зарею...

Стихи он читал, будто на клиросе пел, высоким тонким голосом, прорывавшимся сквозь стук и рык вагона. Так что какой-то непомерно длинный и тощий, белесый, будто весь льняной — уж именно «тонок-долог, бел-волокнист» — сельский дьякон, заметно чахоточный и по-чахоточному углубленный в мысленное ощупывание самого себя, дико уставился на него из-за двух скамей, тревожно оторванный от своих тяжелых дум этими певучими звуками, так несвойственно ворвавшимися в гулкую тряску вагона. Шапкин заметил, сконфузился, кашлянул, перестал читать и сказал в сторону дьякона:

— Извините.

Чего, впрочем, тот, по-видимому, совершенно не расслышал, потому что лишь холодно перевел льняной лик свой с каменными глазами на качающийся насупротив его на верхней для вещей полке полосатый драповый сак.

— Не забыли стихов-то? — усмехнулся Николай Николаевич.

— Я стихов много знаю, — серьезно возразил Шапкин. — Нашему брату вот в такой позиции, как я теперь нахожусь, без хороших стихов нельзя. В душе сохнет. Чего мозги не осилят, в чем мыслью запутаешься, не доходишь логикою — подвернется хороший стих, глядь, в стихе сотрясется сердце, и все тебе откроется чутьем... И даже больше, чем надеялся понять... Кабы господа русские поэты знали, что они силою своею могут делать с простым человеком, так — я в этом роде считаю, что им больше ни для кого и писать бы не следовало. И каждый свой стих они бы, как монету золотую, взвешивать и чеканить должны, чтобы звенел он в душе-то народной, струнами пел... Да... Игорь Андреевич, покойник, очень хорошо стихи читал, — вздохнул он.

Николай Николаевич согласно склонил голову, вспоминая. А Шапкин продолжал с печальною улыбкою:

— Наслушаешься его, бывало, — в раю!.. Жар-птицы в сердце поют...

Нейти просторною
Дорогой торною
        Страстей раба,
Кипит там вечная,
Бесчеловечная
        Раздор-борьба...

Пришел домой: ау, кончено! прощайте, стихи!.. Живем впятером в палатах: комната, чулан да кухонька на полтора аршина в земле. Лампочка для экономии коптит, вполсвета пу-

щена, и маменька у стола, как привидение, сидят в слезах по тому случаю, что лавочник отказался селедку в долг отпустить. Кушай, значит, картошку без масла. Три сестры взрослые змеями шипят, волчихами воют, что вянет их молодость, засели в старых девках, нищие, в отрепьях — кому они нужны?

— Маменька! Господом молю вас, потерпите! Сдам экзамен на учителя, место хорошее возьму, всем будет кусок хлеба.

— Сын мой любезный, пока ты свои экзамены сдавать будешь, я, старуха, голодом помру, а девки в сухари иссохнут. На то ли я их, ластушек моих, во чреве носила, на то ли кормила млеком сосцов своих?

— Маменька! Сами извольте рассчитать. Помимо расположения моего к образованности в смысле высоких идей, я, став интеллигентом, буду всегда в состоянии успокоить вашу старость, тогда как на настоящем уровне своего невежества я при всех стараниях труда получаю четвертной билет в месяц на собственных харчах.

— Сын любезный, знавала я тоже учитилишков-то: ходят — ремнем брюхо перетянули, зубами щелкают и в одиночку еле живы, а не то что бы помочь родне и семью содержать.

— Маменька! Вы только позвольте мне начать, а уж я себя пред вами оправдаю. В скудости не застрянем, потому что слышу я в себе большую силу для свершения интеллигентных путей.

— Сын мой! Тебя по тем путям в Сибирь угонят, а мы с голоду пропадем.

— Маменька! Да неужели же мне на всю жизнь закабалить себя в насекомое состояние? Ведь мне в складе еще три года ждать даже до пятирублевой прибавки, а дальше что? У нас самый старший приказчик, который всем складом ворочает, и тот получает всего семьдесят пять... Так,

стало быть, до гроба и проживем впроголодь, глядя на свет из подвальных окон, какие мимо нас по тротуару подолы полощутся и каблучки стучат?

— Сын мой любезный! Это все я понимаю и склоняю тебя совсем не к тому, чтобы ты мучил себя мукою на напрасном труде. А исполни ты, сын, мою материнскую волю, женись ты на Агнии Аркадьевне, у нее капитал.

— Маменька! Как я при моих благородных идеях могу жениться на вдове зазорного поведения? За что вы хотите погубить меня? Сами же вы намедни объясняли, что капитал она свой приобрела, живя у холостого полковника в звании приближенной наложницы... Честь-то нашу семейную во что вы полагаете? Есть она у нас или нет?

— Сын мой Тимофей, не до чести нам: голодаем. А что ты Агнию Аркадьевну полковником попрекнул, то законным браком всякий грех покрывается. Но если ты на ней не женишься и капитала не возьмешь, я тебе правым Богом клянусь; в своей семье хуже будет. Погляди на сестер: у них от нужды и молодости свет в глазах затмился. Только что боятся еще меня, а то — это страшно, куда у них мысли бегут... Глаза я проглядела, ноженьки притоптала — моченьки моей не станет больше в сторожах-то за ними ходить!

— И точно, Николай Николаевич, — понизил Шапкин голос свой до шепота на ухо, — сестры у меня, не по-родственному сказать, уродились нескладные. Собою недурны, дурами назвать нельзя, за словом в карман не полезут, грамоту, письмо плохо знали, но натерлись между людьми на барышненский манер. Поликсена даже по-французски немного нахваталась... А в жилах у них — точно вместо крови полоумие было разлито. Которой ни взгляни в глаза — дьявол в них на цепи сидит и грозит: вот сию минуту сорвется... Именно что только крутая маменькина рука могла владеть ими. Потому что когда, бывало, в праздник я весь день оставался дома, а мать уходила околачивать пороги и искать

милостей по благодетелям, то бывали тут у нас сцены, смею вам доложить, хуже Дантова-с ада...

Шапкин не умел хмуриться, вместо того только шевелились, извиваясь от переносицы к вискам, как две золотистые змейки, тонкие брови его. А скулы побледнели, и резко, будто охрою брызнутые, выступили по лицу желтые веснушки.

— Обступят меня, бывало, все три, как волчицы, глаза зеленою ненавистью горят. Знают, что я стал достаточно образован и женщину не позволю себе тронуть пальцем. Ну и пользуются, издеваются. Только рукам волю давать не смели, потому что боялись, что я по силе своих мускулов могу и без побоев всех их троих скрутить и посадить на шкап под арест, как еще с маленькими делывал... Зато языками точили меня, как черви безрассудные. Вызнали, бесстыжие, чего слышать я больше всего на свете не могу, так нарочно все об этом да об этом самыми гнусными словами, с самыми, извините за выражение, похабными выдумками...

Станешь унимать: «Как вам не стыдно? Вы девушки, материны дочери, а говорите такое, чего не дерзнет пьяный аржановский ночлежник».

Им того и надо — все три сразу так и грохнут: «Гра-гра-гра... Поп Тимошка! Поп Тимошка! Тебе в келье сидеть, Псалтырь читать».

Олимпиада, средняя, самая бойкая, руки в бока, глаза ядом текут, пунцовая, как кумач, потому что вся гневом налитая, грудицу вперед выпятит, кобенится с ноги на ногу, как ученая медведица, и не говорит — звериным голосом рычит на меня:

— Ты, поп Тимошка, как хочешь, а мужа мне подай! Последний мясоед терплю. Не выйду замуж до заговен — только ты меня и видел. В заведение поступлю. Вокруг меня Хаяфакторша третью неделю ходит. За одну невинность мою сулит мне сто рублей.

Еликонида, старшая, гогочет:

— Замуж ты выдать нас не можешь, кавалеров к нам не допускаешь, так хоть бы сам, по образованности своей, сестер наливкою угостил... Поставь, Тимоша, бутылочку! Мы тебе анекдот расскажем и песенку споем...

А Поликсена, младшая, с родимчиком издетства, слабенькая, знаете, истерическая, даром, что вытянуло ее вверх, как версту, ничего не говорит, только жжет мне лицо угольками каленых глаз своих да зеленеет пухлым лицом, как утопленница, и на губах, будто свинец кипит, присыхает пенка... И это мне, Николай Николаевич, ужаснее всего, потому что однажды она этак-то вот молчала-молчала, глядела-глядела — да как покатится по полу, кофту на себе изорвала, юбку, вся по лицу и телу избилась в синяки... Я ее, понятно, поднимаю, кладу на кровать, а она меня не узнает, пеною плюется, непристойный бред несет и, извините за выражение, нехорошо меня к себе тянет... Ужасом меня обняло: сам едва на ногах устоял... какова ни есть, сестра ведь!.. А те две — хоть бы им что, гогочут!

— Ты, — говорит Олимпиада, — в первый раз ее такою видишь, а мы, может быть, каждый день... Ерунда! Плесни ей в рожу водицей да платком покрой... отойдет!..

— Падучая, значит? — с участием осведомился Николай Николаевич.

— Не то чтобы совершенная падучая, но серьезнейшая истерия, — отвечал Шапкин. — Профессор определил, к знатнейшему профессору я водил ее... Господин один знакомый дал рекомендацию для бесплатного лечения… может быть, и вы его знали? Арсеньев, Антон Валерьянович..

— Знаю,— сморщился Николай Николаевич, — Бориса Арсеньева старший брат... Но только другой, значит, коленкор... Неясный был парень...

Шапкин многозначительно склонил голову.

— Да-а-а...— протянул он неопределенным, загадочным голосом.—Дорогонько ему Поликсена за эту рекомендацию заплатила...

Но прежде чем Николай Николаевич, смутно вспоминая сквозь туман времени давно стертую из памяти, зловещую черную фигуру молодого «московского Демона» и мутную репутацию безнравственности, которая, как змея под туманом, всегда ползла за нею, хотел, хмурый мыслью и со складкою над бровями, спросить его: «Обольстил?» — Шапкин быстро заговорил, тускнея глазами и разгораясь бледными щеками так, что озарились они к скулам ползучим кирпичным румянцем:

— Ох уж эти мне сестры! Грешен, Николай Николаевич: не осталось у меня к ним хороших чувств... Ни к старшим, которые до сих пор живы... Ни даже к ней — к Поликсене этой...

— Умерла, значит? — сурово спросил Николай Николаевич, пред глазами которого тень «московского Демона» вдруг выступила из давнего пространства еще выпуклее, чернее, насмешливее и злее.

Шапкин угрюмо кивнул бородкою.

— В Туле, в публичном доме отравилась карболовой кислотою, — жестоко сказал он.

— Подлец! — горячо вскрикнул Николай Николаевич и даже стукнул кулаком по колену.

Шапкин воззрился на него со страшным любопытством.

— Кто подлец? — медленно сказал он.

— Ну, значит... тот, значит... кто девушку... значит, довел... — страстно говорил, вращая глазами, Николай Николаевич.

— Вы Антона Валерьяновича, что ли, подозреваете? — отозвался Шапкин с печальной улыбкой, в которой были и согласие, и оговорка.

— Да, значит... — хмуро споткнулся Николай Николаевич. — Паренек-то был... не очень... именно, значит... неясный паренек!..

— Н-н-нет... — с вдумчивою запинкою произнес Шапкин. — В этом деле он не виноват... по крайней мере прямо не виноват...

— А как же, значит, понимать эти ваши слова, что за рекомендацию дорого заплатила?

Шапкин молчал как бы в нерешимости, говорить или нет, быстро мигая золотистыми ресницами под блестящим козырем картуза своего. Потом медленно заговорил:

— Это дело тоже чрезвычайно какое большое и важное, Николай Николаевич, и, если вы позволите, я его вам потом тоже расскажу... Только сейчас — разрешите мне о себе. Потому что... Когда мне будет еще такой случай, чтобы вот этак на свободе встретить вам подобного человека? А у меня, может, от одиноких чувств сердце разрывается и голова хочет лопнуть... Уж позвольте сперва о себе?

Николай Николаевич молча мотнул головою под широкополою калабрийкою своею, а Шапкин продолжал с кривою, виноватою улыбкою:

— Вот, и опять должен начать с того, что буду ругать сестер... потому что...

Голос у него оборвался...

— Потому что, — повторил он, — извольте видеть...

И заговорил быстро и глухо:

— Любовь у меня была, Николай Николаевич... Хорошая, заветная любовь... дай Бог всякому человеку такой любви... только посчастливее!.. Никому я не говорил о любви моей, и та, которую я любил, о ней не знала... То есть, может, и догадывалась сколько-нибудь, но ни словечка от меня никогда не слыхала. Потому что понимал я, что ничего из моей любви не будет, затеял я рубить дерево не по топору... Но мне-то было все равно тогда, потому что не удовлетворения любви искал я, а самая любовь моя была мне сладка... Именно, Николай Николаевич, как поэт Александр Сергеевич Пушкин заказывал любить: безмолвно, безнадежно... как дай вам Бог любимой быть другим! Единственно, о чем я мечтал тогда, — чтобы позволила мне судьба сохранить ту незнаемую любовь на всю жизнь мою... Никому не говорил, со-

блюдал, как святую тайну, в сердца глубине... Но по тогдашней моей молодости, понятно, имел я глупую слабость: писал стихи... Выкрали сестрицы милые тетрадь мою заветную, прочитали, пораскинули бабьим мозгом, догадались, на кого я мечу в моих чувствах, — и такою грязью-пакостью святыню души моей окатили, что, извините за выражение, по рылам бы их бить надо, кабы я был не культурный человек... А они видят, что я не бью, и не хотят понять, что я сдерживаю свой характер в уважении культуры, но понимают, будто я оробел пред ними, не смею, чувствую, что дурак и виноват, что попал со своими мечтами в такое смешное положение, аж самому совестно оглянуться на себя. Да — со дня на день — пуще, пуще! поганее! лживее! Сплетню клубят, клеветы, как чулки на спицах, вяжут... Не дурами мать родила: смекнули, что подметка той девицы дороже мне собственной жизни и чести... Олимпиада тут первую скрипку вела, потому что у нее сердце самое злобное и ум развращенный... Подступит к самым глазам и пронзительным ястребом глядит прямо в душу.

— Зачем ты, Тимошка, святым прикидываешься? Ведь ты с Алевтиною Андреевной живешь.

Я отвечаю:

— Убью, если будешь врать подобные пошлости.

Она руки в бока, с ноги на ногу кобенится, глаза масляные, подлые, рожа, извините за выражение, как у хмельной ведьмы на шабаше Лысой горы, и режет мне в упор, точно бритвой:

— Нет, не пошлости. Она тебе свидания в номерах назначает. Намедни ихняя горничная Паня забегала, — вполне ясный намек мне дала.

— Лжешь! Паня — честная девушка, никогда не могла себе этого позволить. Если она на подобную клевету способна, то достойна, чтобы ей голову оторвать.

— Если ложь, то почему же ты от Агнии Аркадьевны нос воротишь? Женщина-красавица, с капиталом, влюблена в тебя до страсти...

Я ей со злости в тон:

— На шесть годов меня старше...

— Вот и обличил себя, что на девчонку льстишься!

— В содержанках жизнь свою сгноила...

— Твоя Алевтинка честней! Ишь, мужчинница: восемнадцати лет нету, а она уже предела своих чувств выдержать не может. Хорошие женихи не сватаются, так она повисла на шею нищему мещанинишке.

И все три гогочут.

Верите ли, на коленях стоял пред ними:

— Перестаньте, не лгите, оставьте в жизни местечко чистое, не поганьте души.

Грохочут.

— Ведь, худ ли, хорош ли, брат же я вам. За что вы меня мучите? Вам вся эта ваша брехня — одно праздное развлечение, а мне — словно вы на образ плюете...

Грохочут. Нравится им, во вкус вошли врать, со дня на день все хуже и хуже плетут, точно, с позволения вашего сказать, поэтессы какие-нибудь воображением разыгрались и фантазией главу за главой сочиняют подлый свой роман.

Еликонида говорит:

— Если между тобой и Алевтиною Андреевной ничего нет, то довольно это подло с твоей стороны, что ты барышню напрасно компрометируешь и продолжаешь знакомство после того, как прошли о вас подобные слухи.

— Да где они прошли? У кого? Опять врете! Ведь все это вы же втроем между собою выдумываете!

Поликсена язвит:

— А ты опровергни наше замечание — женись на Агнии Аркадьевне: сразу молве конец!

Олимпиада покрывает:

— Если не женишься, вот тебе — Богородицу со стены сниму: по всей Москве разлучницу эту посрамим, пускай пострадает мадам Чаевская, на какие дела ее барышня поднялась... А тебя генерал-губернатор за одни слухи из Москвы вышлет...

Но тут уж, Николай Николаевич, должен я вам сознаться в моем зверстве. В жизни моей я женщины не ударил и теперь сдержался, не осрамил руки, но между прочим достал из брюк складной ножик.

— Олимпиада, — говорю и весь трясусь, — видишь нож? На нем будешь.

Мать-старуху на те же басни навертели. Знают, что против виновницы дней моих язык мой нем. Уверили маменьку во всех своих пошлостях. Та по малому своему образованию настолько обрадовалась, что даже перестала попрекать меня Агнией Аркадьевной. Возмечталось ей, чтобы я — смешно вспомнить даже! — уговорил Алевтину Андреевну обвенчаться со мной уходом... Ходит за мною, как тень, и пилит, и точит:

— Уж если тебе, Тимофеюшко, обозначилась такая фортуна, то ты не зевай, будь семьи радетель, чтобы в дом, а не из дому...

Боже мой! Сердце кровью обливается... Что я могу? Мать родная!.. Кипит сердце резко ответить, злое слово сказать... Но взглянешь ей в лицо морщинистое, в глаза выплаканные, выцветшие: словно в них сто лет нищего горя сидит, а между прочим, не старая же еще женщина... тогда ей пятидесяти не минуло еще... Вся жизнь у нее голодным мещанским пустоцветом поросла, как пустырь сорными травами, и вдруг ей — мечта!.. Обезумела, ходит и грезит, душу мою терзает... Молчу... На возражения сердится, как малое дитя... Молчу... А та-то, святая-то моя, в далекой и чистой вышине своей и не подозревает, конечно, что мы, черви, жуки навозные, волочим ее светлый лик богининский по своей подвальной грязи...

Шапкин поник головою и нервно мял и дергал мочальную бородку свою, скрывая глаза.

— Это, значит, вы по Алевтине Чаевской вздыхать-то изволили? — с сердитым участием спросил Николай Николаевич, устремив белые очи свои на пестрый, в каемочку, платок, которым Шапкин утирал пот, а может быть, и слезы с позеленевшего, конвульсиями сотрясаемого лица. Тот под платком молча кивнул головою — картуз он снял, разгоряченный волнением рассказа, — голова была уже с бобровою сединкою между каштановых прядей и начинала лысеть со лба и на висках. — Гм... угораздило же вас, значит! — откровенно отрезал Николай Николаевич.

— Разве я не понимаю? — виновато откликнулся Шапкин, отнимая платок от лица и осторожно складывая его в четыре угла. — Сам говорю: не по топору дерево наметил!

— Н-да-а... — с осторожностью, чтобы не сделать больно, подтвердил Николай Николаевич. — Это вы... пожалуй, того… Ну, да — как винить? Девушка-то, значит, была уж очень хороша… Помню я эту девушку…

Шапкин поднял на Николая Николаевича взгляд светлый и чуть — над самим собою — насмешливый.

— К счастью, — продолжал он, — вскоре после того Алевтина Андреевна, любовь моя неведомая, вышла замуж за господина Бараносова, Осипа Ивановича, и супруг увез ее к месту своего служения, в дальний город. Так и исчезла из жизни моей, не зная, что мы с нею любовниками были! — горько усмехнулся он. — А дома, Николай Николаевич, после того на меня уж совсем насели. Врали-врали, милые сестрицы мои, да и доврались до того, что сами во вранье свое уверовали, и стало оно для них правдою больше правды, надеждою, с которою мечте расстаться нет сил. Свадьбу Алевтины Андреевны они прямо как оскорбление приняли.

— Фалалей! — кричала Олимпиада и даже зубами скрежетала на меня. — Где у тебя сердце, трус ты несчастный?

Сестре ножом грозит — куда храбер, а против барина — спрятался под лавку? Да кабы ты был мужчина, то прежде чем Бараносову твою невесту увезти, ты ему этим твоим ножом кишки бы выпустил…

А у самой, между прочим, язык заплетается, потому что подобрали они с Еликонидою ключ к маменькину шкапчику и, как только маменька со двора, они и займутся. Еликонида — по озорству, а Олимпиада — с сердечного своего горя. Потому что свела ее роковая судьба в любовь с маркером из соседнего трактира «Гуниб», и маркер этот, хотя, разумеется, как грубый мужчина и невоспитанный эгоист, девушки не пожалел, но оказался все же ничего, человек довольно хороший: даже после всего того не отказывается обвенчаться, но требует золотые часы и сто рублей денег... Ну где же взять? Маменька за Олимпиадою по пятам ходит, слова жестокие прибирает, разожжет себя до великой злобы, чтобы жалость забыть и ума не помнить, да — что тяжелое схватила с плиты либо стола, тем и ударит… А Олимпиада смирная пред нею: только взвизгнет да руки выставит, чтобы не пришлось по животу... Потому что, понимаете, она уже оказалась в таком положении... А маркер — хороший человек — сам плачет над нею от жалости, но без золотых часов и ста рублей никак не может... И все на меня смотрят такими глазами, будто я у них эти золотые часы и сто рублей денег украл... Вот тебе и домашний учитель! вот тебе и экзамен!..

С одною Поликсеною, бывало, чувствуешь себя хоть сколько-нибудь человеком, потому что в это самое время и приключилось это у нас, что пришлось мне везти ее к профессору и чрез то самое появился в жизни нашей Антон Валерьянович Арсеньев...

— Откуда вы зазнали его, гуся этого? — брезгливо спросил Николай Николаевич. — Он, помнится, больше по верхам летал, аристократа, значит, изображал, по высоким хоромам... Каким ветром его в ваш подвал спустило?

— Это очень просто вышло, — объяснил Шапкин, — потому что у них, у господ Арсеньевых, в то время служила горничная, троюродная сестра моя, Варя Постелькина... Теперь Постелькины — большие купцы, и брат этой Вари, Тихон Гордеевич — слыхал я от людей, — владеет вот этим самым Дуботолковским уездом, в который вы ехать изволите, как некий местный царь и бог...

— Знаю, — мотнув калабрийкою, буркнул Николай Николаевич.

— Но, несмотря на то, происхождения они, как мы же, подвального и наши матери двоюродные сестры были... Так вот эта Варя, Поликсену пожалев, рассказала Антону Валерьяновичу о припадках ее, нельзя ли помочь, а он заинтересовался... В подвал же наш, как вы изволите говорить, он всего лишь один раз спустился: была его любезность — лично занес визитную карточку с рекомендацией к профессору-то... Однако и того довольно оказалось... Вообразилось нашей Поликсене, что, покуда Антон Валерьянович у нас сидел и записку писал, он на нее смотрел каким-то особенным взглядом и руку ей на прощание тоже по-особенному жал... Ну и обезумела девушка, стала сама не своя. Осенило ее любовью, как облаком, словно всю окружило и насквозь пропитало и — высветило. Так что даже не могла удержать в себе тайны своего чувства — вырвалось оно наружу, будто пожарное пламя сквозь крышу, в видимость всем. Давно ли была во всем своем домашнем поведении, извините за выражение, халда и ведьма, злее змеи болотной. А теперь стала даже трогательна — просто, скажу вам, на манер Офелии из трагедии «Гамлет»... Захотела красивою быть — лень как рукой сняло: принялась за шитье, машинкою стучит; что заработала — старается на гроши эти жалкие тряпки свои приукрасить, мылом хорошим моется, модный журнал от соседских барышень достала, приукрашает перед зеркалом бантики и прически, чтобы были к лицу... На необразован-

ность свою стала жаловаться, в библиотеку записалась, научных книжек у меня просит, да — «Ты бы, Тимоша, меня хоть арифметике, что ли, поучил!» До того дошла: в Политехнический музей ходить стала — вечером на воскресные чтения с картинами, по утрам — на объяснения предметов... Сестры поднимают ее на смех — не хуже, чем меня за Алевтину Андреевну, а нас двоих, понимаете, это сближает...

Он перевел дух, играя золотыми змейками бровей своих. Николай Николаевич деликатно выжидал, не подгоняя его вопросом, лишь участливо помаргивал округленными белыми глазами.

— Вечерами, когда я возвращался из склада, сидели мы с нею на бульваре. По воскресеньям часами ходили по набережной от Каменного моста до Москворецкого и менялись чувствами. Как она в Антона Валерьяновича влюблена, и какое это для нее великое счастье, и как она стала совсем другой человек, и как лишь теперь она понимает, насколько Божий мир светел и хорошо устроен, и какая она была негодная и глупая, когда издевалась надо мною за Алевтину Андреевну, тогда как я знал такое огромное счастье, которого не озаренные люди даже и не подозревают, — носил в сердце своем любовь... А я, Николай Николаевич, слушаю и думаю: «Боже мой, да неужели и я добрым людям настолько жалок, насколько ты теперь мне жалка?»

— Как ты думаешь, Тимоша: может это быть, чтобы Антон Валерьянович тронулся моим чувством и тоже полюбил меня?

— Нет, — говорю, — Поля, не надейся, не может быть.

— Однако, — говорит, — помнишь, я произвела на него впечатление.

— Эх, Поля! Антон Валерьянович в своем обществе, конечно, давно и думать забыл, какая такая есть на свете Поликсена, которую он однажды встретил в подвале и учтивости ради поговорил с нею пять минут... Не тот наш класс!

— Однако всякий раз, что к нам заходит Варя Постелькина, он всегда потом спрашивает у нее о моем здоровье.

— Припадки твои его интересуют. Он и тогда, у нас, говорил, что для него самое любимое занятие — читать книги по нервным болезням, и жалел, зачем обманул свое призвание — не пошел в доктора... О припадках твоих он справляется, а не о тебе.

Она неглупая, понимает, что я правду говорю, но вместе с тем идет рядом со мною, зеленая, как трава, глаза пожаром горят и буравят тротуарные плиты, будто хотят в них дырки прожечь. Шепчет белыми губами:

— При таких твоих чувствах как ты сам можешь мечтать об Алевтине?

— А, — говорю, — это большая разница. Я мечтаю, а ты желаешь...

— Этого я не понимаю: что значит мечтать, если не желать?

Я объясняю:

— Потому что я понимаю несбыточное счастье и могу любить в недостижимости.

— А я, — говорит, — несбыточного счастья не признаю и не желаю. Мне достижимое, настоящее подай: вот в эти самые мои руки!

Спорим-спорим, ходим-ходим...

Однажды возвращаемся домой, на Арбат, ан у нас в подвале доктор, полиция. Олимпиаду только что из петли вынули, приводят в чувство... Н-ну...

Он согнулся и тяжело дышал, будто картуз на нем стал камнем и хочет вдавить его в пол.

— Н-ну... как увидал я... синюю... с закрытыми глазами... тут моя судьба и решилась. Две недели спустя Олимпиаду обвенчали с ее маркером, а через месяц моя с Агнией Аркадьевной свадьба была...

— В жертву, значит, заклали себя? — неодобрительно промычал Николай Николаевич.

Шапкин расставил руки в жесте большого недоумения.

— Как вам правду сказать? С одной стороны, оно будто и так, но с другой — должен я по чувству справедливости отклонить. Потому что в это время я был уже не совсем тот, как годом раньше, когда Алевтина Андреевна выходила замуж. Обошла меня эта Агния Аркадьевна, которая потом стала моею законною супругою. Очень хорошо постигла мой характер и поймала меня на жалость и хорошие слова... Вы, говорит, конечно, правы, что меня презираете, потому что я в жизни моей вроде, как Травиата из оперы или несчастная Маргарита Готье... И жалобно-жалобно пела:

Да, раз уж павшей нету прощенья!..

Голос чудесный... до сих пор в Москве у «Яра» служит, — злобно усмехнулся Шапкин, — в русском хору старостихою-запевалою! Сестры, говорит, вас ненавидят, зачем вы пылаете чистою любовью, а я, говорит, вас именно за это уважаю и еще больше люблю, потому что подобные чувства обозначают благородство вашей души. Откройте мне ваше сердце, позвольте мне быть вашей сестрой...

Досуга-то она много имела, у полковника живши: начиталась из библиотеки романов — память превосходная, язык бойкий, — все могла говорить из книг... Собою красивая, белая... Рыдать начнет, на грудь мою склоняясь, что бывают же счастливые девушки, которым посылается в удел такая хорошая любовь! А вот ее, несчастную, от малых лет никто не пожалел: все только в грязь тащили и толкали, человека порядочного не видала она, слова возвышающего не слыхала от подлецов мужчин... Волосы растреплет — косы русые, до пояса...

Женившись, Шапкин очень скоро убедился, что попал из огня в полымя. Жить стало сытее, приличнее, на лучшей квартире, хотя капиталом Агния Аркадьевна маменьку поднаду-

ла великолепнейше — и либо его у нее не было, либо она его уж очень мало показала. Эта часть отношения не беспокоила Тимофея Александровича, так как деньги женины были ему противны. Он из них копейки не принял иначе, как в долг, да и то спешил отдачею больше, чем самому лютому стороннему кредитору. Хуже было, что супруга его сбросила маски, взятые напрокат из библиотечных романов, и оказалась в домашнем быту черт чертом. Так что даже маменька с сестрами не выдержали и после трехмесячной войны сбежали от милого характера невестки на отдельную квартиру, причем маменька Тимофея Александровича прокляла, а Еликонида, выходя из квартиры, обернулась с порога и плюнула брату в глаза.

— А Поликсена с узлом и машинкою своею, когда влезала на пролетку, была как мертвец. Потому что маменька строго ей запретила со мною говорить и видаться, и осталась она, таким образом, в огромнейшем сем мире одна с невысказанными своими мечтами и растущею душевною бурею... И никто о том не догадался и не понял... И я не понял... Ну и... того...

Шапкин в тревоге водил по мочальной бородке своей трепетными пальцами, тонкими, чуть кривыми, в воспоминание избытого детского рахитизма, грабельками.

— Вы меня извините, Николай Николаевич, но при всей моей нелюбви к сестрам об этой Поликсене я не могу вспоминать без волнения... что только она над собою устроила!.. Истинно вам говорю: жизнь рядом с человеком проживешь, а всего его не узнаешь, словно колодезь бездонный чужая душа... мое такое мнение, Николай Николаевич, что нету простых душ на свете. Всякая душа — неожиданность и сложность и требует к себе великого внимания со стороны прочих людей. Ибо, не находя внимания, одинокая душа, если выйдет из равноправия своих чувств, то непременно должна погибнуть чрез свою сложность, до тех пор, может быть, ей

самой неведомую... Вот хотя бы с Поликсенею... Быть может, мне, как брату, не следовало бы даже и посвящать вас в этот наш скандал. Но... если я и до сих пор стою пред ним в удивлении? Вот уже шестнадцать лет тому исполнилось, а я все еще удивлен... и не надеюсь, чтобы когда-либо мое удивление прекратилось... Курить позволите? Не обеспокою вас?

— Помилуйте! Разве не видали? Сам курю, как турка. Вот теперь только за разговором позабыл, значит.

— Я вообще-то не очень... Но знаете... когда...

Портсигарчик у Шапкина был гладкий кожаный, бурый, старомодный, тертый, не со створками, а складной — половинка в половинку. Давно уже такие вышли из употребления и продажи.

— Что бы, вы думали, изобрела эта полоумная Поликсена? — продолжал Тимофей Александрович, нервно пыхая папироскою и отгоняя дым, чтобы не мешал ему видеть внимательные глаза Николая Николаевича. — Вскоре после того, как покинули они, маменька и сестры, наше совместное жительство, Поликсена свою машинку забросила, заказы брать перестала, а начала все на постели лежать и думать... Ничего не работает, ничего не требует, ест-пьет — курица с того сыта не будет, ходит по церквам, Богу молится, а дома лежит, молчит, глядит на потолок и думает... Две недели провела в таком положении, так что даже навела сомнение на мать и Еликониду: не сходит ли с ума? Монахини какие-то стали к ней шнырять. Успокаивают маменьку: «Это ничего. Ты не бойся, что на нее задумчивость нашла. Это к вам большое счастье близится — призывает Пречистая вашу Поликсену приять ангельский чин».

Ну, что же? Маменька действительно успокоились. В монашки так в монашки. Каков ни есть, а выход. Замуж идти за первого встречного Поликсена не хочет, а выжидать хороших женихов нет в будущем надежд и в настоящем больше

никакой возможности: все съели вокруг себя, только тем и живут, что я тайком посылаю через Олимпиаду. Жаль, конечно, девку, но не она первая, не она последняя, стало быть, ступай в монастырь, Офелия! По крайней мере с материнской шеи обуза долой, и сама сыта будешь, и теплую келейку дадут...

— Но, — сомневается маменька, — монастырь вклада спросит...

— Нет, — успокаивают монашки, — мы Поликсену и без вклада примем. У нее руки золотые. Ее шитье артистическое, хоть на выставку посылать, а наш монастырь шьет на хорошие бельевые фирмы. Она нам за вклад отработает.

Однако, промолившись и пролежав таким манером две недели, Поликсена вдруг на третий вторник встает рано поутру, пьет чай и говорит Еликониде:

— Надумалась я, сестра, что все наши несчастья от того, что мы трусихи пред лицом своей жизни. Все жизни ждем, какая она придет да куда нас поведет. А надо пойти ей навстречу и взглянуть ей прямо в глаза: вот она, мол, я! Вся тут! Сказывай, что ты хочешь делать со мною? Есть у тебя для меня счастье, — подавай! А нету — так наплевать! И отныне мы с тобою квиты: больше я тебе не покоряюсь, чтобы ты меня влачила, а исполняю свою волю и — куда захочу, туда сама себя повлачу...

Маменьки не было дома. Еликонида в то время нашла себе временную работишку в том же доме — продавщицею в табачную лавочку, по полтиннику в день за шестнадцать часов у прилавка, замещать хозяина-старца, у которого, на ее нищее счастье, отнялись водянкою ноги. Так она тоже ушла к исполнению своих служебных обязанностей... Вдруг часов около четырех входит к ней в лавочку Поликсена — в новой шляпе приличной, одета дешевенько, но с иголочки, на барышню-курсистку похожа, заметно, что костюмчик куплен в порядочном магазине, и парикмахером причесана. Еликонида смотрит — глазам не верит.

— Это что? Откуда у тебя?

Поликсена объясняет, что машинку свою и все старое платьишко и бельишко она продала, а на вырученные деньги купила вот это одеяние и причесалась у Васильева.

— Еще три рубля осталось. Хочешь, пойдем, солянкою угощу?

— Да ты с ума сошла! Маменька тебя убьет.

— Маменьки я больше не увижу, и ты передай ей мой прощальный привет. Но, так как ты была моя любимая сестра, то вот — хотела я уйти от вас совсем тайно, но не утерпела, зашла тебя поцеловать и проститься...

— Но куда же ты, Поля? куда?

Тупится и, равнодушная, отвечает:

— Я еще и сама не знаю, куда. Сегодня вечером буду знать.

— Да ведь ты в монашки хотела?..

Усмехнулась.

— Может быть, пойду и в монашки. Сегодня вечером буду знать.

— Место, что ли, тебе предлагают?

— Может быть, и место...

— Девка! Ты, гляди, не сдурела ли: не на содержание ли идешь?

— Может быть, и на содержание.

Так — поиграла в загадки, остолбенила Еликониду и ушла.

— Я, — говорит, — объясняла тебе утром, что надо жизнь за рога взять: либо дави меня, либо сделай по-моему... Вот это самое я сегодня вечером и решаю. А три рубля, между прочим, возьми себе: мне теперь либо таких денег мало, либо никаких денег не нужно...

После того Еликонида, как только могла сдать хозяину лавку, то, забыв вражду и маменькин запрет, бросается ко мне... В смятении и ужасе проводим мы вечер, не зная, что думать, где нам нашу сумасшедшую искать... Езжу по уча-

сткам, приемным покоям, рассказываю обстоятельства, сообщаю приметы... Мне смеются в глаза:

— Голод, мол, не тетка, а девка, заметно, не дура... У нас подобная не бывала, на реке тоже никаких происшествий не слышно... Ты ее по бульварам ищи либо по Неглинному проезду.

В каком состоянии мы — маменька, Еликонида и я — провели ночь, когда напрасно ждали Поликсену, не могу вам вообразить... А рано поутру прибегает Варя Постелькина и велит мне как можно скорее идти к Антону Валерьяновичу, потому что он непременно желает меня видеть. У меня, понимаете, сердце винтом завернулось... Вот оно!.. А Варя рассказывает, что вчера Поликсена пришла к ним поздно вечером, уже в одиннадцатом часу, одетая барышней, и не с черного, а с парадного хода, и потребовала, чтобы вышел к ней Антон Валерьянович... Он очень удивился, однако принял ее и провел в кабинет. Поговорили они с полчаса, не больше, и она ушла, а он ее проводил до подъезда и сам запер за нею двери. Вернулся он как будто расстроенный, долго расспрашивал Варю о Поликсенином здоровье и приказал ей, чтобы она чуть свет сходила — пригласила меня.

Иду.

Кабинет у него — Боже ты мой! Книг по стенам — тысяч на двадцать пять... Переплеты какие... Полки — красное дерево... В простенках портреты: драгоценные гравюры, старинная живопись... Встает он ко мне навстречу из-за письменного стола... Халат на нем черный бархатный, отвороты — красные, как кровь. Сам тонкий, кудрявый, темный, длинный, глаза пронзительные, как черные огни... уж именно правы были, кто его московским Демоном звал!.. Подает руку, извиняется, что потревожил, но — такой странный случай.

— Вчера, — говорит, — меня посетила ваша сестра Поликсена Александровна... Я боюсь, — говорит, — что она в опасном состоянии...

Я объясняю, что действительно вот у нас какой казус: пропала — и не можем найти.

Он когда узнал, то ужасно встревожился... И рассказывает, что Поликсена приходила к нему затем, чтобы — ни больше ни меньше-с! — объясниться ему в любви своей... Изложила пред ним свои мысли и обстоятельства и — что вот она решила теперь, чтобы прикончить борьбу неудачной жизни и уйти в монастырь... Но прежде чем уйти, желает она изведать единое счастье женской любви: принадлежать любимому человеку...

— Ничего, — говорит, — я от вас не требую и ничем вы не будете предо мною обязаны. Возьмите, говорит, девство мое — и уйду я, спокойная, под черную шапку, за каменные стены, замаливать свой грех и неудачную жизнь...

Антон Валерьянович, видя, что имеет дело с больным человеком, старается ее разговорить и от подобных странных мыслей отвлечь... Но она стоит пред ним и жутко улыбается.

— Так даже, — говорит, — и этого вы подарить мне не хотите? Настолько вы себя предо мною высоко ставите? Милостыню подать нищенке жаль?

— Поликсена Александровна! Вы совсем нездоровы, у вас припадок... Пожалуйста, поезжайте домой, примите брому, я вам порошки дам, и ложитесь в постель...

— Я, — говорит, — таким уродом вам кажусь? Настолько вам противна?

— Поликсена Александровна, вы сами не знаете, что говорите... Завтра вы будете благодарны мне, что я вам не отвечал... Если вам угодно, я завтра буду у вас... вы успокоитесь, мы поговорим... Но сейчас сделайте мне удовольствие: поезжайте домой, отдохните... примите лекарство...

Но она засмеялась ему в лицо и пошла от него.

— Ну, значит, такова моя судьба... Приняла на свою голову одним срамом больше... Извините, что побеспокоила... Эх вы... барин!

Он было за пальто и шапку схватился, чтобы проводить ее. Не позволила.

— Нет уж — оставьте... лишнее!.. Теперь я свою дорогу сама найду.

И ушла. А уйдя, сейчас же опять позвонила, и Антон Валерьянович, не успев отойти от двери, сам ей отворил, но она к нему с подъезда только лицо свое полотново-белое с глазами-углями просунула да крикнула, как чайка над водой:

— Помните, Антон Валерьянович!.. Стыдно вам... раскаетесь!..

И исчезла в ночи осенней, как какой-нибудь безумный дух... А Антон Валерьянович остался в удивлении, тревоге и неловком чувстве — и вот до сих пор жалеет, досадует и не может простить себе, что допустил ей уйти одной и не настоял, чтобы ее проводить, хотя бы если не он, то та же Варя с нею поехала бы.

Проводить же Поликсену, Николай Николаевич, действительно следовало, — с тяжелым вздохом заключил Шапкин, — потому что, как это потом, много позже, все раскрылось, недалеко она тогда ушла... Тут же на Остоженке, у трактира «Голубятни», встретила пьяненького мастерового с гармоникой, который принял ее за уличную женщину и зацепил... А она ему в лицо, как уличная женщина, захохотала и ручку свою под локоть ему продела, и повел ее мастеровой этот к себе на квартиру ночевать.

А трое суток спустя получила Еликонида письмо из Тулы, что, мол, милая сестра моя, не ищите меня напрасно, потому что я больше вам не компания и дороги наши врозь. Жизнь моя была плевая, да и ту я проиграла. И вот, милая сестра, исполняя свое прежнее намерение, поступила я ныне в здешний монастырь — только не в настоящий русский, а, как выражаются разные тут находящиеся веселые люди, в китайский...

А еще неделю спустя свезли ее, Николай Николаевич, из этого китайского монастыря в городскую больницу с сожжен-

ным ртом и желудком... И черными губами между воплей и кровавой рвоты сипела она пред смертью змеиным шепотом вот то самое, что я вам теперь рассказывал...

Нет, на Антона Валерьяновича вы напрасно имели подозрение. Он при чем же?.. Он не виновен... напротив, весьма благородно с нею поступил...

— Я, значит, признаюсь, не ожидал от него даже, — проворчал Николай Николаевич, хмуря брови на глаза и в сердитом смущении заправляя в рот клоки бородищи своей: склонен он был к жесту этому, когда недоумевал и волновался.

— Очень жалел... и цветов на гроб прислал... и времени своего не пожалел, на погребение в Тулу приехал, и расходы по похоронам пожелал принять на свой счет, и памятничек над могилкою поставил... Все очень красиво и честь честью... Он не виноват... Хотя, с другой стороны, конечно, не будь его к нам визита да справок о здоровье... Но опять: как за это обвинять? Напротив, самая похвальная вежливость... Нет уж, никто — как судьба... Сидит человек под солнцем и смотрит на свет. И вдруг — между ним и солнцем проходит другой человек и роняет на него свою тень... Уронил и прошел... А тот, первый-то человек, вдруг почему-то от тени этой мимоходной гаснет... У нас в народе, Николай Николаевич, есть суеверие, что и телесно подобные порчи бывают. Нам, по культуре нашей, суеверствовать не приходится, но что души касается, то, как видите, с Поликсеною вышел именно такой случай. Прошел мимо нее Антон Валерьянович, мелькнул по ней тенью своей — и Поликсена от его тени погасла...

* * *

Прошли Спирово, Калашниково, Лихославль, где Николай Николаевич купил в окно подовых пирожков, но, попробовав один, когда поезд тронулся, в окно же их и выбросил.

— Черт знает что, — объяснил он. — Должно быть, с собачиной...

— Теперь до Твери недолго, — утешил Шапкин. — Там покушаете. Буфет.

В вагоне совсем опустело. Трое крестьян и один железнодорожный служащий по бесплатному билету врастяжку спали на скамьях. Обрюзглый старик из мелких купцов, с лицом старого скопца, в дальнем углу на одиноком месте за дверью читал в круглых дальнозорких очках, далеко отставив пред глазами книжку с золотым крестом на лиловом переплете. Да тот прежний белый волокнистый дьякон у окна через две скамьи все устремлял в пространство каменные глаза свои, недвижно погруженный в такое глубокое прислушивание внутрь себя, что страшно было и подступиться к нему — это больничное внимание нарушить. На что уж общителен был Николай Николаевич, а и у того прилип язык к гортани после того, как спросил он у дьякона: который час? — дьякон вынул серебряную луковицу и молча показал ему циферблат; спросил: какая теперь будет станция? — дьякон молча ткнул ему в путеводителе пальцем на Кулицкую.

Под гром колес и дряхлый стон расслабленного вагона Шапкин продолжал свой рассказ.

Изгнав мужнину родню, Агния Аркадьевна из благоверного, что называется, стала «жать масло».

— Экзамен! Домашний учитель! Я за десять лет, что с нею маялся, шестнадцать должностей переменил. На конке контролером, вахтером при земских запасных магазинах хлебных продуктов, на железной дороге приемщиком по товарной платформе, а потом помощником кассира на дачной станции. Дважды управлял большими домами, имением в Курской губернии. Господин Истуканов, Василий Александрович, — может быть, слыхали? Главный управляющий универсального магазина Бэр и Ози-

рис*), — по старому товариществу, так как мы в детстве в бабки игрывали, взял меня в приемщики по металлическому отделению. Лопнуло! Прасковья Никоновна Венявская — может, тоже вспомните? — горничная Паня, в ваше время служила у господ Чаевских, видная такая девушка, потом она сделала красотою своею большую карьеру жизни: вышла замуж за господина Венявского, директора Тюрюкинского завода, вот этой самой княгини Латвиной, которая ночью ехала с нами в поезде, имея салон-вагон, точно царица какая-нибудь...

Николай Николаевич мотнул калабрийкою: знаю, мол.

— Так вот, через Паню, опять ради старой памяти, я тоже получил было чудеснейшее место, младшим бухгалтером в ихнюю тюрюкинскую контору. Чего еще желать человеку, лишенному образовательного ценза? Этаких мест не то что с аттестатами зрелости, универсанты добиваются... Год прослужил, на второй должен был уволиться!.. Потому что, покуда я без места, супруга грызет меня, что я дармоед, на ее шее сижу, полковницкие хлеба поедаю. И это мне столько не переносно, что я из кожи рвусь, тянусь, в полотеры, в ассенизаторы, извините за выражение, готов идти, только бы не быть ей обязанным хотя бы в одной копейке. А чуть стал на место, она запевает новую песню. Фанаберия в ней кипит: зачем я не чуждаюсь низких должностей? Что этак она чрез меня не может быть вровень с благородными дамами... Ну и скандал! Нарочно старается, чтобы все на глазах да при начальстве — себя позорит, меня шельмует, товарищей оскорбляет, хозяев злобит.. Смею вас честью заверить, Николай Николаевич, не было такого места, чтобы не жалели меня, когда я уходил, как хорошего работника... Вот хотя бы эту Паню помянул я — она меня отстаивала перед супругом и правлением, как львица какая-нибудь... Но — самому, зна-

*) См. мой роман «Девятидесятники».

ете, совестно: сегодня скандал, завтра скандал... Терпят-терпят, а потом — извините, Тимофей Александрович, при всем к вам добром расположении, забирайте ваши пожитки!.. Потому что ей мои трудовые службы не нравились, а хотелось ей, чтобы я пошел служить в полицию. Там ее бывший полковник обещал для меня большую протекцию: сразу в помощники участкового... Ну и лестно ей, что я светлые пуговицы носить буду и дворники станут пред нею ломать картузы и звать вашим благородием... Но уж это — нет! извините!.. не на то я получал примеры цивилизации, чтобы утопиться в подобной грязи... Ну и баталия... Стало быть, ты нигилист? против престола и отечества идешь? социалист? Я на тебя, крамольника, в участок донесу!.. Ах ты, Господи!.. Еще хорошо, что детей у нас не родилось... Носила, да не донашивала: сбрасывала... И надо, Николай Николаевич, отдать ей справедливость, очень она тем огорчалась. На все житейское была скупа, как Гарпагон писателя Мольера, но на врачей, на лекарства, на поездки к святым местам и даже к целительным водам тратила деньги, не жалея, настолько хотелось ей иметь детей. И после каждой новой неудачи становилась как бешеная и весь свой тяжелый, стыдный гнев срывала на моей победной голове... Кричит: «Это не моя вина! Доктор врет, будто у меня кровь отравленная. Откуда ей быть отравленною? Что у меня десять годов тому назад по телу сыпь ходила, так от этого — детей не будет? Поди ты с твоим доктором разводить подобные враки... знаешь куда? Все это ты для того выдумываешь, чтобы лишний раз попрекнуть меня полковником. Ну и жила с полковником!.. Экая новость, что жила? Разве я от кого скрывала? А про кровь врать не смей! Полковник — чистый человек, благородный, никак не мог он отравить моей крови... Твоя вина, негодяй, нищий, тихая лиса! Твоя! Я тебя знаю: жену ласкаешь, а сам о другой думаешь... Ты над таинством посмеялся. Безбожник! Социалист! За что ты мою жизнь погубил? Подавай мне ребенка-то — черт ли мне тебя и хлебом кормить?»

Всегда тем кончала, что попрекнет меня харчами. А между тем, Николай Николаевич, истинно вам говорю: за все наше совместное сожительство копейки мы не прожили из ее капитала, исключительно существовали на мое жалованье, и даже то, что она приданым принесла — первое наше обзаведенье, мебелишку, рухлядь хозяйственную, а также что взято было у нее на свадьбу сестры Олимпиады, — все это я ей в течение десяти лет выплатил до копеечки, как самому строгому кредитору... Гроша медного не прощала, да и не желал я от нее этого. Потому что, Николай Николаевич, хотя и исполнил я маменькину волю, одержимый нуждою и отемненный собственною неудачею, но не мог я помириться с тем, откуда ею нажиты деньги... Только та вещь была мне мила в квартире, которую, бывало, я куплю из своих денег, на свою экономию... Может быть, и не прав я был, что так надменно брезговал... Но что же поделаешь против своей натуры? Не мог...

А она меня — память-то, говорю, превосходная, все мои холостые доверенности и откровенности пред нею запомнила, как напечатала! — допекает подобно, как, бывало, милые сестрицы, все тою же Алевтиной Андреевной... Но только куда искуснее язвила. Как вопьется в душу клещом, не отпустит, покуда все не исплюет, словно пол в харчевне.

Скажешь ей:

— Удивляюсь, как ты можешь настолько ненавидеть женщину, о которой я вот уже скоро десять лет не имею даже вестей, а ты ее никогда в жизни не видала, и никакого зла она тебе не нанесла.

А она:

— А что мне твои десять лет, когда за эти десять лет, может быть, десяти минут не было, чтобы ты о ней не думал? А на что мне ее наяву видеть, когда я, может быть, каждую ночь вижу ее во снах? А какого зла еще мне от нее ждать, если она тебя со мною разлучает и чрез твое равно-

душие я не имею детей?.. Родился бы ребенок — ну, не мальчик, хоть девчоночка бы плохенькая, — может быть, я и простила бы. А теперь — счастлив ее Бог, что живем не в одном городе: быть ей от меня по роже битой... да еще и купоросом оболью!..

— Любила вас все-таки, значит, жена, если так ревновала, — примирительно заметил Николай Николаевич, потому что голос Шапкина стал сух, злобен и жесток: убежденная и уже неистребимая ненависть слышалась в нем.

Но тот усмехнулся:

— Да... любила... Самолюбье бабье... Не ревность, — злоба: зачем не все, что близко, ее... Любила!.. Из-за этого именно обмана я ее восемь лет жалел, терпел... А на девятый получил награду: с документами в руках узнал, что — где я ни служил — не было у меня ни начальника, ни товарища, с которым бы она меня не ставила в дураки и не украшала мою голову оленьими рогами... И оправдание — одно: «От тебя у меня детей нет. Хочу, чтобы дети были!»

Наконец в один решительный день безобразный брак оборвался. Милая супруга, зная, на какой слабой струне может она донять мужа всего злее, выкрала у Тимофея Александровича фотографию Алевтины Чаевской и прибила ее в отхожее место, подписав скверное слово... Эта подлая глупость вдруг сразу все покончила, будто острыми ножницами перерезала проволоку десятилетней канители. Без всяких объяснений и сцен снял Тимофей с поганой стены опозоренную карточку, обрезал ножницами гнусную надпись и углы, в которые были вбиты гвозди, чтобы «не напоминало», положил свое сокровище в бумажник и затем спокойно, не сказав жене ни единого прощального слова, взял документы из комода, картуз с гвоздя и палку из угла и — в чем был по летнему времени — вышел из дому навсегда, в новую жизнь. Зашел на место, службу которого тогда нес, рассчитался, указал все получения и платежи, свои отчетности и порядки... И стал

вольный казак... И побрел... Имел он в это решительное время возрастом — 34 года, а в кармане — шестьдесят восемь копеек и портрет любимой чужой женщины, больше воображаемой, чем существующей, может быть, уже умершей, которая живет где-то — невесть где, и никогда, поди, она о нем и случаем-то не вспомнит, потому что вспомнить ей о нем и не с чего, и нечего...

Супруга его искала, а он бродил — даже не скрывался, а просто бродил. Ему ясны вдруг стали три истины: что в семью он жил довольно, а в самого себя ему жить поздно; что он — преждевременно старый, изношенный без толку человек, в котором деятельное начало издержано и разве только хорошей смертью удастся ему проявиться, а отовсюду он опоздал, возясь с семейными своими историями, стал не ко времени и не нужен; что из историй этих он мало что остался недоучкою, полуневеждою, но ни людей, которых любит и для которых живет, не знает, ни мира, который его с юна к себе тянет, зовет и громадою своею обаяет, не видел; что если есть в нем какой-нибудь еще интерес к жизни, так вот именно только созерцательный... Людей подавай — больше людей! Мир, раскидывайся шире! Все видеть хочу, покуда хватит твоей скатерти!.. И — вот — с тех пор бродит, смотрит, как где живут люди, и больше ему ничего не надо, доволен. Пить, есть, под крышею, в какой постели спать — не барин, не прихотлив. На места становится только по необходимости, в том расчете, чтобы из заработка обеспечить себе возможность совершить следующий перелет без крайней нужды и жестоких лишений.

— Много ли мне надо?.. Страдать не желаю: не за что. Но что касается удобств жизни, то — как где люди живут не в совершенное оскорбление человеческому организму — все это, где бы то ни было, я могу принять на себя вровень со всяким другим.

Супруга давно перестала за ним гоняться, потому что сперва нашла богатого содержателя, которого изрядно вы-

потрошила, а потом поступила хористкою к «Яру» и пустилась во все тяжкие. Но ему все равно. Пусть, пожалуй, явится и требует: взять с него нечего — ни из кармана, ни из души; она для него — зачеркнутый в жизни номер, пустое место. Он — сам по себе и свой... чужим к нему соваться нечего! Сколько меня видите — столько меня и есть. Кого захочет, того к себе и подпустит. Месяцами молчать случалось: нет аппетита на беседу человеческую. «Да! вот и на, поди, собаку, кошку часами готов гладить, а с человеком не могу... и не то чтобы отвращение или ненависть какая-нибудь, а так... просто... не надо... чего мне?.. не хочу!.. Людей великое множество, а все для меня — как померкшие тени, а я — сам — свой — один... Ни они мне, ни я им...» Вот встретил Николая Николаевича, обрадовался — изъясняет все про себя до последнего ноготка на мизинчике. А до сегодня три года с лишком — и многие добрые люди, и многие хорошие друзья расспрашивали его о талантах и счастье, как он проходит жизнь, но он — словно все позабыл. Нет воли говорить. Тогда хоть клещами тяни из него слово, а вытянешь, взглянешь — плюнул да бросил: такое оно неохотное — ненужное, безжизненное, скучное... будто сгнивший мертвец. А между тем, где он ни был, чего ни перевидал.

— Если бы во мне религия была, самое бы мне настоящее дело было — постричься в монахи да идти по Руси с книжкою на построение храма... Потому что я всякого русского человека знаю и определяю... и со всяким могу говорить, как он хочет и ждет... Но за неимением тех священных чувств, которые в юности истреблены во мне образованною критикою разума, определился я теперь, как за границей называется, коммивояжером в одну московскую фирму, по скобяному товару. Вожу образчики, собираю заказы. Большая перемена мест и многочисленнейшее сретение людей... Всего третья неделя идет, что я возвратился из Бухары, а ныне вот — изволите сами видеть — еду из Финляндии, со шведской границы, где покупал железо...

— Так прямо оттуда, значит, и следуете? — спросил Николай Николаевич.

Шапкин сторожко взглянул на него и помолчал, прежде чем ответить.

...Нет, не совсем оттуда. Сейчас он из Рюрикова, старого губернского города, где пробыл двое суток по личному своему делу... А теперь, как приедет в Москву, намерен, порешив со всеми делами, в тот же месяц отплыть в Америку...

— Фирма посылает?

Красные глаза Шапкина застыли в печальной улыбке, когда он медленно отвечал:

— Нет... сам... службу я бросаю... Хочу посмотреть... говорят, за океаном другие люди и по-другому живут...

— Эк вас мечет! То, значит, вы в Сербию, теперь в Америку...

— А не все ли равно?

И, помолчав, прибавил тихо, отводя глаза, с больною, горькою улыбкою:

— В Рюриков-то я, признаться, прощаться ездил...

И объяснил.

С тех пор как впала ему в мысли Америка, почему-то стала ему сниться давно не виданною, забытою грезою она: Алевтина Чаевская. И с тех пор снова напала на него тоска. И понял он, что старая любовь не ржавеет: как полюбил он Алевтину в юности, так и любит неизбывно до зрелых лет и седых волос. И права была Агния Аркадьевна: именно в любви этой растворилась его хинью пошедшая жизнь, и любовь эту повезет он теперь с собою за океан, к будущей могиле своей, среди чужого народа, из смешения с которым ему, конечно, уже не возвратиться. Как-никак пятый десяток глядит в глаза, жизни ужасно как много и, сколько ни торопись теперь, не изведать и десятой доли.

— И, когда я все это сообразил, стало мне, Николай Николаевич, жалко и страшно. Не кончен, выходит, мой счет.

Как могу я покинуть Россию и, можно сказать, идти в вечность, не испытав самой заветной своей тайны, оказавшись, можно сказать, трусом перед мечтою всей своей жизни? Поликсена была девушка — и, однако, нашла в себе мужество спросить в глаза судьбу своей любви, как ей быть с собою. А я мужчина и — даже спрашивать мне ни о чем не предстоит, потому что все о себе самом я в этом случае уже сам решил и зачеркнул. Ни в любовники проситься, ни Сердечкина вздыхающего изображать нисколько не намерен. Отгудело для того наше время... Мне от нее ничего не надо... Я не молоденький, она не молоденькая... Поди, семья большая, дети на возрасте... Только найду ее, взгляну на нее, какова она есть, — все равно, как ни найти: осталась в памяти девушкой с черною косою в руку толщиной, встречу пожилую даму с седеющею головою, с морщинами на щеках — все равно: узнаю ее улыбку, глаза, и будет она мила мне, как прежде!.. Объясню ей, что она в жизни моей была, — и довольно... все... больше ничего! Приложусь, как к мощам, — и прощай, родная страна! В поезд, да на Гамбург, да на пароход, да через Атлантический океан в новую жизнь!.. Господи! Сорок первый год... телосложения не богатырского, однако никогда ничем не болел. Неужели я не успею новой жизни узнать? Неужели не достанет меня хоть на десять-то годов?

Он порывисто и глубоко вздохнул и задержал дыхание в груди, медленно его выпуская.

— Справки навел: где? По-прежнему в Рюрикове живет, замужем, детей нет. Муж, говорят, по губернии первая персона. Ладно, брат! Мне теперь все равно: хоть персидский шах! Я пред Америкой-то с кем хочу, с тем и в ровнях, потому что — как умирающий: не на тот свет ухожу, а, пожалуй, что и не одаль оттуда... Приехал в Рюриков, остановился в лучшей гостинице... Верите ли, Николай Николаевич: не могу остаться один в номере! Как только чужое внимание меня не сдерживает, трясусь, руки, ноги дергает, точно у бумаж-

ного паяца, в горле косточку с косточкой сводит... Вышел в зал, спросил чаю... Народу множество: адмиральский час, вся мужская губернская интеллигенция... У стойки какой-то барин, блондин в очках, водку пьет и сигом закусывает: важный, осанистый, сразу видать — не простая фигура! Кивнул носом буфетчику: запиши! — и пошел к своей компании. А тот ему из стойки, в пояс: «Слушаю, батюшка, Осип Иванович...» Ожгло меня: это, значит, и есть супруг-то ее — Осип Иванович Бараносов?.. Спросил на поверку полового... «Как же, — говорит, — он самый: председатель земской управы, силища, мы его больше губернатора уважаем...» Посмотрел я на него за столом, через залу; на себя — в зеркало. Муравьем себе пред ним показался, между тем как он бакены свои разглаживал и карточку обедов читал... Лицо гладкое, сытое, очки золотые в оглоблях чуть не с карандаш толщиной... Рука белая... перстень на ней какой-то особенный, с египетским жуком... манера барственная... запонка — рубин... Этакому и есть, чтобы вертеть губернией!.. Спрашиваю полового:

— Часто бывает у вас?

— Да каждый день два раза, по абонементу, — столуется он у нас.

— Как же это? — удивляюсь я. — Такая большая персона, первый, вы говорите, в городе человек — и вдруг не имеет собственного хозяйства и должен столоваться в трактире?

— Нет, — говорит, — хозяйство у него есть даже прекрасное, но только ему при нынешнем вдовом его положении одному дома скучно.

Тут, Николай Николаевич, комната у меня глазах каруселью пошла, потолок к полу изогнулся, двери с окнами переплелись. Шепчу:

— Как вдовый? Разве Алевтина Андреевна... скончались?

И чувствую, что у меня лицо холодеет, а сердце раскаленным ядром крутится, грудь жжет.

— Кабы, сударь, умерла — к любовнику сбежала!

— Н-ну... Как я тут за чай свои деньги платил, как в номере на диване очутился, того разъяснить вам не могу... Опамятовался от того, что слышу: кто-то воет... Ой, думаю, где-то дитя пропадает, пойду, помогу... Ан это я!.. Пиджак весь белый — в мелу: должно быть, как шел я коридором, шатался по стенам-то...

Шапкин круто умолк и быстро отвернулся, облокотившись рукою о спинку скамьи, так что затенил лицо рукавом темно-синего драпового пальто своего.

Поезд ухал и лязгал железом, замедляя ход перед Тверью, сотрясаясь у стрелок переводами с рельсов на рельсы, чтобы стать к дебаркадеру на первый путь.

* * *

Отшумела голосами, свистками, гудками, звяканьем сцепов и звонкою пробою колес огромная людская станция, ударил второй звонок. Николай Николаевич, поевший, выпивший рюмку водки и бутылку пива, возвратился в вагон, думая о наивной драме разбитой души, которую он только что слышал, и жалостливо ловя в своей душе ноты, которыми бы отозваться навстречу ей теплее и желаннее.

— Пряничков приобрели? — кивнул Шапкин, всю остановку недвижно просидевший на месте своем в одиноком отупении неразвлекаемой погребальной скорби, указывая на две медовые коврижки, которые Лукавин торжественно нес в красной и волосатой своей ручище. Николай Николаевич подмигнул:

— Нельзя, значит: Тверь!.. Одна мне, другая вам... С чаем хорошо. Теперь до самого места, значит, чай пить будем...

Он сел и, упершись руками в колена, внимательно уставил в лицо Шапкина свои белые глазищи.

— Слушайте-ка, — сказал он, когда поезд, мелькая тьмою и светом, выбрался из вагонных шеренг, уныло дремлющих на запасных путях, и мимо длинных товарных навесов с крас-

ным железом выполз в поле, залил его громом и дымом вплоть до лесиков и перелесков лилового горизонта. — Слушайте-ка, значит... Вы погодите, не спешите судить. Может быть, супруг-то тоже попался сахарок, не хуже вашей?

Шапкин с горечью покачал головою.

— Наводил я справки. Безукоризненный господин. Семнадцать лет прожили душа в душу. Только что не имели детей, а то их супружество ставилось по Рюрикову всем в пример.

— Чем же в Рюрикове объясняют?

— Да просто, говорят, извините за выражение, вступил бабе бес в ребро, — сказал Шапкин, с нарочною резкостью оскорбленного, бессильного выражения подчеркивая грубые, непохожие на него слова, которыми, словно камнями с мостовой, швырял он, обманутый язычник, стеная от гнева и жалости, в разрушенный кумир.

— Гм... значит... да... — хмурился Николай Николаевич. — Ну а имя этого... гм... значит, любовника, к которому она сбежала, вам известно?

Шапкин потряс головою, с глазами, почерневшими от гнева.

— Да если бы только я знал... — начал он медленно и вдруг, словно спохватившись, заговорил быстро, как горохом засыпал: — Никто не знает. И муж не знает. Уехала будто в Москву, к тетушкам Чаевским. Прислала письмо, что никогда не вернется, и просила выслать вид на жительство... Кабы я знал, кто! Ну уж... кабы я только знал!

— Вам-то что? — холодно возразил Николай Николаевич. — Какое у вас, значит, право?

— Как что̀? — так и вскинулся-вскрикнул Шапкин, заливаясь кирпичным своим румянцем и беспорядочно водя пред собою дрожащими руками. — Как что̀? У меня ведь там вся жизнь в один миг решилась... вот оно — мое право!

Но Николай Николаевич упорствовал, сурово гладя бороду и все торжественнее и шире открывая белые глаза.

— Если вас ревность, что ли, обуяла, — пренебрежительно возразил он, ибо в качестве человека семидесятых годов к чувству этому ни малейшего уважения не питал и всегда говорил о нем не иначе как в презрительном тоне. — Если ревность, то почему же, значит, вы на Алевтину рассвирепели именно за любовника этого неведомого? Почему, значит, раньше муж ее не торчал вам поперек дороги? О нем вы, значит, вон как почтительно...

— Николай Николаевич! — перебил Шапкин с горьким превосходством человека, перенесшего несчастье, не знакомое другому. — Изволите вы помнить «Евгения Онегина», поэта Пушкина сочинение?

— Ну... значит... к чему вы?

— К тому! — победоносно воскликнул Шапкин. — К тому, Николай Николаевич, что, когда Евгений Онегин понял в Татьяне свой идеал, да поздно, застал он ее уже замужнею, — какою он ее нашел? «Другому отдана и буду век ему верна!» Да! «Мужу верная супруга и добродетельная мать!» Да!.. Затрепетал в священном восторге и преклонился грешный человек... А как вы думаете: если бы он вместо мужу верной супруги и добродетельной матери застал бы Татьяну светской, извините за выражение, шлюхой, — легко бы это было ему? Легко?

— Однако, слушайте... зачем же, значит, шлюхой?

Но Шапкин торопился, захлебываясь:

— Я, Николай Николаевич, разумеется, не Евгений Онегин какой-нибудь, где нам! Я простой человек, из цеховых мещан, нахватался самоучкою того-сего, тершись между людей, образовательного ценза не имею. Но по чувствам моим к Алевтине Андреевне я... я, может быть, за сто Онегиных отвечу! Да!.. Я, может быть, когда ее воображал издали, то вот этак-то — супругою и матерью — еще больше любил ее в своей фантазии, чем невестою своей влюбленной мечты-с... Я ведь не самку-с человеческую,

я — идеал воображал! Годы-то бежали-с, мысль-то старела-с… Идеал девушки милой давно в идеал женщины созрел... И вот на последнем, решительном переломе жизни пошел я к идеалу своему — да! не к женщине пошел, а к идеалу! — изречь ему на прощанье вечную хвалу уст моих... Ан идеал-то... х-хо!.. х-хо!.. тю-тю! Идеал к любовнику убежал!.. Х-хо! ловко!.. Жизнь-то моя куда ж после того пошла, Николай Николаевич?.. К любовнику!.. Добро бы еще дурочка молоденькая, а то тридцать восьмой годочек дамочке… Мужу верная супруга… К любовнику!.. Через семнадцать-то лет!

Николай Николаевич слушал вскрики Шапкина, и страшно жаль ему было «ясного парня», и работал его ум, будто жернова ворочал, советуясь с жалостью, как бы помягче сдержать ему эту оскорбленную, раненую волю, мятущуюся, как испуганный нетопырь, неряшливо одетую в речь-поток, которая, будто спотыкаясь на камнях в короткие вертуны и каскады, захлебывается искусственными смешками, и, неудержимая, в пропасть летит, чтобы разбиться в визге и хохоте истерического припадка.

«Недаром сестра-то вроде эпилептички была, — подумал Николай Николаевич. — Ну, это ты, значит, врешь, не допущу».

И, взяв холодную руку Тимофея Александровича, он нежно гладил ее, как мать гладила бы больного сына... Гладил и говорил:

— А мне, значит, все-таки странно, Тимофей Александрович. Я эту Алевтину помню. Какая из нее женщина вышла, о том, значит, не осведомлен. Но девушка была хорошая, не того закала, чтобы с любовниками бегать, с серьезными, значит, задатками была девушка... в полном смысле слова, нравственный человек.

— Именно так я и понимал Алевтину Андреевну в течение всех лет моей жизни, — сказал Шапкин.

— Ну, не очень, значит, понимали, если так скоро и зря осудили, — с внезапною нарочною сухостью возразил Николай Николаевич, оставляя руку его.

Шапкин осекся, бледный, с открытым ртом, запекшимся под жидкими рыжими усами.

— Зря?!

«Ага! Зацепило!» — с удовольствием подумал Николай Николаевич.

И хладнокровно повторил:

— Зря, значит.

Шапкин молчал, озадаченный.

— Я, Николай Николаевич, — заговорил он тихим дрожащим голосом, в котором, как мячики, нервно и быстро прыгали оскорбленные ноты, — перед очевидностью очутился... Вы меня напрасно укоряете... Я только не оказался слепым против правды, когда она раскрыла мне глаза… Этою правдою меня, может, так ушибло, что я и сейчас удивляюсь на себя, почему я еду с вами в вагоне, а не лежу в больнице, на умалишенном отделении... Когда правда являет наглядные факты, понимать тут больше, выходит, нечего...

— Нет, есть что, — резко перебил Николай Николаевич. — Прожив с мужем семнадцать лет в совершенном ладу, не разрушают домашнего очага так вот без толку, для прекрасных, значит, глаз какого-нибудь случайного кавалера... Тут очень есть, что понимать. По-бабьи-то, по-мещанскому, значит, суд короткий и легкий — вот, аккурат, как рюриковцы вашу Алевтину осудили, а вы им, значит, поддакиваете. Да! — повелительно остановил он порывистый жест Шапкина и загорячился: — Бежала от мужа — значит, к любовнику! Ату ее! У-лю-лю! И никто не знает этого ее любовника, к которому она будто бы сбежала, а все орут... И вы тоже, значит, — стадный вы, значит, человек! — и вы тоже вот, значит, орете... А вдруг не к любовнику? А вдруг, значит, никакого любовника у нее нет и не было? Ну? Что уставились на меня, будто я фокусник и, зна-

чит, ленты из носу тяну? Фу, черт! Да неужели вам самому это в голову не приходило?

Шапкин, бледный, взялся руками за виски, словно проверяя и щупая, какие-то мысли вдруг закопошились и побежали там, под костяною крышкою.

— Довольно уж обманывал я себя, Николай Николаевич, — пробормотал он, — раз набежала на человека правда, то надо, как Поликсена говорила: имей мужество взглянуть ей в глаза!

— Да? — вспыхнул Николай Николаевич и так загорелся, что в возбуждении сразу перескочил с «вы» на «ты». — Да? А ты знаешь, что правде в глаза надо смотреть умеючи? Ты, значит, умеешь? а? умеешь? Врешь: не умеешь! Именно такой же ты, как Поликсена твоя несчастная... Правдивцы какие, значит, нашлись!.. Что крепко стукнет их по лбу, то, значит, и правда для них!.. Этак, брат, рассуждать, то и палка — правда!

Он, сверкая глазами, тщательно вытирал ручником кружку свою и говорил:

— Тебе сколько лет было, когда ты ушел от жены? А? Тридцать четыре? До тридцати семи, значит, не так уж далеко. А сколько лет терпел муку с женою? Десять? Ну, Алевтина Андреевна, значит, покрепче тебя оказалась: несла свою лямку на семь лет больше. А ты, когда ушел от жены, куда бежал от нее? К другой бабе красивой? Потому жену бросил, что, значит, любовницы новенькой захотел — моложе и ласковее? А?

— Я вам докладывал, почему, — смущенно возразил Шапкин. — А что касается любовницы, то это, извините, совершенно напрасное предположение: никаких любовниц у меня не было и нет.

— Ага! — возопил торжествующий Николай Николаевич, могущественно устремляя на растерянного Шапкина указательный перст свой. — Вот, значит, я тебя и поймал! Ей-то,

Алевтине, значит, ты на каком же основании приписываешь любовника?

— Позвольте, — лепетал Шапкин, — весь город в один голос трубит...

— А сестры твои и маменька, значит, не твердили в один голос, что Алевтина состоит с тобою в любовной связи? А жена твоя не срамила ее портрета? Эх ты! За мещанской молвой ползешь, молодым умом умел разбирать мещанскую злобу и ложь, как по пальцам, а с годами — вишь, какой вызрел судия! Самого, значит, захлестнуло...

Шапкин молчал... Первая, недоверчивая надежда странным робким лучом пробилась в глазах его сквозь привычную грустную темь...

Николай Николаевич раскручивал тигровый узел свой, чтобы спрятать в него ручник и кружку, и бубнил, как шмель над пионом:

— Я, брат, до амуров не охотник. Мы, значит, развивались еще в ту пору, когда юношам полагалось любить не женщину, но идею, и осталась, значит, эта привычка навсегда. Если бы ты рассказывал мне, как ты вокруг хотя бы и Алевтины от амура вздыхал, страдал, стонал да охал, я бы, значит, тебя и слушать не стал, потому что это все, значит, любовная блажь. А известное, значит, дело, что этого добра отпущено у нас в России на каждого мужчину ровно в десять раз больше, чем, значит, человеку требуется. А вот что ты умел слить женщину воедино с идеалом твоей жизни — это я, значит, понимаю, и это, брат, чрезвычайно как хорошо. И то я вполне понимаю, что ты должен был расстаться с женою, как скоро она, значит, начала сквернить твой идеал и втаптывать в грязь... Но чудак-человек! Почему же ты думаешь, что и Алевтина не была оскорблена тебе подобно? Что и на ее идеал, значит, тоже чей-либо наглый рот не плюнул, не посягнула грубая рука?

Шапкин возразил с робкою степенностью, в которой трепетно зрела и шла навстречу убедительным словам

осторожная, еще кругом обступленная сомнениями надежда:

— То наша неразвитая, мещанская среда, а то благородный класс, цвет интеллигенции.

— Эх!

Николай Николаевич выразительно тряхнул всем своим грузным телом: ручищами, плечищами, головищею, бородищею...

Шапкин, слабея в сопротивлении, медленно яснел лицом и лепетал с оживающими глазами:

— Притом одно дело мой мужской протест, но когда слабая женщина... можно сказать, уважаемая матрона своего избранного общества...

Николай Николаевич, который в это время привязывал к узлу своему опорожненный чайник, и последний по этому случаю жестоко дребезжал крышкою, шутливо замахнулся.

— А вот за это тебя чайником по лбу! Право, ну, значит, по лбу! Ишь какой... культурный герой! Эка Островского-то в вас, мещанах, до сего времени сколько засело!.. Мужчина, значит, — протестуй, а женщина, значит, — молчи и терпи? А?.. Давеча Татьяну помянул... Понимаю... Но, значит, Онегину позволено обзавестись идеалом с правом борьбы и протеста, а Татьяну, значит, все-таки на всякий случай в терем да под замок?.. Брось! оставь! нехорошо!

Он дружески хлопнул Шапкина по затылку и продолжал:

— И Америку эту, по-моему, ты напрасно затеял. Хороша Америка, да не наша. Ни ты, значит, для нее, ни она для тебя. На что ты там? Страна, значит, молодая, рабочая, мускулы у человека щупает и в психологию не глядит. Кому ты там нужен — с прожитой жизнью, с разбитой душой? Разве что, значит, встретишь другого такого же русского вывихнутого горемыку, сядете вы рядышком и будете вдвоем скулить под грохот чужой жизни, которая, значит, кругом вас торжествует и ревет, и дела ей до вас, двоих плаксунов, нет и быть не

может... Так разве это значит в Америку ехать? Брось! Это значит по свету свое Пошехонье возить: где осел, там и — здравствуйте, вот они мы, — уже и Пошехонье!..

Николай Николаевич притянул к себе Шапкина за пуговицу пальто и, близко глядя ему в сконфуженно улыбающееся бледное лицо, говорил с дружелюбным вращением ласковых глаз и крепко ударял на слова, точно вколачивал их в голову Шапкина, как гвозди в стену:

— Коли в Америку ехать, ты сперва душу свою почини, характер, значит, выправи, а то понапрасну путь свершишь: не увидишь ты Америки! Но только вот тебе, Тимофей, мое товарищеское, значит, предсказание: ежели ты, значит, не баба и сумеешь взять себя в руки и душу свою починишь, то не потянет больше тебя в твою Америку... Потому что, значит, когда этакий ясный парень, да с цельной-то душой, поглядит вдоль и вширь по России, то сердце у него должно всколыхнуться веселою жутью. И страшно, значит, и радостно становится. Столько хорошему русскому человеку родина его представляет, значит, возможностей к прекрасным большим делам! Столько в ней, значит, наплывает такого святого будущего, что за день завтрашний ничуть не жалко сегодня дать с себя шкуру содрать...

— Ходил я тоже Россией-то, Николай Николаевич... поглядывал... — с желающим сомнением в голосе и глазах сказал Шапкин.

Но Николай Николаевич рассердился, налился кровью, выпучил белые глаза и затряс его, точно ждал, что с него яблоки посыпятся.

— Врешь! Не ты ходил — ноги твои ходили! Исковеркали тебя в семье-то — и в Россию ты, значит, уже разрушенным вошел. Поглядывал! Ну где тебе было поглядывать, нелепый ты, значит, человек?

— Глаза-то во лбу есть же у меня, Николай Николаевич? — улыбнулся Шапкин.

— Нету! — закричал Лукавин, заглушая поезд, к новому неудовольствию нервного дьякона, угрюмо зашевелившегося у своего окна. — Нету!.. Между людьми ходишь, а людей, значит, не видишь: себя видишь! Таскаешь, значит, в себе разрушенность-то свою и на мир сквозь разрушенность смотришь... как в очки, значит... Ты очки-то сними, человеку в глаза погляди: не ты один на свете... что ни человек, то, значит, и мир!.. Сам говоришь: нету на свете простых душ!.. Чего за людьми далеко в Америку ездить? Каждый человек — Америка...

Он выпустил пуговицу Шапкина, но вместо того сию же минуту схватил его обеими руками повыше локтей и басил, любовно мигая увлажненными глазами:

— Починись, брат... Материи ты, значит, хорошей, а вдруг висишь в жизни, как дырявый чулок на заборе. Ну, черта ли, значит? Заштопайся, починись!.. Люди, друг Тимофей Александрович, — большой лес. Ты его пройди, значит, пройди!

— Боюсь я, — сказал Шапкин, светлея в тихой грусти, — боюсь я, Николай Николаевич, что починить-то меня в состоянии только одна ручка в мире...

Лукавин захохотал, ударяя руками по коленам.

— Так ты ищи ее, значит, чудак! Ищи! — загремел он. — Уж ежели ты и впрямь такой дырявый, что не заштопаться тебе без женской руки, так ты, значит, ее ищи: пусть чинит, на то она женщина, такая ее над нами привилегия. А найдешь и починишься — и нам, значит, покажи, какая такая чудотворная штопальщица у тебя завелась, и мы, грешные, приидем и поклонимся... Потому что, брат, душонки-то ныне все с дырками — не по целому, значит, так по шву...

Красное лицо его стало строго и важно, белые глаза стали глазами апостола и прекрасно сияли над буйными, выбившимися из-под бурой калабрийки вихрами, над рыжею трясущеюся бородищею.

— Потому что, брат, женщина, которая способна починить и вылечить мужскую душу, — это, брат, значит, перед нею на колени: главная сила общежития! Ею, значит, культура движется и цивилизация вперед идет... Без таких женщин мы, значит, звери были бы! да, друг! пещерные звери! Я, милый, старый воробей — всякое безвременье переживал, всякую, значит, мерзость запустения видал, людей русских — больших русских людей! — знавал в таком унижении и упадке, что, значит, будь на их месте француз или немец, в отчаяние надо прийти. Катится человек под гору, и удержа ему, значит, нет... махни рукой. А я в отчаяние за русского человека не прихожу никогда. А почему, значит? Потому что женщины наши русские — трогательные женщины... больно хороши!.. А где женщина хороша, там, брат, мужское горе — полгоря. Хоть и упадет человек, не пропадет: поднимется, значит, и в свою пору выровняется...

— Немного тоже, Николай Николаевич, женщин-то подобных.

— Немного?!

Николай Николаевич свирепо вытаращился и закричал:

— А если немного, так ты их, таких, тем более береги! Не фордыбачь, значит, ревнивыми-то подозрениями своими мужчинскими, эгоистическими! Дана тебе святыня — и верь, значит, храни!.. Нашел идеал и ходи вокруг него верною стражею; защищай, мещанству-то, значит, не сдавай его на капитуляцию по первому штурму!.. Мало ли что люди скажут! Человек зол: всегда его разбирает зависть на соседскую святыню — зачем, значит, у тебя есть святое место, а у меня нет? Так уж подведу я, значит, штучку, чтобы не было и у тебя!.. Но верь, Тимофей Александрович, что я тебе скажу: ежели, значит, место воистину свято, то не испоганить его, хоть ты в нем свиной хлев заведи... Французы в двенадцатом году в Успенском соборе лошадей ставили, однако он оттого, значит, конюшнею не стал... Ищи, Тимофей Александро-

вич, свое святое место! Как друг, говорю тебе, значит: пожалуйста, ищи...

— Аль в самом деле поискать? — ответил ему задумчивый Шапкин больше грустною своею улыбкою, чем словами.

А Николай Николаевич тряс его за руки.

— Ищи! Найдешь — осветит она тебя, сам поймешь: рано ты, значит, задумал хоронить себя, большая полоса жизни осталась тебе еще...

— Две трети-то, во всяком случае, уже прожито, Николай Николаевич! На днях сорок стукнуло... За шестьдесят в наше время редко кто живет.

— А ты, значит, не сроком, так темпом, темпом возьми! Друг! Нету в жизни такого куска коротенького, чтобы не успел в нем человек, ежели, значит, он того желает, быть полезен другим людям, силу и волю свою, значит, отдать в служение человекам... Найди любовь свою! Хорошо будет... Сквозь себя одного на мир смотреть — он гроб: темный и узкий. Гроб миллиарды людей взял, а никого еще жить не выучил. В гробу человека нет — гнилое мясо. И кто сквозь одного себя на мир смотрит, тот тоже, значит, кроме гнилого мяса, ничего в нем не увидит. А хорошая женская любовь — для хорошего человека — это, брат, значит: большая дорога в человечество! Кто хорошую женщину любит, тот весь мир любит, и ему навстречу весь мир улыбкой цветет... В Америку ты всегда поспеешь, какая тебе, значит, Америка!.. Ищи-ка лучше ее, голубчик, ясный мой паренек, ну, право, честное слово, значит, говорю тебе: ищи!

VI

Николай Николаевич сошел с поезда поздно, в сумерки, когда в Дуботолков ехать нечего было и думать на ночь глядя.

— Врэд ли и завтра от нас проберетесь, — сказал ему начальник полустанка, молодой еще усатый грузин, обруселый настолько, что лишь изредка прорывалось в его говоре кавказское отвердение гласных, унылый, чахоточный, с тоскливыми глазами человека, тяжко отбывающего повседневное житье в месте, глубоко ему противном. — Нэт дороги: потопы. Остра разлилась, как море, а вам ее дважды переезжать, малые ручьи стали реками... Если даже с рассвэтом выедете, то развэ к ночи будете на месте. Вообще примете муки. Тракта нэт, проселками, по размокшему грунту вряд ли сделаете пять верст в час. Пешком скорее.

И посоветовал Николаю Николаевичу лучше переждать на полустанке до следующего пассажирского поезда, а с ним проехать еще три перегона до станции, откуда дорога к Дуботолкову хотя на семнадцать верст дальше, но зато — еще старый, аракчеевский шоссейный тракт, земство поддерживает его в недурном состоянии, да и через Остру только один переезд под самым Дуботолковом из Теплой Слободы.

— По крайней мере там, если вы опоздните или в дороге случится поломка, есть куда попутно заехать. Котково — село большое, на самом тракту стоит. Совершенно как симпатичная русская песня представляет: «Вот на пути сэло большое». Известно на всю Россию, и даже в «Ниве» рисунки были помещены, потому что знаменитый наш русский художник Ратомский выстроил себе там студию. Дальше, если вам угодно сделать маленький крюк, будет поворот на Тюрюкинский завод княгини Латвиной. Это почти город, можете найти всэ удобства цивилизации и комфорта. Потом, уже в Дуботолковском уезде, Тамерники, тоже имение Ратомских — с художником дальние родственники: первые, смэю сказать, землевладельцы здешних мест. Агафью Михайловну Ратомскую обитатели уезда даже зовут, в видэ добродушного юмора, нашею собственною губернаторшею. А супруг ее, Владымир Александрович, извэстнэйшая рус-

ская личность: печатает стихи в почтенных журналах и недавно удостоен за свои произведения прэмии от Императорской Акадэмии наук. И, наконец, если бы даже Остра не пустила вас в самый Дуботолков, потому что понтон, по всэй вероятности, снесен, то вы можете заночевать в Теплой Слободе. Если не пожелаете рисковать в смысле нечистоты на постоялый двор, вам в любом доме с радостью окажут гостеприимство... хотя бы и у самого Тихона Гордеевича Постелькина! Замечатэльнэйший русский человек! — заключил грузин, почтительно понижая певучий гортанный свой голос.

Николай Николаевич подумал про себя, что к замечательнейшему русскому человеку ему на сей раз не дорога, но решил послушать совета и провел с ласковым грузином добрых четыре часа в ожидании пассажирского поезда. Успел узнать, что грузин здесь находится уже третий год, а сколько еще лет маяться ему в этой дыре — неизвестно, так как место дано ему в виде ссылки, в наказание за третью вину: обругал начальника тяги, не очистил от публики отдельного купе для экономки главного инженера и был подведен бригадою, с которою вышли у него контры по части провоза «зайцев». До того же несчастия с экономкою шел по службе хорошо и даже намечен был в начальники на станцию в большом губернском городе. Но вот вместо того — «человэк прэдполагает, а Бог располагает — очутился в болоте».

— Пэчальные мэста, Николай Николаевич, — говорил он, характерно покачивая головою под красным форменным картузом, грустно поблескивая больными и жадными к жизни южными глазами. — Вэсьма пэчальные мэста. За Острою несколько лучше, потому что разливы утучняют землю и население, хотя трудится не на себя, но на разных эксплуататоров, вроде вот этой мною вам названной нашей собственной губернаторши, но по крайней мере получает в возмэздье

своего порабощения нэкоторую сытость. У нас же — от полустанка до города почти сорок верст, и, когда вы ими едете, то даже страшно. Хуже степи, потому что в степи по крайней мере видны курганы и каменные бабы стоят на них...

— Ну уж, значит, было, да прошло, — усмехнулся Николай Николаевич, — поди, все уже, значит, развезены по музеям...

— Все равно, — возразил грузин, — если нэт, то стояли, и, слэдовательно, воображение может работать, что стоят. Но здэсь воображение не может работать. Здэсь ничего нэт и ничего никогда не было. Земля, как серая тарелка, небо над нею, как серый кисель. Между землей и небом — ничего. Леса — ни прута. Вода сносная — только покуда совершенно близка благодетельная Остра, но уже в версте от нее затхлые колодцы и рыжая жижа отравленных навозом прудов. На сорока верстах проезжаете всего четыре деревни. Смею ручаться: даже собак на улице не встретите. Избы — до окон в землю вросшие, покосились, точно пьяные, взлохмачены, точно только что, с позволения сказать, дрались между собою за волосы. Окна — чуть ни в ладонь величины. Как честный человек! А за окнами сидят женщины — и девочки, и девицы-невесты, и замужние бабы, и седые бабушки — и стучат с рассвета до поздней ночи коклюшками: вяжут кружево на великого нашего здешнего мага и волшэбника и всеобщего скупщика — Тихона Гордеича Постелькина. Тут, знаете ли, есть деревенька Мотыкина, так она чрез эти коклюшки настолько запуталась и задолжала Тихону Гордеичу, в такую кабалу села, что соседи уже перестали ее Мотыкиным звать, дразнят Постелькиной крепостью. Позвольте рассказать вам случай. Недавно, еще по зиме, приводит на полустанок из этой крепости мужик воз пряжи и грузит тару на «Москва-город», на имя Постелькина.

— Твоя?

— Не, Постелькина, — передразнил он мужика.

— В работниках у него, что ли?

— Не... за долг... От родителя онысь на выдел вышли, избу новую ставили, ну...

Вижу: конь у него под воз запряжен не худой по здешним местам. Я, знаете, как человек юга — все мы лошадники, нэспокойна у меня кровь к лошадям.

— Гдэ сменял?

— На выплату. Постелькин дал.

Збруя — на выплату: Постелькин дал. Сани — на выплату, Постелькин дал. Изба — Постелькин построил. Одежда, которая есть на себе, — от Постелькина. Рабочий всякий инвентарь — от него же... Удивительно! Стоит пред вами человек — полноправый, что называется, вэрноподданный — свой да Божий... И весь он чужой, и рэшительно ничего у него своего нэт, ни нитки на себе, ни пяди земли под ногою. Как взял его Постелькин от земли да склеил из своего имущества, так вот только и есть в нем матэриалу. Весовщикам нашим забавно показалось. Смеются. Спрашивают:

— Жена-то у тебя тоже, что ли, постелькинская?

Отвечает хладнокровно:

— А как же? Окончательно, что обязан Тихону Гордеичу. Потому что родитель ладил оженить меня на Лизавете Пороховой, и совсем уже мы сосватали девку, так что и по рукам бились. Но поехал родитель в Дуботолков к Тихону Гордеичу взять в долг товарцу для свадьбы, а он и отказал. «Нет, — говорит, — под эту свадьбу не будет вам моего кредита. Пороховых семья нищая и строптивая. Они, — говорит, — и сами мне не работники, и вас со мною рассорят. А вот если ты вместо Елизаветы Пороховой женишь сына на Анисье Кузнецовой, то я не только отпущу товар, который ты желаешь, но и помогу молодым деньгами на обзаведе-

нье и разложу ссуду на долгие сроки, так что и не заметит твой парень, как отработает. Потому что, — говорит, — Кузнецовы — мои люди и вы — мои люди, так что и рабочий двор к рабочему двору — это мне выходит кстати...» Батюшка подумал: братцы любимые! Кто же своему счастью не рад? Прощай, Лизавета! Засватали Анисью...

Грузин многозначительно посмотрел на Николая Николаевича из-под красного картуза своего и заключил:

— Как изволите видеть, достоуважаемый Николай Николаевич, это уже получается картына даже как бы вроде какого-то нового крэпостного права... Удивительный народ! Удивительная страна!

Он восторженно оскалил белые крупные южные зубы свои, захохотал гортанью, будто курица заклохтала, и воскликнул, взмахнув руками:

— Уд-диввительная страна! Все в ней нэобыкновенно и противоречит здравому смыслу. Возьмите сейчас ваше настоящее положение. Вы находитесь в сорока верстах от Дуботолкова, однако для того, чтобы попасть в него скорее, вам надо сделать в сторону от него 36 верст по железной дороге и затем проехать еще 54 версты крюку на лошадях. Ну где еще, я спрашиваю вас, в каком еще государстве возможно, что для того, чтобы приблизиться к точке, человек должен не к ней идти, а от нее удаляться на расстояние, почти втрое большее прямого пути? Удивительнэйшее расположение!..

Совершив железнодорожный переезд, который посоветовал ему начальник полустанка, и переночевав в гостинице возле станции, Николай Николаевич рано утром, с первым солнцем, выехал, высоко взмощенный на крытое драным одеялом сено, как триумфатор на колеснице или преступник, везомый на эшафот. Тарантасик был облупленный, скрипучий, с верхом, обтянутым вместо кожи старою, драною клеенкою. Пара лошадей — необыкновенных мастей: одна се-

рая, но не как лошади бывают серы, с отливом в седину, а однотонно и дымчато, как серы мыши, другая грязно-палевая, — стояли, покуда Николай Николаевич усаживался на возвышенное свое седалище, с понурыми чуть не до земли мордами и всем тощим существом своим выражали недоверие к путешествию, которое заставляет их предпринять ямщик-хозяин. А последний был чахлый, в версту вытянувшийся, сутуловатый мужик, лет уже за сорок, почти безусый и безбородый, со странными красными пятнами на землистом длинном лице и с угрюмыми глазами человека, которого все чувства и думы суровая жизнь собрала, как стадо, и загнала их из мира внешнего внутрь, в душу, и заперла в ней крепким замком. И все они, одна за другою, погасли взаперти и, погасая, сливались с остальными, покуда все не слились в одну. И одна эта была: мутный и жалкий страх пред жизнью, облаченною в тяжкий и непроизводительный труд, ежедневно готовящею лишение и горе, отученною от светов радости, привыкшею, что хорошему веселью и довольству прийти в нее неоткуда. И если приходит оно иной раз, то либо пьяное, либо ценою таких гадких жертв и уступок, что радость становится тоскливою, как молодая на опозоренной свадьбе, когда соседи побили горшки под окном о завалинку и, того гляди, вымажут ворота дегтем.

Возница этот, как только взгромоздился на козлы, загудел на коней каким-то погребальным воем, точно выпь на болоте. Кони, надо полагать, знали по опыту, что подобный вой обещает им не весьма приятное, потому что подняли понурые морды и в гнуснейшей сбруе, где заплатанной чем попало, где просто связанной бечевочками, зашлепали копытами по рыжим лужам бурой дороги, притворяясь, будто бегут рысью. Но возница выл, дергал вожжами и неистовствовал кнутом, так что злополучные животные повернулись друг к другу мордами, точно посоветовались: «Ничего, мол, не поделаешь! Ишь как его сегодня разби-

рает! Видно, уж везти!» — и затем в самом деле побежали довольно бодро.

— Не хлещи, — унял Николай Николаевич, — уже идут, значит.

— Нет, нельзя, — сипло отвечал возница. — Надо, чтобы расскакались. Я их натуру знаю. Потом, пожалуй, до стоянки хоть и кнут спрячу: сами будут идти. А мне и на руку. Я, купец, не очень его уважаю, кнут-то.

Дорога от станции довольно долго шла параллельно железнодорожному полотну. С грохотом прокатил навстречу едущим, почти над головами их, товарный поезд — бледно-серые, голубоватые в робкой лазури погожего апрельского дня Нобелевы цистерны.

— Керосин везут, — обернулся ямщик к Николаю Николаевичу лицом, неожиданно очень общительным и добродушным.

— Керосин, значит.

— Чудно.

— Что чудного? Поди, сам жжешь?

— Да откуда его везут такую уйму? Ведь на всю Россию идет и многие заграницы.

— За Кавказом его достают, из нефти гонят, значит.

— Это я слышал, что за Кавказом, из нефти. Да нефть-то откуда?

Николай Николаевич рассказал ему про Баку и тамошние нефтяные земли. Ямщик выслушал, медлительно повернулся к ездоку и с веселым недоверием воскликнул:

— Да ну?! Так-таки из земли?

— Из земли.

— Были вы там?

— Был.

— Сами видели?

— Сам, значит.

— Ах, дуй же его горой!

— Кого? — удивился Николай Николаевич.

— Сергея Степановича, земского начальника нашего.

— За что так?

— Как же? Намедни везу его — вот как вас же, и тоже вагоны бегут. Я и полюбопытствовал — вот как с вами: откуда, мол?.. А он мне и объяснил: это, брат, есть за Кавказом теплые земли, а в них живут железные слоны, так из тех слонов персияне нефть доят, а керосин с нее, как пенки али сливки, что ли, снимают и к нам везут. Врал, выходит?

— Значит, врал, — сердито ответил Николай Николаевич. Не любил он шуток с доверчивостью крестьянскою.

Улыбка на лице ямщика тоже погасла невесело. Ему, видно, стало стыдно и досадно, что он, обманутый барским остроумием, попал впросак.

— Шутник у нас земский, веселый барин, — сказал он, оборачиваясь к лошадям и легонько подгоняя их подергиванием вожжей. — А я было стёмну поверил.

— Ты грамотный?

— Был, — равнодушно ответил возница, не оглядываясь. — Теперь все забыл. Давно. Еще вывеску или объявление, которые крупными буквами, прочту так и сяк. А газету — пробовал намедни, не мог осилить. А писать только и осталось в перстах, что могу в волости фамилию расчеркнуть: Спиридон Самоцветов.

— Как же ты, брат, этак?! — укоризненно воскликнул Николай Николаевич, подскакивая на сене от толчков снизу, потому что повозка повернула, переезжая гремучую бревенчатую настилку, с мягкой грунтовой дороги на шоссе. Возница помолчал; лишь когда тарантас выполз на шоссе и кони, повеселев от лучшей дороги, покатили его налево по аракчеевскому большаку, обсаженному редкими, ограбленными на топливо и полевые шалаши березками, Спиридон Самоцветов снова обернулся к седоку и сказал короткое слово:

— Семья.

— Воинской повинности не отбывал, значит? — проверил Николай Николаевич, зная по опыту, что солдат, человек бывалый, тершийся в ротном товариществе и получивший грамотность уже взрослым, вряд ли попался бы на ловушку нефтеносных слонов.

— В солдатах-то? Не был... Один у батьки сын. В тюрьме с полгода сидел, — сказал Самоцветов с гордостью, точно про высшее учебное заведение.

— Вот? По какому делу?

— По подозрению... Супруга моя... жена то есть... родителя нашего мышьяком стравила... Ну как забрали ее — тут тоже и меня... Недолго держали: следователь велел выпустить, потому что я действительно к этому предприятию совершенно не касался... Меня даже и не было на селе: в артели жил, под Клином, на посудного мастера глину копали...

— Сослали, значит, жену-то?

— А что же? Сослали...

— Давно?

— Шестнадцатый год.

— Как же ты, брат? А семья, значит, откуда?

— В гражданском браке состою...

— Гм... а не жутко приходится? — участливо хмыкнул Николай Николаевич.

— Это чего?

— Не любят, значит, по деревням союзов таких, не венчанных...

— Нет, ничего, — равнодушно возразил Спиридон Самоцветов, посвистывая и почмокивая лошадям своим. — Ничего... Попервоначалу — точно, что старухи крепко ругались... Поп к увещанию сколько раз вызывал... А теперь — ничего... Кабы я один... А то у нас на селе три семьи, кроме нас с Лепестиньей... Стала как бы мода... Нно! Эх, вы, уносные! Дорога ровная: покажите рысь! Купца везем!

Но уносные решительно не страдали избытком профессионального самолюбия и продолжали медленно и дробно семенить мохнатыми ногами, хотя огромные худые вертлюги их двигались для этого с силою и напряжением, которых на вид достаточно было бы, чтобы махнуть весь этот тарантас с двумя в нем дюжими мужчинами повыше леса стоячего, пониже облака ходячего, точно ковер-самолет. Так что Спиридон Самоцветов, безуспешно поборовшись с ними некоторое недолгое время, оставил коней в покое и — благодушно продолжал:

— Потому что, господин, больно уж много стало теперь размножаться в нашем, скажем, крестьянстве такого народу, что и не разберешь, куда его определить: ни холост, ни женат, ни замужняя, ни вдова... Возьмите — что ныне одни тюрьмы народ вдовят, а потом еще отхожий промысел, чужая сторона, да воинская повинность, да Сибирь, да переселенное дело... Человеку Бог велит в паре жить, а жизнь, стало быть, пару разбивает... Ан закон-то, выходит, и не оправдан — пустое место: плачет слабость человеческая; хозяйство тоже — что бабе без мужика, что мужику без бабы — не в подъем. Одинок человек, а венчать его попам не указано... Ну и поправляемся — всяк, как могит...

— Жена твоя, — сказал Николай Николаевич, — сослана, конечно, с лишением всех прав состояния. Значит, ты мог бы вторично жениться и церковным браком.

— Знаю, — как-то недовольно и даже почти сухо возразил Спиридон Самоцветов и, помолчав, прибавил: — Нет, уж это что же? Грех... Двух венцов не носить, а покуда человека под холст не положили, венец на нем держится.

До Егория оставалось еще двое суток, но деревни уже выгнали скотину в поле на подножный корм. Коровы и овцы, отощалые за зимовку, бродили по логам и косогорам с видом недоуменным, точно хотели сказать своим пастушонкам: «Какого черта вы, ребята, повели нас нагуливать аппетит,

когда на этой нищей, холодной земле — хоть шаром покати: ни травки, жрать нечего?!»

Отъехали пять верст, — хоть бы душа человеческая навстречу. Только жаворонки высоко крутятся в синем небе, суетливо скачут по окопам шоссе трясогузки да на дальнем болоте орут вчера прилетевшие журавли... Проехали деревушку — поселок в одиннадцать дворов. Дико смотрели на повозку бродящие по улице шершавые кони, любопытные стригунки бежали рядом и тянули морды — обнюхать упряжных лошадей, в то же время готовые молнией вскинуться и убежать, высоко сверкая задними копытами, при первом угрожающем движении ямщичьего кнута. Ни одной собаки. Редко-редко плелась через улицу, брезгливо ступая через грязь, пестрая или серая кошка — худая, полудикая — и косилась на проезжих недоверчивым оком: «Вас, мол, зачем и откуда к нам принесло? Вы нам, деревне, не компания: вы, кажется, сытые».

— Бедненька деревенька-то! — заметил Николай Николаевич.

Возница учительно притворился, будто хлестнул лошадей. Те поняли первое предостережение и побежали.

— Еще бы не бедно! — отвечал он. — Железнодорожники. Донашивают красные шапки со станционных господ.

— Ну, тоже и землю похвалить нельзя: видать, значит, что выпахана.

— Землю — что напрасно хвалить? Искамнило ее до ужасти. Но только земля у нас, купец, одинакая на два уезда: черт каменьё в решете нес да у нас растрёс... Однако вот ближе к Дуботолкову, вокруг Тамерников, поедем, увидите: живут люди не хуже других. А мы в срамоте. Сказываю вам: железная дорога.

— Ты что же, значит, мыкаешь? Разве здешний?

— Нет, мы будем в другую сторону, за линию...

Он, не оборачиваясь, ткнул через плечо кнутовищем.

— Да все равно: из ближних к чугунке... Начальник станции намедни и то смеется. «Более, — говорит, — чем по седьмую, — говорит, — версту от полотна мое, — говорит, — царство, наши подданные: полоса... как бишь ее, к бесу...

— Полоса отчуждаемости?

— Во-во! Уж подлинно, что отчуждаемая. От земли отбила, хозяйство прекратила.

— Однако, значит, кормит она вас? Поди, в месяц возьмешь с нее столько, что на земле же не выработаешь в год?

— Это что говорить... Но только пользы не видим. Приходит, да так — промеж рук и уходит. Вон в Коткове будем кормить. Всего десять верст считаем отсюда, а глянь-ка избы: палаты! Мужик барином ходит, голову вверх несет! Потому что их дело уже к машине некасаемое: земельники. Доходов имеют меньше нашего, а живут справнее.

— Как же так, братец?

— Говорю: земельники. Земля, купец, что сберегательная касса. Земля деньгу держит.

— Значит, богаты очень котковцы-то?

— Нет, какое же богатство? А так — чистюли, усадебники. Хоть нет на ногах портков да у земли живу, сам себе господин! Вольница, анафемы: с Новгородчины роды ведут... Такие ли стрельцы — не дай Господи!

— Ну а вам-то кто же мешает взяться за землю?

— Соблазн имеем. Как пойдет с машины дешевая деньга — до земли ли тут? Рубят с грехом пополам бабы коечто вокруг двора, а мы, мужики, все как есть, при машине. Ужасно нас какая масса. А земля этого не любит, чтобы около нее — как-нибудь, да не утерши носа. Особливо у нас. Капризный грунт! Весною ее половодьём-то затянет — откуда только наплывет его, — что твоя мостовая...

— Короче говоря, обленились вы, значит, железнодорожники?

— Не то что обленились, а фортуна наша такая. Ходигляди по платформе да высвистывай счастья: авось налетит — не с Москвы, так с Питера.

Голые березы большака стали чаще — и торжественным шумом гудела в них просыпающаяся весна, с корня до маковки потрясая пестрые, будто серебро с чернью, стволы их налетами теплого верхового ветра, сгоняющего последние снега из полевых оврагов. Слева вдоль дороги — в полуверсте от большака — тянулось озеро-болото. Вскрывшаяся часть его блестела под солнцем рассыпными искрами, а мерзлая была исчерчена темно-синими пятнами, свидетельствовавшими, что не нынче-завтра водяной дед и остальной лед потянет к себе на дно. Журчали с пригорков и сливались в придорожных канавах светлые, играющие прошлогодним листом ручьи, и журавли кричали, высоко под надутою дождем тучею пронося свой летучий треугольник...

Не доезжая трех верст до Коткова — красивого села, издали видного на высоком пригорке, с пятиглавою церковью, будто белою лебедью, в золоте венцов плывущею навстречу большаку, Николай Николаевич претерпел дорожное приключение, совершенно такое же, как выпало некогда на долю Павла Ивановича Чичикова. А именно: на довольно крутом повороте и в чрезвычайно большой грязи кони Спиридона Самоцветова внезапно столкнулись, морда с мордою, с гнедою парою других коней. Хотя возницы успели сдержать лошадей, так что не позволили им перепутаться упряжью, но разъехаться оказалось нелегко. Тем более что кони с обеих сторон почувствовали друг к другу самое друже-ское влечение и никак не хотели пятиться из лужи, в которой стояли, несмотря на все проклятия Спиридона Самоцветова и встречного кучера, необыкновенно рослого и величественного старика в синем кафтане и боярской шапке. Николаю Николаевичу показалось, что где-то он видал уже этот Саваофов лик

и могучую, богатырскую фигуру. Но старик смотрел на него совершенно чуждыми, равнодушными глазами, и Николай Николаевич, по многочисленному опыту зная, что его собственную приметную наружность, однажды видевши, потом не признать мудрено, — решил, что ошибся. Дам, которых вез могущественный старик, он рассмотрел, только когда слез со своего тарантасика, чтобы помочь возницам, и — по щиколотку в воде, под крик людей и фырканье коней, с громом, тарахтением и бултыханьем экипажа и тучами коричневых брызг из-под копыт и колес — провел встречного коренника под уздцы, в обход самоцветовской пары, направо. Совершив этот подвиг и заслужив им одобрение седого Саваофа, Николай Николаевич вежливо раскланялся с медленно проехавшими в изящной и легкой своей сибирской тележке-корзиночке дамами и, получив от них обратно милейшие кивки и любезнейшие улыбки, опять взгромоздился на вышку тарантаса своего, чтобы продолжать прерванный путь. Несмотря на краткость встречи, он успел разглядеть, что дамы — не из провинциалок, обе хороши собою, хотя уже не первой молодости и свежести, и одеты с богатым изяществом.

— Кто такие? — спросил он, закуривая, когда тарантас осилил поворот, чуть было его не увязивший.

— Из Коткова, — отвечал Спиридон. — Энта — худая, козлячьим мехом коленки укутаны — сожительница художникова, Ратомского Константина Владимировича... Вон — уже видать на обрыве, за церковью, пеструю крышу: это будет его жилище, — нарочно он такой дом себе построил в Коткове, чтобы картины свои рисовать...

Николай Николаевич покачал головою, окружаясь дымом.

— Красавица! — невольно сказал он вслух, вспоминая пламенные черные глаза, лихорадочно и мгновенно сверкнувшие на него короткою благодарною улыбкой...

— Нешто, — снисходительно одобрил и Спиридон Самоцветов. — Тоща больно... По-нашему, крестьянскому сказать: холера!.. Теперь отдышалась... А как с месяц тому назад Константин Владимирович привез ее в Котково с Москвы в карете — Господи ты Боже мой! страшно было взглянуть: в чем только держалась душа... одни глаза светили... Даже удивление всех нас взяло на Константина Владимировича: этакий жеребец, косая сажень в плечах, поди, ему по Москве от баб и девок отбою нет, ан он себе больную избрал, которая, может, уже в гроб смотрит...

— Хороший человек, значит?

— Анна Васильевна-то?.. А кто ж ее знает? Нам до нее касательства нет... Известно, барыня... Девушки смеются, будто ревнива очень, — ухмыльнулся он.

— А другая? — спросил Николай Николаевич.

— Толстая-то? Не сумею вам сказать... Гостья, что ли... Третьеводни ее встречать выезжал на станцию Лимпадист, старичище этот…

«Вспомнил!» — с удовольствием подумал Николай Николаевич. Он догадался, почему так знакомо показалось ему лицо старика: на одной из недавних художественных выставок в Петербурге Николай Николаевич видел его на полотне «Воеводою-Морозом» на картине этого самого вот Ратомского, о которой много говорили и писали в газетах...

А Самоцветов говорил:

— Надо полагать, тоже богатая госпожа. Приехала в первом классе — я и вещи выносил... Чудеснейшие вещи, заграничные... Полтинник дала за труды, давай Бог здоровья!

Если бы Николай Николаевич обернулся с пригорка, на который всползал тарантас, он увидал бы, что другая дама, непочтительно обозванная Спиридоном «толстой», а в действительности очень эффектная под темно-коричневым дорожным беретом своим и в таком же строгом английском демисезонном костюме, еще смотрит — и с большим любо-

пытством — вслед ему, как знакомому, который ее не признал, а она его полупризнала, но в застенчивой неуверенности не решилась окликнуть... А если бы ехал Николай Николаевич не один и был бы с ним Тимофей Александрович Шапкин, то сильно забилось бы сердце его при виде этих прекрасных добродушных глаз и мягкого рта с кроткою улыбкою. Потому что была эта дама — та самая Алевтина Андреевна Бараносова, урожденная Чаевская, о ком пришлось Николаю Николаевичу так много выслушать от Шапкина вчера утром в вагоне. Она уже третий день гостила у старой своей приятельницы, Анны Васильевны Зарайской, этой больной красавицы, которая теперь сидела с нею рядом, утопленная в мехах, и которую Спиридон Самоцветов рекомендовал Николаю Николаевичу за сожительницу знаменитого художника Ратомского.

* * *

С той счастливой ночи, которую подарила Ратомскому запоздалая зима, чтобы перевезти Анну Васильевну в Котково*), истекала четвертая неделя, и о зиме уже не было помина. Анне Васильевне жаль было, что зима прошла: для нее последняя белая улыбка умирающих снегов расцвела в улыбку счастья. Первую неделю в Коткове Ратомский и Анна Васильевна провели в совершенном отшельничестве. На их счастье, погода стояла чудеснейшая: дни, полные холодного, серебряного блеска, с алыми зорями, трепещущими над далеким снежным равнинным горизонтом. Ратомский работал запоем, вскакивал с постели при первых лучах рассвета. Ясная зима, мешкотно царившая над Котковом, — точно вознаграждая художника за неожиданное благонравие и возвращение к труду, — дарила его освещениями, как раз нужными для его картины. Ратомского отгоняли от полотна толь-

*) См. «Девятидесятники», т. II, гл. XXIII.

ко сумерки. Когда они падали, он — уже одинокий в этот час в мастерской своей, так как в закатное время Анне Васильевне предписано было врачами лежать, — ругался, бесился, швырял кисти, палитру, толкал ногами мольберты, старые этюды, — и бормотал сквозь стиснутые зубы, со сжатыми кулаками:

— Пусть меня подлецом назовут, если я из гонорара за «Ледяную царицу» не освещу мастерскую электричеством. Хотя бы пришлось устроить собственную станцию. Я каждый день из-за этих чертовых сумерков порчу себе шестьсот тысяч капель крови. И теряю шестьсот тысяч рублей…

Гипербола смешила его и успокаивала. И он, уже мягкий и добродушный, как всегда, смеясь, повторял:

— А электричество все-таки вот заведу и заведу...

Он ел и пил наскоро, стоя — чашка кофе в одной руке, кисть — в другой. Анна и Лимпадист ходили на цыпочках, счастливые и гордые вдохновением таланта, пред которым оба преклонялись. Они очень сдружились за это время. Невольно любишь того, кто сам любит человека, тобою любимого, но к кому не надо ревновать, потому что и любовь его разная, да и ничего он не требует в ответ на нее, довольный своею наивною привязанностью. Старый натурщик боготворил художника. Чем больше «спела» картина, тем шире становилась улыбка, почти не сходившая с лица старика с приезда господ в Котково. Беззвучно скользя за спиною Ратомского с какою-нибудь тарелкою или подносом, Лимпадист хитро подмигивал на картину Анне, так же беззвучно углубленной в огромные кожаные кресла или мутаки персидской тахты, и, сложив руку трубочкой у рта, шептал ей — по десяти раз на день — одну и ту же фразу, которая — он знал — полюбилась барыне в первом же их разговоре:

— Шабаш! Васнецову крышка и Репину труба!

И — в ответ на счастливую улыбку Анны — тоже счастливо прыскал со смеху.

— Опять труба затрубила? — полусердито спрашивал через плечо, не оборачиваясь, Ратомский: он знал, в чем дело, и, в сущности, не был недоволен, хотя ему и «мешали»...

Лимпадист делал испуганные глаза и серьезную рожу.

— Я ничего-с, Кискенкин Владимирович, я ничего... Так, промежду прочим...

— Ты «промежду прочим» лучше бы лошадь в сани запряг да — пока солнце — барыню прокатил бы...

— И то дело, — одобрял Лимпадист.

Между ним и Ратомским существовал заговор. Как ни благоговела Анна Васильевна пред искусством, как ни тонко понимала его потребности, но — болезненная ревность к живой натуре всегда была ее слабою струною. Очень хорошо понимая, что без этого нельзя, она молчала, боролась с собою, но победить не могла. Одно уже представление, что Константин Владимирович пишет с нагой красивой женщины, стоящей или лежащей в двух-трех шагах от него, бросало ее в мучительную, гневную тоску, разрешавшуюся тайными горькими слезами. Явно она крепилась, как могла. «Ледяная царица» — с голыми фигурами снежных фей — сразу уколола ее в сердце.

— Где это ты добыл таких пышнотелых? — спросила она, фальшиво улыбаясь и уже с адом в душе.

— По старым этюдам, Нини, — мужественно солгал Ратомский, не моргнув глазом, — где уж тут, в Коткове, искать натуры. С наших полушубниц хорошего тела не напишешь...

Она знала, что он лжет — что без натуры так писать нельзя, — но понимала также, что лжет он ради ее спокойствия, и сделала над собою геройское усилие, чтобы тоже явиться великодушною.

— Я потому спрашиваю, — сказала она, глядя в сторону, — что... ты, пожалуйста, не вздумай стесняться... я ведь не настолько невежественна, чтобы...

«Ладно! Слыхали!» — подумал Ратомский и с упорством повторил:

— Да нет же, Нини, говорю тебе: теперь это совершенно лишнее...

— Ну как хочешь, твое дело, тебе лучше знать, — поспешила она согласиться с облегченным сердцем. — Я только боюсь, что без этого тебе трудно... и не хотела бы, чтобы из-за меня проиграла картина...

Ратомский снова клялся и божился, что картина уже «не в том периоде», что теперь роль живой натуры, собственно, уже кончена, остались только детали — шестьсот тысяч деталей, — аксессуары, бутафория и общая ансамблевая поверка. Анна Васильевна умолкала, полууверенная. Катаясь в санях по Коткову, она заприметила два-три личика, которые как будто отразились в сонме фей «Ледяной царицы».

— Это кто такие? — спрашивала она Лимпадиста.

— Энта? В платке-то?

— Ну да, в платке… обе в платках!

— В платке — это будет горбылевская Устя...

— А другая?

— Надежда, сестра ейная.

— Что же — Константин Владимирович писал с них?

— Писал ли?.. гм... не могу знать — не помню, чтобы писал... Да, надо быть, писал... Он ведь летось всее Коткову переписал: ребятенков которые, мужичье... всех! — так говорил Лимпадист.

И лгал. И Анна Васильевна слышала, что он лжет, но не смела ему сказать, что он лжет, и не смела на то сердиться, хотя сердце рвалось и требовало: «Кричи!»

Когда санки с укутанною в десять одежек, покрытою мягким мехом тибетской козы Анною Васильевной исчезали за околицею, к Ратомскому являлись его доморощенные натурщицы. Он должен был дорожить ими, потому что добывать их было трудно и боязно. Нечего было и думать привлечь на обнаженную натуру хороших, честных девушек деревни — «отцовских дочерей». Но и с падшими,

ославленными приходилось вести долгую и тонкую политику через Лимпадиста и разных доброхотно сводничающих старушек, прежде чем они соглашались позволить написать нагую красоту свою. Большая плата, предлагаемая художником, в конце концов побеждала. Но каждая из его натурщиц охотно предпочла бы какое угодно ухищренное издевательство чувственности над собою в темноте разврата, чем эти спокойные бесстрастные сеансы в ясности дня, где от нее ничего не требовалось, кроме того, чтобы она полчаса простояла на свету и в тепле, какая она есть. И каждая требовала строгой тайны, и каждая уверяла, что если тайна будет нарушена, то парни котковские ее убьют, а мастерскую художника сожгут. И может быть, они воображали и лгали, а может быть, говорили и правду.

Приходила гулящая Марина, богатырь-девка, работница и сожительница без просыпа пьющего и лишь консисторским чудом каким-то до сих пор не расстриженного вдового заштатного попа Федота, столь безнадежно опустившегося, что крестьяне уже не хотели величать его ни «отцом», ни «батюшкою», а даже в лицо кликали «Федотка» либо «Федотей». Он жил на задах села, к огородам, в старой бане, отведенной ему от дружно ненавидящей его, дармоеда-пенсионера, котковской поповки, и пропивал все, что Марина вырабатывала, — каким трудом, это нисколько не возбуждало его любопытства.

— Что ты его не бросишь? — спрашивал Ратомский, перенося на полотно в образе буйно разметавшейся, брильянтово-иглистой вьюги мощное бедро Маринино. — За что он губит твою молодость? Ты девушка красивая, рабочая. Шла бы лучше замуж — хоть за вдовца какого-нибудь... Неужто любишь?

Маринка, недвижная на натуре, краснела всем телом, как пион, и, шмыгая носом, лепетала еле слышно:

— Люблю-с...

— Ах, оставь! Врешь все! За что его любить? Ему, старому пьянице, шестьсот лет минет в эту субботу.

Но Марина на это, умирая от конфуза, уже скорее дышала, чем говорила:

— Как же-с? На ём сан.

Приходила Пантелеиха-Мантелеиха, молодая, но уже алкоголичка, вдова — «мирской человек», промышлявшая тайным кормчеством и никогда не уловимая акцизом, потому что искусно и безжалостно сводничала крестьянских девушек всем местным предержащим властям: и сельским, и волостным, и уездным. Парни вот уже третий год грозили ее — не убить так изувечить, но она была отчаянная, и что больше росла злоба на нее, то больше она озорничала. Ратомский превратил пивом надутое, пухлое, будто ватное тело ее в белое снеговое облако, что очень смешило вдову. На натуре она стояла неспокойно, безобразничала, кривлялась и, следя за воспроизводящею ее кистью художника, делала циничеcкие замечания в скверных словах, сопровождаемых еще более скверными жестами. Но Ратомский, пропустивший сквозь руки свои не один десяток натурщиц, очень ясно видел, что из пяти приходящих к нему женщин ни одна не стыдится наготы своей больше, чем эта распутная, прожженная бабенка с подлым языком, и что самое бесстыдство ее — не более как нарочный наглый крик, чтобы заглушить и задушить последний протестующий шепот не желающей умирать — хоть ты что! — женской стыдливости.

Приходила с нею сестра ее, глухонемая дурочка, обращенная сестрою-своднею в деревенскую проститутку: маленький уродец, которому — не то в воздаяние, не то в посмеяние умственного и нравственного ее убожества — природа дала божественно прекрасный торс целомудренной Дианы. И особенно страшным контрастом торчала на нем острая голова с бессмысленными глазами, широко расставленными по сторонам плоского носа на сером лице, с толстыми

отвислыми губами звериного рта типической идиотки. Приходили Устя и Надежда Горбылевы, две сестры, загубленные техниками на Тюрюкинском заводе. Одна — круглое деревенское яблочко с румяными щечками, другая — стройная белая лебедь, с лицемерным лицом сытой монашенки. После греха своего сестры, потерявшие надежду выйти замуж, стали, как выражался Лимпадист, «намеряться в чернички» и теперь вырабатывали капиталец для построения кельи, то есть собственной новой избы на выезде, чтобы открыть в ней конкуренцию вдове Пантелеихе-Мантелеихе. Эти девицы вечно клянчили о прибавках, забирали деньги вперед и сумели устроить, что Ратомский, в то время как всем остальным платил за час рубль, им дал два, хотя они менее всех были нужны ему для картины и на натуре надоедали притворным жеманством, сквозь оболочку которого сквозило холодное, продажное зазывание.

Спеша и волнуясь от короткости сроков и неспокойной обстановки сеансов, Ратомский с лихорадочной быстротою набрасывал запретные красоты на полотно. А Лимпадист тем временем в поле хитрил с Анной Васильевной.

— А что, барыня, никак мы давно не бывали к отцу Евмению? — начинал он. — Слышал я, будто он вчера с Москвы вернулся... поди, новостей привез...

— Ну поедем к отцу Евмению, — грустно улыбалась Анна Васильевна.

Она догадывалась, что ее искусственно удаляют — и зачем. Но ей слишком хотелось быть счастливой, и она притворялась, будто ничего не знает. Впрочем, в мужской верности Ратомского она в данном случае и не сомневалась: как ни легкомысленно ветрен был молодой художник, но у полотна он священнодействовал, ему было не до глупостей. Анну Васильевну досадовало, скорее, — зачем нужна ему другая натура, отчего не может она заменить ему всякую модель; примешивалось сюда и то странное стыдливое

отвращение, которое женщины, нравственно воспитанные, очень часто имеют к телу всех других женщин.

Отец Евмений Стихарев, священник ближнего, за четыре с половиною версты, села Нестырь — старый, седой, кроткий вдовец, в самом рабском подчинении у сестры своей, тоже пожилой вдовицы-дьяконицы, — угощал Анну Васильевну медом с собственной пасеки, играл с нею в пикет и читал ей вслух «Русские ведомости», которые выписывал с начала издания («еще от Николая Семеновича Скворцова-с!») и любил за то, что теперь у них три предостережения.

— Я, голубушка, Анна Васильевна, даром что долгогривый, я — старый либерал, — хвалился он, робко оглядываясь, не услыхала бы сестра: она попова вольнодумства терпеть не могла.

— Вот вы какой у нас, батюшка! — улыбалась Анна Васильевна.

А тот приосанивался:

— А вы как бы думали? Я с Левитовым Александром Ивановичем, с Нефедовым Филиппом Диомидовичем в одной семинарии обучался... да-с!

— Ну и что же, отец Евмений?

— А то, сударыня, что если бы я шел путем правильного свершения духовной карьеры, то теперь, по раннему и бездетному моему вдовству, мог бы быть архиереем, но, имея благородные примеры, пренебрег... да!

— Все врешь, все врешь, поп, — появлялась вдруг сестра, точно печеное яблоко выкатывалось из-за перегородки, — как это ты, поп, сан на себе нося, стыда не имеешь и все на себя людям врешь? Не слушайте его, душенька Анна Васильевна: какой он мог быть архиерей, если кончил семинарию по второму разряду? Разве в архиереи второразрядных ставят?

— Это правда, — признавал, краснея патриархальною лысиною, сконфуженный отец Евмений, — это правду она

говорит, что я кончил семинарию по второму разряду. Но надо понимать, отчего я так кончил.

— Оттого, что отметки не вышли, поученее тебя нашлись.

— Да! — торжественно склонял главу о. Евмений. — До философии шел отлично, в академию метил, а в философии — тпру! Другие мысли в голове заиграли. Кому герменевтика, кому патристика, а я зубрю Милля с примечаниями Чернышевского... Угодно? И до сей поры диспутировать могу...

— Я-то, батюшка, — улыбалась Анна Васильевна, — к сожалению, в Миллях этих совершенная невежда.

— Да-с, так и ушел у меня год на Милля с Чернышевским. А в богословии аз многогрешный — подымайте, сударыня, выше! — ночей не спал, сочинял для матушки России проект республиканской конституции. Ни больше ни меньше! Да-с!

— Цел он у вас, батюшка?

— Ну как же, цел! Дурак я, что ли? Как дописал до последней строчки, так тут же и сжег в печке. В Сибирь-то идти охота ли?

— Хоть бы показали сперва кому-нибудь.

— А вдруг донесут?..

И вздыхал, поникая седою бородою:

— Так вот, через Милля и конституцию и вышло, что спихнули меня, раба Божия, из первого разряда в конец второго. Вот-те и академик! тю-тю! Свековал век сельским попом, да и за то спасибо скажи, что папенька покойник, со средствами быв, не пожалел дать секретарю консистории хорошую взятку. Не то предварительно отдубасил бы во диаконах годов десяток, а то и два.

Сам о. Евмений наезжал в Котково редко, отчасти опасаясь котковского священника о. Никифора — изрядного-таки кляузника и ревнивого прибыльщика, — не послал бы доноса, что вот, дескать, нестырьский настоятель запросто и как свой человек бывает у не венчанной четы.

— Да вы, батюшка, отпишитесь, что увещевать нас ездите, — трунил Ратомский.

О. Евмений вздыхал:

— То-то, что не в моем вы приходе.

В мастерскую он входил не иначе как по особому приглашению и всегда со стыдливыми оговорками:

— Не подобало бы, надлежаще говоря, пастырю душ человеческих и наипаче вдовцу блазниться сими обнажениями, но как провинциальная жизнь наша скудна впечатлениями культурного художества...

И, уже стоя перед «Ледяною царицею», хлопал по зеленому подряснику восторженными ладонями и вопиял:

— Эка вещь-то богатая! Виват! Виват!

Из «Ледяной царицы» у Ратомского выходила действительно богатая вещь, и Анна Васильевна не могла не сознавать все растущих и растущих достоинств картины, но втайне ее не любила. Сюжет, взятый из сказки Андерсена, казался ей мрачным и страшным*). И больше всего не нравилось Анне Васильевне, что погибающий мечтатель Кай — с такою трагическою обреченностью прильнувший к подножию ледяного трона проклятой очаровательницы, злой феи Полярного круга, — удивительно напоминал собою самого автора-художника. Только усы Каю пририсовать да прямую прическу средневекового пажа буйно разбить в мохнатую копну мягких полувьющихся волос, и будет вылитый Костя, как он был еще всего лет пять-шесть тому назад. Анна Васильевна знала, что сходство это не преднамеренное, что Ратомский писал Кая с юноши — племянника своего, Сережи Чаевского, красавца мальчика, только что перескочившего с гимназической скамьи на университетскую... и все-таки родственные черты на страшной картине действовали на нее угнетающе, заставляя сердце ее сжимать-

*) См. «Девятидесятники», т. II.

ся роковым, недобрым предчувствием. Самое Ледяную царицу она прямо ненавидела.

— Откуда ты взял такие отвратительные глаза? — вырвалось у нее, когда Ратомский впервые открыл перед нею картину.

Художник удивился:

— Как отвратительные? Ты находишь их некрасивыми, Нини?

— Да нет же!.. Очень красивы... Потому и отвратительны, что красивы. Это страшно. Это где-то за пределами природы.

Но сам художник был недоволен.

— Не то, не то! — ворчал он, с враждебностью всматриваясь в картину, точно не любил ее всею душою таланта своего, но злейше ненавидел. — Это холодная душа, а не душа холода.

— Такая злая, бессердечная...

— Но — женщина, Нини, все-таки женщина! Чертовски женские глаза. Шестьсот тысяч женщин на земле подобные глаза имеют. А мне надо... Не могу тебе выразить, слов у меня недостает, чтобы объяснить, сколько мне надо в них серого сумрака и холода. Помнишь ты «Гаммерфест» Кости Коровина? Как воздух дрожит в голубом ознобе северного сияния? И чем ярче голубая дрожь, тем глубже проникает в тебя холод, тем больше чувствуется, что там, дальше, за этим голубым огнем, высекаемым из льдин, — шестьсот градусов ниже нуля и немая смерть; что эта воздушная пляска озлобленного, лихорадящего электричества — конечное отрицание жизни, тепла, счастья, любви... ледяное самодовлеющее свечение царства мертвых!.. Вот этакую дрожащую ночь мне надо и в эти глаза. Только, понимаешь, не голубую, а серую, не цвет гибнущего воздуха, а цвет умершей и мертвящей воды... Ну вот ты глядишь, словно я ударил тебя камнем по темени. Я говорил тебе, что не сумею объяс-

нить! Шестьсот тысяч раз давал себе слово не рассказывать своих планов иначе как карандашом и кистью.

— Да я понимаю, Костя, я все понимаю.

— Ах, Нини! Как можешь ты понять, когда я сам до конца не понимаю? Разве я могу связать в совершенный самоотчет то, что вот движется в голове и нарастает, нарастает, будто опухоль, и немо чувствуется, точно ссадина в мозгу? Кисть в руке понимает. Помимо меня понимает. Я привык, чтобы так было, чтобы она была умнее меня и вела меня за собою. Ну и — если она вот не слушается? не хочет вот сделать что-то, чего не умеешь ей приказать, а она знает, и что надо, и как надо, да лукавит, капризничает, не хочет...

— Костя! Таких глаз, как ты мечтаешь, нет в царстве живых — и быть не может. Если бы были, то ими смотрела бы Медуза. Люди каменели бы от ужаса.

— Да ведь, по сюжету моему, это-то, собственно, и надо.

— Если всю публику обратишь в камень, некому будет купить картину, — пошутила Анна Васильевна.

— Да вот разве в этом соображении — дадим публике снисхождение: пустим ужас маркою ниже... Но и на этот смягченный критерий — не то, Нини! И не убеждай, не спорь: душа орет, что шестьсот тысяч раз не то!

— Самые холодные глаза, какие встречала я в жизни, конечно, глаза сестры моей Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой *).

Константин Владимирович сделал лицо испуганно-торжественное и, став в оперную позу, пропел:

С тех пор, как бросилась я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей...

---

*) См. «Девятидесятники», т. II.

Анна Васильевна невольно рассмеялась.

— Поняла? — спросил художник.

— Кажется.

— То-то! Русалочья царица на театральной льдине... Истуканов рядит ее в аметистовые цвета, и прав. Но разве аметист — холодный камень? Нет, милая, в нем скрытой теплоты, в притворном холоде лучащейся, шестьсот тысяч пудов... Что мне могут дать для «Ледяной царицы» глаза женщины, дважды рожавшей и лично вырастившей двух дочерей своих... виноват: «воспитанниц»! — как давай Бог всякой матери?.. Моя «Ледяная царица» не может любить, не может зачинать и рожать, не может воспитывать: она — бесполый, издевающийся бес…

На восьмой день в Котково, обманом, ряженная в сумрак и холод, на очень страшной и угрюмой, будто снеговой, туче приплыла весна и, вдруг сняв маску, схватилась с зимою врукопашную. Она выжала тучу свою, как губку, дождем, который два дня и две ночи то лил как из ведра, то моросил, точно его на небе бабы сеяли в решета, — и прямой, безветренный, и косой, раздуваемый теплым западным дыханием. Когда под смывающим дождем в Коткове почти не осталось снега и улица раскисла в темно-бурую грязь, окаймленную и продернутую светло-бурыми островками прошлогодней травы, зима напряглась и дунула с севера из последних сил. И вот — Ратомский и Анна Васильевна, ложась спать, слышали, как в окна, беснуясь, рвется снежная буря, и трубы выли и плакали вьюгою, точно в январе. Поутру они встали, готовые увидеть белое поле и сугробы под окнами. Но, едва Константин Владимирович отдернул занавеску, в окно ворвался золотой, обжигающий луч, залил спальню горячею жизнью и потащил его за собою, как на поводу, из горницы на крыльцо, в новый воздух и полный свет победившей за ночь весны...

Вчера была снежная буря. Сегодня желтые бабочки десятками кружились над бурыми, еще бестравными пригор-

ками, с испугом облетая стороною белые полянки неталого снега, дышащие холодом и смертью в этот сверкающий солнцем и жизнью первый весенний день.

Оглушительно трещали в саду скворцы, споря за скворечницу: налетало их невесть откуда больше, чем смогла она впустить. В роще дятел, обрадовавшись веселому дню, долбил сосну с таким азартом, что за полверсты его слышала Анна Васильевна сквозь открытое окно. Свистнул Константин Владимирович сенбернара своего Бурмистра, пошел с палкою в поле, к перелеску, — зайцы из-под ног скачут. И пресмешные: пегие какие-то от линянья, крапленные то серым по грязно-белому, то рыжим по бледно-серому меху.

Тяжеловесный Бурмистр измучился, безуспешно гоняясь за ними. А то ринется вниз по горе, к озеру, и стоит на берегу, неподвижный и красивый, как изваяние, нюхая весенний воздух. И на берегу один желтый пес, а у ног его опрокинулся другой — отражением в синей водяной ленте, окаймившей ледяное поле, мерно тающее над озерною глубью.

— Ау! теперь прощайте, снежок и лед, до ноября! — грустно сказал в Ратомском художник и весело человек.

Возвратясь в мастерскую, Константин Владимирович написал Сереже Чаевскому, чтобы приезжал, если свободен, позировать для Кая. Сережа приехал — нежный, стройный, в черных кудрях, с личиком, точенным из слоновой кости, с глубокими глазами, из которых глядела звездная южная ночь. Анна Васильевна смотрела на юношу с умилением и грустно вздыхала: он слишком напомнил ей ее самое, когда ей минуло восемнадцать лет и не знала она, резвым, красивым котенком выпрыгнув из института в жизнь, — ни что такое болезнь и горе, ни что такое мужская воля и женская доля. И думала: «Какое это счастье, что Сережа родился мальчиком. Красота не заставит его страдать».

А Сережа, едва приехал, уже полчаса спустя хотел ехать обратно и требовал, чтобы ему дали лошадей на станцию, потому что успел поссориться с Константином Владимировичем. То есть, выведенный из себя его насмешками, наговорил ему страшных дерзостей, под градом которых художник хохотал, как сумасшедший, катаясь по тахте, крытой персидским ковром... А потом Анна Васильевна лежала в указанные докторами часы на той же тахте, а Сережа сидел у ног ее на скамеечке и, сверкая снизу вверх алмазными глазами, жаловался тете Анне, как он любит и высоко уважает дядю Костю, как ему даже защищать его приходится пред товарищами, «потому что, тетя, между нами сказать, мы, молодые, считаем его уже немножко отсталым», а между тем дядя Костя решительно не хочет считаться с его взглядами, не смотрит на него серьезно, не понимает, что задевать любимое человеком — значит оскорблять самого человека...

— Помилуйте, тетя! он Бальмонта кривлякою назвал!.. Бальмонта!.. Ведь это же — с ума надо сойти...

И декламировал, мечтательно смыкая шелковые ресницы:

Тигры стонали в глубоких долинах,
Чампак, цветущий в столетие раз...

— Тетя Аня! хорошо?

— Я не знаю, что значит «чампак», Сережа.

— Ах, Боже мой! И я не знаю. Да разве надо знать? Хорошо...

Анна Васильевна очень боялась смерти, которая так грубо и бесстыдно протягивала жадные кости-грабли, лапы свои к ее преждевременно разрушенной отцветшей молодости, но в устах этого прекрасного ребенка и самая смерть расцветала розою, и Анна Васильевна почти любила, когда Сережа, нахмуренный и важный, декламировал с красиво вытянутой правой рукой:

Прощайся с веселой землею
И в недра Аида спускайся,
Где мрачная ждет Прозерпина
В объятья тебя, Адонис!..

А через минуту визжал и прыгал во дворе, дразня Бурмистра, который был влюблен в него без памяти, как только большие породистые собаки внезапно умеют влюбляться, и, переполненный чувствами, разрываясь от усердия собачьей привязанности, оглушительно лаял и бешено скакал с налитыми кровью глазами, сверкая страшными клыками и размахивая, точно бунчуком воинственным, великолепным бледно-рыжим хвостом.

Когда Сережа возвращался, разгоревшийся, залитый румянцем, со звездными глазами, сияя в улыбке влажными нитями жемчужных зубов, — Ратомский глядел на него, качал головою и говорил:

— Скажите пожалуйста! Да он и в самом деле мальчик. А я должен сознаться, Сережа: в Москве шестьсот тысяч раз сомневался, не переодетая ли ты девчонка. Сделай милость, надень хитон — напишу я с тебя Саломею, танцующую пред царем Иродом...

Эта шутка не нравилась Сереже, настолько не нравилась, что он даже не начинал из-за нее споры и ссоры, но молча отходил, приниженный и пришибленный, становился угрюм и одиноко забивался куда-нибудь в угол, зарываясь в книгу или альбом рисунков. Анна Васильевна спросила однажды:

— Тебя так оскорбляет мысль, что ты мог родиться женщиной?

Но Сережа поднял на нее глаза, полные невыплаканных, гордо удержанных, слез.

— Напротив, тетя, я был бы рад, если бы мог стать женщиной.

— Почему? — очень удивилась Анна Васильевна.

— Потому что мне кажется, что у женщин меньше гадких двойственных мыслей, они целомудреннее нас и чище от греха.

— Не желай, Сережа: женщина слишком много страдает.

— Да, но мужчинам слишком много бывает стыдно.

Анну Васильевну поразила серьезная, почти мрачная страстность, с какою мальчик сказал это.

— Ты-то, во всяком случае, еще слишком юн для такого горького опыта, — улыбнулась она.

Но Сережа повторил с расстроенным лицом:

— Когда стыдно, хуже всех других страданий... То есть — когда того, что в тебе самом делается, стыдно... Я несчастный человек, тетя. Я никакого чувства в жизни не умею ощущать так больно, как чувствовать стыд. Когда он в меня врывается, мне кажется, что во мне поселилась бешеная дикая кошка, которая мечется и терзает меня повсюду... Есть мысли, есть поступки, есть желания, тетя, которые сознавать за собою — значит ходить с мыслью о самоубийстве...

— Например? — насторожилась Анна Васильевна.

Но юноша, бледный и трепетный, потряс головою.

— Не могу, тетя... Если я стану признаваться, то струшу и солгу... Я уже знаю себя: сколько раз начинал — и каждый раз трусил и лгал... взводил на себя не то... другое... какую-нибудь мерзость, к которой я совсем не причастен... И те, кому я признавался, видели, что я лгу, говорю не то, что у меня на душе, и охлаждались ко мне, переставали меня любить... Я не хочу, чтобы и вы перестали меня любить, потому что вы вообразить не можете, как я вас уважаю...

Анна Васильевна, с ранней юности привычная, что влюблялись в нее чуть ли не все окружающие мужчины, от подростков до старцев, серьезно испугалась было, уж не постигла ли та же судьба и таинственного племянника. Но в дальнейшем своем поведении Сережа решительно не обнаруживал опасных к тому симптомов, а, напротив, со дня на день ухо-

дил все более и все яснее в резвое и наивное ребячество, исключавшее всякую мысль о возможности каких-либо взрослых страстей в этой полудетской груди. Достаточно было однажды видеть, как он в обнимку с рычащим Бурмистром и сам еще страшнее рычащий катался по полу — пыль столбом! — чтобы согласиться, что вожделения и муки тайной любви в таком беспокойно живом и веселом существе гнезда себе свить не могут. Тогда Анна Васильевна пересказала свой странный разговор Константину Владимировичу. Тот понял по-своему, промычал «гм», и приказал Лимпадисту последить за панычем, «не балуется ли глупостями». И саваофоподобный Дед Мороз стал ходить за Сережею по пятам, что ему было и не трудно, так как юноша очень его любил и звал то за тем, то за другим чуть не ежеминутно, провертел буравом гляделки в светелку, где поселен был Сережа, и буквально глаз с него не спускал, когда тот оставался один, и даже по ночам, сам бессонный, слушал сон юноши. Но неделю спустя доложил художнику, что подозрения напрасны, никаких глупостей за Сережею он не заметил. Разве что одно: сидит — пишет или книжку читает, и вдруг вскочит, бегает по светелке и руками машет, говорит с собою, и хмурится, и смеется, вроде помешанного...

— Так это и с вами бывает, когда вы в своем рабочем духе.

— Разве бывает?

— Еще как!.. Такие ли колена откалываете... Уж сторожу вас тогда от чужих глаз-то, потому что кто взглянет со стороны — животики надорвет. Чистый театр!

Ратомский сообщил Анне о произведенном следствии, которое изрядно-таки ее покоробило, и прибавил, что за Сережу ей опасаться нечего.

— Просто вкатил в себя шестьсот пудов декадентщины, ну и сам разохотился романтику разводить... Я в его годах тоже такого ли Байрона валял... Ты что смеешься, Нини?

— Да ведь и теперь не прошло, Костя.

— Могу?

— Можешь.

— Вот скандал! В шестисотый раз сегодня сравнивают меня с мальчишкой! Даже обидно! Если бы моя первая пассия вздумала подарить меня плодом любви несчастной, у меня мог бы быть сын такого возраста, как Сережа...

— Вот почему-то ты и заподозрил мальчика в гадостях каких-то ваших мужских, — сухо возразила Анна Васильевна, и при виде красных пятен, обжегших ее щеки, Ратомский спохватился, что заговорил в тоне, которого она особенно в нем не любит, и о том своем прошлом, с которым ее ревнивое сердце не в силах заключить мир...

— Ну, знаешь, Нини, это так естественно. Из шестисот мужчин пятистам девяносто девяти то же самое придет в голову первым...

Она горько улыбнулась.

— Как бы я желала, чтобы тот, кто меня любит, был именно тем шестисотым, которому это первым в голову не придет...

Он, как всегда, когда был виноват пред нею, стоял с опущенными руками, с опущенным на грудь лицом, с опущенными на лоб красивыми, мохнатыми волосами, более чем когда-либо похожий и на провинившегося мальчишку вообще, и на Сережу в особенности.

— Прости меня, Нини, — сердечно сказал он. — Проклятый мой язык... Но, право же, ты напрасно волнуешься... Ведь я же никогда не думаю того, что говорю.

Это откровенное признание невольно рассмешило ее, и мир был восстановлен.

— Главное, когда ты так говоришь, — пойми, Костя: я боюсь, — мне кажется, ты обо всем этом, что осталось в прошлом, жалеешь...

— Как тебе не стыдно, Нини! Когда я здесь вместе с тобою...

— Да, вместе со мною, — тяжко вздохнула она. — А долго ли тебе быть вместе со мною? Ах, Костя! Костя! Каждое утро, когда я смотрюсь в зеркало, я вижу в нем, кроме своего, еще чье-то лицо, безглазое, костяное, которое насмешливо кивает мне: помни, Анна, отсрочка — не уплата долга, срок возвращается, и дни твои бегут...

Он бледнел и зажимал уши.

— Нини! Этого я не слушаю! Это против всех наших уговоров. Ты знаешь, что об этом запрещено говорить... Шестьсот раз условлено.

— И еще боюсь я, Костя, — и еще боюсь, что, когда мы с тобою расстанемся, и будет у тебя веселый час, и набежит на язык твой резвая шутка, ты и обо мне скажешь какой-нибудь другой женщине, которая тогда будет с тобою, что-нибудь такое же, как вот теперь поминаешь эту «пассию» твоих пятнадцати лет... Ах, какие гнусные слова и тоны являются у вас, мужчин, когда вы о нас — разлюбленных любовницах — говорите!

Но он твердо возразил, целуя и гладя прекрасные, тонкие пальцы ее:

— Я даже и не спорю: так странно и ненужно все это приходит тебе в голову... Этого быть не может, Нини, — не может уже потому, что мы с тобою никогда не расстанемся...

— Ну хорошо, что никогда... — улыбнулась она.

Писем получали мало. Пришло одно, на имя Анны Васильевны Зарайской, от Владимира Павловича Реньяка*), написанное в тоне такой изысканной вежливости, что Анна Васильевна легко прочитала между его строками, насколько лучший друг и рыцарь ее недоволен ее внезапным и резким отъездом из Москвы. Извещал, что княгиня Латвина пригласила его на охоту в Новгородской губернии, а потом — побывать с нею на ее Тюрюкинском заводе и что отсюда он,

*) См. «Девятидесятники», т. I.

пользуясь близостью, позволит себе сделать короткий наезд на Котково, конечно, если не побеспокоит тем Анну Васильевну и Константина Владимировича... Письмо пришло, когда в гостях у молодой четы сидел о. Евмений.

— Это верно, — закивал он, — это верно! Был я третьего дня на Тюрюкинском заводе, напутствовал коллегу своего, отходящего отца Ермолая... древний старец: нынешнему отцу Петру тесть, годов двадцать, как числится за штатом... Точно, ждут там княгиню со свитою. Большой директорский дом для нее очищен, а Венявские во флигель перебрались. Сретение ей готовят, как бы царице некоторой. Прасковья с ног сбилась, а самого Венявского я даже и не удостоился лицезреть: бегает по городу при всех преклонных годах своих в хлопотах неисчислимых — старец, яко отрок. Завод иллюминацией обшили. Чего уж! Триумфальную арку воздвигают. Потому что пять лет хозяйка не бывала на заводе и вдруг внезапно собралась. Артемий Филиппович Козырев, главный управляющий, сам приезжал из Москвы, приказывал, чтобы все было в самом роскошном виде, как только позволяет здешняя возможность... Начальство, надо полагать, какое-нибудь навезет с собою...

На Анну Васильевну эти вести подействовали удручающим образом. Она не знала княгиню Латвину, но заочно не любила ее за ту роль, которую Костя Ратомский играл в ее «свите». Это была даже не ревность, потому что Анна Васильевна хорошо понимала, что, сколь ее драгоценный Костя ни известен и великолепен, но он не герой романа для Анастасии Романовны Латвиной, как опять-таки ни прочна связанная с ее именем репутация Мессалины. Волновало оскорбленное самолюбие, злое чувство жены вассала, неизвестно зачем закабалившего свою самостоятельность принцессе из высокого замка и ставшего ее служилою тенью, челядинцем в нарядном и развратном штате ее. Если Анастасия Романовна хвалилась Реньяку, что ей известно все,

что делается в московской квартире Анны Васильевны, то и Анна Васильевна через прислугу свою была превосходно осведомлена о том фамильярном положении, которое занимал Ратомский в доме княгини Латвиной. И не нравилась ей эта мнимо-дружеская фамильярность, казалась недостойною ни его таланта и известности, ни его старого дворянства, опасною для его добродушно-детского характера, который — там, где его не жалели и не щадили, — так вот сам и катился в эксплуатации и ложные положения. Уж давно решила она начать понемногу и полегоньку войну — тихую, издалека, женскую, заочную войну — за освобождение Кости от ига княгини Латвиной. В том бегстве из Москвы, которое она импровизировала так поэтически, имел немалое значение далекий, тайный, где-то на дне души инстинктивный расчет — отдалить Костю от латвинской компании. И вот оказывается — напрасно: они убежали из Москвы, так Москва сама плывет за ними.

Но, к большому восторгу Анны Васильевны, Константин Владимирович отнесся к новостям с Тюрюкинского завода тоже довольно угрюмо.

— Реньяку всегда рад, — сказал он, стоя между «Ледяною царицею» и Сережею Чаевским, лежавшим в костюме и в позе на натуре, и внимательно впиваясь сравнивающими глазами то в того Кая, который замерзал на картине, то в того, который обливался потом от усилия сохранить напряженное положение в толстом бархате колета в жарко натопленной мастерской. — Но, если к нам нагрянет «сама» со свитою, я завою волком... Я Анастасии Романовны визиты знаю. Мало того, что отнимет шестьсот часов рабочего времени, но еще будет приставать, чтобы я продал ей «Ледяную царицу» до выставки, на корню... Она у меня этак уже две картины цапнула за бесценок: «Снегурочку» и «Лед идет»... А попробуй не продай — шестьсот тысяч способов найдет, чтобы насолить так густо, что еще сам с кар-

тиною придешь и кланяться будешь: только возьми и смени гнев на милость!

Получала Анна Васильевна письма и более приятные. Старшая сестра, Анимаида Васильевна Чернь-Озерова, извещала, что была на московской квартире и там все благополучно, что она на днях уезжает в Крым, а «воспитанницы» ее — курсистка Дина и гимназистка Зина, — как скоро освободятся от экзаменов, навестят «тетю Аню» в котковском ее убежище. А покуда, как только она отбудет в Крым, в тот же день едет к Ане общая их старая подруга, Алевтина Андреевна Бараносова, самый милый, кроткий и хороший человек, какого можно найти в нашем скверном, полном предательства и флюса мире...

Сердце Анны Васильевны радостно забилось. И не только потому, что она любила Бараносову и тоже считала ее самым милым, кротким и хорошим человеком, какого можно найти в скверном мире. Но еще гораздо больше потому, что в непродолжительном времени Константину Владимировичу предстояла обязательная и неизбежная поездка в Нижний Новгород, где ученики его расписывали заказанный ему Всероссийскою выставкою павильон и, уже кончая подготовительные работы, нетерпеливо поджидали и торопили телеграммами самого маэстро. Сопровождать своего Костю в Нижний Анна Васильевна по состоянию здоровья не могла, а между тем поездка эта была ей — острый нож в сердце. Нижний Новгород представлялся ей, как весьма многим москвичкам, которые никогда в этом богоспасаемом городе не бывали, не слишком много о нем читали и слыхали, каким-то фантастическим адом, где нет ни домов, ни церквей, ни улиц — ничего, к чему привык человеческий глаз в благоустроенном городе. Так, стоят бараки, вроде тех, которые в Москве строят к вербам, и под бараками навалены грудами драгоценные товары, а вокруг бараков настроены трактиры, трактиры, а в трактирах сидят и тянут водку

и шампанское пьяные-распьяные купцы и женщины зазорного поведения. Отпустить Костю, с его вивёрскими наклонностями, одного в подобное свято место она почитала — все равно что пустить с камнем на шее в воду. Приставить к Косте в качестве ментора какого-либо серьезного мужчину было оскорбительно, да и не верила она в мужчин: все одним миром мазаны. Уж на что приличен и порядочен Реньяк, а разве из его компании не являлся иногда Костя, налитый шампанским выше глаз, в визитке, от которой пахло и наскоро счищенной пудрой и грубыми духами? Поэтому она очень обрадовалась, когда Константин Владимирович как-то раз проговорился, что однажды приглашал кузину Алевтину посмотреть Нижний и свои работы, и, кажется, она намерена воспользоваться его приглашением. Алевтина Андреевна принадлежала к числу тех редких женщин, при которых, хотя они и красивы, и изящны, и неглупы, и образованны, и одеваются хорошо, женская ревность — даже самая больная — почему-то безмолвствует. Анна Васильевна из-за платных натурщиц страдала в молчаливо бессонных ночах. Анна Васильевна московскую свою горничную Лушу втайне ненавидела, как злейшего врага, с тех пор, как Константин Владимирович однажды небрежно похвалил «Рубенсову фигуру», и если не давала Луше расчета, то только из гордости, — стыдясь даже самой себе признаться, до какой унизительно мелкой злобы довела ее ревность. Анна Васильевна билась головой об стену и рвала на себе лучшую красу свою, шелковые свои кудри-волосы, когда ей донесли, что Константин Владимирович провожал с латвинского журфикса домой грубую, на мулатку похожую, оперную певицу Антонину Васильевну Врангель*).

И та же самая Анна Васильевна широко открыла бы свои прекрасно-беспокойные, мраком недоверия отравленные черные глаза, если бы кто-нибудь из вездесущих сплетников,

*) См. «Девятидесятники», т. II, гл. XXI, XXII.

добровольных охранителей семейного счастья, вздумал предупреждать ее против дружбы ее увлекающегося, безалаберного Кости с этою красивою, величавою, чуть склонившеюся к увяданию, Алевтиною. И такая твердая вера явилась в ней после единственного недавнего свидания с этою женщиною — собственно говоря, первого свидания, потому что перед тем подруги не видались семнадцать лет и, расставшись расцветающими девушками, встретились теперь отцветающими полувдовами. Анна похоронила своего сурового, грозного мужа и с Ратомским жила не венчанная. Алевтина ушла от своего неверного венчанного мужа и ни с кем не жила. Подружество их, установленное раннею юностью, протекло заочно, да — до сих пор — Алевтина и ближе была со старшею сестрою, Анимаидою Чернь-Озеровой, чем младшею, Анной Зарайскою...

«Это будет превосходно! — думала восхищенная Анна Васильевна. — Алевтина — премилая, и Косте с нею не будет скучно. А вместе с тем он настолько ее любит и уважает, что никогда не позволит себе уронить себя в ее глазах, значит, останется в стороне от всех своих пошлых и глупых компаний, не будет пить слишком много вина и знаться с разными ужасными женщинами...»

Алевтина Андреевна приехала — в самом деле, «коричневая», как звала ее Дина, старшая из «воспитанниц», то есть внебрачных дочерей Анимаиды Чернь-Озеровой, так забрызгала ее распутица, торжествовавшая первую весну на аракчеевском большаке. У этой большой и представительной, почти величественной «дамы» с беспредельною ласковостью искреннего взгляда и чуть грустною улыбкою мягкого рта была даже непроизвольная какая-то способность вносить с собою атмосферу мира и спокойствия. Но нет правил без исключения, и на этот раз Алевтина Андреевна совершенно неожиданно привезла в Котково маленькую и странную бурю. Кто был ее виновником или виновницею, осталось тайною, а героем явился Сережа...

— Ах да! — обратилась к нему Алевтина Андреевна, после того как, разложив свои дорожные вещи, вручила Анне Васильевне и Константину Владимировичу все, что привезла им из Москвы и от себя в подарок, и по поручению Анимаиды, и по их собственным просьбам — «с оказией». — Ах да, Сережа! Совсем было забыла: у меня есть что-то и для тебя...

И, роясь в сумочке, она с лукавым взглядом смеющихся, темных, немного слишком округлых глаз своих продолжала:

— А не скажете ли вы нам, преступный молодой человек: какая это такая завелась здесь у вас Клавдия?

Сережа, только что весело болтавший с нею и любовно вешавшийся ей на плечи, отшатнулся, красный, как будто кровь пламенем ударила сквозь поры, и — также мгновенно стал трупно бледен, словно в глаза ему глянула смерть.

— Никакой Клавдии, — с грубым усилием хрипло постаревшим мужским голосом выговорил он. — Я не знаю... Откуда... Что вы можете знать о... Клавдии?

— Как никакой нет Клавдии?! — воскликнула Алевтина Андреевна, с удивлением видя страшное волнение Сережи. — Как нет, когда я привезла тебе для нее письмо? Получи, пожалуйста...

Она подала Сереже маленький серый конверт, аккуратно надписанный красивым писарским почерком: «Его Высокоблагородию господину Сергею Львовичу Чаевскому», а внизу чернела особо крупная, толсто подчеркнутая приписка: «Для Клавдии». Бледность Сережи, когда он дрожащею рукою принимал это письмо, перешла в синеву... А Алевтина Андреевна объяснила, что в его отсутствие трижды заходил к тетушкам Чаевским его знакомый, Сенечка, «совсем, кстати сказать, несимпатичный господин, тетушки ахают и возмущаются: что может быть общего у тебя с таким вульгарным и неинтеллигентным субъектом?».

— Этому Сенечке, конечно, объяснили, что ты все еще в Коткове, чем он остался очень недоволен, так как, по его словам, ему необходимо тебя видеть. Тогда я сказала, что на днях еду в Котково и он, если хочет, может передать тебе через меня все, что ему угодно... Он ушел, дня через два возвратился с этим письмом.

— В самом деле, какой, к черту, Клавдии можешь ты передать здесь его письмо?! — воскликнул Константин Владимирович. — Шестьсот лет живу в Коткове и не слыхал ни одной Клавдии...

Медленно оправляясь, Сережа отвел от людей лгущие глаза и отвечал тем же старым, не находящим опоры голосом:

— Это... его невеста... Не здесь... В Теплой слободе... Он сам... родом оттуда... из Теплой слободы...

— Клавдия в Теплой слободе! — недоверчиво покачал головою Ратомский. — Удивительно! Обыкновенно в сих богоспасаемых местах водятся больше Степаниды и Маремьяны. Что же она делает там, в Теплой слободе, эта таинственная Клавдия?

— У... у... учительница... кажется... — лгал Сережа, то возвращая краску на лицо, то вновь белея скатертью. — Не знаю... Я ее никогда не видал...

— Как фамилия?

— Не помню, забыл...

— Как же ты передаешь письмо, если фамилии не знаешь, чем занимается, не знаешь...

— Да, — собрался с духом Сережа, — это Сенечка ужасно глупо распорядился... Впрочем, я все равно не поехал бы передавать его письмо: мы думали, когда говорили там, в Москве, что Котково к Теплой слободе гораздо ближе...

— Да ты же говоришь, что твой приятель — родом из Теплой слободы! Как же он не знает здешних расстояний.

— Мог забыть... — потупился Сережа.

Ратомский отвернулся и, руки в карманы, насмешливо засвистал, качаясь на каблуках.

— Он забыл, ты забыл... все забыли? Ну и мы забудем... Господин! Вы в течение пяти минут изволили шестьсот раз сесть в лужу...

— Я знаю, — тихо возразил Сережа и, понурый, вышел...

Анна Васильевна и Константин Владимирович переглянулись.

— Вот он — секрет-то его! — сказал художник. — В политику изволил вляпаться...

— Вы думаете, Костя?! — с испугом воскликнула Алевтина Андреевна.

Анна Васильевна молчала: она не верила.

— Чему же быть еще? Разумеется, никакой Клавдии не было и нет... Условный адрес... Наверное, у этой Клавдии и борода, и штаны, и сапоги по колено, в кармане фальшивый паспорт и револьвер, а в подкладке пиджака шестьсот пудов нелегальной литературы. Эх, рано! Пропадет мальчишка...

Лимпадист получил новое поручение — следить, с кем на селе паныч будет видаться, водиться и говорить... Но исполнять эту миссию ему пришлось недолго. Назавтра утром он пришел к Константину Владимировичу доложить, что Сережа не спал всю ночь, все писал у стола и рвал бумагу — напишет и разорвет, напишет и разорвет. А сам то плачет, то глазами страшно ворочает, зубами скрежещет и слова произносит.

— Какие же слова?

— Подло, говорит... безжалостно, говорит… злоупотребляют, говорит... Позор, говорит, позор... Все вот такое... будто кто обидел его очень.

А Сережа явился к чаю, бледный, с опухшими глазами, но спокойный, и весьма решительно попросил, чтобы его

отправили на станцию, он должен сегодня вечером быть в Москве.

— Помилуй, Сергей. Ты же хотел прожить у нас целый месяц.

— Невозможно, дядя Костя: послезавтра я держу экзамен богословия.

— Ты же решил отложить экзамены до осени.

— Передумал. Буду держать.

— Сегодня за ночь передумал?

— Да, сегодня за ночь.

— Так... Ну а что же ты прикажешь мне делать с картиною, Кай ты мой любезнейший, черт тебя задери?

Судороги заиграли в лице Сережи. Он употребил всю силу воли, чтобы не заплакать, когда солгал:

— Я очень виноват пред тобою, что задерживаю... Но после экзаменов я, даю тебе слово, опять приеду... хоть на все лето...

Но Ратомский слышал, что он лжет, и качал головой.

— А сейчас остаться уж никак нельзя?

— Никак нельзя, — синими губами прошелестел Сережа.

— Ну, Бог с тобой, коли так! — вздохнул омраченный художник. — Однако лучше бы остался. Смотри, Сережка: кто в эти игрушки начал играть...

Он сам испугался безумного ужаса, отразившегося на юном Сережином лице.

— Я тебя не понимаю... Какие игрушки?

Константин Владимирович откровенно объяснил, что считает его запутанным в какое-нибудь политическое сообщничество. Сережа ничего не отвечал, но лгущее лицо его несколько просветлело, словно Константин Владимирович отворил пред ним дверь, про которую он, безвыходно заметавшись в темной комнате, в паническом ужасе позабыл...

Так и уехал Сережа.

Перед отъездом Анна Васильевна любовно, как мать, прижала его к исхудалой груди своей и спросила на ухо:

— Это «Клавдия» тебя от нас гонит?

Он молча припал к ее плечу.

— И это она — тот твой стыд, о котором ты тосковал намедни?

Он — так же утвердительно молча — лежал лицом на плече ее.

— Скажи... не молчи... Может быть, мы в силах помочь...

Но он оторвался от плеча ее — опять с трупным лицом.

— Нет, тетя Аня... не спрашивайте... никакой пользы... одно мученье... Солгу...

Так и уехал Сережа.

А когда Сережа уехал, Ратомский поднялся в его светелку и вернулся с пригоршнею серых, в мельчайшие кусочки изорванных лоскутков.

— Вот-с! — с торжеством положил он их пред дамами.

— Что это?

— То, что письмо, полученное к передаче какой-то там Клавдии, Сережа ваш великолепно прочитал и уничтожил... ишь, накрошил! на шестьсот кусков... Я вам говорил: условный пароль! А вы спорите, что не политика.

Алевтина ахала и наливала красивые глаза крупными слезами.

Анна Васильевна молчала и не верила.

VII

Хорошо овладела землею запоздалая весна, и светло улыбался солнцем с бирюзового неба веселый месяц май, каждым нежным лучом шепча оживающим полям и лесу:

— То-то! Вон он я! Лучше поздно, чем никогда.

Уже третью неделю колесил Николай Николаевич по Дуботолковскому и Вислоуховскому уездам, народа пере-

видал видимо-невидимо, молвы и речей людских переслушал — что на трех возах не увезти, исписал заметками три записные книжки и наконец убедился, что весь материал, который здесь можно сверху и наспех взять, он для доклада своего добыл, а вглубь брать — лучше и не приступаться: только копни, так и развернется: работы не на три недели, а на десять лет, нужны тут не доклады, а томы, десятки томов всестороннего изучения. Либо уж по-старинному — совсем без докладов и томов, положась на всесильный «авось», русского Бога и Миколу Чудотворца.

В Дуботолкове, у ссыльного литератора Кроликова, Николай Николаевич повстречался с тою местною знаменитостью — Агафьей Михайловной Ратомской, которую ему на всем пространстве двух уездов, еще начиная с полустанков, рекомендовали как главную здешнюю земельную силу и «нашу собственную губернаторшу». Дама эта, уже немолодая, но еще весьма видная и ярко отмеченная на смуглом скуластом лице печатью той деятельной энергии, что и до восьмого десятка лет разжигает огнем своим человека, как доменную печь — сама не стареет и ему не дает стариться, — возлюбила Николая Николаевича с первого же знакомства и потребовала неотступно, чтобы он хоть денек-другой погостил в ее Тамерниках.

— Ведь вам же все равно отдохнуть надо и в бумагах ваших разобраться, — говорила она носовым контральто своим, поблескивая хитрыми внимательными тюркскими глазами, — поверьте, у меня будет вам спокойнее, чем в городе. А тем часом и Евлалия наша подъедет... В Москве она сейчас... знаете? — многозначительно бросила она слово и взгляд в сторону маленького, мохнатенького, рыженького, с огромным лбом и глазами Достоевского, тихого Кроликова.

Тот, стоя, склонился над заваленным бумагами и книгами ломберным столом, который заменял ему письменный, и, опираясь на него тоненькими ручками, прилежно глядя вме-

сто Агафьи Михайловны на чернильницу, произнес слабо прозвеневшим тенором недовольный отзыв:

— К сожалению, знаю...

Но Агафья Михайловна лукаво засмеялась и сказала дружелюбно:

— А вы не дуйтесь... Ведь выскочила...

— Выскакивать-то не надо было.

— А-а-а... это вот другое дело, тут я вас поддерживаю, — протянула Агафья Михайловна, быстро сверкая в согласных кивках крупными кораллами длинных серег своих, умышленно старомодных и как бы цыганских: сказывалось в них, что дама хорошо знает, что ей к лицу и по возрасту, и вкусом не обделена — умеет украсить себя так, что никто не попрекнет, будто молодится, а выйдет молодо и хорошо. — В этом я совершенно на вашей стороне... Уж так-то ли отговаривала... Но ведь вы знаете Евлалию Александровну: собери всех козлов в мире — меньше упрямы, чем она одна... А тут еще Волчкова барышня прыгает*): мы должны соединить, мы должны заявить... Улица, улица! пора выйти на улицу!.. Вот те и должны... Сама села, а за Евлалию у меня душа истряслась, покуда не пришла из Москвы телеграмма, что выскочила...

— Она-то выскочила, — сухо возразил Кроликов, — но много таких, что не выскочили... Слишком много таких.

— А уж это — как кому счастье, — равнодушно отвечала Агафья Михайловна, оправляя перед тусклым, кривящим лица зеркалом жидковолосую и жестковолосую тускло-черную свою прическу. — За чем пойдешь, то и найдешь. Кабы всякая рыба из невода уходила, то и ухи не было бы. Надо же кому-нибудь и в котле вариться. Я в этаких случаях, сударь мой, как бишь это у вас, ученых, называется — еще тоже экипаж такой есть? — «эгоистка»: о том, главное, дрожу, чтобы свои, к сердцу близкие, целы были... На весь мир

*) См. «Девятидесятники», т. II.

жалеть — душой не раскинешься. У солдата сосед — до боя, а дальше — как и кого Бог пожалеет... Да вы Николая Николаевича-то в загадках не держите, — насмешливо улыбнулась она, — а то, вишь, как он на меня глазищами своими белыми лупает: лёгко ли дело! у фармазона повстречались, по-фармазонски говорим — как после того ему и меня самое за фармазонку не принять...

Кроликов поморщился от ее фамильярности и нехотя буркнул Николаю Николаевичу:

— О первомайской демонстрации говорим... знаешь, на мануфактуре Антипова... глупейшее дело...

Николай Николаевич кивнул буйными патлами своими, довольный не столько тем, что Кроликов сказал, в чем дело, сколько разъяснением — изрядно удивившим его после всего того, что он слышал об Агафье Михайловне в уезде, — разъяснением, что Агафья Михайловна оказывается, до известной степени, не чуждою «движению» — и даже настолько, что такой опытный и осторожный человек, как Кроликов, решается говорить с нею языком нескрываемым и настоящим, не прячась за условные темы, слова и обиняки...

— Да-а, — говорила Агафья Михайловна, надевая шляпу и уже в демисезонной накидке, — да-а... молодчина Лалечка... и речь произнесла, и платочком красным помахала... Я, грешница, признаться, большой утехи в том не вижу, — ну да что ж? Кому что нравится... Кипенье свое избыла, душу отвела, а — что всего дороже, себя не истратила... Уж если бы она архангелам в лапы попала, да — я бы ее! да я бы! ух! И не знаю, что сделала бы...

— Чернь-Озеровой... воспитанницу старшую, Дину, тоже взяли на демонстрации этой... знаете? — пробормотал Кроликов, все нервнее и нервнее роясь по столу.

— Как не знать, — протяжно отозвалась Агафья Михайловна, вооружаясь модным зонтиком, — соседи, чай, с Котковом-то... Там теперь переполох...

— Жалко девочку...

— Пустое! — возразила с прежним равнодушием Агафья Михайловна. — Выручат... У Истуканова по городу-то друзей, друзей, связей, связей... Мать-то... ну, то есть, понимаете, Анна Васильевна, даром что больная и Костю своего к стенкам даже ревнует, помчалась в Москву вместе с Алевтиною своею... Вы что так взглянули, Николай Николаевич?

— Алевтина — редкое имя, значит, — сказал он, — я всю свою жизнь только одну Алевтину знавал... на Москве, в былые годы.

— Да, поди, она и есть: Бараносова Алевтина Андреевна, Чаевская урожденная...

— Она и есть! — воскликнул Николай Николаевич, хлопая ладонями по коленям. — Это, значит, ее встретил я с Анною Васильевною этою, когда со станции сюда ехал...

— Она, она... все вдвоем катались, так вот и охромили, видно, своих лошадей-то, ко мне присылали, чтобы гнедую тройку дала им — на станцию выехать. А вы что так засуетились? Уж не зазнобушка ли старинная? — прибавила Агафья Михайловна с лукавым своим татарским взглядом. — Ничего, вкус у вас недурен, вальяжная пава...

Николай Николаевич покраснел, как юная девица, и конфузливо отмахнулся рукою:

— Где нам, старикам!

Но хитро ухмыльнулся — то есть он думал, что хитро, — и прибавил:

— Человечка тут я одного встретил... Много про нее рассказывал...

Агафья Михайловна мало знала Алевтину Андреевну, и та не была ей любопытна. Она обратилась к Ивану Алексеевичу и напористо убеждала:

— А насчет Дины, — вы это бросьте беспокоиться, плюньте... Этакую рыбку золотую небось со дна омута вытащат: не наша сестра, мужичка. Даром, что, как у нас говорится, не

правого ложа, но зато родни у Анимаиды Васильевны — и князей, и графов, и баронов всяких, — хоть до самой Камчатки расставляй вместо верстовых столбов... Так, до свидания, Николай Николаевич. Жду вас, значит, и готовлю вам апартамент... А вы, Иван Алексееич, ежели его мне не привезете, лучше и на глаза мне не показывайтесь: обижусь, вот вам крест, обижусь... Да и сущую правду сказать, что вам, Николай Николаевич, за радость здесь ютиться у поднадзорного этого несчастного? Убейбожедушев, исправник наш, прекраснейший человек, и я у него одного сына собственною грудью выкормила, а двоих потом крестила, но ведь — служба же холопская, из губернии инструкции получает, здесь тоже свой жандармишка сидит, доносы пишет... Ему-то — я знаю — все равно: сидеть бы в клубе да в винт с гвоздем играть... А из губернии инструкции, а из Питера в губернию нахлобучка, ну и пошли по Дуботолкову шляться переодетые городовые — по окнам заглядывать... Э-э-э!.. — вдруг воззрилась она в окно, бросилась и его настежь отворила. — Это что такое? это что?.. Легка птица на помине!..

Восклицания ее вызваны были вывернувшимся на улицу из-за угла серого с гвоздями забора насупротив дюжим парнем средних лет, в хорошей городской чуйке и с совершенно иконописным ликом: только бы постарел на десяток да борода сединою пошла, а то — хоть в киот его вставляй да свечку вставь пред ним: таков угодник!.. Завидя в окне Агафью Михайловну, он сделал было первое движение, чтобы расточиться и исчезнуть, но повелительный жест ее сказал ему: врешь! не уйдешь! Субъект сконфузился, снял шапку и, рассчитывая, что уже тем заслужил некоторую амнистию, оглядывался через плечо с намерением юркнуть обратно за угол. Но Агафья Михайловна окрикнула его властно и теперь уж особенно в нос, контральтовым звуком:

— Нечего, нечего лататы искать... Иди сюда, Кузнецов.

Иконописный парень подошел, плетя нога за ногу, с таким видом, будто его на лобное место вели рубить буйну голову. Еще из-за десяти шагов он уже снял картуз и оттого сразу постарел и стал совсем иконописным, так как оказался весьма лысым и черта в черту похожим на пророка Елисея.

Агафья Михайловна смотрела на него в упор, точно железною проволокою его к окну подтягивала, и говорила медленно и холодно властными словами, звучавшими тихо и внятно, как келейные оплеухи:

— Ты что же это, переодетая шельма? Сказано тебе, чтобы ты не совал своей гнусной рожи к окнам Ивана Алексеевича? Сказано или нет? А? Сказано или нет!

— Виноват, Агафья Михайловна,— глухо забормотал он, вертя картуз в толстых солдатских пальцах-обрубках, украшенных серебряными кольцами, — никак не предполагал, что изволите быть в городе...

— Скажите пожалуйста! Он не предполагал... Подумаешь, столица какая! Человек — словно иголка в сене, — видите ли, теряется в ихнем паршивом Дуботолкове... Что же, ты лошади моей не знаешь? шарабана не узнал? Ах ты... благодари своего Бога, что при кавалерах с тобою разговариваю... я б тебе изъяснила, как я тебя понимаю... Эй, Кузнецов, берегись!

В глазах иконописного субъекта выразился при зловещей угрозе этой искренний испуг, пересиливший досаду унижения. Он сделал плаксивую рожу и закланялся, оправдываясь:

— Помилуйте, Агафья Михайловна, разве же моя вина? Кабы я своею волею, а то наряд... приказывают... обязаны отчет давать, потому что надзор...

— Это мне все равно, что там тебе приказывают, — сурово оборвала она. — Но я раз навсегда заказала: ежели я в городе, чтобы вами, швалью, поблизости не пахло... Что за безобразие? Какие времена стали? Нельзя к хорошему че-

ловеку в гости заехать. Сейчас полицейский нос торчит... Берегись, Кузнецов!

Чем скверным угрожала она, было неизвестно, но надо думать, что угроза была действительна, потому что Кузнецова от нее так и коробило.

— Господин исправник... — начал было он, но Ратомская резко перебила:

— Нечего на исправника напраслину валить. Я с ним говорила, и от него распоряжение дадено. Сами усердствуете, подлецы. Ты да вот еще тот... участковый помощник... как его, кривоносого?.. Смотри, Кузнецов! Чтобы в последний раз. Вдругорядь не укланяешь: худо будет. И кривоносому скажи: хочет служить, пусть сидит смирно, — не то я так крутну... Ну... марш!

Она захлопнула окно и стала прощаться.

— Однако вы с властью предержащею не церемонитесь, — заметил слегка смущенный этою сценою Кроликов.

— Даже мне, значит, вчуже жаль стало фараона этого, — подтвердил Николай Николаевич.

— Поцеремонься с крысою, она те голову отъест...

— Как только он вытерпел! Ужасный вы человек, Агафья Михайловна? Нельзя так... право, нельзя...

— Это с переодетым городовым-то нельзя? Эх вы! А еще революционер...

— Ну, революционер-то я, положим, как генералы бывают: с другой стороны — тихонький... А речено есть: блажен, иже и скоты милует... Надо щадить человеческое достоинство в ком бы то ни было, этак невтерпеж...

— Не горюйте: стерпит, — возразила Агафья Михайловна. И пояснила:

— Любовница его, Анисья Дерюгина, нашей округи бабочка... Огороды у меня пятый год снимает...

Кроликов молча сделал лицо понимающее и насмешливое, а она продолжала с невозмутимостью точного правового сознания:

— Плохо платит, да я ее не тесню... Что ж? Когда-нибудь отдаст, были бы правильны мои на нее документы...

Кроликов и Николай Николаевич проводили ее на крыльцо, к шарабанчику, заваленному городскими закупками и запряженному здоровенным чалым мерином-битюгом, которым она сама, в одиночку, правила...

Шарабанчик завертел колесами, покатился — Кроликов с Лукавиным смотрели вслед с крыльца и еще успели видеть, как вдали, обогнав поспешно шагающего, согнувшегося Кузнецова, Агафья Михайловна с выразительным вниманием погрозила ему нахлесткой на вожже.

— Хороша? — с усмешкою спросил Кроликов, возвращаясь с Лукавиным в бедный кабинетик свой.

Тот попыхал толстою папиросою и промычал:

— Странный, значит, тип... Сочувственница?

Кроликов недовольно пожал плечами.

— А кто ее знает... Евлалия Александровна неизвестно за что очень ее уважает и на какие-то великие революционные будущности от нее рассчитывает... Я же, откровенно сказать, ее недолюбливаю: не знаю даже, зачем она и ездит-то ко мне... Вероятно, Евлалия Александровна изволили, отъезжая, поручить мою скромную и болезненную особу ее благим попечениям. Ну, а Агафью Михайловну сахаром не корми, медом не пои, только дай повод и случай угодить Евлалии Александровне...

— Не доверяешь? — кивнул Николай Николаевич.

— Кому? этой?.. Представь себе: верю, как самому себе... больше, чем самому себе... Не то что не доверяю... нет, боюсь я ее... боюсь... В самом себе боюсь...

— То есть... значит...

— А вот что значит, — подхватил Кроликов, придерживая тонкими ручками своими виски, в левом из которых начинала разыгрываться хроническая его мигрень, — а то значит: слыхал ты — кажется, у Толстого случай рассказан, —

как стоял господин у бильярда... ну, думал, что игру понимает, игре помогает... и вдруг один из игроков взял его да переставил... да... просто вот так — поднял и переставил, как лишнюю, мешающую ему, по пути попавшуюся вещь... И вот — всякий раз, что вижу я эту Агафью Михайловну, не могу я, Николай, отделаться от этого предчувствия, что она меня переставит... так вот — надо ей пройти, а я, а мы на пути, — и переставит... Как вещь... Возьмет сверху... именно, ты это заметь, заметь необходимую черту... возьмет сверху — и переставит... В сторону... И нисколько, нисколько мы ей не нужны... Что надо ей, сама знает и совершит... сама... без нас... Свершит и себя оправдает... А нас переставит... Так... так вот возьмет... возьмет за плечи и переставит...

— Ты что же, значит, раздражаешься-то?

Кроликов промолчал, потом грустно промолвил:

— Я, друг милый, теперь здесь вот так-то раз десять на день раздражаюсь... Болезнь, что ли?..

Он устало улыбнулся и прибавил:

— Хорошо еще, что хоть поздно пришло это ко мне... раздражение-то вот этакое... Волнуюсь, но все-таки как будто не прямо по своему делу... вчуже... А ты представь меня с нервами подобными лет десять тому назад, когда я жил там, в колонии на Кавказе, и дрессировал себя на непротивлении злу...

— Не для тебя было, — серьезно сказал Николай Николаевич.

— Не для меня, — согласился Кроликов. — Только знаешь, брат? Непротивление-то — не для меня, конечно, но и противление... увы! чем больше живу и к самому себе приглядываюсь, оно, брат, сдается мне, — тоже не для меня...

— Закис ты здесь... в глуши, значит.

— Этого я не скажу. Представь: не скажу. Любимый труд мой при мне. Помехи не вижу. Библиотека — вон она. Книги имею, людей вижу, хорошие люди есть. Очень хорошие люди. Молодежь прекрасная — чутью конца-краю нет, идет на нюх,

на голос, пробуждается, глаза открывает, света просит. Дикая, свежая. Каждое хорошее слово в нее, как зерно в степной чернозем, падает. Что посеял, чувствуешь, сторицею растет. Была бы охота учить — учеников будет сколько угодно. Полиция — как ты сейчас видел пример — еще достаточно патриархальна, чтобы уж не очень отравлять жизнь: не обучена еще на столичную злобность и резвость. Не приведена в сознание, что она есть первый номер в сей жизни нашей... Жандарм извиняется пред знакомыми за мундир свой, исправник Убейбожедушев говорит о проклятой службе, которую он, старый кавалерист, сейчас же послал бы к черту, кабы не восемь человек детей... Да и притом, когда чувствуешь за собою властную руку Агафьи Михайловны...

В голосе его опять зазвучали сердито иронические ноты. Он спохватился, что опять раздражается, перемог себя с судорогою в лице и продолжал:

— Товарища нет... да... правда... товарища нет... возрастного... современника... рядом шедшего... который со взгляда понимает, на полуслово отвечает... Да, это правда... такого товарища нет!.. Но вот — поедем в Тамерники, познакомишься с Евлалией Александровной: ее одной довольно, чтобы рядом жизнь не прокисла... И кипит, и горит... редко я видал, чтобы человеку так хотелось жизнь свою людям взаймы отдать... Заметь: не даром, а именно взаймы. Погибнуть согласна когда угодно, но отчета спросит: за что? Не простое пушечное мясо. Сознает себя капиталом и требует от жизни за себя процент. Может быть, это-то, в конце концов, и роднит ее с Агафьей Михайловной, бывшею ее горничной, которая когда-то ей башмаки завязывала. Я — капитал, бери меня и пускай в труд, но объясни, какой ты рассчитываешь извлечь из меня процент? Ну и раз объяснено, — конец. Она — уже вся там, всем своим существом, без самопощады, без памяти. Где огонь, туда и летит, как чайка, — грудью на фонарь маяка... Удивляюсь, как еще ей удалось ускользнуть из демонстрации этой...

— Ты ею недоволен?

— Евлалией Александровной?

— Нет, демонстрацией?

— Очень. Нелепое дело. Зеленое. Ненужное, неслаженное, неподготовленное, незрелое... Вывели ребятишек и темную массу прямо под казацкие нагайки... Сознательных было очень мало — любопытствующая толпа... Да и вообще рано это еще: публичное выступление хорошо, когда оно — смотр силы, а не бессилия, когда оно бьет, а не его бьют.

— Ты говоришь: Евлалия Александровна — умница. Ежели она умна, то зачем же, значит, ее угораздило...

Кроликов перебил с досадою, даже слегка краснея бледно-желтым лицом:

— Она тут ни при чем. Москва скомандовала. Слышал от Агафьи: Волчкова там есть, девица одна... фанатичка скороспелая. Знаешь, из породы тех энтузиастов, о которых старинные европейские революционеры говорили, что они незаменимы в первый день революции и должны были расстреляны на второй... Она орудовала. Ну, и Фидеин...*) мудрец этот московский... без этого оракула, конечно, как без римского папы... И вяжет, и узы решит...

— Не любишь?

— Не люблю, когда человек людей в огонь посылает, а сам в стороне на кургане стоит вне выстрелов, смотрит на собственное сражение, как на трагический балет, да кофе попивает: Наполеон этакий под Бородином... Всю эту демонстрацию он наладил: Волчкова — только офицер его, сама она об этом всегда и всюду во все горло вопиет и тем горда чрезвычайно. И вот офицер этот взят и сидит, Евлалия только каким-то чудом выскочила, Дина, воспитанница Черны-Озеровой, барашек дикий, взята и сидит, студиоз один хороший, Власов по фамилии, тоже с нею... А высокоумный господин

*) См. «Девятидесятники», т. II.

этот — товарищ Фидеин, — с насмешкою подчеркнул он, — даже и побывать на поле своего сражения не потрудился. Сидел у себя на Тверской, покуда за заставой воинство его избивали, и писал в Петербург реляцию о новой моральной победе пролетариата... Не люблю. Не верю. Холодный шахматный игрок. Двигает людьми, как пешками, и не больше, чем пешками, дорожит ими...

— Что же поделаешь-то, брат? — примирительно заметил Николай Николаевич. — В драке, значит, волос не считают...

— Да за волосы-то нельзя хвататься зря, без соображения! — почти воскликнул Кроликов, ударяя по бумагам тонкою ручкою своею. — Я понимаю: завелся в лесу медведь — возьми винтовку, рогатину, нож и ступай на него облавою или, если безмерная удаль кипит, души один на один. Но я не понимаю, когда вот этакие Фидеины повелевают: вон под кустом лежит медведь, поди, возьми его голыми руками за задние ноги и выброси из леса... А все выступления, которые товарищ Фидеин с товарищ Волчковою организуют, неизменно такого сорта. Бери — неизвестно зачем — медведя голою рукою, а что станется затем с твоею черепною чашею, сие — в руке Божией... Волчкова эта... — Он с раздражением пожал плечами. — Волчкова эта — положительно сумасшедшая... Достаточно ей видеть, так сказать, рожон, чтобы уже прати на него самой и натыкать на него других... Что мы людей теряем по милости этой пылкой госпожи — просто подсчитать страшно... Никакой полицейский крюк и шпион всеми своими хитростями и коварствами не отправил столько наших в тюрьмы и ссылку, сколько мы сами, собственными руками отдали в предприятиях Волчковой... Ну да она меня, повторяю, не так волнует, потому что по крайней мере, «где твоя голова, княже, там и наши лягут», каждый раз сама в своей каше варится и обязательно попадает под сюркуп... Ей в прошлом году

смотритель Бутырской тюрьмы даже остроту отпустил. «Что вам, — говорит, — товарищ Ольга скитаться по разным камерам? Отделали бы себе у нас постоянную квартирку!» Когда человек себя в жертву приносит, тут можно спорить о пользе, но по части этики ничего не возразишь... Но Фидеина с его шахматною игрою в людей — не выношу!

— Ты его, что же... значит... подозреваешь, что ли?

— Помилуй! Что ты? Совсем, совсем не то. Как я могу подозревать человека с таким доказанным мученическим прошлым, как Фидеин? И тюрьмы, и Сибирь, и эмиграция, и все прелести нелегального жития... Каторги не хватил только по особо счастливому случаю. И дружбы у него, и связи... что ни человек, то снимай шапку долой и восклицай: многая лета!..

— В Петербурге ему здорово верят, — вставил, сурово размышляя, Николай Николаевич.

Кроликов подхватил:

— Вполне понимаю, и весьма может быть — хорошо делают, что верят. Нет такого общего дела, которое обошлось бы без своей бюрократии. И если судьба быть революции на Руси, то, конечно, и ей без своей бюрократии не обойтись. И для меня Фидеин — одна из первых ласточек этой будущей революционной бюрократии. Весьма вероятно, что ласточку эту никак нельзя облететь, ни синицами в руках, ни журавлями в небе. Но если она мне за всем тем противна — что же мне делать? Я не говорю, что прав я, а не он. Оправдывают и людей, и воплощенное в них дело — результаты. Какое право имею я судить? За мною результатов никаких не осталось. У меня выработался известный политический инстинкт, но инстинкт — не факты. Я затыкаю инстинкту рот и прислушиваюсь к его голосу только наедине. Я могу лгать, но это мне трудно, для меня это — род нравственного насилия над собою. Когда я говорю с хорошим другом, я не имею воли для такого насилия и должен признаться откровенно.

У меня к ним, к этим Фидеиным и компании — ибо не один же он! будь он один, так он бы один и заправлял всем делом! — тот же род отвращения, какой француз 1789 и тем паче 1793 года должен был чувствовать к будущему члену директории либо даже к первому консулу Бонапарту... На устах у человека — Дантон и даже Марат, а в глазах — 18 брюмера. Эти люди не пойдут ни в бой, ни в бунт, ни к Бастилии, ни хотя бы даже на Аркольский мост — они выплывут в министерствах и диктатурах... Спасы на крови! О черт бы их побрал, черт бы их побрал, черт бы их побрал.

— В Петербурге ему очень верят, — помолчав и с большим смущением, повторил Николай Николаевич.

— Весьма вероятно, что так и надо, — сухо повторил ответ свой и Кроликов. — В его теоретической честности, честности идей я нисколько не сомневаюсь. Говорю не в суд и в осуждение. Не глупцы верят — значит, и вера не глупая. Больше скажу: очень может быть, что в историческом учете он, этот шахматник Фидеин, а не я, стареющий идеалист, не мы, наивные мощи семидесятых и восьмидесятых годов, целесообразен и прав. Для того чтобы французская демократия не погибла, но выросла и окрепла, надо было, чтобы Дантоны, Демулены и Сен-Жюсты сложили свои головы под топором гильотины, а Наполеоны, Гизо, Тьеры, Гамбетты, Клемансо, Делькассе, Дюпюи и как их там еще? — процветали... Но согласитесь: хорошо было бы лицо и состояние духа у Камилла Демулена, если бы в тот момент, как склонял он голову на плаху, ангел будущего показал ему Тьера, Гамбетту, Клемансо, Дюпюи, Делькассе e tutti quanti*: счастливый, мол, человек! вот за какую радость льется кровь твоя.

Он болезненно засмеялся и махнул рукою.

Назавтра рано утром Иван Алексеевич зашел к бравому и благовоспитанному исправнику Убейбожедушеву, получил

---

* И иже с ними; и прочие (*фр.*).

от него в пять минут — при любезнейших расшаркиваниях и заверениях, что это совсем лишнее и напрасно беспокоились, совсем не такие мы формалисты и знаем, с кем имеем дело, — разрешение выехать в Тамерники, и после полудня понесла их туда, вдвоем с Николаем Николаевичем, сивая парочка, с тем самым полутороаршинным возницею на козлах фаэтона, который некогда привез к Постелькиным Авкта Рутинцева*) как вестника выигранного процесса и полумиллионного арсеньевского наследства... Нельзя сказать, чтобы эти великие события прибавили вознице роста или благосостояния. По-прежнему был он мал, худ, бледен и бессилен, еще прибавилось заплат на армяке, связочек на упряжи и — как будто — даже ребер у еще похудавшего коренника.

Проезжая безвылазно грязною улицею Теплой слободы, конечно, шагом, потому что колеса вязли по ступицу, а лошади по щиколотку, Кроликов почтительно раскланялся с красивою, дородною женщиною, смотревшею с годовалым ребенком на руках из окна длинного одноэтажного, с мезонином дома под новою красною крышею...

— Здравствуйте, Софья Валерьяновна... Все ли в добром здоровье?

Женщина ответила ласковою улыбкою, осветившею прекрасное лицо ее выражением, которое показалось Николаю Николаевичу необычайно и давно знакомым.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич... Надеюсь, к нам?

— Нет, к сожалению, приятеля в Тамерники везу...

Николай Николаевич поднял калабрийку свою, стараясь припомнить в ответ на вторичное ласковое склонение головы, где он когда-то видел уже эти теплые, влажные глаза большого, кроткого, милого зверя...

— Супруг дома, Софья Валерьяновна?

— Нету, в отъезде.

---

*) См. «Девятидесятники», т. II.

— Часто он у вас катается.

— Что станешь делать... Коммерция его стала велика. А вам он нужен по делу?

— Нет, я так...

— Только четвертого дня из Москвы вернулся, а вчера Авкт Алексеевич Рутинцев телеграмму дал, чтобы ехать ему немедля на Тюрюкинский завод... Там теперь сама хозяйка, княгиня, гостит, так все насчет этой дороги желает видеть его для переговоров...

— Ну, счастливо оставаться...

— Добрый путь... Хоть обратно-то едучи, нас не минуйте... И вас очень прошу, — приветливо улыбнулись темно-карие глаза Николаю Николаевичу, и опять он, конфузливо кланяясь, занедоумевал: «Да где же и когда они на меня уже смотрели?» А женщина говорила им вслед, высоко поднимая красивыми, в распашных рукавах пестрой ситцевой блузы руками ребенка, которому в этот момент понадобилось зареветь, и точно благословляя им дорогу:

— Агафье Михайловне поклон... Владимиру Александровичу... Евлалию поцелуйте...

Кроликов обертывался и шутливо кричал:

— Как я могу передавать, чего сам не получал?

Женщина застыдилась и, смеясь, в краске, закачала головой... Тем временем кони благополучно одолели главную слободскую лужу, по имени Попов сапог, дорога стала лучше, и сивая парочка затрусила наконец подобием рыси, дребезжа бубенцами и скрепами фаэтона...

Николай Николаевич с удивлением смотрел на спутника своего: с тех пор как Иван Алексеевич завидел эту женщину в окне и поговорил с нею, нервность и раздражительность с него как рукою сняло, лицо стало веселое, доброе, такое, как в старину всегда знал его Николай Николаевич. Таким еще ни разу, даже в первый момент своего дружеского, после долгой разлуки, свидания не удалось ему видеть нынеш-

него Кроликова, постаревшего, поугрюмевшего, почти всегда грустного, с печатью пытливых мыслей, одна за другою расплывающихся в разочарования.

— Ну вот тебе и наша милейшая мадам Постелькина, урожденная Арсеньева, — сказал Кроликов веселым голосом и с добрыми, смеющимися глазами. — Какова?

— Сестра Бориса Арсеньева?!

Быстро обернувшийся Николай Николаевич понял теперь, почему так знакомо ласкали его темно-карие глаза — братние глаза на лице сестры. Достаточно насмотрелся он в свое время глаз этих — и искрометными, в пламени негодующих вдохновений, в бурных партийных дебатах; и глубокими, в тихом сиянии такой твердой и неукротимой веры, точно в тот час сверкал над ними боевой шлем, венчанный короною, а не арестантский блин серел, и руки меч несли, а не кандалами гремели; и в ярких, благородных слезах, точно звезды, затопленные дождем, над прахом мертвого товарища, честно отбывшего свою земную боевую стражу; и в детском, лучезарном веселье, которое никогда не было личным, которое зажигали в этих глазах только шифрованные письма из Парижа и Женевы, возвещавшие решения таинственных коллективов, которыми обладатель прекрасных глаз обрекался на собачью жизнь следимого и следящего человека, на лишения и опасности прячущегося бегства, на риски тюрьмы, нагаек, пуль, побоев, на сон с динамитом под подушкою, на неразлучное общество спутницы смерти, всегда готовой выскочить из незримости и схватить прекрасного юношу, представ ему в самом страшном и безобразном виде, какой только способна она принять...

— Чудесный, брат, человек эта самая купеческая жена, Софья Валерьяновна Постелькина, урожденная боярышня Арсеньева, — говорил Кроликов веселым и умиленным тоном того светлого смеха, который является у хороших людей, когда они видят в природе явление, настолько полное

жизни и жизнь обещающее, что оно в радости своей и трогательно, и комично немножко: когда здоровый, резвый ребенок, ползая по полу, играет с ровесником-котиком, когда молодой породистый щенок беснуется и кувыркается на паркете и — что ни побежит во всю прыть — неуклюжие лапы не выдержат и расползутся как попало по скользкому... шлеп! — Преумилительный человек. Из разряда тех праведников, без которых, говорят, города не стоят. Единственное, чего не могу ей простить, это — это, что ради нее супруг ее, Тихон Гордеевич Постелькин, избегнет на том свете геенны огненной и раскаленных сковород. Потому что, если он явится пред лицо Высшей Справедливости под защитою своей Софьи, черти, его ждущие, будут обмануты хуже, чем во второй части «Фауста»: у кого достанет духа огорчить такую хорошую женскую душу? Махнет рукой Вечная Справедливость и подарит Соне ее Тихона как напрасную, но прощенную слабость. А она сейчас же уведет его, свинью, в рай и усадит чай пить с баранками и паюсной икрой... Он будет благодушествовать, а она тетешкать очередного младенца и старшеньким носы утирать. И будут праведники ходить мимо, вот как мы, дуботолковцы, теперь ходим, и удивляться, что затесалась так высоко, свинья — вот как мы удивляемся, но — спросят: чья? — поглядят на Соню, вот как мы глядим, и отойдут молча: ни у кого не поднимется рука с поленом, чтобы спустить Сонину свинью в этаж, ей предназначенный...

Полуаршинный возница оглянулся с сочувствием и проскрипел простуженным голосом:

— Это вы, Иван Алексеевич, довольно вполне правильно: кабы не Софья Леверьянна, давно бы этому Тихону под ножом быть... Потому что ужасти достойно, сколько злы на него слободские по случаю железной дороги, что она, стало быть, город возвеличит, а слободу должна пустить в последний разор... Необразованный народ! Только что Софью Леверьянну совестно людям сиротить, а то бы...

— А ты бы, — сурово сказал ему Кроликов, — языка-то о подобных глупостях не распускал...

— Да ведь я не от себя, Иван Алексеевич, что люди, то и я... Сидишь тоже в трактире-то, чай пьешь, молва сама в уши катится, — теперь народ наш словно с ума сошел, только и думки у каждого, что насчет железной дороги, как она — кому: то ли разорит, то ли поправит.

Хороша на Руси молодая робко-зеленая весна — безрасцветная девушка Снегурушка, обреченная растаять в июне, в купальные дни, от лучей-объятий Ярилы-солнца. Но до Ярилы далеко. Стоит Снегурочкина весна: нежная, бледная, робкая, трепещущая желто-зеленым пухом на деревьях, под зеленоватым, девственным небом. Дух Снегурочки жидкими туманцами тянется от перелеска к перелеску... Свежо, скромно, грустно и — русско!.. до жалости русско!..

И хочется думать о Снегурочке, о робкой зеленой весне и о придавленной смирением даже в природе своей родной земле, которую, благословляя, исходил в рабском виде, удрученный крестною ношею, сам Христос, Царь Небесный... Глядели два русских человека с жестких подушек-блинов прыгающего фаэтона в далекий, стыдливо зеленеющий простор, и просилась в души, точно нищий дверную скобу нащупывал, тихая грусть, та русская грусть, от которой, может быть, и выросло все хорошее, что есть на Руси... Сладко и недоверчиво было в душе, и пели-пели в памяти вместе с бубенцами далекие, юношеские, огорченные, умные слова..

А весной была
Степь желтая,
Тучки плавали
Без дождика;
По ночам роса
Где падала —
Поутру трава
Там сохнула.
И те пташечки,
Касаточки,

Пели грустно так
И жалобно,
Что, их слушая,
Кровь стынула,
По душе лилась
Боль смертная...

— Э-эх! — полною грудью вздохнул Николай Николаевич.

— Жалко разорять-то? — усмехнулся Кроликов.

— Ты насчет... значит...

— Да железной дороги вашей... Слышал, как автомедон-то наш изъясняется?

— А истинно, брат, значит, что жалко, — еще глубже вздохнул Николай Николаевич. — Глупо это, романтизм, значит, а ничего не поделаешь — русский человек, жалко...

— Окончательно решил, что подашь мнение за дуботолковское направление?

Николай Николаевич угрюмо поправил калабрийку.

— А не все ли равно? — сказал он. — Присмотрелся, брат, я за три недели-то: что, значит, Дуботолков, что, значит, Вислоухов — хрен редьки не слаще, — только казенные столбы различают, где один кончился, другой начался. И зачем, значит, один кончился, а другой начался, Аллах то ведает. И переименуй ты их завтра и переставь, значит, один на место другого, они сами себя не разберут, который — какой. Словно, значит, в сказке сказывается: это я или не я? И обоим, значит, только в жизни, что извне притечет, что случай счастливый забросит. А изнутри соков — ровно настолько, что, значит, умереть нельзя, а расти тоже невозможно. Прозябай, значит, и шабаш, да не шевелись, блюди экономию сил, как бы себя вконец не истратить. Такая уж, значит, благословенная русская палестина, что без случайного выигрыша в лотерею какую-нибудь ей век болотом простоять....

— А выиграет она в лотерею — и закрутит! — усмехнулся Кроликов.

— Закрутит, — согласно подтвердил Николай Николаевич. — Закрутит и сейчас же на соседа, значит, насядет. Выиграет Вислоухов — насядет, значит, на Дуботолков. Выиграет Дуботолков — насядет, значит, на Вислоухов. Только вот в этом нищем виде они, значит, друг другу и безопасны, покуда делить нечего. Потому что, как одна палестина выиграла в свою лотерею, соседняя, значит, уже своего счастья не ищет, но сама к ней в кабалу просится, на ленивый хлеб, — и готово: пошел кабальщик из своего кабальника кровь пить, да богатеть, да, значит, дороднеть... Пьет, значит, и сам на себя удивляется: во что лезет, сыт ведь уже по горло, а все тянет, и откуда у меня, прорвы, такой аппетит берется?..

— Аккурат вот как Агафья Михайловна эта, которую ты у меня видел, — улыбнулся Кроликов. — Тянет-тянет, округляет-округляет... Символ своего рода! Может быть, потому-то я ее и боюсь... Глядит на меня, понимаешь, из тюркских глаз ее загадочность русалки, татарщиной оболокнутая. И — уважительная ведь она, не на что пожаловаться, чтит нашего брата, но словно ты у нее только состоишь на временной службе, а по существу, нисколько ты ей не нужен, и родства нету между тобою и ею — разве что дедушка с бабушкою на одном солнышке онучи сушили. Ты — особ-порода, и она — особ-порода. Смотрит она на тебя и думает: «Крутись, крутись! Молоденек! ты-то, брат, от Петра, а я от самого Гостомысла, да и Батыевых кровей в меня пущено...» Иногда это — до злости. Именно Петра хочется вспомнить и с палкою в руках сказать ей: «Ах, темень этакая! ах ты дура...» Но ведь ответит...

— Ответит! — басисто засмеялся Николай Николаевич. — Да и какая же она дура? Поучит нас с тобою.

Но Кроликов продолжал, слегка подражая носовому говору Агафьи Михайловны:

— Я, мол, дура, так и пущай дура, — только вот я, мол, в дурах, сама по себе и сама у себя, а ты, в умниках, что?..

Сюда повернись, туда повернись — все с бока припека... Расплодил вас Петр Алексеевич кочками на болоте, а я — извечная: самое оно — болото то есть — и есмь.

— Ты, Иван Алексеевич, значит, того, славянофилом, значит, заговорил уже...

— Не я заговорил, страх мой говорит, — улыбнулся Кроликов. — Поезди, посмотри, пощупай... Скажут они тебе коечто жутким безмолвием своим, палестины-то наши... Все, что хочешь, они, только не серединное царство. Низость — глубже чего не спуститься; прелесть человека — выше чего смертному существу взлететь нельзя... И в мысли, и в творчестве, и в капитале, и в свободе — все так: нету среднего, уживчивого уровня, либо грязь, либо князь... И качается бытие человека маятником между полюсами этими, от грязи в князи, от князей до грязей, и нет для них примиряющих экваторов, а зверинства и одинокого гордого засилья — бездна неизмеримая... Вот теперь все историки стараются доказать, что у Руси был свой период феодального строя. А мне, брат, иной раз сдается, что мы в феодальный-то строй еще только входим: впереди еще феоды-то наши, не мечом, так рублем сделанные... Вот тебе — два уезда: каких еще феодов искать? Жизнь рабская — что трясина зыбучая, непроходимая, а чуть где наметилась тропа сухая, спасительная, глядь, стоит уже на ней, паленицею удалою, вот этакая Агафья Михайловна какая-нибудь или господин Постелькин держит богатырскую заставу. Покорствующих берет под свою руку и дани-пошлины с них дерет, а строптивых супротивников сталкивает в болото: тони и сгнивай!.. Страшная штука, брат, эта глухая самобытная сила... Патриоты говорят про засилье немецкое, про засилье еврейское, про городское засилье. А я так думаю, что если бы и были наличны здесь эти чуждые засилья, то все они творятся в пасти у великого же самобытного засилья, и, покуда они чавкают свою добычу зримо, их самих чавкают невидимые громадные че-

люсти — потребное жуют и в брюхо отправляют, непотребное выплевывают... И вот — каков ты-то сам в челюстях этих всероссийских? предназначен ты ими к поглощению или — тут-то и жуткая загадка, от которой коробит, боюсь, что выплюнуть, ох, боюсь!..

— Отрицательный же ты стал, значит, человек, — с укоризной проворчал Николай Николаевич, наблюдая из-под калабрийки своей веселый сетчатый полет грачей, тучею сорвавшихся в дружное переселение с поля на поле.

Кроликов уныло покачал бородкою.

— То-то и нет, друг Николай... Ничего я не отрицаю... Растерявшийся я человек, а не отрицательный... Приемлю? Нет! претит! Отвергаю? Нет! Не смею... Когда меня сюда заслали, я даже втайне рад был, что — волею-неволею — от книги и теории здесь на время отойду прочь; в самых недрах, так сказать, не угодно ли, практически пожить и с их насущностью побарахтаться... Ан недра-то именно и налегли на плечи вопросами и загадками... и какими! Это не из книги!

— А я, значит, и сейчас рад, — весело повернулся к нему разутешенный грачами Николай Николаевич. — Я тебе, брат, искренно скажу: очень я рад, что, значит, эту командировку на себя принял... Высвежила... Кажется, вот, значит, известно тебе: не кабинетный я человек, совсем не канцелярист, значит... И Россиею похожено, и с народом пожито, и всего видано, значит... Но — воздух, что ли, у них там, в Питере, особый, в министериях ихних? Истинно тебе говорю: покуда ездил я теперь по дуботолковским и вислоуховским палестинам, значит, словно туман с глаз сходил, и глаза прочищало, и забытое клубом вспоминалось, копром, значит, вставало в памяти, — прежнее, значит, что отлично опытом знал, да невесть как и куда забыл... Ну их к ляду! Вернусь — уволюсь! Мозги туманят... не согласен, значит! не хочу!..

— Да, город страшный, — задумчиво возразил Кроликов, — это ты прав: жуткий город. Призрачный. Кажется, нет города более страшного этою способностью своею: выдумать призрак, окутать им действительность, узаконить мираж и подчинить ему осязательность жизни... Знаешь ли? Я теперь, когда приходят столичные газеты, только и читаю в них, что телеграммы да корреспонденции с места... Остальное... жутко!.. Не то в очарованном лесу бродят, не то просто с милою наивностью в куклы играют... Нет России — есть только карты России. Нет мужика — есть только символ мужика, мысленно распределенный по оной карте семо и овамо в приспособлениях, придуманных по разуму и вкусу каждого добровольца, «спасающего Россию». Потому что все у вас там Россию от чего-то спасают и — никак спасти до конца не могут. Живет страна в состоянии хронической погибели — и не гибнет, хоть ты что. С Гостомысла гибнуть начала, а погибели ей нет. И спасать ее еще варяги принялись, и спасание тянется тысячу лет, а спасения — нет, все что-то не выходит. С тем и просыпаемся, и спать ложимся, что не знаем, чего ждать: то ли мы погибли, то ли спасены... Ну и день да ночь — сутки прочь, к смерти ближе. Авось дети до чего-нибудь потверже доживут. Помнишь, как Собакевич расхваливал Чичикову покойника-плотника Степана Пробку, какой мастер был, ему бы только во дворец работать? «Позвольте, — возражает Чичиков, — да ведь Пробка теперь, с позволения вашего сказать, так, ничто... одна мечта...» Собакевич-то даже обиделся: «Что? Степан Пробка — мечта? Посмотрели бы вы на эту мечту: мужчина в дверь не пролезет, вот оно — какая мечта!..» Чичиковы и Собакевичи теперь не по медвежьим углам сидят, а в министрах, в директорах департаментов, в членах законодательных комитетов, в редакторах политической прессы обозначились. Наберет человек в воображение коллекцию мертвых и беглых душ и пошел ими жонглировать. Кто сознательно, кто в блаженном самообмане оперируют «вещей уверение невидимых, яко

видимых»: такие-то ли разыгрывают вариации социальных групп, кружа в них символы вместо людей плоти и крови и мечту вместо фактов. И тоже обижаются, когда им кто-нибудь, по здравому смыслу и прямому зрению, скажет: позвольте! да вы устраиваете и спасаете совсем не того реального Степана Пробку, который был мужчина — в дверь не пролезет, а воображаемого Степана Пробку, который — так, ничто, мечта... Для мечты ваше ерзанье перстом по карте и фехтования символами, быть может, и очень остроумны, но настоящий, живой Степан Пробка от них поколеть должен... Сидят по комиссиям и комитетам господа, кои, на щедринский манер тебе сказать, «об отечестве мнения не имеют, а, впрочем, готовы поступить с ним по всей строгости законов». И вот зиждутся эти законы, рассылаются циркуляры, даются инструкции, читая которые, даже исправники и становые глаза таращат и конфузятся: да что у них там в Питере? Мозги в яичницу переболтались, что ли? И есть от чего «исполнительной власти» сконфузиться, ибо ей-то — земскому начальнику, становому, уряднику, каковы они ни есть — придется прилагать присланную из Петербурга строгость законов к отечеству реальному, непосредственно, воочию и собственноручно, так сказать. А питерский l'homme d'état* прилагает ее разумною головою лишь к карте — она же в качестве бумаги все стерпит! — к карте, населенной символами. С живым человеком — одно обращение, с символом — другое. Что живой человек в состоянии вместить, чего нет — мы знаем, ибо сами живые люди, сами Каи, сами смертны и, следовательно, ощущения каждого смертного Кая можем примерить на своей собственной шкуре. Но символ — штука чуждая, штука растяжимая: черт его знает, что он может вместить, чего не может! Смертный Кай, хотя бы и мужицкого звания, не в состоянии жить, питаясь четвертью фунта хлеба в сутки, а символ... авось не подохнет! Когда Каю-мужику порют спину за недоимку, он

* Государственный человек (*фр.*).

страдает и кричит; но Кая из силлогизма можно пороть сколько угодно, без боязни расстроить нервы свои его криками. Я уверен, что весьма многие из наших Ликургов, проповедующие порку мужиков-символов за воровство, пьянство, разврат и непочтительность, сами, доведись им лично расправляться, не нашли бы в своих деликатных чувствах решимости не то что высечь, но даже пальцем тронуть ни вора Трошку, ни пьяницу Памфила, ни матерщинника Дементия...

— Ну, брат! больно оптимист, значит. «Лапе́ти вьен ан манжан»*, говорят наши друзья-французы...

— Положим, французы так не говорят, — невольно рассмеялся Кроликов чудовищному произношению Николая Николаевича.

— А ты, значит, не придирайся: институтка я, что ли, чтоб прононсом блистать?.. А насчет оптимизима — сам же, значит, говоришь: феодальными нравами пахнет... Крепостное-то право осталось за нашею спиною недалеко.

— Почти сорок лет, мой друг, за это время в Америке негритянские университеты выросли...

— Что ж — университеты? А вокруг университетов, значит, линчуют тех же негров, если который белой мисс дороги не уступил...

— Да ведь мы-то не негры и не потомки негров, наконец! Высшею расою числимся! Пора умягчаться нравам-то... Двадцатый век на носу! Загляни в газеты: только и слышишь, как звенит, — фэндесьекль... фэндесьекль...** Препоганое, кстати заметить, слово.

— Негры не негры, — раздумчиво произнес Николай Николаевич, — Батыя ты сам только что помянул — не напрасно, значит... Веками на жестокость и унижение дрессированы — десятилетиями не выкуришь, значит... Ты мне русского человека

* Аппетит приходит во время еды (*фр.*).

** Конец века (*фр.*).

не нахваливай: сам его люблю — одного его и люблю сердцем, по прямому чувству, значит. Всечеловеков-то, брат, в себе возможно только от разума изыскивать и доказывать логическими доводами, что ты таков, значит: будто вся Вселенная тебе отечество и мать... Нет для меня лучше и краше русского человека, но и страшный же опять, значит, человек.

— Страшный, — согласно поддакнул Кроликов.

А Николай Николаевич говорил:

— Таится в нем — точно в благородную породу злая мина была заложена, да и забыта в ней, значит, — пороховой склад дикости и злобы, веками накопленной, и не знай, значит, когда, где и как этот пороховой склад на воздух взлетит... Запустим ни с того ни с сего фейерверк под небеса — и сами оторопеем: эка вас, значит, угораздило!.. А признаваться в оторопи — конфузливы, не любим... Помнишь, в начале восьмидесятых годов мы с тобою блуждали по югу — в эпоху еврейских погромов? Летает, значит, в воздухе пуховая метель из выпотрошенных перин... Обиженные, избитые люди плачут, воют, прячутся, бегут... А погромщики — любому наедине в глаза взгляни: всем стыдно, но никто, значит, стыда показать не хочет — и от нового стыда, значит, за свой тайный стыд — всякий вдвое злее становится и вовсе норовить обнаружить себя зверюгою... Хорош родился на свет русский человек, да злая мачеха сглазила — посадила в него, значит, бешеного черта... И — как его, значит, от черта этого отчитывать, — сие бабушка еще надвое говорила...

— Тем более, — засмеялся Кроликов, — что не все же этот черт пакостит, иногда оказывает и услуги.

— Иногда и услуги оказывает, — улыбнулся тоже Николай Николаевич.

VIII

В то время как Николай Николаевич с Кроликовым медленно приближались к Тамерникам от города, туда же со

стороны Коткова лихо мчалась по подсохшему шоссе пара сытых шведок, возвращавших домой самого тамерниковского помещика Владимира Александровича Ратомского, человека, весьма прославленного в поэтах России, но в Дуботолковском уезде, по правилу «нет пророка в своем отечестве», более известного под именем «мужа Агафьи Михайловны». В настоящий момент, впрочем, и сам поэт, лежа на мягких подушках в покойно прыгающем тарантасе, чувствовал себя в гораздо большей степени «мужем Агафьи Михайловны», чем самим собою, ибо единственною властною мыслью в голове его, с тех пор как он в этот тарантас свой ввалился, кружился насмешливый страх: «Ну, натворили мы с Костею дебоша... Что-то будет...»

Под влиянием супружеского страха он в каждой проезжей деревне останавливался у лавочки либо у избы получше и пил, что выносили ему в деревянных корцах либо в жестяных ковшиках, кислый самодельный квас и студеную колодезную воду. Так что кучер, парень молодой и юмористический, даже почел долгом вмешаться:

— Этак, барин, обруча лопнут!

Однако зловещая перспектива эта не только не смутила Владимира Александровича, но еще в следующей деревне он к средствам для внутреннего употребления прибавил средства наружные: заметил болтавшийся на чьем-то крыльце рукомойник и сейчас же остановился, чтобы умыться. Так как это повторил он и во второй деревне, и в третьей, то в четвертой — она же была последняя перед Тамерниками — остроумный возница, уже не ожидая приказания, сам подвез Владимира Александровича к колодцу, лаконически прибавив:

— Заодно коней напою...

Помылся поэт еще раз у желоба, по которому вода, светлая и студеная, сбегала в старую, как зеленым бархатом обомшенную, колоду, а кучер посвистывал, поднося к лошадиным мордам полные бадьи и серебряным дождем опле-

скивая из остатков буйные, вздрагивающие от удовольствия и испуга конские бока.

Затем между кучером и поэтом произошел краткий, но выразительный разговор такого содержания.

— Ну, как теперь? — спросил поэт.

— А ничего, Владимир Александрович, — успокоительно отвечал кучер, окинув его критическим взглядом знатока, — совершенно, как есть, ничего...

— Опало?..

Владимир Александрович хотел осведомиться о своем лице, но почему-то не посмел назвать эту благородную часть тела и ограничился, в стиле Пшибышевского, сказуемым без подлежащего.

Критик опять исследовал и утешил:

— Маленько еще припухши, да это — что же? Может быть и со сна...

Тогда несколько успокоенный поэт, в свою очередь, воззрился на кучера и закачал головою.

— Ты-то уж больно хорош, Иван! Как будто в улье ночевал!

Возница посмотрел в чуть вздрагивающую в колоде зеркальную воду, откуда навстречу глянула ему есаульская бритая харя с усищами, зверски раздутая, красная и с синяком под глазом, и равнодушно возразил:

— А мне что? У меня жены нет.

Уже по тому, как медленно и осторожно вылезал Владимир Александрович из тарантаса, как долго и умильно гладил он у крыльца радостно прыгавших на него дворовых собак, как косым взглядом снизу и якобы рассеянно скользил он по окнам дома своего, отыскивая в них грозную фигуру жены, Агафья Михайловна, наблюдая из спальни своей сквозь щель в занавеске, сразу догадалась, что супруг ее возвратился от кузена кругом пред нею виноватый и обремененный всеми семью смертными грехами. И, как всегда в этих случа-

ях, ей, давно уже равнодушной и отлюбившей, стало смешно на него, что он так ее боится, не подозревая, насколько ей безразлично, что он делал и как себя вел, и вот идет теперь заплетающимися шагами, останавливаясь под каждым удобным предлогом, точно мальчик, который не выучил урока и всячески отлынивает показаться на глаза учителю...

«Ишь, котище! Чисто, что котище! — злорадно ухмылялась она смуглым скуластым лицом своим, весело поблескивая тюркскими глазами. — Банкетовали, видно, до зеленых чертей.

Обязательно, что у Пантелеихи хороводились. Шельма эта Пантелеиха. Когда только миряне соберутся с умом — спустить ее в озеро? Большой из-за нее в Коткове разврат молодым девчонкам, каждый год теряют себя две-три... один Беневоленский, пузатый черт*), что портит... Заведись этакое у меня, да я бы...»

Она энергически тряхнула мускулистым своим загорелым кулаком и деловито пошла навстречу мужу, застегивая на ходу распашонку и прибирая слова, которыми она сейчас исполнит семейный обряд и блудного супруга своего «причешет».

Но «прическе» не суждено было состояться — судьба сжалилась над Владимиром Александровичем. Не успела Агафья Михайловна, обозрев его зловещими глазами, произнести еще более зловещим альтом в нос: «Очень красив, батюшка! Можно чести приписать: истинно, что душка... Отпустила в кои-то веки одного в люди, — нечего сказать: оправдал себя! доказал! Что за стол-то ухватился? Или до сих пор ноги не держат?» — как во дворе забряцали бубенцы. Агафья Михайловна, бросив взгляд в окно, ахнула, схватила с вешалки в спальне шаль и с румянцем внезапной радости на смуглых щеках бросилась быстрою, молодою

*) См. «Девятидесятники», т. I.

походкою на крыльцо. Владимир Александрович с облегченным духом, ибо отсрочка в данном случае была равносильна помилованию, тоже взглянул. По исключительной энергии, с которой могущественная супруга его душила в своих объятиях подъехавшую гостью, небольшого роста, запыленную женщину в сером ватерпруфе и серой шляпе, он догадался, что прибыла сестра его, Евлалия Александровна Брагина... Открытие это его не обрадовало, и, когда по комнатам стали приближаться веселые, звонкие голоса оживленных женщин, он нахмурился и с кислым лицом вышел из комнаты, чтобы не встречаться с ними... Однако Евлалия успела заметить его исчезающую фигуру и обратилась к невестке — маленькая и хрупкая в руках любовно и бережно обнимавшей ее за талию большой и массивной Агафьи Михайловны — с недоумевающим вопросом на молодом от оживления, прекрасном лице:

— Это почему же вдруг бегство?

Агафья Михайловна презрительно сложила губы и махнула рукою.

— Опять? — с испугом спросила Евлалия, и тревожная тень легла на ее синие звезды-очи.

Агафья Михайловна отрицательно мотнула своим подбородком.

— Нет, постоянного давно ничего нет... не замечаю... А вот вырвался погостить к двоюродному братцу — ну теперь и совестно смотреть людям в глаза: хорошо, должно быть, пошебаршили, соколики... Я еще и расспросить толком не успела: тоже ведь только что ввалилось сокровище-то мое... Дивно, как вы не съехались...

— Это я знаю, — улыбнулась Евлалия, — я в Дуботолкове заехала было к Косте, но он спал как убитый на тахте в мастерской... совершенный Кин из второго действия, только бутылки в руке недостает... Так что Лимпадист напоил меня чаем — и я поплелась восвояси...

— Ах ты, голубушка ты моя! Экое хорошее слово сказала! Именно уж, что восвояси: мой дом — твой дом, все, что мое, также и твое... так ты это и знай!

— А дети? — улыбнулась Евлалия.

— А что же? Ты думаешь: я в них на тебя не рассчитываю? Каждым вечером, когда в детской над их постельками сижу, думаю: «Ничего, людьми вырастите, — от меня, дуры малограмотной, вам немного взять, да тетя Евлалия не выдаст, поможет...» Ах ты, голубушка моя!

Агафья Михайловна схватила обе руки Евлалии в свои и долго и нежно трясла их, любовно глядя ей в глаза.

— Цела? — спросила она наконец пытливо, тихо, но выразительно.

— Как видишь.

— Что я вижу? В лицо тебе глядеть — половину тебя видеть.

— Будто уж не рада? — приласкалась Евлалия.

Агафья Михайловна с глубокою, материнскою нежностью поцеловала ее в голову, а Евлалия продолжала:

— На воле, жива, здорова... чего же еще?

— Это — сегодня, — значительно сказала Агафья Михайловна, — а завтра-то ты какое себе привезла? За тобою-то что осталось?

Евлалия засмеялась, румяная, и глаза ее зазвездились.

— А это на пальцах надо погадать: что выйдет? Они лучше знают...

— Следили, поди, за тобою в Москве-то? — понизила голос Агафья Михайловна.

Евлалия отрицательно тряхнула каштановыми своими локонами.

— Нет, проюркнула... Я осторожна была... Кроме Фидеина, никому и не показалась... И сюда, по-видимому, хвоста за собою не привела. По крайней мере ни на вокзале в Москве, ни в подъезде, ни здесь на станции не за-

метила ничего подозрительного. Извозчик — свой, Митрофан с Деевских выселок...

Она вытянулась поперек глубокого дивана-самосона так, что голова ушла в его спинку, а ноги далеко не доставали до пола.

— Ты спрашиваешь о завтра... Откровенно сказать, хотелось бы, чтобы оно сейчас оказалось подлиннее... Здоровье у меня железное — что мне делается! Но изволновалась, устала, — если бы взять маленькую передышку, сказала бы спасибо... Но вряд ли удастся. Фидеин говорит, чтобы я не разленивалась, каждую минуту была бы готова сняться с места и лететь... На июнь в Петербурге предвидятся по заводам большие выступления — не нашей жалкой антиповщине чета...

Агафья Михайловна покачала головою с видом озабоченным и слегка лукавым.

— Была я на днях в городе, заезжала к Кроликову Ивану Алексеевичу... уж он этого вашего Фидеина пушил-пушил...

Евлалия Александровна отвечала резко, с сердитою морщинкою между гордых бровей:

— Ну, еще бы. Достаточно быть человеком действия, а не диалектиком, вечно изыскивающим разные мягчительные пластыри да припарки там, где нужна ампутация, чтобы Иван Алексеевич был против, ныл и предостерегал... Это давно известно, старая песня. Но Фидеина лучше бы ему не трогать. Это сила.

— Все, поди, от ревности больше, — ухмыльнулась Агафья Михайловна с маслом в тюркских глазах. — Ревнует он тебя, Лалечка.

Евлалия надменно двинула бровями.

— Того еще недоставало! По какому праву?

— На это права не спрашивают, как у кого в характере.

— Иван Алексеевич не муж мне и не любовник. И не был, и не будет.

— Да уж это что! — засмеялась Агафья Михайловна с видом жалостливого превосходства. — Кто о нем скажет подобное... куда ему в любовники!.. Да сердце-то с зеркалом, говорят, не советуется... Ах ты, королева!.. А тот-то — как его, Фидеин, что ли? поди, здорово прихлыстывает за тобою? Смотри, девушка, Волчкова пронюхает — выцарапает глаза...

Евлалия с любопытством осмотрела невестку и засмеялась.

— Чудак человек ты, Агафья Михайловна!

— Ой ли? А что?

— Да так. Голова у тебя на плечах умная, делец ты знаменитый, работаешь мозгами за десять мужчин, а вот этого понять не можешь, как это мужчина и женщина могут быть близки в общем деле без того, чтобы их не связывало любовное влечение... Обыкновенно мы, женщины, тем грешны, что обобщаем легко и субъективно, всех по самим себе судим. А ты, напротив: своей мерки на другую женщину переложить не хочешь... У тебя же с твоими бесчисленными контрагентами деловыми романов нет?

— Собою ты больно хороша, Евлалия Александровна! — оправдательно вздохнула Ратомская. — Трудно мужчине около красоты женской... Жжет она их... Угодники святые погибали, так уж обыкновенному-то человеку где же...

— Агаша, милый друг, в наших рядах это посрамленные сказки. Среди товарищей я могла бы тебе показать аскетов, каких нельзя найти в Четьях-Минеях. Когда подобный женщину видит, мысль, что она — женщина, другого пола тело, последнею приходит ему в голову, если вообще приходит. Товарищ, человек — вот что близости наши создает и освящает... Качаешь головою? Не веришь?

— Как бы я не поверила, если ты говоришь? Но только уродство это... среди уродов живешь!

— Покорно благодарю! — засмеялась Евлалия Александровна, несколько насильственно и краснея.

А Агафья Михайловна смотрела на нее с задумчивым сожалением и говорила:

— Я, Лалечка, все понимаю — и как ты делом своим горишь, и как тебе, кроме того, ничего не нужно, и как всю свою жизнь ты словно костер жжешь, чтобы около нее другим людям тепло было... И понимаю, и сочувствую, и всем, что от меня зависит, рада тебе помочь, ежели прикажешь... Но в душе моей сомнительно это все, во что ты хоронишь прекрасную жизнь свою... То есть ты пойми меня: не то мне сомнительно, что это хорошо для людей, а то сомнительно, чтобы твое-то счастье тут прахом не развеялось, чтобы время твое не убежало, женщина в тебе в старуху не закостенела бы...

— Милый друг, — равнодушно улыбнулась Евлалия, — не поздно ли предупреждать? Не такая уж я молоденькая...

Но Агафья Михайловна даже рассердилась:

— Какие твои годы! При такой-то красоте... Уши мои не слыхали бы!

Она задумчиво поправила у лица Евлалии рассыпавшийся локон и сказала:

— Пол-имения отдала бы за то, чтобы ты всегда жила подле меня и видеть бы мне тебя замужем...

— Замужних-то как будто не венчают, — печально улыбнулась Брагина.

— Это что ж! — отозвалась Ратомская. — Георгий Николаевич, поди, сам соскучился в соломенных вдовцах, да и на что ты ему, нынешнему важному барину, нужна — этакая, как ты есть, беспардонная революционерка? Только «компрометируешь» его пред министрами и генералами всякими, вокруг которых он на задних лапках прыгает... Он, гляди, сам скоро в министры там или в сенаторы какие-нибудь удостоится, а тебя — от слова не станется! — вешать поведут: пара!

Брагина засмеялась:

— Это уж что-то даже песенное, былинное:

Подадут тебе карету,
А мне, младой, черный гроб...

— В прошлую зиму, — подхватила ее смех Агафья Михайловна, — когда мы с Владимиром на масляну в Питер ездили, сам же Георгий Николаевич жаловался, что ты ему, как терн в глазу, карьеру застишь... Уж плакали, плакали с моим-то друг другу в жилеты... инда мне их обоих жаль стало! Ей-Богу! Поехала в Гостиный двор и купила обоим по дюжине носовых платков... батист самолучший — чтобы слезы утирать... Ей-Богу!

Она засмеялась.

— Значит, поняли друг друга? — жестко, с потемневшими глазами заметила Евлалия.

— Два сапога пара!.. Смотрела на них, слушала, только диву давалась, словно на крылосе, так в два голоса и поют... Падаем, падаем да гибнем, гибнем... Только и слов. Говорю: а если все падает, вы бы поддержали... Ах! что тут могут сделать личные усилия и общественные полумеры? Твердая власть нужна, единый кулак, военные силы... Куда правительство смотрит? Вместо губернаторов какие-то бабы в мундирах сидят... Полиция России в розницу на рынке торгует... Падаем, падаем, гибнем, гибнем... Свяжите, кричит, нас, а то рассыпемся.

— Без городового-то, следовательно, ни на шаг? — жестко вставила Евлалия. — Только и надежды.

Агафья Михайловна помолчала, покачала головою, перебирая пальцами бахрому шали своей, и продолжала:

— И удивительно мне, Евлалия Александровна: как ты, при серьезном твоем характере, попустила Георгию Николаевичу такую волю взять, что добегал он без узды до того, что случилось между вами совершенное расстройство? Ведь достаточно хорошо я его разглядела: человечек-то куда не-

трудный — Володюшкин характер. Взял в пальцы да что захотел, то и вылепил: этак нажми — выйдет ангел, а этак — неприличие.

— Уважать хотелось, — печально сказала Евлалия.

Агафья Михайловна посмотрела на нее с недоверчивым любопытством.

— Уж теперь извини, я тебе долг заплачу: умная женщина, а глупость сказала... Это мужичишку-то уважать?

— То-то вот и есть, Агафья Михайловна, что хотелось мужа иметь, а не мужичишку.

— Да на кой ляд он тебе дался? Не из того мы теста выпечены, чтобы за уважаемыми мужьями жить. Ну их! Муж, которого уважать можно, жену-то в руке держит, да и кружит, да и кружит, как его нога хочет... Ну а с нами — дудочки! — не крутнешь.

— Ты, Агаша, воображаешь брак какою-то хроническою войною, — улыбнулась Евлалия.

— А то нет? Слава Богу, сама девятый год замужем.

— Тебе-то, казалось бы, уж грех жаловаться...

— Потому что я сразу свое правило оправдала: как решила, что вот этот мужчина будет мне муж, так я его прежде всего и замирила, как черкеса какого-нибудь. Ты думаешь: не брыкался? Хо-хо! Не зажала мужа под башмак, сама будешь под сапогом. Ишь ведь радость себе какую придумала: желаю мужа бояться... По апостолу выходит, как при венчании читают? А еще в Бога не веришь и попов не любишь!...

— Я сказала: уважать, а не бояться.

— А разве это не все равно?

— Да, в рабском обществе, пожалуй.

— А где оно не рабское-то? — жестко возразила Агафья Михайловна. — Вон, когда венчают, люди смотрят, кто первый на коврик пред аналоем вступит — жених или невеста. Эта примета не сглупа взялась. Кабы я в те времена, когда

Володенька свой барский форс мне оказывал да барышням Кристальцевым стихи сочинял*), кабы я тогда кольца ему в губу не продела, ты думаешь, была бы я хозяйкою в доме, звала бы тебя золовушкой? До сих пор горницы убирала, дверь гостям отворяла, шубы подавала, двугривенные в руку ловила бы...

— Как ты бесстрашно это вспоминаешь!

— А чего мне конфузиться? Не книзу пошла, а кверху... И, девушка, жизнь-то — во какую прожила, так ты мне верь!

— Ну уж ты-то, когда венчалась, наверное, ногу на ковер первая поставила, — засмеялась Евлалия.

— Еще и каблуком пристукнула! — улыбнулась и Агафья Михайловна. — А вот ты могла поставить и уже ножку занесла, да вдруг сконфузилась: ах, как же это? хочу уважать мужа! — ну, и codеликатничала, удержала свою ножку на весу, пока тот со своим сапожищем вперед просунулся... Не так, что ли?

— Если не прямо так, то в фигуральном смысле, — пожалуй... — согласилась Евлалия, краснея.

— Ну вот и расплатилась за деликатность: испортила себе жизнь, отзвонила пять лучших молодых лет в плену у балбеса...

— Не надо его бранить, — хмуро остановила Евлалия. — Неприятно...

— Лалечка! Да неужто ты его, непутевого, еще жалеешь?

Евлалия Александровна энергично тряхнула локонами.

— Нисколько! Но не надо... Без меня много бранят.

Агафья Михайловна долго смотрела на нее.

— Э-э-эх!

Потом крепко ударила по плечу.

— Надо тебе, Евлалия, выйти замуж! Выходи! Ну, сделай ты мне такое дружеское одолжение, выходи!

— Вот сваха стала! Что с тобою сегодня?

---

*) См. «Восьмидесятники», т. II.

— Счастья твоего хочу. Не на своей ты дороге мычешься. Другое твое счастье. Отдайся ты мне в руки: я тебе счастье найду. Что кудрями-то трясешь своими превосходными? Не хочешь?

— Сама поищу.

— То-то, сама... Далеко ищешь, ты ближе гляди... Вон — Огурцов Иван Иванович... чего женщине твоих лет искать лучше? Именье-то какое! человек-то какой! и капитал, и характер... не мужчина, а пуховик! Ну, чего зубки-то выскалила? Рада, что хороши... Не подходит? Другого найду...

— Нет, уж пожалуйста...

— Что больно грозно? Я дева не из пугливых: не застращаешь...

Евлалия Александровна с любопытством рассматривала ее ласковое смуглое лицо с хитрыми углями глаз и, медленно произнося, спросила:

— Когда вижу тебя вот так, сдается мне, Агаша, что ты никогда, ничего и никого на свете не боялась...

— Ну как ничего! Черт будет посильнее нас с тобою, и тот кое-чего боится, а мы хотя в обиду себя и не даем, но все же люди-человеки...

Она подумала и расхохоталась.

— А что ты думаешь? Прикинула я в памяти, ведь на твое выходит. Вот не могу и не могу вспомнить ни одного такого человека, который бы на меня страху нагнал... Так вот — бабий век прожила, пятый десяток через прясло глядит, а страха не узнала... Всем бы нам, бабам, так-то...

— Я о себе сказать того же не могу... нет, не могу... — раздумчиво произнесла Евлалия Александровна, обнимая сплетением тонких пальцев колена свои и, пригнувшись, глядя поверх их вдаль строгими синими глазами. — Бывали обстоятельства, когда я терялась; бывали люди, которых я жестоко боялась... И должна тебе сказать, Агаша, что были то не враги... Нет, враги меня волнуют, с ними боя хочется...

Напротив, люди, которых я про себя боялась, всегда прекрасно ко мне относились... Иные даже любили... Вот, например, покойный Антон Арсеньев... помнишь?.. Безумный он на меня страх наводил...

— Ну, этому еще бы нет! — согласилась Агафья Михайловна. — Сущее был привидение! Словно и не живой человек...

А Евлалия продолжала:

— Ты спрашивала меня, ухаживает ли за мною Фидеин. Нет, не ухаживает. Больше того, скажу тебе: между нами тайная антипатия. Ничем не выражается: он со мною любезен и почтителен, как только может быть такой джентльмен; я признаю и ценю его великие заслуги, глубоко его уважаю и тоже любезна, сколько умею и могу. Но представь себе: в его присутствии, стоит мне только увидать его ледяные глаза, и я уже не в духе, и в голову мою неизвестно откуда вползает одна и та же мысль: «Вот человек, в котором ты однажды найдешь самого лютого врага — такого, что сейчас ты даже не в состоянии вообразить...»

— Это бывает! — поддакнула Агафья Михайловна, кивая подбородком. — Это очень даже бывает... Сердце — вещун.

— И с тобою?

— Очень даже бывало. Только у меня уж такой характер особенный: ежели я кого в подобном заподозрю, то сейчас же загорится во мне к нему ненависть — как он, несчастный этакой, смеет меня собою стращать? И такая ненависть, такая, Лалечка, ненависть, что уже ни страху, никакой смуте душевной не остается рядом с нею места. Одна мысль и одно дело — как бы мне подлеца этого, врага-то моего тайного, смирить и дураком поставить... Жестока я бываю в то время, Лалечка! Зверь!

— Я не сурова по натуре, — задумчиво возразила Евлалия, — и всегда предпочитаю думать о людях хорошо, чем дурно... Но иногда я ловлю себя на мысли, что если бы между

Фидеиным и мною не стояло, как щит, сознание общего дела, которому мы оба служим, и глубокого уважения, которое он работою в этом деле заслужил, если бы каким-нибудь случаем рухнуло это мое сознание, то я могла бы явить себя к нему очень жестокой... И мне кажется, что он это чувствует и знает... и, если бы видел себя вправе и возможности, тоже при случае не пощадил бы меня... Знаешь ли, в одном старом романе я читала, что если человек вдруг испытывает беспричинное волнение, похожее... ну да! если хочешь, то похожее все-таки на страх... так что мороз бежит по коже и волосы шевелятся на голове... то это значит, что кто-нибудь в ту минуту переступил через место его будущей могилы... Честное слово даю тебе: когда я впервые узнала Фидеина, пережила нечто подобное. Мне большого труда стоило не показать... У тебя сделались угрюмые глаза... Ты, кажется, слишком серьезно приняла это?

— Очень серьезно, — сурово возразила Агафья Михайловна. — Я человек простой, в предчувствия верю. Когда между двумя людьми натянулись подобные струны, самое лучшее для них обоих — разойтись от греха и не встречаться...

Евлалия раздраженно повела плечиками, шевельнула гордыми бровями.

— Как бы это могло быть?.. У него в руках все московские нити... Мы с ним в деле, как два сиамских близнеца...

— Ох уж это мне дело ваше, дело! — тяжело вздохнула омраченная Агафья Михайловна. — И когда только конец?

— Ну это, голубушка, не нам с тобой, а разве детям нашим судьба увидать...

— Вышла бы замуж за Огурцова — вот бы и конец...

— Агафья Михайловна! Ты сегодня невыносима...

* * *

Анна Васильевна Зарайская, приехав в Москву на выручку арестованной Дины, начала тем, что слегла в постель с вы-

сокою температурою, а все ожидаемые хлопоты упали на Алевтину Андреевну. По целым дням металась она из приемной в приемную — от адвокатов к судейским, от судейских к жандармам, от жандармов к полицейским, от полиции к чинам тюремного ведомства, — просила, молила, выпытывала и сама себе удивлялась, сколько энергии сумела проявить, как много нашлось в ней красноречия, ловкости и даже, когда надо было, кокетства. Свидания с Диной ей не удалось получить — не родственница! — но стороною и за хорошую взятку ее осведомили из верных источников, что участию Дины в Антиповской демонстрации местное жандармское дознание не придает большого значения и что девушка могла бы быть освобождена, со вменением ареста в наказание, если бы стояло другое время.

— Теперь же, в самый канун коронации... madame, сами согласитесь... Наше дело очищать Москву от опасных элементов, а не умножать их.

— Да что ей коронация? — настаивала Алевтина Андреевна. — Какой она опасный элемент? Вы только отдайте нам ее. Если она вам неудобна в Москве, я увезу ее хоть за тысячу верст...

Великолепно усмехнулись и многозначительно пошутили:

— Зачем же вам утруждать себя? Об этом мы сами позаботимся...

И дали понять, что Дина отчасти сама осложнила свое дело, так как при допросах и в заключении ведет себя с запирательством и крайне вызывающе, чем и заставила думать, что она гораздо больше значит в революционных кружках, чем о ней предполагали.

А из другого источника узнала Алевтина Андреевна, что и это бы ничего, но петербургская охранка, запрошенная о Дине, дала какие-то особые, тайные сведения, которые Алевтина Андреевна тщетно пыталась прочитать в вежливо встречавших ее, непроницаемых, будто из стекла вылитых

глазах. Это известие очень ее изумило, так как, чем больше она узнавала Дину, тем менее могла ее представить серьезною революционеркою, с которой государство могло бы иметь какие-либо хронические счеты. Что Дина могла нашуметь и больше всех выделиться на демонстрации — да, это она; что Дина бушует в камере — да, это ее огневой характер; что Дина тверда на допросах и на угрозы отвечает насмешками и дерзостями — другого от нее и нельзя было ожидать. Но Дина, как пружина в организации, за которою — так она опасна! — постоянно следит в Москве Петербург?! «Попавшаяся», «влетевшая» сгоряча девочка — в качестве генерала не генерала, но все же хоть офицера главного штаба той тайной армии, которая ведет войну со всемогущим правительством. Алевтина Андреевна была очень смущена:

— Не могла же эта девочка, у которой всегда все, что в голове, то на языке, так искусно, постоянно, систематически симулировать свою экспансивность. Нет, тут путаница, какое-то нелепое недоразумение... Они Дину за кого-нибудь другую принимают... Если бы Зина — я бы поверила легче, хотя она еще и девочка в коротких платьях... Но Дина?! Скажите мне, что Дина стреляла в генерал-губернатора или бросила бомбу, — это возможно... Но чтобы Дина что-то организовала, кем-то руководила, командовала... мне легче вообразить революционеркою самое себя! Да кто же ее станет слушать? кто за нею пойдет? Тут недоразумение... полицейская ошибка...

Когда с этими нерадостными результатами Алевтина Андреевна приехала в универсальный магазин к Истуканову*), гигант, молча стоя перед нею, долго слушал ее речь, сбивчивую, лепечущую, выбирающую выражения, чтобы помягче коснуться уха и сердца, не зарезать, не уколоть больно, до крика. Потом тупо опустил бычачьи глаза свои, кашлянул и довольно спокойно проговорил:

*) См. «Девятидесятники», т. I.

— Что же Дине Николаевне в результате всего может теперь быть-с?

— По-видимому, высылка под гласный надзор...

— Далеко ли-с?

— Уверяют, что не дальше Западной Сибири...

— Не дальше-с...

Поводил глазами по полкам с конторскими книгами, сел на стул и, положив на колена массивные руки свои, будто бог египетский, безучастно повторил:

— Не дальше-с...

— Что же? — попыталась, чтобы нарушить тяжелое налегшее молчание, утешить Истуканова Алевтина Андреевна, — могло быть хуже... Волчкову, я слышала, в Якутку везут... А Западная Сибирь — это, значит, Курган либо Каинск... я уже справлялась: новая железная дорога действует уже до Омска... пустое... трое-четверо суток пути... Конечно, ехать туда принудительно и жить там под полицейским глазом не большое удовольствие, но при ваших... при средствах Анимаиды Васильевны легко будет устроить Дину с комфортом... И можно будет сделать так, чтобы она никогда не оставалась там одна, без близких: можем ездить к ней по очереди... Анимаида, Анна, Зина, вы, я... Ведь для нас-то, вольных, это же не более как увеселительная прогулка...

Истуканов поднял голову, и Алевтина Андреевна с удивлением жалости увидала, как с тех пор, как встретились они в последний раз, повисли у него, будто опустелые, хрящеватые его желто-белые щеки: точно отощалый, больной дог развесил тряпками ослабевшие брыли.

— Анимаида Васильевна в последнее время находились на английском острове Гернсее, — произнес он глухим своим голосом спокойно и вяло. — Я им телеграфировал, когда все это случилось, но ответа не получил. Третьего дня вторично телеграфировал в ихний отель, и вот-с, только перед

вами, пришел ответ, что госпожа Чернь-Озерова выбыла неделю тому назад, оставив адрес на испанский остров Тенериф.

— Так что первая телеграмма ее не нашла?! — с испугом воскликнула Бараносова.

— Да-с... Не дошла... Обещали, однако, передать... Но все равно-с... Где же им с Тенерифа-то? Ближний ли свет?..

Что-то вроде темной, далекой улыбки шевельнуло его рыжие усы, и проползло тенью облако по огромному отекшему лицу.

— Все по островам теперь ездят... — отнесся он к Алевтине Андреевич как бы и безразличным замечанием.

Она молчала. Тогда он опять потупился, неизвестно зачем положил на лежавших пред ним счетах сперва шестьсот сорок три, потом тысячу сто восемьдесят девять, смешал косточки и договорил:

— Это вот увеселительная прогулка... Я Тенериф-с имею в виду... А Каинск или даже хотя бы и Курган... что же-с?.. Кому надобен Курган? В Курган к Дине Николаевне кто ей не нужен поедет-с... А кто нужен, останется здесь-с... да... здесь-с...

Алевтина Андреевна слушала с острой болью досады и жалости и оскорбительно вспоминала, как много затруднений встретила она в хлопотах своих за Дину — только потому, что не могла выяснить кровной связи своей с заключенной, что у Дины не оказалось ни матери, ни отца, — нашлась только воспитательница, да и та в увеселительной прогулке, нашелся только «старый хороший знакомый», на которого девушка в неведении смотрела свысока, и был он едва ли не последним в мыслях ее, с кем бы она иметь свидание пожелала...

Расставшись с Истукановым, Алевтина Андреевна уже в нижнем этаже магазина вспомнила, что Зина просила купить для нее носовые платки, и вторично поднялась

по лифту в бельевое отделение. Здесь, к своему удивлению, застала она племянника Сережу Чаевского в обществе того самого Сенечки, его антипатичного ей приятеля, которого письмо с передачею «Клавдии» недавно наделало в Коткове столько переполоха. Молодые люди внимательно наклонялись к открытой пред ними витрине и спорили с изящною, учтивою продавщицею в черном форменном платье:

— Уверяю вас, mademoiselle, что это будет коротко и узко.

— Но уверяю вас, monsieur, что это самый большой размер... больше нигде не найдете... надо на заказ...

— Дело в том, что это — в провинцию, и если не подойдет...

— Мы можем принять обратно, но будьте покойны, что, если ваша знакомая не совершенно необыкновенного роста, то это ей подойдет...

Алевтина Андреевна окликнула Сережу. Он оглянулся, пламенно краснея от испуга, и, когда узнал Алевтину Андреевну, враждебная осторожность наполнила его прекрасные глаза.

— Какими судьбами ты здесь? — улыбнулась ему Алевтина Андреевна, довольно сухо склонив голову в ответ на учтивый поклон Сенечки, в самом деле весьма вульгарного, коренастого парня в коричневом пальто.

Красное, не весьма чисто выбритое и как бы раздутое — толстощекое и толстогубое — лицо этого молодого человека выражало незначительными и аляповатыми чертами своими по преимуществу любовь к пиву, а в узко прорезанных, маленьких мутно-серых глазках подо лбом кретина светилась тупая хитрость натуры ограниченной, грубой, но — себе на уме и безразличной в средствах.

«Этот господин одинаково может быть и жуликом, и сыщиком... — брезгливо подумала Алевтина Андреевна. — Охота Сереже дружить с ним...»

Сам Сережа показался ей слегка навеселе и с каким-то новым, чуждым и не идущим ему, вызывающим отпечатком на лице, возбужденном и помятом.

— Какими судьбами ты здесь — в дамском отделении? Вот уж, кажется, в целой Москве место, где всего удивительнее встретить студента...

Сережа преувеличенно рассеянным тоном объяснил, что его товарищ получил поручение от своей невесты — «Ну, вот той... помните, знаете... я вам говорил в Коткове...» — купить ей для приданого полный ассортимент белья...

— А так как Сенечка ничего в таких вещах не смыслит, то я пошел с ним...

— Подумаешь, знаток какой! — усмехнулась Алевтина Андреевна.

Но в душе она почувствовала большое облегчение: «Значит, политические подозрения Кости Ратомского были напрасны. Сенечкина невеста действительно существует на белом свете, не миф, и, слава Богу, хоть над этим-то мальчиком, Сережею, не висит дамокловым мечом арест, тюрьма, ссылка, может быть, еще хуже...» И она уже почти радостно спросила, чтобы до конца увериться:

— Следовательно, это для... Клавдии?

— Для Клавдии, — быстро сказал, будто глотнув оба слова, Сережа, весь почему-то удало тряхнувшись и опять покраснев. А товарищ его издал хриплый, неопределенный звук, который мог быть и кашлем, и смехом. Жирное лицо его как будто еще надулось краснотою и обратилось в неподвижную слепую маску, так что глаза совсем пропали в узеньких своих щелках. И, если бы на месте Алевтины Андреевны был человек менее доверчивый, чем она была вообще, и менее озабоченный, чем она была в этот трудный день, он легко заметил бы, что, давая свой ответ, Сережа каждым нервом своим трепетал и в глазах его, точно скачущий зайчик солнечный, мелькала, вспыхивала и гасла лживая смена трусо-

сти и наглости, которые бывают только в глазах школьников, когда они пойманы на недозволенной шалости, но хотят лгать и запираться — «Хоть ты меня засеки!». Выражение это было настолько ярко, что его угадала даже элегантная продавщица и дипломатически решила переждать с новыми предложениями, покуда не уйдет «тетушка»... Тетушка ушла.

С Анною Васильевною была мука сущая. Как только она убедилась, что будет бесполезна племяннице, подъем сгоряча сразу в ней упал, и она заторопила, чтобы везли ее назад в Котково, к Косте. Но приехал Остроумов, посмотрел кривую температуры, послушал, побалагурил, пошутил и — уложил Анну Васильевну с мушкою на боку под полог дышать из парового пульверизатора горячим дыханием сосны и эвкалипта.

— Серьезно? — испугалась Алевтина Андреевна.

Знаменитый врач исказил свое огромное архиерейское, светлоглазое лицо в шутливую гримасу и отвечал:

— Серьез — это когда человек на столе лежит. Покуда в постели — переулок от шутки к серьезу...

Алевтина Андреевна послала Константину Владимировичу телеграмму, прося его приехать, и не получила ответа. Между тем больная, догадавшись, что в Котково ей теперь не скоро попасть, стала требовать, чтобы вызвали к ней Костю, чтобы он непременно был при ней. Ходить за ней стало нестерпимо трудно, тем более что в разъездных хлопотах о Дине Алевтина Андреевна могла проводить с больною немного времени, а вторую племянницу свою, серьезную, почти суровую девочку, Зину, Анна Васильевна не любила. Прислуги своей она теперь просто не выносила. Пышнотелая Луша давно уже не показывалась ей на глаза*) и искала себе нового места, а покуда, живя в доме, старалась, чтобы барыня не услыхала как-нибудь ее голоса... Алевтина

*) См. «Девятидесятиики», т. II.

Андреевна, теряя голову, отправляла в Котково телеграмму за телеграммой — Костя молчал, как мертвый. Она не знала, что и думать, а больная волновалась мучительно, и стоять под ее вопрошающими глазами, слушать ее кашли, жалобным вопросом врывающиеся в уши, стало для Алевтины Андреевны лютою пыткою.

Ответа от Кости Ратомского не было, но зато однажды приехал Владимир Павлович Реньяк.

Приехал угрюмый, молчаливый, растерянный и с тем неловким, скрытным, почти преступным выражением в глазах, которое так будто и застыло в них со времени странного разговора с княгинею Настею об ее брачных затеях и проектах...*)

Алевтину Андреевну он застал как раз в ту минуту, когда она писала новую депешу — не Константину Владимировичу уже, но Лимпадисту, прося его телеграфировать, что с барином, где он, здоров ли, почему не отвечает... Реньяк узнал и нахмурился еще больше.

— Собственно говоря, Алевтина Андреевна, — сказал он, розовея и заикаясь, — собственно говоря, это лишнее... Я... видите ли, мне известно, что Константина Владимировича в Коткове нет... Я с тем и приехал, чтобы... Видите ли, он, собст... видите ли, он сейчас гостит у княгини Латвиной... Я с тем и приехал, чтобы предупредить...

— Ах, зачем же он раньше-то не дал знать! — воскликнула Алевтина Андреевна, разрывая исписанный бланк и придвигая чистый. — Ну как можно было не написать? Сколько времени потеряли... А она томится. Я сейчас же телеграфирую княгине на Тюрюкинский завод...

Но Реньяк, бледнея и волнуясь, положил на бланк холеную свою, белую, дворянскую руку, чуть вздрагивавшую нервными пальцами.

---

*) См. «Девятндесятники», т. I.

— Видите ли, я боюсь... видите ли... что и эта телеграмма не достигнет цели... Я... видите ли... не уверен, что княгиня и Константин Владимирович находятся сейчас на Тюрюкинском заводе... Видите ли, был проект проводить его всей компанией в Нижний на выставку и потом всем вместе совершить прогулку вниз по Волге и вернуться через Каспий, Кавказ и Севастополь...

Алевтина Андреевна встала в страшной тревоге.

— Боже мой! Но ведь так они могут проплавать месяц, даже два... А тут каждая минута... Где же мне теперь ловить его? куда телеграфировать?

Реньяк стоял, опустив голову, и твердил:

— Я, право, не знаю... право, не знаю...

И, пораженная необыкновенными нотами в его голосе, Алевтина Андреевна стала в него вглядываться. Ей было странно, что этот человек, известный по Москве своим хорошим воспитанием, самоуверенностью, хладнокровием, тактом, растерял пред нею свои слова и робеет, как ребенок под грозовою тучею, и смотрит жалобно, и почти дрожит... И вдруг негодующее подозрение охватило ее горькою тоскою...

— Послушайте, скажите правду, — прошептала она, — Владимир Павлович... скажите правду...

— Я и не обманываю вас, — угрюмо отвечал он.

— Он ее бросил? Никогда больше не вернется?

Реньяк взялся ладонями за виски и отошел к окну, и движение его, и походка отразили стыд, страх и отчаяние...

— Не знаю я, ничего не знаю... — услышала Алевтина Андреевна издали подавленный, разбитый голос его. — Запутали меня в эту историю... Никогда в жизни не чувствовал себя таким ослом... и... и, извините, кое-чем похуже... Ничего не знаю: может быть, нет, может быть, да... Разве за человека в звериной берлоге отвечать можно? Ничего не знаю... Знаю одно: вот я здесь — и я здесь на своем месте — и буду

здесь при ней — и вся моя жизнь принадлежит ей и... и... ну, одним словом... что она хочет... Как она хочет, так и будет... так и будет, Алевтина Андреевна...

* * *

В тот день, когда кузены Ратомские — Константин Владимирович и Владимир Александрович — расстались утром в Коткове после весьма бурной ночной оргии, в которой принимали благосклонное участие все деревенские натурщицы художника, объединенные дипломатическим посредничеством Пантелеихи-Мантелеихи; в тот день, когда возвращавшаяся в Тамерники Евлалия Александровна застала в Коткове кузена Константина спящим наподобие Кина и не смогла его добудиться, в тот день он, отдыхая от ночной передряги, проспал одетым на тахте и утро, и обед, и уже довольно косые тени стали ложиться под пошедшим на запад солнцем, когда мертвый сон художника стал легче и оживился видениями... Одно из них — последнее — было престранное. Привиделось Константину Владимировичу, будто его «Ледяная царица» сошла с полотна, стоит над ним, смотрит на него в упор серыми своими глазами и говорит смеющиеся слова:

— Довольно спать, пора вставать — невесту проспите.

Вслед за тем Константин Владимирович почему-то почувствовал острейшую потребность чихать и чихнул так оглушительно, что в тот же миг проснулся и открыл глаза — как раз вовремя, чтобы в самом деле увидать над собою громадные серые женские глаза, глядящие на него в упор, и услыхать наяву те же жестоко смеющиеся слова:

— Довольно спать, пора вставать — невесту проспите.

В черной амазонке стояло над ним явление, пожалуй, еще более неожиданное здесь и в эту пору, чем если бы «Ледяная царица» и впрямь соскочила с полотна; чувствам своим

едва веря, Константин Владимирович узнал княгиню Анастасию Романовну Латвину.

Он дико глядел, а она говорила:

— Вставайте-ка, вставайте, не то я вас опять чихать заставлю.

И, смеясь, протянула к усам его тоненький свой плетеный хлыст с шелковой кисточкой на конце.

Взрыв женского хохота в дверях окончательно разбудил Константина Владимировича и убедил его, что он наяву: за спиною княгини Насти мелькнули ему под черными шляпами в цветных вуалях знакомые — японское личико камеристки Марьи Григорьевны, безлично смазливенькие черты консерваторки Хвостицкой и русская широкая улыбка-масленица грузной заводской директорши Прасковьи Никоновны Венявской*).

«Навалилась-таки орда!» — с досадою подумал художник, но в тот же момент весело и бодро почувствовал, что досада его не искренняя и что он очень рад этому новому внезапному наезду в прискучившее ему уединение.

— Анастасия Романовна... извините... вот не ждал... вот совестно, — засуетился он, вскакивая и поспешно оглядывая себя, в порядке ли он.

А три женщины смеялись.

— Поди, душечка, будь мальчик пай, сделай маме удовольствие, помой мордочку, — фыркнула Марья Григорьевна.

Княгиня оглянулась на нее и погрозила хлыстом.

— Машка!!!

Но потом обратилась к Ратомскому с тем насмешливо-наблюдательным спокойствием, которое вообще в мирные минуты было господствующим выражением всего ее существа.

---

*) См. «Девятидесятники», т. I.

— А дело советует. Подите и займитесь вашей красотой, а мы вас подождем. Скучать не будем, потому что посмотрим покуда ваши этюды...

Ратомский вышел под дружный хохот трех женщин, мимо которых ему пришлось пройти, как сквозь строй. Консерваторка бросила ему в лохматую, спутанную голову цветок, а Марья Григорьевна подставила карманное зеркальце, от которого он закрылся обеими руками. Венявская била себя толстыми руками по толстым бедрам и гоготала, как довольная гусыня:

— Вот уж именно могу сказать... вот уж это точно надо чести приписать...

В сенях Ратомский встретил совершенно сконфуженного Лимпадиста и крепко его попрекнул:

— Как же ты, дуб ты старый, допустил, чтобы меня застали в подобном виде?

Но саваофоподобный бородач чувствовал себя выбитым из колеи и был совсем не в своей тарелке.

— Помилуйте, Константин Владимирович, — тихо рычал он, плеская из кувшина воду на голову и шею художника, — разве была какая-нибудь возможность? Впервой в жизни... Не видывал подобных смелых озорниц... Я теперь становлюсь им поперек двери и говорю русским языком: «Нельзя! барин отдыхают! позвольте доложить!..» А она, княгиня эта, меня — хлыстом по рукам... «Проходи, борода, мы сами о себе доложим...» И все: ги-ги-ги! га-га-га!.. Кобылы, сударь, сущие кобылы...

Когда Ратомский, умытый и причесанный, возвратился к дамам, он застал Анастасию Романовну пред «Ледяною царицею». Остальные женщины хихикали, рассматривая голые фигуры, и менялись игривыми замечаниями, которые художник успел поймать при входе, и они заставили его подумать: «Ну, уровень эстетики не высок, немногим лучше, чем у Пантелеихи-Мантелеихи».

Но княгиня вглядывалась в картину молча и с тою пристальною серьезностью, которая в любителе говорит, что вещь его поразила и очень нравится. Когда художник подошел, здороваясь, Анастасия Романовна, не глядя, подала ему левую руку и, покуда он прикладывался, она, не отрываясь, смотрела на «Ледяную царицу» и спокойно, деловым купеческим тоном, по-московски спросила:

— Скоро кончите?

Ратомский объяснил, что если обстоятельства не воспрепятствуют, то рассчитывает — к зимним выставкам. Анастасия Романовна с одобрением кивнула головою: это, мол, хорошо, что так скоро, — и опять спросила уже настолько по-московски, что даже как будто «я» прозвучало у нее вместо «е»:

— Много ль просите?

Вопрос этот сильно покоробил Константина Владимировича, потому что напомнил ему недавние опасения за «Ледяную царицу» и всегдашнюю манеру княгини Латвиной покупать произведения искусства в каких-нибудь таких исключительных условиях, что художник повертится-повертитс да и отдает ей картину либо статую за бесценок и себе в убыток. «Ну, на этот раз, врешь, тетенька!» — подумал он про себя и с хитростью простодушного человека решил сразу отделаться от княгининых претензий, заломив неестественно высокую цену, которой и сам никогда не рассчитывал взять, а уж Латвина-то ни за что на нее не раскошелится...

— Я еще не думал об этом вопросе, — сказал он с искусственной небрежностью: сам он находил ее сыгранною очень хорошо, хотя женщины сзади помирали со смеха от гримасы, которою передразнила его консерваторка, — не думал... Но, конечно, это любимое произведение... шестьсот лет о нем думал... в некотором роде плод любви... дешево отдать не собираюсь...

— Однако? — спокойно переспросила княгиня.

Ратомский пожал плечами.

— За «Гаданье на снегу» Самуэльзон заплатил мне двадцать тысяч рублей, не считая того, что раньше дали мне выставки... «Ледяную царицу» мне было бы обидно уступить дешевле, чем вдвое...

— Ай да мы! — восхитилась Марья Григорьевна. — Вот так грабиловка!

А княгиня с уважением склонила голову и произнесла:

— Порядочно.

И, уже отвернувшись от картины, продолжала:

— Ну-с, а затем мы к вам неспроста нагрянули так — четыре амазонки. Приехали взять вас в плен и увезти в рабство, в свое амазонское царство. В самом деле: вы что же это о себе воображаете? Отлично знает, что я от него в двух шагах, и глаз не кажет. За что вы меня вычеркнули из числа своих знакомых, позвольте узнать? а? Обидела я вас чем-нибудь? Так вот уж, кажется, ни сном, ни духом...

Ратомский, сконфуженный, извинился, что «Ледяная царица» берет у него все время...

— Ах, какой лгун! ах, какой лгун! — запищали Марья Григорьевна и консерваторка, между тем как Прасковья Никоновна басисто хохотала, тряся двойным подбородком:

— Выдумщик! вот уж выдумщик.

— Кроме того, я был не один... состоял в некотором роде на положении сиделки или брата милосердия... у меня на руках была больная, от которой я не мог отойти...

— Ах какой лгун! ах какой лгун!

— Выдумщик! выдумщик!

— И, наконец, у меня был гость, кузен Вольдемар, не мог же я его покинуть... шестьсот лет не видались...

Но княгиня фамильярно коснулась плеча его хлыстом и остановила:

— Не вывирайтесь, Костенька. Я отлично знаю, что Анны Васильевны вот уже пять дней нет в Коткове...

«То-то ты и прискакала», — с досадой подумал художник.

— А с вашим кузеном Вольдемаром мы знакомы, и, следовательно, вы прекрасно могли приехать ко мне вместе с ним... То-то! Поступают так с друзьями порядочные люди? а? Погодите вы у меня! ужо будем дома — я вас!.. Как вашего седобородого стража зовут? Иезекииль, что ли? Позови-ка его, Маша.

И, когда вошел угрюмый Лимпадист, Анастасия Романовна приказала ему, точно он ей век служил:

— Вот что, дедушка Лимпадист: барин у тебя нескладеха, старых друзей забывает, а ты, сдается мне, человек умный. Так — есть у вас, поди, какая-нибудь завалящая лошаденка, чтобы умела под верхом ходить? Оседлай-ка ему — доехать до Тюрюкинского завода... Беру его с собой.

И Лимпадист, точно тоже век ей служил, отвечал по-солдатски:

— Точно так... Это можно... Как не быть... Слушаю-с.

А Анастасия Романовна обратилась к Ратомскому, который, слушая эти бесцеремонные о себе распоряжения, улыбался несколько напряженно, но — в глубине души — опять-таки чувствовал, через стыд чувствовал, что внезапное положение дорогой и безвольной игрушки, в какое бросают его эти властные женские руки, ему почти нравится, как возврат в привычную, московскую «свою тарелку».

— Картину же вашу, Костенька, — сказала княгиня, — хотя и заломили вы за нее цыганскую цену, я все-таки куплю... Сорока не дам, а если тридцать две, то и спорить не буду, по рукам...

— Вот счастье! — зашумели женщины и задвигались, замахали черными руками, завеяли цветными вуалями. — Вот неожиданность! Соглашайтесь, Константин Владимиро-

вич, скорее соглашайтесь! Это все равно что выиграть в лотерею.

— Да позвольте, mesdames... — отбивался он, в самом деле обрадованный: предложенная цифра далеко не походила на обычные княгинины цены и предлагала больше, чем он рассчитывал взять даже в случае особо выдающегося успеха. — Не тормошите меня... так голова кругом пойдет... сразу шестьсот голосов... дайте же сообразить... дело в некотором роде коммерческое...

— Слитки с вас! Магарыч!

Княгиня же говорила:

— По-настоящему цена вашей «Ледяной царице» — тридцать пять. Да. Я тут без вас так и прицениластак. Но три тысячи вычитаю в свою пользу в виде штрафа — за глаза. Вы думаете, я не узнала, что вы меня обокрали? Глаза-то мои! Вот все они, — показала она хлыстом, — как увидали, так и ахнули... Вы что же это, разбойник, на меня сатиры какие-то полярные пишете? а?

Она опять фамильярною шуткою взбила ему хлыстиком непокорную, буйную копну его волос и сердечным, материнским почти, проникновенным голосом докончила уже серьезно:

— Эх, Костенька, Костенька... Била бы вас — так досадно... Таланту вам отпущено — жутко подумать; на вашем месте я бы весь свет, как молния, озарила... А он выстроил себе в болоте мурью, зарылся в нее, как рак-отшельник, и устраивает афинские ночи с деревенскими феями...

«Уж известно! Успела осведомиться!» — ужаснулся мысленно Ратомский, заливаясь пурпурною краскою, точно мальчик семнадцати лет.

Анастасия Романовна не дала ему и рта открыть для оправданий.

— Плохо за вами ваша Анна Васильевна смотрит, вот что... — с ударением сказала она, поднимаясь с тахты. —

Ну да ладно! Еще не уйдете от меня, доругаю в другой раз. А теперь — берите шляпу, и едем... Таня, наверное, уже и сейчас удивляется, где мы пропали, а нам еще раньше, чем к ужину, дома не бывать.

— Ничего, — успокоила с лукавою усмешкою Марья Григорьевна, — я, когда мы отъезжали, предупредила Татьяну Романовну, что мы, может, заедем к Константину Владимировичу посмотреть мастерскую...

— А! вот это ты умно сделала! — обрадовалась княгиня.

— Как же! Она даже очень сожалела, что поздно узнала... Если бы раньше сказали, говорит, то не отказалась бы от прогулки, поехала бы с нами.

— Вам известно, Константин Владимирович, что в Тане вы имеете самую пылкую поклонницу вашего таланта? — обратилась к художнику Анастасия Романовна, медленно выходя с ним на крыльцо, окруженное решительно всеми ребятишками, сколько их ни было на селе, — синими, белыми, желтыми, розовыми, словно маки и гвоздики, все сплошь беловолосые, изредка только кое-где, как обгорелый пенек, торчала черная головенка. — Боже мой, сколько их, галчат... уж именно шестьсот тысяч, как вы любите считать... вот таращат глазенки!.. И хоть бы один нос чистый! Маша, дай им на пряники... Или нет, подожди: бросятся, станут драться, перепугают лошадей, мы лучше дедушке поручим, чтобы после нашего отъезда... Можно, дедушка?

Лимпадист, совершенно растаявший, только кланялся, а Константин Владимирович, левою ногою уже в стремени и довольно лихо перекидывая правую через свою совсем не худую пристяжку, пожалованную ныне под верх, наставлял его:

— Ты, Лимпадист, если будет телеграмма какая-нибудь или письмо от барыни, сию же минуту беги ко мне на завод... или нарочного пошли... Чтобы никакого промедления не было... понимаешь?

Лимпадист понимал, но спрашивал:

— Стало быть, долго в отлучке намерены пробыть?

— Поседеть успеет! — с обычной дерзостью крикнула ему с рыжего донского конька Маша, вея коричневым вуалем и красиво и гибко качаясь тонким станом своим над седлом. Сразу, по посадке, видать было, что из четырех дам она — лучшая наездница и щеголяет этим. — Гайда! Анастасия Романовна! вы теперь будто царь Иван, а я ваша опричница из «Князя Серебряного»...

И так как Лимпадист пучил на нее глаза свои с выражением растерянности, совсем не свойственным этому великолепному лицу вседержащего Зевса, то японское личико высунуло ему длинный красный язык.

— Что, дедушка, уставился? Не влюбись! Пропадешь ни за копейку... Пшли с дороги, чертенята! Еще передавим вас тут...

И поскакала вдоль по пыльной сельской улице, взяв с места в карьер, вея коричневым вуалем и увлекая за собою зеленый вуаль — консерваторку, красный — Венявскую и, наконец, синий — княгиню.

Во всю прыть промчались всадники через Котково, до бешенства доведя всех бурых, рыжих, серых, черных и пестрых собак, мохнатых и гладких, пушистых и облезлых, которые, задыхаясь от хриплой разноголосой брехни, самоотверженно бросались под конские копыта в напрасных стараниях подпрыгнуть настолько высоко, чтобы ухватить лошадь за морду. Но за околицею Анастасии Романовна нарочно дала трем своим спутницам далеко опередить себя, и теперь ее кровный, будто золотой, кавказец и бурая пристяжка Константина Владимировича шли вольным шагом навстречу ветру, несущему через поля румяный вечер на смену отжившему дню.

— Так вы не знали, что Таня ваша поклонница?.. Странно.

Константин Владимирович не только не знал, но даже признался, что очень удивлен, так как ему шестьсот раз казалось, что, наоборот, Татьяна Романовна от него как будто сторонится и, во всяком случае, он не из ее любимцев...

— Она ведь всегда больше с Алексеем Никитичем, — бухнул он в простоте душевной.

Если бы он смотрел в это время на спутницу свою, то заметил бы, как дрогнула ее рука на поводу, но свежее, красиво разрумяненное воздухом кормиличье лицо княгини Латвиной осталось невозмутимым, когда возразила она грудным, глубоким своим голосом в ровных, убедительных тонах:

— Вы очень ошибаетесь, Константин Владимирович. Очень. И я положительно советую вам исправить вашу ошибку. Таню многие не замечают, потому что... просто потому, что она моя сестра и мои миллионы действуют на воображение больше ее молодости и красоты. Но ведь вы-то, Костя, не из таких? Не правда ли? Я никогда не замечала в вас этого... корыстного идолопоклонства, что ли... Вы не из таких!

Константин Владимирович засвидетельствовал с искренностью, что он не из таких.

Княгиня дружески протянула ему руку и в теплом пожатии задержала ее на несколько конских, парою в ногу дружно ступающих шагов.

— Я должна вам признаться, Костя: Таня — это моя слабость... Кто ее любит, всю меня покупает. Кто ей нравится, к тому я уже заранее расположена... Хорошо, что корыстные люди не знают этого, иначе, пожалуй, пользовались бы... Вот, извините, это не сближение, — я сейчас у вас картину купила... Сказать вам, почему? Таня присоветовала... Узнала сюжет — и разгорелась артистическим чувством: не упускай! купи! Если, говорит, Ратомский взялся за такой, истинно свой сюжет, то тут он превзойдет самого себя, это будет нечто великолепное...

— О, Анастасия Романовна! — протестовал художник, чувствуя, будто он вдруг поплыл по реке из розового масла.

Но она возразила:

— Я вам не свои слова говорю, Танины. Я так не сказала. Картина хорошая, вы человек талантливый, но великим я вас, извините за откровенность, признать не могу — может, просто потому, что мало в искусстве вашем понимаю...

— Помилуйте, Анастасия Романовна! Какое ж величие... Мне слушать совестно... Так себе, мажем по вольности дворянства...

Но она не слушала и пела:

— Ну а Таня понимает и любит. Она настоящий знаток... Она у меня, к сожалению, очень скрытная, неразговорчивая, замкнутый человек. Но, если бы вы решились сломить этот ледок, которым она себя окружает, клянусь вам, вы были бы щедро вознаграждены... Это такой светлый ум, такое нежное чутье, такое глубокое сердце... Когда она решается развернуться, она очаровывает... Беседовать с нею по душе — это что-то освежающее... Особенно для человека, любящего искусство, для художника... Вам, Костя, непременно надо узнать мою бедную сестренку поближе... Я не боюсь предсказать, что это принесет вам, непутевому, большую пользу... Она вас осветит! просто озарит!.. Вы не поверите: когда мы бываем за границей, к ее мнениям прислушиваются с уважением такие мастера, как Роден, Паоло Трубецкой, Дега, Морелли... Вы счастливец, Костя, я ужасно вам завидую, что она думает о вас так высоко... А вашу «Ледяную царицу» — я уже решила — я подарю ей на будущее двенадцатое января, ее именины... Будет же у нее когда-нибудь собственное гнездо, и вот для него первое украшение...

Так изливалась княгиня Латвина почти весь путь до Тюрюкинского завода, сперва в зареве заката, потом под покровом голубовато-перловых сумерек, немало тем удивляя Ратомского и чрезвычайно льстя ему, потому что никогда

еще он не видал Анастасию Романовну столь «экспансивною» и никогда не ожидал чести попасть в интимные конфиденты ее семейных чувств...

А поздно вечером в конторе Тюрюкинского завода камеристка Марья Григорьевна, с японским личиком, развалясь нога на ногу на стуле и сося румяным ртом вкусную тягучку, надменно внушала стоящему пред нею навытяжку бравому вахтеру, держателю стражи у ворот заводского городка:

— Так поняли? Ежели кто будет спрашивать Константина Владимировича Ратомского, а особенно из Коткова — старик у него там такой есть, на икону похож, Лимпадистом зовут, — знаете?.. То вы, Трофимов, не говорите ни да, ни нет: был, мол, а здесь ли, нет ли сейчас, о том мы неизвестны… Поняли? И дальше своей сторожки вы подобных гостей — со всею вежливостью, но не пропускайте, а посылайте сейчас же мальчика за мною… Поняли? И ежели записка будет либо письмо, то Константину Владимировичу не передавайте и не говорите, а опять-таки за мною пошлите, я приму... Поняли? И если вы все это в аккуратности исполните, то можете ожидать повышения в вашей должности... А покамест приказала княгиня — вот, получите в вознаграждение вашего усердия по службе пятьдесять рублей. Поняли? Да язык-то себе завяжите и рот застегните... Расстегнутые рты нам не надобны, расстегнутый рот — мы с завода долой... Поняли?

* * *

Позднею для деревенского жителя ночью Владимир Александрович Ратомский в рабочем кабинете своем затушил лампу, открыл окно в сад и сел в зеленом лунном свете на подоконник. Одиноко полуночничать было одною из немногих привилегий, которые нерушимо хранил за ним заведенный Агафьей Михайловной домашний порядок. Еще смолоду, в горничных Агашах, привыкла она, что Володя любит

заниматься по ночам, и, к великому нынешнему счастью Владимира Александровича, сохранила некоторое благоговение к профессиональной привычке этой и замужем, в барынях. Каждый вечер, полчаса спустя после ужина, обитатели дома расходились по своим комнатам, причем неизменно повторялась одна и та же сцена.

— Ох-ох-ох! — зевала Агафья Михайловна. — Ног под собой не слышу. Намоталась за день-то. Пора и бай-бай...

И обращалась к мужу не то с насмешкою, не то с поощрением:

— А ты, сочинитель, еще на много намерен керосину сжечь?

И, если был кто посторонний либо не совершенно домашний, прибавляла, хитро подмигивая левым глазом:

— Пудами покупаю — не хватает... Цистерну, что ли, уж Постелькину заказать?

Потом запирала в буфетной шкаф с провизией, причем особенно старательно то отделение, где хранились водки, наливки и вино: замок к этому отделению был со звоном и при первом к нему прикосновении гремел на весь дом. И уходила в детскую — взглянуть на спящих сына и дочь и покрестить их на ночь.

— Разве ты веришь? — удивилась на нее однажды Евлалия, знавшая ее религиозное безразличие.

А она ответила альтом в нос:

— Не слиняют.

Проходила в кухню, в людскую, и подолгу засиживалась, обдумывая с кухаркою харчи для огромного, чуть не натуральным хозяйством живущего, дома на завтрашний день либо глубокомысленно решая с прачками вопросы будущей стирки, совещаясь с птичницей о типунах у индюшек, о курах и гусынях, севших на яйца, а со скотницей — об удое новой семигальской коровы либо о чушке Пеструхе, только что принесшей восемь штук поросят. Как-то выходило, что

после этих строго хозяйственных разговоров Агафья Михайловна оказывалась осведомленною не только об индюшках, курах, молоке, чушках, грязном и чистом белье и будущем содержании всех котлов, кастрюль, горшков и сковород, но и обо всей подноготной своих Тамерников, о всех мужских и женских тайнах дома, усадьбы и села. Выкачав служилых собеседниц своих до дна, Агафья Михайловна разгоняла их спать по их каморам и чуланам и очень строго следила за тем, чтобы все были дома и ни одна не забыла погасить огня. Возвращалась длинным коридором, волоча спущенные на ходу юбки и шлепая туфлями, в спальню и быстро, в пять-шесть минут устроив немудрый свой ночной туалет, одиноко валилась тяжелым телом на колоссальную двуспальную кровать под балдахином, на которой и засыпала, едва голова касалась подушек, крепчайшим и в то же время чрезвычайно чутким сном... Если дети заплачут среди ночи ярче обыкновенного, если в доме необычайный шум, шорох, ночная тревога, Агафья Михайловна — первая на месте, в ночной сорочке и платке, покрывающем нагие плечи... Иногда — не слишком часто и с года на год все реже — в этом самом сером платке Агафья Михайловна перед сном грядущим вдруг входит в кабинет Владимира Александровича и, стоя у изразцовой печки, ни с того ни с сего начинает рассказывать мужу новости вроде тех, что через Котково пробежал бешеный волк и надо бояться, не перекусал бы собак, что на Спасе Малом в Дуботолкове треснул колокол, что Фаину Кореневу*) муж побил, зачем перемигивалась с судебным следователем, а Соня Постелькина опять в таком положении. Тюркские глаза ее в посещения эти из черных делаются почти желтыми, а лицо наполняется смуглым румянцем и молодеет. Владимир Александрович хорошо знает, что значит это... Если он хмурится и не хочет заметить приглашаю-

*) См. «Девятидесятники», т. I.

щую улыбку жены, Агафья Михайловна властно садится на угол письменного стола, ставит ногу на ручку кресла и роняет платок с нагих плеч. Она знает, что власть ее тела — сильнейшее, может быть, единственное сильное чувство в этом дряблом, преждевременно стареющем человеке, который моложе ее на пять лет. Была ли тут когда-нибудь любовь? Ни она, ни он уже не знают. Если и была, то давно прошла. Агафья Михайловна ее не помнит, а духовный мир Владимира Александровича — такой сумбур, что, за какое чувство ни схватится в нем память, оно двоится, зыблется, отливает так и этак и никогда не в состоянии сформироваться ни в да, ни в нет. Что-то было, но, во всяком случае, не то, что осталось. А остались — хозяйство — повелительная привычка комфорта — удобный союз женской воли, нашедшей секрет властвовать, не слишком откровенно оскорбляя гнетом, и мужского безволия, нашедшего мирную леность хорошо опекаемого рабства, с которого сняты все житейские заботы и тяготы. Иногда Владимира Александровича утомляют, давят его незримые, но железные путы, иногда ему кажется, что он — мало сказать, уже не любит, а просто-таки ненавидит свою властную супругу. Но бунты эти проходят одиноко и безмолвно, заключенные в нем самом, окованные непостижимым, мистическим почти страхом... чего? Он и сам тогда не отдает себе отчета, но не стыдится откровенно сознаться пред собою, что в эти минуты он до лихорадки боится своей жены. А она читает эти волнения барахтающейся души в глазах его — и ей от того не злобно, а смешно... И вечерами таких бунтовских дней она уже непременно приходит сидеть в одной сорочке на углу его письменного стола. И под привычным, горячим дыханием ее смуглого тела, чудесно уцелевшего молодым и сильным, как десять лет назад, ползает Ратомский по ковру и ловит жадными безумными губами ее ускользающие, будто смеющиеся ноги, и, задыхаясь, бросает грубые и глупые слова рабской любви, и клянется, что

он никогда никого больше не любил и не полюбит, и что она — одна для него женщина на свете. А она нежится в насмешливом сознаниии своей неизменной победы и тянет в нос альтовые ноты:

— Врешь, врешь... все врешь... было, да прошло... все врешь...

Либо, дразня, начнет намекать ему на его измены ей, причем он с ужасом пойманного вора узнает вдруг, что решительно все, что он почитал тайным в своей жизни, для нее совершенно явно.

«Какие дьяволы ей в уши шепчут?» — теряется он, глядя ей в издевающиеся глаза. А она тянет в нос, словно и эту мысль прочитав:

— То-то, Володенька... не хитри, глаз не застилай... Я, дружок, сквозь стену вижу...

А он почти готов верить и бледно улыбается:

— Ведьма ты, что ли?

А она, вспыхивая прожженной удалью былой фабричной девки, режет с наглым оскалом великолепных белых зубов:

— Хвоста, кажись, нет.

Агафья Михайловна мужа совершенно не ревновала. Если бы он заметил глубоко оскорбительный смысл ее манеры смотреть сквозь пальцы на его любовные интрижки, он бы, может быть, нашел в себе силу, чтобы ее в самом деле возненавидеть. Он понял бы, что как муж, как любовник, даже как мужчина он для жены своей давно уже — ничто. Остался обзаконенный самец, которого время от времени, когда ей нравится, требует к себе повелительная самка, но нужен ей он, а не другой кто-либо — только потому, что она слишком надменно несет свое женское достоинство, чтобы избывать страсти свои где-либо на стороне, когда дома есть «свой муж», достаточно красивый и сильный. Да и то все реже и реже стали эти требовательные запросы. Годы, счастливо сберегшие этому могучему рабочему телу молодость и под-

вижность, сказались в нем охлаждением темперамента. Кипучая энергия, подвижная деятельность убила запросы пола. А с тех пор, как стала наезжать в Тамерники Евлалия и обласканная ею Агафья Михайловна приковывалась к ней благоговейным восторгом, в жизнь ее ворвалась новая струя, поставившая новую духовную преграду между волей этой горничной и привычным ей смолоду «баловством». Не было уже и уже не могло быть такого повелительного порыва, который мог отвлечь Агафью Михайловну от задушевной беседы с Евлалией, от излияний и исповедей пред нею, туда, где одиноко шагал или сидел у письменного стола скучающий, мечтательный муж, где могли быть поцелуи, объятия и весь тот бесцеремонный домашний разврат, в котором она была некогда такая мастерица, которым она и завоевала себе Володю Ратомского девятнадцатилетним мальчишкою и памятью о котором до сих пор властвует над ним, когда она хочет. Она никогда не говорила и не говорит с мужем о своих к нему отношениях, и он их совершенно не знает и не понимает. То отчуждение, которое он смутным инстинктом чувствует между собой и женой, он самодовольно приписывает своему успеху у женщин и ее, дескать, обманутой, неудовлетворенной, ревнивой в скрытной гордости любви! Владимир Александрович знает, что жена ему безусловно верна, знает и то, что ей известны его неверности, и это укрепляет его в льстящей вере, что она в него до сих пор безумно влюблена и что насмешливые сцены, которые она ему устраивает, — ревнивые сцены. А она равнодушно делится им с «соперницами», как чрезмерным и даже обременительным излишком капитала, и в изменах мужа ее заботит едва ли не единственно — не связался бы он в похожденьицах своих с какою-нибудь больною и, следовательно, не погубил себя в единственном еще назначении, которое ей в нем ценно. В самом доме безмолвно дозволена ему любовница — та самая Аниска, которую когда-то, тринадцатилетнюю курносую девчонку из

деревни, горничная Агаша водила за уши по квартире Ратомских и учила, с подзатыльниками, как служить хорошим господам*). Теперь Аниска выросла в высокую, стройную, читающую романы девицу, в щегольских платьях, желающую, чтобы ее звали Агнесою, и весьма надменную со всеми в доме, за исключением Агафьи Михайловны, пред которою она благоговеет и трепещет и которую почти портретно копирует, как та была десять лет тому назад. И в то время как Владимир Александрович сокрушается и мучится страхом, как бы ему наилучше скрыть эту домашнюю связь от всевидящих жениных глаз, — увы! он даже и не подозревает, что из всех шпионов и доносчиков, которыми Агафья Михайловна окружила его мужскую жизнь, самым зорким, чутким, усердным и ревниво заинтересованным шпионом является эта вот самая Агнеса, воображаемая им сообщницей.

Сегодня, в тихой лунной ночи, Владимир Александрович одинок и нервен. Месяц сердито глядит на него во все глаза и неприятно зеленит за его спиною, в углу, огромный гипсовый бюст Пушкина. Из сада дышит черемухой и подсвистами неумелого, робкого соловья, который, точно плохой флейтист, старается и никак не может наладить свое колено. Тишь глубокая. Далекая колотушка ночного сторожа долго постукивала где-то за селом и смолкла: очевидно, сторож пришел к убеждению, что разогнал всех воров в уезде, и лег спать где-нибудь под плетнем...

Владимир Александрович одинок и нервен, не в духе. В последние годы он редко бывает в духе. Как почти все люди, прожившие свою молодость в веселой и беспечной самоуверенности, без заглядок вперед, он растерялся при первом седом волоске в золотых кудрях, при первой морщинке у глаз, при первом покалывании в печени — испу-

*) См. «Восьмидесятники», т. I.

гался идущей навстречу старости, точно смерть вот уже на дворе, и испуг этот сразу вычеркнул его, еще молодого, из молодежи, отодвинул в старшее поколение отживающих и отживших... В свои тридцать три года он, как старик, живет вечным ощупыванием себя самого, — ипохондрически разыскивает в себе несуществующие недуги, но болеть ему плохо удается: здоров как бык. Тогда он обращается к экзамену своей жизни, и это страшнее: прошлое кажется ему пустым, настоящее пошлым и позорным, а в будущем он сознает себя ненужным и лишним... И это возмущает его... И тогда он хорохорится, хочет что-то показать, что-то доказать, вспоминает, что у него был талант, что он известность, что в тридцать три года для иных литературная карьера только начинает определяться, а он уже...

— Что — уже? — насмешливо спрашивает кто-то таящийся в напряженном мозгу — таком напряженном, что голове физически больно от летящей мысли...

Владимир Александрович конфузится. Ему хочется уверить себя, что его «уже» очень обильно багажом, веско и серьезно: он — академически премированный поэт, у него — жалованный перстень, он выпустил три тома стихов, и три четверостишия из них уже вошли во все новые хрестоматии, в академическом словаре трижды приведены как классические обороты из его стихов и помещены два, введенных им, неологизма.

— Ну и что же? — насмешливо спрашивает кто-то, таящийся в мозгу, — и Владимиру Александровичу почему-то вдруг неловко оглянуться на зеленую улыбку Пушкина, точно это он экзаменатор, а не собственная взволнованная мысль.

— Что?.. что?.. Я поэт, а не утилитарист... разве к поэту можно предъявлять эти угрюмые, прозаические требования — «что?». Почем я знаю, что? Не обязан знать: я поэт,

вещь, vates...* То, что зарождается в душе поэта, само себе довлеет. Я — не человек рассудка и планов. Я — сосуд, наполненный вдохновениями...

— Зачем же ты, сосуд вдохновенный, рифмы-то в особую тетрадку выписываешь? — колет неумолимый кто-то. — Vates!

— Да, я vates. Я полон вдохновениями. Какими — я сам не знаю. Так флакон с благородным напитком не знает, что в нем содержится, — но однажды придут люди, откроют флакон, попробуют вино и определят его…

— Прокисшим! — издевается некто. — На уксусе разве, а то хоть брось!

— Неправда, — волнуется Владимир Александрович, — все это внутреннее зубоскальство — скверная привычка недоверия к своим силам, русское самонеуважение, циническая закваска разочарованных восьмидесятых годов. Нельзя так. Надо знать свой удельный вес. За что-нибудь да переводят же меня на иностранные языки. А недавно Говоруха-Отрок разве не назвал меня в «Русском обозрении» преемником Майкова, последним хранителем священных огней, зажженных Пушкиным...

Зеленая улыбка гипсового поэта приобретает нечто мефистофельское.

— Поэзия военных писарей! — явственно слышит в себе Владимир Александрович, и ему опять почти въявь чудится, что это бюст ему просуфлировал.

— Но это не бюст. Это Михайловский написал, когда мне присудили академическую премию. Ну еще бы! Им там подай лапти да кандалы, решетки да голод, да бабу избитую, да чиновника-насильника... Они Якубовича за поэта считают... ха-ха, Якубовича!.. Писарская поэзия! Стихи Ратомского, говорит, хорошо под гитару распевать... И — какая ложь, какое предубеждение!..

* Провидец, пророк… (*лат.*)

В памяти его поплыли тревожною рябью, как разорванные ветром ночные облака под месяцем, мгновенно вспыхивая в его лучах и опять погасая, обрывки стихов, целые строфы...

Когда неведомая сила,
Свершая творческий итог,
Себя Вселенной окружила
И в мире миром опочила, —
Сказали звезды: это — Бог!

— Это писарская поэзия? это надо под гитару? Нет-с, извините, господин Михайловский: это — пантеизм... да! «И в мире миром опочила»... это — философски глубоко! покажите мне, кто другой способен так лаконически выразить в стихах слияние силы с материей, объединить в целое божество и природу... Им хочется, чтобы мы, поэты, стали атеистами и материалистами. Но — если я не могу, не хочу, не чувствую? Если я не согласен сознавать себя глыбою материи, хочу светлого, возвышенного, изящного, тонкого, подымающего дух...

Кто-то таящийся в мозгу делает недоверчивую гримасу и выталкивает вперед, на первый план памяти бесстыдно ухмыляющиеся, оголенно пляшущие рифмы:

Твои губенки — ягодки —
Сон алый наяву, —
Я жду в беседке-пагодке
И ягодки сорву...

— Светло? возвышенно? изящно? тонко? подымает дух?

— Ну... ну... конечно... это... из другой... категории... Ну что же? шалость, грех пера... Кто не шалил? И он шалил... да! И еще как! «Гавриилиада» — это не ягодки в пагодке!.. — покосился он на зеленого Пушкина. — И «Вишня», и «Царь Никита»... Разве это мешает быть поэтом?

Но Пушкин под луною все более и более становился Мефистофелем и безмолвно возражал:

— Шалить-то шалил, но не на четвертом десятке лет, а ведь это дивное произведение вылилось из твоего возвышенного духа третьего дня, когда ты вон в той старой китайской беседке, которую твоя жена давно обратила в кладовку для всякого хлама, поджидал свою прекрасную Агнесу, утонченно сидя на свернутом запасном рукаве для пожарного насоса, между грудою железного лома и мешками с тряпьем...

И темнеет под лунным светом красным стыдом охваченное красивое лицо.

— Черт знает, до чего я, в самом деле, опустился здесь, в деревне...

— И в городе хорош! — поддразнивает некто. — Что? Неравный брак? среда заела? одиночество? глушь? обломовщина? Духовного общения нет? Врешь, вре-ешь... — и Владимир Александрович с содроганием слышит, что внутренний голос тянет эти обличительные слова тем же носовым насмешливым альтом, как супруга его Агафья Михайловна. — Намедни поехал для духовного общения к кузену Константину, встретились знаменитый художник со знаменитым поэтом, а что вышло? Афинская ночь и сеновал у Пантелеихи-Мантилеихи... И когда ты, Владимир Александрович, пред собою лгать перестанешь? когда ты хоть настолько-то уважать себя выучишься, чтобы решиться признаться: да! грешник я, плотская слабодушная дрянь, — и смуглая грудь супруги моей Агафьи Михайловны, Агнесины жеманные визги и чмоканья, афинская ночь и Пантелеихин сеновал — вот это твое настоящее, то, что ты любишь, чего ты ищешь и жаждешь, что тебе надо. А остальное — наслоенное годами притворство, налет из книг и общественной морали, поза, результат внутреннего стыда, что нет в тебе настоящей душевной деликатности, свойственной истинному интеллиген-

ту, и — ах, как бы кто-нибудь не прочитал в тебе настоящего-то нутра, не догадался бы, каков ты еси на самом деле, возвышенный ты поэт, и прочим, недогадливым, не ткнул бы на тебя пальцем... А то пантеизм! Хорошо, что Агафья Михайловна запирает на ночь шкаф с наливками, не то, с большого пантеизма-то, нахлестался бы ты сейчас черносмородиновкою да и пошел бы шарить по чуланным дверям, разыскивая Агнесу...

— Не надо так! Что за самооплевание разлагающее! Ненавижу я эти минуты, когда просыпается во мне старая ржавчина — Антона Арсеньева ученик! В тридцать три года жизнь не кончена, как бы глупо ни сложилась. Возьму себя в руки — положу конец!

— Не положишь.

— Таланты не погибают, талант спасет, ради таланта воскресну и буду жить...

— Талант твой — мишура! позолота в хлеву! свинья с соловьиным голосом!

— Брошу все!

— Врешь!

— Уйду!

— Некуда!..

Иди к униженным,
Иди к обиженным,
По их следам...

— Ну да... знаю... слыхали!.. Некрасовщина... старая песня! Сестрице моей Евлалии Александровне простительно воображать, будто это — поэзия, вдохновение, музыка слов... Не признаю, не хочу и не верю...

— Ну еще бы... беседки-пагодки... губенки-ягодки..

— Вовсе нет... Я только отрицаю фальшь самоотречения и страдательно ноющий утилитаризм... Я не некрасовец, а пушкинец... Хочу, как он — этот вот зеленый, лунный полубог:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен...

И спотыкается, потому что — читает в зеленых чертах мефистофельскую редакционную поправку: «Извините, мой друг, но я никогда не говорил ничего подобного: этот жалкий стих подсунул вам, в цензурных мытарствах, придворный добряк Жуковский... Мне никогда и в мысли не приходило хвалиться тем, что я в состоянии написать хорошие стишки... Если ты действительно пушкинец, то должен знать, что — «в мой жестокий век восславил я свободу...». А ты, милый пушкинец, тоже славишь свободу в твой жестокий век? Это прекрасно! Ну-ка, ну-ка...

У красотки Катерины
Груди — будто две перины...

— Тьфу!

— Куда тебе в жизнь — мертвецу? лишнему? ненужному? отравленному чувственнику? Пей, брат, лучше свою черносмородиновку, когда жена позволяет, и целуйся с уездными дамами и усадебными девицами, когда жена не видит... Некуда тебе, ангел мой, в жизнь! некуда! Вон гостили сейчас в Тамерниках люди, жизнь живущие, — Кроликов, Лукавин... много ты говорил с ними за три дня? умел ты с ними сблизиться? хотел? сделал что-нибудь для того? Сознайся себе, что ты искренно рад был, когда они сегодня уехали. Вон — в доме — осталась сестра твоя, когда-то любимая сестра, друг-сестра, Евлалия Александровна... Сознайся, что ее присутствие тебя тяготит, как укоряющий призрак из чужого мира, что тебе смутно и неловко смотреть ей в глаза, что ты давно уже не любишь ее именно за это... не бойся даже сказать: ненавидишь... Что ты с удовольствием узнал бы, что — вот — она исчезнет из твоей жизни... что? трясешь

головою, не смеешь себя полностью обрадовать: навсегда?.. ну, хорошо: надувай себя и других, смягчай краски — не навсегда, а вот сейчас, только сейчас... на некоторое время... на год, на два... на пять лет!.. покуда тюрьма, ссылка, изгнание, возраст не погасит в ней кипения жизни, столь оскорбляющего твои... твои политические убеждения?

Лунный свет вокруг Владимира Александровича пропитывается дрожащим язвительным смехом.

— Вот еще шутка-то — твои политические убеждения! Когда ты говоришь о них, то и грудь выпячиваешь, и губу нижнюю оттопыриваешь — точь-в-точь Илиодор Рутинцев, которого ты смолоду терпеть не мог, а все-таки подражал ему, как обезьяна... Ты умеренный консерватор, ты охранитель, ты панславист, ты говоришь о вековых устоях и самобытных основах русской народности... Какое право ты имеешь говорить? Ведь тебе же все равно! решительно все равно! Ты органчик, заведенный на патриотическую пьесу... Нравятся тебе люди, выдумывающие вариации на эту пьесу, Брагин, Рутинцев, Буй-Тур-Всеволодовы, — и ты тянешь втору, тем более что за ними петь — дело покойное и безопасное, а другие нынешние песни — как твой приятель, романист Дедлов-Кигн, такой же, как ты, несчастный, растерявшийся человек, выражается, — это — «не жарты»...

— Тебе вот очень не нравится Кроликов и не понравился Лукавин. Ты дутый сидел при них и радостно вздохнул, когда они отбыли, — а теперь вспоминаешь о них со злым недовольством, и не любишь их, и чего-то тебе совестно. А знаешь, почему? Потому что ты был смешон перед ними. Да. Потому что ты, знаменитый поэт, жрец искусства для искусства и убежденный консерватор, очень любишь рукоплескания слушать и чтобы тебя по головке гладили. Все равно, чьи рукоплескания — лишь бы были, чья рука — лишь бы гладила. И вот ты хотел понравиться этим, которые тебе не нравятся, чуждым людям, стал подделываться под их чуждый

тебе тон, старался выдумывать навстречу им компромиссы, чтобы они разделили и похвалили твои разные, но умные взгляды. И ничего ты не сумел, и каждую минуту оступался и проваливался, возбуждая недоумения в тех двоих, потому что они тебя мало знают. А Евлалия сидела с опущенными глазами, и на лице ее были написаны страдания и стыд, а в глазах Агафьи Михайловны долго искрился затаенный лукавый смех. Когда же ты надоел ей, не без церемонии оборвала тебя:

— Ну, будет уж! распелся жаворонком... Ты-то всегда дома — когда хотим, тогда и заведем машину. Дай свежего человека послушать — в кои-то поры встретишь в нашей глуши!..

И тогда ты рассердился... И при первом же удобном поводе снова врезался в разговор уже назло, враждебно, говорил, чего не думал, лишь бы наперекор, и наговорил таких крутых и грубых вещей, что Кроликов перестал тебе отвечать, а Лукавин грохотал, как паровоз:

— Ну, батюшка, вам бы, значит, в обер-полицмейстеры проситься: возьмут!

— А знаешь ли ты, Владимир Александрович, почему ты так провалился? Потому что ты — необразованный человек. Да, да. Не пожимай снисходительно плечами. Не в первый раз уже ты ловишь себя на этой мысли. Ты, кандидат прав, премированный поэт, не сегодня завтра академик, ты, могущий читать книги на нескольких иностранных языках, ты, переводящий Шопенгауэра и Рёскина, ты — все-таки — необразованный человек. Не в том штука, что ты не знаешь опытом ни практической жизни, ни даже собственного тела, что любая баба-знахарка лучше тебя покажет, где печень, селезенка, легкие, желудок. Хуже еще. Ты ничего не знаешь о людях, как о людях, о жизни, как вечно живой сложности причин и следствий. Живешь среди книжной пыли и ветоши, а живую науку о живом человеке, как он суще-

ствует и общество слагает, проглядел, пренебрежительно объехал умом своим кругом да около, точно чертополохово поле, лишь бы не зацепить. И вот теперь ты, начиненный пестрым, ветхим знахарем, оказываешься необразованным человеком, потому что не знаешь самого важного, самого близкого, что может и должен изучить человек вокруг себя, что создает политическое мировоззрение, о котором ты кричишь, но которого — неправда! — не имеешь, и что дает человеку право политического мировоззрения. Не знаешь ни человека, ни общества, ни труда, ни права, ни морали. Ты — слепой, глухой и потому стал нравственно немым. Ты девятый год живешь почти безвыездно в деревне, живущей общинным бытом, а проэкзаменовал тебя ловкий Кроликов насчет общины, против которой ты весьма бойко ораторствовал по правым газетам, — и отвернулся от тебя, не возражая, что значит — поставил тебе нуль. И так было во всяком общественном вопросе, который поднимался: ты был как в лесу и чувствовал, что Евлалия, Кроликов, Лукавин говорят о самых простых, близких к жизни, повседневных вещах, а ты не понимаешь. И, если ты вступался в разговор, на тебя смотрели с вежливым сожалением, как на человека, который пытается прочитать книгу, не зная азбуки языка. И даже твоя жена Агафья Михайловна, которая в жизнь свою не прочитала десяти книг и в счетах пишет «бутылку» — «бутикою» и «керосин» — «кразином», — и та, пред лицом знаний о живом человеке, оказывается образованнее тебя. Потому что она не знает ни Маркса, ни Энгельса, ни Каутского, ни всех этих Бельтовых, Струве, Туган-Барановских, В.В. и Николаев-онов, которыми пересыпались их разговоры, но она знает то дело, ту среду, тот труд, тот народ, законы которых изучали и обобщали Марксы, Энгельсы, Каутские, Бельтовы, — с нею им интересно поговорить и есть о чем, а с тобою — нет и не о чем. И не будет о чем, потому что ты себя, Владимир Александрович, не утешай: никуда, никуда ты не двинешься от того,

что ты есть, если бы даже и рвался, а ты вовсе и не рвешься, — это ведь так лишь, расходилась в тебе блажь ночной тоски. Туго ходит ленивая, зажирелая мысль по новым, не проторенным смолоду тропам, и жалобно воет на них от усталости и скуки избалованная мечтательными прихотями воля. И вот сейчас стыдно тебе, что тебя на поле Каутских даже не бьют, а просто берут голыми руками и ставят прочь от проезжей дороги, как заблудившегося ребенка: куда забрел, дурашка! раздавят!.. Но ведь я знаю тебя: если бы ты даже изнасиловал свою волю и взялся бы за какого-нибудь Каутского или Энгельса, то либо — через пять минут сморил бы тебя сон, либо — вынул бы ты из потайного ящика какое-нибудь «Gamiani» или другую забубенную порнографическую книжонку и упивался бы ею всласть, якобы ради отдыха мысли, а к Каутскому обращал бы очи, только когда кто-нибудь войдет в кабинет... А не то сам придвинул бы к себе бумажку и карандашик и воспел бы, вдобавок к двум перинам, еще какие-нибудь Катеринины или Агнесины качества...

Спавший на паперти сторож у церкви на селе проснулся, потянул веревку и ударил в колокол, жалобно мяукнувший в лунном тумане. Звук пробежал, заструился, аукнулся с рощами и дальними полями... Он разбил печальные самобичующие мысли Ратомского и перевел его внимание сперва на время: уже одиннадцать! — потом на красоту ночи, курившейся пред ним ароматными росами вешней листвы, прелой земли, молодых трав, умывающейся черемухи... Даль, серебряным светом полная, была мутно-прекрасна... Месяц плыл лебедем и теперь казался добрым... И луч от него шел уже не зеленящий, а белый, так что и гипсовый Пушкин перестал быть ехидным Мефистофелем и опять улыбался с грустною ласкою, как добродушный Александр Сергеевич.

Ночь потянула к себе Владимира Александровича и окутала в ту сантиментальную мечтательность, в ту неведомо на что обращенную поэтическую влюбчивость, грусть кото-

рой — он знал — всегда переливалась в нервную силу, рождающую стихи... Туманными мелодиями забродили какие-то жалобные напевы, которые в такую ночь хорошо бы петь молодому, чистому, страстному, с мандолиною в руках, с глазами, обращенными вверх, к окну, за которым скрывается и слушает такая же молодая, чистая, страстная... Сердце куда-то рвалось и просило красивых стонов… Смотрел поэт в мутно-серебряную даль, слушал спящую живую тишь, и голос-мучитель молчал, а губы шептали утешительные слова: «Нет, нет... я еще чувствую, я живу... не надо не любить себя: я хороший, нежный, кроткий... Люди! не надо не любить меня: я талантливый, я хороший, нежный, кроткий... Я поэт... Ну что же делать? Я поэт, я любовник, я музыкант, я Давид Риццио, я только поэт…»

И хотелось петь слова любви, потому что чувствовал в себе красивую широкую влюбленность без предмета любви, и она просила выхода, как созревший ребенок из чрева матери, умоляя: «Брось меня в пространство — на счастье неизвестной, той, которая первая услышит и подхватит».

И слова любви пришли, и сложились в рифмованные строчки, и стали живыми в мерном шепоте губ:

Кого люблю, я не скажу,
О том мое лишь сердце знает,
Оно зовет, оно поет,
На тихой ноте замирает.
Как я люблю, я не скажу,
О том мое лишь сердце знает.
Слеза в глазах, огонь в устах,
И кровь кипучая играет.
Как я умру, я не скажу.
В саду цветет и дышит липка...
И ночь, и тень... И сон, и лень...
И смерти нежная улыбка...

— Поэзия военных писарей! — звякнул, точно на самом деле гитарный басок рванул, насмешливый кто-то.

— Ну и пускай.

— А рифмочки-то все глагольные...

— А вот завтра посмотрим...

— И липа сейчас не цветет, а цветет черемуха... Соврал для рифмы.

— Ну и для рифмы!

— А «липка» — это кто? дерево или поповна в Левонове?

— Отстань с поповной!

Владимир Александрович повернулся от окна к письменному столу, чтобы найти спички, зажечь свечу и записать стихотворение, которое он завтра собирался отделать. Но в движении этом взор его неожиданно встретил белое привидение — к нему быстрыми шагами подвигалась от дверей бесшумно вошедшая Агафья Михайловна.

— Боже мой! как ты испугала меня! — сказал он, вздрогнув всем телом и в самом деле чувствуя, будто сердце его оборвалось и упало куда-то в желудок. — Можно ли так подкрадываться?

А сам, привычно толкуя поздний женин приход, с жалостью провожал мыслью разлетавшиеся вспугнутыми воробьями, красивые мечты и с досадою думал: «Начинается!»

Но Агафья Михайловна, с необыкновенным выражением на лице, шикнула на него:

— Погоди... молчи!

Она оперлась руками о подоконник, вытянулась телом далеко вперед за окно и слушала... Лунная тишь была неподвижна, но — вот — зародился в ней слабый, высокий, певучий звук...

«На тихой ноте замирает!» — с творческим удовольствием подумал Ратомский.

Но звук не замер, а стал медленно нарастать, звеня стеклянным плачем.

Агафья Михайловна оторвалась от окна и твердо, положительно сказала:

— Колокольчик. Это к нам. Убейбожедушева колокольчик.

Тут только Владимир Александрович разглядел, что лицо ее почти черно от прихлынувшей крови и верхняя губа поднялась, открыв злобный оскал крупных, по-звериному белых в лунном свете зубов, что обличало в ней высшую и редкую степень гнева: за все годы брака Владимир Александрович видал ее такою всего три или четыре раза. И хотя слова, произнесенные Агафьей Михайловной, не заключали в себе ничего грозного и необыкновенного, но лицо ее нагнало на него тот бывалый при ней, привычный, мистический страх... Он стоял пред нею и дрожал, не зная отчего, и колени его ослабели.

— Исправник? К нам? Так поздно? Ты думаешь? Зачем? Не может быть...

Агафья Михайловна отошла от окна и резко сказала, как оторвала:

— За Евлалией. Арестовать ее едут.

Луна запрыгала в глазах поэта, бюст Пушкина закувыркался, комната пошла кругом, и показалось ему, будто в комнате — не одна Агафья Михайловна, но их по крайней мере с полдюжины, и у всех грозно черные лица, и престрашно оскаленные белые клыки... Резвы ноженьки его подогнулись, и упал он в кресла, как косою подрезанный, лепеча недоуменные слова:

— Арестовать... Евлалию... у нас в доме? Какой позор... Вот до чего довели...

А дальний звон рос и теперь был уже не стеклянный, а серебряный, будто лунная даль песню запела.

Агафья Михайловна осмотрела мужа.

Гневом своим она уже овладела, лицо белело, черты принимали спокойный вид.

— Володя, — быстро приказала она, чутко ловя ухом нарастание колокольчика. — Ступай сию минуту и ложись в постель. Ты болен, ты очень болен. У тебя сердечный припадок. Ты еле жив. Тебе доктор нужен, лекарства, уход.

Владимир Александрович автоматически кивал головою. Он так сразу ослабел от испуга, что в самом деле едва дополз до спальни. А колокольчик мучительно пел.

Агафья Михайловна носилась по дому, как дух зиждительный, зажигая огни и будя сонную прислугу:

— Агнеса! Ступай живо к барину, будь при нем, покуда я приготовлю припарки, — ему очень нехорошо! Мавра, ставь самовар, — барин болен, барину очень нехорошо. Никита, оседлай Тпруся под дамское седло, — чтобы в пять минут готово было! барыня Евлалия Александровна поедет в Левоново за доктором: барину очень нехорошо...

Евлалия в черном стареньком платье, с платком, как чалма, обвязанным вкруг головы, уже сходила со своего мезонина, бледная, с упрямым боевым выражением в звездных глазах... И быстр был разговор, которым тихо обменялись две обнявшиеся женщины...

— Успею?

— Колокольчик бьет, — значит, еще берегом, вдоль Остры едут, по лугу. У Левоновского поворота подвяжут, чтобы вести не дать... Оттуда три версты...

— Двадцать минут!

— Все сорок провозятся: через Петрову канаву мост вторую неделю провален, верхом на Тпрусе летом возьмешь, а в повозке — две версты в объезд...

— Агаша! А может быть, ложная тревога: не исправник?

— Кто же, кроме полиции, с колокольчиками ездит? Да и голос узнаю, сама в Валдае выбирала, мой дареный.

— Странно: зачем на арест — с колокольцами?

— Затем, что я Убейбожедушеву, кроме всего прочего, сто рублей в месяц плачу.

Как ни встревожена была Евлалия, по бледному лицу ее скользнула улыбка.

— Верна себе!

Колокольчик болезненно взвизгивал, умеряя свой темп, — значит, сдерживают лошадей... пошли шагом...

Женщины вышли на крыльцо и наблюдали, как черные силуэты Никиты и Ивана возились около такого стройного днем, но огромного под луною черного Тпруся. Он фыркал, качался в темноте, как темная туча, в покорном нетерпении переступал с копыта на копыто, глухо стуча будто в вату обернутыми подковами о мягкую землю, и бодро и мерно вздрагивал подвижною кожею — от ночной свежести и нервного предчувствия предстоящей скачки. Агафья Михайловна знала, какую выбрать лошадь для Евлалии, — из всей ее конюшни Тпрусь один был, так сказать, конем-спортсменом по натуре и шел под верхом — не по долгу службы, а с любовью к искусству, как художник в душе...

— Скорей, голубчики! Господа ради, скорее! — торопила Агафья Михайловна. — Очень худо барину, боюсь, не было бы беды... Лалечка, голубчик мой, не жалей коня, жизнь человеческая дороже, дорога гладкая, лети, как стрела.

— Неволя вам, барыня, ехать, — заметил Иван, подводя Тпруся к крыльцу, — прикажите, я мигом слетаю...

— Нет, Иван, — кротко ответила Евлалия, — вы слишком тяжелый, Тпрусю труднее вас нести. Я скорей доскачу... Да и надо объяснить доктору болезнь баринову, чтобы он знал, какие с собою захватить лекарства...

Колокольчик уже не пел.

— Пора, не то встретишься, — шепнула Агафья Михайловна... — В аллее хорошенько оглядись, не ошибись поворотом.

Радостной птицей вылетел черный Тпрусь в распахнувшиеся ворота.

— Что это? что это? — взметался больной барин, когда в старой березовой аллее от усадьбы к селу четко застрекотали конские копыта. Агнеса, его растиравшая, равнодушно отвечала:

— Барыня Евлалия Александровна поскакали в Левоново за врачом...

Это успокоительное известие совершенно одурманило Владимира Александровича: он уставил на Агнесу бессмысленные глаза, хотел что-то сказать, но вошла Агафья Михайловна, а Агнесу выслала за припарками.

— Агаша, — зашептал Владимир Александрович, — Агаша... но как же она ускакала? Ведь она может не вернуться... она наверное не вернется...

— Дура была бы, если бы вернулась, — сухо бормотала Агафья Михайловна, чутко прислушиваясь к ночи за окном.

— Но как же... Агаша! Ведь сейчас же... за нею приедут, ее спросят...

— Не сейчас, а сию минуту... Слышишь? собаки на селе брешут... это на них.

— А ее нет... Что нам за это будет? что мы скажем?

— Тебя, Владимир Александрович, я об одном прошу: если допрос будет, — знать ничего не знаю, ведать не ведаю, видел Евлалию в последний раз за ужином, ты пошел к себе, она к себе, ночью тебя схватила болезнь...

А он с отчаянием твердил:

— Это ты позволила ей ускакать... Как ты могла позволить ей ускакать?

— Что же, прямо в лапы жандармам ее выдать? Опомнись, Владимир Александрович!

Но он стонал и метался:

— Ах, Агаша... Агаша... сколько раз говорил, молил... до чего довели!.. ужас... позор!..

— В чем позор-то? — резко оборвала она, хмурясь на него в полутьме.

— В моем доме — политика... Полиция арестует мою... мою!.. сестру в моем... моем!.. доме!

— Успокойся: именно не арестуют...

— Это еще ужаснее! Моя сестра нарушает все государственные законы, и когда полиция хочет ее арестовать, она устраивает побег из моего дома... И моя жена помогает... На моей лошади... О-о-о! Что Буй-Тур-Всеволодов скажет? Что Ольга скажет?

— Очень надо!

— Ты Ольгу не любишь, а мне она сестра.

— Евлалия тебе тоже сестра.

— Разве я отрекаюсь? Конечно, сестра... была сестра...

— Была сестра! Не срами себя! Сам не знаешь, что плетешь!

Агафья Михайловна даже скрипнула зубами и едва сдержалась:

— Перестань ты выкликать... чисто порченый!

Но он поднялся на локте и с храбростью отчаяния лепетал:

— Неправда. Я знаю, что я говорю. Ты меня не любишь, не жалеешь. Ты меня на Евлалию променяла, продала. Весь дом, детей, все... Мы теперь погибшие люди, разорила, уничтожила нас твоя Евлалия. Что ей тут надо было? Мы мирно жили, спокойно. Нечестно так злоупотреблять родством. В какое положение мы поставлены? Ты становишься соучастницей и меня делаешь соучастником. Меня, Владимира Ратомского, соучастником беглой революционерки. У меня жалованный перстень... Я почти академик... какое нам дело до революции? Ты не имела нравственного права помогать Евлалии... Ты совершила преступление...

— Молчи... едут... дай слушать... Тарахтят!..

— Да, преступление!.. Потому что — никакого права! Мы живем в государстве, государство имеет свои законы... Оно выше родства и дружбы... А ты нарушаешь... заставляешь меня нарушать законы... священные устои... По твоей милости мы государственные преступники. Ты сделалась преступницей сама и хочешь меня одеть в арестантский халат... меня!..

Владимира Ратомского! О-о-о! Владимир Ратомский — государственный арестант! политический преступник!

— Ах ты, несчастье!.. будешь ли ты наконец молчать?.. Вот... слушай: бренчат по аллее!.. Ого! На двух подводах...

Владимир Александрович сразу осунулся в подушки, словно кто ударил его по темени огромною ладонью, и так затих, будто вовсе потерял дыхание. А жена наклонилась над ним и беззвучно произнесла в виде эпитафии:

— Держи язык за зубами, коли не хочешь в самом деле в Сибири быть... «Знать не знаю и ведать не ведаю!»

В дверь спальни просунулось лицо испуганной Агнесы.

— Барыня, там у ворот исправник... с военными... просят пустить...

Агафья Михайловна торопливо ахнула, будто ничего и не ждала, сделала радостное лицо и бросилась навстречу незваным гостям... Но, когда бурею влетела она в зал, где знакомо встретили ее сконфуженное, хмурое лицо старика Убейбожедушева и — полная грустным сознанием неприятного, но необходимого к исполнению долга — бело-румяная физиономия щеголеватого жандармского ротмистра, когда в бурой массе шинелей, бород и бакенбардов, наполнявших переднюю, быстрый взгляд ее не нашел Евлалию пленницею, — значит, не встретилась! проскочила! — притворная радость перешла в Агафье Михайловне в бурный искренний восторг. И она с размаху бросилась изумленному ротмистру на шею и, повиснув, завопила голосом, в котором, как в потрясающем взрыве, разрешилось все нечеловеческое нервное напряжение, ею накопленное за эту грозную ночь:

— Батюшка! Сергей Диомидович! Константин Викторович! голубчик! Сам Бог вас послал! Какими судьбами? Батюшки! Беда-то у нас какая, беда-то!.. Вот — схватило и схватило... Ведь чуть жив!.. Я голову потеряла... Владычица небесная привела вас ко мне... Что же теперь мне делать-то, Константин Викторович?.. Сергей Диомидович!.. делать-то

что? Ведь еле дышит Володенька-то мой... Так и крючит его... так ножками и сучит...

А в усадьбе, за окнами, стояла в лунной одежде всеведущая полночь и хохотала перекличкою веселых петухов, голосивших ей приветственную трубную песню... И — перед тем как уйти с небесного поля, — серьезно улыбался солидный, сдержанный, доброжелательный месяц, глядя сверху, как, наддавая рыси, черной тенью стлался по белому шоссе разгоряченный Тпрусь, слыша, как четко и звонко щелкали об убитую сухую гладь крепко кованные копыта.

IX

В ясное бирюзовое утро, едва рассвело и крест на соседней церкви загорелся от первого луча еще не видимого солнца, Флавиан Константинович Альбатросов, крупный московский журналист, сотрудник больших газет, вышел из меблированных комнат, в которых издавна, годами обитал на холостом положении. Таким ранним уходом он чрезвычайно удивил ночного швейцара Игнатия Николаевича, человека молодого, белобрысого, начитанного, натершегося около артистов и литераторов, большого либерала и весьма гордого тем, что судьба послала ему одно имя с писателем Потапенкой. Игнатий больше привык об эту пору встречать именитого жильца своего, а не провожать.

— Что это? Никак и вы, Флавиан Константинович, на Ходынку? — спросил он, страшно зевая, в пальто, накинутом поверх цветной рубахи и белых портков.

— А чем я хуже других? — улыбнулся Альбатрасов на удивленный тон его.

Швейцар покрутил головою с видом недоброжелательного разочарования.

— А мы думали: будет только простой народ...

И опять в голосе его странно и прикрыто прозвучал удивленный укор, так что Альбатросов невольно даже как бы извинился:

— Да ведь я по поручению газеты... По обязанности... Тоже вроде рабочего, Игнатий Николаевич.

— Ну, разве что... — промычал Игнатий более примирительным тоном, выпуская Альбатросова на подъезд.

Альбатросов шел переулками между Пречистенкою и Арбатом, еще туманными, кривыми, узкими, пустыми, не обогретыми солнцем, горящим где-то за крышами, и думал о странных словах и взглядах Игнатия. С этим особым настроением в людях из простонародья за последние коронационные дни встречался он не в первый раз. Вчера вечером во время иллюминации на подъеме к Каменному мосту вырвал он из толпы, будто редьку из гряды выдернул, седого старика, мелкого лавочника, полураздавленного внезапно хлынувшим с Ленивки народом. Патриарх долго охал, кашлял, вздыхал, прислоненный к перилам набережной, и плевал через них в черную Москву-реку. А потом, когда отдышался и признал того, кто его выручил, поблагодарил с большим чувством, но не без иронического удивления:

— Ишь как Господь Бог Батюшка промышляет людьми... От господина получил помощь...

И когда Альбатросов посоветовал ему поскорее взять извозчика и ехать домой, чтобы оправиться помятым телом и взволнованным духом, признательный старичок ответил ему точно таким же советом:

— Не ровен час... Ишь народ — как потоп... волна волну захлестывает... Глаз нету: и *своих* заливает... Я, господин, человек старый, имею в народе опыт... Когда народ занял улицу, господам лучше сидеть дома...

— Разве уж так не любят нашего брата?

— Не о любви говорю, — холодно уклонился старик от прямого ответа, — а сказываю вам: волна...

И на днях, колеся с извозчиком от рогатки до рогатки, от каната к канату, сделав добрых пять верст крюку, чтобы попасть, в объезд Кремля и кремлевского первоохранного района, с Пречистенки на Ильинку, слышал Альбатросов воркотню:

— Эк, идолы, Москву перегородили... Не знай, куда ехать... Одиннадцатый год езжу — того не бывало...

— Нельзя же: коронация.

— То-то я говорю... Господ боятся, а от нас городятся... чудеса.

А другой извозчик спрашивал:

— Это, барин, как слышно, что на Ходынке праздник будет, дары раздадут и столы поставят? Для одного простого народа или тоже и для господ?

— Для всех, кто придет... сулят пир на весь мир!

Извозчик, помолчав, возразил:

— Теперь вокруг Москвы на пятьдесят верст не осталось ни одной пташки: все поставщики к столам потребили... За пару галок охотникам пятиалтынный платят: вон оно как высоко пошло!..

— За что?

— Рябчиком идут... ну и в пироги...

— Ну вот: шутишь?

— А что? Мы слопаем... Даром-то? В лучшем виде!

Покрутил над лошадиным боком вожжею и прибавил:

— Однако я говорю: неужто господа ужо и галке нашей позавидуют? Не должны бы, кажется, льститься — поди, и настоящих рябчиков кушали...

И так было всюду. Шли праздники, и не было в них цельности. Народ откололся от господ, и загнал их праздник в вековые стены кремлевских соборов с торжественными богослужениями, с молящимися, допускаемыми по особым пригласительным билетам, «знатными обоего пола персонами» в звездах, лентах по шитым мундирам;

в золотом писанные, залитые элекричеством залы дворцов, с торжественными приемами депутаций, обедами, балами, которых нарядный польский стократно отражался в блестящем зеркале беломраморных колонн; в театры со спектаклями gala, в которых никто не слушал всем известную «Жизнь за царя», но всякий глазел на ложи, на всем знакомые по портретам фигуры знаменитых генералов в парадной форме, на дипломатов в черных фраках и считал в их среде звезды к закату и звезды к восходу: хоронил мысленно людей и дела отшедшего царствования и с любопытством вглядывался в людей и возможности царствования начинающегося...

Все это народ равнодушно предоставил господам, а себе оставил улицу — именно «занял улицу» народ. «Господин» в эти дни под флагами и вечера в зареве иллюминаций чувствовал себя на улице неловко и одиноко — затерянная шляпа среди картузного моря, насмешливого, улыбчивого, косящегося, бурлящего, галдящего — невесть почему, на кого и с чего. Стояли дни, когда так называемое общество могло собственными глазами сосчитать, как его мало, какою слабою и редкою кучкою оно затеряно в народном океане, — и общество сосчитало и серьезно испугалось. Как без вины виноватое, оно запиралось, будто в домашний арест, по квартирам и ждало не дождалось, когда наконец наступит предел празднествам и улицы обмелеют от народного потопа, и жизнь войдет в свои будничные колеи. А те из общества, что, избежав этих смутных страхов или одолев их, выходили на улицы и вмешивались в толпы, становились беспокойны и, кто сознательно, кто бессознательно, старались держаться ближе к той самой полиции, которую они ненавидели и презирали и которая именно теперь особенно придирчиво надоедала им своим подозрительным контролем и «чтением в сердцах», но в которой теперь смутно чуяли — «на случай чего» — все же более близкую и защитительную себе силу, чем гуляющая улица. И раздава-

лись откровенные громкие жалобы растерявшихся до наивной утраты стыда — увы: иногда весьма передовых и даже слывших красными, — людей, что полиции мало, что она плохо управляется и неискусна, что в виду чудовищного роста народных скопищ следовало бы ввести в Москву расположенные вокруг нее войска, благо гвардия пришла из Питера для парада и ее главнокомандующий великий князь Владимир Александрович лично находится в Москве... Боялись... А чего боялись? Никто не отдавал себе толкового отчета, а слухи бродили дикие — слухи страха, у которого велики глаза и уши слышат звон, не зная, где он... Боялись, что будет объявлена конституция и что тогдавспыхнет ужас какого-то таинственного аристократического заговора, который начнет междоусобие и уличную войну... Боялись, что конституция не будет объявлена, и тогда пиши пропало: революционеры взорвут Кремль, а народ в отместку бросится на господ и изобьет их всех до единого, не разбирая ни правых, ни виноватых, старых и малых, с женщинами и детьми. Больше же всего — каким-то прозорливым инстинктом — боялись именно вот этого народного праздника, предстоящего на Ходынке.

Полиции, о недостатке которой сокрушались господа, в столице в действительности было не только не мало, но, напротив, нагнали ее слишком много для того, чтобы она могла быть полезною и люди не мешали друг другу в своем несложном деле. Отобрали для этой временной полиции лучших служак из всех важнейших, преимущественно петербургских, частей полицейского ведомства, и оказалась она самой разнообразной по составу, разнокомпетентной и разноначальственной, и это смешение полицейских языков сразу водворило в городе какой-то мутный хаос. Петербургская высшая администрация объявила московскую полицию слабою, неумелою, ненадежною и отвела ее нарядами на окраины, а центр города отдала наезжим петербургским околоточным и городовым, бравым ребятам, из которых каждый смотрел

так, словно он сейчас Плевну возьмет. Тот же самый бюрократический антагонизм свирепствовал и в охранках, и в жандармерии. Полиция городская пикировалась с жандармами, жандармы — с охранкою, охранка — с дворцовою полицией и все, по совокупности, с тех же профессий москвичами. Наезжий элемент, подобно варягам, призванным на правление, отодвигал от действенных ролей и, следовательно, сопряженных с ними чаемых наград и почестей элемент местный, московский. А обиженные москвичи где подставляли торжествующим варягам ножку, где просто вели обструкцию, деревянно исполняя получаемые приказы, как бы они нелепы ни были, и пальцем о палец не ударяя по собственной инициативе, как бы очевидно ни была она нужна. Нелюбимый в Москве, но энергический обер-полицеймейстер Власовский, под предлогом именно его непопулярности, был оттерт от дела более высокими чинами, «взявшими на себя ответственность». Оскорбленный, обманутый в ожиданиях, он тоже умыл руки и распустил вожжи, отравляя себя с досады коньяком и морфином. Все это, по совокупности, производило сумбур неслыханный. С улицы исчезла как раз та полицейская охрана, которая улицу знала в лицо. Запутанная сеть московских улиц и переулков оказалась в распоряжении бравых и, надо им отдать справедливость, очень удивлявших непривычного москвича своею вежливостью, людей в серых и черных шинелях, при великолепных шашках и револьверах, которые, когда шутники их лукаво спрашивали, как пройти с Арбатской площади на Пречистенский бульвар, только извинялись конфузливо да хлопали глазами, а на вопрос:

— Где здесь будет дом Фальц-Фейна? — смешили москвичей наивным ответом-вопросом:

— А который номер?

— Чудак, ваше благородие! Кто же у нас в Москве ищет дома по номерам? Домовладельца говорю! Кабы знать номер, я бы и не спрашивал.

Уличное воровство и безобразие возросли чудовищно. Полиция старалась не допускать к Кремлю и на казовые улицы откровенной «кабацкой голи», и она бушевала лишь на окраинах, ставших небезопасными не только в сумерках, но даже среди бела дня. Но эти меры, как и высылки чуть не тысяч подозрительного народа, произведенные Власовским, только способствовали успеху жуликов высшего полета. Был бы чисто одет да не вовсе пьян — и в патриотической толпе каждому была лафа и широкая дорога.

— Где ныне толпа, там на десять человек — один карманник! — злорадствовали отстраненные московские сыщики.

И сами же подмигивали:

— Пользуйся временем, ребята!

Тогдашний «царь репортеров», В.А. Гиляровский, знаток московского «дна», видел знаменитого профессионального вора Карпушку, безуспешно разыскиваемого полицией в течение целого года, стоящим как ни в чем не бывало перед домом генерал-губернатора, прямо против подъезда, в первом ряду зевак, глазевших на съезжавшиеся к рауту экипажи... Встретил вор узнавший его взгляд и только картуз поправил да ухмыльнулся: молчи, мол, Владимир Алексеевич! Что улица, то мое!

А на той же Тверской в тот же вечер толпа почему-то приняла за злоумышленника... австрийского консула и едва его не исколотила. А полиция уже потащила было его в чижовку: там разберут! И только вмешательство проезжавшего мимо репортера, который узнал растерявшегося немца и, по счастью, был знаком со стоявшим на посту полицейским офицером, прекратило «инцидент, грозивший международным осложнением». Кремль охраняли — казалось бы, мыши неблагонадежной не проскочить, не то что человеку. Выдачи всяких билетов, жетонов, значков, установлявших разреше-

ние присутствовать при торжествах и, следовательно, несколько приближаться к высоким особам, производились по такой тщательной и придирчивой поверке личности, что многие корреспонденты, отчаявшись в собственной благонадежности, посылали своим газетам отказные телеграммы от принятых на себя обязанностей и, махнув рукой, уезжали восвояси: присылайте других! И в то же время один веселый журналист держал пари с товарищами, что он, не имея никаких приглашений, удостоверений, билетов, значков и жетонов, тем не менее будет на дворцовом балу, куда и самых благонадежных-то просевали сквозь частое сито, так что и десятой доли их во дворец не попало. И выиграл пари, хотя для того, чтобы попасть на бал, ему пришлось пройти три поверочные заставы, казалось бы, одна другой строже. И пройти их не стоило ему ни подкупа, ни самозванства, вообще никаких предательских и коварных ухищрений, а только большого нахальства и хладнокровия. Одну заставу он просто прошел молча, с таким величавым достоинством в безукоризненно осанистой фигуре, что приглашение, можно сказать, на лбу у него было написано, и измученный контроль, лишь скользнув по нем глазами, a priori* решил, что у этого медлительно шествующего, самоуверенного барина с печатью безукоризненного патриотизма на челе проверять пропуск излишне: свой! На второй заставе чуть было не вышло заминки, но:

— Вы, кажется, не узнали меня, полковник? — удивленно спросил он, мигнув левым глазом с такою авторитетно-двусмысленною фамильярностью, что полковник, брезгливо подернувшись, только посторонился, чтобы дать ему дорогу, проклиная внутренно путаницу бесчисленных охран, у каждой из которых свои агенты, а ты вот изволь-ка помнить все их милые физиономии.

---

* Без доказательств (*лат.*).

На третьей заставе журналист, не ожидая, чтобы кто-либо к нему обратился с вопросом, сам прямо протянул дружескую руку:

— Ваше превосходительство, счастлив вас видеть в Москве и в добром здоровье... Не узнаете? Граф X... (он действительно когда-то имел право на титул)... Встречались у Констанина Петровича и митрополита...

Генерал не совсем ясно помнил, но узнал, а узнав, как же было контролировать графа X..., бывающего с ним вместе у Константина Петровича и митрополита? Тем более что позади осталось два контроля, которые — естественно предполагалось, — конечно, уже проверили графовы права. И, в конце концов, журналист гордо разгуливал по пышным дворцовым залам гостем среди гостей — к великому удивлению и зависти коллег своих, засунутых церемониймейстером в какой-то профессиональный угол — «за задний стол, с музыкантами»...

Улицы превратились от рогаток и канатов, от прещения пеших и конных городовых и жандармов в бестолковый лабиринт. Бывали такие случаи. Ступай назад! тут нельзя! Ну, нельзя так нельзя. Поворачивает и идет обратно к той улице, с которой вошел. Ан тем временем какая-то другая из бесчисленных полиций уже распорядилась и тут протянуть канат и поставить пешую или конную кустодию.

— Нельзя!

— Да, батюшки, куда же мне?

— Живете здесь?

— Кабы... А то домой спешу: мы из-под Донского.

— Далече?

— Верст пять.

— Подождите офицера: в уважение к дальности местожительства может и простить не в пример прочим.

— А скоро офицер будет?

— А кто ж его знает? По постам обходом пошел, должно быть, скоро.

И, покуда являлся офицер, метался злополучный обыватель, запертый двумя канатами в совсем ненужном ему переулке, как мышь в мышеловке... Приходил наконец офицер, сконфуженно сверял инструкцию с планом и — либо только руками разводил, если она совпадала с действительным назначением, либо смущенно убеждался, что он запер совсем не тот переулок, который велено... План города был изучен так плохо, что серьезно держался слух, будто какой-то из петербургских полков опоздал к царскому параду потому, что запутался в незнакомых переулках и пошел в направлении, совершенно противоположном назначению. Было будто бы и то, что посты, назначенные в Ваганьковский переулок, неизвестно от кого охраняли целый день усиленною стражей покойников Ваганьковского кладбища.

Охраняли, оберегали, оцепляли... и наряду с тем вдруг позабудут и оставят без внимания проходной двор на Тверской или Никольской либо трактир с выходами на две улицы. При проезде высоких особ запрещалось иметь открытыми окна, все чердаки были проверены, в Замоскворчье от великого усердия обысканы даже голубятни и велено снять скворечники в садах. А — на спектакль gala в Большом театре устроили такую путаницу пригласительных билетов, что в одной из лож второго яруса, ближайших к царской, поместилось какое-то — правда, при последующей проверке оказавшееся весьма благонадежным и патриотическим, но тогда-то совершенно никому не ведомое семейство одного из театральных чиновников... В Нескучном саду чуть не за каждым деревом поставили солдата с ружьем, но — забыли заделать выбоину в стене, выходящей на пустырь... Все это, и правдивое и ложное, и факты и выдумка, смешанным гулом гудело по Москве, волнуя возбужденную мысль и сливая пестроту слухов в беспокойную неуверенность, в предчувствие, ожидающее недоброго. Решительно никто не был от него свободен, и только никто не знал, что придет и как оно придет.

* * *

Несмотря на дальнее расстояние до Ходынки, Альбатросов решил сделать всю дорогу пешком, чтобы понаблюсти, как народ будет собираться на свой праздник. А это оказалось в самом деле любопытным. Пока он шел пустынными переулками, из подъездов и калиток в запертых еще воротах, словно черные капли, выпадали отдельные фигуры людей, будто стены домов сочились ими, и спешно катились все в ином направлении, покуда где-либо на перекрестке с переулком полюднее не встречались с такою же спешною темною каплею. Слившись, они вились дальше по тротуарам уже не каплями, но жиденькою черною струею, которая густела, пересекаясь с каждым новым переулком, так что к Арбатской площади она выбежала уже довольно людным и бойким двойным ручьем. Альбатросов оглянул площадь: такие же черные ручьи ползли по ней с противоположной стороны, со Знаменки и Воздвиженки, соединялись в устьях улиц и бросались в людскую речку, которая перерезывала площадь вдоль — от Пречистенского бульвара к Никитскому. Речка полнела и ширилась, и у Никитских ворот образовала уже широкую заводь, изливавшуюся далеко на Тверской бульвар половодьем во всю его ширину. Альбатросов подумал, что он сократит путь, если пойдет по Бронным, где, быть может, кстати, и не так будет тесно, как обещает скоро стать главный путь по Тверскому бульвару и по Тверской. Но и на Бронных кипело народное наводнение — да еще и в два потока. Один стремился впасть в Тверской бульвар, другой, встречный, с которым поплыл и Альбатросов, стремился обогнуть Тверскую рукавами переулков и впасть самостоятельно и прямо в то широкое море, которое теперь должно представлять девятиверстное пространство от Триумфальных ворот и дальше, дальше вдоль Петербургского шоссе, вглубь к Ходынскому полю. Чем ближе к этому устью, тем гуще плыла река-толпа, улица перегородилась естественно сло-

жившимися в стройность густыми шеренгами, — и чем гуще становилась толпа, тем быстрее становился ход ее, словно каждый торопился обогнать своего соседа, а сосед, заразившись тою же торопливостью, налегал на ногу, как только мог, чтобы никому не дать опередить себя на пути к какой-то неведомой драгоценной цели... И в результате стремления всех этих частиц почти бежала — не шла вперед, а именно, как наводнение, неслась вся масса.

Многое поражало Альбатросова в народной реке, во многом он раньше и представлял ее, и ожидал увидеть совершенно другою. Прежде всего была удивительная внутренняя тишина, с которою она катилась. То есть шум-то был, и даже большой, но он слагался как-то независимо от воли этой толпы, не эмоционально, а сам собою, одною механикою ее движения, и, как всякий естественный, необходимый звук, не поражал быстро приспособлявшегося к нему слуха тех, кто был внутри самой толпы.

Топот каблуков и шарканье подошв о плитняк тротуаров и булыжники мостовой — для тех, кто слушал его сверху, из окон, — был так силен и резок, что казался щелкающим громом, словно кто беспрерывно хлопал в возбуждении пастушьим кнутом. Шелест платья, чуть слышный на каждом отдельном человеке, шипел, будто целая дубрава под ветром раскачала бороды своих берез и осин; говор, тихо и мирно исходящий из тысяч глоток, наслоял над толпою непрерывный рев, подобный грому, — и всех, кто спросонья смотрел в окна на бег народной реки, невольно брало, порою даже откидывало от зрелища жуткое изумление: «Эка силища! Ну и галдят!» Казалось, что толпа страшно кричит, а между тем в ней самой — в любом месте взять — было тихо. Альбатросов видел вокруг себя не крикунов, не горланов, а степенно, слишком степенно идущих, в обычных разговорных тонах, не повышая голоса, словечками меняющихся людей. Он, конечно, слышал мощный шум и рев шествия, но ему каза-

лось, что шумят и ревут где-то — либо впереди, либо позади, — а рядом тихо: его угораздило попасть в какой-то особый угол, в специально подобравшийся кусок людей смирных, серьезных, чуть не печальных... И странно было догадываться, что это не так, что и они, эти смирные соседи, и сам ты, спокойно шагающий, — частицы, из которых слагается народный гром...

Удивительно и странно было Альбатросову настроение толпы. По Москве, покуда переулочки капали людьми-каплями, покуда переулки собирали их в ручьи, а второстепенные улицы в речки, народ пестрел веселыми лицами, люди смеялись, шутили, перекликались остротами... Но чем дальше шла к цели и густела от новых приливов масса народная, она темнела и скучнела, словно над нею солнце не всходило, а заходило: реже звучал смех, шутки замолкали, улыбки понемногу гасли на лицах, и глаза понемногу наполнялись упрямым выражением хмурого любопытства... Точно эти люди не праздновать и веселиться шли, а тянул их неисповедимою силою фатум какой-то к неведомой и опасной цели, тревожность которой они теперь поняли и, поняв, каждый за себя испугался. Но поворачивать уже поздно: толпа несет — мчится и — будь что будет! вперед! вперед!.. Народ шел и угрюмел шаг за шагом... Почти единственная шляпа среди моря картузов и платочков, Альбатросов, наблюдая, как мрачнеют ближайшие к нему лица, сперва подумал было, уж не он ли причиною этой перемены — барин, затесавшийся незваным-непрошеным в глубину народной силы, которая сегодня хочет быть на празднике одна и сама по себе. Но, вглядываясь дальше, он убеждался, что он тут ни при чем: его едва замечают, и присутствие его никого не волнует больше, чем присутствие всякого рядом шагающего соседа. Нет, угрюмеет не этот вот лавочник в пестрой жилетке, не тот вон дворник-верзила с бородавкою под глазом, не та иконописная, на ястреба похожая, зоркая и прямая, как палка, старуха

мещанка в синем платке, — всею толпою овладело беспокойство, все начинают поглядывать друг на друга хмурыми очами, с опаскою и тоскою, все лица злы...

«Устали, что ли?» — с любопытством догадывался Альбатросов.

Но устать еще было не с чего. Он сам, барин, не ощущал еще усталости от ходьбы, хотя начинал уже чувствовать давящую духоту, выделяемую идущею толпою. И не об усталости говорили угрюмевшие лица, но о злости и испуге — об испуге, из которого рождается злость... Словно всякий вдруг внезапно прозрел на своего соседа и прочитал в душе того, что от него можно и должно ожидать всякой мерзости, и хотел отстраниться от неприятного человека, — ан отстраниться-то некуда. К Триумфальным воротам река-народ выкатился из Брестской еще не плечом к плечу, однако уже нельзя было протянуть руки без того, чтобы она уперлась в чужую спину, плечо либо бок... И здесь были уже такие, которые, покачивая головами, вдруг начинали выбиваться из толпы-реки, норовя свернуть из нее в сторону и выбраться куда-либо к берегу, в свободный проход. Усилиями этих благоразумных возникали круговороты толкущихся голов. Но большинство скоро соображало, что протолкаться, вразрез течения толпы, к Брестскому ли вокзалу, в Лесную ли улицу, к Миусам, на Камер-Коллежский ли вал сейчас еще труднее, чем плыть по течению, и откладывало бегство до ожидаемого большого простора: вот — кончатся здания, минем Яр, ипподром и выставку, и будет беспредельное широкое поле, на котором рассыплется народ, и тогда вольно будет свободно уйти от него — хочешь вправо, хочешь влево, хочешь в Петровский парк, хочешь вперед хоть до самого Всехсвятского.

Но, когда, колыхаясь в черной народной волне, добрел Альбатросов до этих чаемых пределов, представилось его глазам нечто, чему он сперва не поверил, а когда поверил, то

мурашки пробежали по его разгоряченному ходьбою, толпою и теплым майским утром телу, — и, оглядывая соседей, он видел, что и они столько же изумлены, смущены, подавлены и испуганы им представившимся зрелищем: ожидаемого поля не было. Оно исчезло под народом. И так исчезло, что нельзя было даже сказать о нем: на нем был народ. Нет, впечатление было такое, словно оно заросло народом.

Уже давно казалось Альбатросову, что в бирюзовом блеске прекрасного утра впереди странно сереет низко по небу полоса невесть откуда взявшегося, густого, чуждого дню тумана. Теперь он ясно видел пред собою — как будто сизое облако спустилось с неба на землю от края до края, а под облаком колыхалось, куда глаз ни хватал, черное ревущее море. И «куда глаз ни хватал» не было тут метафорою, а в самом деле Альбатросов, старый москвич, напрасно водил глазами, стараясь определить, где же кончается толпа, разыскивая знакомые очертания на горизонте. Их не стало, линия горизонта — как в открытом море волнами — была обрезана народом, и небо на все четыре стороны света опускалось прямо в черноту толпы, и солнце, еще недавно зажегшееся и невысоко плывшее, тоже поднялось будто из глубин толпы... И каждого при взгляде на необозримое скопище человеческое, подобного которому никто в жизни своей не видал, да с тех пор и не бывало, каждого брала оторопь от сознания того, что человек телом своим заслонил от неба ширь мать сырой земли и сам стал как бы новою, шестою стихией. Течение толпы подняло Альбатросова на кучу пришоссейного щебня, и, созерцая пугающую даль, он невольно вспомнил жуткий тургеневский сон о светопреставлении: «Гляньте, гляньте, земля провалилась!» — и «вдоль всей далекой земной грани стали подниматься и падать какие-то небольшие, кругловатые бугорки» — наступающее, растущее вверх море... И смутно предчувствовалось инстинктом самосохранения, что войти в человеческое море может вся-

кий, но выйдет из него — только тот, кого оно захочет выпустить...

С удивлением видел Альбатросов, что почти все лица кругом имели теперь нездоровый вид: худые стали серыми и бурыми, точно их земля крыла, толстяки наливались неестественною краснотою и, беспрестанно отирая крупные бусины пота, пыхтели частым и тяжким дыханием, трудно воздымая груди и плечи, насильственно выжимая из легких медлительные, искусственно глубокие вздохи. Альбатросов сам чувствовал, что в висках его началась стукотня, будто от угара, и грудь теснит, и время от времени толпа и воздух делаются слегка зелеными... «Не мог же я угореть на чистом воздухе?» — с недоумением соображал он, но в эту самую минуту близко к нему шедшая баба, которую он еще у Триумфальных ворот запомнил румяною и улыбающейся, как широкая масленица, вдруг с выражением злобы и ожесточения на позеленевшем, как трава, лице задвигала руками, толкая народ с неженскою силою, пробилась на край шоссе и повалилась на четвереньки в пришоссейную канаву, стоная, кашляя, отплевываясь в лютой тошноте....

— Должно быть, беременная, — сказал Альбатросов соседу, которым теперь был долговязый и сухопарый парень в извозчичьем кафтане.

Но тот, покосившись желтыми глазами, проворчал:

— Надышал народ-от.

И, когда Альбатросов понял эти слова и ясно ему стало, что это сизое облако, которым густо кроется море-поле, сложилось из отравленной и отравляющей смеси человеческого дыхания, испарений, пыли из-под ног и табачного дыма и что это от него, от облака, так скверно во рту и ноздри полны гнилым капустным запахом, от которого горло то и дело сжимается мутящею судорогою, опять холодком подернуло его по спине среди майского утра... А люди кругом все чаще и чаще прокладывали себе дорогу к пришоссейным канавам

и сквозь ровный, гулкий рев моря-поля прорывались оханья, стоны и отвратительно задыхающееся кудахтанье новых и новых заболевших...

На одном повороте течение, тащившее Альбатросова, столкнулось с другим течением и, закружившись в встрече, внезапно поставило Альбатросова лицом к лицу со знакомым участковым приставом, который, стесненный народом, пытался продолжать быть начальством и делал вид, будто он здесь нарочно находится и чем-то распоряжается и кем-то командует, в действительности же он просто отбился от наряда и, увлеченный толпою, теперь сам не знал, куда шел и как попал туда, где находился, и где толпа выбросит его на какой-нибудь свой берег.

— Батюшка, Флавиан Константинович! — изумился он. — Вы-то зачем? Куда?

— Туда же, куда и все...

— К витринам? Я тоже, пойдемте вместе.

Альбатросов повернулся уже не без труда, настолько сгустился народ, и пошел с приставом, быстро подхватившим его под руку.

— Напрямик вам не пройти, — говорил пристав, — страшная давка, народ стоит стеною, а я вас проведу в обход...

Несколько человек, слышавших обещание полицейского, тоже перенырнули из своего течения в его... Но это говорилось вслух и нарочно, а на ухо Альбатросову пристав прошептал:

— И не думайте! Там смерть... Помяните мое слово, если мы сегодня не подберем по крайней мере сотню задавленных...

И в коричневых, неестественно округленных глазах его Альбатросов прочитал растерянность и ужас... Но вообразить себе сотню — сразу в один день, в несколько часов — задавленных, — чтобы народ сам собою, без всякой внешней силы мог — простым своим трением умертвить целых сто чело-

век, — этого он не смог, не поверил и подумал про себя: «Эка хватил! Труса празднует… Ну, пятерых-шестерых... ну, десяток... Но — сто человек! это целая рота солдат!»

В обход пристав вел Альбатросова долго и, конечно, к витринам не привел, а, напротив, увел от них… После новой получасовой качки в человеческом море случайно волна взмыла совершенно измученных Альбатросова и пристава на какие-то бугры, где люди уже не двигались, но стояли, а стояли хотя и тесно, но по крайней мере не плечом к плечу... И не так душил здесь ужасный угарный дух человеческого тела...

— Вот уж, извините за выражение, охота пуще неволи, — пыхтел пристав, отдыхая и наскоро куря, — ну, мы, грешные, хоть по обязанности... А вам-то что?

— Надо же видеть... Тоже по обязанности.

— Помилуйте! разве тут можно что-нибудь видеть? Словно в воду окунувшись: на два шага что-то мигает, а дальше — как занавес… Ну-с, засим до свиданья... Долг службы: пойду искать свою команду... А вам советую остаться, где стоите: верьте опыту — кости целее будут...

И тотчас же Альбатросов убедился, что сравнение пристава было правильно: едва отойдя от Альбатросова, он буквально в трех шагах стал уже невидим, словно волна захлестнула его и сразу пустила на дно... И так там внизу, в народе, было со всеми. Огромность толпы одуряла, приглушала внимание. Альбатросов минут десять качался в народе почти рядом с метранпажем из типографии, в которой часто бывал, и оба долго смотрели друг на друга, как чужие, будто не узнавая, не кланяясь, не разговаривая, словно каждый каждого почитал не за живого человека, а видел во сне. И вяло, и чуждо обменялись они наконец словами приветствия, совсем не так, как радостно встречаются в небольших толпах, где-либо на гулянье, в театральном зале, на музыке, сколько-нибудь знакомые лица и взгляды. Здесь же — словно эта толпа-стихия

громадностью своею уничтожила смысл индивидуального знакомства. Каждый человек — капля; капля встречается с каплей — не все ли ей равно, соприкасалась ли она уже когда-нибудь с этой каплей или сливается с нею в первый раз? Либо все капли знакомы, либо все незнакомы, и это безразлично объединившей и переливающей их стихии, и ее безразличие принижающе порабощает и самые капли, каждую в отдельности.

Наверху было легче, и люди чувствовали себя опять людьми.

Разговаривая с соседями, Альбатросов убедился, что все, стоящие на бугре, беглецы, сробевшие пред бушеванием поля-моря, очень счастливы теперь тем, что вышли из него только с помятыми боками. Но не все оставались стоять. Через бугор тянулась, как длинная муравьиная дорожка, полоса людей, проталкивавшихся обратно с поля по направлению к издалека темневшим выставочным зданиям. То были окончательно измученные и заболевшие страхом толпы, утратившие не только любопытство, но, кажется, и все прочие побуждения, кроме одного — «уйти от греха»...

И опять Альбатросов видел, что люди хмуры и злы.

— Помилуйте, — говорил ему, сердито двигая белыми бровями, старик торгового вида, с жидкобородым и в странных, будто рубленых, шрамах лицом, — помилуйте, господин... Вот мы с вами теперь стоим здесь и полагаем себя в безопасности... А между тем не дай Бог — народ по какому-либо случаю всколыхнется и побежит... Весьма многие должны проститься тут со своим существованием, потому что — даже и в безопасном нашем месте, — извольте обратить внимание: под ногами — волчьи ямы.

И он тыкал пальцем на неглубокую, аршина в два рытвину, на краю которой они стояли: в прошлые годы отсюда брали глину, а весна ее размыла вширь и вытянула вдоль...

— В этакий капкан как пойдут люди падать, а по людям люди ногами топать, только косточки захрустят... А ям подобных здесь сотни. Нам поле достаточно хорошо известно: недалече живем. Конечно, ежели на нем примерное сражение устраивать, то лучше невозможно, потому что с Тушинского вора мы, москвичи, обучены воевать на этом поле. Ну а для праздника не грех было бы начальству поле-то и выровнять...

— Ишь вам чего желательно! Поле равнять! А какие тысячи нужны на это? — насмешливо ввязался чернобородый приземистый мужчина в пиджаке, по типу из железнодорожных артельщиков.

Но старик окрысился на него:

— Тысячи! Известно, не даром... А вы вон эти тысячи сосчитали?

И он широким жестом обвел горизонт.

Артельщик сконфузился.

— Да это, конечно... это что ж... — согласился он глухим воркотом.

Старик продолжал:

— Рассчитывало начальство, что будет на праздник двести тысяч человек, а навалился миллион... Это надо учесть или как, по-вашему?.. И не велика сласть обещана, но даровщина-матушка и в высокоторжественный день — кому не лестно?.. Я вот старик, а пришел, и вы пришли, и господин вон пришел. И между прочим, хотя стоим мы сейчас на сем безопасном бугре и я очень много тем доволен и назад в толкучку толкаться, хоть озолоти меня, не полезу, жалеючи своего живота, однако при всем том мне сейчас также очень горько и обидно, что я не выдержал своего характера и не протолкался к раздаче... Завидно будет смотреть на других, когда пойдут домой с кружкою и пирогом... Хотя, между прочим, пироги, наверное, гораздо лучше у нас с вами дома бабы спекут и кружки этой образчик я видел, выставлен, грош ей

цена, а посуды хорошей у меня в шкапу — полки ломятся... И, ежели при всем том даже меня, старика, издали берет азарт, то какой же перебой должен теперь возникнуть между достигшей публикою? Вон они — витрины-то... рукою подать... а ну-ка!.. досягни!..

Досягнуть было трудно, хотя до витрин раздачи действительно было рукою подать. Не более ста метров отделяло их от бугра.

— Началась уже раздача? — спросил Альбатросов старика в шрамах.

— А кто их знает? Разве разберешь? Колышется народ... буря!

— Была пушка, была, — вмешался чернобородый.

— Какая пушка?

— Обыкновенно какая: военная. Сигнал пушкою был даден.

— Никакого сигнала мы не слыхали, — удивился старик.

— Коль скоро вам заложило уши...

— Ври больше! — презрительно оборвал кто-то со стороны, — не было пушки. Придумал тоже! Артиллерист!

— Сигнал колоколом должны дать, а не пушкой...

— У Финляндского на заводе, что ли, служите?

— Нет, мы по прянику.

— Удивительно! А между прочим, льете колокола!

— Ракету пустят.

— Да была уж ракета!

— Вы видели?

— Я-то видел!

— Глазасты!

— А вы очки наденьте: увидите.

— Не умею видеть, чего в природе нет.

— Ну, так колокола своего подождите... авось, в Всехсвятском зазвонят к обедне, ха-ха-ха-ха!

— А то пушку... Хо-хо-хо!

— Га-га-га!

— Пономарь какой нашелся — в колокола звонить.

— Артиллеристы-черти!

— Ракетчики!

И опять недоумевал Альбатросов, откуда берется злоба этого странного, уже не обычного, безразлично трунящего московского зубоскальства, но по-настоящему задирающего смеха и язвительных слов, бросаемых друг в друга незнакомыми людьми с нескрываемою яростью и готовностью — свирепо побранившись малую толику — перейти хоть врукопашную... Он отодвинулся от кучки, в которой закипала ссора, пошел вдоль ямы. Странным образом и в себе самом начинал он чувствовать то же беспредметное раздражение, что трепетало во всех... Яд сизого облака действовал.

— Флавиан Константинович!

Он оглянулся на женский голос и невдалеке, на пустыре, где публика чернела уже не сплошь, а частыми пятнами, увидал небольшую группу «господ», из которой улыбалась ему и делала знаки Алевтина Андреевна Бараносова, а рядом с нею высилась башнею грузная фигура Истуканова.

— И вы в народ? — удивился он, подойдя.

— Да вот, — показала она, — Сережа и Василий Александрович уговорили...

— Нельзя же, тетя, — сказал студент, — не каждый день бывает. Да и необходимо вас проветрить: так, безвыходно сидя при Анне Васильевне, недолго свалиться и самой.

— У меня, Флавиан Константинович, теперь тяжелобольная на руках, — грустно пояснила Алевтина Андреевна, — знакомая ваша... Зарайская Анна Васильевна... чуть жива!..

— Та-ак, — многозначительно протянул Альбатросов, — слышал я, очень жаль...

А тон и глаза его сказали: «Еще бы здоровою быть... не удивляюсь!»

Алевтина Андреевна учла этот тон и взгляд.

«Следовательно, уже пошла по городу молва, — подумала она, — Альбатросов все знает...»

И с равнодушною ласковостью спросила:

— А вас почему не видно у нас? Летаете?

— И очень, к сожалению...

— Газета посылает?

— Нет, то и досадно, что добрая воля... Только строчки теряю.

И, помолчав, прибавил с усмешкой:

— Имя княгини Латвиной, Анастасии Романовны, вам, конечно, знакомо? Удостоился как-то втянуться в ее кружок и вот целый месяц блуждал, как некий атом в хвосте этой блистательной кометы... То в Новгородской губернии на охоте, то в Петербурге зачем-то, то по заводам ее... Последнее могло бы быть интересно, но ничего не видел. Был на Порховской мануфактуре, был на Тюрюкинском сталелитейном заводе, был на бумажной фабрике, учреждали при мне новую фабрику какой-то сульфитной целлюлозы... Мог бы, одним словом, если не изучить, то узнать пять-шесть производств, но вместо того как-то оказывалось, что все они производят только шампанское. В шампанском — хоть купайся, а к делу госпожа хозяйка и архангелы не подпускают. Все обещают показать и ничего не показывают. Либо так показывают — даже оскорбительно: словно ребенка на педагогическую экскурсию ведут по заранее расписанному маршруту, и сбиться в сторону — а ни-ни!.. В результате: видел сотни машин и ни об одной не знаю, на что она и как действует, видел тысяч двенадцать разных рабочих и ни с одним из них не мог перемолвиться словом, узнать, что они за люди теперь стали и как живут и что думают... Препостыдное путешествие вышло! Уж лучше в самом деле шампанское пить... И еще не кончено: завтра еду к ней в Нижний... Приглашает телеграммою... Какой-то там высокоторжественный праздник нам предстоит...

— Вот как! — протяжно произнесла Алевтина Андреевна. — Веселитесь, значит?.. Да-а… Костю нашего там не встречали?

— Ратомского?

И так же протяжно и неискренно, стараясь ослабить безразличными, бледными словами заведомо неприятное сообщение, Альбатросов продолжал:

— Он там картину продал, «Ледяную царицу»… Княгиня и Татьяна Романовна в упоении... Сейчас Константин Владимирович там первый человек... Да неужели вы его не видали?

— Нет... где же?

— Странно! Он в конце прошлой недели должен был проездом в Нижний быть в Москве.

— Должно быть, уж очень скоро проехал, — горько улыбнулась Алевтина Андреевна, — не зашел...

Алевтина Андреевна оперлась на его руку.

— Отойдем… Мне надо вас спросить.

И, глядя прямо ему в глаза своими карими честными глазами, пред которыми невозможно было лгать, спросила:

— Женится?

— Не знаю… похоже... — смутясь, отвечал Альбатросов. — Прямых разговоров нет, официально ничего не объявлено... но... атмосфера, знаете, такая... как-то пахнет свадьбою... И лица... У всех женщин веселые и лукавые, а у Кости стало глупое и самодовольное... Уж это верная примета, что — к свадьбе...

— На Татьяне Романовне женится?

— Да... по-видимому! — с раздраженным удивлением отвечал Альбатросов. — Вот подите же...

— Что же она? Влюблена в него очень?

— Незаметно... Он больше при княгине вьется и красуется, а Татьяна, по обыкновению, одна где-нибудь в креслах видит сны наяву, зевает, кутается в платок, читает скучные

книги и играет в шахматы, если есть интересный противник... На невесту непохожа.

— Странно... Может быть, сплетни?

— И того не посмею отрицать... Хотя намеки на свадьбу слышал от самой Марьи Григорьевны… Есть при княгине такая всемогущая особа…

— Помолвки, однако, не было?

— Не присутствовал... Но вот в Нижний я приглашен... боюсь, что едва ли не для этого.

— Я об этой Тане Хромовой много хорошего слышала, — раздумчиво сказала Алевтина Андреевна, — говорят, с душою девушка. Странно мне, что она за Костю замуж идет... Обстоятельства его ей известны... Неужели не понимает, что это все равно как если бы Аню взять за горло и задушить собственною рукою?.. И вот вы говорите, даже не влюблена, просто *так* выходит... Зачем? Берет чужое, себе ненадобное... Ведь это же даже не безжалостно, тут звериное что-то... словно по половику идут, топчут живого человека... Если она в самом деле хорошая...

— Хорошая, — с убеждением сказал Альбатросов, щурясь на ревущую даль толпы. — Странная, может быть, даже больная, но в основе очень хорошая.

— Может быть, не знает?.. Может быть, Костя, по своему легкомыслию, навоображал и наговорил ей каких-нибудь пустяков?.. Может быть, она думает, что между ним и Анею все кончено?

— Я, Алевтина Андреевна, в этой истории посторонний человек и ничего не знаю, — со скукою возразил Альбатросов: по своим некоторым причинам ему становился очень неприятен этот разговор.

— Если она хорошая, я напишу ей письмо... Боже мой! Ну что это? Пусть дадут женщине умереть спокойно... Ведь недолго ждать, она совсем больная... Я, Флавиан Константинович, напишу? А?

— Вы Косте на Тюрюкинский завод писали? — не отвечая, спросил он с любопытством.

— Да сколько же раз! — возразила она с отчаянием. — И никакого ответа... Мы все так удивлены... Доходят ли до него письма?

— Не доходят, — решительно сказал Альбатросов. — Он сам при мне удивлялся, что с тех пор, как оставил Котково, не имел ни одного письма ни от Анны Васильевны, ни от вас...

Алевтина Андреевна округлила наивные глаза свои.

— Что же это значит?

Он повел плечом.

— Сообщаю факт...

Она подумала и сказала:

— Вы завтра в Нижний едете?

— Да, вероятно.

— Если бы вы были так любезны... если бы я дала вам письма, вы могли бы передать им... Татьяне Романовне и Косте?

Альбатросов живо сделал рукою отрицательный жест.

— Нет, Алевтина Андреевна, не возьмусь... Извините... увольте... Мне вмешиваться в эту историю неудобнее, чем кому-либо другому...

— И вам тоже бедной нашей Ани не жаль? — грустным упреком вздохнула Алевтина Андреевна.

— Очень жаль...

— Тогда почему же?

— Потому, — с усилием над собою и слегка краснея, возразил Альбатросов, — потому, что я сам... обо мне самом говорили, что я рассчитываю получить руку Татьяны Романовны... И... что же? Тут нет ничего стыдного... я откровенно признаюсь: не без основания... Если теперь в самом деле затевается эта свадьба с другим, посудите сами, какой это вид будет иметь, что через меня будут переданы же-

ниху и невесте письма, которые должны расстроить их брак. Есть, Алевтина Андреевна, в общежитии нашем некоторые щекотливые моменты и условия, которых наша мужская честь трепетно боится и должна себя от них беречь...

Алевтина Андреевна покачала головою под коричневою соломенною шляпою своею.

— Ох уж эта мне ваша мужская честь! — произнесла она с досадливою печалью. — Ничего я в ней не понимаю. Нечеловеческое что-то. Там, где в самом деле чести надо, человеческой чести, уважения к человеку и к себе самому, она — в бессрочном отпуску, вот как у Кости нашего беспутного. А где не надо, где предрассудки и условности бесчеловечные на сцене, она тут как тут — вступается и мешает жить... Один позволяет, чтобы больную женщину, которую он сам любит, опутали интригою и на край гроба поставили — только потому, что он, видите ли, честное слово дал молчать и мужская честь не позволяла ему любимую женщину предупредить об интриге, против нее сложившейся...

— Вы, конечно, Реньяка имеете в виду?

— Да... Тоже вот, как вы, рассуждает: это имело бы вид, что я, сам любя женщину, хочу дискредитировать в ее глазах соперника, которого она любит... Как будто Костю можно дискредитировать! Как будто Аня не знает его насквозь!.. Ну, и домолчался до того, что могила открылась... И ходим мы вокруг Ани да могилу эту от нее загораживаем: не увидала бы, не бросилась бы в нее сама без оглядки... А теперь вы... Зачем вы мне отказываете? Не так уж трудно. Не на дуэль вызывать Костю прошу я вас.

— Алевтина Андреевна, как я ни презираю дуэльные пошлости, поверьте: если бы я имел право, то с большею охотою даже вызвал бы Костю на дуэль, чем это...

— Да уж хорошо, хорошо... разве я настаиваю?.. Только жаль очень...

— Не гневайтесь на меня... право же, это надо понять...

— То-то вот и есть, что надо, а мне, по женскому моему чувству, трудно...

Вернулись к своей группе и стали смотреть в толпу. Ее грозный, ровный, морской рев, слушаемый отсюда, немного сверху и все-таки хоть сколько-нибудь издали, разнообразился, вспыхивая по местам какими-то особо мощными взрывами звуков, точно там были скалы, на которые стремились, разбиваясь в пыль, самые тяжелые и ярые волны.

— «Ура кричат», — сказал Сережа. — Должно быть, государь едет...

— Нет, — возразил Истуканов. — Государя ждут только к десяти часам...

А ревы все учащались, росли все мощнее, рыканиями звериного стада катясь от четырех сторон горизонта, чтобы сосредоточиться у витрин раздачи, где теперь гремела непрерывная голосовая буря, от натиска которой отравленный воздух дрожал, точно от канонады...

— Эка народ-то русский. Нет терпения подождать! — говорил, качая головою, старик в шрамах.

— Балуются...

— Сами говорите: ждали двести тысяч, а пришел миллион... как терпеть? Каждый опасается перебою.

— Ах, и жаден же, ах, и жаден же на даровщинку народ! Я такого мнения: объявите завтра, что будете даром раздавать старые коробки из-под шведских спичек либо использованные бандерольки с газет, такую же получите толкучку...

— А-а-а-а-а-а-а-а! Ррра-а-а! Ррра-а-а! Ах! Ах! Ррах!

— Эка грому... орут, еще ничего не видя...

— Скучно стоять-то... ноги затекают... хоть горлом поиграть... Давайте, что ли, и мы?

— Ничего не видя?

— Перекликнемся... Ура-а-а!

— А-а-а-а-а-а! Ррах! Ррах! Ррах. О-о-о!..

И катился железом грохочущий вопль, оседая островами на рокочущем поле-море, и сколько было этого «ура» и с такою силою, в таком единстве звука царило оно вместе с сизым облаком над народом, что, казалось, от горизонта до горизонта нет сейчас ни одного другого звука, кроме однообразного длящегося победного рева...

А звуки другие были — и звуки страшные, отравные, — горькие звуки смерти. Но никому почти не слышны были они, поглощенные слитною гармонией сотен тысяч голосов, никому, кроме того ограниченного круга на поле у витрин, в который в это время ворвалась и пошла косить смерть. И в то время, как все остальное поле думало, что там веселятся и радуются, и завидовало их веселью и радости, — там погибали, калечились, задыхались и умирали. И никто из стоящих на бугре не подозревал за грохотом человеческого моря, что в каких-нибудь пятидесяти саженях, за плотною народною стеною, совершалось то страшное дело, которое навсегда отмечено в угрюмой памяти русского народа коротким зловещим прозвищем «Ходынки».

* * *

Ждали двести тысяч, а пришел миллион.

В этих словах вся разгадка ходынской давки и паники. Произнесенные одним голосом, они извиняли; другим — осуждали.

— Виноваты ли мы, что пришел миллион, когда ждали только двести тысяч?

— Зачем же вы ждали только двести тысяч, когда пришел миллион?

Так перекорялись обвиняющие и обвиняемые голоса непосредственно после Ходынки, так перекоряются они, собственно говоря, еще и теперь.

Миллиона не было, но 800 000 пришли. Это обстоятельство и сделало Ходынку. Так называемая нераспорядитель-

ность властей ее только доехала. Нераспорядительность же эта родилась из безобразного местничества, бесконечно насаженных на временные посты, перепутавшихся в функциях и чуть не поголовно перессорившихся между собою военных и гражданских чиновников, от малых рангов до самых великих. И, наконец, третьим решающим фактом Ходынки явилась глубокая уверенность собравшегося народа, что если не попасть в первую очередь коронационной раздачи, как только откроются трибуны, то и уйдешь несолоно хлебав, потому что чиновники украли царские подарки и оставили только немножко для закрасы. Пораздадут несколько тысяч закрасы этой первым счастливцам и, ссылаясь на великое скопище народа, прекратят раздачу, уверяя, будто все уже роздано, а потом будут потихоньку продавать драгоценную кружку господам. Патриотически настроенное воображение рисовало коронационную кружку в таком великолепии, что многие, особенно из деревень, добившиеся этого дара, не хотели верить, будто она — та самая, настоящая, что именно из-за нее-то рисковали они увечием и самою смертью, и уходили с убеждением, что чиновники все-таки успели сделать свое и дары если не все украли, то подменили. Это предвиделось и предупреждалось. Дары и коронационный рубль заранее публично выставлялись напоказ, чтобы народ видел, что все по чести. Но доказательство видимостью владеет тысячами, а молва и надежда сотнями тысяч, и выставка даров от ложной мечты о них и от последующего разочарования их не отстояла.

Откуда взялся этот «миллион» народа и почему он таким неожиданным оказался для властей?

Потому что масштаб празднества был взят по коронации 1883 года, с малым присчетом на прирост народонаселения за истекшие тринадцать лет. Но упустили при этом из вида, что та старая коронация была сравнительно бедная и скупая, а эта богатая и роскошная. Что тяжкие политические

обстоятельства заставляли правительство откладывать старую коронацию два с лишком года, а потом, когда стало дальше невозможно ждать, наоборот, очень с нею заспешить. Поэтому состоялась она, как необходимый государственный обряд, обставленный всем, чтобы быть внушительною и достойною своей политической важности, но без всякого расчета ослепить умы роскошью, богатством, щедростью. И многолюдства особенного не желали в ту старую коронацию, лишь двумя годами отделенную от кровавой даты 1 марта, и очень мало старались о привлечении в Москву народных масс из городов и деревень. В результате всего коронация 1883 года вышла, по преимуществу, московская. Москва ее делала, Москва на ней и была. Поэтому в народном празднике на той же Ходынке толпы были хотя огромные, но не чудовищные: почти только то, что выделила Москва, от полутораста до двухсот тысяч, расположившихся на ходынском просторе с совершенною свободою и удобством. Порядок царствовал образцовый, чему много содействовала сама толпа. Несчастных случаев за весь день было всего 12 или 20.

Коронации 1896 года в течение года с половиной предшествовали слухи о сказочном великолепии, с которым она готовится, о небывалых еще щедротах, которые предвидятся для гостей праздника, и о возможности, что момент ее будет избран для возвещения стране нового строя. Безошибочно можно сказать, что после 19 февраля 1861 года не было в России дня, которого ждали бы с таким лихорадочным нетерпением и любопытством, как 14 мая 1896 года. Пятнадцать лет националистического воспитания страны, конечно, сыграли тут тоже свою роль, но, главное, тянули на коронацию — широко распущенная молва об ее принципиальной, так оказать, роскоши, в которой ознаменованы будут пред иностранцами величие России и мощь монархии, и смутные, но твердые надежды, будто «что-то объявят». Торжества

начались, шли, никаких объявлений не было, а все ждали. Народ же с определенностью мечтал: объявят — либо с красного крыльца, либо с паперти Чудова монастыря, либо за столами на Ходынке. И ожидания эти вытащили из домов на улицу не только московский народ, но взволновали деревню. В обычной надежде, не будет ли чего насчет землицы, потянулись в Москву люди не только из пригородов и всей губернии, но и из смежных и ближних — аж до самой Волги. Местные власти скоро заметили эти потоки, и Петербург, о них извещенный, сообразил, что если все они вольются в Москву, то коронация примет вид великого переселения народов. Были приняты меры к удержанию населения на местах. Когда же приблизились и начались самые торжества, то во избежание наплыва нетутошнего народа рассыпанные по примыкающим к Москве шоссе войска опрашивали движущийся в столицу люд, в особенности крестьянство. Если мужики шли и ехали в Москву без всякого своего дела, а только на праздник либо почему-либо казались подозрительными, их просто не пропускали: поворачивай, брат, оглобли обратно! До сих пор в деревнях Московской, Калужской, Ярославской, Тверской и других ближних губерниях дразнят иных:

— Ходок-мужик! До коронации четырнадцати верст не дошел.

Но, в конце концов, этот контроль не принес иных результатов, кроме того, что посеребрил на шоссейных заставах солдатиков, а на железнодорожных станциях жандармов и полицию. Такой город, как Москва, с ее стоверстным охватом, нельзя герметически запереть для входа даже открытым военным положением. Бесчисленные проселки и тропы капали и капали в Москву «черным народом» и накапали его — почти в меру тогдашнего населения самой Москвы.

Кто бывал на русских богомольях, кто хаживал за иконою, тот знает, какою тучею человеческого воронья вьется

вокруг пробитых богомольцами троп и в тылу крестных ходов всяческое жулье, охотясь на одинокого и отсталого человека. То же самое узнали теперь подмосковные палестины — то есть не самые близкие подмосковные, потому что они-то входили в пояса охраны и чистка подозрительных людей производилась в Москве энергическая. Но выпровоженный из Москвы по этапу бронницкий, гжатский либо клинский жулик, едва дойдя до места родины и постоянного местожительства, сейчас же устремлялся вспять. До Москвы не доходил, так как знал, что сейчас там человека в рубище не терпят, а садился где-нибудь на струе народного наплыва — верст за десяток-полтора десятка от Москвы — у какого-либо деревенского пристанодержателя либо, кроясь на задах деревень, по гумнам, а то, благо весна стояла теплая, и просто в овраге либо перелеске. Днем эта босяческая саранча пропивалась в деревенских трактирах, а в сумерки волками шла на добычу — грабить коронационного паломщика, пешего мужика: не пошлет ли черт на молодецкое счастье одинокого либо одинокую? Много народа без вести пропало в этих сумеречных встречах, много пострадало и женской чести. Если босяк успевал заработать себе таким способом достаточно деньжат, чтобы справить хорошую одежу либо раздобыться таковою от кого-либо из ограбленных, он уходил в Москву, и какой-нибудь Проточный переулок давал ему вопреки всем облавам Власовского верный прием, а праздничная гульливая улица — верную добычу.

Движение народного прилива началось уже с первых чисел мая, стало заметным к Николину дню, а в десятых числах лилось уже непрерывною волною. Известная часть этих коронационных гостей действительно получала от правительства и города кров и пропитание. Но громаднейшее большинство, разумеется, не могло попасть в эту очередь, бедствовало, голодало, шаталось по улицам без крова, и рады-радехоньки были такие человеки, когда наконец забирала их полиция

и препровождала на место жительства по этапу. Появился новый тип нищего — мужик и баба или целая семья, будто бы прибывшие в Москву на коронацию, да — вот, прожились, оскудели, и не с чем выбраться восвояси, собирают Христовым именем на кормы и билет.

Такого огромного наплыва не ожидал никто даже из тех, кто рассчитывал на наплыв. Власовский, которому суждено было взять на себя в Ходынской истории роль козла отпущения, говорил впоследствии, что даже он ждал — ну в полтора раза, ну в два больше прежней коронации, но не в четыре же...

Большая «популярная непопулярность» Власовского сделала то, что, когда необходимо было бросить общественному мнению, как расплатную за Ходынку кость, хоть какую-нибудь жертву, выбран был для того человек, едва ли не наименее виновный в бедствии, во всяком случае, и предупреждавший о его возможности, и старавшийся сделать все, что от него лично зависело, чтобы несчастие отвратить.

Но сделать он решительно ничего не мог.

В Москве было столько высшего начальства, столько оказалось у нее блистательных хозяев, что, низший всех их чином, какой-то полковник Власовский, круто и самовластно хозяйничавший в ней в обычные дни, теперь не только потерял все свое значение, но — при всем добром желании хоть как-нибудь действовать — вынужден был бездействовать. При каждом шаге своем он нарывался на ревность какого-либо из временных хозяев, указания его принимались как дерзости, советы не принимались с предвзятою надменностью. При каждом удобном и неудобном случае прозрачно намекалось ему — чем учить людей старше и умнее себя, он постарался бы улучшить свою нравственность и отношения с населением, что его в Москве ненавидят, что властям только не хочется губить его, выбрасывая его в отставку среди коронации, но положение его более чем непрочно, и пр., и пр.

Власовский, человек несимпатичный, с дурным характером, болезненный, невропат, одновременно алкоголик и морфиноман, что редко совмещается, но, когда бывает, дает сочетание страшное, действительно нажил себе врагов снизу чуть не целый город, но на попреки тем сверху мог бы смело возразить: «Вам-то что? Для вас же старался!»

Потому что в нем Москва получила первого «обера», который блюстительствовал в ней не по-душевному, а по-служебному, да еще и с фанатизмом, так как службу свою этот странный человек любил до страсти. Быть деятельным, хлопотать, носиться по Москве в административном восторге, подтягивать, одергивать, разносить, издавать приказ за приказом и лично наблюдать, как они исполняются, бушевать на пожарах, бродить переодетым по трущобам — вся эта ежедневная череда полицейской бури и натиска стала для него решительно жизненною потребностью. Когда делать было нечего, он завядал, пил коньяк, злоупотреблял морфином, ходили весьма мрачные слухи о каких-то тайных его оргиях «во вкусе Светония». Выброшенный Ходынкою из службы, он быстро задохнулся в бездействии и умер буквально жертвою вынужденной праздности. Дело же свое он смыслил великолепно и в преданности ему — действительно — презирал всякую популярность. Был совершенно бесстрашен и, кажется, по-своему честен: по крайней мере слава вора и взяточника, добродушно облекавшая, как некая профессиональная одежда, каждого нового московского «обера» еще с легендарных времен Цинского и Беринга, к нему не очень липла. В другое время и обстоятельствах лучшей службы энергия Власовского могла выработаться в большую и полезную силу, и остался бы в памяти людей как хороший человек и общественный деятель. Теперь даже те, кому он служил, говорили о нем — «бешеная собака»! А обыватель его именем только что детей не пугал... И так как хитрая Москва, запуганная Власовским, по петербург-

ским к нему отношениям сразу сообразила, что Власовским верхи пользуются, но его не любят, то сейчас же сама — всем своим именитым купечеством и обывательством — осмелела и пошла подсиживать Власовского вовсю, — и через Думу, и через управу. Требования и распоряжения властного обера, которые прежде исполнялись чуть ли не в тот же миг, как произносились, теперь принимались с особенною рассчитанною медленностью и ловкою подковыркою. Что бы ни предложил Власовский, тормозилось либо обезличивалось в такой искаженной форме, что уж лучше бы и не предлагать, а то вместо пользы и славы получается один срам. Купеческий город ненавидел и мстил. И мстил безжалостно и ловко, как искони, с самого Ивана Калиты, на всю Россию одна Москва за себя мстить умеет.

Позднею ночью Власовский объехал Ходынское поле, обозрел таборы уже сходившегося народа и цепи полицейских постов и вернулся мрачный: он видел очень ясно, что народа уже сейчас сила несосветимая, а что будет поутру — темна вода во облацех небесных. И, возвратясь, поскакал искать новых хозяев города, хотя его авторитет и отрицавших, чтобы просить и подкрепления, и сил войсками гвардейского корпуса... Найти хозяев было легко, потому что по случаю коронационного бала весь генералитет был в сборе и в одном месте. Но говорить оказалось очень трудно, потому что никто из них не хотел говорить: каждый был занят чем-либо своим, личным, придворным, карьерным и это одно сейчас почитал серьезным, и совсем ему не нужно было то, что бормотал этот антипатичный полковник, с сумасшедшими злыми глазами и нервными подергиваниями в лице...

— Народ прибывает? — рассеянно отвечали ему. — Ну что же? Отлично. И пусть прибывает. Это доказывает, как велик его энтузиазм...

Один из хозяев, когда Власовский заговорил о войсках, дал холодный ответ:

— Это мое дело.

Другой:

— Это не ваше дело.

Третий:

— Это не мое дело.

Четвертый:

— Это ваше дело.

Пожимали плечами...

— Ввести войска на народный праздник? Какая неудачная идея. В момент, когда народ несет открытое и полное патриотизма сердце, мы приставим к нему сторожем солдата со штыком?

Один гордо выпрямился, как будто Власовский нанес ему злейшее оскорбление, и с высоты длинного роста своего, надменный, сухощавый, уничтожающий, процедил сквозь зубы ледяным тоном:

— Я ручался своим словом, что беспорядков не будет, а вы смеете говорить... Ступайте. Стыдитесь.

Некоторые говорят, что Власовский тут же словесно заявил свою отставку и она была принята. Это сомнительно, потому что должность осталась за ним еще некоторое время и в остальную ночь и утро он еще энергически хлопотал. Во всяком случае, Власовский уехал «стыдиться» — и до рассвета метался, как тигр, по комнатам обер-полицеймейстерской казенной квартиры и пил коньяк. К утру с ним сделался сердечный припадок. Он справился с собою, впрыснув морфин, и опять поехал проведать Ходынское поле, но нашел его уже в состоянии бурного моря. Доехав до Петровского дворца, он велел повернуть обратно и молча поехал домой, едва пробираясь на лихой паре своей среди сердито смотревшего на него народа. Альбатросов встретил его у Триумфальных ворот. Лицо его было страшно — точно хорошо вылежавшийся в могиле вампир, не успевший исчезнуть вместе с пением петухов и в тоскливой злобе выискиваю-

щий себе укрытие и приют. Мысли его спутались. Дома он на тревожные вопросы служащих отвечал какою-то безлепицею... Прошел слух и назавтра перекинулся в Москву, что Власовский пьян... Слух этот, совершенно ложный, дорого стоил Власовскому, окончательно подорвал его репутацию в придворных кругах.

Постоянные телефонные звонки заставили Власовского оправиться. Остаток утра он провел у телефона.

Из Петровского парка, от Триумфальных ворот, с ипподрома, из лагерей ему с тревогою телефонировали, что народ все прибывает, как полая вода; что настроение толпы испуганное, робкое, тяжелое, злое; что у трибун — ад, в котором полиция совершенно потерялась уже теперь и недоумевает, как ей справиться с напором народа, когда начнутся раздачи; что очень много случаев дурнот, обмороков, заболеваний, а врачебная помощь недостаточна и трудно подавать ее за страшною теснотою толпы; что обязательно нужны подкрепления полицейской и военной силы, иначе толпа — в перепуге и озлоблении — невесть что сделает с собою. Власовский, после этих телефонных бесед все мрачневший по мере того, как разгорался день и шло угрожающее время, звонил к старшим хозяевам, объяснял, доказывал, просил, требовал, даже угрожал... получал холодные ответы:

— Не мое дело.

— Не ваше дело.

— Мое дело.

— Ваше дело.

Один высокопоставленный понял и ужаснулся, но заявил, что распоряжение — вне его компетенции:

— Вы же знаете, полковник, что я сейчас сам лицо подчиненное и не могу самостоятельно распорядиться ни одним солдатом.

Власовский зазвонил по «компетенции». Адъютант отвечает:

— Спит.

— Разбудите!

— Как можно! Кто же посмеет!

Власовский зазвонил к тому, кто мог посметь. Тот не спал, но, выслушав, оскорбил Власовского надменным вопросом:

— Вы какой пост занимаете?

— Московского обер-полицеймейстера.

— Следовательно, обуздание уличных скопищ входит в ваши служебные функции как прямая обязанность.

— Но, вашество, какими же средствами буду я их обуздывать?

— На это в вашем распоряжении имеются полицейские бригады.

— Но их недостаточно! Это капля в море. Я имею право требовать войск в случаях серьезной необходимости...

— Разве народ бунтует? Угрожает мятежом против властей и существующего строя?

— Нисколько, но там смертельная опасность — люди передавят друг друга...

— Какие странные вещи вы говорите... Смертельные опасности бывают на полях сражения, а не на полях праздников. Зачем им давить друг друга? Из-за гадательных опасений будить такую особу? Беспокоить пожилого усталого человека? У вас нервы не в порядке... Извините, я не могу больше говорить, ложусь спать.

С отчаяния Власовский опять зазвонил «по самой компетенции» и, должно быть, на этот раз был красноречив, потому что адъютант тронулся его настойчивостью и нерешительно отозвался:

— Хорошо, я попробую разбудить — под вашу ответственность...

— Сделайте одолжение.

— Но предупреждаю: он обыкновенно так крепко спит, что это возьмет несколько времени...

Власовский стоял у телефона. Минуты томительно тянулись. Ему серьезно приходила в голову рискованная мысль — предоставить опустевшую Москву, покуда она еще спит, самой себе и все полицейские силы, еще оставляя для ее охраны, отправить на Ходынку... Но, протестуя, вставал в уме страх разбойничего разгрома опустелого города, о том, что сейчас же найдутся охотники разбивать лавки и церкви и вспыхнут случайные или с поджогами пожары...

«Двенадцатого года недоставало», — растерянно думал он.

Звонок... Адъютант генерала большой компетенции у телефона.

— Ничего не мог сделать, — извиняется он. — Спит... И даже не откликается...

Власовский положил трубку и больным шагом раненого зверя вышел, чтобы приказать — опять подать ему лошадей... Куда он хотел ехать, он, кажется, и сам не знал... То ли на Ходынку, то ли по всем компетенциям, к которым он только что звонил...

Но в тот момент, как он садился в экипаж и изумленный кучер трижды переспросил его: «Куда прикажете?» — а он все не отвечал, к воротам с треском подкатил лихач, с пролетки сорвался и бросился к Власовскому человек в штатском платье, висящем на нем почти в лохмотьях, и что-то заговорил, закричал, маша руками и кривляя гримасами зеленое лицо, искаженное ужасом...

— Не выезжайте, полковник, — лопотал этот человек, и зубы его выколачивали дробь, и руки его непроизвольно ходили в прямых машинных жестах, как на шарнирах, — вам нельзя выезжать... Народ страшно озлоблен против вас... Вас убьют, растерзают, забросают камнями... Все вам приписывают... Останьтесь дома... убьют...

Власовский тупо смотрел на человека, трудно узнавал в нем одного из своих лучших агентов и старался понять

его, точно сонное видение: зачем и откуда он явился, что страшное и невозможное он говорит и отчего он, всегда франт, сейчас так неприлично одет в рубище... А тот двигал руками-шарнирами, непроизвольно топтался, будто плясал на метле, и кричал таким возбужденным голосом, что он казался не испуганным, а восторженным:

— Горы навалены... горы!.. Тысяча человек... не меньше... ужасно видеть... так горами и лежат...

Генерал большой компетенции, к которому последнему звонил Власовский, проснулся от богатырского своего опочива, узнал, как усердно и о чем именно телефонировал ему обер-полицеймейстер, и добродушно зевнул.

— Конечно, дать, — почесывая под шелковою красною рубахою могучую мохнатую грудь, сказал он густым генеральским своим, привычным к команде на больших парадах басом, — вот люди. Человек им дело говорит, а сами распорядиться не могут... Дать, дать... Сколько спросит людей, столько и дать. Каких спросят, столько и дать... Еще в самом деле перекалечит себя там сволочь эта... тут иностранные корреспондентишки... Дать!

К сожалению, было поздно.

В это время Ходынка уже походила на поле сражения, с которого бежит разбитая наголову армия, побросавшая в паническом ужасе своих убитых и раненых. А перекалеченную, как характеризовал добродушный генерал, «сволочь» — покрытую брезентами от глаз людских, — как окоченелые бревна, везли ломовые фуры на Ваганьково кладбище. И войска, которые не поспели охранять живых от смерти, окружили с заряженными ружьями кольцом своим мертвых, чтобы не рыдала над ними, нарушая праздничное благополучие, обездоленная, осиротелая, скорбью и местью пылающая жизнь.

По городу плыла молва... страшная, чудовищная... Трупы считались ею сперва десятками, потом сотнями, потом тысячами... И, к ужасу населения, только этот третий счет

был близок к истине... Бывают бедствия, которые молва преувеличивает, Ходынку она никак не могла в полную ее величину вообразить.

Проклинались десятки виноватых имен, и между ними в первую очередь имя Власовского. Кто говорил, что ему в квартире побили стекла, что его самого забросали камнями. Но, кажется, не было ни того, ни другого. Вины его громче всего высчитывали и пускали в обращение те, которых он всего более просил в роковую ночь и утро принять зависящие от них меры предосторожности... Сперва он ощетинился было, думал огрызаться. Но — энергия ли ему изменила после страшного нервного напряжения, просто ли он понял, что попал под фатум и осужден на гибель силами, против которых ему не можно прати, только он вдруг опустился, сдался и без сопротивления позволил выставить себя пред верховною властью и общественным мнением тем пьяницей-стрелочником, по негодяйству которого потерпел крушение так хорошо шедший праздничный поезд. Его убрали в чистую отставку, позолотив пилюлю крупным денежным пожалованием.

Трупы лежали на кладбище. Торжества, празднества, увеселения продолжались, будто ничего не случилось. Но народная мысль была потрясена, чувство испугано. Во все души ворвались недоумение и страх. Ни одно из развлечений народных более не удалось. Народ чувствовал себя в трауре — и с горьким чувством смотрел на продолжавшее ликовать начальство и больших господ.

В самый вечер «Ходынки» был бал у французского посла Монтебелло в Охотничьем клубе на Воздвиженке. Ждали, что его отменят. Однако он состоялся по настоянию тех, кто чувствовал себя больше всех виноватым и боялся всякого акта, который бы показал стране, что и власть в печали, потому что проявление печали в данном случае слишком обязывало и к расследованию причин, ее создавших, и к след-

ствию, к суду и к карам. Черными тучами стоял народ по Моховой и Воздвиженке, на пути парадных карет, и молчал, как великий гроб...

А мужик, навалившийся на праздник сотнями тысяч душ, бежал в паническом страхе обратными путями к родным местам и рассказывал по дороге, и рассказывал дома, и росла, росла грозная плач-молва, и крепла, и разветвлялась легенда незабываемого ужаса.

* * *

С бугра, на котором стояли Альбатросов, Истуканов, Алевтина Андреевна и Сережа, давки не было видно и слышно. О ней *догадались*.

Чернобородый артельщик, зорко воззрившись в черную народную толчею, вдруг заулыбался.

— Вот народ, черти-искусники! — сказал он. — Каких-то двое на толпу влезли да по головам на четверинках идут…

— Да их не двое, а пятеро, — сосчитал кто-то.

— Больше! Семь... девять... одиннадцать…

И вдруг улыбки исчезли, а лица побледнели, а глаза наполнились ужасом.

— Да ведь это...

— Братцы! Там народ душат!

И все заметалось и загудело.

Истуканов, с серьезным опасливым лицом, взял Алевтину Андреевну под руку и повел прочь, в течение той муравьиной дорожки, которою шел усталый народ в обратном движении к Москве.

— Но, Василий Александрович, мы же ничего еще не видали, — удивилась Алевтина Андреевна — близорукая, она и не подозревала драмы, происходившей в ста шагах.

— И видеть нечего-с, — угрюмо, но решительно возразил Истуканов, косясь через плечо; острым зрением своим он видел очень хорошо, что не далее, как в десятке сажен,

среди искаженных ужасом и злобою живых лиц плывет вохряное, с безобразно вытаращенными глазами бородатое лицо трупа, который не может упасть, сдавленный толпою...

— Пойдемте-с, покуда можно.... Тут может быть очень нехорошо...

Голос его был настойчив и важен, взгляд суров. Алевтина Андреевна впервые услыхала от Истуканова ноты, показывающие, что у этого человека есть характер, что он умеет, когда надо, приказать, и так приказать, что не откажешь. Она повернулась и пошла, успев заметить, что у Альбатросова вдруг стало совсем зеленое лицо и больные глаза.

— Вам, кажется, дурно? — спросила она с участливым недоумением.

Он, переглядываясь с Истукановым, заставил себя улыбнуться.

— Кому в такой давке может быть хорошо? Идемте, идемте.

А у самого душа дрожала, холодный пот выступил на лбу и спинной хребет точно коченел в палку ледяную: он ясно видел, как — в недалеком расстоянии — выскочил над толпою, точно налим над водою, тот самый участковый пристав, который привел его сюда, взмахнул три-четыре раза серыми рукавами, что-то неслышно вопя искаженным ртом, и опрокинулся, и исчез...

А Истуканов шел и командовал:

— Сережа, не глядите по сторонам, глядите под ноги. Тут ямы, можно упасть, и тогда вас затопчут сзади идущие...

Дюжая фигура его раздвигала людей, как таран.

Шагов сорок Истуканов сделал тихо, обычною походкою, чтобы не увлечь за собою ближайших соседей, но потом он зашагал так быстро, что Алевтина Андреевна, вися на дюжей руке его, едва успевала за ним следовать.

— Василий Александрович! Это бегство какое-то, — протестовала она, — мы не идем, а бежим... Я совсем запыхалась...

Но он твердил, не слушая и не выпуская руки ее из-под локтя:

— Идемте, идемте. Если устанете, скажите: понесу на руках...

И умерил шаг, только когда они, пройдя с версту, очутились у водокачки, где было просторнее и отдыхающий народ кучками сидел на земле.

— Н-ну, — сказал он, сняв шляпу и вытирая платком лоб, — вынес Бог... и другу, и недругу закажу... Теперь, Алевтина Андреевна, хоть и в обморок упадете, не испугаюсь... Ну...

Но Сережа, не отвечая, вдруг всплеснул руками и воскликнул:

— Смотрите-ка, смотрите-ка... в ту сторону по шоссе едет Красный Крест... Да что же там делается такое?

В кучках людей, сидевших на земле, появились уже счастливцы, побывавшие у трибун и получившие драгоценную кружку. Их легко было узнать даже без узелков, в которых скрывалась их добыча, — по истомленному, больному виду, по растерзанной одежде. Оглушенные, оглупленные толпою, они казались выходцами с того света — и отнюдь не из рая, но прямехонько из ада, где их долго и безжалостно трепали и мучили...

Один из таких выходцев, рыжеватый бледный мужчина в остатках пиджака, с выдранным рукавом и трещиною по шву во всю спину, заслышав голос Истуканова, поднял голову, повязанную носовым платком, и поклонился. Истуканов остановился.

— Что за чудо? — сказал он, удивленный, пропуская вперед Алевтину Андреевну с Альбатросовым и Сережею. — Какими судьбами? Тимоша! Никак ты?

— Я, Василий Александрович, — отозвался выходец, учтиво светя с воскового лица красивыми синими глазами, — извините невежество: встать пред вами не могу, очень ноги помяты... и к тому же в такой вид приведен, что даже не знаю, как войти в город... Извольте видеть...

Он оглянулся, нет ли поблизости женщин, и вынул из-под себя ногу, одетую вместо штанов и белья в какую-то длинную бахрому из серого трико и драного холста. Белое тело синело пятнами жестоких ушибов, багровело ссадинами.

— Вчера только тройку обновил, — говорил он, — семьдесят пять рублей плачено… Каково, Василий Александрович?.. Котелок, пальто там оставил... как сам выдрался, вот лежу и не понимаю...

И рассказал Истуканову, что, стиснутый в толпе у самых трибун, он долго терпел и боролся, даже удерживал и уговаривал других напиравших, но, когда рядом с ним задавили женщину и его обдало кровью, хлынувшею у нее изо рта, он — от ужаса и отвращения — потерял всякое чувство, себя не помня, высвободил как-то руки и, ухватясь за плечи соседей, поднялся на руках из толпы на толпу и пополз по головам на удачу...

Его ругали, проклинали, кусали за руки, а он себе полз да полз, памятуя только одно, что теперь, если жив быть хочешь, надо вытерпеть всякую боль...

— Спасибо, что все плечо к плечу сжаты, редко у кого руки свободны, не то зашибли бы... И то зонтиками и палками снизу, между тел тыкали, будто пиками какими-нибудь... Все убойные знаки от этого...

— Снизу между тем палкой сильно не ткнешь, — усумнился Истуканов.

Но собеседник его только покачал головою:

— Я вам скажу, Василий Александрович: кто в толпе не пропадал, тот силы мускулов своих не знает... Ужасно как приспособлен человек другого человека калечить... Так все в нем и напрягается, чтобы себя спасти за соседов счет...

— Сам-то никого не искалечил? — угрюмо спросил Истуканов.

— А почем я знаю? По головам полз не разбирая. К счастью, никого другого такого же не встретил... Два раза голо-

вами ноги зажимали... Хорошо, что штиблеты на мне, а не сапоги, снялись бы с ног сапоги-то...

— Чудак человек! Благодари Бога, что жив ушел... штиблетам радуется!

— Я не штиблетам, Василий Александрович, кабы снялись с меня штиблеты, не уйти бы мне, потому что у меня и так ноги по колено искусаны... Кабы пальцы пооткусали, кровью изошел бы. Руки кусать труднее, потому вижу вперед, если кто злодейски смотрит... кулаком угрожу... И то хряпали... Вниз взглянуть опасался, потому что, Василий Александрович, таких лиц, таких глаз... от каждого взгляда обмереть надо... И все это под тобою кипит котлом... рев, вой... в геенне огненной не может быть хуже... Два раза пробовал на ноги стать — роняют... Руками по головам, по лицам попадешь, словно навоз горячий под тобою и черви в нем кишат... Ступил ладонью — мокрое, длинное... Взглянул: через двух покойников ползу, бородами друг в друга уставились и качают головами... у одного глаза изо лба вылезли, а у другого язык на четверть аршина повис... это я в него, значит... Чуть не обмер, да подумал: только оробей — сам будешь такой же... и пополз... Что народу перегублено, Василий Александрович! изъяснить нельзя! страсть!

Полз он по головам каких-нибудь пять минут, может быть, меньше, а показались они ему пятью часами, а прожил он в них пять лет.

— Не удивлюсь, Василий Александрович, если в голове седой волос проступит... Потому что сейчас подобен я сочинителю Данту.

— Как же ты теперь-то, Тимофей Александрович? а? — с участием спросил Истуканов.

— Да что же я? Вот, отлежусь маленько... Добреду до первого полицейского поста... должны доставить...

— У меня здесь лошади поблизости... мог бы взять тебя с собою, да...

— Ну где, Василий Александрович! Покорнейше благодарю! Как мне с вами — по городу — в таком виде...

— Мне-то ничего, а вот — дама с нами... действительно, ободрали тебя в совершенно непристойный вид... Потерпи уж, полежи тут... Я за тобою первого же встречного извозчика пришлю... Только вот: извозчики-то ныне редки, а толпа велика, не найдет тебя, пожалуй, да и другие заберут порожнего-то... Малый! хочешь получить рубль? — обратился он к близстоящему парню в жилетке. — Иди за мною до первого извозчика, приведешь его вот к этому господину... Деньги-то, Тимофей, при тебе есть? Не обронил?

— Кошелька лишился, часы потерял, а бумажник чудом каким-то уцелел в боковом кармане.

— Эх, ты! кто же с бумажником в кармане в толпу ходит? А еще торговый человек... Мелочь, стало быть, нужна? Возьми...

— Паспорт у меня в бумажнике, Василий Александрович, говорили, надо на всякий случай иметь при себе...

— Много народу сегодня беспаспортным стало! — вздохнул парень в жилетке.

— Зато и кое-кто беспаспортный с паспортом стал... — ехидно вставил сиплым голосом проходящий мещанин в синем пиджаке, с горлом, замотанным красным платком. — Что этого грабежа, что этого злодейства... Не угодно ли полюбопытствовать, господин?

Он распахнул красный платок свой и показал горло с явственными следами только что душивших его пальцев.

— Хорошо, что сам жилист на свет родился, а то тут бы и конец... Двое... Один — за щипок, а другой — в карман... Я как дам коленкою под живот... Согнулся, отвалился... А другого в висок... упал...

— Как упасть-то? — с сомнительностью возразил Тимофей Александрович, глядя на него снизу. — Там народ вроде кирпича, один к другому приложен, стеною стоит...

— Я у самых трибун и не был, — возразил мещанин, — это всем понятное дело, что не может вор воровать, когда у него рук нету... Когда побежал народ вспять и разделился, воровские дела начались... Мое приключение вон там произошло...

Василий Александрович взглянул по указанному направлению и убедился, что дело было как раз на бугре, с которого они только что ушли.

«Вовремя ноги унесли...» — подумал он.

А мещанин говорил:

— И что за народ на свете живет... Вот — сейчас — на смерть дышал, а чуть очухался и из глаз зелень ушла, моментально за грабеж берется... С женщин это — Боже мой! — просунет мерзавец какой в толпу ручищу через головы, да и дернет из ушей серьги вместе с мясом... насквозь мочки, значит... Воют бабы... кровью заливаются... Там вон у водокачки двух окружили — криком кричат, потому что с пальцев у них кольца вывертывают наспех... не жалеют суставов-то... Народ мимо бежит, никто и не вступится... Потому — всякому смерть...

— И ты мимо прошел?

— И я мимо... Что же? Там их, босячья-то, может, десять человек... Из одной беды Бог спас — как самому в другую соваться? Стало быть, ходи опаснее: жулик силу забрал...

— Вы бы заявили, что на вас было нападение — посоветовал Истуканов.

— Кому заявлять-то? — возразил мещанин. — Смыло полицию... народ сам собою расшатался... вон — не угодно ли? — Красный Крест показался... На моих глазах двух околоточных подобрали... обморочные, мертвые ли, — поди, им заявляй...

Истуканова потянул за пальто возвратившийся Сережа.

— Василий Александрович, — сказал он, — Алевтина Андреевна беспокоится, что вы отстали... Там солдаты идут, не отрезали бы от нас вас...

— Сию минуту, сию минуту, — заторопился Истуканов, — ну, Тимофей Александрович, покуда прощай, брат... Оправишься, заходи в магазин... потолкуем...

Но Тимофей Александрович со странно расширенными вдруг глазами удержал его.

— Василий Александрович, — сказал он пониженным голосом, — как молодой человек даму-то вашу назвал?

— Которая с нами? А тебе что? Бараносова Алевтина Андреевна... Это ее племянник Сережа Чаевский...

— Не думал я... — медленно произнес Тимофей Александрович.

И бледнее снега стало лицо его с хорошими синими глазами.

— А что?

— Нет, ничего... Которая с мужем разошлась? — прибавил он жестко.

— Да, кажется, — сказал удивленный Истуканов. — А ты как знаешь?

— В Рюрикове намедни был... слышал... — И с усилием над собою договорил: — А интерес спрашивать имею, потому что братца их Игоря Андреевича хорошо знавал когда-то... Прощайте, Василий Александрович.

— Прощай... Так извозчика тебе пришлю... Эй ты, жилетка, шагай за мною...

— Пошли...

Измятый толпою человек долго смотрел им вслед, опираясь на землю ладонями, и синие глаза его хотели выскочить, чтобы догнать издали видную коричневую соломенную шляпу в лентах, которую несколько минут тому назад он пропустил мимо без внимания...

А Василий Александрович, догнав Алевтину Андреевну и Альбатросова, извинялся:

— Простите, Алевтина Андреевна, замешкался... потерпевший этот... знакомый человек оказался... бывший служащий мой... Шапкин Тимофей Александрович... хороший че-

ловек, помят немножко... нельзя так бросить его на произвол судьбы... надо помочь...

— Шапкин? Тимофей Александрович?

Имя что-то смутно говорило Алевтине Андреевне… что-то она помнила. Знакомый звук, и в памяти что-то хорошее есть о нем...

И вдруг она вспомнила. Вагон Николаевской железной дороги несет ее к Москве. На полосатом тиковом диване качается пред нею красивая толстая женщина в бархатах и всяких золотых цацах — Прасковья Венявская, Паня Венявская, — пристально смотрит ей в лицо и говорит:

— Кто из гостей был тогда сильно в вас влюбленный, так это — Тимофей Александрович Шапкин...

— Я и не подозревала...

— Ну уж и не подозревали? Зачем неправду говорить? Внимания только не обращали, потому что он, находясь в бедности и ничтожестве, был вам не жених. А влюбленности его не заметить женское око не могло. Это уж надо не иметь никакого чутья.

— Вот кто! — сказала она протяжно. — Никогда бы не узнала...

— И он вас не узнал, — сказал Истуканов. — А услыхав от Сережи ваше имя, удивился... Говорит: с покойным братцем вашим, Игорем Андреевичем, знаком был...

— Да, с братом Игорем... Он — вы говорите — служит у вас?

— Нет, — отвечал Истуканов, глядя на нее с некоторым недоумением, потому что простой разговор этот неожиданно и необъяснимо залил лицо Алевтины Андреевны огненною краскою. — Теперь нет... служил одно время... Хороший человек, только непоседа... Носит его по России-то... Сегодня здесь, завтра там…

— Ах, да. Он в Москве, значит, не постоянный житель?

— Куда ему, неустроенный в жизни своей человек...

— Жаль... Покойный брат его любил...

Прошли несколько шагов.

— Если вам угодно, — сказал Василий Александрович, — то я о Тимофее Шапкине всегда могу быть осведомлен... Если вас интересует…

— Нет, что же... — поспешно отклонила Алевтина Андреевна. — Зачем?

Встречи давно прошедших дней... Но — странно, право... Как эти случайные призраки прошедшего не пропадают для человека совсем... Вот — двадцать лет не видала этого Шапкина, и вдруг так внезапно вырос он будто из земли... и в какую минуту... и в каком виде... Странно! Зачем?

— Внезапности, говорят, тоже имеют свою логику, — сказал, длинно шагая рядом, расстроенный Альбатросов.

— Вы, тетя, должно быть, очень устали, потому что лицо у вас побледнело, а ушки — как огонь, — сказал Сережа.

Истуканов ничего не сказал, но с любопытством косился на Алевтину Андреевну, потому что впервые в жизни видел ее в волнении, совсем для нее необычном...

А позади, вдали, измятый человек в истерзанном рубище жадно горящими синими глазами смотрел им вслед, опираясь на землю избитыми и искусанными руками, и думал про себя: «Вот оно как в жизни-то… Идет мимо тебя судьба твоя, а ты и не чувствуешь, не знаешь... Николай Николаевич говорил: «Ищи…» Нашел — ан мимо прошла... и не догадался!.. Ну да — лишь бы знать, в каком городе… адрес — пустое дело... Не в адресном столе, так Василий Александрович должен знать... Ах ты, Боже мой! Хоть бы догадаться — взглянуть-то, какая стала... Ах ты, Бог мой! вот тебе и Америка!.. Все мысли — турманами… Ах ты, Бог мой! Ну, куда теперь, ну куда ты определишься теперь, горемычная, бедная ты моя голова?»

ДРОГНУВШАЯ НОЧЬ

Памяти хорошего человека

САВВЫ ТИМОФЕЕВИЧА МОРОЗОВА

посвящается этот роман

I

Августовская ночь, ранняя, безлунная и темная, но с безоблачным звездным небом, страшно высоким от своей черноты, переглядывалась с Волгою веселыми таинственными глазами цветных огней, сразу загоравшихся и недвижно вверху, в поднебесье и, трепеща и качаясь сквозь струю, внизу, в глубинах великой реки, справа, слева, спереди, сзади бежавшего вниз по течению небольшого прогулочного парохода. Он плыл как бы звездным царством и, точно большой зверь в ночном лесу, топтал звезды светляков, пригасающих под его носом, с тем чтобы опять загореться за кормой, как только выпустит их на волю белая кипень водного хвоста от винта. Огни на палубе были погашены, кроме сигнальных, так как участвующие в прогулке дамы желали наслаждаться красотою ночи без помехи электрического света. Наслаждались, однако, недолго, вяло и мало. Одна, постояв у борта, воскликнула:

— Какая ночь!

На что из присутствующих кавалеров петербуржец и действительный статский советник на линии товарища министра, слывущий по ведомству своему великим юмористом, пробасил, подделываясь под тон острящего юнкера:

— Да-с, ночь, можно сказать, настоящая Варфоломеевская.

Но никто не засмеялся.

Другой — художник из Москвы — цитировал поэтически:

— В такую ночь она поверила ему...

Но никто не растрогался.

А когда та из дам, которая раньше воскликнула: «Какая ночь!» — добавила с нерешительным восторгом:

— И воздух... ну где еще в мире есть подобный воздух?

Другая дама положительно и властно возразила:

— Да... только нефтью пахнет... Беда, как, право, испортили реку... Когда я девочкою здесь росла, помню матушку Волгу — то-то была красавица чистенькая! А теперь — хорошо, что сейчас темно, — днем я на палубе даже и бывать не люблю: впечатление — будто плывешь по масляному пятну... Погубили злые люди Волгу-кормилицу!.. Вы, Дмитрий Михайлович, что смеетесь? Надо мною, что ли, ехидничаете?

— Не угодно ли?! — воскликнул из темноты еще один мужской голос. — Помилуйте, Анастасия Романовна! Откуда вы заключили? Я слова не произнес.

— Фонарь с кормы силуэтом вас рисует, и тень ваша — ироническая...

— Не угодно ли?! — жалобно возопил Дмитрий Михайлович. — Уже тень стала виновата? Да это хуже чтения в сердцах.

— Вы не жалобьтесь и не прикидывайтесь, а то довезем вас до Казани да там и подкинем — оставим: вот тебе, Казань-городок, новый сирота казанский... Уж лучше кайтесь, адвокатская ваша совесть, сказывайте, какие у вас злые мысли против меня?

— Всего лишь маленькое меланхолическое рассуждение на тему о том, как трудно сочетать запросы эстетики с деятельностью капитала... Не угодно ли? Вас нефтяные пятна на Волге огорчают, а поди, от нобелевских, и ротшильдов-

ских, и всяких иных подобных бакинских и грозненских бумаг у вас касса ломится...

— Есть, — засмеялась в темноте Анастасия Романовна, — не отрекусь, грешница: имею малую толику этой благодати... есть!

— И пароходство у вас собственное — нефтяные топки... И баржи наливные водите... Не угодно ли?.. Кто же Волгу-то портит, ваше сиятельство? А?

— Да уж у вас, петербуржцев, известно, — возразил самодовольный, сытый голос Анастасии Романовны, — куда ни поверни, что ни тронь, все мы, Москва да купцы, виноваты... Скоро, если на солнце пятна увеличатся, так Петербург скажет, что виновато всероссийское именитое купечество, да ярмарочный биржевой комитет, да Морозовы, да Крестовниковы, да Хлудовы, да я, злополучная Настя Латвина... А сиятельством больше звать меня не смейте: я за это кусаюсь...

Палубная тьма подобострастно засмеялась в несколько голосов, а Дмитрий Михайлович воскликнул:

— Не угодно ли?! Ну, Анастасия Романовна, жаль, что не вы составляли наше уложение о наказаниях. Ваши карательные меры — прямой соблазн нарочно совершать преступления...

— Да ведь вы не пробовали, как я кусаюсь, — возразила Латвина, — так откуда же вам знать, соблазн ли? Может быть, я эту операцию настолько серьезно произвожу, что и мясо прочь, и человек потом неделю ходит и воет?

Дмитрий Михайлович пробормотал свое обычное:

— Не угодно ли?

А чей-то дерзкий голос, высокий и ленивый, протянул:

— А есть сведущие люди по этой части?

— То есть?

— Да вот — как вы кусаетесь?..

— Бывали, — хладнокровно отозвалась княгиня. — Вы, Альбатросов, не бойтесь. Вас я никогда не укушу. Еще отравишься.

Палубная тьма опять льстиво рассмеялась.

— А знаете ли, господа, — продолжала княгиня Настя, — не войти ли нам в рубку? Кто любит нюхать нефть и сыреть в речном тумане, пусть остается: вольному воля, спасенному рай... Но внизу готов чай, накрыта закуска, и мы, народ московский, прожорливый, скептический, поварам и метрдотелям не верим, Машка моя обещала сама присмотреть за ухою. А уж когда эта моя кипрская принцесса великодушно снисходит обнаружить свои кухонные дарования, это, я вам скажу: гурманство до слез умиления!..

— Вы-то, Анастасия Романовна, пуще всего гурманка! — сказал московский художник. — Подумаешь, не видал я шестьсот тысяч раз, как вы вставали из-за тончайших обедов, хоть бы к одному блюду прикоснувшись... разве для примера, чтобы гости не стеснялись и ели!.. А потом ужинаете в одиночку стаканом чаю и бутербродом с ветчиною...

— Ах, милый Костя! Не всем же быть практиками — надо, чтобы были теоретики... Но сегодня я обещаю вам отличиться и на практических занятиях, потому что стерляди для ухи будут не волжские мумии, бальзамированные в нефти, а Машка раздобыла настоящих сурских... Ну-с, кто прозаик, кто поэт? Кто остается наверху романтически наживать насморк или ревматизм и кто следует за мною к ухе и чаю? Пожарский, дайте мне вашу руку... Да не бойтесь, не укушу!

Компания со смехом и говором прошла в рубку, приветно сияющую иллюминаторами; входная дверь ярко и коротко осветила каждого и каждую, точно проверяя с лица, они ли и все ли счетом, и каждого и каждую потом поглощая в виде черного со спины силуэта. На опустевшей палубе оставалась только одна тень — безмолвная тень женщины, казавшейся крылатою, потому что на плечи ее был наброшен толсто сложенный плед. Женщина, стоя у борта, глядела на ныряние звезд под пароход и думала о том, что это красиво и счаст-

ливо, и хорошо было бы, если бы и жизнь так позволяла: жить бы в ней не самою собою, а своим отражением. Надвинется на тебя вот этакая темная враждебная громада, а зыбкая подвижная стихия раздастся под нею и будто продернет тебя под ее массою, и ты опомниться не успела, как тьмы уже нет, громада прошла, и ты уже опять купаешься в успокоительной реке, блестящая, чистая, победоносная...

«Вот еще, — вспомнилось женщине, — видела я как-то в театре водевиль: герой хотел убить себя от несчастной любви, но в последний момент струсил и пришел к остроумному решению — застрелил себяв зеркале... Даже и куплет такой пел:

Уж лучше в зеркало хвачу я,
Ведь это то же, что в себя...»

И ей стало смешно при мысли, что, если бы ее сестре, княгине Анастасии Романовне Латвиной, когда-нибудь пришло в душу желание самоубийства, то, вероятно, произошло бы нечто вроде того, как в водевиле. Сама себя она никогда бы самоубийством не обеспокоила, но, быть может, довела бы до самоубийства кого-нибудь из тех бесчисленных людей-зеркал, которыми она постоянно окружена и которые рабски повторяют каждое ее движение, смеются, когда она смеется, и хмурятся, когда она не в духе... И все это далеко не всегда куплено даже! Сколько зеркал бескорыстных, не оплаченных решительно ничем, кроме удовольствия быть в круге княгини Насти своим человеком и неопределенной надежды, что когда-нибудь и как-нибудь она бросит в нем, послушном живом зеркале, какое-нибудь, хоть мимолетное свое отражение... А она — торжествующий надменный капитал, жестокая энергия, непреклонная воля — идет жизнью вперед да вперед, беспощадно прямо, вот как этот пароход сквозь ночь, бросающую под него тонущие звезды, и гнет неумолимою властью одинаково и встречников-супротивни-

ков, и тех, кто так или иначе вовлекся в могучее течение ее победной силы... Мнет под собою и тянет за собой. В ней есть обаяние, от которого не избавлены даже враги, ее ненавидящие, и которое — беспредельною наивностью эгоизма — совершенно захватывает тех немногих, кто ее истинно любит. Заставляет их не только извинять ей неизвиняемое, но и самим то и дело приносить ей жертвы, отрицающие в человеке и самолюбие, и себялюбие, совершать ради нее дела искреннего самоотречения, а то и подлости, а то и преступления...

И больше того. Вот я сейчас засмеялась, что Настя может подменить отражением даже самоубийство. А ведь я, собственно говоря, вполне верю, что она в состоянии заставить некоторые из своих живых зеркал даже умереть за нее, если ей понадобится, — и иные выполнят такое решительное отражение даже с энтузиазмом. Умрет — не пикнет ее Марья Григорьевна, эта наглейшая, развратнейшая и продувная Машка, у которой почтительнейше целуют руки просители, добивающиеся от нее доброго словечка пред барыней, не исключая и таких потомков рыцарей, как граф Евгений Антонович Оберталь, и которая с искренностью говорит, что она никогда ни за кого замуж не пойдет, потому что она «замужем за барыней». И это не в каком-нибудь там новом, скверно извращенном смысле, а просто не в силах она в своей преданности Насте ни вообразить, ни допустить, чтобы между нею и Настею стояла какая-либо другая, еще более требовательная и повелительная привязанность. Настю она обкрадывает, Настю она компрометирует, предпринимает разные темные делишки, входя в сношения с ростовщиками и сомнительными гешефтмахерами, своим фавором у Насти она торгует, как на аукционе: кто больше дал, тот у нее и прав, за того она и стоит. По всей вероятности, у нее скрытого капитала достаточно, чтобы иметь не только свой дом в Москве (а может быть, он уже и есть), но и виллу на южном берегу Крыма. И, однако, она уже десять лет не спала

иначе, как на ковре у Настиной постели, у нее всегда револьвер в кармане, чтобы защищать Настю от возможности оскорбления и грабежа. И если Настя вызовет ее сейчас на палубу и прикажет: «Машка! мне, по моим расчетам, неудобно, чтобы ты оставалась на пароходе, бросайся в Волгу — авось достигнешь берега вплавь!» — я нисколько не сомневаюсь, что Машка бухнет в эту темную, страшную воду, испещренную качающимися звездами, с такою же готовностью, будто это ее собственная постель... И управляющий Настин, Артемий Филиппович Козырев, ярославская шельма, о котором в Москве говорят — и, вероятно, справедливо, тоже не задумается, бухнет, несмотря даже на такую прочную привязку к земле, как этот краденый миллион...

Я?.. Ну, я тут не пример... Конечно, если понадобится, тоже бухну, но бухнуть-то не велика жертва с моей стороны... Слишком уж все равно мне, жить ли, умереть ли, мою привязанность готовностью броситься в воду измерять и доказывать нельзя... Это так просто и мало, что и не для Насти могу, а лишь бы товарища найти, по первому приглашению... В одиночку — как-то инициативы нет. Да и не все ли равно? Я и теперь — как живая утопленница... Напротив, может быть, в старые годы, когда разбила мою жизнь проклятая любовная трагедия и каждый день заглядывал ко мне в окно и стучался в двери зовущий призрак самоубийства, я, может быть, тем именно и доказала свою привязанность к Насте, что осталась жить... Потому что видела, как я оскорбила бы, огорчила и, может быть, даже разбила бы ее сердце, уходя в смерть, когда в жизни остается такое драгоценное сокровище, как ее любовь... Потому что ведь она любит меня... Она любит всех, кто ее настояще любит, — вот как Машка, Козырев, я... Когда три года тому назад Козырева разбили лошади, она бросила в Париже миллионный контракт на руки едва ей знакомого адвоката и с экспрессом примчалась в Москву. Она! А между тем Козырев в ее при-

сутствии до сих пор не смеет сесть иначе, как по приглашению, которое звучит как приказание. И я уверена, что, если бы он однажды осмелился — только подобная продерзость ему и в голову не придет, конечно! — Настя люто оборвет его, как последнего из своих приказчиков, и он, сам чуть не миллионер, тоже, как последний приказчик, оробеет и закланяется перед хозяйкою. Она любит меня — быть может, даже больше, чем я ее люблю. Потому что — вот — я чувствую и сознаю всем существом своим, какое благодеяние она мне оказала бы, если бы именно сказала мне: «Ты, Таня, больше не нужна мне и свободна располагать собою — можешь оставить меня и уйти в желанное тобою небытие...» А я помню, в какой ужас, в какую скорбь выливалась для нее боязнь моего самоубийства, как идея моей смерти раздирала ее душу, ослепляла ум, терроризировала все ее существо. А между тем, строго говоря, что я была для нее? Ну, сестра, ну, кровное родство, ну, вместе росли, хотя разница лет между нами значительная... Да мало ли сестер, которые друг к другу не то что равнодушны, а просто-таки ненавидят друг друга? Это лишь какой-то библейский недосмотр, что Каин Авеля убил, а не рассказано, как лютовали друг на дружку их сестры-жены. Мало ли кровных родных, которых Настя не пускает к себе на глаза, и подруг детства, которых она позабыла? И ни для одной из них она пальцем о палец не ударит, хоть повесься они все по очереди пред ее равнодушными серыми глазами... Была я для нее девчонка — бесполезная, скорее, вредная, потому что за мною тянулся хвост любовного скандала: гласная связь с «актеришкой», бегство с любовником, беременность, несчастные роды, нервная болезнь, санаторий. Куда какая радость возиться с подобным сокровищем! Отцом чуть не проклята, обществом отвергнута, нищая, потому что капитал оставлен Насте в нераздельную собственность, — и даже приданое, которое она мне назначила, по правде-то говоря, нарушает волю покой-

ного отца... Так просто вот любила меня и любит... Ни за что — только потому, что она — она и я — я... По-своему любит — повелительно, властно, без ласк, без сантиментальности, но любит — и крепко. И когда я думаю об ее любви, мне делается ее жалко, а за себя счастливо и хорошо. И в благодарность за это большое чувство не только хочется ответить ей всем, что ей нужно и приятно, а еще и угадать это и сделать раньше, чем она попросит или намекнет... И если я не бухну в воду, как бухнули бы Марья Гавриловна или Козырев, то сейчас стою на линии решения, вряд ли не более серьезного и обещающего очень мало благополучия...

Настя настояла-таки на своем и сосватала меня за Костю Ратомского. Все удивляются, а для меня причина ясна. Полюбила моя Настенька Алешеньку Алябьева, вообразила, будто он ко мне неравнодушен, испугалась, что я ее моложе и красивее, и вот старается удалить меня со своей дороги, справедливо рассуждая, что в браке моем подобным ее страхам конец и я окажусь Татьяною не только по имени, но и по темпераменту. Ну что же? Если ей надо, чтобы я вышла замуж, — хорошо, выйду... бухну!.. А за кого — по всей искренности, — не все ли мне равно? Костя Ратомский не хуже никого из рыцарей блистательной Настиной свиты, а большинства даже и лучше. Красив, талантлив, хорошей дворянской фамилии, много зарабатывает, значит, достаточно и прилично самостоятелен в общественном положении, чтобы не слыть только мужем своей жены, схватившим большое приданое; известен — а в Москве даже популярен. Партия, словом, совершенно приличная. Правда, богема, распущен ужасно и трактир на него налип густым слоем. Одни его «шестьсот тысяч раз» и «шестьсот тысяч лет» чего стоят! Удивляюсь Анне Зарайской: как она жила с ним? как ее не коробило?*) А ведь барыня... да

*) См. «Девятидесятники» и «Закат старого века».

еще и какая! Née de Tchernj-Ozeroff!* И такой гордячки, утонченницы и эстетки, как Анимаида Черньозерова, родная сестра… Куда же до нее нам, кровным плебейкам!.. Но надеюсь, что у меня достанет ума и характера, чтобы обуздать Костю в его художнических замашках и эксцессах и из тридцатипятилетнего мальчишки превратить в мужчину... Довольно побесился, пора уходиться и жить en bon bourgeois…**

Любви нету... уважения немного... Ценю талант, но — удастся ли сжиться с человеком?.. Существо слабое, бесхарактерное, подвижное, тщеславное, самовлюбленное... Править подобным конем ничего не стоит. Супружеский воз он поднимет и повезет, как добрый битюг, была бы лишь мне охота натягивать вожжи. Но вот охоты-то нет — и не знаю, придет ли она потом. А ведь надо. Заранее вижу, что надо. И Настя предостерегает, и сама я его угадываю достаточно хорошо. Человек чувственный, избалованный, видел много женского тела, привык швыряться женским счастьем. К браку мы шагаем почти что через преступление. Если Альбатросов говорит правду, будто эта его чахоточная красавица Анна Зарайская брошена Костиною изменою на край могилы, я могу поздравить себя с новой радостью в жизни: ввожу в свой быт укоризненное привидение… Но Настя уверяет, будто там все кончено благополучно: Ратомский утомил Зарайскую своим распустешеством, изменами и кутежами… она сама дала ему чистую отставку и наконец приблизила к себе, в награду за выслугу лет, верного своего рыцаря Тогенбурга, нашего милейшего Владимира Павловича Реньяка... И действительно, вот была телеграмма, что они — Реньяк и Анна — вдвоем уехали за границу... Следовательно, видимая доля правды есть, но, по существу, я думаю, что Настя

* Урожденная Черньозерова (*фр.*).
** Как добрый буржуа (*фр.*).

много скрывает и храбро лжет в мое успокоение. Напрасно: я мало беспокоюсь об этой госпоже. И не только потому, что я, как Настина сестра и тоже купеческая дочь Хромова, не люблю уступать своего, хотя бы и не очень им дорожила. Нет, я, кроме того, думаю, что пришла владелицею на пустырь, заброшенное поле. Если между Анною Чернь-Озеровою и легкомысленным женихом моим еще сохранилась какая-нибудь любовь, то, очевидно, уже в состоянии такого гангренозного разрушения, что произвести хирургическую операцию необходимо для спасения обоих. Конечно, любопытно и полезно было бы узнать всю правду их отношений до конца, но мне — не от кого. Альбатросов играет в благородный нейтралитет, в качестве забаллотированного Настею претендента на мою руку. Реньяка нет, и он, как верный рыцарь Тогенбург своей злополучной Клары, свидетель пристрастный. Настя и все, кто вокруг Насти, так влюблены в идею моей свадьбы, что глядят с ревностью и ненавистью на каждый камешек, который вырастает на пути к моему браку, словно — стоит им только зазеваться — и камешек вырастет в камень преткновения величиною с Жигулевы горы. И, спасая свою идею, хитрят, скрывают, плетут интригу. И лгут, лгут. С ясными глазами, с улыбкой на губах, задушевными голосами: все лгут! И нареченный мой лжет. Может быть, больше всех, хотя и искреннее всех. Тому назад месяц какой-нибудь он и не воображал, что мы можем стать женихом и невестою. Но, когда Настя эту неожиданность для него талантом своим сладила, он — вот уж художник-то, послушный человек минуты и складная душа! — мало, что поспешил добросовестнейше в меня влюбиться, но еще и убедил себя, что он всегда одну меня любил, а все остальные женщины в его жизни звучали только проходящими нотами, были преддверием истинного чувства, Дон Жуановым исканием идеала... Сколько у них, право, слов красивых, у этих господ мужчин с прошлым, когда им старое приелось и нового

хочется!.. Торжествуй, Танюша: попала в донны Анны — и никакого командора не предвидится на пути: поженимся с Дон Жуаном, как с горы скатимся... И поэтому теперь Дон Жуан мой реабилитирует себя и в своих глазах, и в моих: старается принизить все свои прежние романы, а больше всех — этот последний, с Анною Васильевной Чернь-Озеровой. Года через два, может быть, даже через год он будет совершенно так же петь какой-нибудь девчонке из поклонниц о колоссальной ошибке, которую совершил он, женившись на мне, потому что, дескать, принял призрак чувства за истинную любовь и Альдонсу за Дульцинею Тобосскую. Боюсь я, что он прав, потому что, сколько помню, призрак этот стал являться ему после вечеринки там, на Тюрюкинском заводе, у Венявских, когда Настя заставила меня сильно декольтироваться и Костя разглядел, что у меня плечи очень хороши... Буду ли я поддерживать этот призрак и превращать его в привычку? Или постараюсь отвадить своего будущего супруга от моей скромной особы и заранее великодушно уступлю его будущим претенденткам, которым он будет через год жаловаться, что погубил со мною свою жизнь? Это покажет наш медовый месяц. Тот ли, другой ли выбор, мне, собственно говоря, безразлично. Иду замуж, равнодушная, и не для себя. Детей, по всей вероятности, не будет. После первых несчастных родов, изломавших мое тело, доктора уверяли, что новая беременность была бы чуть не чудом. Это, с одной стороны, жаль. Детей вообще я не люблю и утомляюсь ими, но, быть может, привязалась бы к своему ребенку и он хоть сколько-нибудь осмыслил бы мою праздную жизнь. Муж не осмыслит. Настя, влюбившись в своего Алябьева и надеясь выйти за него замуж, воображает, что эта любовь наполняет ее жизнь. Так то Настя и Настина жизнь!

Правду сказать, наполнять-то ей придется немного: и без того слишком полна ее жизнь деятельностью и созидающею мыслью. Я верю в ее любовь к Алябьеву, но думаю, что

и это ее большое чувство — в существе — маленькое: всю себя она в него не уложит, а если бы и захотела уложить, то не вместит оно ее. Говорит, что жизнью пресыщена, оттого полюбила. Нет, неправда — не жизнью, а одним лишь кусочком жизни — отдыхом в наслаждении. Настя здоровая, сильная, умная, темперамент в ней говорит не неврастеническими утонченностями, а прямо, искренно и грубо. В конце концов, обе мы, купеческие дочери Анастасия и Татьяна Хромовы, несмотря на мать-дворянку и баронское наше воспитание, не более как бабы, простые, деревенской породы, вот этою самою Волгою воспитанные и взлелеянные бабы. И сейчас Насте — чисто по-бабьи — хозяина восхотелось. Повседневная властность утомила — желательно найти хоть дома-то кумир, пред которым можно склонить покорную голову. Конечно, условно и, по существу, притворно, потому что никогда я тому не поверю и не надеюсь увидеть, чтобы Настя даже Алябьеву позволила распоряжаться и командовать в своем царстве. Будет принцем-супругом, повелевающим королевою, но бессильным в королевстве. Настя любит своего Алешу настолько, что, если Алеша поколотить ее вздумает — предположение совершенно невероятное для такого сверхджентльмена, — она именно, как баба, когда хозяин учит, словечка не пикнет против, только повоет, перебирая волосы, растрепанные супружескими дланями. И даже не без удовольствия, не без гордости повоет: вон, мол, он у меня какой, надежа моя. Но это — спальня и столовая. А кабинет свой и контору она оставит за собою — и хоть ты что, а туда Алеше хода не будет, нет! И Машкою своею она для него вряд ли пожертвует, и Козырев в трех четвертях ее жизни останется для нее главнее Алеши. Так что только прибавится ей новая забота: вести сложную домашнюю политику и устраивать так, чтобы козыревские три четверти жизни согласовались с алябьевскою четвертью в стройный аккорд; чтобы Алеша не замечал, что он не первая спица в колесни-

це, и тем не оскорблялся; чтобы Машка и Козырев не ревновали и не зазнавались; чтобы вообще принц-супруг оставался принцем-супругом, а конституция конституцией и королевство королевством. Этой суеты я предвижу много, и вот она-то, очень может быть, что не только наполнит, а даже переполнит новую Настину жизнь. Но боюсь, что переполнит такою мелкою дрянью, в которой и сами не заметят, как испошлятся они оба — и Настя, и Алябьев.

Если бы Настя не сделала мне неожиданной чести ревновать меня к Алябьеву, я ни за что не согласилась бы отойти от нее в такую критическую пору ее жизни. Но она забрала себе в голову эту несчастную мысль, а когда Настя заберет что-нибудь в голову, спорить с нею бесполезно: она внутри себя все это своею мыслью, наедине с собою проверила, испытала, доказала — и затем уже, кроме себя, никому не поверит. А говорить с нею в таких условиях особенно трудно, потому что она не любит, чтобы догадывались о том, что у нее на уме и в сердце, и к тем, кто обнаруживает, что в нее глубоко заглянул и проник ее, она становится, вся насторожившись, подозрительна, опаслива, даже враждебна. Надо, чтобы она сама догадалась, как человек понимает ее и ее планы, тогда, может быть, и она пойдет навстречу его пониманию. Но сейчас она, со своим алябьевским планом, зажмурила глаза и не хочет догадываться. Самодурство бессмертно, оно только формы и образы меняет, и мы с Настею — совсем не отделяю себя в этом от нее! — такие же самодурки, как купчихи Островского, только самодурки логические. Вот логическим самодурством дошла она и до ревности, и до мысли о необходимости выдать меня замуж, логическим самодурством выбрала мне в женихи Ратомского, логическим самодурством, быть может, убьет несчастную Чернь-Озерову... Можно ли остановить этот ее натиск? Может быть, да; но это будет равносильно крушению всей нашей любви. Она никогда не простит мне ни своей ошибки, ни своих подозре-

ний и испортит жизнь всем нам троим — себе, мне и Алябьеву. Да и поздно. Когда она решила, она всегда налетает, как вихрь, и — что решено, глядь, уже и исполнено. Предложение Ратомский сделал, я приняла, день свадьбы назначен — в понедельник доползем мы до Симбирска, а во вторник повенчают нас там, и останется в Симбирске уже не Таня Хромова, а Татьяна Романовна Ратомская...

Конечно, есть еще шанс, и иногда мне смешно догадываться и чувствовать, что Настя — этакая-то умница — его с моей стороны опасается: забастовать в последнюю минуту... Но предсвадебный прыжок в окно даже у Подколесина вышел позорен и смешон на века вечные, а уж что же было бы, если бы в окно выскочила Агафья Тихоновна?.. Разве что сделать опыт во имя женского равноправия даже на подколесинской стезе?.. Нет, уж дело решенное, дело подписанное — точка. Выдержим русский женский характер и скажем: судьба!.. суженого конем не объедешь! Посуленного год ждут, а суженого до веку!.. Несуженый кус изо рта валится!.. И прочие великолепные утешения, которые придумали мы, русские бабы, в извинение случайности и нелепости своих браков... Да за что бы я теперь и Ратомского-то осрамила? Он человек публичный, его свадьба не бесследное дело в обществе... Вон, с нами Альбатросов едет — поди, даже и в газеты даст знать о столь великом событии... И притом все так красиво и благородно... Женится по любви и даже с пренебрежением к общественному мнению: берет за себя девицу с прошлым, в некотором роде из греха... И вдруг среди такой-то рыцарской оперы я устрою ему подколесинскую оперетку... Разнесется на всю Россию слух: от Кости Ратомского невеста в окно выпрыгнула... да еще добро бы где! А то в Симбирске... Пожарский уверяет, будто и города-то подобные в России только затем строены, чтобы «смешнее было»...

А удивительная все-таки женщина моя Настасья! Ведь уж любит своего Алешу — так любит, что все бери, ничего

не жаль... Даже мне, любимой сестре, приказано утопиться в законном браке с первым встречным... А между тем вот сейчас Алеши нет: нарочно оставлен в Петербурге впредь до моего превращения в госпожу Ратомскую, — и около Насти сейчас же запрыгали разные мужчинки вроде хотя бы господина Пожарского... Превыразительная, право, у него поговорка эта: «Не угодно ли?..» Интересно было бы испытать: где в человеке с подобною поговоркою кончается растяжимость приспособления к среде?.. И Настя — ничего... Очень довольна, как всегда... Еще осчастливит, пожалуй, благосклонностью на полчаса... Сколько их, таких, у нее было! сколько было! Когда она и Машка в веселые часы свои начинают вспоминать и хохочут, как две молодые ведьмы, право, это синодик какой-то... «Их было больше: двести запиши!..» И ни о ком в синодике их не останется доброй пометки. Каждый — либо красивый дурак, либо красивый подлец — «в Альфонсы метил, да нас с Машкой вокруг пальца не обведешь...». И хохочут добродушнейше... Одинаково хохочут над каким-нибудь графом Оберталем, у которого Настя между объятиями биржевые секреты выманивала и против него же потом играла, и над присяжным поверенным Фокиным, который от ревности к ней пьяницею сделался и наконец пулю себе в висок пустил... И все добродушно... Откуда только добродушия в них столько берется? Реньяк Насте в глаза говорил:

— Как это видно, что вы в Нижнем родились: именно вы Настасья Русая Коса, ласковая кума, от которой повелось веселое село Кунавино!

Смотрит Настя — ласкает, говорит — ласкает... великая очаровательница!.. А счет за все это подаст потом, по совокупности, — когда ей стало скучно, ласкать надоело и темперамент перемены требовал... И оказывается счет таким взыскательным и грозным, что вон Фокин предпочел расплатиться в общую смарку — пулею в висок... И, когда счет

оплачен, она пишет на нем вместо payé * — «дурак»... Фокину она поставила памятник на кладбище в Донском монастыре и в годовщину смерти ездит — конечно, сопровождаемая очередным любовником, — служит панихиды и возлагает на могилу роскошные венки. Но, возлагая, все-таки думает: «Дурак!..» Для нее дурак каждый мужчина, который надеется брать ее в собственность для себя одного...

— Друг мой, — говорила она мне однажды, — супружеская верность подобна обету всю жизнь не пить иной воды, кроме мытищенской. В Москве с подобным обетом еще и так и сяк, хотя по нужде случится — хлебнешь и из Москвы-реки, и даже из Яузы. Но — если тебе суждено путешествовать? Что же ты — повсюду за собой бочку с мытищенской водой возить будешь? И дорого, и юмористические журналы засмеют, наконец, самая вода протухнет, а ты от ее употребления станешь болеть и чахнуть... За что?

Когда я вижу, что за Настей начинает ухаживать умный и хороший, искренний человек, мне всегда хочется втайне предупредить его — остановить:

«Перестаньте прежде, чем она не перестала вас уважать. Ведь вы можете понять друг друга и быть просто хорошими друзьями. Неужели предпочитаете, чтобы она вас презирала?»

Она уважает только тех, кого не купила, и то лишь в том случае, когда убедилась, что его нельзя купить, что есть в нем такая сила, которая отталкивает от себя всякое приспособление к условиям, несогласным с его чувством и убеждением, с которою ничего нельзя сделать ни деньгами, ни лестью, ни любовною ласкою, ни игрою на угаданной любимой струнке, ни угрозою, ни красивым словом, ни затягивающим предприятием. Сейчас в Нижнем, на выставке, какою великолепною триумфаторшею она себя чувствовала, какие люди

* Зарплата (*фр.*).

ее чествовали и окружали! Мы перевидали все сливки петербургской бюрократии, всех московских коммерческих аристократов. И все это гнулось, льстило, подделывалось, ждало приказаний, по-собачьи читало в глазах желания и холопски бросалось их исполнять. И, однако, из всей этой покоренной под нозе массы знати, власти, капитала, знания и ума — вдруг — прилепилась она капризным вниманием к какому-то чудаку Лукавину, третьестепенному чиновнику по статистической части, у которого наружность мужика, одежда студента допотопных времен, манеры бурсака и лай вместо разговора. Уж она его экзаменовала-экзаменовала, выщупывала-выщупывала... И — отбросила, как только дощупалась до основной слабой струны:

— Этот человек за удовольствие дожить до революции в России разве что в охранку служить не пойдет да содержать публичный дом не согласится, а в остальном — во имя революции и партии — хоть веревки из него вей — готов с великим удовольствием...

И очутился бедный Лукавин тоже в числе Настиных «дураков», да еще и по дешевому разряду. Казенная служба ему постыла — Настя сейчас же предложила ему место у себя. И вот теперь он едет ревизовать ее Пурховскую мануфактуру ровно за половинную сумму против той, какую надо было бы заплатить специалисту, который, однако, этому Лукавину в подметки не годился бы ни по знаниям, ни по добросовестности! А Лукавин едет — да еще и с восторгом, потому что, во-первых, Настя освободила его от казенного ига, а во-вторых, в секретнейшем порядке вручила ему тысячу рублей пожертвованием для политических ссыльных, и Лукавин едва не заплакал от радости, когда эти деньги от нее принимал... А Настя теперь смеется:

— Другим ревизии в десятки тысяч обходятся, да и то порядочных людей для них негде взять. А я у Липпе и Аланевского честнейшего в их ведомстве чиновника за тысячу

рублей сманила — и теперь могу спать спокойно... Он у меня в Пурхове и жулье мое зазнавшееся и зажиревшее разгромит, и честности, сколько требуется, лет на пять напустит, и с рабочими хорошие отношения установит, и обещаний надает...

А когда я ей напомнила:

— Обещания ведь любят быть исполняемыми, Настя...

Она хладнокровно возразила:

— Именно потому и надо, чтобы обещал он, ревизор, а не я, хозяйка. Что будет обещать по мелочам и дельно, чтобы моим выгодам не противоречило, — санкционирую словом хозяйки. Пересолит, зарвется — его отзову, а я ничего не обещала и ничем ни перед кем не обязана... Моя хата с краю! Покушала, рот вытерла и к сторонке отошла.

Когда я думаю о Насте, а думаю о ней я гораздо чаще, чем о самой себе, я всегда кончаю мысленными вопросами: «Добрая она или злая?» И: «Есть ли у нее конечная цель в жизни? Знает ли она, зачем она живет?»

И не нахожу ответа. И каждый из вопросов окружает меня противоречивыми привидениями. И они шепчут мне столько «да» и «нет», что мало-помалу я теряюсь в взвешивании их, какая чашка перетянет, и начинаю приходить к убеждению, что судьба дала мне сестрою существо, которое — одно из двух крайних: либо ниже человека и не доросло до его этики, либо выше человека и доросло до права с человеческою этикою не считаться...

Однажды, под Новый год, умный, хитрый и скрытный адвокат Меховщиков, сделавшись откровенным после нескольких бокалов шампанского, пищал мне на ухо язвительным своим дискантом:

— Ваша сестра, Татьяна Романовна, знаете ли вы ей цену, понимаете ли вы, кто такая ваша сестра? Если бы эта женщина родилась не в купеческой семье, дочерью бывшего нижегородского мужика Романа Хромова, но хотя бы в са-

мой захудалой ветви самого захудалого рода, из тех, которые исчисляются в Готском альманахе, мир увидал бы новую Екатерину, новую Семирамиду! Вот она кто такая, ваша великолепная сестра!

А потом раскатился дерзким смешком и прошептал мне на ухо совсем тихо:

— А теперь — отнимите у этой женщины ее миллионы — и в этот же год она сядет на скамью подсудимых, обвиняемою по таким статьям, что удивит мир злодейством и упокойники в гробах спасибо скажут, что померли... А я буду ее защищать... по назначению от суда.

И тогда я спросила его:

— А отчего же, собственно, именно по назначению от суда?

А он ответил:

— А потому, что сама она моей защиты не пожелает. А не пожелает потому, что считает меня мошенником. И ничьей защиты она не пожелает, потому что всех считает мошенниками. Одних — меньше, других больше, но всех. И так как себя самое — больше всех, то в судьбах своих она лишь одной себе и верит, а больше никому-с. Ни-ко-му!

Я люблю лицо Насти, хотя многие находят его вульгарным, и оно в своей кормиличьей румяности действительно может быть вульгарным, как лукаво добродушная мещанская маска беспечного здоровья. Но лишь немногие люди, и я рада, что я в их числе, знают, как бесконечно добрыми становятся ее глаза, когда Настя действительно любит человека и понастоящему желает ему добра. Но они могут быть страшны. Я не видала их такими, но чувствую возможность. И все чувствуют. Машка, фаворитка, которой все позволено, избалованное «чудовище дерзости», способное — только бы Настя позволила — генерал-губернатора за усы ухватить, немеет, как рыба, и бледнеет всем своим японским личиком, как только Настя пошлет ей какой-то свой особый,

условный, предостерегающий взгляд. Ратомский взял Настины глаза для своей «Ледяной царицы». Я думаю, что это аффектации. У нее глаза не ледяные, а звериные. После того как издохла ее любимая полудикая Фатьма, которую Алексей Никитич вывез для нее из Тибета, она уже не завела другой собаки, потому что говорит: «На что мне в доме дураков на четырех ногах? И от двуногих тошно. Другой Фатьмы мне не нажить. Мы с нею друг друга понимали и разговаривали...»

И действительно: когда, бывало, она, задумавшись, сидит перед камином и только две морщины, падая по лбу к бровям, обличают, как неутомимо и важно работает в это время ее мозг, а пестрая, в точно накрашенных, правильных пятнах красавица Фатьма лежит у ног ее и светит со своей благородной тибетской морды изумрудными глазами, — право, казалось иногда, что и эти зеленые собачьи глаза, и те серые, человечьи, одинаково отражая в зрачках пылающий пред ними огонь, полны одинаковым настроением и переглядываются между собою со взаимным сочувствием: хищным и добродушным, подразумевающим что-то такое любопытное и тайное, чего, кроме них двоих — Насти и Фатьмы, — здесь не знает никто.

А Настина улыбка, распускающая ее румяные губы в такое почти бессмысленное добродушие, между тем как глаза спешат прикрыться ресницами, чтобы не показать, что они-то и не подумали улыбнуться вместе с губами?.. Долго смущала она меня — улыбка эта, — откуда она, покуда не попала я в одном из наших путешествий в Афины и там, в акропольском музее, не увидала ее, загадочную, коварно-хитрую и ласково-бессмысленную, — опять-таки знающую то, чего люди не знают, — на плоских лицах архаических, полинявших от красок своих богинь... Да, это улыбка первобытного кумира — победная улыбка из той эпохи, когда сверхчеловек определялся хитростью, здоровьем и богат-

ством и слово «богатый», как объяснял мне недавно Альбатросов, значило вместе и «святой»...

Этот Альбатросов довольно много знает. Нечто вроде энциклопедического словаря для нас, полуобразованных с блистательными дипломами после многолетнего учения. Я люблю с ним разговаривать, и, может быть, Настя лучше сделала бы, если бы выдала меня замуж за него, благо он почти уже сватался. Но Настя не любит журналистов. А затем... разве замуж выходят за тем, чтобы читать энциклопедический словарь? Да и когда я говорю, что люблю с кем-нибудь разговаривать, ведь это значит, собственно, что я люблю молчать, покуда этот кто-нибудь говорит. Я отвыкла говорить с кем-нибудь, кроме самой себя, и разве лишь Настя да, может быть, Алексей Никитич догадываются, какой неумолчный разговор с самою собою плывет в уме моем в то время, как глаза мои дремлют, лицо спит, а с губ едва сползает ленивый, односложный ответ на предлагаемые мне вопросы. Для людей, которые в своей говорливой самовлюбленности не замечают встречных ответов — вот как мой нареченный супруг Константин Владимирович, — я идеальная собеседница: могу слушать, не перебивая, целыми часами, лишь бы мне было тепло и не застывала бы голова. Но против этой беды хорошо помогают зимою пламя камина и мягкие кресла, а летом — плед, вот как теперь... Пригретая в шерстяной корке, я могу просидеть либо даже простоять, не двигаясь с места, хоть до утра. И в качестве покорной слушательницы я тем драгоценнее, что меня нельзя утомить даже самою скучною рацеей. Потому что, право же — в поругание всех законов психологии, — у меня два внимания, и в то время, как одно механически ловит все, что достигает слуха, другое может очень стройно работать где-то внутри мозгов совсем над другими мыслями и интересами. А откликаться и давать реплики согласия и отрицания, восхищения и негодования, вопроса и наведения на тему я все-таки буду

как раз вовремя и кстати... Словом, на этой почве в супружеской жизни своей несогласий не жду. Как немая жена болтливого мужа, я несравненна...

Настя этого моего качества терпеть не может и уверяет, будто это болезнь. Может быть. Девочкой я была живая и шумная, а в девушках веселая и насмешливая, покуда не пришиб меня очаровательный мой синьор Туттопронто. Может быть. Но, право, мне с этою болезнью так удобно и приятно на свете, что не хотелось бы выздоравливать. Говорливые, экспансивные люди, меняющиеся между собою тысячами слов, не знают — какое это большое и глубокое наслаждение: слушать и помнить. А наслушавшись, взять себя мысленно за руку и сказать: «Ну, Таня, милый и, собственно говоря, единственный друг мой. Не пойти ли нам с тобою в уголок да не поговорить ли о том, что мы с тобою одни, про себя, знаем?»

Алексей Никитич как-то раз шутя говорил, что я произвожу на него впечатление немой совести Настина дома. Нет, это слишком лестно, потому что совесть обязана возмущаться и протестовать против слишком многого, и если она лишена этой возможности, то должна страдать, надрываясь скорбью и стыдным гневом на самое себя. Я не страдаю, не возмущаюсь, не негодую, не протестую. Так — смотрю вот, выставив память, как аспидную доску, а кто мимо идет или что ползет, — время сейчас возьмет грифель да на доску и запишет. Если бы у меня была хоть тень литературного таланта, я вела бы дневник и, конечно, лгала бы в нем, как все дневники. Но, к счастью, с пером в руках я совершенно глупею, не нахожу нужных слов, память мне изменяет, и факты разбегаются из головы, как зайцы. Настя уверяет, будто я и в письмах такая. Поэтому, если я что ненавижу, так это — письма писать. Когда Настя вышла замуж за князя Латвина, я, извещая о том Анимаиду Чернь-Озерову (вот еще неприятность: останемся ли мы с нею в хороших отношениях теперь, когда ее сестра Анна так безжалостно обез-

долена моим предстоящим превращением в госпожу Ратомскую? А жаль, если разойдемся, — старая приятельница и уж куда как не глупа!), начала письмо словами: «Свершилось! Вчера мы до утра танцевали на свадьбе князя и княгини Латвиных!»

И довольно подробно описала и венчание, и бал, к совершенному недоумению Анимаиды, что ей за дело до каких-то князя и княгини Латвиных, — потому что я позабыла объяснить ей, ничего не подозревавшей, что княгинею Латвиною стала моя родная сестра... Летописцем я была бы никуда не годным, а в хроникерах еще того хуже.

Однако в рубке что-то зашумели... Вероятно, знаменитую Машкину уху приветствуют... Надо идти к торжеству, пока кого-нибудь не прислали меня искать и звать... Ну, так и есть: вот уже движется длинная тень... Кто бы он ни был, давай, Таня, держать пари, что сейчас услышишь: «Что это вы так уединились? Мечтаете?»

Тень, оказавшаяся присяжным поверенным Авктом Алексеевичем Рутинцевым, одним из усерднейших при княгине Анастасии Романовне подручных дельцов, приблизилась и произнесла приятным басом:

— Однако, Татьяна Романовна, как вы отдалились от нашего общества... Мечты совсем отняли вас у нас...

«Так!» — с усмешкою внутри себя возликовала Таня. — Теперь следует: «Впрочем, кому же и мечтать, как не невесте?»

Тень продолжала приятно басить:

— Мы имели бы право быть на вас в претензии, но счастливое время, которое вы переживаете, снимает с вас ответственность: женихи и невесты — вне закона...

— Вашими бы устами да мед пить! — зевнула Таня, отрываясь от борта и кутаясь в крылатый свой плед. — Вы за мною?

Тень поклонилась:

— Принял коллективное поручение возвратить вас обществу...

— Всех ближе к двери сидели? — усмехнулась Таня.

— Совершенно справедливо, — даже удивился ее догадливости Авкт Алексеевич. — Но, собственно-то, я вызвался на роль парламентера потому, что против намерения идти на ваши поиски Константина Владимировича единогласно протестовало все общество, основательно полагая, что в таком случае мы очень надолго лишимся и вас и его...

— Ну еще бы! — вяло произнесла Таня, направляясь к рубке ленивою походкою, чуть отрывающею ноги от земли. — Непременно пропали бы на полчаса... Хотя бы для того, чтобы выдержать общий стиль и не показаться хоть в чем-нибудь оригинальными!

II

Лето 1896 года было жарким для русских чиновников, дельцов, промышленных и торговых людей, предпринимателей, прожектеров, журналистов, изобретателей, авантюристов и прочих сил, которыми выражается — по крайней мере напоказ — культурный слой общества. Едва откипев в суете и шуме коронационных торжеств, несколько пригорюнившихся под конец, точно пришибленных ужасами Ходынки*), все эти силы потоком хлынули из Москвы в Нижний Новгород, где, упреждая обычное и ежегодное «всероссийское торжище» — Макарьевскую ярмарку, — в этом году должно было открыться и проликовать до поздней осени другое экстренное торжество русского труда и капитала: всероссийская выставка.

Торжество это, задуманное и решенное еще Александром III, что Витте и в выставочный, и в послевыставочный период усердно подчеркивал и выдвигал вперед как аргументы самозащиты, не имело успеха. Можно сказать, что

*) См. «Закат старого века».

на Нижегородской всероссийской выставке общество как бы выместило Ходынку: там бедствие имело источником неожиданно чудовищное многолюдство, здесь — почти совершенное безлюдие. Там ждали двести тысяч, привалил миллион, здесь ждали миллиона, не пришло и двухсот тысяч. Выставку выстроили, собрали, открыли, а простояла она чуть не пустая. Ждали, что выставка необычайно украсит и оживит ярмарку, а вместо того пришлось ожидать, как милости, открытия ярмарки, чтобы она оживила выставку. Она и оказывала эту любезность — впрочем, очень свысока и понемногу — до разгара собственных дел и собственного обычного съезда. Когда же началась ярмарочная горячка, привычка взяла верх над любезностью, или, как тогда острили с горя, вечное одержало полную победу над временным. Весь интерес ушел в Главный дом и на пристани, к старым вонючим рядам гнилых лавчонок, а на бедной выставке высохли последние капли живой воды, и лежала она в великолепном гробу своих дворцов, гостиниц, театров и ресторанов, как спящая красавица, тщетно ждущая жениха, который разбудит ее от мертвого бесчувствия и поведет за белую ручку в храм славы и успеха.

Теперь, шестнадцать лет спустя, о провале Нижегородской всероссийской выставки можно говорить спокойно, беспристрастно, без опасения оскорбить память тех ее деятелей, которые успели отойти в вечность, и слишком больно задеть самолюбие тех, кто еще здравствует. Тогда в провале этом винили то лица, то обстоятельства, то комбинации лиц и обстоятельств, слагавшихся как-то особенно — словно нарочно — несчастливо, чтобы загубить выставочный успех. Обвиняли Витте, зачем он неудачно выбрал для выставки Нижний Новгород, хотя именно в этом-то он как раз и не был виноват. Обвиняли нижегородцев, которые-де отвели под выставку пустырь-болото, годное только для свалок. Обвиняли медлительность выставочной комиссии и кипящие

в ней интриги, из-за которых-де подготовка зданий, прием и размещение экспонатов шли черепашьим шагом, и вот открытие выставки запоздало для того, чтобы на нее перелились волны публики, схлынувшие из Москвы по окончании коронационных празднеств, и оказалось слишком ранним, чтобы из-за выставки поторопились приездом в Нижний обычные ярмарочные гости. Обвиняли прессу, объявившую выставке только что не бойкот, выразительно подчеркнутый уже тем демонстративным фактом, что с коронационных праздников целый специальный поезд русских журналистов помчался не в Нижний, а в гости за границу, на чужую выставку, в Будапешт. Обвиняли властолюбие нижегородского губернатора, знаменитого «героя Весты», генерала Н.М. Баранова, который в качестве маленького местного самодержца ревновал выставку с ее самостоятельною администрацией как некое конституционное покушение на его власть и авторитет и потому подставлял выставочным деятелям ножки ежеминутные и жесточайшие. А как был этот — когда надо, блестящий генерал, когда надо, морской волк — хитер и умен, то и — убийственно ловкий. Какою-то из своих подножек он почти выбил из выставки душу ее: не выдержал характера и подал в отставку главный организатор и вдохновитель выставочного дела Михаил Ильич Кази, любопытный и замечательный человек из породы тех, о которых поэт сказал: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, у нас он офицер гусарский...» В применении этого плачевного правила у нас Кази был директором Балтийского завода, председателем Технического общества и — гением без портфеля, скучающим в историческом честолюбии без приложения, в чине капитан-лейтенанта морской службы, который он подчеркнуто носил, упорно отказываясь от производства в «превосходительства»:

«Я моряк и моряком сойду в могилу».

Этот странный сверхморяк без моря, сверхсановник без сана, сверхчиновник без чинов и сверхдеятель не у дел был

засыпан русскими и иностранными орденами и никогда не надевал ни одного из них. И лишь при столь высокоторжественных представлениях, что без этого уже никак невозможно, прицеплял Владимира и ленточку Почетного легиона, приговаривая иронически любимую свою фразу из Гораса Вальполя:

«Жизнь — трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто мыслит...»

В стране с народным представительством такому талантливейшему организатору, в котором все было дельно, сильно и эффектно: и уродился красавцем, и мысль — огненная, поэтическая, и речь — глагол, жгущий сердца людей, цены не было бы, и, вероятно, он не раз побывал бы во главе правительства, с шумом падая и с решительностью восставая. У нас его одинаково ненавидела бюрократия, как ретроградная, так безразличная, как играющая в консерватизм, так и притворяющаяся либеральною. Иначе и быть не могло. Этот человек обладал исключительным талантом создавать себе страстных врагов — таких же страстных, как страстны были его друзья и поклонники. К нему нельзя было относиться равнодушно, безразлично, он никому не позволял пройти серединкою: либо ты со мною, либо ты против меня. Он не то что не умел — органически не мог лгать, имел очень твердые и определенные политические убеждения, прямолинейно проводил их в практику жизни и вообще был одним из тех немногих русских людей, которые, ложась в постель, дают тайный отчет перед своей совестью: был ли я верен самому себе? Все это делало Кази страшно неудобным в зыбком море бюрократических верхов, и, если бы не было за ним сильной руки во дворце, непоколебимо уверенной в его дарованиях и бескорыстии, Кази, при всех своих действительных талантах и честности, конечно, давно был бы повален, растоптан и съеден. Конечно, такой орел — красавец, оратор и рыцарь — должен был производить большое впечат-

ление на женщин. И действительно, Михаил Ильич, в каком бы высоком кругу ни вращался, всегда имел за себя лучших и умнейших женщин этого круга, влюбленно считавших его гением и идеалом всех мужских совершенств. А это сила страшная и щит могучий. И он был очень нужен Кази, потому что зависть и подозрительность множества честолюбивых людей боролись с ним постоянно — и почти никогда честно. Но, когда Кази скончался, непримеримейший из постоянных противников его, неутомимый оппонент всем его планам и взглядам — в особенности по морским реформам — почтил его память словами:

«Не любил я Кази, и он меня не любил. Но — мир его праху! Какой это был честный враг».

В дебатах Кази был опасным бойцом — и не столько искусством красноречия, сколько необыкновенною ясностью и прямотою мысли. Главное: он не давал противнику хитрить. Он не знал в таких условиях «парламентской вежливости». Фразой обойти его было невозможно. Наслушавшись красивых слов и подтасованных силлогизмов, он преспокойно выводил на свежую воду все низменное, корыстное и честолюбивое, что пряталось под этими декорациями красноречия, и рубил, рубил тогда с плеча. У него была необычайная способность превращать извилины в прямые линии и переделывать закоулки с темными углами в широкие и светлые проспекты. Если он видел красивую подлость, то без малейших церемоний в снисхождение к ее красивости объявлял: это подло. И также прямолинейно ставил свои требования: это хорошо — так и сделайте же это хорошее хорошо. При всей душевной мягкости и доброте Кази в деле был человек властный. В нем тогда какая-то царственность сказывалась. Он был рожден повелевать.

Тесная дружба, связавшая Кази с фактическим хозяином выставки, Владимиром Ивановичем Ковалевским, сохранила Михаила Ильича для дела, им начатого, как «мужа сове-

та». Но как «муж распоряжения» он отпал, и это отпадение самым печальным образом отразилось на судьбах выставки. В.И. Ковалевский, при большом, ярком уме и замечательной разносторонности талантов, совершенно не имел в малороссийском характере своем — подвижном, пылком и страстном — элементов той властности, которая так повелительно сказывалась в характере Кази и была так необходима в выставочной разноголосице. Неутомимый и блистательный разговорщик, воспитанный демократической юностью в правилах товарищеского обращения с каждым из своих служащих, Ковалевский — в противность Кази — совершенно не умел установить дисциплины распоряжения. Он не мог ни командовать, ни взыскивать за ослушание команды. Он все просил, убеждал, уговаривал, доказывал, уяснял. Это было симпатично, но малопомощно — особенно для среды, с которою имел дело хозяин выставки. Один вольнопрактикующий карикатурист увековечил его тогда смешным рисунком, изобразив фантастическую, но весьма недалекую от действительности сцену, как Ковалевский, в полном мундире, при ленте и орденах, доказывает сторожу в своей канцелярии необходимость подметать полы, а сторож, опершись на метлу, слушает высшее начальство с видом самым скептическим и мести пол нисколько не намерен. Когда Ковалевский приходил к убеждению, что надо человека подтянуть, это всегда было повторением басни «Кот и повар», при чем провинившийся кот и в ус себе не дул, ибо превосходно знал, что дальше логического доказательства его провинностей выговор не пойдет. А повару его воинственная решимость обходилась очень дорого, оплаченная нервным расстройством, бессонною ночью, приступом болезни печени. Поэтому можно сказать, что хорошо работали у Ковалевского только те, кто, так сказать, влюблялся в него, и до тех пор, пока влюбленность эта продолжалась. Таких бывало довольно много, потому что блестящая даровитость, несокрушимый

оптимизм, нервная страстность, неутомимая энергия и чудовищная личная работоспособность Ковалевского, да еще вооруженная блестящим ораторским талантом, редко кого не захватывали своим обаянием хоть на короткое время. А иные оставались фанатиками его культа целые годы и готовы были хоть разорваться пополам, только бы Владимир Иванович был спокоен и доволен. Но все-таки подобные влюбленные являлись в бюрократической среде, в которой и с которою работал Ковалевский, незначительным меньшинством. Большинство же относились к его кипучей энергии с убийственным, формальным равнодушием, а весьма часто и с насмешкою, и с враждою: что, мол, за выскочки такие завелись, честолюбцы особого рода, которым мало слушать — хотят еще действовать! Вспомнилось прошлое Ковалевского, с прикосновенностью к политическому процессу, кивали на «неблагонадежные элементы» в его департаменте... А главное, беспокойная энергия Ковалевского не только не заражала это косное большинство своим примером, но, напротив, еще успокаивала возможностью и вовсе сложить руки: все равно, мол, если мы чего не сделаем, так Ковалевский доделает, а что скверно сделаем — он переделает заново, и будет хорошо. И действительно, по мягкости характера Ковалевский ежеминутно позволял взваливать на себя неудобоносимые бремена мелкой и черной работы, к которой он совсем не был обязан и которую делать, конечно, никто его не заставлял, но которую не хотели делать или которую плохо делали его товарищи или подчиненные. И мало-помалу веселая привычка к подобным неудобоносимым бременам как к неизбежности сделала его недоверчивым к достоинству всякой работы своих сотрудников. И в недоверии он хотел сначала до конца делать сам и чрез то напоминал дирижера, который, вместо того чтобы у своего пюпитра, с жезлом в руках, руководить исполнением симфонии по партитуре, бегает по оркестру и — то на скрипке за второго скрипача попиликает, то на

фаготе подудит, а то и в барабан бухнет за барабанщика, ушедшего пить пиво в буфете. Этою готовностью Ковалевского и на скрипке играть, и в фагот дудеть, и в барабан бухать множество людей пользовались с ужасающею недобросовестностью, безжалостно пожирая и силы, и время талантливого человека, заставляя его тратить свои способности черт знает на что и лишая его беспрестанным отвлечением к чужим мелочишкам цельности и стройности в общей работе, за которую, однако, общая же ответственность продолжала лежать только на нем одном. Ковалевский, говоря известною пословицею, вынужден был сажать деревья и не видать из-за них леса. И уже не в карикатуре, а в факте произошло однажды, что — обходя выставку перед царским приездом и заметив где-то на неподобающем месте забытую кучу стружек, его превосходительство г. вице-президент выставки принялся эту неприглядную кучу собственноручно убирать...

Влияние Кази, которого побаивались, до известной степени выручало Ковалевского от охотников седлать его, чтобы спокойно ехать на нем к чинам, орденам и наградам. Но в самом разгаре своем выставка лишилась и «мужа совета»: переутомленный выставочною суетою и волнениями, М.И. Кази скоропостижно умер от разрыва сердца. Смерть к нему, по-видимому, подкрадывалась давно. А помогла ей, как думают, страшная физическая усталость после того, как Михаил Ильич в течение четырех дней, с утра до вечера, водил по выставке воистину неутомимого в любознательности гостя, фельдмаршала Д.А. Милютина. Да еще упало на почву этой усталости сильное нравственное потрясение, вызванное не совсем-то охотным примирением Кази со злейшим врагом своим, Н.М. Барановым. Кази слегка прихворнул в ночь после торжественного обеда в губернаторском дворце, данного Барановым в честь их примирения. Никому и в голову не приходило, чтобы это недомогание было не только опасно, но хотя бы сколько-нибудь серь-

езно. Однако поутру Кази взял — именно вот взял да и помер. Смерть Кази была страшным ударом для той части выставочного управления, которую можно было бы назвать партией деловиков, во главе которой стоял В.И. Ковалевский и которую поддерживал своим откровенным сочувствием Витте. Кази все-таки умел хоть сколько-нибудь мирить эту партию «демократов» с тою группою бюрократической аристократии, которая, имея во главе официального хозяина выставки, генерального комиссара В.И. Тимирязева, стремилась прежде всего затянуть выставочную жизнь в корсет строгой петербургской канцелярщины, с чудовищным количеством входящих и исходящих бумаг и с соответственною тому постепеновщиною распоряжения и действия в работах. Со смертью Кази обе группы как будто совершенно перестали понимать друг друга, да и отношения глав мало-помалу обострились настолько, что даже друзья Ковалевского стали очень сухи с друзьями Тимирязева и обратно. Вся выставка разделилась как бы на два лагеря — не то чтобы резко враждебные, но уже очень осторожные и подозрительные к взаимным действиям, что очень тормозило всякое благое начинание, в каком бы из двух лагерей оно ни возникало. Хорошо известно, что во всяком недружелюбии побеждает та сторона, которая имеет больше времени, чтобы следить за своею борьбою, и больше внимания и спокойной выдержки, чтобы принимать и наносить удары. Поэтому бюрократы, в начале выставки совсем было затертые деловиками, малопомалу не только подняли головы и начали потихоньку да полегоньку деловиков оттеснять да поталкивать, но во второй половине выставки взяли на ней полный перевес. А в конце — после того, как усталый, раздраженный, с истрепанными нервами, Ковалевский почти внезапно уехал из Нижнего с твердым намерением назад ни за что не возвращаться, — бюрократы остались на выставке уже и единственными даже хозяевами. И только ликвидация выставки, когда она всем уже на-

доела пуще горькой редьки и решительно ни с какой стороны никого не интересовала, была торжествующими победителями поручена — точно на смех — чиновнику из «партии Ковалевского», которого до тех пор чуть не уморили бездеятельностью, не давая ему на выставке ни самостоятельности, ни просто даже работы.

И эти все нелады и неурядицы, конечно, также не могли не портить выставке ее репутации и отталкивали от нее посетителей слухами о ее неустройстве, о свирепствующей на ней дороговизне, о скудости и неудобстве помещений для наезжающей публики, о беспорядке и недостаточности предметных указателей, о дурном подвозе экспонатов и еще худшем с ними обращении, о безобразиях железнодорожной выставочной ветки, о горах заколоченных ящиков на станции, для разбора которых недостает рук, об отсутствии развлечений и т.д., и т.д. Во всех обвинениях против выставки было одинаково много горькой правды и пристрастных преувеличений. Сравнивая состояние Нижегородской всероссийской выставки со многими последующими выставками в Европе, надо по совести сказать, что решительно все обвинения, которые рушились на Нижегородскую выставку, годились бы в полной мере и для Брюсселя, Турина и Рима, а во многом здесь было и хуже нашего российского. Однако нигде это не отзывалось ни таким умалением притока посетителей, ни таким враждебным отношением печати, как ознаменовался нижегородский провал. Уже задолго до того, как выставка открылась и, следовательно, обвинения, бродившие до тех пор только темными слухами, могли теперь быть проверены на фактах, — общество составило свое мнение и не нуждалось в его проверке. Оно уже приняло обвинительный акт, заочно судило и, даже не пожелав выслушать прения сторон, вынесло приговор: выставке — бойкот. И апелляции на это решение бессильны были добиться ни старания весьма немногочисленных органов печати, сохранивших доброе отно-

шение к выставке, ни наглядное зрелище тех ее отделов (школьный, горный, морской, химический, мануфактурный, северный, удельного ведомства и т.п.), которые действительно были интересны уже при открытии и улучшались со дня на день по мере того, как распаковывались горы ящиков и тюков на выставочной станции... Даже и та публика, которая посещала выставку, относилась к ней с каким-то юмористическим скептицизмом, словно конфузясь, что не устояла против соблазна и все-таки завлеклась любопытством в такое место, куда решено было общим безмолвным соглашением не ходить. Смотрели вяло и странно — будто недоумело — и преоскорбительно изумлялись, когда находили что-нибудь, что очень нравилось. Пройдут с недоверием слабый художественный отдел — упрутся в говорящего моржа, который при великолепном северном павильоне Мамонтова показывал какой-то бойкий мужчина, — и баста: интерес иссяк... Разве еще поглазеют на водолаза в баке со стеклами да кто попроще — соблазнится прошагать с полверсты, чтобы позвонить в колокола Финляндского и Оловенникова. Повседневный добровольческий звон был проклятием не только выставки, но и ее окрестностей далеко кругом. Как выдерживали этот адский медный гул уши и нервы ближайших его соседей, служащих и экспонентов отдела художественной промышленности, — физиологическая загадка. Говорящий морж держал свое знамя высоко и победоносно торжествовал над всеми экспонатами. Так что даже неловко выходило: точно вся выставка, стоившая столько миллионов, свелась к тому, что — вот — моржа показывают... И хоть оно и смешно, но, право же, когда моржик, устав бесконечно тявкать «папу», «маму» и кричать «ура», в одно плачевное утро опустил свои ластики и скончался, почти никто из выставочных тузов не принял неповинную смерть бедного животного равнодушно. А иные не только жалели и досадовали, что из репертуара выставки исчез такой «гвоздь», но и просто-таки

испугались: чем теперь заменить несравненную приманку? И, увы, моржик действительно оказался незаменимым... А Дмитрий Васильевич Григорович — высокий, тонкий, серебряно-седой, с фигурою французского маркиза и с языком ядовитейшего памфлетиста эпохи Великой Революции — ходил по отделам, уверяя заведующих, что «благодетеля выставки» велено отпевать соборне, что от Витте из Петербурга прислан «по телеграфу» венок на гроб усопшего друга, что на освободившуюся вакансию моржика уже подали прошение 12 чиновников из департамента торговли и мануфактур, но — не годились, потому что спились на выставке: «ура» еще кое-как кричат, а «папы» и «мамы» уже не выговаривают... И так далее, и так далее. Потому что, если Дмитрий Васильевич бывал в сердцах и начинал честить недругов бритвою-языком своим, то успокаивался не ранее, чем видел их — без волоска, голенькими, в окончательной беспомощности, подобно новорожденным младенцам.

Григорович был очень зол на выставку и имел на то полное право, хотя острая старческая ненависть его могла казаться иногда слишком личною и преувеличенною. Он побывал в обеих выставочных партиях, потому что мечтал создать из их лучших элементов свою. Но и к тому, по чрезмерной живости своей, не оказался способным и не пристал ни к одной. А оставшись в обеих, обе ругал на всех языках, ему известных, с изящнейшею изобретательностью и неутомимым разнообразием. Для огромного большинства участников выставка была комедией, кое для кого — трагикомедией, но для бедного Д.В. Григоровича она оказалась самою настоящею трагедией. История искусств еще не оценила достаточно места и значения Григоровича в русской художественной промышленности. Но он-то важные заслуги свои в этой области, за которую он с геройством сражался чуть ли не с пятидесятых годов и которой окончательно посвятил все свое внимание и труды после того, как положил перо, создавшее «Рыбаков» и «Антона Горемы-

ку», — он-то роль свою сознавал хорошо. И сгорал вполне понятным честолюбием блеснуть на всероссийском экзамене выставки вверенным ему отделом художественной промышленности как величайшим созданием и излюбленным трудом своей жизни — драгоценным подарком родине, завещанием грядущим поколениям. Понятно отсюда, как Григоровича оскорбляло уже то обстоятельство, что выставку, мимо Москвы и Петербурга, запрятали в какой-то там Нижний, куда — ну-ка, дождись-ка ты в гости и своего-то образованного общества, а не то что иностранцев! Отделом своим Григорович управлял на каких-то особых правах, к которым он относился весьма ревниво. Одного уже этого условия в связи с беспощадным языком Григоровича было достаточно, чтобы его возненавидели все чиновничьи силы и власти и вставляли ему палки в колеса решительно всегда и всюду, когда и где только могли. В глаза он был «наш дорогой Дмитрий Васильевич», за глаза — «злой старичишка», «надоедный интриган», «опять притащился клянчить и просить невозможного» и т.д. Но, так как у Григоровича были большие связи в Петербурге и большая энергия в сношениях по связям, то «вы-клянчивал» он, когда хотел, много, потому что: «Надо все-таки сделать: черт его знает, старого сплетника, чего и кому он там настрочит...»

Кажется, ни один отдел выставки не потерпел такого горького фиаско, как отдел художественной промышленности, тогда как — по общим завистливым ожиданиям и по надеждам самого Д.В. Григоровича — он должен был оказаться самым блистательным. И действительно, план его и систематизация были великолепны, но... отдела, собственно говоря, сначала не было вовсе, а потом он стал производить довольно-таки комическое впечатление гигантского магазина bric à brac*. Григорович в том был ничем не виноват — кроме чрезмерной доверчивости. Господа художественные

* Подержанные вещи, хлам (*фр.*).

промышленники безжалостно подвели бедного Дмитрия Васильевича, который, понадеявшись на свой между ними авторитет, взятые с них обещания и честные слова и, наконец, на прямые выгоды для каждого производителя участвовать в подобном конкурсе, не прибегал ни к каким принудительным мерам, чтобы расшевелить своих ленивых и небрежных экспонентов. В результате Григорович почти накануне выставки оказался повелителем огромно-длинных сараев, в которых там и сям торчали сиротливые витрины второстепенных экспонентов: кружева разные из Вологды, да столики с мозаикой из крымских камушков, да потом общим кошмаром на выставке ставший шкаф некоей госпожи Семечкиной, выжиганием по дереву изобразившей, как живет и работает граф Л.Н. Толстой. Да еще громадно высился, бросаясь в глаза яркою пестротою, в переливах золотых узоров с белыми цветами, прозрачной желтизны с голубою мутью, колоссальный майоликовый павильон Кузнецовых. И едва ли не все. Старик заметался в оскорблении и испуге, взволнованный, больной от страха и негодования, а экспоненты торговались с ним письмами и телеграммами за места в отделе, точно не свою выгоду соблюдали, а ему личное одолжение делали, грозили отказами, требовали гарантий в наградах по будущей экспертизе. И чем крупнее была фирма, тем наглее себя вела. Дмитрий Васильевич всем открыто показывал письма одного петербургского фортепианщика, писанные как ультиматумы, чуть не в диктаторском тоне. Чиновники, видя Григоровича в затруднительном положении, конечно, злорадствовали и сплетничали широчайше, распуская скверные слухи, что вот, мол, какая чуть не сплошная забастовка экспонентову Григоровича, — это неспроста. Солиднейшие фирмы — например, по печатному делу, — испугавшись сплетен, стали отгораживаться от отдела, объявляя себя «вне конкурса». Ветхий днями энтузиаст художественной промышленности, Дмитрий Васильевич видел, слышал, домекался, соображал

и — чуть с ума не сходил от оскорбления и негодования. И с нечеловеческою энергией спешил поправить ошибки своей напрасной доверчивости к совести и здравому смыслу русских промышленников, которых ему теперь чуть не на коленях приходилось умолять, чтобы они удостоили пожаловать в Нижний за получением «орлов» и золотых и серебряных медалей. И если бы не помог старику крутым авторитетом своим С.Т. Морозов, мудрено было бы ему выбраться из тенет, которые так неожиданно расставили ему где интрига, где самодурство, а где и просто лень... Да еще вдобавок несчастий дурной климат выставки, расположившейся на болоте, осушенном дренажными канавами слишком наскоро и поверхностно, наградил старика мигренями, насморком, носоглоточным катаром. Он ходил, то откровенно опухший всем лицом, с красными глазами и посинелым носом, то завязанный черным платком; и, как человек изящный и привыкший быть красивым, страдал от боязни, что надоедные болезни его обезобразят, а как человек вообще-то железного здоровья и непривычный болеть, испугался своих новых недугов: уж не предвестники ли смерти? И так он был болен и нехорош, что за него стали побаиваться даже те, кто его не любил. Он чувствовал, что ему надо уехать, а боялся уехать, чтобы без него совсем уже не «испакостили» отдела...

Это странное чувство разделяли с Григоровичем многие участники выставки. С одной стороны — стремление уехать подальше от провалившейся, опостылевшей, надоевшей выставки; а в то же время боязнь уехать, потому что — «а вдруг именно тут-то и начнется что-то особенное — либо очень хорошее, либо очень скандальное, — чего сейчас омертвевшая выставка не дает совершенно, и как же возможно, чтобы меня тогда при этом не оказалось?». Она не тянула к себе публики, зато втянула в себя своих организаторов, да так втянула, что уже и выпускать не хотела. Григорович, когда заставил себя уехать, засыпал всех

близких и даже не особенно близких беспокойными вопрошающими письмами. Кази уехал в Петербург направить свои личные дела, которые он из-за выставки целое лето оставлял в совершенном пренебрежении, и очень скоро вернулся.

«Зачем?»

Он отвечал шутками, но несколькими днями позже ответил так, что уже серьезнее-то и нельзя: лег да умер.

Великолепен он был на смертном одре, в спокойной позе отдыхающего, со своею львиною головою в седеющих черных кудрях и апостольской бороде. Каждый, кто подходил к телу, невольно озарялся одним и тем же впечатлением: «А и хорошим же человеком, должно быть, был этот покойник!»

Еще в самый день своей смерти Кази говорил о себе:

— Я чувствую себя одним из самых счастливых людей в России. Не в том смысле, чтобы были удовлетворены мои желания, а вот положение мое для русского человека уж очень счастливое. Я не служу: следовательно, ни мои мнения, ни моя совесть никому не закрепощены. Я человек богатый: следовательно, денежные и материальные затруднения тоже не имеют надо мною власти. Я свободен, как птица...

А час спустя прекрасная птица, так гордая своим вольным счастьем, уже лежала — трупом в серой фуфайке — на постели в номере «Международной гостиницы». А подле, на ночном столике, лежала книга, которую Кази читал перед смертью — только что вышедший тогда «Quo vadis?»* Сенкевича... И на раскрытой 122-й странице ее жутким совпадением читались строки: «Смерть прошла около меня, но я смотрел на нее с таким же спокойствием, как Сократ...»

И ясно представлялось, что вот именно так и было дело: пришла смерть, Михаил Ильич спокойно взглянул ей в страшное лицо...

— За мною?

* «Камо грядеши?» — «Куда идешь?» (*лат.*)

— За тобою.

— Уже идти?

— Идем.

Отложил книгу, снял пенсне, положил его на недочитанную страницу — и умер, как свеча погасла.

А между тем жить ему хотелось... ах как хотелось! И вполовину еще не изжит был и кипением кипел огромный запас деятельных сил и любви к работе. Кази глядел далеко в будущее — и один из немногих в России девяностых годов понимал государственную необходимость воскресить из мертвых русский Север и провидел грозную роль Дальнего Востока, почти внезапно выдвинувшегося в первую очередь факторов русской политики.

Незадолго до смерти, на обеде в честь Саввы Тимофеевича Морозова, Кази произнес любопытную речь. Вообще-то это был тяжелый обед. Морозов в то время был не только представителем, но в буквальном смысле слова главою всероссийского купечества, и в умной, честолюбивой, молодой голове его бродили мысли и планы замечательные. Ему откровенно мечталась политическая роль, и он совершенно серьезно и с большою последовательностью принялся было выковывать из именитого русского купечества «третье сословие». Купеческую рознь он железною рукою подбирал, человека по человеку, сплачивая в дружное единство, и успел уже показать петербургской бюрократии зубы и когти сплоченной купеческой силы — далеко не шуточные. По вопросу о долгосрочном казенном кредите ярмарки он впервые «тряхнул Витте» — тряхнул победоносно и гордо, без каких-либо задних ходов и протекций, просто и выразительно показав министерской бюрократии, что за его спиною сомкнулась сила всероссийского капитала: готова ответить на утеснение финансовою войною и вообще требует, чтобы с нею в Петербурге считались не свысока, а вровень; при случае же, как сейчас, например, пожалуй, даже и снизу

вверх... Эта победа сделала Савву Тимофеевича на довольно продолжительное время популярнейшим человеком и в Москве, и на Волге, и повсеместно в крупных коммерческих центрах России. В Нижнем же его положительно возбоготворили. На ярмарке Савва всегда был и вел себя настоящим царьком, но теперь в его руках как-то неожиданно сосредоточились все вопросы тройственной жизни, которою трепетал в это странное лето странный город над Окою и Волгою: ярмарочной, выставочной, городской.

— Лезут-с ко мне-с с делами-с, которые-с меня нисколько не касаются и еще менее интересуют-с... — презрительно возмущался Савва Тимофеевич на чересчур уже усердное превращение его в повсеместного «мужа совета». — Какое мне дело-с? Я даже и не служу-с нигде-с. Как будто-с мало-с там у них своего начальства-с?.. Вон, Баранов уже запрег-с меня пожарную команду смотреть-с... Ну что же-с? Смотрел-с: очень скверная команда-с... А на выставке я — вроде Пиквика-с: пластырь ко всеобщему умиротворению-с... Не потому-с, впрочем, чтобы по природе своей был уже очень благодушен, а потому-с, что они там все настолько меня терпеть не могут-с, что, когда я говорю «да», они даже между собою грызться перестают — лишь бы иметь удовольствие в большинстве преподнести мне «нет»... А я и рад, что довел их до согласия-с, потому что-с мое «да» нисколько мне не было нужно-с, а весь мой интерес помещался именно в том-с, чтобы было «нет-с»...

Немного людей в России слышали столько лести, как Савва Морозов в эти дни своего «политического» успеха, который множеству людей представлялся почему-то необыкновенно решительным и прочным. Опять, впервые после смерти знаменитого московского городского головы Н.А. Алексеева, пошли по купечеству слухи-мечты о новом Министерстве торговли с министром из купцов... А министром из купцов кому же иному быть, как не Савве?

— Да ведь по старой вере он, — с тоскливым сомнением возражали наиболее умеренные из поклонников.

Энтузиасты же и этот аргумент отражали:

— Савва понажмет, так замирятся!

В действительности старая вера мешала Савве не только добыть министерский портфель, который учреждался воображением разгорячившихся купцов, но и быть утвержденным на посту гораздо более скромном — московского городского головы, хотя этого поста он и сам желал, и москвичи его в головы прочили. Да и в правительстве многие находили, что этот выбор был бы и представителен, и полезен, так как направил бы «будирующую» деятельность молодого купеческого лидера и капиталы, им повелеваемые, не к огорчению властей, но к утешению... Но, когда Савве совершенно ясно дали понять, что дело стоит только за присоединением его к православию, Савва под большие колокола не пошел и купить удовольствие головить на Москве отступничеством от веры отцов своих наотрез отказался.

— Да не все ли вам равно, Савва Тимофеевич? — убеждали его. — Ну какой вы старовер? Доктор философии германского университета... Образованный человек, интеллигент... Ну на что вам далось ваше старообрядчество? Какой смысл вам за него держаться? Что вы в нем для себя нашли?

А он с улыбочкою себе на уме возражал:

— Как что-с? Прекрасная вера-с. Как отцы, так и мы. Очень хорошая вера-с. Купеческая-с.

Эта «купеческая вера» в свое время облетела всю Россию, как одно из словечек Саввы Морозова. Он ронял их во множестве — и никогда ни одно даром.

И когда кивали ему:

— Смотрите, Савва Тимофеевич, обскачет вас Прохоров...

— Английская складка-с. Большим кораблям большое и плавание-с.

— То-то, «английская складка». Того гляди, станет лорд-мэром будет...

— Уж куда нам, маленьким людям, в лорд-мэры, — вздыхал Савва, сатирически щуря глазки свои, — хоть бы в городские-то головы-с!

Пред людьми, которых он не совсем раскусил и потому не очень-то им верил, Савва любил прикидываться простачком и иногда шутовал в этом направлении столь искусно, что совсем одурачивал актерскими шалостями своими даже и весьма неглупых и не лишенных житейского опыта людей.

— Бог вас знает, — сказала ему однажды перевидавшая много видов и весьма дерзкая на язык дама-путешественница и писательница, — не разберу я вас: то ли вы уж очень умны, то ли — извините — вовсе глупы и только, нахватавшись хороших слов, научились хорошо притворяться умным — так, иногда, на время, по мере надобности.

— А какое будет ваше собственное мнение на сей предмет? — ничуть не обиделся Савва.

— То-то, что не разберу... И отчего это у вас, право?

Савве только того и надо было. Он сейчас же схватился за вопрос и бросил словечко:

— Оттого-с, — поучительно объяснил он, морща в плутовскую усмешку все свое смугло-красное калмыцкое лицо, — исключительно оттого-с, мой ангел, что образование у меня университетское-с, а ум — десятский-с...

Человек с университетским образованием и умом десятского тонко понимал людей и знал им цену. Лестью взять его было нельзя, но он глубочайше презирал своих льстецов, да и вообще, людям не великую цену ставя, он не препятствовал им подличать сколько кому угодно. Зато в своей интимной компании, состоящей из самых неожиданно разнообразных людей, жестоко высмеивал непрошеное куртизанство, величественно толпившееся вокруг него — небольшого ростом, коренастого человека, в каком-то блине

вместо фуражки, в довольно-таки поношенных серых штанах и — без часов.

— Что вы, Савва Тимофеевич, все у других спрашиваете, который час?

— Потому что своих часов не имею-с.

— Так вы бы купили!

— Денег нету-с, а маменька-с не дарит-с.

Он был неотделенный сын Марии Федоровны Морозовой, которой чудовищными капиталами — знаменитыми морозовскими капиталами — и ворочал, как полномочный распорядитель. Свой личный капитал он имел незначительный и любил это напоминать и ставить на вид...

На том обеде в честь Саввы Морозова, с которого пошла о нем речь, атмосфера лести дошла до невыносимого напряжения. Лесть лилась потоками из каждого тоста. Льстили даже такие люди, которым ни по положению, ни по обычным их житейским целям, слишком далеким от морозовской сферы, незачем было льстить: льстили из любви к искусству, из платонического трепета пред миллионами... «Ведь у иного, — хорошо выразился именно тогда Д.В. Григорович, — когда он видит миллионера, вчуже холодеет селезенка». Кази долго морщился, наконец встал и произнес:

— Вас все хвалят. Буду хвалить и я. Хвалю вас за то, что, родившись богатым человеком, не заснули на мешках с деньгами, а образовались, видели свет и людей. Хвалю за то, что в вас есть честолюбие — не убивать жизнь в свое собственное нутро, наживая рубль на рубль и копейку на копейку, но поработать и на почве общественной деятельности. Вы умны, сведущи, богаты, можете принести много пользы. Так много, что, если вы сделаете хоть десятую долю того, что позволяет вам ваше положение, вам вправе позавидовать самые любвеобильные деятели русской истории. Ну, и надо делать, пора делать. Имейте любовь к стране, где вы родились, к среде, откуда вы вышли: любите их и слушайте их.

Работайте для них не только потому, что за это вам дадут орден или коммерции советника, но и ради них самих. Вы умны — делайте умною и среду свою. Вы образованны — образовывайте и народ, которого вы сын. Ваши фабрики полны нововведений: знакомьте с прогрессом вашего производства и темного человека, включительно до мелкого захолустного кустаря. Иначе ведь ваш капитал — ему конец и смерть. Ваши деньги взяты у народа — отработайте их народу. Иначе ваш капитал будет кражею — и при том неумною и бесполезною. Капитала в гроб не унесешь; только дикарь может дрожать над деньгами для денег. Двиньте же ваш капитал, как могущественную армию против невежества и сиротства русского рабочего, просветите его, смягчите его нравы. Тогда ни один русский не будет вправе сказать, что вы зарыли свои таланты в землю, каждый снимет перед вами почтительно шапку. Иначе же — стоило ли вам и образовываться? Необразованный добыватель денег для самого себя сколотит капитал так же успешно, как и вы, даже еще успешнее, потому что не обязан цивилизацией к тонкой ответственности перед своею совестью, а вы уже обязаны. Иначе — стоило ли вам и пускаться в общественную деятельность? Общественная деятельность хороша лишь тогда, когда она не маска, надетая, чтобы играть эффектную роль распорядителя судеб того или другого российского сословия, а то и всей России, но когда вся она — любовь к самой России, любовь к русскому народу, к русскому просвещению...

Именитый стол внимал голосу оратора, резко чеканившего каждую фразу, не без смущения, ожидая, что вот-вот коса найдет на камень и Савва, сам мастер поговорить, пустит Кази ответное на урок его резкое словечко... Но Савва слушал, как музыку, со слезами на глазах, и, когда Кази кончил, Морозов серьезно и глубоко поклонился оратору в пояс и почтительно попросил позволения с ним облобызаться. А лобызаясь, успел шепнуть Михаилу Ильичу какое-то та-

кое обещание насчет школ технического образования, которые были излюбленною мечтою Кази, что старый энтузиаст расцвел розой. Он всегда так расцветал, когда встречал хорошего человека и хорошее человеческое дело.

— Как я люблю человечество и как редко случается любить человека! — говаривал он. — Зато какая радость, когда я встречаю человека себе по душе, и какое горе, если я потом обманываюсь в нем. Любите людей — в этом источник самоудовлетворения... Кто хочет быть счастлив, должен никогда не забывать, что одинокого счастья на свете не бывает, что счастье и другим нужно; только тот свет счастья истинный, который отражается на других. Кто ставит себя всюду первым номером, может, пожалуй, добиться некоторого самодовольства, но самоудовлетворения и, следовательно, счастья — никогда.

* * *

Бесчисленные частные обвинения на выставку, равно как и соответственные попытки найти объяснения ее провалу — все без исключения, — вращались в области поводов и примеров, а общих причин тогда никто не видал, да еще и долго потом не примечали. Причин же было две. Одна, внешняя, формальная, заключалась в том, что общество, усталое от празднеств коронации, истратило в Москве и силы свои, и деньги, и любопытство, и на вояж в Нижний Новгород охотников оказалось уже очень немного. Вместо чаемых сотен тысяч явились едва простые тысячи, а бывали дни и с простыми сотнями. Были отделы, в которые никто никогда не заглядывал, кроме влюбленных парочек, справедливо находивших их уединение надежнее всякого пустыря. Красивый павильон Прохоровской мануфактуры — гостиная в турецком вкусе из бумажного плюша — даже прославился как место счастливых свиданий. То и дело артельщики, подобно архангелам, хотя и без огненных мечей, изгоняли из этого рая нижегородских

Адамов и Ев, мечтавших найти в нем блаженство познания добра и зла. И Кази острил, что Прохоровым надо дать две медали: одну, как водится, за трудолюбие и искусство, а другую за содействие росту народонаселения, потому что «от их мануфактуры дети бывают».

Вторая причина — внутренняя и гораздо более глубокая — уже совершенно никем тогда не нащупывалась. По крайней мере из тех, кто с выставкою маялся, чтобы создать из нее всероссийский экзамен, и огорченно недоумевал, когда их детище роженое, холеное, драченое провалилось на экзамене вопреки блестящей подготовке лучшими русскими репетиторами, самым жалким образом — безнадежно, непоправимо. Эта вторая причина заключалась в той острой розни, которая в это время начала определяться между правительством и обществом, — да уже не в революционных единицах, как прежде, а в устремившейся к сплочению оппозиционной массе. Сказалось глубокое массовое недовольство режимом шестнадцатилетней реакции, в результате которого в Нижнем Новгороде затеян был неосторожный смотр. Материалом своим смотр был совсем не худ, но он возник из намерений и целей, которым общество, по инстинкту исторической правды, объявило решительное недоверие. Не Тимирязев, не Ковалевский, не Баранов, даже не Витте погубили выставку. Она провалилась не в розницу и не по розничным причинам, а вся, оптом! Если бы она была во сто раз лучше, чем устроили эти чиновники, она все-таки не имела бы успеха и была бы безлюдна. Достаточно вспомнить, что даже бесплатные билеты, выдававшиеся выставкою для круговых путешествий по России, — уж это ли, казалось бы, не соблазн! — были не все использованы даже в конце выставки! Общество истосковалось по переменам и стремилось к будущему, а ему предлагали оглядку на прошедшее. Выставка явилась как бы похвальбою эпохи, которую общество после 1894 года рассчитывало видеть отошедшею в былое и об-

манулось в этой надежде своей — в «бессмысленных мечтаниях», как тогда стали иронически выражаться. 1895 и 1896 годы прошли в томительной лихорадке этих напрасных надежд. В майские торжества 1896 года они окончательно лопнули, и Ходынка поставила к ним кровавую точку. Общество поняло, но не простило. И, когда правительство позвало его в гости на пир своей закрепленной системы — на праздник национального преуспеяния и протекционной системы, — общество осталось дома и в гости не пошло, не прислав даже извинительной записки о болезни.

На того, кто указал бы эту причину тогда, в 1896 году, современники взглянули бы как на сумасшедшего. А между тем это хорошо видели немногие заграничные гости, посетившие оба торжества, то есть выставку после коронации. В то время как русские организаторы выставки терзались недоумениями пред отсутствием публики и руганью либо злым молчанием прессы, иностранные журналисты осторожно спрашивали русских своих собратьев:

— А не политический ли это бойкот?

Но для русских собратьев западное предположение было новостью дикою, неправдоподобною:

— Придет же в голову! Разве это в наших нравах? Да у нас и слова-то подобного в языке нет...

Казалась невозможною организация такого стройно широкого безмолвного протеста. Да и действительно, никакой организации не было. Но забывали, что никакой организации и не надо было — ее заменяла немая общность настроения. Страна ждала конституции. Вместо конституции ей показали похвальный лист пресловутой тройной формуле прошлого царствования, победоносцевской триаде. Страна дружно выразила отжившему похвальному листу общее недоверие и не захотела его читать в подробностях: давно знаем! отстаньте! Ничего из этого не будет! Надоело!

Быть может, политический характер бойкота выставки был бы заметнее, если бы ее организация находилась в других руках. Если бы ею орудовали «охранители», они не замедлили бы поднять крик о том, что выставка — жертва польской интриги, еврейских происков, финского сепаратизма и русской либеральной крамолы, что она бойкотируется за свой патриотизм и охранительную тенденцию. Но к делу привлечены были — напротив, — как нарочно, наиболее свежие, передовые и либеральные силы тогдашней чиновнической и научной бюрократии: Витте, Ковалевский, Тимирязев, Коковцов, Кази, Менделеев, Коновалов... Старики бюрократы с Победоносцевым во главе на выставку хмурились, считали ее праздною и опасною затеей департаментских вольнодумцев, а ее организацию чуть ли не каким-то якобинским клубом. И вот это-то обстоятельство, что выставка спета была на самый либеральный тон, какой только был в правительственной гамме, а либерально настроенное общество им все-таки не пленилось, — сбивало с толку. Выходило ведь буквально, что мы, мол, вообще не желаем больше быть с вами знакомы и, по существу, нам все равно, либералы вы или консерваторы, прогрессисты или ретрограды. Сер волк, бур волк — все волк. Timeo Danaos et dona ferentes*.

Бюрократия охранительская злорадствовала, а бюрократия либеральная, серьезно растерявшись, горестно подсчитывала компромиссы, на которые пошла она в напрасной мечте объединить общество с правительством, и в плачевном негодовании восклицала:

— После этого... да какого же им еще рожна?!

Общество инстинктивно знало, какого ему надо рожна, но час его не пришел, и оно молчало... И лишь восторженно рукоплескало всякому выражению протеста. В моде был бунтующий капитал под командою Саввы Морозова. В моде

* Бойтесь данайцев, дары приносящих (*лат.*).

был профессор Ходский, в стенах самой выставки прочитавший доклад, которым в пух и прах разнес торгово-промышленную политику Витте и неудачный ее нижегородский смотр: бунтующая наука! А в самый разгар выставки, когда она действительно подтянулась настолько, что могла как будто по праву похвастать подъемом машинного дела и фабричной промышленности, шифрованные телеграммы из Петербурга донесли Витте и Ковалевскому, что там машины не работают, фабрики опустели, промышленность стала: началась первая массовая рабочая забастовка — взбунтовался труд!

III

Константин Владимирович Ратомский приехал в Нижний Новгород в свите княгини Анастасии Романовны Латвиной весьма прозрачно предполагаемым и уже прослывшим, но еще не объявленным женихом ее сестры, Татьяны Романовны. На выставке его ждали давно ему заказанные плафон и панно в павильоне Бэра и Озириса. Сотрудники и ученики Ратомского уже выполнили по его рисункам подготовительные работы, и фрески нуждались теперь лишь в немногих днях внимания, чтобы принять на себя печать самого маэстро. Но художник давно уже не писал, и, когда снова почувствовал кисть в руке, его охватил запой работы. И принялся он в творческом ударе крушить, стирать и даже вырубать старое и сделанное, выдвигая вперед новую мысль, новые вдохновения, находя новые приемы. Товарищи, хоть и привыкли к подобным капризам Ратомского, только дивились: таким взыскательным и удачливым изобретателем они своего милейшего маэстро еще не видали. Большую роль тут играла Таня Хромова. Ратомский в самом деле крепко влюбился в девушку, насмешливой серьезности которой он втайне очень побаивался, и завоевать ее холодное сердце каза-

лось ему совсем не шуточною задачею. Знал он, что отсылала Таня без надежд людей и покрупнее его. Будь хоть семи пядей во лбу — «а дева русская Гаральда презирает!..». Конечно, когда же художнику и блеснуть собою перед дамою своего сердца, как не в моменты творческого вдохновения, которое не то что столь блестящего человека, как Костя Ратомский, но и серенькую невзрачность делает интересною, значительною, красивою? Итак — работа закипела в его руках, подгоняя вперед фрески, заснувшие было в лени художника, с быстротою, которой Костя сам удивлялся. А Таня почти ежедневно посещала его на работе и в самом деле начала глядеть на него несколько ласковее и дружелюбнее, чем раньше в Тюрюкине, так как ее художественное чутье открывало ей в приемах этого безалаберного малого не только большой талант: что Ратомский даровит, она и по прежним его работам знала, — но и большую любовь к своему искусству, умение работать и добросовестность творческой самокритики. Этих качеств она в проектированном женихе своем, правду сказать, не подозревала, искренно считая Костю, по роли его в кругу Анастасии Романовны, пустейшим господином, значительным не более любой из дорогих мебелей и игрушек, украшавших латвинские палаты... Эта приятная неожиданность значительно облегчила Тане ту совсем неприятную минуту, когда Костя — до тех пор тщетно поощряемый намеками и обиняками Анастасии Романовны, назуживаемый и наигрываемый откровенностями Марьи Григорьевны и советами Пожарского, — наконец расхрабрился: однажды, возвращаясь с Танею в латвинской коляске с выставки в город — на крутом подъеме к кремлю, — он сделал Тане весьма хриплое и трепетно тремолирующее предложение руки и сердца. Таня на слова художника ничего не отвечала и даже не шевельнулась малейшим движением какимлибо: как раньше сидела, лениво запрокинувшись на спинку экипажа, с полузакрытыми глазами, так и дальше пребыла

будто сонною... Так что Ратомский сперва думал, что она его не расслышала, а потом, испугавшись, не онемела ли она оттого, что он обидел ее как-нибудь ненароком, истратил довольно много красноречия в свою защиту, в объяснение своей любви и в доказательство разумности и великолепия брачных уз между ними... Таня молчала как рыба. Константин Владимирович с ужасом начинал уже думать, что Анастасия Романовна и Машка сыграли над ним злейшую шутку, нарочно подведя его под такой беспощадный провал. Но, когда коляска высадила парочку на набережной по Откосу, у подъезда старых хором, еще покойным Романом Прохоровичем приобретенных у разорившегося потомка каких-то бояр нижегородских, Татьяна Романовна властным жестом взяла Константина Владимировича под руку и сказала с ленивою усмешкою:

— А по-французски, мой друг, вы говорите совсем недурно — только немножко с московщинкой... Когда в Париж поедем, вам надо будет этим заняться — слегка почистить язык... Ну, пойдемте к сестре...

И, проведя его через длинную анфиладу комнат, прежде чем нашли они Анастасию Романовну, представила последней с тою же ленью в усмешке и голосе:

— Ну вот — можешь поздравить нас женихом и невестою...

Вечером объявили событие знакомым, а назавтра только и было разговора в Нижнем — и в городе, и на ярмарке, и на выставке, — что о предстоящей свадьбе.

Решено было сыграть ее, как только Константин Владимирович сдаст заказчикам свой павильон, — к тому времени и Анастасия Романовна рассчитывала покончить сложное соглашение по каким-то новым операциям, для которых она вступала в компанию с богатырем капитала, почти, а может быть, и совсем равным ей, десятимиллионным Силою Кузьмичом Хлебенным*). Та волжская прогулка, которую Ана-

*) См. мой роман «Сумерки божков».

стасия Романовна затеяла в Тюрюкине, таким образом, изменилась в маршруте. Анастасия Романовна на радостях подарила сестре, не в счет приданого, небольшое имение под Симбирском, только что принятое ею в уплату чьего-то беспомощного долга, — и Таня с Ратомским порешили провести в этом новом гнезде свой медовый месяц. Поэтому и для свадьбы выбран был Симбирск. Впрочем, Анастасия Романовна предпочитала этот город и ради экономии, так как в Нижнем свадьба потребовала бы расходов чудовищных. Не могла же княгиня Латвина, урожденная Настя Хромова, выдавая замуж сестру, ударить лицом в грязь пред Бугровыми, Блиновыми, Башкировыми, Рукавишниковыми. Да еще в месяцы ярмарки, когда в Нижнем и Прохоровы, и Морозовы, и Хлудовы, и Крестовниковы, и Рябушинские, и Кузнецовы, и Журавлевы. Да еще в лето выставки, когда в Нижний слетелся и сползся — должно быть, в утешение, что не едут обыкновенные смертные, — весь сановный Петербург... Уже маленькая вечеринка, данная в знак сговора, стала Анастасии Романовне в копеечку. В это лето подобные траты в Нижнем дошли до баснословия какого-то. На выставке подписные обеды, начавшись чуть ли не скромными пятью рублями с лица, выросли усердием и соперничеством купечества к концу лета в нелепые суммы, как 45 рублей — обед Витте и побивший все рекорды обед Ковалевскому, с безумною расценкою в 110 рублей, причем распорядительствовавший им Савва Морозов потом признавался, что еще доплатил от себя по 40 рублей на каждый прибор... Если так широко развивалась оргия публичных чествований, которую все-таки сдерживал конфуз пред гласностью, то какие требования соответствовали ей в частном быту собравшихся в соперничество золотых мешков — это почти неизобразимо, потому что все равно мало кто правде изображения поверит...

Савва Морозов спрашивает в ярмарочном ресторане хор. Содержатель извиняется, что хор занят в кабинете некоего

рыбинского миллионера — Михайла Николаевича. Савва скромно возражает:

— А смею спросить: сколько Михайло Николаевич платит-с?

— Пятьсот.

— Не густо-с. Я даю тысячу-с. Хор мой.

Михайло Николаевич, узнав, что приехал Морозов и мало того, что идет на перебой, но еще осмелился сказать о нем, о Михайле Николаевиче, «не густо-с», — взбеленился:

— Та-ак? Две тысячи! Хор мой!

Савва получает ответ, щурится и весело говорит:

— Четыре-с.

Вошел в азарт гордый рыбинец — не стерпел и тоже поднял ставку вдвое:

— Восемь!

Только ахнул хор, и даже к самому полу присел — ноги радости не сдержали — счастливый хозяин. А Савва с веселою досадою говорит:

— Вон они как в Рыбинске тысячами-то помахивают! Нет, куда же нам, мы так не можем: еще тысячку, пожалуй, накину, а больше — ни-ни!

— Я его тысячу крою да тысячу мазу! — взревел рыбинец. — Принимай, хозяин, десять тысяч, хор мой, а Савву Тимофеевича просите оказать нам честь — песенок наших послушать... Девки! Слушать команду: величать дорогого гостя Савву Тимофеевича до белого утра, не переставая.

Начался пир горой — нижегородский, купецкий, ярмарочный, неописуемый.

Ранним утром Морозов, совершенно трезвый и свежий, прощаясь с далеко не таковым же угостителем своим, говорил ему:

— А теперь, Михайло Николаевич, благодари меня и кланяйся мне в ноги.

— За что?

— За то, что я тебя, дурака, пожалел, заставил тебя заплатить всего лишь десять тысяч...

— Уж и заставил! Чай, сам рисковал...

— Да неужели ты вообразил, что я настолько глуп — стану платить хорам по десяти тысяч за дюжину песен? — расхохотался Морозов.

Михайло Николаевич вытаращил пьяные глаза:

— Однако... на спор дело шло?!

— Да какой же мне риск спорить с тобою? Разве я не знаю, что за удовольствие перешибить Савву Морозова ты не то что до десяти тысяч пойдешь, а жену и детей заложишь? Ну вот теперь и заплатил за бахвальство... победитель!

Когда потом Савву спрашивали, зачем он проделал такое жестокое издевательство над рыбинцем, Савва, веселейше улыбаясь, объяснял:

— Для науки-с. Потому что денег у этого дурака Михайла ужасно много-с, а ума нет никакого-с. Что же-с? Десять тысяч Михайлу ничего не значат-с, не более как суточный доход-с. Так пусть лучше девицам на голодные зубы достанутся, чем у дурака в бумажнике без пользы гнить-с... Ведь добром с него не возьмешь-с.

Но с других брали добром и не на пустяки, а на добро брали — и как широко и просто!

Когда на обеде мануфактурщиков Лодзь не то мирилась, не то соперничала в вежливости с Москвою, тот же Савва Морозов поднял в застольной речи вопрос о недостатке в России ученых прядильщиков и о необходимости обзавестись бумагопрядильными школами... Сказал, а в ответ встает лодзинский фабрикант:

— Что же тут, господа, разговаривать? Надо дело делать. Жертвую двадцать пять тысяч рублей на учреждение бумагопрядильной школы в Москве.

— Не стоять Лодзи супротив Москвы! — кричит с другого конца московский мануфактурист. — Жертвую сорок!

— Мы — пятнадцать тысяч, — поддержали ярославцы.

— Мы — десять, — поддакнула Тверь.

И пошло, и пошло... В какие-нибудь пять минут вырос капитал в четверть миллиона рублей... Такие же сцены происходили зауряд у железоделателей, у машиностроителей... Капитал гулял и щеголял собою...

И страшно, убийственно тянул за собою выставочную массу, которая, не имея никаких капиталов, вдруг словно в буйное помешательство впала и принялась жить так широко и празднично, словно сплошь состояла из Журавлевых и Хлудовых.

На выставке был ресторан «Эрмитаж» — отделение знаменитого московского «Эрмитажа». Шутники звали его единственным полным и интересным отделом выставки. Трудно дать понятие о том оживлении, которое охватывало веранду «Эрмитажа» в его завтрашние часы. Словно он, как насос какой, выкачивал всю публику с выставочной территории и, всосав в себя, подобно оазису, сосредоточивал всю жизнь огромной, внезапно всюду на прочем своем пространстве мертвевшей пустыни. Давка, шум, суетня белых рубашек и — чуть не за каждым столом — «шампанская компания».

— Подумаешь, что все миллионеры, — говорил Альбатросов приятелю-журналисту в конце первой недели, когда, очутившись на этой удивительной веранде, он поразглядел ее публику. — Так нет же: вон этого, например, я знаю — служит Фемиде на двухстах рублях жалованья, взяток не берет, ибо честен, сторонних заработков не имеет, ибо обременен по горло службою. Значит, кроме ежемесячных двухсот рублей — яко наг, яко благ, яко нет ничего. А ведь бутылка «Аи» по прейскуранту значится десять рубликов. Откуда? Из каких источников?

А приятель мотал головою и бормотал:

— Ах, не напоминай ты уж лучше про источники, не надрывай душу. Я, брат, сам не хуже этого синьора, не знаю, в чью

голову бью. Кажется, вот нарочно страшенный скандал сделаю, чтобы Баранов выслал меня отсюда хоть административным порядком, что ли. А то ведь вдребезги разорюсь. В долги влез лет на десять вперед. Без преувеличения говорю: ну просто хоть продавай меня в рабство либо по закону двенадцати таблиц разруби на части белое тело мое в пропорциональное удовлетворение кредиторов...

— Да кому это надо, голубчик?

— Как же нет-то? Ты посмотри, какая публика собралась. У этого фонтан в Грозном выплевывает нефти на десять тысяч рублей в день. Того зовут каменноугольным королем. У сего в руках половина русского сахарного дела. Оный — и рукой его не достанешь: по всем русским займовым операциям главный посредник, министры пред ним танцуют. И со всеми у меня отношения, разговоры. А когда же с ними и говорить, как не за завтраком? Народ занятой. Время — деньги. Минуты на вес золота ценят. Завтрак в «Эрмитаже» — это наша выставочная биржа...

— Понимаю, но шампанского-то уж больно много... Шампанское-то зачем?

— А что же мне делать, если из них всех здесь — точно как из Расплюева — «днище выперло», и они без шампанского ни шагу? Не приживальщик же я, чтобы пить на чужой счет. Совсем не желаю быть трактованным в качестве нашего собственного корреспондента, щедринского Подхалимова, которому граф Твердоонто вправе предложить: «Подхалимов! говорите откровенно: хотите вы водки?..» Ну вот и канителюсь: Нобель бутылку — и я бутылку, Лист бутылку — и я бутылку. А между тем у меня нет фонтана, плюющего не то что тысячами, но хотя бы ломаными грошами, и мой портной изнашивает вторую пару сапог, ходя ко мне за пятьюдесятью рублями, которые я ему должен и никак не могу отдать... Ну? что зубы оскалил?

— Нечего сказать, хорош компаньон для Нобелей и Листов!

— А ты погоди: не смейся, рабе, приведет Бог себе...

Зевнул, подумал и прибавил:

— Опять же — тощища тут, братец. В жизнь свою такой зеленой скуки еще не испытывал. Точно ее сюда со всей России свезли: на, матушка! вот тебе на пропитание непритыкальная выставочная публика! Жри!.. Ну вот, приду я с утреннего рабочего обхода по выставке к себе домой, в номер: нахлопотался, находился, устал. В голове — хаос впечатлений, в ногах ломота, под ложечкой сосет, час — адмиральский. Будь семья, будь хоть знакомство семейное — и позавтракал бы по-домашнему, и отдохнул бы, как Бог послал. А тут — куда я? Прикажешь мне сидеть в номере, что ли? Да мне на его стены подлые фанерочные глядеть тошно, я дни считаю, когда придет срок, что не увижу я больше воровской хари нашего коридорного, не буду слышать электрических звонков и сам давать их, когда я из номера 666 превращусь в самохозяина и приличного буржуа... Стало быть, Господи благослови, марш в «Эрмитаж». А тут — вот, как видишь: компания за компанией. «Николай Никитич, к нам...» — «Не могу, господа: я условился завтракать с Силою Кузьмичом». — «Да его еще нету; присаживайтесь на минутку; один стакан вина...» — «Ну, один, пожалуй...» — «А вот и Сила Кузьмич — тут как тут. Присаживайтесь!» Сидишь с ним, завтракаешь, говоришь о деле — глядь, половой тащит на подносе две стопки шампанского. «Это что? Откуда?» — «Петр Иванович завтракают со своей фамилией и пьют за ваше здоровье...» Встаешь, кланяешься в дальний угол, откуда улыбается тебе красная физиономия Петра Ивановича, и в глазах у него мальчики...

— Ну и — «человек, бутылку»?

— А то нет? Опять смеешься? Ну хорошо, хорошо! Вот ужо увидишь. На надмевающегося Бог. Посмотрю я, что ты, гусь лапчатый, запоешь через месяц здешнего нашего житья...

Приятель был прав. Через месяц здешнего нашего житья Альбатросов, как на благодетельницу рода человеческого, взглянул на Анастасию Романовну Латвину, когда она сказала ему, что непременно желает, чтобы он был шафером у Тани, а потому просит его принять участие в дальнейшем их путешествии на собственном ее пароходе «Зайчик»... Накануне отъезда Ратомский, как подобает жениху перед свадьбой, устроил мальчишник. Оргия была настолько нижегородская, что, даже очутившись на борту «Зайчика», Альбатросов не мог сразу от нее опомниться и отдышаться. И все казалось ему, будто мирный шум машины и ропот винта выпевают дикую мелодию, которую вчера целую ночь визжали, пели и кричали хоры — настоящий, воистину нижегородский, национальный гимн:

Ай люли!
Все бери!
Выставка на то!
Денег не жалей — и
Будет хорошо!
Будет хорошо!

* * *

Когда Таня, сопровождаемая Авктом Рутинцевым, вошла в нарядную рубку, ее встретили громом аплодисментов... Вяло улыбаясь и кивая направо и налево темно-русою головою ленивой русской красавицы, окинула она глазами стол и выбрала из мест, шумно предлагаемых ей повскочившими со стульев мужчинами, далекий узкий диванчик, привинченный к стене. Справа ее соседом оказался Пожарский, слева — Альбатросов.

— А я-то? — жалобно возопил сидевший насупротив Ратомский.

— А с вами не хочу, — усмехнулась Таня.

— Дельно-с, Татьяна Романовна-с, — одобрил ее, смеясь высоким дискантом, еще молодой, лет тридцати с не-

большим, но уже весьма лысый, похожий на «кота монгольского происхождения», новый компаньон княгини Латвиной, купец-миллионер, городской голова и деловой воротила громадного торгового центра, Сила Кузьмич Хлебенный. — Так-с его, недостойного, так-с. Вам с ним рядом всю жизнь сидеть-с, а нам-с, добрым молодцам, только и полюбоваться вашею русою косою, что до Симбирска-с...

— Вот то-то и хочу быть верною нашим волжским нравам, — возразила Таня, — гуляй, гуляй, девушка, остатние деньки, ноне твоя волюшка, завтра не твоя...

Ратомский, бросавший на нее через стол пламенные взгляды, самодовольно заулыбался, задергал усами и заерошил свои красивые вихры. А Анастасия Романовна на дальнем конце стола, между тем остроумным генералом, который нынешнюю ночь находил похожею на Варфоломеевскую, и Валентином Петровичем Аланевским*), с изумлением услыхала веселую интонацию Танина голоса.

«Ба! — радостно подумала она, — никак моя Танька с женихом кокетничает? Ох, дал бы Бог!»

И она счастливыми глазами переглянулась издали с хорошенькою компаньонкою своею, певицею-консерваторкою Хвостицкою, за столом, и с японскими глазками желтолицей Марьи Григорьевны — у дверей, и во всех шести женских глазах прошло одно и то же выражение:

«Дело идет на лад... Ах, дал бы Бог, дал бы Бог!»

Таня заметила, и ей стало смешно.

«Решительно они меня Подколесиным в юбке считают, — подумала она. — Разве попугать? Я тебя, посаженая мамаша!» — мысленно и глазами погрозила она Анастасии Романовне. Та подхватила взгляд и стала совсем счастливою.

Выбрать Анастасию Романовну в посаженые матери было естественно в положении Тани и Ратомского, но едва

---

*) См. «Закат старого века».

знакомого им Аланевского в посаженые отцы выбрала и пригласила уже сама Анастасия Романовна — по политике: чтобы не обидеть никого из именитой коммерческой родни. В последней каждый брадатый старейшина вознегодовал бы на Настю Хромову, если бы благословлять Таню к венцу суждено было не ему, а другому брадатому старейшине. Но чужак генерал, популярный в торговом мире, как живой мост между купечеством и правительством, не сегодня завтра сам министр, всех замирил своею важностью. Никто никому не предпочтен, всех поравнял Аланевский. Что касается последнего, он был несколько изумлен приглашением, но принял его более чем охотно. Случайный гость Нижнего, командированный в качестве заместителя своего министра, серьезно заболевшего толстяка Липпе, на ярмарочный съезд всероссийского купечества, Аланевский совершенно измучился в диких условиях сверхсильной деловой горячки и нескладных чествований и рад-радехенек был скрыться хоть на несколько дней в среду других лиц, обстоятельств и разговоров.

Таня скоро заметила, что из ближайших ее соседей Альбатросов и Хлебенный, принимая участие в общей беседе, не обращаются прямо друг к другу...

— Разве вы незнакомы? — тихо спросила она журналиста.

— Представьте, нет, — также тихо отвечал он. — В лицо знаем друг друга прекрасно и при встречах глядим друг на друга знакомыми глазами, но как-то остались не представленными...

— Вот! — удивилась Таня. — Познакомьтесь. Хлебенный из моих друзей. Надо вас свести... Не раскаетесь: он у нас прелюбопытный...

— Слыхал-то я о нем много, писать даже о деятельности его приходилось, но — не навязываться же мне было к нему... Около миллионеров, Татьяна Романовна, нашему брату надо держать ухо востро: народ зазнавшийся, самодурный...

— Ну этот не такой... Из новых...

— Университетское образование при десятском уме? — усмехнулся Альбатросов, повторяя известную остроту Саввы Морозова.

— Да, если хотите, не без того... Но это не все... В нем иногда совсем новые струны звучат... Порывы какие-то сказываются...

— Может быть, тот купеческий вопль в душе, который давал Горбунову темы для рассказов?

Таня сухо возразила:

— Господин Горбунов свои рассказы о купцах сочинял для потехи старых бар в Английском клубе... Во всяком случае, в душе Хлебенного не тот вопль вопит, о котором вы говорите...

Хлебенный почувствовал, что Таня с Альбатросовым говорят о нем, и несколько раз внимательно посмотрел в их сторону своими рысьими глазками потомственных кочевников. Таня окликнула его — и в рукопожатии через стол знакомство состоялось.

Хлебенный постарался выразить на калмыцком лице своем большое почтение — Альбатросов нашел его даже преувеличенным.

— Очень знаю-с... — говорил Хлебенный высоким громким тенором, склоняя уважительным, торговым движением монгольскую лысую голову к правому плечу. — Поклонник ваш и постоянно вас читаю-с... Только в последнее время вы что-то заленились: маловато стали писать-с...

По лицу Альбатросова проползло хмурое облако.

— Вы ошибаетесь, — сухо сказал он. — Я пишу и печатаю свои статьи по-прежнему регулярно...

В заплывших жиром татарских глазках Силы Хлебенного мелькнул лукавый огонек.

— Разве-с? — произнес он как-то сожалительно. — Надо быть, пропустил я которые-нибудь статейки ваши.... Очень скорблю-с... Что поделаешь, Флавиан Константинович? Яр-

марочная суета сует-с... Так ли-с, Константин Владимирович, женишок почтенный? — повернулся он к Ратомскому, прекращая первый разговор.

— Почему вас так передернуло, когда Хлебенный упрекнул вас, что вы мало пишете? — спросила Альбатросова Таня. — По-моему, даже лестно...

— Да, позолотил пилюлю, — не без горечи усмехнулся журналист.

— А была пилюля?

— Не знаю. Но мне в последнее время так часто предлагают этот вопрос, что во мне уже мнительность заговорила. Спрашивают любезно: «Почему мало пишете?» — а мне чудится совсем не любезный укор: почему плохо пишете? Наблюдением жизнь кипит, а ты, мол, тянешь канитель, точно у тебя перо заболело подагрою и язык в параличе... Потому что ведь я-то наедине с самим собою это чувствую, Татьяна Романовна: слабо писать стал, скучно, вяло, без искры... Обязанность исполняю и строку гоню.

— Почему?

Альбатросов пожал плечами и ответил сердито:

— Да вот, думал я, думал, почему, — и, кажется, додумался... Темы задавили... Слишком много тем нахлынуло на меня... Вы удивились?

— Мне казалось, что для людей вашей профессии несчастием становится, обыкновенно, наоборот, недостаток в темах...

— Ах, это у нашего брата — как у русского мужика с хлебом, — возразил Альбатросов с печальною шуткою. — Неурожай — беда от голода и дорогих хлебов; урожай — беда от дешевого хлеба. Нету тем — беда: значит, соси свою лапу, как еще Лермонтов нам, журналистам, рекомендовал и даже сочинил для того преостроумную французскую пословицу... Но — ах! лапа не более как суррогат! Бывают лапы очень жирные и долго питающие, но нет и быть

не может такой лапы, которая рано или поздно не была бы высосана до последней капли своего сока. Нахлынут темы в чрезмерном обилии и в слишком быстрой смене впечатлений, требующих немедленного отклика, — беда вдвое…

— А вы не все по Лермонтову, — засмеялся сбоку прислушивавшийся Пожарский, — послушайтесь и старого друга, Александра Сергеевича Пушкина: не угодно ли?

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом,
　На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
　Рождает вдруг.

Альбатросов поморщился и сухо возразил:

— Это, во-первых, сказано не о нашем брате, скромном журналисте, но о поэтах. Во-вторых, тут есть одно словцо, которое Пушкин поставил для рифмы, а между тем оно предписывает неисполнимое обязательство. «Вдруг». Ну-ка, родите-ка «вдруг» отклик на всякий звук, который раздается в пустом воздухе! Сравнение писателя с эхом прекрасно и справедливо под условием, что требующие отклика звуки льются последовательно, принося нашему вниманию хотя бы и очень быстрые, но все же последовательные впечатления. Бывают эхо, с необыкновенною отчетливостью повторяющие целые фразы одного голоса, вокального или струнного ансамбля, стройного хора. Но если те же самые фразы начнет кричать вразброд целая толпа, то эхо, кроме хаоса звуков, переходящего в шум, ничего дать не в состоянии. То же самое с писательским вниманием. Благо писателю, если жизнь его богата впечатлениями, но когда она переполнена ими настолько, что фантасмагорическая смена их напоминает лихорадочный бред, он лишается самой дорогой для писателя способности: способности к типическому наблю-

дению или по крайней мере к типической обработке результатов наблюдения. Ему некогда фиксировать впечатления. Он еще не успел сосредоточить своего внимания на одном явлении, найти и определить его опорный центр, как во внимание уже настойчиво стучит другое явление, третье, десятое, сотое, тысячное...

— «А ты старайся!» — засмеялся Пожарский, <приведя слова> из горбуновского анекдота.

Альбатросов улыбнулся.

— Да и то стараемся... Но ужас, какой это труд — жить вот так, всегда на людях, по виду как будто ничего не делая, а в действительности все время чувствуя себя губкою, которая, впитывая влагу, насыщается скорее, чем успеваешь ее выжимать... Не ухмыляйтесь, Дмитрий Михайлович, так язвительно. Сам чувствую, что сравнением опять попал впросак... Ну что же? Mea cu1pa, mea maxima culpa!* Такая же злополучная жертва нижегородского обалдения, как и все... вон эти!

Он кивком головы показал вверх стола.

— Флавиан Константинович что-то язвительное там о нас повествует? — отозвался оттуда Аланевский.

Альбатросов сказал:

— Нет, ничего особенного. Говорю лишь: как выставка-то спилась...

— Да-с, уж это-с надо-с сказать-с! — подхватил пронзительным своим тенорком Сила Хлебенный. — Могу похвалиться: знаю Нижний и ярмарку не первый год, а в некотором роде вдоль и поперек-с. Но подобного нижегородского обалдения-с еще и не видывал-с. Я того мнения-с, что это потому-с, что с выставкою к нам новички нахлынули, дебютанты-с, неиспытанный народ... Нас, годами тертых кала-

* Моя вина, моя величайшая вина! (*лат.*) Формула покаяния и исповеди у католиков.

чей, они, можно сказать, в настоящем лете совсем на задний план оттеснили-с...

— Ах, господа, господа! — укоризненно качая русою головою с бриллиантовым гребнем, произнесла княгиня Анастасия Романовна, по обыкновению, выставляясь вперед пышною грудью и играя белыми руками своими, которых красивость она знала и любила ими похвастать. — И как вам только не надоест?

— Очень надоело, Анастасия Романовна, — басом возразил статский генерал-остроумец из Петербурга, грузный, в густых каштановых бакенбардах и с наигранным юмористическим взглядом табачных глаз — взглядом человека, привыкшего, чтобы его слушали, сочувственно улыбаясь: уж этот, мол, скажет. — Но — что поделаешь? Служба!

— Уж какая это служба — наливаться шампанским изо дня в день...

— Не входя в нравственную оценку этой профессии, берусь положительно доказать вам, достоуважаемая, что служба. И очень трудная. Затем и выставка устроена, и начальство нас сюда навезло в столь неумеренном количестве...

— Ну, всегда такой! Пошел буффонить!

— Да помилуйте! Какое буффонство? Вполне серьезно! Вы посчитайте. Двадцать отделов — двадцать обедов экспонентов, двадцать обедов экспертов, двадцать обедов заведующих. Итого шестьдесят! Вот вам и обеспечено «пити есть веселие Руси» на два месяца. А иные заведующие настолько великодушны, что и сами отвечают обедами и отмечают торжествами решительно все события в своих отделах. Одних молебнов сколько! Вы посмотрели бы, как за лето выровнялись попы из ближайших к выставке приходов: толстые стали, румяные, себе шелковые рясы пошили, женам повыписали платья от лучших московских портних. Шик! Прибавьте обеды и завтраки по открытию выставки, обеды и завтраки по администрации, обмен таковых же с ярмароч-

ным представительством и городским начальством, чествования приезжающих и отъезжающих высокопоставленных лиц... и вот вам уже вся выставка заполнена обязательством чревоугодия и пьянства ex officio!* А если, сверх того, мы учтем пьянство частное — по вольности дворянства, по жестоким нравам купечества и, наконец, просто по обычаям страны нашей...

Хлебенный засмеялся и сказал:

— Это вы, ваше превосходительство, весьма живописно изобразили-с... Даже и пословица новая по Нижнему идет-с: «Как ни бьешься, а к вечеру напьешься!»

— Ах как... извините меня... глупо! ах как глупо это, господа! — воскликнула, играя руками, княгиня.

Хлебенный кланялся на каждое слово ее, лукаво щурил заплывшие татарские глазки на красном лице и пищал с рукою у сердца:

— Анастасия Романовна! Да ведь на то мы и русские люди, чтобы не мы своею глупостью, а глупость наша нами владела-с!

— Да ведь и скучно же, господа! — вмешался Альбатросов.

Аланевский вскинул на него глаза с ревнивым неудовольствием. Он, как и патрон его Липпе, был одним из усерднейших стояльцев за выставку в Петербурге, находил ее, по совести, хорошею в Нижнем и особенно близко к сердцу стал принимать ее интересы с тех пор, как газеты, заметив эту его симпатию, стали его продергивать как одного из «попустителей Витте и Ковалевскому».

— Как скучно? Это у нас-то на выставке скучно?

— Да не на выставке. А вот — где мы живем...

— Здравствуйте! А где же мы живем-то, если не на выставке?

— По-моему, в неврастении.

---

* Официально! (*ит.*)

— Флавиан Константинович, вы заговорились!

— Ничуть, Валентин Петрович. Я готов признать, что выставка интересна и при всех своих недостатках являет любопытнейший свод жизни, о котором думать бы да думать, который изучать бы да изучать, потому что он объясняет прошлое России и, быть может, предсказывает будущее. Но вот я предлагаю вам, Валентин Петрович: здесь, на пароходе княгини, выставочного народа высшей марки, ее чиновников, ее экспертов, ее экспонентов, журналистов и ученых, присланных редакциями и научными учреждениями следить за новостями ее жизни, наберется сейчас человек сорок, а то и все пятьдесят. Проэкзаменуйте нас всех подряд: кто из нас знает выставку, кто ее в самом деле видел? Я убежден, что таких благоразумных счастливцев получится весьма ничтожный процент. Потому что мы на выставке только служим каждый по своей части, а живем именно в неврастении какой-то, дозволяющей нам в огромной выставочной машине только более или менее исправное механическое движение — не больше. А души нет, жизни нет, существуешь, чувствуя себя частицей какой-то смятенной толкотни, без центра, в хаосе, в живом бреде... Вот где скучно-то, Валентин Петрович!

— Не понимаю, — возразил Аланевский, пожимая плечами, — кажется, о развлечениях для ума и сердца позаботились достаточно... И театры, и концерты, и рефераты...

— И театры не посещаются, и концертов никто не слушает, и референты читают тетради свои пред пустыми стульями... Труппа московского Малого театра, которая в жизнь не видала пред собою зала иначе как переполненным, должна была искать у выставки, на которую она неосторожно понадеялась, субсидии на выезд, мамонтовская опера хватила чудовищные убытки...

— Это я все знаю, — с хмурым нетерпением возразил Аланевский. — Факты я вам хоть до утра считать буду. Вы мне причины назовите.

— А кто ж их знает, причины? Вон, Григорович так и уехал в твердой вере, что на выставке — эпидемия малярии. Это, говорит, болото загаженное, на котором мы построились, за себя мстит. Дышит миазмами — отсюда и неврастения, и апатия, и скука, раздражительность, интриги, ссоры и самое пьянство...

— Нижегородское обалдение-с! — засмеялся Хлебенный.

Аланевский недовольно обратился к нему:

— Это, Сила Кузьмич, иероглиф! Что такое? Ничего нельзя понять.

— Вот я и говорю-с, — с невинною лукавостью возразил Сила Кузьмич, — что все оттого, что впервой-с народ наехал петербургский, слабый-с, настоящей нашей марки не выдерживает и слов наших не понимает... Это мы всегда замечаем, что новички балдеют преимущественно перед другими — в ускоренном и решительном темпе-с...

И со смешливою учтительностью добавил:

— Нижегородское обалдение — это-с когда пьяные совсем неожиданно совершают трезвые дела, а трезвые тем более неожиданно увязают в совершенно пьяные поступки-с... Это у нас — действительно — вроде местной эпидемии-с, только климат тут ни при чем... Каждый год-с та же музыка... В правильной очередной последовательности-с. Ведь имейте в виду-с: народ к нам на ярмарку едет сплошь одинокий-с. Еще Александр Николаевич Островский изобразили, как Тихон Кабанов на ярмарку-то, с позволения вашего сказать, улепетывал-с от маменьки Кабанихи и от скуки семейного очага-с. Ежели вы думаете, что времена изменились и Тихонов больше нет, весьма ошибаетесь. Переоделись, но не переродились. Я сам Тихоном чувствовал себя в малые годы мои-с. Дела делами-с, ярмарка ярмаркою-с, а главное — встряхнуться бы от тятеньки с маменькой и богоспасаемого града своего-с... И вот — вы изволили говорить о театрах, концертах и рефератах... Помилуйте-с! Какой Тихону Кабанову

может быть интерес в подобной эстетике, когда у него за зиму-то в дому и торговом деле мозоль на мозгах наслоился и стал он в прелестях домашнего своего быта вроде как бы неприемлющий-с?.. Ему первое дело — как бы память ошарашить и отшибить, именно как балдою, отсюда и этимология — обалдеть-с. Для подобной цели господин Шаляпин или госпожа Лешковская совершенно недействительны-с. Ибо они серьезного внимания требуют и мысль будят, а Тихону Кабанову именно мыслей-то и не требуется. С мыслей-то он еще удавится, пожалуй. Пески да самокаты тут куда надежнее-с, потому что там ходит человек зоологический-с: мыслей никаких, а лей, пей, бей, плати! Ну и балдеют... А обалделому, известно-с, что же еще дальше остается делать, как не лить вино на вино, чтобы, с позволения вашего сказать, прочухаться до некоторой дееспособности в течение дня-с? Так и идет лето колесом: нос вывязил, хвост увяз, хвост вывязил, нос увяз... Покуда человек однажды не оказывается в самом неожиданном для себя недоумении: я, мол, это или не я? моя рука или чужая? И всему, знаете ли, своя очередь, правильная ежегодная программа-с. Первоначально балдеют весело — эх ты! ух ты! Ежели кому и случится чертей половить, так даже и они ему смешные рожи строят, инда он только за животики держится: «Ей-ей, умру со смеха!» Потом мало-помалу публика впадает в ту неврастению, которую вы, Флавиан Константинович, удачно изволили отметить, — мрачнеет, злобится, звереет. Протоколы пишутся удивительнейшие. Являются на сцену Гордей Чернов и Зеленая Лошадь-с и прочие чудотворцы скандального дела-с. Все чаще находят на ярмарке спившихся и белогорячечных, а в Оке мертвые тела-с. Потом вступают в свою чреду романы со всяким, промышляющим при ярмарке женским полом-с, проходит полоса револьверных драм и шалых преступлений-с. И, наконец, после нескольких скандалов такого решительного сорта прочие Тихоны разъезжаются, иногда

по собственной инициативе, иногда по вежливому совету Николая Михайловича Баранова-с, к пенатам: с кошмаром в голове, сквозь который чуть теплится смутное сознание, что вот-де Господь Батюшка — не по заслугам нашим, а единственно по неизреченному своему милосердию — вынес нас, дураков, из глубочайшей прорвы-пропасти...

— Ну, Сила Кузьмич, — с некоторым нетерпением прервал Аланевский, — это не совсем так. И я даже позволю себе утверждать, что совсем не так. Вы рассказываете старое, купеческое. И ярмарка-то уже изменила свои нравы. А уж выставка — нечто совсем иное, другой состав. Сюда ваша теория Тихонов Кабановых не подходит...

— Будто-с? — тонко усмехнулся на него Хлебенный. — Вам, конечно, лучше знать-с. Я ведь не петербуржец и сфер, «где первообразы кипят», не знаток-с...

Аланевский немножко смутился.

— А по-моему, — вступился Альбатросов, — Сила Кузьмич совершенно прав. Начните проверять — каждый себя — и вы удивитесь той массе непроизвольного элемента, которую налило в ваше существование нижегородское житье-бытье, или, как выражается Сила Кузьмич, «нижегородское обалдение»...

— Не угодно ли? Налило! — засмеялся к Тане Пожарский. — Опять у него глагол из области «мер жидкости»...

А генерал-остроумец подержал Альбатросова.

— Я знаю одно, — пробасил он, — что каким-то образом очутился на «ты» со злейшим и презреннейшим врагом моим, которого я, как говаривал покойный Кази, и держал, и держу, и буду держать за прохвоста, и почему-то перестал кланяться со старым товарищем, которого до сих пор уважаю как честнейшего и благороднейшего из моих друзей.

Стали вспоминать. Всплыл недавний пример, как крупный петербургский чиновник вдруг, ни с того ни с сего потребовал развода у своей прелестной и кроткой жены; хорошо еще, что не

согласилась! — и увез с собою из Нижнего некрасивую и глупую хористку от Наумова; хорошо еще, что оба дорогою разругались и похищенная сабинянка сбежала от своего римлянина-похитителя не то во Владимире, не то в Петушках. Вспоминали людей, которые у всех на виду обделывали дела, обусловленные явными и большими прибылями, а между тем оказывались, ко всеобщему и собственному изумлению, в сетях каких-то преубыточных векселей. Вспомнили одного художника, совсем уж не дельца и непрактичнейшего в мире человека, который вдруг, в один прекрасный день, не только проснулся обладателем нескольких десятин земли на Черноморском берегу, купленных за бесценок, но в тот же самый день очень выгодно перепродал их при помощи едва знакомого ему фактора третьему лицу, о фамилии которого он вот уже третьи сутки ломает голову — не помнит! Деньги в кармане, а от кого — хоть убей, никакой идеи, ни-ни! Пересчитывали амурные убийства и самодурства в гостиницах, похождения разных выставочных Кармен с их донами Хозе и Эскамильо, распавшиеся семьи, не состоявшиеся или угрожающие дуэли... Зашумела адюльтерная сплетня с именами и без имен, с обиняками, намеками, кивками, подмигиваниями:

— Слышали? Вчера травилась... едва спасли...

— Потеха! Она к нему, а он с другой, и у этой тоже своя семья, муж, дети...

— Ну, у мужа-то, положим, хористка Маня от «Повара»...

— Слышали? Он разводится с женою, она с мужем, а потом они сходятся maritalement...*

— А ведь он опять застал у жены капитана этого... Говорят, дуэль будет...

— Что за ненасытная баба. Да сколько их у нее?

— Имя же им легион! Ха-ха-ха!

— Я не ей, им удивляюсь: как они ее делят между собою? Ха-ха-ха!

---

* Вне брака... (жить) (*фр.*)

— Ха-ха-ха! Это, батюшка, периодическая дробь!

— Меня одно здесь приводит в недоумение, — говорил, встав из-за стола, Альбатросов подошедшему к нему Хлебенному, — как в подобном нравственном и физическом сумбуре, в таком-то нервном опьянении продолжает хоть механически-то кружиться это чудовищное маховое колесо: коммерсанты ворочают миллионными сделками и предприятиями, чиновники служат, администраторы движут вперед государственные планы, литераторы пишут, журналисты издают газеты... все дела в полном ходу... не достает разве только политических дел... И ведь как приглядишься, то в большинстве делаются даже мастерски — гладко, искусно, хорошо... без сучка и задоринки!

Хлебенный улыбался и говорил:

— А Бог-то земли русской на что? Выручает-с, Батюшка! Не забывайте, Флавиан Константинович, что русский народ есть единственный, обладающий выразительною-с пословицею-с, что — «пьян да умен, два угодья в нем...». Я сейчас, работая по экспертным комиссиям, присмотрелся-с. Если эксперт уж очень много рассуждает, обнаруживает большие знания по своему предмету-с и детально критикует, я его сейчас же первым делом нюхаю-с: пахнет ли от него шампанским? Верная примета-с. Потому что у нас в экспертных комиссиях если бы не немцы и евреи-с, то немое царство было бы-с. Одни они разговаривают, а русский эксперт почти всегда безмолвен, как Радамес, предавший свое отечество-с, и согласен с мнением большинства-с. Потому что в знаниях своих он никогда не уверен-с и, трезвый, обнаруживать их страшится: а вдруг, мол, навру-с? Ну, а нашампанировавшись у Зеста или в «Эрмитаже», — ух, ты! Орлы-с! Откуда что берется! Так и сыпет — просто не человек, а Ефрон-Брокгаузов «Энциклопедический словарь»-с... Кстати-с, хотел я вас спросить: не изволили вы в качестве наблюдателя нравов обратить внимание, как много появи-

лось сейчас в начальстве нашем людей, образованных до буквы «Д»?

— Нет, — удивился Альбатросов. — А что?

— И даже до слова «делавары», — задумчиво говорил Хлебенный. — Жаль-с. Вы присмотритесь и прислушайтесь. Я так с интересом наблюдаю, как господа сановники расширяют свои познания от полутома к полутому-с. Когда издание дойдет до «ижицы», мы будем иметь в правительстве совсем образованных людей-с... Одного намедни я пощупал: про государственный долг так и чешет-с. Ну, а по железнодорожному хозяйству еще пас, потому что при словах «Дороги железные» покуда рекомендуется только «см. Железные дороги», а до них еще два или три полутома... А что, Флавиан Константинович? Вы не находите, что здесь тепленько становится? Если ничего не имеете против, выйдем на палубу... погуляем, покурим...

Ночь, сырая и поседевшая от низкого надводного тумана, накрыла их черным звездным колпаком своим, и превратились они в две крошечные звездочки красного золота, рдевшие и пыхавшие сквозь темноту.

— Вы, Флавиан Константинович, — говорил Хлебенный, — как мне показалось, немножечко обиделись на меня, зачем я позволил себе заметить вам, что мало пишете-с... Действительно-с, для первого знакомства оно как будто навязчиво-с и даже хамовато... Прошу извинения-с... Но между прочим-с: когда в другой раз Бог приведет встретиться-с? А я — ежели которого человека люблю и им интересуюсь — то имею обыкновение быть с ним начистоту-с и, в этом смысле, использовать встречу до дна... Что-с?

— Из этих ваших слов я должен вывести заключение, что вы меня любите и мною интересуетесь... Очень благодарен, но — несколько неожиданно и скоропалительно. Откуда сие и за что?

— Эх, Флавиан Константинович! — с грустью возразил Хлебенный. — Вижу я из этих ваших слов, что и вы-с — как

все теперешние русские писатели-с: в себя плохо верите-с и публики своей не знаете-с...

— Ну, Сила Кузьмич, вторая часть характеристики еще куда ни шла, а первая совсем никуда не годится... О себе не говорю: я действительно скептик-самомучитель и неврастеник на этой почве... Но чтобы современный писатель не верил в себя... Не наоборот ли? не слишком ли много верит? Вы оглянитесь-ка, посчитайте по пальцам — что ни имя, то совершенная уверенность в своем громадном таланте, а то, пожалуй, и в гении... Скорее, недоверчивых можно за редкость показывать, как белых волков.

— Да разве-с это значит верить в себя? — перебил Хлебенный. — Это значит лишь сознавать свою силу-с или обманывать себя насчет своей силы-с... Тут есть, ежели угодно вам меня понять, материал для веры в себя, но до самой веры еще чрезвычайно далеко-с. На мой взгляд, ее дает человеку только совершенная сознательность целесообразности-с того дела, которому он себя посвятил-с. Вера в себя тогда хороша-с, когда она вырастает из веры в свое дело-с. А у нас на Руси все больше наоборот-с: вера в дела вырастает из самонадеянности-с. И оттого наши русские дела-с в огромном большинстве-с имеют характер не столько постоянных дел, сколько случайных капризов-с. Провалилось дело — это потому, что Иван Петрович плох оказался. Имеет дело успех — это потому, что Петр Иванович молодец. Все личность-с, все на индивидуальных лотереях построено-с, а системы и психологии дела, как дела в самом существе его, у нас на Руси не то что в частных отношениях или предприятиях — даже и в государстве-то нет-с. Император Александр Павлович звал себя «счастливою случайностью». Я думаю, что если бы каждый русский государственный человек проверил себя искренним анализом-с, то этот элемент случайности — здесь счастливой, там несчастной, но всегда случайности — способен привести в уныние и ужас

даже самого убежденного оптимиста-с... Случай и личность, личность и случай-с, то есть, собственно-то говоря-с, случай на случай, случай в квадрате-с. И это русская жизнь-с. Личность — начало деспотизма, случай — сила анархии. И так именно мы между этими двумя радостями и колеблемся — через всю историю нашу: от кулака до кулака-с. Не в лоб, так по лбу-с. Сильная личность у нас всегда деспотична-с: не Петр, так Стенька Разин-с, а масса — не раб, так анархист. Жизнь русская подобна ручью-с болотистому, через который — чем бы построить мост для всеобщего прохода и проезда, время от времени смельчаки, Васьки Буслаевы этакие, охотниками прыгают: а сем-ка я пересигну? Но, пересигнув, смельчак оказывается в глупейше одиноком положении-с, так как — зачем он, собственно, сигал — причин к тому, кроме своей васькобуслаевской-с удали-с, не знает-с. А свои, дружина хоробрая-с, стали-с и чешут в затылках на том берегу-с. И очень их ему жалко-с, но назад к ним прыгать тоже уже конфузно-с, да еще и хватит ли силенки, не разорвать бы штаны бархатные-с. Туда-то — Бог вынес, а оттуда — бабка надвое говорила: как шлепнешься пузищем в грязищу... срам-с!..

Он засмеялся и, помолчав, сказал:

— Если не будет нескромным вопросом, как вы, Флавиан Константинович, чувствуете себя сейчас на всероссийском торжестве нашем, среди господ гранфезеров, родителей и творцов общественных и государственных эмбрионов-с?

— Да как вам сказать? — с искренностью, даже для самого себя неожиданною, отвечал журналист. — Вмешало меня в этот водоворот, и уж не знаю, хорошо это или дурно. Скорее, дурно, потому что мнет он меня, комкает, давит своими впечатлениями, своим лихорадочным полетом, отравляет своим нервным трепетом, сушит голову, утомляет желания, сжигает фантазию...

— Следовательно-с: «И кой черт понес меня на эту галеру?» — засмеялся Сила Хлебенный.

Альбатросов задумчиво согласился:

— Да, это всего чаще... А иногда, наоборот, восклицаешь с восторгом: благословен день и час, когда охота пуще неволи бросила меня в эту житейскую кунсткамеру... Потому что водоворот вдруг, словно в возмездие, выдвинет перед твоими глазами такую интересную фигуру, осветит такое сложное общественное явление, объяснит наглядным практическим примером такую запутанную теоретическую загадку...

— Что маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию-с, — закончил за него Хлебенный и сам же возразил: — Это все, может быть, и так, но, согласитесь, Флавиан Константинович, несколько напоминает из Льва Толстого: «Все аллегри да аллегри, а вдруг и выйдет что-нибудь...» Наблюдение лотерейное, а существование бредовое, Флавиан Константинович... Жизнь — бред!.. Что силы уходит! И куда?.. Я вот сейчас по разным должностям, коими удостоен от общественного доверия-с, обязан весьма много-с, как говорится, представительствовать. Извините за выражение, но ведь черт знает что такое-с! Искренно вам говорю, что, когда в Америке кочегаром на паровозе работал, и легче было-с, и лучше себя чувствовал-с... Как будто вечный праздник, а как будто и каторга-с. И скорее, что второе-с. Физическая и нравственная усталость чудовищные-с. Я прежде удивлялся, что у нас умных государственных людей мало, а ныне уже и тому удивляюсь, что они, постоянно живя в условиях представительства, еще иногда некоторый ум сохраняют-с. Не жизнь, а циклодром какой-то-с. Канцелярия — вицмундир, из канцелярии к завтраку со знатными персонами обоего пола-с — редингот и черный галстук, от завтрака к обеду с министрами — фрак и черный галстук, от обеда — к спектаклю-gala либо на раут с иностранными

гостями — фрак и белый галстук. И так-то — и сегодня, и завтра, и послезавтра, и через неделю, и через месяц: все та же канитель и в том же порядке-с! Люди устают ногами и желудком, пустеют умом и сердцем, развинчивают нервы и, наконец, просто дуреют-с. Что и натурально-с: не может не одуреть человек, кружащий изо дня в день часов по двенадцати в сутки по циклодрому-с. И что в этой канители всего тошнее и опаснее, это что при всей своей праздничной видимости она — дело-с. Говорю без всякой иронии-с, потому что дела на циклодроме представительства — действительно, простите за игру слов, обделываются между делом, и гораздо важнейшие-с, и гораздо скорее, чем в тиши кабинетов и за столами канцелярий. Там — черновики-с, а здесь — работа набело и публикация-с. Обеденными соседствами и разговорами и застольными речами-с у нас и решается и намечается вопросов даже государственной важности гораздо больше, чем бумагою-с. Помилуйте-с! Даже европейская политика существует, можно сказать, этапами — от обеда до обеда, на котором Вильгельм тост произнесет! Мне, знаете ли, вся эта обеденная политика и шампанская дипломатия ужасно напоминают наше русское простонародное сватовство-с. Покуда ряда между сватами идет трезвая, на сухую, без вина, еще кто его знает, может быть, свадьба и разладится, — ну, а уж как пропили девку, шабаш: хочешь не хочешь, а ликуй Исайя, потому что это ненарушимое — святое дело, пропили.

Он засмеялся, попыхивая папиросою.

— Да уж хоть бы пропивали-то своих девок весело, — заметил Альбатросов. — А то ведь все эти сопряженные с представительством удовольствия и развлечения прямо-таки отравляют человека тоскою несносною...

— А это именно потому-с, — подхватил Хлебенный, — что нету ни удовольствия, ни развлечения, есть маски-с — маски тех же служебных обязанностей, того же опостылевшего долж-

ностного дела... Человек в ложе в опере сидит — ан это департаментская махинация-с. На балу танцует — ан это министерский кризис. За обедом шампанское пьет — ан это дипломатическое соглашение-с... Карусель на рельсах-с!..

И прибавил лукавым голосом:

— Ужас, как эта карусель нашего брата, свежего человека, невзначай в ней закрутившегося, располагает — при некоторой доле природного юмора — к озорству-с... Чтобы, понимаете-с, нет-нет да хоть немножко обедню эту публике испортить и элемент неожиданности в нее внести... Вот как Иван Сергеевич Тургенев, говорят, от английских торжественных обедов в такое отчаяние приходил, что, дабы облегчить себя, должен был — этакий-то джентльмен-с! — вслух ругаться крепкими русскими словами-с...

— Помните Майкова? — задумчиво перебил Альбатросов.

Мне душно здесь! Ваш мир мне тесен:
Цветов мне надобно, цветов,
Веселых лиц, веселых песен,
Шумливых споров, острых слов...

И дальше:

Недаром, с бала исчезая
И в санки быстрые садясь,
Как будто силы оправляя,
Корнет кричит: пошел в танцкласс!

— Да и не то еще закричишь, и не в танцкласс еще поедешь, — засмеялся Хлебенный. — Потому что-с, хотя человек животное общественное, но общественность его — до поры до времени-с: имеет свои пределы-с. Если натягивать ее, как скрипичную струну-с, она-с терпит, терпит, но наконец — пумм! лопается и повисает, беззвучная-с и бесполезная-с. И тогда человек, переутомленный общественностью, превращается отдыха ради из животного общественного

в животное просто-с... Вот сейчас хоть бы и на выставке-с. Жаль, прямо жаль видеть и чувствовать, до чего измотался народ. Кого ни возьмите, нервы — как расстроенное фортепиано-с: играют черт знает что и черт знает как-с. А глаза? Ведь это-с не глаза, а стрелка манометра, показывающего, что паровой котел выдерживает последнюю посильную ему атмосферу. Подбросит кочегар по рассеянности либо сдуру еще угля в топку, и аминь-с: разлетится котел вдребезги сам да и вокруг себя силою взрыва и осколками что народа переувечит... Глаза медленных самоубийц... И — вот вы давеча изволили говорить насчет того, как все подобные эксцессы умудряются у нас сочетаться с деловитостью. Я вам больше того скажу-с. Наблюдением убедился-с, что в некотором роде бездна бездну призывает-с. Из крайности в крайность — какие-то нечеловеческие энергии развиваются-с. Чем нелепее, чем разгульнее слагается быт, тем более лихорадочным темпом спешит и напрягается деятельность в светлые промежутки. Люди жгут жизнь с двух концов, не щадя ни психики, ни физики, словно порешили истратить себя вконец и забыться в саморазрушении... Вон Михаила Ильича Кази выставка в буквальном смысле слова в гроб вбила-с. Этакую-то силищу-с! Этакого-то умницу-с!.. Уж именно-с: что имеем, не храним, — потерявши, плачем-с!

Он замолчал, нервно пыхтя папиросою. И вдруг из темноты нежностью и дружбою зазвучал его серьезным и теплым ставший высокий голос:

— Я, Флавиан Константинович, человек не старый, может быть, мы с вами даже ровесниками окажемся, если посчитаться годами, чего я, впрочем, должен вам сознаться, терпеть не могу-с. Поэтому набиваться в советчики, тем паче в наставники и нравоучители людям, вам подобным, мне — не по возрасту и не по чину-с. Больше того: должен я вам, чтобы вполне по всей искренности было-с, признаться, что сам я нахожусь именно на такой полосе жиз-

ни — ищу товарища и учителя, которому было бы непостыдно и для себя не обидно вручить свою волю и душу. Знаете ли-с, вроде послушания, как в скитах бывает-с. Мы ведь, Флавиан Константинович, по старой вере — вы не удивляйтесь, что я вам давеча Исайю-то помянул: это только для общедоступного примера-с. Так, может быть, это скитское стремление оттуда у меня: дедовский атавизм-с. Но как бы то ни было-с, а только мне, как, впрочем, всякому русскому человеку, не лишенному смекалки и некоторых способностей, ужас до чего своя воля надоела и стала утомительна-с. Совершенно-с как Рустему сила его: так бы и отдал ее до поры до времени на сохранение какому-нибудь горному духу-с. Потому что для моих собственных дел и предприятий достаточно, может быть, десятой доли тех сил, которые я в себе чувствую-с. А избыток остается-с, так сказать, беспредметным и мучит, как бес, которому колдун не дает работы. И нету у меня собственного воображения — куда бы этот избыток приладить и приложить-с. То есть, иными словами, найти место и цель в природе для большей части своего «я». И человека, который бы мне это место и цель указал, я — говорю вам с совершенною искренностью — рад был бы золотом осыпать... Хотя сдается мне, Флавиан Константинович, что если бы нашелся такой человек, то, пожалуй, окажется, что ему золото нужно меньше всего... да-с, меньше всего...

Он задумался, потом засмеялся.

— Так как мы, купцы, привыкли все измерять денежным эквивалентом, то я вам реальным конкретным примером скажу-с... Вот-с, у меня, по моему коммерческому обороту, сейчас девять миллионов пристроено и работают на меня, а десятый волен гуляет, на боку лежит, казенным процентом питается, и решительно не на что мне его обратить...

— Ну, как это, Сила Кузьмич? — удивился и усомнился Альбатросов. — В России-то? У нас промышленность оттого и кашляет, как чахоточная, что капиталы робки...

— Эх, Флавиан Константинович, — с живостью, почти с досадою возразил Хлебенный. — Не вы бы говорили-с, не я бы слушал-с... Чиновничья песня-с!.. Что значит — капиталы робки? Это значит — дела неубедительны-с!.. Где дела убедительны, там они — магнит-с, там неподвижных капиталов не бывает-с... Нашел же я место для девяти-то миллионов, а вот для одного — тю-тю! нету! Не встречаю дела убедительного...

— Риски велики?

— И это, извините-с, опять чиновничье слово. Что риски? Волка бояться — в лес не ходить. Без риска работать — значит руки сложить да купоны стричь. Старушечье дело-с. На риски конкуренции капитал всегда готов. Но если я вижу пред собой не риск, а просто-таки брòсово? Что же-с мне так и сунуть в это брòсово миллион-то мой свободный — только потому, что он у меня сейчас другого приложения не находит? Ну нет, подождем, — авось над нами не каплет... А поверьте совести и опыту, Флавиан Константинович: все эти дела и предприятия, которые для нас, неподвижных капиталов, российские Кольберы, господа Вышнеградские да Витте понадумали и безучастием к которым они нас попрекают, родят именно брòсово — с тем единственным и непременным последствием, что в конце концов капитал попадает под опеку господ чиновников или, что то же, ихних банков-с... Помилуйте-с, за что же-с?.. Уж если так, я лучше согласен по-старинному — исправника на своем иждивении содержать, становому платить, урядника довольствовать... По крайней мере заплатил, и прав: ты хозяин и приказываешь, а не тобою вертят, как пешкою... За свои-то деньги да чтобы над тобою чиновничишки да банкиришки ломались? Дудочки-с... Вон — полюбуйтесь — судьба нашего подвижного-то капитала, пошедшего к ним в объятия, на удочку неубедительных дел: Савва Иванович Мамонтов... Вы обратите внимание: это человек трогательный-с, большой и изящной души

человек... Он, знаете ли, сразу как-то и из двадцатого века, к которому мы идем-с, и из семнадцатого, когда там Атласовы разные Камчатку разыскивали... Ведь он, можно сказать, русский Север, со времен Ченслера заплесневелый, вторично открыл и России подарил... А его за это господа Витте с компанией господам Ротштейнам с компанией закабалили, и — как он теперь в удавке ихней крутится и вертится, вчуже жаль смотреть-с. И завершится это все, конечно, крахом-с, а может быть, и хуже-с... Нет уж, знаете ли-с, блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Иначе быть ему, мужу, не мужем, а лимоном-с, и выжмут лимон государственные благодетели наши до последнего сока-с и выбросят его за окно, в мусорную кучу-с. Но вы увели меня от того, что я хотел вам сказать: как я, значит, в послушники-то стремился и для души и воли «старца» искал...

Он примолк и вдруг почти со страстью воскликнул:

— И стремлюсь, и ищу-с! Нужен мне такой человек — хозяин моей воли. И, быть может, он будет даже не умнее меня, но верить он должен и в себя, и в дело свое — и правду свою предо мною обнаружить и верою своею, чутьем веры, меня покорить и захватить... Если бы дано мне было встретить подобного человека, истинно говорю вам: и я, и все мое были бы его...

Альбатросов сказал, слушая шум винта за кормою и голоса водомеров, считающих четверти: шесть... шесть... шесть...

— Обыкновенно в наши дни люди вашего настроения обращаются за нравственною помощью к графу Льву Николаевичу Толстому...

Но Хлебенный возразил таким голосом, что Альбатросов, даже не видя лица его, догадался, что он сморщился.

— Что он может мне дать! Сам на себя не надеется, сам подобный же ищущий, смятенный человек... Только что силач очень... ну, оно и не так заметно. Потому что все меря-

ется силами с встречниками: кто умнее — я или вы? Ну и, понятно, как Святогор-богатырь, кладет всех на обе лопатки... Оптический обман-с! И это, ежели вам угодно знать, было-с, и это пережито-с... А сказать то простое новое слово, которое стало бы властно над моею волею, он не может — нет у него такого слова в запасе... Да и разных мы пород-с! Лев Николаевич себя не то что в нынешнее свое опрощение, а хоть в компанию своему Акиму-золотарю определи, — все барин есть и барином останется. А меня — хоть в Белую Арапию королем посадите, я и на золотом престоле останусь в душе мужиком-с, сыном Кузьмы Силыча Хлебенного, который до смерти помнил, как его во младости за недоимку пороли, и внуком Силы Хлебенного, которого, может быть, папенька Льва Николаевича когда-нибудь, часом, по зубам колотил... Нет, тут я ничего для себя не ждал и не жду... Это не оттуда придет... никак не оттуда... Другая полоса нужна-с. Тут на верхи у меня надежды нет-с. Больше уповаю, что, может быть, из глубины что-нибудь всплывет. Снизу-с.

И после долгой глубокой паузы, свидетельствовавшей о большом волнении, продолжал:

— Большим кораблям большое и плавание-с, а наши лодочки маленькие-с... Смею сказать о себе, Флавиан Константинович, что я человек с некоторым чутьем на талант и то, что называется Божьей искрой в человеке... И чуть где этакий огонек затеплится, я уже непременно там в свидетелях-с и пытаю: не тут ли моя искомая судьба?.. Но, так как я купец осторожный и продешевить себя не намерен-с, то влюбчивостью не отличаюсь и с влюбленностью не спешу-с. Тем более-с что из опыта осведомился, что у нас на Руси человек чем шире распространяет свои идеалы в общей теории, тем у́же у него сходится практическая цель-с. Говорят, из-за дальнего не видать ближнего. Стали превращать разговор в дело — ан, уже наоборот: из-за ближнего не видать дальнего. И, как посмотришь с вниманием вокруг, видишь, что

людей, решающих вопрос о счастье человеческом общею мыслью-с, очень мало-с. А большинство тех, кого за таковых принимают-с, обыкновенно решают его даже совсем не мыслью, но своим господствующим пристрастием-с, которое и сами с искренностью принимают за мысль и обществу за мысль выдают-с. Меня, скажем, мучит вопрос о взаимоотношениях классов, а мне отвечают: дай денег на газету либо журнал. Меня томят сомнения насчет соответствия культуры с народным благосостоянием, а мне предлагают: так ты выстрой театр! Я человек не бедный и даже, смею сказать, денежный-с и на подобные опыты тратиться не желаю-с: газеты и журналы субсидировал, издательские фирмы поддерживал, театры строил и содержал, школы, читальни, библиотеки идейные основывал, больницы и лечебницы на своем иждивении имею, экскурсии и научные путешествия оплачивал, голодающих кормил-с и, ежели надо будет, опять готов — с совершенным моим удовольствием!.. Но только это все не то-с... все не то-с... Филантропией пахнет, сделкою с меньшим братом-с... И душа мертва-с... Общая цель не ясна-с... И судьбы своей я не вижу-с... Так-с, только как бы мерцает что-то — подобно вон тем огонькам на берегу сквозь туман этой волжской ночи-с... И из того, что вдали мерцает, только явственнее чувствуешь, что это-то — здесь, вокруг тебя, — не то, не то и не то!..

Он замолчал, закуривая новую папиросу заметно дрожащею рукою. Потом окрепнувшим, успокоенным голосом продолжал:

— Человека, которого я искал и ищу, я не нашел и, может быть, никогда не найду-с. Но в поисках моих я узнал множество прекраснейших людей, которые меня переработали из мизантропа в оптимиста уже тем простым фактом, что они имеются в человечестве — и в весьма значительном количестве. Не сомневайтесь, поверьте-с: в значительном! Смею сказать, что, если мне когда-либо удавалось быть полезным

обществу, то это не я бывал полезен, а те, кто мне нравился-с. Потому что я в угоду человеку, который произвел на меня впечатление честного и искреннего искателя, идущего от действительности века к чему-то лучшему, — для такого человека-с я могу очень многим пожертвовать-с. Хотя бы даже и видел, что он ошибается-с, и нацелился неверно, и дороги не мастер выбирать. Просто за то помогу-с, что не в себя одного живет-с, а человека любит-с и для человека старается, облагообразить его, брата своего, хочет, вперед и вверх повести. А еще... уж очень мне жаль бывает, когда талант, созданный для хороших целей, вдруг заблудится в миражах и болотных огнях и потянут они его, раба Божия, в трясину и зыбучие пески-с... Вот как вас сейчас, Флавиан Константинович, да-с, уж извините-с за откровенность, вот как вас...

Он выждал, не возразит ли что Альбатросов, но, так как тот угрюмо молчал, прислонясь спиною к стенке рубки, Хлебенный нашел в темноте руку журналиста и, крепко, дружески ее стиснув, сказал тепло и проникновенно:

— Бегите от нас, Флавиан Константинович. Истинно вам говорю: не место вам в нашей среде. Бегите. Загубим мы вас, милый человек. Сами не заметите, как тлению нашему подчинитесь и тоже станете разлагаться — как водится, начиная с головы...

— Позвольте, однако, Сила Кузьмич, — глуховато и слегка запинаясь, отозвался из мрака Альбатросов, — кто эти «мы», от имени которых вы делаете мне предостережение?

Хлебенный коротко отрубил во мраке:

— Капитал и власть.

— Да будто уж так страшно? — насильственно усмехнулся Альбатросов.

— А разве вы сами-то за себя уже не боитесь? — почти строго спросил его Хлебенный.

Альбатросов промолчал.

— Боитесь, — с убеждением сказал Хлебенный, — уже заговорило в вас чутье, смутились духом за себя. И это очень хорошо, Флавиан Константинович. Потому что иначе за будущее вашего дарования и даже за будущее вас самих я не прозакладывал бы и двугривенного-с.

— Ну, двугривенным-то Сила Хлебенный может рискнуть и на меньшие шансы, — усмехнулся Альбатросов.

Сила холодно возразил:

— Нет-с, я потому и Сила Хлебенный, что даром и двугривенными не бросаюсь... Это барам да вам, интеллигентам, которые обарились, двугривенные-то — фи! А мы им цену знаем и ими не шутим-с... Обе силы, которые я назвал — власть и капитал, — сейчас заигрывают с печатью, как никогда еще не бывало на Руси. Совсем приручение бульдога-с, одетого в прочный намордник, — отзываться на ласковое слово-с и знать своего хозяина-с... Ну-с, а я хоть в некотором роде сам представитель капитала и в иных частных случаях сам подобными приручениями заняться весьма не прочь, но, в общем, мне печатного бульдога жаль-с... Пусть это наивно и сантиментально, пусть подобное мое раздвоение даже в карикатуру просится, — жаль-с! Общественно-с, как гражданину-с, как русскому человеку, жаль-с... Потому что единственно, что хоть сколько-нибудь сберегли мы, общество, в рабском паскудстве нашем, от чести и совести, по образу и подобию Божию-с, это — многострадальная-с русская печать-с... И ежели еще она теперь сдрейфит, — что же это, о Господи? Куда тогда нашему брату, грешному обывателю, глазыньки-то свои с упованием обратить? Справа Содом, слева Гоморра, кругом геенна огненная, и никакого тебе лона Авраамля! Дыра-с!

Он засмеялся зло и печально.

— А дрейфит, сильно дрейфит... Насчет подкупности и корыстности — это вздор, не верю-с... Если и бывает-с, то в такой печати-с, которая и печать-то только потому, что из типографии выходит, а не в кабаке разведенными черни-

лами по оберточной бумаге пишется. Эта печать нас не касается. Она по панели да портерным промышляет: не то нищие, не то жулики, — как в Москве есть словечко, — «стрелки»-с. Ну что они могут? С актеришки какого-нибудь за рецензию сдернуть, с домовладельца — чтобы замолчать штраф, наложенный за антисанитарное содержание двора… Курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает… А что касается настоящих публицистических областей и сфер, это вы нас, капиталистов, спросите, часто ли случается нам уловлять русскую печать на наши удочки... У вас, журналистов, есть манера колоть друг друга подобными намеками, но ведь это лишь скверный полемический прием. Когда старика Суворина кто-то обвинял в денежной продажности, он на все прочие обличения отвечал по существу, но на это ответил с буквальною краткостью: «Подите вы с подобными глупостями к черту...» И принято сие было без возражений, как самый настоящий ответ тоже по существу. Нет-с, на этот счет русский журнализм покуда еще может смотреть в глаза западным конфрерам не только смело, но и со значительным превосходством-с... Ибо, к примеру сказать, в Париже-городке бывая по иным коммерческим делам своим, я, если нуждаюсь в publicité*, прямо и откровенно посылаю поверенного в газетные бюро торговаться начистоту: сколько? А у нас в подобном разе последнего репортеришку надо обдумать, как к нему подойти и всяким приличием обставить, чтобы не «нарваться». Потому что не берущий человек предложений и промесов не прощает-с и, обыкновенно, мстит-с... Опять-таки по опыту знаю-с... Разве что в будущем грех этот наползет на нас, а покуда — слава Богу — ничего-с, чисто...

— В чем же, однако, мы, по-вашему, дрейфим-то, и даже сильно дрейфим, как вы выражаетесь, Сила Кузьмич? — напомнил Альбатросов.

---

* Паблисити (*фр.*).

Хлебенный вздохнул.

— По белому телу уж больно выразительно заскучали вы, господа, — да-с, по белому телу-с. Вы не подумайте, что я обвиняю-с. Что же? Оно понятно и естественно. В черном теле вы очень засиделись. Со времен Белинского сидит. И, кроме благородных самосознаний исполняемого долга, нет вам никакого удовлетворения-с. Потому что общество у нас — кисляй, правительство — суровое. Не жизнь, а прание на рожон-с — и без малейшего поощрения-с. Ну, и дух бодр, а плоть немощна-с. Переутомились. Сильно сейчас потянуло в белое тело. Сдают-с!

— Но это почти то же, что вы сейчас сами отрицали, Сила Кузьмич!

— А, нет! а, нет! извините-с! совсем не то же-с!.. Соблазн белого тела совсем не в том, чтобы вместо черствой корки хлеба есть булку с маслом-с... А очень уж усиленно стали вам теперь напоминать-с европейскую пословицу-с, что пресса есть шестая великая держава...

— И это вам не нравится?

— С откровенностью должен вам признаться: очень не нравится. По крайней мере в нынешних обстоятельствах-с. И выгодно мне весьма-с, а не нравится.

— После всех высказанных вами взглядов немножко странно, — не без насмешки возразил Альбатросов. — Если русская пресса доросла наконец, подобно европейской, до государственного значения...

— Вот, вот! — даже как бы с радостью перебил Хлебенный. — Эти самые слова-с... Подобно европейской!.. Ах, Флавиан Константинович! Да ведь в Европе-то государственное значение к прессе снизу пришло, боевою выслугою, через третье сословие и пролетариат-с, там оно — символ революционной победы над старым режимом-с... А у нас — как раз наоборот: то, что вы принимаете за государственное значение, нисходит сейчас на прессу с правящих верхов-с —

типическая русская революция сверху-с, — засмеялся он. — Я, должен вам признаться, вообще не охотник до революций сверху-с и даже освобождением крестьян не растроган в той мере, как следовало бы-с, быть может, мужицкому сыну и внуку-с. Верю истории, что все настоящие права не уступаются, а берутся и бывают взяты, а не даны-с... Ну-с, а уж та революция сверху, которая сейчас прессу оглаживает, как бульдога в наморднике, даже до неприличия прозрачна-с... Было общество. Была пресса. Был правительственный кулак. От него обществу и прессе одинаково было жутко — и с горя были они великие друзья-с. Но вот-с однажды пришли в правительство практические и неглупые люди. Увидали, что страна выросла и стоит накануне большого кризиса, так что на общественное мнение далее плевать мудрено-с, а между тем правительство в общественном мнении непопулярно-с. Ну и спохватились формировать общественное мнение в свою пользу... Чем? Ну, конечно, европейским оружием: печатью! Как? Ну, конечно, по Бонапартову способу! Оглаживай бульдога! Оглаживай! Кто не с нами, тот против нас, — поэтому намордник на бульдога надет крепчайший. А кто с нами — милости просим, пожалуйте, будьте не только певцами наших подвигов — разве мы похвал ищем и льстивой печати добиваемся? — нет, нам только ваша правда нужна! Мы вас настолько уважаем, что рады предоставить вам и честь, и часть в самых подвигах наших... Довольно вам лежать на своем гноище и ворчать по-собачьи! пожалуйте к нам в сотрудники, в наставники даже... конечно, насколько позволит намордник, от сих до сих!

Голос его приобрел злые, иронические интонации — и, когда Альбатросов хотел заговорить, он перебил со страстью:

— Сегодня Фома землю копал, завтра Фома в воеводы попал: как у Фомы голове не закружиться?.. Вы посмотрите, какой блистательный улов-с! Чуть в печати появится человек с дарованием и зубом, на него уже раскидываются мре-

жи: не угодно ли к нам? И совсем не так, чтобы по-старому — продавайся, дескать, чего там? не обидим, вот тебе оклад и наградные на голодные зубы! строчи, что велят! Нет, напротив: поражены, мол, справедливостью словес твоих и государственностью ума твоего — «давай нам смелые уроки, а мы послушаем тебя!..». Ах, вам наша дипломатия не нравится? Великолепно-с: не угодно ли поработать самим — поправляйте и направляйте общественное мнение на истинный путь: спасибо скажем! Господин Амфитеатров! Не угодно ли вам обревизовать положение русского дела на Балканском полуострове? Обяжете! Пожалуйте! Господин Сыромятников! Не угодно ли вам прогуляться на броненосце в Персидский залив? Обяжете! Пожалуйте! Господин Ухтомский! Не угодно ли вам ехать с посольством в Китай к Ли-хун-Чангу? Обяжете! Пожалуйте! Ах, вас наша финансовая политика не удовлетворяет? Господа, да неужели вы думаете, что мы сами-то ею довольны? Но что же делать? У нас наилучшие намерения, но — не умеем: традиция губит! рутина давит! Мы в Петербурге плохо знаем Россию, и людей у нас нет. Вы — свежие люди, вы хорошо знаете Россию: пожалуйте к нам — в наши департаменты, в наши канцелярии, в наши банки, в наши предприятия... Вон Витте сейчас набил свое министерство способными людьми с бойкими перьями, у Ковалевского, у Коковцова — что ни чиновник, то либо бывший журналист, либо человек со связями в прессе... И все искренно воображают, что спасают Россию. И это еще лучшая часть из сих невинно падших... — засмеялся он. — Вы меня извините-с, я всю эту наивную публику невинно падшими зову-с...

Да, это что еще! — заговорил он, помолчав. — Тут хоть государственный мираж людей туманит, личного аферизма нет. А будет-с и это. Потому что на людей с предпринимательской фантазией это самая лучшая узда — прицепить их, чрез удовлетворение их фантазии, к министерской

победной колеснице-с. У человека в голове засела мечта возродить русское земледелие посредством усовершенствованного плуга: на! вот тебе! приобретаем твой плуг, и неужели ты после этого еще будешь такая свинья, что не перестанешь издавать брошюры против нашей финансовой системы? Человек вообразил, что он в состоянии предсказывать погоду, — на! вот тебе! метеорологическая станция и средства для устройства опытов в широчайших размерах, но неужели после того, как мы доказали тебе, как высоко мы ценим твои идеи, ты еще не наш брат Исаакий и не воспляшешь с нами? Человек изобрел особую форму мелкого сельскохозяйственного кредита... да сделай милость! разрабатывай! все наши департаменты и архивы к твоим услугам! Но неужели ты, покуда будешь планами своими благодетельствовать России будущей, не оценишь в России настоящей величия золотой валюты и прелестей винной монополии?.. Ну и сердце сердцу весть подает: есть такое особое русское взаимопонимание-с, которое и слов не требует-с, — где-то аукнется, что-то откликнется... по душам-с... И услуг как будто никаких не требуют, и просьб особенных как будто не предъявляют — совести и профессиональным традициям как будто не то что огрызаться не из-за чего, но даже и пощекотаться нечем... А только засасывает да затягивает вас трясина эта благоволительная, затягивает да засасывает. И — в один плачевный день, когда она, трясина, скандальнейше компрометируется, вместе с нею компрометированы и вы. И повторяется трагикомическая басня об овсянке и воробьях, которая, дескать, с ними лишь летала, а пшеницы не клевала... Потому что, во-первых, этим полетам без клевания пшеницы — хоть они чаще всего именно так, в бескорыстной опрометчивости, совершаются — общественное мнение в гневе своем весьма мало верит-с. А оно гневно, очень гневно-с, потому что давно и справедливо обозлено-с. А во-вторых, весьма многие овсянки, убедившись, что семь бед — один ответ,

вспоминают из Альфонса Карра-с, что la plus grande infamie c'est être infame gratis*, и тогда, наверстывая пропущенное, уже напускаются на пшеницу пуще всякого воробья-с. И таким-то вот манером вырабатывается на Руси новый класс министерских содержанцев от печати-с и от науки-с... Ну, и со ступеньки на ступеньку-с... весьма плачевная лестница-с, внизу которой мы видим сейчас много имен-с, недавно еще сиявших обещаниями и надеждами совсем иного порядка-с. А теперь на них вешают-с ордена-с... «за неслужебные заслуги». Формула-то? А? С выдумкою господа. Разбирай там после этакой отметки, на каком, по остроумному выражению Николая Семеновича Лескова, человек очутился иждивении-с...

Он засмеялся и бросил папиросу за борт.

— И вот-с потому-то и говорю вам, Флавиан Константинович: бросьте вы это дело — бегите и от власти, и от капитала, и от Липпе с Аланевским, и от нас с княгинею Латвиною. Жаль богатого наблюдения? Не спорю-с. Материал колоссальный-с. Но поверьте: никакое богатство наблюдения не заплатит вам за ту порчу духа, которою мы вас отравить способны. Вы видите, я — напрямик-с и себя из отравителей не исключаю-с. И в особенности-с в наше время-с. Потому что истинно вам говорю-с: надвигается на Россию грозная пора, когда власти и капиталу придется считаться с народом и трудом баш на баш. И вам, свидетелям и летописцам счетов этих предстоящих, нужно чутье чистого духа и перо в чистых руках-с... И многие, когда позовет их народ, окажутся в трагикомическом положении. Потому что — по инстинкту — прыгнут они к народу, ан сзади держит за фалды властная рука: позволь, брат Исаакий, куда же ты? вместе кашу варили — вместе будем и расхлебывать... «Ты нас пела — это дело, так с нами и воспляши!..» Конечно, можно

* Самая большая гнусность бесплатно (*фр.*).

прыгнуть так, чтобы и фалды прочь, — да ведь для этого какая силища и искренность порыва нужны!.. Жалко-с! Что сейчас талантливого народу, перегубив себя через компромиссы самообманные, должно остаться для страны своей ни в сех, ни в тех... Не говорю уже о тех, которые чрез оскорбительное самолюбие и разные личные причины обозлятся и в лютой самозащите-с станут с властью против народа, с капиталом против труда-с!.. И не утешайте себя, голубчик Флавиан Константинович, самонадеянным упованием, что этого, мол, со мною быть не может. В зыбком море русской жизни столько случайностей, что безоглядно ручаться за себя — из чистокровных русских, по расплывчатости и самоснисходительности нашей — могут только люди, узкие, как щепка, которую как волна ни трепли, она все тою же щепкою останется. Ну а челноку с широким днищем в наших обстоятельствах только посматривать да посматривать вокруг себя, как бы ему на подводном камне каком-либо в щепу не разлететься... Вон как господин Брагин, нынешний петербургский маг и волшебник... Разве маленький был человек? Помню вечер в Москве в Собрании: десять тысяч глаз горькими слезами плакало, когда он читал свой рассказ из «Отечественных записок»...[*] А ныне он — с Театральной улицы на Фонтанку, с Фонтанки на Дворцовую площадь: ему в уши поют, а он перепевает — и это его публицистика. На журфиксах у него все генералы в мундирах да сановники первых пяти классов, а он — между ними — в рабочей бархатной блузе форсит, и душонка в нем от радости задыхается: вон, мол, я какой знаменитый и необходимый! Генералов в рабочей куртке принимаю — и глотают, ничего!.. И это его жизнь-с...

— Сила Кузьмич, — остановил его Альбатросов.

— Я-с?

---

[*] См. «Восьмидесятники».

— Ну, а о самом-то себе — уж оставим нас, грешных, — о самом-то себе что вы скажете? самому-то себе где вы место предусматриваете, когда вот придет это, вами предвидимое время, что должны будут сразиться власть с народом, а труд с капиталом?

— И между собою-с, также и между собою-с, — поправил Сила.

— Ну в борьбе власти и капитала ваше место угадать нетрудно, а вот там-то...

Сила засмеялся и сказал:

— Не искушайте-с. Что загадывать? Говорю же вам: не русский человек обстоятельства свои определяет, но обстоятельства — русского человека-с...

Потом подумал и прибавил, смеясь:

— Обыкновенно-с в подобных страшных судах-с добродетельные агнцы идут одесную-с, а порочные козлища ошую-с... У нас, кажется, будет наоборот-с. Уж такое наше чудак-отечество-с: «Правая, левая где сторона-с…» Чувствую себя, грешник, конечно, более козлищем, нежели агнцем... Только, поди, ведь и агнцам-то какой-нибудь козел в стадо надобен?.. Замечено, Флавиан Константинович, учеными, что плохо пасутся агнцы вовсе без козлищ-то в качестве поводырей... Ну, и позвольте спросить, быть при агнцах козлом-поводырем — разве это не перспектива-с?

IV

Телеграммы и письма, извещавшие Анимаиду Васильевну Чернь-Озерову о том, что ее старшая «воспитанница» Дина арестована и сидит в предварилке*), долго гонялись за этою путешественницею, несчастливо приходя в города ее местопребывания все как раз после ее оттуда отъезда. Наконец

*) См. «Закат старого века».

они застигли-таки ее в Палермо, когда она купалась в Монделло, в голубых волнах, катящихся по розовому дну, засыпанному мелким коралловым ломом. Была она не одна. Уже второй месяц кочевал за нею следом, неотступно, куда она, туда и он, познакомившийся с нею еще на острове Гернесе, молодой богатый испанец, торговец скотом из Аргентины: здоровенный парень, едва умеющий подписывать свою фамилию, но стройный, как тополь, с широчайшими плечами и с совершенно разбойничьим от свирепых челюстей и дикого выражения красивых, чернозвездных глаз оливковым лицом. Телеграммы очень смутили Анимаиду Васильевну. Она решила немедленно ехать в Россию, бросив и голубые волны с коралловым дном, и все радости, которые доставлял ей простодушный дон Гонзалес, не щадивший для нее ни здоровья своего, ни средств, чтобы ее развлекать и баловать. Подобными быстротечными и потом невозвратными романами Анимаида Васильевна обставляла каждое свое одинокое путешествие, вознаграждая себя за московское свое благое поведение и строгую, суровее всякой супружеской, верность тайному сожителю своему, Василию Александровичу Истуканову, главному управляющему знаменитого торгового дома Бэр и Озирис*). Возвращалась в Россию Анимаида Васильевна не только потому, что приличие и долг звали ее к дочери, попавшей в беду, — нет, она Дину в самом деле крепко любила и теперь ехала, полная тревоги и опасений, гораздо больших, чем показывали ее холодные, как горный хрусталь, глаза и нестареющее, каменное лицо, как будто палевый мрамор. И в то же время не могла не вздыхать про себя — никого, конечно, доверенностью о чувствах своих не удостаивая, — о том, что нарушилась строгая машинальность ее здоровой жизни в правильном годичном расписании. Что она в этом году недостаточно отдыхала от Москвы и была одна;

*) См.«Девятидесятники». Т. II.

недостаточно видела новых стран и людей; недостаточно обновила и закалила стройное, нервное тело свое купаньями в Атлантическом океане и Средиземном море. И — главное: недостаточно избыла женский темперамент свой и должна набросить на него московскую узду прежде, чем, как то бывало в прошлые годы, дошла до совершенного равнодушия к случайному любовнику и мужской ласке — равнодушия, которое потом помогало ей проводить осень, зиму и весну московскою Минервою в аметистовом бархате, не уязвимою стрелами страстей. Дон Гонзалес, провожая ее в далекую холодную Россию, ревел вопреки свирепости вида своего громче самого голосистого быка в своих многоголовых гуртах. Да и Анимаида Васильевна при расставании пережила новость волнений, непривычных и почти незнакомых...

«Поздравляю, — насмешливо думала она, чуть качаемая эластическими рессорами поезда-экспресса, уносившего ее из Неаполя, где простилась она с Гонзалесом. — Отличаешься, Анимаида Васильевна... Новости... Того не доставало, чтобы влюбиться на старости лет... Еще поплакать не вздумаешь ли? Опускаешься, голубушка, бежишь навстречу старости самым роковым маршем и... даже вот глупеешь...»

Вытряхнув бедного Гонзалеса из ума и памяти, Анимаида Васильевна невеселыми думами обратилась к тем, кто ждал ее в Москве, и не столько к дочери, сколько к Истуканову. За Дину она боялась только в отношении здоровья, не простудили бы ее в каком-нибудь сыром каземате да не нажила бы она себе с перепуга какой-нибудь нервной болезни. Духом она сейчас, наверное, не страдает — напротив, взвинчена, вздернута, счастлива, приподнята задором борьбы, чувствует себя героинею, революционеркою, мученицею — «Софьею Перовскою без пяти минут», как, бывало, дразнил ее Костя Ратомский... И Анимаида Васильевна невольно улыбалась внутренне, представляя себе, каких и скольких дер-

зостей должны были наслушаться от голубоглазой, с щечками и кудрями херувима Дины ее арестовавшие и допрашивающие жандармы...

«Не думаю, чтобы за нею могло числиться что-либо серьезное, — не в таких кругах она вращалась... Из ее приятельниц одна Волчкова, может быть, немножко понюхала настоящей-то революции. Остальные знакомства — не заговорщики, а разговорщики: красноречивые риторы в четырех стенах, дватри фразера, две-три позерки с криком, но и с оглядкой на городового, несколько «статистов и статисток революции»... безобиднейшие ребята, которые играют в политику, главным образом, потому, что вышли из моды любительские спектакли... Алевтина телеграфирует, что Дину, по всей вероятности, вышлют куда-нибудь на север либо в недальние губернии Сибири. При наших средствах это еще не так страшно. Устроим. Конечно, бедной девочке придется поскучать. Но... в конце концов, школа: пора ей овладеть собою, взвесить плюсы и минусы своих природных и житейских шансов и вырабатывать характер...»

Утешив себя таким решительным выводом, Анимаида Васильевна взялась было за желтенькую книжку нового французского романа, но строки Марселя Прево плохо ложились в ее озабоченный ум.

«Пора вырабатывать характер... А есть ли в ней материал для характера? Она мало унаследовала от меня. Вся в отца... Воображаю, что он сейчас переживает и как переносит... Несчастный он человек. Поляки о таких говорят, что в феральный день родился... Вся в отца... А у него характера никогда не было, никогда! В Москве засмеялись бы, если бы услыхали такую аттестацию Василию Александровичу Истуканову, дельцу и умнице, которым живут и держатся Бэр и Озирис... А ведь правда... Я одна его знаю — во всем свете я одна... В нем не характер — в нем страсть господствующая сильна. Постоянство господствующей страсти его

жизнью управляет, и так как это его постоянство уже до того предела дошло, что каждая минутка, каждое движение мысли насквозь им пропитаны, то и кажется, будто оно характер... А на самом-то деле не он своею страстью владеет, а страсть им... Делец потому, что денег много нужно, а денег много нужно, чтобы страсть свою осуществлять... Владело им его шелковое безумие... Владела я... Если бы кто видел этого человека с характером в квартире наших свиданий!.. Брр... Надо мою выдержку и присутствие духа, чтобы выносить его угрюмую тишину, понимать ее и — ее не бояться... Словно ночью в колодец смотришь, а в колодце-то — водяной...»

Она передернула плечами, как от холода, и задумалась над тем, что привязанность к ней Истуканова становится с года на год все более странною, в безмолвной и замкнутой бестребовательной своей страстности…

«Тут звучит что-то неестественное, анормальное... Если еще не психоз, то — на границе психоза... Если бы я верила в медицину, а у него было бы время, его следовало бы оторвать от магазина и работы и... еще кое от чего, может быть... и повезти... со мною, конечно... ну да, непременно под моим надзором, повезти в какой-нибудь хороший санаторий... Да, ему восстановить себя надо... Человек с нарушенным равновесием функций... Скромнейший, тишайший, пристойнейший, почти целомудренный... А покажи его какому-нибудь Крафт-Эбингу, пожалуй, отрекомендует: «Вы этого смиренника остерегайтесь... Он у вас эротоман... и из серьезно одержимых!»

И она с хмурым лбом высчитывала, что за последние два года между нею и Истукановым почти прекратилась телесная связь, а между тем, никогда раньше, чем в эти два года, не чувствовала она более настойчиво и убежденно, что Василий Александрович только и живет, что влечением к ней, и безустанно обвивает ее мыслью и воображением; что, чем менее реальны стали их отношения, тем острее

и настойчивее кричит в нем протест обиженного пола и облекается в формы странные, дикие...

«Он уже не меня любит, — угрюмо думала Анимаида Васильевна, — он мой призрак любит... Создал себе фантастическую обстановку, в которой воображает фантастическую меня — такую, как я вообразилась ему в наши первые молодые встречи, — такую, как меня надо, и так, как бы ему хотелось... Музей из моих платьев и обуви устроил и чувствует себя в нем счастливым и дома... Везде угрюмый и чужой, а там дома и в духе... Я этих шкафов со старыми тряпками видеть не могу равнодушно, они на меня содрогание наводят: точно гробы, в которых похоронена часть меня самой... Какая — не знаю, но именно эта часть моя ему и нужна, и дорога, и наедине с нею он блаженствует, а я — остальная я, — собственно говоря, только необходимое осложнение этой любимой части... И, если сознаться откровенно, наедине со своей душой, то осложнение очень дорогое, трудное и малоблагодарное... От живой Анимаиды ему трудно, от воображаемой — легко, приятно, весело... Когда я уезжала в этот раз за границу, Василий Александрович был взволнован и опечален гораздо менее, чем обыкновенно бывал при моих прежних отлучках... И вот мне писали, что он даже не исчезал после моего отъезда, как в прежние годы... значит, выдержал разлуку без запоя... Я, конечно, очень рада за него как за человека, что наконец он хоть в старости выучивается владеть собою и не впадать в эту мужскую мерзость... Mais ça donne a penser...* Может быть, тут не характер стал больше, а горе разлуки стало меньше... И думаю, что это именно так... Ревнивая женщина решила бы, что это — охлаждение и что, по всей вероятности, у нее есть соперница... Я не ревнива, но соперницу вижу... И соперницу грозную, потому что это — я сама... Не та я, которая вот здесь, в купе

* Это наводит на размышление (*фр.*).

пульманова вагона, мчится из Рима в Москву, а какая-то особая, отделенная от меня, я, которую видит, понимает и чувствует только он, Василий Александрович... Я сознаю ее присутствие и любовную власть над ним давно, очень давно. Но до сих пор мы втроем — я, вот эта, здешняя я, та, вторая, тамошняя я и Василий Александрович — умели уживаться... Ну а если мир наш нарушится? Если Василий Александрович окончательно... люди сказали бы — сойдет с ума?.. Я не скажу, потому что у него этот угол какою-то особенною повелительною линией отграничен от остальной жизни, в которой он не только разумен, но даже, быть может, слишком благоразумен... Ведь — спроси кого угодно в Москве: почтеннейший буржуа, делец, финансист, образцовый администратор крупнейшей торговой фирмы, — а иные не постесняются прибавить: жох... Какое уж тут сумасшествие!.. Но — если тот, отгороженный-то, угол приобретет настолько господствующую власть и силу, что уже не пожелает делиться Василием Александровичем даже со мною? если я окажусь лишнею? если я начну даже «мешать»?.. Довольно комическое и оскорбительное положение быть побежденною своим собственным призраком, сознавать, что нечто, слагающееся из мечты и разных лиловых матерчатых тряпок, сохранивших твой запах, оказывается сильнее, нужнее и приятнее, чем ты сама... А между тем это очень возможно... Приходя в ту квартиру, я все чаще и чаще начинаю чувствовать себя неловко, точно я не у себя, а в чужом доме и пришла с нехорошею целью — соблазнить и отбить мужа у хозяйки... Эта я — у той я... И с большой неудачею, потому что муж в жену влюблен и только того и ждет с вежливым нетерпением, когда уйдет назойливо-кокетливая гостья, Анимаида № 1, и останется он вдвоем со своею обожаемою Анимаидою № 2. А она — сейчас, при мне — робко расточилась в невидимость и притаилась бесчисленными атомами в моем манекене, в шкафах с моими платьями, в ящи-

ках с моими ботинками, чулками, бельем, но, когда я уйду, материализуется как, медиумический призрак, и овладеет им, как вампир... Дошел же он в этих одиноких сеансах своих до того, что сам с собою разговаривает громко и смеется... Старушку хозяйку однажды так этим напугал, что она побежала за дворником... Я уверена, что это он с нею изволил беседовать — с Анимаидой № 2, со мною в идеале своем, с лиловым призраком своей любовной мечты, который крадется в наши отношения мне на смену... Ну и — если сменит?.. Если?.. Если между нами — в его больном мозгу — возникнет даже ненависть? Если она потребует от него совершенного торжества надо мною: либо я, либо она?.. что я буду тогда с ним делать?.. Это, конечно, будет уже сумасшествием, но как я с подобным сумасшедшим устрою дальнейшую жизнь? Этого ни один психиатр не охватит диагнозом: лечить любовника по просьбе любовницы от того, что он любовницу слишком любит, а чрезмерную любовь свою выражает тем, что самое любовницу он совсем не любит, а любит ее фантастический призрак, воображаемую тень...

«Конечно, в нашем союзе есть нерушимая реальная связь: Дина и Зина... дочери... Их он не в призраках любит... за каждую готов положить душу свою... Отец... и хороший отец!.. Из тех, которым лучше было бы матерями быть... Но я-то, к сожалению, я-то своими руками сделала все, чтобы ослабить эту связь и превратить дочерей в призраки дочерей... У меня нет дочерей, есть «воспитанницы» — Дина и Зина, внебрачные дочери мещанской девицы Марьи Пугачевой от неизвестных отцов... Одна Дина Николаевна, другая Зинаида Сергеевна — при чем тут Василий Александрович?.. Я его никогда не назвала пред ними отцом, он никогда не посмел им признаться, и, в конце концов, я не уверена даже в том, подозревают ли девочки, что он их отец... По крайней мере Дина... Зина еще слишком молода, ее закрытая, не развернувшаяся душа — для меня потемки... Но Дину я знаю

и чувствую хорошо... Пусть она сейчас сидит в тюрьме «за народ», я ей все-таки не поверю: она аристократка всем существом своим, всем инстинктом — наперекор воле, рассудку, образованию... В крестьянскую девицу Марью Пугачеву, обозначенную в ее метрическом свидетельстве, она не верит, а потому и не огорчается своим происхождением от этой девицы... Она убеждена, что в один прекрасный день это ее метрическое свидетельство растает, как дрянная фикция, а вместо него засияет в ее руках золотая грамота со звучным именем, громким титулом, блестящими правами в обществе, жизни и истории... Но она ищет отца — и ни за что не хочет остановиться на том, кого ей указывают очевидность и логика здравого смысла: Василий Александрович не удовлетворяет ее родословной эстетике... У нее безумная серия навязчивых идей — воистину мегаломания в этом отношении... Когда она узнала, что я в первую свою заграничную поездку познакомилась с Тургеневым и Виардо, она целый год воображала себя дочерью Тургенева и Виардо, которую они будто бы отдали мне на воспитание... И два года проносила эту мечту одиноко, замкнуто, молча, в самой себе — и никто не знал, почему она обвешивает комнату, как иконостас, тургеневскими портретами... Лишь после вышло наружу, когда мечта рухнула и она созналась мисс Аркинс, а та — мне... И, чтобы разрушить это сновидение, мне надо было доказать ей, что, когда я узнала Тургенева, ему было шестьдесят четыре года, а Виардо шестьдесят один... и что, наконец, самое знакомство-то наше продолжалось ровно две недели... И она плакала над разбитою своею мечтою, тихо, гордо плакала по ночам, уверенная, что никто ее не слышит. И мисс Аркинс была умна: не мешала ей плакать, давала выплакаться, хотя сердце ее разрывалось от жалости к этой скорби, глупенькой и поэтической, к этой самолюбивой фантазии, которой правда действительности обсекла крылья... Была она и дочерью великого князя, и прин-

ца Уэльского... И Эрнесто Росси... Вечно кого-нибудь воображает. Интересно бы знать: кого теперь?.. К матери ее интерес как-то меньше — конечно, потому, что инстинкт и привычка воспитания ей тайно говорят, что это все-таки я... Хотя Алевтина как-то раз намекала из своих с Диною разговоров, будто Дина меня «в матери не хочет» — боится и оскорблена: зачем я, если мать, так долго раньше не признавалась и молчала... Это, может быть, и так, и если так, то, может быть, она права: я могла ошибиться в своей тактике и, быть может, передержала свой материнский секрет — пропустила удобный момент открыться пред девочкою... Но каким бы волнением, какими бы горькими сценами она ни встретила мое признание, я уверена, оно не скажет ей ничего нового по существу... В страхе, гневе, оскорблении она все равно чувствует, что мать — это я, и боится во мне не Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой, которая почему-то — по феминистическому капризу, ради педагогических опытов — пожелала воспитать двух незаконнорожденных дочерей крестьянской девицы Марьи Пугачевой, но боится матери, сердится не на Анимаиду Васильевну, а на мать, оскорбляется не Анимаидою Васильевною, но матерью... Здесь есть реальная прицепка, за которую держится здравый смысл... Она обо мне очень высокого мнения, и меня, как матери, для ее гордости довольно... Но, когда она мечтает об отце, она истинная дочь своего отца. У нее в уме родится такой же фантастический призрак красоты, ума, изящества, власти и блеска, как Василий Александрович не удовольствовался владеть мною, вот этою, которая в самом деле я, но сочинил из меня фиалковую фею, которую он любит там — в таинственной квартире наших свиданий, в Каретном ряду, где я скоро, быть может, окажусь при фиалковой фее даже лишнею...»

В Базеле Анимаиду Васильевну ждал большой сюрприз.

В купе вошел, очевидно, заблудившийся в поезде рослый пожилой господин. Он сперва отступил было, увидев одино-

ко путешествующую даму, но — по второму взгляду — радостно воскликнул по-русски:

— Анимаида Васильевна! Вас ли я вижу? Какими судьбами?

Господин был Реньяк*). Его белые щеки, его белые глаза, его хриповатый и слегка в нос дворянский баритон, его грузное, барски мешковатое, непринужденное, упитанное и благовоспитанное тело, упрятанное в дорожный тирольский костюм на манер охотничьего: икры в серых чулках, отвороты куртки зеленые, на войлочной мягкой шляпе сзади два рябеньких пера.

— Это, скорее, мне надо вас спросить, Владимир Павлович, — улыбнулась ему Чернь-Озерова. — Я известная цыганка, всегда кочую, а вот вы-то — москвич и домосед — откуда взялись в Швейцарии?

Расплывчато-крупичатое, сытое, солидное, барское лицо Реньяка стало как-то сразу и мрачным, и довольным.

— Да уж такие вот обстоятельства... — пробормотал он, садясь по ее приглашению. — Я вас не стесню?.. Мое купе, кажется, в этом же вагоне, но я, знаете, позабыл номер...

— И, как водится, отворяете все двери, чтобы убедиться, не тут ли вы? Обычное русское приключение... Откуда и далеко ли?

Реньяк ехал во Франкфурт-на-Майне к известному профессору — специалисту по легочным болезням с отчетом о состоянии здоровья Анны Васильевны, которая находилась в настоящее время в Давосе и очень поправилась. Так что франкфуртское светило, направившее ее в Давос, Реньяк надеется, быть может, разрешит ей перебраться на лето куда-нибудь повеселее.

— А то мы на этой заоблачной вышке умираем от скуки...

*) См. «Девятидесятники».

— Так Аня в Давосе? — изумилась Анимаида Васильевна. — Это превосходно... Давно пора... Но вот не знала!.. Да, в Давосе, должно быть, тоска смертная, особенно в эту пору, когда легко больные начинают разъезжаться... Вы-то, как верный рыцарь Ани, — пошутила она, — ничего, перенесете... Но воображаю, как зевает Костя... шестьсот тысяч раз в минуту!

И остановилась, заметив, что Реньяк смотрит на нее странными глазами и густо краснеет в лице.

— Вы, Анимаида Васильевна, — произнес он принужденным голосом, — очевидно, немного известий имели из России... Разве Алевтина Андреевна не писала вам?

— Я получила только телеграммы и письмо об аресте Дины, по ним и спешу теперь в Россию...

— Долгую же дорогу предстоит вам сделать, — печально сказал Реньяк. — Я три дня тому назад имел письмо от Алевтины Андреевны. Дину Николаевну отправили в...

Он назвал небольшой городок Вологодской губернии.

— Могло быть хуже, — прибавил он в утешение, смягчая печальную весть.

Анимаида Васильевна согласно кивнула головою. Она, хотя и не воображала Дину серьезно обвиненною, все-таки ждала тоже чего-нибудь более грозного, чем вологодский городок, в котором ей однажды случилось даже побывать по случаю медвежьей охоты, устроенной для дам своих богатою компанией из московской «коммерческой аристократии». А распорядительствовал ею, как величайший московский медвежатник-спортсмен, друг сердца княгини Анастасии Романовны Латвиной Алексей Никитич Алябьев.

— Но за что ее взяли-то? Чего натворила она, безумная головка? Ведь я ничего не знаю, как с луны падаю... Корреспонденция моя, очевидно, всюду со мною разминулась... Не томите, успокойте, Владимир Павлович!

Реньяк сообщил Анимаиде Васильевне, что поводом к аресту Дины была первомайская демонстрация на фабри-

ке Антипова, где Дину взяли с красным флагом в руках. Но это лишь повод, в конце концов разрешившийся пустяками, так как жандармское дознание в Москва само выяснило, что Дина в демонстрацию попала как человек случайный, вовлеченный некою Волчковою, и никаких революционных связей и знакомств, кроме Волчковой, у нее нет. Причина же кроется в каких-то специальных сведениях департамента государственной полиции, который приписывает Дине так много значения, что остается только руками развести: откуда?! Естественно предположить ошибку, что Дину принимают за какую-то другую и переносят на нее провинности той. Но Истуканов уже ездил в Петербург хлопотать пред великим гогом и магогом нынешним по всем подобным дела Илиодором Алексеевичем Рутинцевым.

— Вы ведь, я думаю, видели — было даже в иностранных газетах, — будто старик Бараницын уходит по болезням на покой и, уходя, завещает, чтобы на его пост не назначали никого другого, кроме Илиодора Рутинцева...

— Мне казалось, что он еще молод для подобных постов, — удивилась Анимаида Васильевна. — Я его помню лицеистом, когда-то танцевали на московских вечерах... у Арсеньевых, у Ратомских, у Каролеевых...

— Из молодых, да ранний, — печально усмехнулся Реньяк. — Сейчас вообще имеется тенденция изобретательства... Так как Василий Александрович имел к Рутинцеву письмо от его брата, Авкта, то принят был довольно милостиво. Но о Дине сказано ему наотрез: благодарите Бога, что не отведает сибирских рудников... вы не знаете, за кого просите: одна из опаснейших революционерок!

— Дина?!

Реньяк склонил голову.

— Они там с ума сошли, — воскликнула Анимаида Васильевна, — или в самом деле с кем-нибудь ее смешали!

— Нет, Рутинцев дал Истуканову бесспорные доказательства, что дело идет именно о Дине Николаевне... Да еще и с нравоучениями, знаете, что современная семья и школа не умеет следить за молодежью... Вот, мол, для вас, близких, подвиги этой юной госпожи неожиданность, а наши агентурные сведения давно уже освещают каждый ее шаг...

— Не понимаю!

Анимаида Васильевна даже, не в обычай себе, резко плечами пожимала.

— Не понимаю! Уж вот именно я-то, когда в Москве, и Василий Александрович, мы действительно знаем каждый шаг Дины...

— Да, никто не понимает... Мы и к партийным людям ходы нашли через Лукавина Николая Николаевича. Там тоже только плечами пожимают. Большинству Дина даже неизвестна. Ни в какие тайны и близости она не была посвящена. Так — знали, что около Волчковой есть какая-то сочувственница, очень восторженная и очень хорошенькая собою... Так мало ли их, сочувственниц! Тем более около Волчковой, которая сама всегда горит в лихорадке революционного энтузиазма и нетерпения и, как истерическую заразу, распространяет ее вокруг себя...

— Не понимаю, — повторила Анимаида Васильевна с омраченными хрустальными глазами.

Реньяк медленно возразил:

— У Василия Александровича есть своя гипотеза на этот счет... Может быть, и не без правдоподобия...

— Именно?

— Он думает, что Диною Николаевною кто-то себя прикрывает...

— То есть?

— Да — что кто-то искусно направил на Дину Николаевну внимание, чтобы отвлечь его от себя. Она же такая приметная, яркая. Сделал из нее громоотвод, а сам и работает

себе потихоньку и понемножку дельце свое, никем не подозреваемый... Его не видно, а Дина Николаевна — вот она, как вывеска. Ну и тот, кто работает, остается цел и невредим, а вывеску везут в Вологодскую губернию...

— Ну, знаете, — недоверчиво улыбнулась Анимаида Васильевна. — Эти таинственные революционеры, которые точат ножи на головах молодежи и выкупают себя гибелью Панургова стада, существуют только в романах Маркевича и Крестовского да в передовых статьях «Московских ведомостей»...

— Я, как вам известно, небольшой охотник до господ революционеров, — холодно заметил Реньяк, — но в этом отношении готов с вами согласиться... Но Василий Александрович не о революционерах и думает. Он предполагает тут полицейский фортель. Работу каких-то милостивых государей, которые проникли в революцию с тем, чтобы ее компрометировать и срывать... Потому что, сколько я мог понять из слов Лукавина, в революционных кругах очень недовольны этою первомайскою демонстрацией, на которой взята Дина... считают ее несвоевременною, самовольною, нарушением партийной дисциплины и вообще взявшею слишком много жертв сравнительно с принесенною пользою... Тут, по мнению многих, поработали не одни революционные, но и еще чьи-то руки...

— А вы как думаете?

— Возможно... — согласился Реньяк. — Я даже больше скажу. Во Франции, при Второй империи, это была полицейская система — чистить общество от горячих голов и опасных элементов. Втравливать молодых людей в политику с тем, чтобы они себя обнаружили и дали повод собою распорядиться — вот, как теперь дала повод Дина Николаевна. Наш Петербург сейчас вообще во всем подражает Парижу во Вторую империю и политике бонапартистов. Почему же не заимствовать у них и пресловутых agents provocateurs?* Извините, по-русски

* Агенты-провокаторы? (*фр.*)

это слово не переведено... Желал бы искренно, чтобы оно никогда не нашло перевода!

— Неужели же Василий Александрович Волчкову подозревает? — медленно обдумывая, возразила Анимаида Васильевна.

Реньяк энергически потряс головою.

— Нет, как можно... Волчкова, может быть, неблагоразумна и бестолкова, но она сама жертва... Дину Николаевну — только в Вологодскую, а Волчкову повезли гораздо дальше и строже: в Тобольскую губернию... Нет, Василий Александрович лиц никаких не подозревает — он только подозревает самый факт: что идет какой-то обман на два фронта — кто-то губит маленьких революционных младенцев и обманывает ими правительство...

— Он эту свою гипотезу и Рутинцеву высказал?

Реньяк взглянул на нее с удивлением.

— Нет.

— Почему?

— Мне кажется... было бы наивно...

— Почему? — настаивала Анимаида Васильевна.

— Да потому, что если подобная штука в самом деле существует, то, конечно, не иначе как с благословения ведомства генерала Бараницына, а может быть, именно с рутинцевского же почина...

— Жаль, что Василий Александрович отправился к Рутинцеву только с рекомендательным письмом от Авкта, — задумчиво говорила Анимаида Васильевна. — Конечно, родной брат, в то же время блудный сын... el desdichado...* в семье — на положении нераскаянного грешника... какой это авторитет? Надо было хлопотать через графиню Ольгу Александровну Буй-Тур-Всеволодову. Вот эта действительно сила: держит Рутинцева в руках — что скажет, то свято... Конечно, к ней

* Блудный сын (*ит.*).

с пустыми руками не ходят, и пришлось бы поплатиться ей не малым кушем, но за то... Вы не согласны?

— Неужели вы думаете, что Василий Александрович, человек коммерческого ума и расчета, мог позабыть такой важный шанс? В первую очередь бросился к графине... Конечно, не к ней самой... где же!.. С ее факторшею, какою-то госпожою Благовещенскою или Предрассветовою, в сношения войти — и то уже сотен стоило... Но эта госпожа Благовещенская или Предрассветова, как только узнала, что дело касается «политической преступницы», так даже ручками от Василия Александровича отгородилась: «Как? вы хлопочете за арестованную по Антиповскому делу? Нет, нет! это невозможно! Графиня не возьмется за такое ходатайство! Nenni — c'est fini!* И не думайте! и не просите! и не начинайте! Мы против этого! Мы вам не пособники, а враги!»

— Что же это? — презрительно спросила Анимаида Васильевна, чуть щуря хрустальные глаза свои. — Неужели у Ольги Буй-Тур-Всеволодовой в самом деле политические убеждения проявились? Прежде вся ее политика управлялась одним принципом: кто больше даст...

Реньяк усмехнулся.

— Нет, какие там убеждения? зачем ей?.. А секрет в том, что Антиповская демонстрация — неожиданно — также и ей, очаровательной нашей графине, пришлась солоно: сестра ее по делу этому должна была быть арестована, но вовремя сыграла, как теперь выражаются, аллегро удирато...

Анимаида Васильевна встрепенулась и зорко и светло посмотрела на него.

— Евлалия Брагина?

— Она самая. На этом революционном родстве графиню Ольгу Александровну в сферах — как Авкт Рутинцев живописует изящным своим слогом яровского лидера — подковы-

* Ну нет — это конец! (*фр*)

ривали. Нет, нет да и поставит кто-нибудь лыко в строку — и строка-то окажется красная: у нашей, мол, архипатриотки и королевы двух ведомств имеется сестра-революционерка, и почему-то не берут ее: гуляет на свободе! Других берут, а ее не берут... Ну и вариации на эту тему, не весьма приятные и для графини, и для графа, и для Илиодора Рутинцева... Однажды это им — всем троим — окончательно надоело и показалось опасным. И вот, когда разразилось Антиповское дело и оказалось, что Евлалия принимала в нем участие, они решили заклать преступную сестру как искупительную жертву на алтарь своего патриотизма... Евлалия Александровна проживала под Дуботолковом, в имении у брата… Телеграфирован был в Дуботолков приказ об ее аресте… А она, не будь глупа, за час до появления властей предержащих взяла да и скрылась неизвестно куда под покровом темной ночи... Конечно, предупредил какой-нибудь добрый человек... Теперь, поди, уже за границею где-нибудь, здесь, в Швейцарии скитается…

— Очень рада за Евлалию, — заметила Анимаида Васильевна. — Мы с нею довольно остро расходимся во мнениях — особенно с тех пор, как она стала склоняться к социал-демократам. Но она прекрасная женщина и смелый человек. Я очень ее уважаю и желаю ей всякого счастья и добра...

Реньяк продолжал:

— Огонь на алтаре патриотизма пылает, а жертвы-то нет, и, где она, неизвестно... И представьте: произвело это в сферах такое скверное впечатление, что лучше было бы не затевать и самого жертвоприношения... Те самые, кто раньше подковыривал Ольгу Александровну сестрою-революционеркою, теперь стали громко говорить, что Евлалии удалось бежать только потому, что она была предупреждена из Петербурга... Никто этому, конечно, не верил и не верит, потому что все знают, что графиня Буй-Тур-Всеволодова, урожден-

ная Оленька Ратомская, не рискнет для сестры даже кончиком своего розового ноготка. Но все о том говорили, потому что уж очень хорош был козырь: бил сразу по двум ведомствам... У Буй-Тур-Всеволодова вышла резкая сцена с женою, а Рутинцев впервые получил от старика Бараницына такую головомойку, что будто бы они даже едва не расстались... Ну и в результате все четверо со страха рассвирепели и — рвут и мечут, чтобы оправдать себя от сплетни и доказать свое патриотическое усердие... Благовещенская так и сказала Василию Александровичу: «Дайте скандалу улечься, чтобы перестали говорить. Забудется — за пять тысяч освободим вашу героиню. А сейчас и за сто нельзя ничего сделать... имейте терпение!»

Из дальнейших сообщений Реньяка Анимаида Васильевна узнала, что в Москве она вряд ли застанет кого-либо из своих. Василий Александрович, как только решилась судьба Дины, ускакал вперед к месту ее назначения, чтобы устроить ей жилище и обеспечить все условия привычного комфорта, какие только будут возможны. А затем он думал прямо проехать на Нижегородскую выставку — принимать от господина Ратомского заказанный ему Бэром и Озирисом павильон...

Анимаида Васильевна схватила чутким слухом, что Реньяк назвал ближайшего своего приятеля Костю Ратомского сухо и совсем не по-дружески господином Ратомским, и хрустальные глаза ее выразили некоторое удивление... Оно становилось изумлением по мере того, как Реньяк излагал ей трагикомедию внезапного плена Кости княгинею Латвиною с ее амазонками, сватовства Кости к Тане и теперь уже, вероятно, женитьбы...

— Я не из удивляющихся, — сказала она с тихою расстановкою, — но вы меня удивили, Владимир Павлович... В самом деле, я точно с луны падаю... Сколько вы все успели здесь пережить!.. И вы говорите, что при всем том Аня поправляется?

— С нею что-то странное делается, — задумчиво возразил Реньяк. — В Москве она была ужасна, в полном смысле слова ужасна. Только и жила, что обманами, которые мы с Алевтиною Андреевною фабриковали. Никогда я не думал, чтобы пришлось мне на веку моем составлять подложные телеграммы. А теперь, в течение двух недель, я только тем и занимался, что вытирал хлебом старые использованные бланки и по вычищенному писал новый текст от имени Константина Владимировича с нежностями, успокоениями, обещаниями, извинениями. Возмутительное занятие, доложу вам, Анимаида Васильевна! Не дай Бог никому к нему прибегать! Конечно, утешаешься тем, что иначе нельзя и цель оправдывает средства. Но должен сознаться, что все эти ужасные дни, когда Анна Васильевна неистовствовала, а мы ее успокаивали обманными телеграммами, я решительно не мог смотреть в глаза прелестной вашей Зинаиде Сергеевне. У нее глаза ведь на ваши очень походят, но гораздо строже ваших. Вы женщина, видели свет, имеете опыт, а опыт есть наука снисходительности: понять — простить! А у Зинаиды Сергеевны хрустальная чистота подростка с прямолинейным образом мыслей и твердыми убеждениями. Честность и правдивость — без пощады! В мир входит юным судьею... Ну и можете себе представить, каково же должен чувствовать себя под ее светлым взглядом господин, который в течение суток совершает три подлога! Да! да! Не смейтесь! По три телеграммы в день фабриковать приходилось — иначе мечется наша бедняжка, как безумная... «Костя! Костя! К Косте хочу! Костю мне! Умираю без него! Уехал, забыл!..» А Остроумов твердит: «Спокойствие, спокойствие, если так будет дальше, то она у вас не от чахотки умрет, а от волнений своих чудовищных...» Спокойствие! А где его взять, когда она вся стала одним комком нервов и с утра до поздней ночи вибрирует всем существом своим, как часовая пружинка: сожмется, разожмется, сожмется, разожмется...

И этот плач... эти стоны... этот истерический крик... эти слезы потоками и лепет убитого оскорблением ребенка... ужасно! Я вам говорю, Анимаида Васильевна: ужасно... Эти бессонные ночи... кошмарные дни... Ах, Анимаида Васильевна! как она ненавидела нас... меня, Алевтину Андреевну, Зинаиду Сергеевну, Василия Александровича... Никому не верит, всех подозревает... Вас все звала... Мечется и кричит: «Если бы здесь была Анимаида, я не страдала бы, потому что знала бы правду... Вы все трусы, тряпки — такие же, как я... хуже меня!.. Вы все боитесь сказать мне правду — и убиваете меня понемножку, изо дня в день, из часа в час, потому что не смеете убить сразу... Анимаида гордая, жестокая, смелая: она не побоялась бы... Мучители вы мои! как вы не понимаете, что в том состоянии, в котором я мучаюсь, ударить человека топором по голове — значит оказать ему величайшее благодеяние?» Остроумов торопит, говорит: «Вон из Москвы! как можно скорее! в Швейцарию! в Давос!»

А она — без Кости — слышать о том не хочет... И даже не позволяет уговаривать себя: впадает в истерику... обмороки... к вечеру температура тридцать девять...

И вдруг... словно кризис: все сразу кончилось... Будто нитку крутили, крутили да и оборвали!.. все! сразу!.. Слезы, истерики, метания, вой этот нечеловеческий... Словно, знаете, было землетрясение — и прошло. И местность, им встряхнутая, успокоилась, только источники в ней иссякли...

Приезжаю в одно утро — глазам не верю, ушам не верю: в спальне тихо, лежит Анна Васильевна — правда, желтая, как лимон, живая покойница, но смирно, без стона, без капризов, взгляд спокойный, глубокий, холодный... Новая! совсем новая! Она — и не она...

Я, по обыкновению, подаю ей телеграмму якобы от Кости — берет, жест тоже новый — медленный, прежде так и рвала из рук... распечатала, прочитала...

И вдруг слышу ее голос — ровный, спокойный: «А телеграмма-то плохо подчищена...»

Знаете ли, Анимаида Васильевна, я чуть не упал. Чувствую, что вся кровь хлынула в голову, сердце остановилось и зелено в глазах. Стыд и ужас. Стыд, что попался, как мальчишка, на жалком обмане. Ужас — за нее: что же теперь будет с нею, когда она изобличила ложь и открыла истину? Ведь про эту истину она еще вчера кричала в своих опасениях и сомнениях: «Лучше ударьте топором по голове...»

А она все тем же ровным голосом продолжает: «Очень плохо: телеграмма должна быть из Нижнего Новгорода, а вы позабыли стереть — написано, что подана в Нижнетагильске... И, видите, в тексте между «ангел мой будь здоровенькая люблю тебя безмерно» белеют следы цифр каких-то... Вероятно, был какой-нибудь приказ вашему банку, Владимир Павлович, или депеша от клиента?»

Я чувствую, что — ну вот чувствую, Анимаида Васильевна, — живым ухожу в пол, ноги прорастают сквозь паркет...

А она положила телеграмму на одеяло и говорит, глядя на пальцы свои... а они худенькие-худенькие, кольца на них болтаются, как на косточках.

«Так когда же и на ком женится Константин Владимирович?»

Анимаида Васильевна, вы знаете меня не первый год: я человек опытный, хладнокровный, не лишен воспитания и такта, не легко теряюсь... Но теперь сознавал только одно: что Анна Васильевна доведет меня до апоплексического удара и откусить язык мне гораздо легче, чем им пошевелить...

И в эту-то минуту из среды нас, молчащих и ошеломленных испугом, выступает ваша милая Зинаида Сергеевна и произносит серебристым своим голосом совершенно столько же рассудительно и в том же спокойном тоне, как

заговорила с нами наша больная: «Константин Владимирович, милая тетя, женится на Татьяне Романовне Хромовой, но когда — нам в точности неизвестно...»

И долгое молчание…

На Анну Васильевну никто взглянуть не смеет.

И наконец она говорит... чуть лишь охрипшим голосом: «Благодарю, Зиночка, я так и уверена была, что именно ты мне правду скажешь…»

Затем обратилась ко мне: «Вы не волнуйтесь, Владимир Павлович. Я это еще вчера знала. И не подумайте, чтобы кто-нибудь мне проговорился, — не обвиняйте: виноватых нет. Разве вот вы виноваты — что телеграммами меня обманывали. Потому что, когда я заметила, что телеграммы подложные, то сейчас же догадалась… Если уж вы, Владимир Павлович Реньяк, лучший друг мой, который меня бережет, как любимого ребенка, фальсифицируете телеграммы от Кости, значит, с Костею случилось что-то такое страшное, что сообщить мне вы боитесь, значит, мое последнее здоровьишко уничтожить и силенки отнять... А что же могло случиться такого страшного — для меня страшного — с Костею? Только смерть его да что он меня бросил... Если бы умер, в газетах писали бы: он известный человек... Жив... Ну а если жив, значит, бросил... женится... Что же? Бог с ним... Я только вот беспокоилась очень: на ком?.. Ведь могла какая-нибудь совсем недостойная закрутить его... А Таня Хромова — что же? Я всегда слыхала о ней как о хорошей девушке… Значит, судьба, Владимир Павлович. Ничего не поделаешь... и сердиться не на кого… дай ей Бог! дай ей Бог!»

Замолкла… Я стою — проверяю: живой я человек или покойник… Слышу опять: «Что же, Владимир Павлович, если ехать в Давос, то ехать... Какие для выезда требуются формальности?.. Я желала бы — чем скорее, тем лучше...»

И с этой минуты она не произнесла о Константине Владимировиче ни одного слова больше...

Анимаида Васильевна склонила голову, одобряя.

— Это удивительно, — сказала она. — Признаюсь вам откровенно, что не ожидала от Ани подобного мужества... И если даже это жест отчаяния, то он красив...

Она остановилась, заметив в белесых глазах Реньяка отрицание.

— Вы думаете, что она с разбитым сердцем гордой смерти решила искать? — возразил он. — Я сам ожидал этого... Но непохоже, Анимаида Васильевна... Сейчас в Давосе она чрезвычайно заботится о своем здоровье... Как никогда раньше в Москве... И предписания врачей исполняет педантически, и лекарства глотает по часам, и температуру меряет аккуратно, в пище, в сне, в движении, в отдыхе стала пунктуальна, как машина... И вот — говорю вам: слава Богу, поправляется... Появился аппетит, прибавился вес... Настроение духа ровное... Нет, мои наблюдения счастливее: она не умирать хочет, а жить... Хоть поздно, да образумилась... за жизнь схватилась — и еще как цепко!..

— Если бы так было, оставалось бы только радоваться, — сказала Анимаида Васильевна, — но признаюсь вам, хотя и не хотела бы вас огорчать: когда вспомнишь ее трехлетние отношения к Ратомскому — эту молниеносную страсть, восторжествовавшую над всеми ее предрассудками, эту привязанность без границ, самозабвенную любовь и безумную ревность, трудно верится вашим надеждам, дорогой Владимир Павлович...

— Да, я не спорю, что трудно, — с грустью согласился Реньяк, — и я-то, скорее, именно вашего мнения. И сам едва верю счастливому обороту, который пред глазами моими происходит, и все боюсь, что это в один печальный день вдруг как неожиданно началось, так неожиданно и кончится какоюнибудь непредвиденною трагическою развязкою... А вместе с тем я не скрою от вас: были люди... по крайней мере был один человек... женщина, которая предвидела и пред-

сказывала, что будет именно вот так... без трагедии, по-хорошему. «Скатится дело, как салазки с ледяной горы на масленице», — повторил он, припоминая, с довольно кислою улыбкою чьи-то чужие слова.

— Кто это? — спросила Анимаида Васильевна, с удивлением отмечая его смущение.

Он помолчал и ответил как бы с досадою:

— Не очень хороший человек... Княгиня Анастасия Романовна Латвина... Она ведь всю эту интригу и состряпала... для сестрицы своей, которую зачем-то вдруг уж очень заторопилась выдавать замуж. И — простите за грубость: она и меня-то здесь ослом зеленым вырядила... Так поставила дело, что ведь я почти ей помогал... против Анны-то Васильевны! я!..

— Умная женщина, — спокойно сказала Анимаида Васильевна, когда Реньяк передал ей свои разговоры с княгинею Настею о свадебном проекте, в жертву которому принесена была Анна Зарайская и в который запутала она и самого Владимира Павловича, связав его честным словом о нейтралитете и молчании*).

— Умна-то умна, — с досадою возразил Реньяк, — но только и... не хочется грубого слова о женщине сказать, а как ее иначе вкратце обозначить, не подбираю... Знаете ли, ведь после того, как она приоткрыла предо мною уголок души своей и свои намерения слегка обнаружила, я вдруг совершенно ее узником стал... Испугалась, что ли, она своей откровенности, но с того дня я был окружен ею, как каким-то волшебным кольцом... Спросите меня: зачем я ездил с нею на медвежью охоту? Зачем провожал ее в Петербург, в свите ее, которой я терпеть не могу и ею, взаимно, ненавидим? зачем скитался по ее заводам и все ожидал от нее каких-то особенных разговоров и объяснений в Тюрюкине?.. Ведь она мне пере-

*) См. «Девятидесятники».

дохнуть не давала все это время. Я не знаю, как это делалось, но по крайней мере с месяц после того — даю вам слово, Анимаида Васильевна, — я оставался один, только когда спал. Да и то не уверен, не следил ли кто-нибудь за мною и в это время. Целый день — не дуэт, так трио или квартет, и ни минутки для соло. Не Хвостицкая, так Венявская, не Венявская, так Марья Григорьевна, а то и сама... Пожарский, новый ее прихвостень, Авкт Рутинцев... Все — как пружины в круговом капкане каком-то: передают тебя одна другой... Может быть, и бессознательно... ведь я же ни на кого из них не имею злых подозрений и никакого права не имею иметь... Но уж механизм такой заведен, и чувствуется дирижирующая рука... И — чуть я к Косте Ратомскому или Костя ко мне — дирижерская палочка уже бросает между нами какой-нибудь тромбон или флейту, глядя по требованиям партитуры... И не к чему придраться, чтобы выскользнуть из этих пут: так — чувствуешь только, бывало, что разыгрывают тебя по нотам, а долго ли продолжится этот удивительный концерт — неизвестно... И лишь когда, так сказать, ее взяла и она уверилась в своей победе, что Константин Владимирович захлебнулся в успехе и лести и Танею совсем отуманился, — только тогда меня выпустили на свободу... Я не стыжусь вам признаться, что столько же бесцеремонно, как захватили в плен... В один прекрасный день я вдруг сразу почувствовал себя актером, который сыграл свою роль в пьесе и должен уйти со сцены за кулисы, чтобы не мешать ходу представления... Не думайте, чтобы со мною стали нелюбезны, чужды, холодны... Напротив. Никогда такой дружбы и ласки не испытывал... Но как-то это удивительно прозрачно и тонко вдруг засквозило: теперь ты, ангел мой, нисколько мне не опасен и, если тебе угодно, можешь отправляться к своей Анне Васильевне и раскрывать пред нею все наши «коварства и любви». Костю у вас мы отобрали и назад вам — дудки — не отдадим. А какое

это впечатление произведет на госпожу Зарайскую и как отзовется на ваших отношениях — мне все равно... Хочешь — оставайся, хочешь — уезжай... Пожалуй, даже лучше уезжай: что тебе тут понапрасну-то мотаться с кислым, напуганным лицом — этаким живым воплощением укоров совести... Ну я и не заставил просить себя — уехал...

— Очень умная женщина, — повторила Анимаида Васильевна. — Я все жду, когда ей надоест быть умною и она начнет разрушать свою жизнь глупостями...

— А разве каждой умной женщине это необходимо? — усмехнулся Реньяк.

— Да ведь, знаете, — улыбнулась и Анимаида Васильевна, — каждый выигрышный билет должен когда-нибудь выйти в тираж...

— Против этого банки страховку завели, — возразил Реньяк.

— Да, хорошо, если кто страхует... — сказала Анимаида Васильевна. — Но ведь не все...

— Я, например, знаю одну, кажется, застрахованную бронированно... — любезным намеком польстил ей Реньяк, а она не только приняла любезность, но и равнодушно возразила:

— Представьте, я знаю тоже только одну.

V

Свадьба Татьяны Романовны Хромовой и Константина Владимировича Ратомского неожиданно для всех участников оригинального предбрачного путешествия, затеянного Анастасией Романовной Латвиной, была сыграна далеко не так весело, как все ожидали по началу странствия. Главное, что пришлось ее свертеть с таким спехом, что церемониал совсем скомкался: и венчали, и пировали, точно спеша на поезд, к которому уже был первый звонок. Зависело это от по-

саженого отца, Валентина Петровича Аланевского. Он и в два последних дня перед свадьбою, и в самый свадебный день был сам не свой и выражением лица весьма напоминал при всем своем благообразии арестанта, который ждет не дождется задать тягу с этапа. Уже в Казани Аланевский был перехвачен какими-то телеграммами из Петербурга, расшифровав и прочитав которые, он стал туча тучею. И вдруг, попросив Анастасию Романовну дать ему минутку разговора наедине, извинился, что никак не может сопровождать ее дальше и быть посаженым отцом Танюши, ибо важнейшее служебное требование вызывает его немедленно возвратиться в Петербург... Анастасия Романовна даже изменилась в лице, что с нею редко бывало: такой был это тяжелый и оскорбительный для нее удар.

— За что обижаете, Валентин Петрович? — произнесла она внезапно пересохшими от волнения губами. — Ведь это что же? Чистый срам.

Глаза ее стали огромными, стальными, и под их жестким напористым блеском Валентин Петрович сконфуженно опустил долу линяло-голубые очи свои.

«Ну, и врага же я себе наживаю, — с досадою и смущением думал он. — Она мне этого до могилы не простит... Да и права: как простить?.. Но, с другой стороны, должна же она войти в мое положение! Ну что я буду делать? Разве моя вина? Служба... Я человек государственный, обязанный...»

А Латвина даже с дрожью в голосе, вдруг будто простуженном, говорила:

— Вы меня извините, Валентин Петрович, но я этому поверить не могу, чтобы вы нас покинули и поставили меня в такое затруднение... Как это можно? За что? Разве что не доглядела я как-нибудь и мы вас, не ровен час, на грех, обидели чем-нибудь либо не угодили вам... а вы сказать стесняетесь? Так вы со мною попросту, без церемонии — не с княгинею Лат-

виной, а с Настей Хромовой, — будьте добрым сватом, развяжите душу от тревоги!.. Скажите... прикажите...

— Помилуйте, Анастасия Романовна! Что вы! что вы!.. — Валентин Петрович с совершенною искренностью даже руками на нее замахал. — Ублажен выше мер! Слишком мне хорошо у вас! Совсем избаловали меня! Слишком!

Но она стояла на своем и обиженнопела:

— Нет, уж вы не скрывайте. В службу вашу я все равно не поверю. Разве я не знаю, как вершатся дела в ваших министерствах? Когда это там бывают подобные спехи, чтобы вот вынь да положь непременно в среду, а не в четверг либо пятницу...

Но когда Аланевский после некоторого колебания объяснил причину, вызывающую его к посту, лицо Анастасии Романовны, хотя не утратило хмурости, переменило оттенок ее на более участливый и глаза несколько смягчились.

— Вот так история! — произнесла она в раздумье, качая тяжелою головою. — Действительно, это, можно сказать, история... Кто бы мог ожидать?.. Мои-то в Пурхове, Валентин Петрович, спокойны?

— Ваши спокойны, работают...

— То-то, — с самодовольством заметила Анастасия Романовна. — Моим бунтовать нет резона... Уж, кажется, поставлена мануфактура — сливочки! в Германии не стыдно показать...

Аланевский, внутренне весьма поморщившись при этой вызывающей похвальбе, нагло требующей от него, официального человека, подтвердительного отклика, счел возможным лишь оговориться уклончиво, что вообще покуда рабочая забастовка не выходит из-за городской петербургской черты. В уезде и губернии спокойно, равно как и по линии железной дороги, следовательно, Пурховская мануфактура княгини покуда вне района забастовки. В Твери, например, у Абрама Морозова сыновей тоже спокойно...

— Но если это перебросится в московский фабричный район, вы понимаете...

— Нет, — задумчиво возразила Анастасия Романовна, — этой опасности, должно быть, нету... Иначе Козырев давно телеграфировал бы мне... Он у меня не такой человек, чтобы пропустить подобное движение без внимания.

— Однако, — осторожно заметил Аланевский, — вы, Анастасия Романовна, сами только что воскликнули: «Кто бы мог ожидать?..» Следовательно, на ваших фабриках и заводах движение тоже осталось пропущенным без внимания...

Анастасия Романовна отрицательно качнула головою.

— Мое замечание относится не к движению, — сухо возразила она, — а к беспечности ваших петербургских производителей и сфер, которые движение прозевали и допустили, чтобы оно вышло на улицу, да еще в этаких-то размерах!.. Вот о чем я говорю: кто бы мог ожидать?.. Мы, москвичи, рабочее движение давно предчувствуем, видим его рост и ждем, что из него будет... Вы думаете: на государственную полицию надежды возлагаем? Покорно благодарю — между рабочими и своим хозяйством стенки-то строить!.. Своя, домашняя есть. Потоньше и к хозяйскому карману ближе... Так, говорите, с Сампсониевской мануфактуры началось? — спросила она с любопытством.

— Да... и пошло, как пожар... По всему текстильному производству... Сейчас бастуют шестьдесят тысяч человек...

Озабоченные глаза Анастасии Романовны выразили деловой испуг вчуже возжалевшей, понимающей дело хозяйки.

— Шестьдесят тысяч?! Ай-ай-ай!

Она закачала головою, с трудом веря огромной цифре.

— Просто уши верить не хотят... Этакого множества никогда не бывало... никогда!

— Никогда, — подтвердил Аланевский. — Оттого мы и оказались так растеряны и не готовы, что никто не ожи-

дал подобной массы... Ну, возможны были сотни... Пожалуй, даже тысячи... Но шестьдесят тысяч! Вообразите себе: ведь это действующая армия!

— Д-да, — медленно выговорила Анастасия Романовна, соображая, — при известном настроении есть чем Петербург встряхнуть... Что же? Бушуют?

Валентин Петрович закрыл глаза с отрицательным движением четырехугольной седоватой бородки своей.

— То-то, что нет... Полное спокойствие... Не пьют даже...

— Не пьют?! — переспросила, настолько изумилась, Анастасия Романовна. — Рабочие... Ткачи не пьют?

— Нисколько! Ведут себя благонравно, как никогда...

— Час от часу не легче! И машины целы?

— Целы.

— Светопреставление да и только! И директора не побиты?

— Здоровехоньки.

— Ну, значит, конец мифа приходит, — произнесла Анастасия Романовна. — Чудеса в решете... Действительно, новенькое... вы победили меня, Валентин Петрович, сдаюсь... Переживала я рабочие бунты-то, знаю порядок... И у меня бывали по малости, а Хлебенный, соседушко мой любезный, даже не раз к себе военную силу приглашал.... Горячий был смолоду-то; теперь уходился, философию на себя напустил и мировые вопросы решает... Но прежде это бывало просто и совершалось всегда одинаковым чином. Двести человек бушуют — стекла по всей фабрике из окон вон, лавку потребительскую обязательно разграбят, в директорский дом камнями пошвыряют, особенно если директор англичанин... Иногда в чану с кубовою краскою его выкупают... И если уж очень разойдутся, то натворят убытков, озорники, — переломают машины... Двести человек неистовствуют, а остальные смотрят и одобряют либо соблюдают нейтралитет... Потом ведь

порка ожидает — так не всякий на это наслаждение охотится... Но чтобы шестьдесят тысяч человек вместе — и все оставалось спокойно... странно!

— Не только странно, это страшно, — подхватил Алаевский.

— И ведь, пожалуй, не перепорешь шестьдесят-то тысяч человек, Валентин Петрович, как вы думаете? — с лукавым вызовом продолжала Анастасия Романовна. — Я не о вас, конечно, говорю, — поспешила она оговориться, — ваши передовые взгляды известны всей России. Вы не то что шестидесяти тысяч — шести человек выпороть себе не позволите... Но как же теперь Бараницын-то с Рутинцевым? телохранители-то наши? а? Не выпороть шестидесяти тысяч человек… ах, нет! никак невозможно!

— Да и не за что, — нехотя улыбнулся на ее мину Алаевский. — Разве за несвойственно хорошее поведение. Сидят по домам и читают Евангелие. Полицию принимают с такою покорною вежливостью...

— Что кулаки не сжимаются по скулам бить, — засмеялась Анастасия Романовна. — То-то, голубчики... не все Азия! Европа к нам приехала, батюшка мой, Валентин Петрович, Европа... До сих пор вы ее в нас, грешных, сверху вниз вгоняли, а теперь ей, видно, однообразие надоело — снизу пришла!.. Ну-ну! посмотрим!.. Ну-ка, правительствующая Азия, повозись с новорожденною-то нижнею русскою Европою... С социал-демократическою организацией состязаться — это вам не то что недовольна артель подрядчиком, так ее в стану десятские вздуют, от первого до последнего человека как сидоровых коз, а подрядчик поставит на мир ведро либо два — и конец: на земле мир и в человеках благоволение, а расчет писали углем в трубе... Нет, с рабочим, который — «Извините, господин пристав! я ничего худого никому не делаю, а только желаю быть сам по себе и вот сижу дома, среди своей семьи, читаю Евангелие и — кто

может мне в том воспрепятствовать? человек я или нет?» — нет, с таким рабочим вы посчитаетесь, да и посчитаетесь...

— Что же, Анастасия Романовна, «вы»? — оборонился Аланевский. — Не одни мы... И если хотите, то сейчас покуда даже и совсем не «мы»... Вас это ближе касается... Забастовщики не выставляют никаких политических требований, все движение развивается на строго экономической почве... И правительству сейчас предстоит забота не о себе самом, потому что ему рабочие не угрожают, но о хозяевах, как оградить интересы капитала, и о производствах, как оградить страну от их застоя...

— Да? Ну, извините мое глупое суждение, — со смирением притихла Анастасия Романовна. — Конечно, я, баба, понимаю не много...

«Ну, вот, значит, обозлилась, если заговорила так... повернула на бабий разум», — с тревогою думал бедный сановник.

А княгиня Настя язвительно пела:

— Однако, если бы дело шло только о хозяевах и производствах, почему бы вам, правительству, нас, хозяев и производства, не предоставить самим себе: ограждайтесь, мол, как знаете, в свободной конкуренции между собою... Улыбнулись?

— Не очень-то, Анастасия Романовна, любит русский промышленный капитал, чтобы его судьбы и производство предоставляли ему самому. Все больше нашей помощи просит... у Государственного банка — кредитом, у администрации — городовыми и казаками...

Анастасия Романовна гордо выпрямила полный стан свой, облеченный в какой-то сталью отливающий шелк и оттого похожий на броню или кирасу.

— Мне просить помощи для собственных дел у государства не случалось, — жестко и надменно выговорила она, — а у меня, бывало, спрашивали...

Аланевский смутился, сильно осаженный.

— Я знаю это, Анастасия Романовна, — уважительно поправился он, — но исключения не опровергают общего правила...

Но она, почувствовав под ногами твердую, выгодную позицию, властно перебила:

— И Сила Хлебенный не попросит, и Морозовы, и Бугров... да что я вас статистике капитала купеческого учить буду! Сами лучше меня, бабы, знаете… Слава Богу, на всю Россию — специалист! И уж не знаю, как другие-прочие, но я, по бабьему моему разуму, кажется, за последний срам почла бы, если бы, покуда мои рабочие стоят на почве экономических требований, допустила, чтобы за меня с ними столковывалось правительство... Политика завелась? А это другое дело! Тут я молчок! Политика меня не касается, я политики не произвожу и политикою не торгую… Это ваш товар, вам за ним и блюсти… Но что касается моего капитала и как он у меня между пальцев оборачивается и с людьми ладит — это уж позвольте мне самой... По старинке, знаете... А то что такое? Почему? Когда я капитал свой государству в опеку отдавала? Конституция у нас, что ли? Хочешь на мой капитал ручку наложить — так ты мне дай и права, чтобы я могла разговаривать о том, как мне лучше... А то ни село, ни пало, я буду промышлять и рисковать, а вы мне будете по котлам носы совать да с рабочими меня ссорить? Покорно вас благодарю! Захочу поругаться — сама случай найду. И поругаюсь, и помирюсь... все сама!.. Да! Что с меня взять? Уж такая с придурью родилась... Вот вы и посмейтесь!

— Можно подумать, что вы не признаете общих правительственных мер к упорядочению и контролю промышленности, — в самом деле засмеялся Аланевский.

— А нет! — быстро отсмеялась в ответ Анастасия Романовна. — А нет! не подловите!.. Не анархистка какая-

нибудь... Общие меры — это законодательство, это то, что меня с вами, правительством, связывает в обязательство... Я плачу, вы защищаете... Кесарево кесареви — это я с детских лет знаю твердо... И у меня с Артемием Филипповичем — первое условие: чтобы в чем в чем другом, а в этом отношении было бы чисто — ни сучка, ни задоринки... Фабричная инспекция всюду с хозяевами чуть не дерется за косность ихнюю и протоколы составляет, а нами не нахвалится!.. Но ведь применять-то ваши общие меры к моему предприятию мое дело, от меня зависит, как и что. И уж вот, применяя-то их, еще самой не уметь распорядиться, а в ваш хомут влезать — это, вы меня извините, ваше превосходительство, я хоть и баба, но это я считаю ниже своего достоинства... Уж позвольте у себя дома-то, в четырех, мне принадлежащих стенах хозяйкой быть. Что такое? Что же это будет, если все хомут да вожжи? Какая это общественная жизнь? Должен же человек когда-нибудь и на собственной воле побегать и показать себя, каков он есть и на что способен...

— А вот как засядут и у вас рабочие по квартирам Евангелие читать... — усмехаясь, поддразнил Аланевский.

Но она отразила:

— А я к ним вашего же протеже пошлю — Лукавина Николая Николаевича... Что? Проморгали человека, ваше превосходительство? А мне он страсть хорош... И вот вам, поди, теперь тоже пригодился бы, — только уж, простите, дудочки, не отпущу!

И, помолчав, заговорила уже другим голосом — серьезным, требовательным, полным дружеской фамильярности, с чувствуемою, однако, готовностью при первом же противоречии перейти в угрозу:

— Слушайте, Валентин Петрович. А уж этого — об отъезде вашем — вы лучше не начинайте опять, пожалуйста, не начинайте, я вас серьезно прошу. Крепко обидите, и ссориться будем...

— Дорогая Анастасия Романовна, но вы же должны понять, что я в отчаянии...

— Мне надо, чтобы вы были не в отчаянии, а в Симбирске, простите за плохой каламбур!

— Вина не моя, но служебного требования...

— Служебное требование подождет. Дело не медведь, в лес не уйдет, а и уйдет, так вернется.

— А шестьдесят тысяч рабочих тоже подождут?

— А вы уверены, что они вас ждут? — возразила Анастасия Романовна с несколько лукавым спокойствием.

Аланевский улыбнулся и сказал:

— Это зло...

Анастасия Романовна дружески взяла его за руку.

— Уверяю вас, что рабочие вас не звали и им все равно, приедете вы или нет, по той простой причине, что они вас не знают и даже не подозревают, что вы имеете к ним какое-либо отношение. А тот, кто вас звал и ждет, может подождать. Право, может. Очень может!..

Аланевский руки не освободил, но возразил с некоторым неудовольствием:

— Это вы говорите...

— А вы думаете, — перехватила его речь Латвина. — Да, да, не спорьте! Я ведь вижу. И не только думаете, а знаете. Потому я и настаиваю так смело. Если бы вас вызывали для каких-нибудь определенных действий и непременных осязательных результатов, я поняла бы, что вам необходимо спешить, и, как мне ни грустно, я не посмела бы вас задерживать. Но ведь согласитесь, что своим появлением в Петербурге вы не можете сделать ровно ничего. Повлиять на хозяев вы не можете в большей мере, чем сам фон Липпе, который сейчас в Петербурге и, конечно, уже совещается и разговаривает. А с рабочими диспутировать... помилосердствуйте! Вы не студент, чтобы диспуты вести, и не полицейский, чтобы их прекращать. Если стачка хорошо организова-

на и твердо решена, она от вас не зависит ни во времени, ни в способах действия. Вы не можете ни прекратить ее, ни продолжить…

— Я это очень хорошо знаю, — возразил Аланевский, — но там-то, Анастасия Романовна... — Он неопределенно махнул рукою вверх, знаменуя тем Петербург. — Там-то, к сожалению, уверены, что у меня есть какой-то талисман особенный и я очень много могу...

— Тем более данных за то, чтобы вам не ехать, — спокойно сказала Анастасия Романовна.

Он удивленно воззрился на нее.

— Почему?!

— Да потому, что репутацией талисманов дорожить надо, — дерзко возразила она, глядя в упор яркими серыми своими глазами в его бледные линяло-голубые глаза.

Он невольно потупился, а она с напором настаивала:

— Когда человека ждут, чтобы он совершил чудо, а он, приехав, чуда не совершает, то он теряет свое реноме чудотворца и все сопряженные с тем приятности...

И с тем же дерзким сообщническим взглядом, фамильярным движением повиснув на локте Аланевского тяжелою и нарядною свою рукою, продолжала:

— Так-то, Валентин Петрович, милый друг, — что вам для господина фон Липпе каштаны-то из огня доставать? Ничего, пусть его высокопревосходительство сам свои нежные ручки обжарит... Бывают катастрофы, когда снимать ответственность с больших панов не только непрактично, но просто грех смертный... перед собственным достоинством грех!.. Что вы за стрелочник такой, чтобы отвечать за чужие крушения? Вы только подумайте: покуда вы доберетесь до Петербурга, сколько там без вас разные милостивые государи наплетут путаницы и наделают ошибок... И все это наследство — пожалуйте получить — вам: справляйтесь с ним, как знаете!

— Совсем не ехать в Петербург я не могу же, — печально сказал Аланевский, — а чем позже приеду, тем больше вырастет эта куча мусора, которую — вы справедливо говорите — надо будет принять в наследство...

Анастасия Романовна хладнокровно возразила:

— А тогда у вас останется захарьинский шанс.

— Что это еще? Не слыхал о таком... — усмехнулся Аланевский.

— То-то, что не москвич... У нас всякий мальчишка знает... От профессора Захарьина, врача нашего знаменитого... Он, когда его призывают к совершенно безнадежному больному, посмотрит — и зверь зверем набрасывается на родных и своего ассистента, зачем его поздно позвали, не предупредив, что больной уже так опасен... Если бы, мол, неделю тому назад, то я поставил бы пациента на ноги, но теперь ему никто не поможет, кроме Господа Бога... молитесь!.. Авторитетно очутиться vis-a-vis* такого безнадежного диагноза, что отказ от лечения никто не поставит вам в вину, а, напротив, все одобрят и почтут величайшею добросовестностью, — вот что такое у нас в Москве «захарьинский шанс»... Я полагаю: он и для Петербурга недурен?

Аланевский не выдержал и засмеялся:

— Боже мой, какой вы лукавый человек, Анастасия Романовна!

Она ответила ему тоже смехом, притворно обижаясь и упрекая:

— Это я-то лукавая? И не стыдно вам? Когда я пред вами вся — вот так — душа нараспашку? Разве другая стала бы при вас обнажаться подобными откровенными советами?

— Да, когда вам нужно, чтобы я остался!

Она проницательно посмотрела прямо ему в глаза и сказала:

---

* Напротив (*фр.*).

— А вы слыхали когда-нибудь, чтобы хороший совет давался иначе, как когда советчику выгодно, чтобы его исполнили?.. Кто хорошо советует — себе советует! Поверьте! Так-то!.. Слушайте, Валентин Петрович! Совершенно серьезно. Если стачка затянется вплотную, вы успеете застать ее одинаково, поворотив что от Казани, что от Симбирска. Обещаю вам, как только Таня будет обвенчана, отпустить вас без малейшей задержки. Сбежите до Самары или Батраков, возьмете поезд, и — среда, четверг, пятница — вы в Петербурге... Только двое суток! Всего лишь двое суток! Неужели вы нам с Танею не можете подарить двух суток? Неужели мы с вами, такие хорошие друзья, поссоримся из-за пустяков?

Нет, Валентин Петрович совсем не хотел ссориться с Анастасией Романовной, но чем же извинит он свое промедление, хотя бы и лишь на двое суток, если в Петербурге оно будет поставлено ему на вид?

— Ах, никто вам ничего на вид не поставит! Если без вас с забастовкою не уладится, то, когда бы вы ни приехали, на сколько бы ни опоздали, вас все равно встретят как спасителя отечества...

— А если уладится?

— Совсем уладиться не может. Шестьдесят тысяч человек — слишком большая буря, чтобы так вот сразу и улеглась по мановению чьей-либо руки. Еще какие-нибудь волны и морщины застанете... И, конечно, как истинный чудотворец этой специальности, успокоите их, и разгладите, и оправдаете репутацию своего талисмана...

— Хорошо вам шутить-то, — уныло произнес Аланевский. — Вашими устами да мед пить...

Анастасия Романовна смешливо посмотрела на него.

«Ах, и комик же ты, ваше превосходительство», — весело думала она. И засмеялась:

— Да скажите: Настасья Латвина в Казани в каюту заперла и до Симбирска не выпускала. Сдается мне, фон Липпе вы этим не удивите... поверит!

— Не одного его, многих не удивлю, — подтвердил Аланевский, немножко веселея от дерзкой шутки. — Не одного его!.. Решительность вашего характера и поступков и у нас, в Петербурге, известна... Но серьезно-то, Анастасия Романовна? Серьезно?

— А серьезно — вот, — сказала она, хмуря лоб в деловую морщину и делая некрасивое, старое лицо, как всегда, когда она соображала большие счета или крупную интригу. — Телеграфируйте вашему фон Липпе, что ввиду переполоха, какой производит среди мануфактуристов известие о петербургской забастовке... что переполох будет, в этом вы, надеюсь, не сомневаетесь?.. Так, значит, ввиду переполоха вы, во-первых, не решаетесь немедленно проследовать через Нижний, так как подобная ваша экстра, конечно, будет замечена на ярмарке, огласится и произведет панику...

— Да это, пожалуй, и совершенная правда, — поддакнул Аланевский.

— Да, я воображаю, что сегодня к вечеру будет делаться в Нижнем, когда прилетят частные телеграммы, — согласилась Анастасия Романовна. — Печатать-то, поди, газетам будет запрещено?..

— Ну-с, а во-вторых? — поторопил ее сановник.

— А во-вторых, ввиду того, что бастуют рабочие текстильной промышленности и на почве экономических требований, вы считаете полезным переговорить о последних с нами, крупными производителями московского района... Назовите меня, Хлебенного, Антипова... если угодно, я дам вам полный список приглашенных на Танину свадьбу... А потому пользуетесь счастливым случаем, сведшим всех нас вместе в Симбирске... Это же теперь в моде, — засмеялась она, — чтобы правительство прибегало к содействию заинтересованных общественных кругов. Фон Липпе в особенности не может ничего возразить как глава ведомства либералов... Ведь вы же с ним там в Петербурге, говорят, какую-то

«куцую конституцию» изобретаете, друг мой? — закончила она кокетливо-насмешливым вопросом.

Весьма может быть, что Аланевский все-таки не убедился бы доводами Анастасии Романовны, если бы одна из брошенных ею мыслей давно не точила его самого. Со дня на день он чувствовал больше и больше, больнее и больнее, что на нем в его ведомстве «ездят» и езда под седлом тяжеловесного фон Липпе становится ему уже непосильною и страшно неблагодарною.

«Она права, — мрачно думал он, оставшись один в своей каюте после того, как Анастасия Романовна его покинула, взяв с него честное слово, что он не нарушит путешествия. — Если я окажусь полезен, фон Липпе, по обыкновению, использует меня до последних сил моих, а результаты моего успеха припишет себе. Мне же заткнет рот какою-нибудь подачкою, орденом не в очередь или арендою, от которой я не в состоянии буду отказаться, потому что он сумеет преподнести мне ее в порядке моей чиновнической карьеры и все будет так любезно, деликатно, тактично, что q'est ce que vous plaignez vous, Valentin?!* И в моей цепи, которою приковал меня к себе этот человек, прибавится лишь новое золотое звено, нужное мне меньше, чем вчерашний день, а обязывающее больше, чем день завтрашний. А если я приеду напрасно, то на меня взвалят, как на козла отпущения, все грехи ведомства и отправят меня с ними в пустыню, в которой растерзают меня Бараницыны, Буй-Тур-Всеволодовы, Долгоспинные и Рутинцевы... Расплачивайся-ка, друг любезный, за наш государственный-то социализм... Назвался груздем, полезай в кузов. Поместился буфером между правительством и обществом, так вот тебе и проба: час столкновения, — выдерживай, терпи... Лукавин, милая душа, говорил мне, что в радикальных кругах о нашей буферной политике пророчат, будто соки, нами,

* Это то, что вы жалеете в себе, Валентин?! (*фр.*)

буферами, выжатые, останутся в пользу Бараницыных и Липпе, а исторический срам примем мы, Аланевские, Крестовы, Камилавкины, сочинители «народного чиновника», инженеры моста от правительства к народу... Это, конечно, голос левой непримиримости, но — Анастасия Романовна правду говорит: вот сейчас я, собственно говоря, в Петербурге не нужен, а меня настойчиво зовут... Зачем? Затем, что в воздухе ведомства повисло щекотливое дело, грозящее историческим срамом, и нужен чиновник с громким именем, который бы принял на себя риск срама, высиженного десятилетиями чиновников без имен... И, помимо моих способностей, моих знаний, моего опыта, важнейшее соображение: кому же и подставляться под риск срама, как не бывшему революционеру-народнику, который служит до самых старших чинов и важнейших постов — все еще будто на искус: должен свое служебное положение оправдывать, втрое против других работая, и все еще что-то доказывать, что-то являть... стоять перед кем-то на политическом экзамене... Государство заболевает социал-демократией. Similia similibus curantur*, — значит, ну-ка, пожалуйте, Варвара, на расправу, — разверните-ка вашу аптеку, господин государственный социалист!.. Лечи, коли ты лекарь и аптекарь, да, смотри, хорошенько, чтобы эйн, цвей, дрей** — и готово! А не то...

«Евангелие читают... Да хорошо, как они так и протянут забастовку, читая Евангелие... А если возьмутся за камни, ломы и ружья? Если придется бросить на них войска, гнать их к станкам залпами, проливать неповинную кровь безоружных людей — потому что какое же у них оружие может быть против солдатских винтовок?.. Выкраситься в братской крови... Да ведь это же бред сумасшествия! Разве я могу? Разве я способен?.. И вдруг... Я, я, Валентин Аланевский, буду

---

* Подобное излечивается подобным (*лат.*).
** Один, два, три (нем. ein, zwai, drei).

оглашен в подпольной печати, в заграничных иллюстрациях портретами, карикатурами с подписью «расстреливатель рабочих»... Это надо с ума сойти!.. А ведь меня будут заставлять... будут! Именно меня... И, когда я откажусь, мне бросят в глаза намеки, что, как волка ни корми, он в лес смотрит, свой своему поневоле брат, и тому подобные прелести, которыми, конечно, и завершится моя служебная карьера... Колеблющихся не терпят... Надо будет уйти... За что же я тогда в ней двадцать лет маялся и бился? Во что я жизнь-то свою уложил? Где мои силы? Где мой талант? Где мои мечты? Где мои идеалы? Где мои прекрасные планы и проекты? Где эта спасенная мною и благодарная мне родина, во имя которой я отвернулся от своей молодости, испепелил свое прошлое? сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал? Где моя идея? Где вера в союз интеллигенции с государством? Моя надежда создавать прогресс через правительство, покуда само правительство не передосоздастся через им созданный прогресс?»

И он с печальным внутренним смехом припоминал громкую фразу, которую в первые годы своей чиновничьей карьеры любил повторять в обществе: «Надо окружить правительство плотной атмосферой либеральных идей, в которой оно вязло бы и путалось при каждом своем реакционном шаге…»

«Да... да!.. Нечего сказать, окружил... Кто-то вязнет и путается, только не тот двухсотлетний медведь, что ломит напрямик по бурелому реакционными шагами... И, если я попаду в этот бурелом, под эту лапу, — ау?! Что останется от меня? Погашенный формуляр — упраздненный тайный советник в отставке, ликвидированный с приличною пенсией за то, что хотел играть на два фронта. Старый, выброшенный в тираж фрондер, которому презрительно предоставляется расточать свой бесконечный досуг, беззубо будируя на журфиксах тоже упраздненных и опальных сановников, обой-

денных очередною наградою и потому воображающих себя либералами... Пиши для собственного самоуслаждения проекты консервативных конституций с совещательными учреждениями и свои служебные мемуары для «Русской старины»... Да ведь это же гроб, Валентин Петрович, братец ты мой! Самый что ни есть плачевный кладбищенский гроб! А ведь мне пятидесяти лет нету... Неужели же кончена жизнь? Таки пшиком и вничью? Ах ты, Боже мой!..»

Как бы то ни было, но, когда «Зайчик» побежал вниз от Казани, Валентин Петрович Аланевский был на нем и с Силою Кузьмичом Хлебенным и Флавианом Константиновичем Альбатросовым гулял по палубе, беседуя о забастовке, которая уже перестала быть секретом, так как успели получить осведомительные телеграммы от управляющих своих и княгиня Настя, и Хлебенный...

Аланевский, вытягивая вперед длинную шею и поводя четырехугольною седою бородкою, с волнением осуждал забастовку, жалуясь на то, что она врывается насилием в ряд мирных законопроектов по рабочему вопросу, приготовленных его ведомством...

— Мы воевали десять лет, — горячился он, — мы шаг за шагом отвоевывали крупинки реформ у Буй-Тур-Всеволодовых и Бараницыных, мы лежали на прокрустовом ложе самых злобных подозрений, мы, можно сказать, просеяны реакцией сквозь частое сито... И вот теперь, когда мы добились доверия у власти и забрезжила заря кое-какой возможной обновительной работы, когда нас слушают и понимают, — вдруг сюрприз: рабочие поспешили... Я вас уверяю: мы дали бы им понемногу все... все!.. включительно до восьмичасового дня... Почему нет? Мы делали опыты. Посмотрите, как великолепно шло это у Паскевича в Гомеле. При дешевизне рабочих рук в России трехсменный день не является таким тяжким начетом на производителя, как на Западе... Россия, господа, поверьте, такая особенная стра-

на, что конституции в ней, может быть, надо дожидаться еще десятилетиями, но экономические реформы, даже более широкие, чем в конституционных государствах, могут быть проведены гораздо скорее — лишь бы правительство поняло и захотело... И я думаю, что мы... Ну, словом, что у правительства есть несколько чиновников-деятелей, которые умеют делать так, что правительство понимает и хочет... Мы дали бы все, но понемногу, конечно... не делая переворотов, не пугая власть, не возмущая охранителей новшествами, бьющими по лбу, как дубиною... langsam, aber immer voran!..* Уверяю вас, господа, что, если бы мы имели возможность спокойно выполнить рабочую реформу по программе нашего ведомства, то в какие-нибудь пять лет русский рабочий получил бы в своем профессиональном быту тот же уровень, который успела отвоевать для своего рабочего германская социал-демократия... Но рабочие поспешили, и я не знаю, как это впредь отразится на наших трудах... Все наши враги воспользуются этою забастовкою, чтобы уверять высшие сферы, что вот, мол, уже одни слухи о реформах революционизируют рабочую массу... Вы, мол, впустили волков в овчарню, изменников, которые под видом реформ несут в страну революцию труда и ссорят правительство с капиталом... И это судьба всех наших благих начинаний. Верит общество — не верит правительство. Поверило правительство — перестало верить общество... Какая-то сизифова работа: докатил свой камень до вершины — и катастрофа: бух, он вырвался из рук и катится к подножию горы. Плетись к нему обратно и опять кати его вверх по тем же кремнистым, политым потом и кровью твоею тропам...

— Да-с, вроде сказочки про белого бычка-с, — возразил Хлебенный, щуря татарские глазки свои в мутно-зеленую

---

* Медленно, но всегда впереди! (*нем.*) Русский вариант: «Тише едешь — дальше будешь».

даль равнинного волжского берега, — а то вот тоже детки-с у нас песенку поют-с для своего ребячьего удовольствия...

И запищал высочайшим дискантом:

Стал мужик на колоду,
Бух в воду.
Уж он кис, кис,
Уж он мок, мок.
Вымок, выкис, вылез, высох —
Стал мужик на колоду,
Бух в воду,
Уж он кис...

— Ну, вы в отношении нашей бюрократической работы известный скептик и недоброжелатель, — сказал Аланевский, улыбаясь несколько принужденно, и ушел от резкого встречного ветра в свою каюту.

А Хлебенный подмигнул вслед ему лукавыми татарскими глазками и сказал Альбатросову:

— Чудесное занятие нашел себе его превосходительство. Мешает в стакане соду с кислотою-с и все упорствует: уж добьюсь, говорит, что не будешь ты шипеть!.. А кстати, Флавиан Константинович, вы изволите понимать по-немецки-с?

— Да, читаю...

Хлебенный с лукавою ухмылкою засунул руку во внутренний карман толстого и муругого пиджака своего и извлек оттуда аккуратно сложенную вчетверо газету.

— Интересное известьице-с, — говорил он, — сейчас в Казани знакомец одолжил номерок «Neue Freie Presse»*... Будто бы московская агитаторша эта... как, бишь, ее? Да! Волчкова госпожа-с... Кажется, вы мне говорили, что изволите знать?

— Очень знаю... Ну?

* «Новая свободная пресса» (*нем.*).

— Так вот пишут-с, будто бы она, быв после Антиповской демонстрации схвачена и отправлена в Тобольскую губернию, не доехала до места ссылки...

— Умерла?! — сожалительно вскрикнул журналист, вспоминая тощую фигурку Волчковой и плохое ее здоровье.

— Нет, зачем же-с?.. Усыпила своих жандармов в вагоне хлороформом и неведомо куда скрылась...

VI

К Никодиму Савельичу Фидеину*) хаживало много странного и подозрительного народа со всех трех ходов его квартиры в тихом переулке между Тверскою и Никитскою. Однако даже хорошо выдрессированный швейцар на парадной лестнице этого не совсем обыкновенного дома, приученный к пестрым гостям молодого, но весьма уважаемого жильца своего, был изумлен и сконфужен, когда в одни сумерки подкатила к подъезду на лихаче и спросила Фидеина пренеприличная немка — рыжая, толстая, густо раскрашенная по немолодому лицу, одетая с такою бестолковою роскошью, что фуфыря фуфырей, обвешанная брошками и цепочками и в преогромной шляпе: словом, особа профессии несомненной. Швейцар о госпоже этой и докладывать не хотел было, но она — ужасным русским языком, еще более страдавшим от невнятного произношения, точно у нее рот был кашею набит, — настаивала на том, что Никодим Савельич сам назначил ей этот час и ждет ее. Действительно, как только Фидеину было доложено, что его спрашивает госпожа Розенцвейг, он приказал просить — даже с некоторою поспешностью.

— Хороша! Нечего сказать, очень хороша! — воскликнул он, искренно смеясь, когда остался вдвоем с немкою в кабинете своем. — На что похожа, голубушка? Совершен-

*) См. «Девятидесятники», II.

но компрометирующий визит... Ипат совсем озадачен: какие дела могут быть у меня с подобного вида особою? Еще заподозрит, что я альфонсом стал и содержательницу себе приспособил... из «мамаш», которые промышляют пансионами без древних языков...

А немка, вынув изо рта два волоцких ореха, отчего щеки ее в ту же минуту впали и лицо вытянулось и стало худым, произнесла очень ясным и красивым голосом и без малейшего иностранного акцента:

— Вы никого не ждете к себе, Никодим? Мне не придется прятаться?

— Нет. Я нарочно расположил свой вечер так, чтобы нам быть вместе без всякой помехи. Если бы вы не были в таком безобразном виде, я даже предложил бы вам остаться у меня ночевать, но умудрило же вас обработать себя в подобную непристойность...

— Что делать, Никодим? — вздохнула немка, снимая громадную, птицами усаженную шляпу свою. — Нерадостный для меня маскарад. Зато уж гарантия: никто из товарищей не то что не узнает, а и не взглянет пристально... Издали видна птица по полету. Я и в номеришках таких остановилась: кроме тайных проституток да, как теперь входит в моду новое словечко, хулиганов, — никакой другой публики... Выдаю себя за антрепренершу кафешантанную — будто приехала составлять хор для Ташкента... в трактир с музыкою.

— Да, но в старую каргу зачем было себя превращать?

— Чтобы от мужчин быть безопаснее... К молодой, того и гляди, на улице кто-нибудь привяжется — вот и история: сбывай потом подобного ловеласа, как знаешь... Из вашего брата бывают ужасно липкие... Еще в участок попадешь, а там не слепые — разберут, что гримированная.

— Из участковой опасности выручить вас, положим, недолго, — заметил Фидеин с усмешкою в светло-русые усы.

— А из огласки, которая с такою опасностью связана? — возразила она, кладя шляпу на письменный стол его. — Что вы думаете: в участках болтунов нету и сочувственники не служат? Завтра же загуляла бы по Москве молва о таинственной немке, которую взяли, подержали да и выпустили... Нет, знаете, я птичка стреляная... Береженого Бог бережет... Но если вы уверены, что мне у вас не придется скрываться, то, может быть, вы позволите мне снять все это безобразие? Уж очень противно: словно я и не я...

— Да ведь долго будет потом наводить убогую краску ланит-то?

— Ничего. Для ночи сойдет, если и кое-как, на скорую руку... Шарф и шляпа скроют.

Фидеин отворил перед немкою дверцу в свою уборную, а сам сел к письменному столу дописывать что-то, прерванное на полуслове, когда Ипат ему доложил о приходе госпожи Розенцвейг...

— Ну вот, теперь здравствуйте... можем встретиться, как человек с человеком... А в том скверном виде и здороваться с вами не хотела, — произнесла госпожа Розенцвейг, возвращаясь из уборной высокою, стройною, худенькою, закутанною в красный шелковый шарф по голым плечам. Шарф этот да цветистая юбка только и остались на ней от недавнего ее великолепия. Покинула она в уборной и рыжие волосы, и брови, и всю свою накладную полноту и пухлость, и бело-румяный искусственный цвет лица, и даже слишком округленный овал его, теперь пожелтевшего, потемневшего и сделавшегося продолговатым. И не щурясь в недавнем сладком притворном заискивании, а беспокойно и смело загорелись навстречу Фидеину темно-карие, почти черные глаза — знакомые глаза Ольги Волчковой...

Фидеин встретил девушку очень тепло и любовно. Он в самом деле рад был ее видеть. И не только потому, что она была ему как раз к этому сроку очень нужна и не опоз-

дала, приехала вовремя, но и просто лично ей был рад, как едва ли не единственному на свете другу, в искреннюю привязанность которого он верил и пред которым сам позволял себе снимать с холодного, искусственно неподвижного лица своего утомительную маску непрерывного и разнообразного притворства...

— Что, мать-командирша? — говорил он, ласково качая зажатые в своих берейторских руках ее длинные, узкие холодные ручки. — Что? Потрудилась? Отведала казенных хлебов? Натерпелась страха?..

— Страха-то — до сих пор — не очень, — смеялась она, счастливая редкою лаской, с краскою на щеках и стыдливо опущенными глазами. — А вот неловкости и двусмысленных положений... это действительно! Жуткие минуты бывали...

— Да, да... — снисходительно остановил ее Фидеин, выпуская руки ее и возвращаясь к столу своему. — Мы это хорошо учли и — согласитесь, Ольга, — долго вас не томили... За это можете поблагодарить меня, вышеозначенного. Я Рутинцеву прямо сказал, что вы молодецкую работу сделали и вас переутомлять дальше нельзя. Тем более что ваши нервы мне нужны... опять нужны, Ольга!

— Очень рада, я в вашем распоряжении, — сказала она, располагаясь с ногами на широком кожаном диване, вынула папиросу, закурила и приготовилась слушать, скрестив на груди худенькие нагие смуглые ручки свои. — Только предупреждаю: если предстоит опять хождение на два пути, с одинаковым надувательством и своих, и чужих, то вилять я действительно сейчас устала. Дайте отдохнуть! На тонкую и опасную интригу сейчас не способна... в самом деле, нервы могут не выдержать... испорчу дело...

— В хорошем климате скоро отдохнете, — усмехнулся Фидеин. — Я думаю послать вас именно туда, где нервы лечат...

Волчкова зорко встрепенулась.

— За границу? — с тихою тревогою спросила она.

Он утвердительно кивнул головою.

— Да... А вам не нравится?

Она помолчала, куря, потом произнесла с искусственным спокойствием:

— Нет, отчего же... Конечно, я рассчитывала немножко очнуться от беличьего колеса этого, в котором вы меня вертите... пожить хоть некоторое время... человеком... с человеческими чувствами... подле вас... Но мы не хозяева самих себя... На хотенье есть терпенье... Да и что за вопрос — нравится или не нравится?.. Если надо — какие отговорки? Служу... Вам приказывать — мне исполнять...

Фидеин с удовольствием кивал своею англизированною головою в короткой белокурой стрижке в такт ее словам и, когда Волчкова замолкла, сказал с добродушием, не лишенным оттенка вежливой дружеской насмешки:

— Ну само собою разумеется... я и не сомневался в вас. Вы у нас работница, единственная в своем роде... Я это всегда говорю: наша Жанна д'Арк...

Волчкова прервала его:

— Если вы усылаете меня ненадолго, то я и в самом деле рада буду встряхнуться немножко... Все-таки разнообразие... новое небо и новых людей хоть мимоходом увижу, душу от нашей копоти освежу...

— То-то вот, Ольга, что не знаю, надолго ли, — с сожалением произнес Фидеин, покусывая светло-русый кавалерийский ус свой, — то-то вот, что не знаю... От вашей ловкости и успеха зависит, надолго ли...

И, видя, что Ольга побледнела, слыша, что она молчит, порывисто встал и пошел к ней, гипнотизируя ее своими бесцветными, застылыми глазами.

— Видите ли, Ольга, милая моя, — заговорил он, приятельски усаживаясь рядом с нею и забирая руку ее в свою, — видите ли, Оленька... Я первоначально рассчитывал пустить вас

в забастовку эту петербургскую... Вы, вероятно, слышали, что она — для нас — провалилась... постыднейше провалилась!.. То есть не для нас, как нас с вами, — объяснил он сквозь зубы в ответ на удивленный взгляд Волчковой, — а для тех, кому мы с вами служим, — к счастью, здесь, а не там... для петербургских гусей... умников... Ах, Ольга! как вы меня папироскою раздражаете. Бросьте, пожалуйста! Ведь это все равно что пред голодным телячью котлету есть и причмокивать или пред запойным пьяницею водку пить и крякать...

— Да, извольте... — виновато сказала Ольга, гася папиросу. — Сказали бы раньше... Ведь иногда вы сами заставляете меня курить — уверяете, что без табаку я вас плохо понимаю....

Он встал, отошел и стоял, заложив руки в карманы брюк.

— Они там, — говорил он, хмуря белесые брови, — не поверили мне, когда я предупреждал их о силе рабочих организаций. Им революционная-то работа все еще в старом кустарном виде мерещится, заговорами да кружками пропаганды. В естественное просачивание социалистических идей, в то, что революционными микробами воздух насыщен и массы ими даже бессознательно дышат, они не верят, потому что невежественны: другой мир! не чувствуют, не понимают! Думали, что нарочно преувеличиваю, что это у меня остаток революционной мегаломании либо у страха глаза велики, а то — просто выслужиться хочу. Ослы! тетери!.. Я хочу выслужиться, да не так и не в то, что воображают господа Рутинцевы узкими своими умишками, шевелящимися за широкими лбами... Они воображали, будто повторят в несколько больших размерах — по петербургскому масштабу — любительский спектакль нашей Антиповской демонстрации, которую вы так искусно инсценировали... Немножко энтузиастов с красными флагами, немножко нагаек, немножко залпов, немножко крепости и мест не столь и столь отдаленных... И вдруг вместо того — десятки тысяч спокойных

людей «с миросозерцанием», которых решительно нет предлога бить нагайками и расстреливать залпами... Труд массою лег на бок и отдыхает, государство устремляется его, лентяя, толкать носком сапога под ребро, а капитал воет к государству: не трожь! ты меня этак вконец разоришь! Сделай милость: я сам! оставь пожалуйста!.. Шестьдесят тысяч! шутка!.. Ну и победили... Поле осталось за рабочими... Производители пошли на уступки, забастовка пропорционально гаснет... Конечно, сейчас похватают много народа, чтобы законопатить им тюрьмы и разные ссыльные дыры, но это не изменит результатов. Факт остается фактом. Труд явил свою силу и капиталу, и государству — рабочие победили и знают, что они победили. Смотр революционных сил произведен. Какими это последствиями дышит, легко сообразить всякому. А для нас с вами, в частности, — вдруг круто повернул и засмеялся он, — последствие то, что так как я предвидел и предостерегал, а меня не послушали, то теперь числюсь я у Бараницына и Рутинцева — они ведь сейчас совсем сконфужены и ошарашены — в великих мудрецах, первейших знатоках движения и искреннейших доброжелателях существующего строя... так сказать, persona grata...* Пожелай я сейчас выступить открыто, к моим услугам — там у них — любой осведомительный пост после тех, которые они сами занимают... Но мы не так глупы, Оля, ангел мой! В неловких Иудах-предателях меня мир не увидит. Ни пули от товарищей, ни презрительного фыркания и повернутых ко мне спин в обществе я нисколько не желаю. Честолюбие презрения не терпит — настоящее честолюбие, которое ловит не чинишки и орденишки, не крестишки и звездишки, а настоящую власть и историческую роль. А на той дороге, по которой мы шагаем, только один пост и свободен от презрения: верхний. Что ниже — все дрянь. Мескинно! Мизерия! Бараницына ненавидят, но не презирают, а уже Рутинцев — отверженец в своей дворянской среде, хотя он и ловко выбрал роль патри-

* Лицо, пользующееся исключительным расположением, доверием... (*лат.*)

отической жертвы, сверхсильно приносимой на алтарь отечества, и очень красиво эту трагикомедию играет... Нет, я так не согласен, этого не хочу! Честолюбие так уж честолюбие. Очень нам с вами нужно поправлять благоглупости каких-то Бараницыных и Рутинцевых, когда — немножко терпения — и мы сами будем управлять Россией! Что?

— Как всегда, хочу вас поправить, — отозвалась Ольга с дивана, — управлять Россией будем не мы, а будете вы... Я к этому не чувствую ни способностей, ни стремления... Да и вы тогда меня не позовете!

— Вы думаете? — спокойно спросил Фидеин, не возражая.

— Совершенно уверена, — так же спокойно подтвердила она. — Очень нужна вам будет на высоте старая изношенная сотрудница, каждый взгляд на которую будет пробуждать в вас неприятные воспоминания о днях, когда вы не были прямолинейною повелительною силою, а приходилось нам с вами прятаться, как мышам, по норкам и извиваться, как вьюнам... Нет, Никодим, дорогой друг, вы себя этим не беспокойте и мне напрасных обязательств не выдавайте. Я человек сознательный и свой предел знаю. По дворцовым паркетам мне трена не волочить. Наверх вы взойдете один, а я застряну где-нибудь на вашем пути в гору — и исчезну, спрячусь в безвестную норку одинокой частной жизни... Если...

Она нервно закусила бледные губы свои и, насильственно, притворно засмеявшись, докончила, бравируя:

— Если раньше не пришибут милые товарищи...

Фидеин слушал ее внимательно, нахмуренный.

— Это вздор, — сказал он решительно и твердо. — Смерть — вздор. Не верю. Чувствую пред собою большую и полную деятельности жизнь, кипучую, боевую, а вы, Ольга, вы в моих руках, конечно, неизменная шпага неизломная... Вы знаете мой взгляд, Ольга: я тогда власть возьму, когда нынешнему режиму полицейская диктатура необходи-

мостью потребуется, и первое имя, которое в каждом уме правительственных сфер будет просыпаться при мысли о диктатуре: это — Никодим Фидеин... Тут будет игра на видах в спряжении глагола «спасать». Пусть другие спасают, а я спасу! Ха-ха! Ну и одна честь спасателю, а другая спасителю... Не хмурьтесь и не мрачнейте! Я очень хорошо знаю, что ваше патриотическое чувство оскорбляется моим эгоистическим практицизмом, но ведь в глубине души своей вы уверены, что именно по эгоистическому практицизму-то своему я и буду великолепнейшим управителем судеб драгоценного нашего отечества... Знаете, наш брат, Наполеон, умеет быть патриотом, как никто... Нет патриотизма прочнее и действительнее того, который выгоден!.. Во всяком случае, согласитесь: не Бараницыным же с Рутинцевыми я, Никодим Фидеин, чета!

— В это-то я верю безусловно, — подхватила Ольга, — если бы не верила, то и не повиновалась бы вам как шефу своему безусловному, и не помогала бы вам в ваших планах и проектах, хотя и нахожу, что в них вы слишком много служите себе...

— Ну да! А то, по-вашему, «культ» себе сочинить и на культ работать? — угрюмо усмехнулся Фидеин. — Нет, слуга покорный... Я мошенник честный. Служу вашему культу, потому что его боги мне помогают и кажутся сильнее других... А вообще-то...

— Мы, кажется, несколько раз уговаривались с вами в подобные споры не впадать? — кротко остановила Волчкова. — Искренно ли, по расчету ли, вы человек моего культа и ему полезны. В моих глазах вы человек со всеми данными гениального администратора и для того, чтобы ваш гений озарил величием Россию, вы должны — какою бы то ни было ценою — подняться на предельную высоту, которая доступна у нас верноподданному. И для того чтобы вы на эту высоту поднялись, мне не жаль ни труда, ни крови, ни чести своей...

— Да... но пора и не в мечтах одних, а в самом деле подниматься на высоту, которую вы мне пророчите! — угрюмо возразил Фидеин, шагая по комнате. — Уже не молоденький я... Четвертый десяток сломался пополам!.. Ну-с, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку... Позвольте на комплименты ответить вам комплиментами. Как ни удивили нас петербургские стачечники дисциплиною своею, а я все-таки уверен: будь в распоряжении Рутинцева несколько таких зажигательных, живых брандеров, как вы, любезная моя Ольга, милым товарищам было бы много труднее сдерживать на уздечке бурного коня, которого они взнуздали. Хладнокровие рабочих не выдержало бы искушения... И я повторяю вам с покаянием, что сперва сильно соблазнялся мыслью — извините за вульгарность — утереть им, петербуржцам, носы и доказать им, что они в собственном ремесле ни уха ни рыла не смыслят: взять на себя контрагитацию между стачечниками и при вашей помощи устроить хороший кавардак со стихиями... Но, в конце концов, это мальчишество и хвастовство, которое мне дорого обошлось бы...

Он запнулся, подумал и прибавил:

— Уже тем, что на этом деле я должен был бы вконец истратить вас...

Ольга ответила ему благодарно-удивленным взглядом.

Он продолжал:

— Вы, Ольга, сейчас очень популярны в революции. Даже сами не знаете, насколько. Антиповская демонстрация вас прославила. Это была яркая глупость, очень умно сделанная. В центре и стариками она оценена по достоинству. Вы не смущайтесь, если кое от кого увидите надутое лицо и услышите строгие слова. Антиповским выступлением многие недовольны, считают его напрасным актом массовой экзальтации, учитывают, что много стоило жертв. К слову сказать, очень все почему-то Дину Чернь-Озерову жалеют!.. С чего эта девочка так уж очень в фарватер общих симпатий попа-

ла, даже и постичь не могу… А вас провозглашают безумною, отчаянною головою, которую надо сдерживать железною уздою, чтобы не погубила себя и других, но и — драгоценнейшею агитационною силою. Я наслушался немало упреков за вас, — прибавил он вскользь со сдержанною улыбкою. — Кроликов даже ругательное письмо прислал...*) Кстати, вы знаете, он ведь сидит, милейший наш Иван Алексеевич! Как же! Взяли мы его, друга сердечного, взяли... На Евлалии Александровне сорвались — дала тягу, признаюсь, никогда не ожидал, чтобы так была ловка! — так хоть на Кроликове отыгрались… Сидит бедный Иван Алексеевич, населяет собою Бутырки, сидит...

Ольга пожала плечами.

— Чему вы так рады, не понимаю! — небрежно заметила она. — Какая вам польза от того, что Кроликов сидит? Он давно уже не революционер. Отошел от всякого действенного участия... Так, сочувственник-совершенствователь, который не толстовец только потому, что Толстого не любит, и даже чуть ли уже не проповедник системы маленьких дел...

Фидеин перебил ее, хмурясь:

— По мне, черт с ним, какую он систему проповедует и применяет… От системы его ничего не станется... Но он умен и сообразителен, книги ему, теоретику этому, слишком много нашептали… Антиповскую демонстрацию кто ругает за безумие, кто ею восторгается, как удалым геройством, а Кроликов, крот книжный — один, — нюхом учуял. «А уверены ли вы, — пишет в письме своем, — что товарищ Фидеин и товарищ Волчкова со всеми другими организаторами Антиповской демонстрации не были игрушками и слепыми орудиями хитрой полицейской интриги, которой нужно было неудачное первомайское выступление, чтобы его разгромом терроризировать рабочее движение?..» Слышите, куда мет-

*) См. «Девятидесятники» и «Закат старого века».

нул? Прямо в точку! Конечно, у нас все шито и крыто... Письмо его высмеяли, и оно погасло в лучах моего простодушия и благородного негодования. Но — эге! — вот ты на какие тропки ступаешь! Ну и лучше, знаете, чтобы подобные хитроумные идеи он в четырех стенах одиночки обдумывал, чем на свободе и в общении с товарищами...

— Больной он, Кроликов... — тихо проговорила Ольга. — Опасна для него тюрьма...

— Знаете ли, — жестко возразил Фидеин, — я лучше предпочитаю, чтобы он болел, чем чтобы меня по подобным его подозрениям покойником сделали... Ну-с, так возвращаюсь к Антиповской демонстрации... Недовольство недовольством, порицания порицаниями, а эффект эффектом, и вы, может быть, сумасшедшая, но героиня... Я, конечно, постарался о том, чтобы Антиповская демонстрация, ваша ссылка и ваш побег были поярче расписаны в заграничных газетах... Словом, могу вас поздравить: вы новая революционная знаменитость...

Он засмеялся и прибавил:

— Даже слишком... Это одна из причин, по которым я отказался от мысли отправить вас на работу в Петербург...

— Из зависти? — слабо улыбнулась Волчкова.

— Почти... Потому что не замечать на работе такую громкую особу, какой вы стали, было бы слишком странно... Вас пришлось бы арестовать в первые же дни... Иначе это — что вы, дерзкая, беглая, столько накутившая и намутившая в Москве, гуляете и пропагандируете на свободе в Петербурге — бросилось бы в глаза товарищам слишком вескими подозрениями... Пожалуй, не один Кроликов стал бы догадываться, нюхать и письма писать... Рисковать вашею ликвидацией в этом уже провалившемся, по существу, деле — повторяю вам — я не хотел и не хочу: себе дороже... Словом...

В голосе его послышалась насмешка:

— Словом, вы сейчас подобны оперному певцу, который столько прославился в своем отечестве, что дома ему больше уж нечего делать и он должен перенести свою деятельность на европейскую сцену...

— Каких спектаклей вы от меня на ней ждете? — холодно спросила Ольга.

— Не малых... — протяжно отвечал Фидеин, присаживаясь на ручку дивана. — Не маленьких, душа моя, Ольга Владимировна... весьма и весьма не маленьких... не малых-с...

Он долго молчал, обдумывая будущие слова. Потом сказал медленно, с вескою расстановкою:

— Вы, Ольга, меня считаете гением. Нет, милая, я не гений. Гении оригинальны и свое сочиняют, а я подражатель и только заимствую. Но — оставим Колумбам открывать новые континенты. Я удовольствуюсь ролью Америго Веспуччи, который подтибрил чужое открытие настолько ловко и прочно, что континент-то Колумбов на веки вечные покрылся именем Америки...

— Какого же это Колумба обобрать вы собираетесь? — недоверчиво засмеялась Волчкова.

— А ну-ка, угадайте...

— Мудрено... Что-то — глядь-поглядь — не видать у нас Колумбов-то... Разный другой человеческий товар имеется, а Колумбы не в изобилии...

— Мой Колумб, — с тою же вескостью возразил Фидеин, — еще тем других Колумбов приятнее, что покойничек... Двенадцать лет как в могилке лежит... А звали его, если желаете знать, Григорием Порфирьевичем Судейкиным...

— Вот оно что, — протянула Волчкова, открывая на него свои широкие глаза, — вот вы как... Дегаевщину затеваете?.. Ну-ну... Ну-ну... Как хотите, Никодим, а это стоит папиросы...

Фидеин задумчиво кивнул ей, разрешая курить, и сказал:

— Дегаевщина — вздор... Неправильное обобщение... Что такое Дегаев? Винтик в чужой машине... слабый, самолюбивый винтик, никогда не уверенный ни в том, зачем он крутится, ни в которую сторону он будет крутиться... Вся ошибка Судейкина была — что он Дегаева завел... Надо было самому Дегаевым стать... Судейкин и Дегаев, слитые в одном лице, вот это цельность, это победа...

— А не страшновато, Никодим Савельич? — насмешливо отозвалась Ольга, разгоняя рукою дым, чтобы он не дразнил бросившего курить Фидеина.

— А вы видали меня трусом? — угрюмо огрызнулся он, поглощенный своими мыслями.

— Вас — нет, но Колумб ваш трусил... И сильно!

— То-то, что двоить силы нельзя, — возразил Фидеин. — Мысль не верит исполнению, исполнение теряется в испуге пред мыслью. А надо и мысль, и исполнение спаять в одной воле. Тогда и трусить некого. Самих себя люди не боятся.

— Вы уверены в этом?

— Ох, пожалуйста, не таким мрачным тоном!.. Уверен, если они из жизни, а не из литературы... Я, мать моя, достоевщиною не болею. Не тот материал.

— Счастливый же вы человек!.. Я — нет...

— Боитесь себя?

Голос Фидеина зазвучал с упрекающим любопытством.

Волчкова долго молчала, докуривая папиросу. Потом сказала нервно, с капризною, болезненною порывистостью:

— Иногда — ужасно...

И, помолчав, договорила:

— Вам хорошо, как вы сильный и здоровый... Вон — захотели бросить курить и бросили... Физиологически мучитесь, а воля и мысль торжествуют... А я как брошу, если по мосту иду — меня в реку тянет, мимо трамвая иду — меня под вагон тянет?.. Закурю — пройдет... Как же мне себя не бояться?..

— И часто так? — больше с деловым любопытством, чем с участием, спросил Фидеин.

Волчкова пожала плечами.

— Если бы редко, не стоило бы и говорить... Гамлетовских порывов к самоуничтожению у кого не бывает?.. Не настолько часто, чтобы не могла быть работницею, — сами видите, энергии не теряю... Но находит... и иногда властно... Этого довольно... Я только к тому это говорю, что вы меня с собою не равняйте. Вы всегда делаете то, что ниже вашей силы, а мне приходится все время быть в напряжении, чтобы делать то, что страшно выше сил моих...

— Это, однако, скверно, — произнес Фидеин с задумчивостью, — это очень скверно, — повторил он, — признаюсь, я о вас был другого мнения и этого не ожидал...

Она с усилием улыбнулась:

— Не беспокойтесь... Если что поручите, не сдохну прежде, чем не исполню... Такое уж воспитание... да и натура... Солдат!

— А солдат — так и повоюйте! — с жесткою повелительностью приказал Фидеин. — Нечего распускаться-то и нюнить. И солдатства сейчас мне мало — пластунскую службу должны нести.

— Жду распоряжений, — спокойно возразила Волчкова.

— Во-первых... — Фидеин, стоя пред нею, загнул указательный палец на левой руке. — Завтра и послезавтра вы, если очень устали, можете отдыхать...

— Это не лишнее, — сказала Ольга, закуривая новую папиросу. — А то в голове не столько мысли бегут, сколько вагонные колеса стучат... И в печень что-то покалывает. Должно быть, я и сама немножко отравилась хлороформом проклятым...

Фидеин продолжал:

— Хорошо будет, если покажетесь, но лишь весьма конспиративно, двум-трем из товарищей, которые понадеж-

нее — из преданно наивных... Вот Кранц ваш пригодится: очень хорош...*) Я вам этот колокол славы нарочно сохранил — оставил умеренно компрометированным, а столицы не лишил... Он вам, как телеграф и телефон, по всем путям раскинется: этаких господ сахаром не корми, а дай в конспирации поработать... Констатируйте бегство свое со всеми турусами на колесах... Тут мне вас не учить стать: вы у нас поэт!.. Требуйте содействия. Будут предлагать фальшивку — берите, денег — тоже берите, убежище — пользуйтесь... Меня не вызывайте... показывайте большую холодность... Я напутал, я проиграл дело, я виноват во всех последствиях исхода... Видеться со мною — ничего не имеете против, но и страстного желания — тоже... Словом, пусть нас с вами насильно сведут, — засмеялся он, — и я вас сам найду... сконфуженный, виноватый... Разыграем спектакль-то... Не впервой!

— Ах, Никодим, — вздохнула Волчкова, с болезненным видом растирая ладонями виски свои, — жестокой траты сил стоят спектакли эти... Только подумаешь, что предстоит он — спектакль-то, вам желательный, — уже голова словно обручем ледяным охвачена и трещит...

Но Фидеин гвоздил, словно ее и не слышал:

— А затем продолжим имитацию бегства вашего дальше... Границу перейдете на нелегальном положении и не одна, чтобы у вас были свидетели, какой серьезной опасности вы подвергались... Потому что — предупреждаю: целую облаву на вас бросим... Даже не пожалеем немножко пороху сжечь — для легенды, что под выстрелами рубеж переходили... Эх! жалко — Евлалию Брагину пришлось раньше вас переправить... вот бы вам настоящий товарищ-то была... Ну? Что же вы на меня глядите, точно впервые видите?

— Евлалия Брагина мне товарищ? Фанатичка эта? Никодим! Вы или бредите или на нее выдумываете...

---

*) См. «Девятидесятники», II.

Фидеин резко засмеялся.

— И не брежу, и не выдумываю, — сказал он. — Революционный фанатизм госпожи Брагиной вне сомнений и при ней и останется. А товарищем она вам в бегстве была бы хорошим именно потому, что вообще-то она нам с вами совсем не товарищ... Если у вас за границею что-нибудь не гладко сойдет, то один уже факт, что вы, Волчкова и Брагина, вместе бежали, такой пламенный щит, что в огне его всякое подозрение и сомнение испепелятся... Но она уже пробежала, мысль о том, чтобы вас соединить, пришла мне в голову слишком поздно — это дело конченное, значит, разговаривать о нем излишне... Как наилучше имитировать ваш переход через границу, об этом мы с вами сегодня подробно подумаем, а Евлалию Брагину вы найдете в Швейцарии — и это мой вам приказ: первым долгом ее найдите... непременно!

— Вам известны обстоятельства ее бегства? — спросила Волчкова, потупившись как-то сурово, почти недружелюбно.

— Еще бы неизвестны! Подробно слышал от нее самой...

— Как? вы ее видели? — встрепенулась и насторожилась Волчкова.

Он небрежно показал рукою.

— Вот на этом самом месте, где вы изволите сидеть...

— Вот как! Не ожидала! — протянула Волчкова с ревнивыми нотами в дрогнувшем голосе, быстро передвигаясь с места, на котором сидела.

— Чего вы не ожидали? — с усмешкою переспросил Фидеин. — Что дисциплинированная партийная работница, спасаясь за границу, увидится с уполномоченным членом партии для беседы, совета и получения инструкций? Слава Богу, я не потерял еще ни значения, ни доверия в партии... И смею вас уверить: если бы эта Евлалия не была мне нужна за границею, так она бы и сейчас в Москве находилась и работала бы, потому что она вроде вас, молодчина и человек бесстрашный, что я и во враге уважаю... Так что можете успо-

коить ваши ревнивые подозрения. Неоткуда им быть. Вам должно быть известно, что я меньше всего бабник. Да и симпатиями синеокой Евлалии этой я, кажется, весьма не пользуюсь. Между нами стена непроницаемая льда, сквозь который никогда не сочится даже струйки теплого дружеского чувства и товарищества по душам. Одни рапорты по общему революционному делу, в котором она — только обер-офицер, а я как-никак, но, пожалуй, на вакансии генерала...

Он глумливо засмеялся и как-то ухарски, офицерски щелкнул пальцами в воздухе.

— Вот, Ольга, если бы я был мелко честолюбив, какой пропущен карьерный случай! Ведь Рутинцев и Буй-Тур-Всеволодовы от бегства Евлалии с ума сходят... она им нужна была как козырная карта в игре! Не в полицейской игре, а в той ихней, по верхам, где не Россия учитывается, а лестницы и передние высоких палат. Они там преданностью и готовностью к услугам дерутся, как палицами: у кого патриотизм толще и дюжее? Я уверен, что сейчас — если бы я предложил Рутинцеву на выбор возможность арестовать... ну, Бабушку, что ли, Волховского, Натансона, Кропоткина либо — Евлалию Брагину, этот барин выберет Евлалию. Потому что там оно — служба и административные соображения, а здесь просто своя шкура говорит. Графиня Ольга Александровна сестрою компрометирована, и надо компрометирующую сестру убрать, куда ворон костей не заносил... Сдать им ее в руки — и вот ты великий человек... на малые дела! — захохотал он. — А я подумал-подумал да и не сдал! да-с! вот и смотрите на меня вашими ревнивыми глазами! Не хочу быть великим человеком на малые дела! Себе дороже! Не сдал-с!

Он долго смеялся. Потом сразу остановился, точно ножом обрезал, и сухо сказал:

— Вы там, в Швейцарии, с нею подружиться должны.

— Мы и без того не в дурных отношениях, — так же сухо возразила Волчкова.

— Да, но этого мне мало. Надо, чтобы вы неразрывными стали. Одна душа в двух телах. Чтобы вас не отделяли друг от друга. Где она, там и вы.

— Зачем это вам? — угрюмо вырвалось у Волчковой, смотревшей теперь в пол в самом деле, согласно своей фамилии, серым сердитым волчком каким-то.

— Затем, — объяснил Фидеин, — что есть в революционной организации глубины и высоты, куда вас, мой друг, с вашею репутацией пламенного солдата не пустят, а перед нею эти двери открываются настежь... Она в революции — личным участием — моложе нас с вами, да зато, так сказать, наследственная: Борис Арсеньев… Арнольдс... Федос Бурст... вон за нею какие тени-то стоят...*) С Кары и из Шлиссельбурга благословлена призраками и руками, закованными в цепи... Понимаете? И вы должны стать при ней, как Кранц при вас, — колоколом славы... шумите, раздувайте, разглашайте...

— Да зачем все-таки, — дайте понять, зачем?

Тогда он резко нагнулся к ней и быстро, порывисто, с пристальным взглядом в упор прошептал:

— В центр, голубушка Ольга Владимировна, пробираться нам надо, центр захватывать в руки свои, центр-с!..

И, также быстро выпрямившись, смотрел на нее испытующим взглядом.

— Здесь департамент полиции завоевать хотите, там — центральный комитет... не много ли будет, Никодим Савельич? — недоверчиво усмехнулась Волчкова.

Он холодно возразил:

— Да уж много ли, мало ли, а так должно быть. Чтобы одна нога здесь, другая там и обе стояли крепко, гранитно. Без того моя Колумбова идея — ничто. Не я требую, она требует. Помните: Судейкин и Дегаев в одном лице — все.

*) См. «Восьмидесятники».

Судейкин и Дегаев порознь — пшик! Два полоумных шпика, одержимых манией величия, — больше ничего...

— Хорошо, — как-то вяло, будто с усталостью сказала Волчкова, прикрывая глаза. — Я подружусь с Евлалией Брагиной и найду дорогу в центр. Только напрасно вы меня отдыхом прельщали. Это вы мне дьявольскую работу даете...

Фидеин посмотрел на нее с вниманием и с внушительным недовольством сказал:

— Знаете ли, что меня сейчас в вас удивляет?

— Неприятно? — откликнулась она.

— Если хотите, да...

— Скажите...

— Что я своею Америкою вас нисколько не удивляю... и не одушевляю... Словно это для вас не новость, а вы давно ее знали и ждали...

— Что же? Вы правы... Удивления нет... Да ведь, если хотите, и... конечно, ждала, и оно действительно не ново...

— Вы думаете? — нахмурился Фидеин.

— Расширяем только масштаб и сферу действий... ну, и риска... А разве до сих-то пор мы не тем же занимались?..

— Тем же! — передразнил он ее сурово. — Что значит — тем же?.. Разумеется, все в одной плоскости строится... Этак рассуждать, и последний филер тем же занимается, чем мы с вами...

— Да я и не отделяю, — устало сказала она.

— Вот признание! — встрепенулся он. — Мило!

Но она повторила:

— Не различаю... по концентрическим окружностям вращаемся... Только радиусы разные, а движение общее и центр один...

Фидеин долго и недружелюбно смотрел на нее с прикушенною нижнею губою, видимо, намереваясь сказать что-то жесткое, насмешливое, оскорбительное, но колеблясь, говорить ли... Но передумал, разгладил морщины на лбу,

освободил прикушенную губу и заговорил голосом спокойным, деловым, небрежно-равнодушным:

— Ну-с, это уже пошло из области философии и даже с математикой... Об этом мы уж с вами когда-нибудь на досуге, за чайком... А теперь, значит, вы принципиально согласны: за границу едете, инструкции мои приемлете и выполняете их буквально со свойственным вам совершенством догадливости и дисциплины... Оченно прекрасно-с и даже, можно сказать, довольно порядочно... Значит, порешивши сей общий принципиальный вопрос, можем мы с вами теперь заняться его обсуждением и устройством во всех практических деталях...

VII

Анимаида Васильевна, как и предсказывал ей Реньяк, не нашла в Москве никого из своих. Алевтина Андреевна Бараносова жила на даче близ Кунцева у тетушек Чаевских. Зина, после того как увезли Дину Николаевну, отправилась вместе со своею воспитательницею, мисс Аркинс, в один подмосковный фабричный городок, в дружескую ей английскую семью директора крупной, принадлежащей Силе Хлебенному мануфактуры. Василий Александрович Истуканов еще не возвращался из Нижнего, но в магазине ждали его с часу на час, и действительно часа два спустя по водворении Анимаиды Васильевны в квартире ее он уже звонил по телефону, справляясь, дома ли она, а вскоре и сам подъехал... Анимаида Васильевна втайне ужаснулась, когда Истуканов вдвинул в ее кабинет громадную фигуру свою, как живой монумент, сошедший с пьедестала. До того он за это время постарел, облысел, осунулся, погас глазами, пожелтел и обвис потерявшими упругость жирными щеками...

— Вы не больны? — спросила Анимаида Васильевна в обмене первых фраз встречи с большою осторожностью,

как бы мельком, так как знала, что разговоров о здоровье Истуканов не любит.

— Совершенно здоров, — ответил Василий Александрович сдержанно, с чужим, отдаляющим взглядом.

Душевное его настроение оказалось лучше внешнего вида. Он приехал из Нижнего спокойным и даже радостным. Счастливый случай помог ему на выставке еще раз встретиться с Илиодором Рутинцевым и графинею Буй-Тур-Всеволодовой и на этот раз с гораздо более удачными результатами. Вдали от Петербурга эти решители судеб осмелели, что ли, или уж очень разнежились на лоне волжской природы и обмякли от встретивших их почестей. Так что Истуканов даже без особого труда выхлопотал для Дины замену ссылки в вологодский городок простою отдачею под полицейский надзор за поручительством родственников. С тем, однако, условием, чтобы в течение двух лет жить непременно в уездном городе или деревне, не ближе семиверстного расстояния от железнодорожной станции, с воспрещением въезда в столицы, университетские города и фабричные центры. А буде понадобится Дине бывать в своем губернском городе, то не иначе как в сопровождении кого-либо из родственников-поручителей, и предварительно должна испросить разрешение от начальника губернии.

— Вот строгости! — удивилась Анимаида Васильевна. — Реньяк уже изумил меня тем серьезным взглядом, который эти господа взяли в отношении Дины. Я надеялась, что это случайность, но, оказывается, продолжается?..

— Стачками очень запуганы, — пояснил Истуканов. — Все ищут политических корней... Муха в слона растет... Ну, и гоняются за мухой с обухом... А слоны, как водится, уходят...

— Так, — задумчиво соображая, говорила Анимаида Васильевна, поглядывая, будто советуясь, на портреты знаменитостей в золоченых рамах, украшающие ее письменный стол, — конечно, это счастливая новость... Но у Дины

нет таких родственников, Василий Александрович... Кому же можем мы ее поручить? кто за нее поручится?

— У меня... то есть, собственно... у ее мм... матери... есть, — с запинкою произнес Истуканов, глядя в пол с огромной и грузной своей вышины.

Анимаида Васильевна строго и недоверчиво подняла на него хрустальные свои очи.

— Что такое? — сказала она сухо, с предупреждением в голосе. — О какой вы матери? Если о крестной, то Алевтина сама сейчас висит в воздухе и не знает, что с нею дальше будет... С мужем она разошлась...

Но Истуканов, все изучая глазами узоры на ковре, однако голосом более твердым заявил, что он имел в виду не Алевтину Андреевну Бараносову, но паспортную мать Дины Николаевны, покойную крестьянскую девицу Марью Пугачеву, которая, как известно Анимаиде Васильевне, приходилась ему, Истуканову, двоюродною сестрою. У этой Марьи Пугачевой остались еще две сестры, следовательно, по паспорту они — родные тетки Дины. Одна из них, очень хорошая женщина, теперь живет близ города Рюрикова, в большом селе, замужем за псаломщиком. Люди спокойные, зажиточные — он, Истуканов, поддерживает их в память Марьи Пугачевой небольшою пенсией, так что они ему весьма обязаны и рады будут сделать все возможное, чего он попросит. Псаломщик не без образования, газету получает, книжки почитывает, почти интеллигент. Живут хорошо, да и дорого ли нам для них устроить хорошую жизнь, по местным-то условиям, раз Дина Николаевна поселится у них...

— Вы меня извините, Анимаида Васильевна, — произнес он, впервые поднимая на нее серьезные глаза с тяжелым, больным взглядом и точно на одре смерти завещание диктуя, — уж тут я позволил себе сам, своею волею распорядиться... Дожидаться вашего приезда, сами извольте понять, было невозможно...

Это Анимаида Васильевна понимала очень хорошо, но слова Истуканова кольнули ее упреком, и она ответила гораздо холоднее, чем располагали ее заботы Истуканова и его больной вид:

— Вы, я вижу, очень тут осуждали меня за то, что я была в отсутствии, когда над Диною разразилась эта гроза. Но я не дельфийская пифия: катастроф предвидеть не могу. Телеграммы ваши не достигали меня, потому что я была в разъездах, а как только получила их и письмо Алевтины, я не промедлила и дня: в тот же вечер выехала из Палермо...

«Что это? Кажется, я оправдываюсь?» — вдруг с возмущением подумала она про себя, заметив, что Истуканов слушает ее с видом живого и как бы несколько изумленного любопытства, точно неслыханную новость, и сама ловя в своем голосе незнакомые, нерешительные звуки. И она даже слегка вспыхнула недвижным мраморным лицом своим и гордо, с вызовом договорила:

— А распорядиться в этом случае, как вам казалось удобнее, вы, конечно, имели право и отлично сделали, что распорядились... Дина столько же ваша дочь, как моя...

И, помолчав пред продолжающим изумляться Истукановым — это едва ли не впервые было, что Анимаида Васильевна признала одинаковость его прав на Дину со своими, — она властным усилием воли согнала со щек выступившую краску и в обычной палевой мраморности тонкого профиля сказала спокойно, точно спросила Василия Александровича: «А не поехать ли нам сегодня в театр?»

— Кстати, слушайте. Я много думала в дороге и кое-что надумала... Пришла к убеждению, что надо им наконец узнать это... Что вы скажете?

— Что... кому... узнать? — трудно выговорил, думая, что не расслышал, Василий Александрович, держа на ней тяжеловесный, одичалый взгляд.

Она нетерпеливо шевельнулась в кресле своем.

— Дине и Зине узнать, что они — наши дочери, — произнесла она, стараясь выговорить, как можно деловитее и суше. — Что я их мать, а вы их отец... вот что пора им узнать...

Он молчал, опустив глаза. Если бы он стоял не среди комнаты, лишь пальцами опущенных рук касаясь тонкой решетки на письменном столе, да не поднимались обычным ему тяжелым дыханием грудь и плечи, можно было бы принять его за покойника, вынутого из гроба после того, как пролежал в нем суток двое, нюхая ладан и слушая Псалтырь.

— Что же? — повторила Анимаида Васильевна, снизу вверх вперяя в желтое увядшее лицо его испытующий хрустальный взор свой.

Вынужденный к ответу, Василий Александрович, не поднимая глаз, промямлил скучным голосом, выходящим из едва шевелящихся губ:

— Я не могу тут иметь мнения, Анимаида Васильевна... Ваше дело... ваша воля... вам решать...

Анимаида Васильевна смотрела на него, не только совершенно изумленная, но и оскорбленная.

— Вот как! — сказала она с таким холодом в голосе и взгляде, что на этот раз, если бы видел ее Костя Ратомский, то не отказал бы ей в звании «русалки холодной и могучей», достойной дать свои глаза для «Ледяной царицы»*). — Вот как!.. Странно... Признаюсь, ждала, что вы мое предложение встретите с большею радостью...

Он ничего не ответил на это замечание, но, все стоя с опущенными глазами, спросил:

— В какой же... форме... вы думаете... это сделать?

— Мне кажется, — сухо возразила она, — прежде всякой формы надо решить вопрос по существу: надо ли?

Он мельком взглянул на нее и опять потупился.

*) См. «Закат старого века».

— Да ведь вы же уже решили, что надо, — сказал он. — Я вижу и слышу, что решили… Если бы не решили, то и не заговорили бы теперь со мною об этом…

Она возразила, хмурая:

— Положим даже, что я решила… Вопрос — не весь целиком мой... Я в нем не одна... Я желаю слышать ваш голос...

Глаза их встретились, и опять взгляд Истуканова поразил Анимаиду Васильевну своею свинцовою тусклостью.

— А я, Анимаида Васильевна, — сказал он, медленно смачивая сухие губы языком, — я все-таки осмелюсь опять спросить вас о форме...

— Если вам так важно... — с холодным удивлением начала она, но он даже прервал ее, оживленный:

— Очень важно, Анимаида Васильевна. Настолько важно, что лишь в зависимости от формы, какую вам угодно будет придать вашей декларации, я могу выразить пред вами свое мнение, стоит к ней приступать или предпочтительнее будет оставить втуне...

— Я хочу знать ваше мнение, — заметила Анимаида Васильевна, — но, конечно, оно для меня необязательно... Поступлю, как рассужу и найду нужным...

— Очень хорошо понимаю и знаю... И вот именно это самое и обостряет для меня вопрос о форме-то...

— Да какая же особенная форма? — остановила она его.— Никаких специальных церемоний для того изобретать я не собираюсь. Что за комедии? Вот возвратится Зина от своих англичан, и я переговорю с нею. Хотите, в вашем присутствии, не хотите — одна. Затем, как скоро Дина переведена будет в это село под Рюриковом, о котором вы говорите, я поеду к ней и повторю мои объяснения...

— Как они еще примут... — тихо заметил Истуканов.

Анимаида Васильевна хмуро отвернулась.

— Это будет зависеть от моего такта, а их ума, — коротко сказала она.

Истуканов молчал. Анимаида Васильевна ждала.

— Ну, а дальше?— спросил он вдруг, подняв голову и оживив некоторым любопытством глаза свои.

— Что же дальше?

— Как же... дальше-то жизнь наша пойдет? после признания-то вашего?

В глазах его светился и в голосе звучал вызов печальной, недоверчивой насмешки.

Анимаида Васильевна ответила с некоторым затруднением:

— Пойдет по-прежнему... Почему вы воображаете мое признание переломом каким-то?.. эрою в доме?.. Ничего не прибавится, не изменится... убавится только ненужный, слишком надолго — вы слышите, я сознаюсь в этом — затянувшийся семейный секрет, с погашением которого мы все вздохнем легче, потому что из наших отношений исчезнет последняя тень недомолвок и неискренности...

Истуканов слушал ее с большим, но как бы несколько чуждым, не в своем деле, а со стороны наблюдающим любопытством.

— Вот именно об этом я и позволил себе спросить вас, — сказал он как бы и с одобрением. — Теперь из ваших слов, следовательно, я, значит, могу заключить, что «воспитанниц» больше не будет и вы признаете и объявите Зиночку и Диночку своими дочерями...

— Заключение нетрудное после того, как я битые полчаса повторяю вам это, — с небрежною чуть улыбкою бросила ему Анимаида.

Но он упрямо стоял на своем:

— А я все-таки еще раз переспрошу: признаете и объявите или только признаете?

И, так как она медлила ответом, он добавил, подчеркивая голосом:

— Согласитесь, что это разница... ведь это очень большая разница, Анимаида Васильевна!

Она с легкою морщинкою досады на гладком, как слоновая кость, лбу возразила:

— Мне кажется, суд и приговор над разницею этою мы должны предоставить им самим... Зине и Дине... Если они найдут необходимым, чтобы я, как вы выражаетесь, «объявила», я ничего не имею против того и, конечно, не побоюсь ложного стыда представлять их моим знакомым как дочерей... Это тем легче, что ведь все же и без того уверены...

— Между уверенностью всех и вашим гласным признанием еще большая пропасть, Анимаида Васильевна, — вставил Истуканов. — Гораздо глубже, чем вы предполагаете... Перешагнуть ее будет не шутка.

— Тем не менее, если понадобится, я перешагну... Но понадобится ли? И Зина, и Дина, хотя характеры у них разные, воспитаны достаточно рационально для того, чтобы, имея существо отношений, не слишком усердно гнались за внешнею условностью... Во всяком случае, приучить общество видеть в них моих дочерей будет делом — опять-таки — моего такта. А они, я надеюсь, не заставят же меня публиковать в газетах, что вот, мол, я, такая-то, имею внебрачных дочерей — такую-то и такую-то от такого-то... Газеты подобных публикаций не печатают, а между объявлением факта и бравированием фактом, согласитесь, тоже есть разница...

— В газетах публиковать они вас не заставят, — спокойно сказал Истуканов, — но, убедившись, что они родные сестры по крови — по отцу и матери, они пожелают и открыто быть родными сестрами... Дина *Николаевна* и Зинаида *Сергеевна* в этом случае терпят решительный крах, Анимаида Васильевна...

Истуканов говорил то, о чем Анимаида Васильевна сама много размышляла в пути, и теперь она слушала и морщилась, с досадою сознавая его правоту.

А он продолжал:

— Понадобятся им общее отчество и одна фамилия... А то ведь сами посудите, что получается: мать — Чернь-Озерова, отец — Истуканов, а дочери одна Николаевна, а другая Сергеевна... Почему? Всеобщее недоумение!

— Если вас такие поверхностные сомнения смущают, — небрежно заметила Анимаида Васильевна, — можете быть спокойны: я уже решила просить об их усыновлении... как это глупо звучит, когда дело идет о дочерях!.. И, так как я последняя в роде, то мне, конечно, в том не откажут, а вместе с тем к ним перейдет и моя фамилия... Вас это не удовлетворяет?

— Я уже предупреждал вас, Анимаида Васильевна, что ставлю себя в стороне... ваша воля!.. Но, если вы все так просто и ясно решили и устроили, зачем вам тогда и называть меня девочкам как отца? Достаточно уже и той радости, если они узнают в вас мать... Это такое большое счастье, что — поверьте мне, Анимаида Васильевна, — в той форме, как вы все это затеяли, я вам оказываюсь совсем лишний... Что фамилия Чернь-Озеровых красивее Истукановых, соглашаюсь с вами вполне. Но тогда зачем же Истуканова и на сцену вводить в родительской роли? Будьте себе все Чернь-Озеровыми — втроем, сами по себе, а я, Василий Александрович Истуканов, останусь сам по себе... именно по-прежнему, как вы давеча изволили предложить: старый знакомый, друг дома, девочек на руках нянчил...

Говорил он так спокойно, а голос его звучал так странно, что Анимаида Васильевна, слушая, не могла решить загадку, что это — горькая ирония глубоко и хронически обиженного человека или в самом деле серьезное предложение отца, настроившегося на новое самопожертвование. И почему-то в выборе этом была ей особенно неприятна вторая возможность.

— Вы, Василий Александрович, все великодушничаете, — угрюмо вымолвила она. — Отдаю вам справедливость, что

вы себя не жалеете. Но я личным опытом не большой знаток в психологии людей, обрекающих себя на заведомые страдания, а вчуже о ней судя, всегда мне слышится в ней что-то не настоящее, фальшивое. Вы меня извините. Я ведь вас не обвиняю в преднамеренной фальши. Это может выходить бессознательно... само... из условий нашего ложного положения... И, знаете ли, великодушные решения всегда обоюдоостры как-то... Я вот, собственно говоря, от предложения вашего должна прийти в восторг и преклониться пред вашим отцовским героизмом, а между тем, представьте, не чувствую к тому ни малейшего расположения... И даже зла немного... Потому что великодушие требует ответного великодушия, как у кавказцев, пешкеш за пешкеш... Ну а если у меня на пешкеш состояния недостает? Ведь великодушие-то ваше, если перевернуть его с лица наизнанку, будет обозначать в переводе на простой русский язык: к чему обходные пути? Девочки должны быть Истукановыми, а для того есть путь прямой: вы должны выйти за меня замуж и, получив мою фамилию, привенчать к ней и наших внебрачных дочерей... Так ли я говорю, Василий Александрович, или нет?

И, не дав ему ответить, продолжала:

— Но что же мне делать, Василий Александрович? Вижу хорошо, что за двадцать лет мы с вами постарели только снаружи, внешностью, а внутри, характерами и образом мыслей, остались все те же, что в первый день нашего романа... Не могу я зачеркнуть всю свою жизнь, принять рабское звание законной жены, перестать быть самою собою и превратиться в существо, которое правоспособно в жизни только за именем и головою супруга... Я двадцать лет проборолась с обществом за женскую свою самостоятельность, отстояла свое гордое одиночество от всех нападок и предрассудков... За что же я, наконец, победительница, должна капитулировать как побежденная? Сознаю свои обязанности к девочкам, но у меня есть и другие обязанности, столько же важные...

— Столько же важных обязанностей, Анимаида Васильевна, как у матери к дочерям, других не бывает, — вмешался Истуканов с живостью, почти строгою.

Анимаида Васильевна ответила с недовольною миною:

— Полагаю, что упрекнуть меня пренебрежением к обязанностям матери трудно. Воспитание и образование наших дочерей — дело моих рук...

— Кто же смел бы возразить, Анимаида Васильевна?

— И я уверена, что в России очень немного явных матерей, которые сумели поставить своих дочерей в лучшие к себе отношения, чем я, тайная мать, обеих своих... Конечно, я говорю о матерях развитых и разумных, — небрежно прибавила она, — у которых есть царь в голове, не в забвении логика и рассудок...

— Я это очень хорошо понимаю, Анимаида Васильевна, — дружелюбно и мягко возразил Истуканов, — что же может быть прекраснее и желаннее разумной матери... Хотя... извините меня: дети ужасно любят, чтобы мать их не была уж слишком разумна... И иногда... мне кажется, что иногда это даже нужно — чтобы мать умела быть неразумною...

Анимаида Васильевна ответила высокомерною улыбкою.

— В свою очередь, меня извините, — сказала она. — Глупышкою быть не могу и не хочу. И вспомните: было время, когда вы сами менее всего этого желали. Вспомните, как мы смеялись, когда вы — напротив — серьезнейше выражали свой идеал, чтобы я была «умнее всех на свете...». Это было наивно, но я тогда вас понимала*). А вот сейчас — нет. На зоологические роли и чувства не имею никакого таланта. Любить своих детей умею — кажется, доказано, — но самочьей влюбленности в своего детеныша не признаю. Дочери мои прекрасны: как же бы я не любила их? Но привязаться к куску мяса только за то, что он в тебе зародился и из тебя вышел... Бо-

*) См. «Девятидесятники», II.

юсь, что я не нашла бы в себе любви к Дине и Зине, если бы они были безобразны, злы, идиотки... Что?

— Я хочу сказать, что почти всем матерям дети кажутся прекрасными...

— Ну, уж это — вырождение эстетического инстинкта... Но мы начали разговор не для отвлеченных рассуждений... Решение свое я вам сказала и выполню его непременно, а о форме, как вы выражаетесь, надо, конечно, подумать и подумать... Это серьезно и навек.

— Извините, Анимаида Васильевна, — остановил ее Истуканов, — позвольте спросить: в вашем отвращении к законному браку, может быть, имеет известное значение то условие, что в нашем государстве он осуществляется только чрез церковный обряд?.. Следовательно, для вас, как свободомыслящей, известное насилие над совестью в формальности, которой вы не признаете?.. Так позвольте вам напомнить, что мы ведь к Москве не прикованы... Только прикажите: я ликвидирую свои дела... Здоровье мое, кстати сказать, действительно слегка порасшаталось... ничем не болен, но как-то ослаб в последнее время, начинаю чувствовать старость... Так я говорю: вполне возможно ликвидировать свои дела и уехать за границу... А там браки совершаются в гражданском порядке, через мэрию... Так что это церковное возражение, следовательно, отпадает...

Анимаида Васильевна покачала головою.

— Во-первых, такой брак действителен только для европейских стран, в России он не будет признан, — сказала она. — А во-вторых, не все ли равно! Вопрос для меня не в том, через какой обряд получится супружеское ваше право на меня, а в том, что оно все-таки получится и какое оно по существу... Мужевластие-то, дорогой мой Василий Александрович, там у них, в Европе, пожалуй, покрепче нашего... Замужняя француженка или итальянка так скручены брачным законом, что, пожалуй, даже нашим жалким женским правам завидовать могут...

— Моего мужевластия вы вряд ли имеете основание опасаться, — тихо заметил Истуканов, потупясь и играя пальцами закинутых за спину рук.

— Не сомневаюсь в том, — спокойно возразила Анимаида Васильевна. — Да — это само собою разумеется, — не против вас я и протестую тем, что отказываюсь выйти за вас замуж, а против брачного закона, который меня порабощает... Я желаю быть в своем праве — по своему праву, а не по счастливой случайности, что мне достанется добрый и мягкий муж, который не захочет злоупотреблять рабовладельческим законом, установленным в его пользу...

— Это жаль, — серьезно и значительно произнес Истуканов, — как вам угодно, Анимаида Васильевна, а это очень, очень, очень жаль...

Она пристально посмотрела на него и чуть улыбнулась пытливою глубиною хрустальных глаз.

— А знаете ли, — сказала она с медленною расстановкою, — я немножко удивлена всем, что сейчас от вас слышу... Я, признаюсь, уже не ожидала, чтобы вы так цепко держались за мысль о нашем браке...

— Это почему же? — возразил он, насторожившись, с напряженным, выжидательным взглядом и слегка бледнея.

Она отвечала с несколько принужденною веселостью:

— В результате двух земских давностей нашего союза, мой друг... Годы должны были остудить ваш матримониальный энтузиазм... Сознайтесь, что я для вас — уже не та, которую вы когда-то полюбили? Женитьба, которую вы мне так любезно предлагаете, интересует вас теперь гораздо более ради наших девочек, чем ради меня. А между нами в последнее время уже не только нет пылкой страсти, но даже, пожалуй, тянет холодком...

Она остановилась, потому что — вдруг — увидала пред собою белую маску гипсового лица с надгробного памятника, в которой одни надувшиееся голубыми светящимися пу-

зырями выпученные глаза были живы испугом и отчаянием да синие губы кривились и дрожали, испуская из-за себя громкий, жалкий, собачий вой:

— Это вы-то для меня не та?.. Это между нами-то тянет холодком?.. Грех вам, Анимаида Васильевна... Грех вам... Грех вам...

Она вскочила, серьезно испуганная, а он повалился в ближайшее кресло, барабаня перед собою в воздухе мерно дергающимися руками и все повторяя:

— Грех вам... грех вам...

— Ну что это? — вскрикнула Анимаида Васильевна с сильно бьющимся сердцем. — Можно ли так нервничать? Кто из нас мужчина, кто женщина? Как вам не стыдно? Подите, напейтесь воды...

Но он сидел и выл...

Ей сделалось страшно: «А ну как он уже сходит с ума?.. Истерический припадок... может дать начало... толчок...»

Шумя великолепным капотом своим, она быстро прошла, как мягкая ночная птица пролетала, в столовую, к шкапчику, где у нее хранилась домашняя аптека, и возвратилась с рюмкою воды, накапанной валерианом:

— Пейте... И довольно, пожалуйста... Я не могу этого видеть... Сделайте над собою усилие... Стыд... право, стыд.

Но Истуканов, проглотив лекарство, на уговоры ее качал головою и повторял:

— Этого дождаться от вас я не надеялся... нет... этого не ожидал...

Тогда она, поставив рюмку на стол, стала, хмурая, и, необычайно покраснев и даже губы покусывая, резко произнесла:

— Слушайте, Василий Александрович. Мне очень жаль, если я вам сделала больно... Но я тоже не ожидала, что вы так примете... Вы сами виноваты... Весь этот год и в особенности весною, перед моим отъездом, вы вели себя в отношении меня так странно, что я была вправе предположить...

Истуканов сделал попытку встать, но опять сел; ноги у него гнулись, голова кружилась, тошнило.

— Как вы желали и требовали, так я себя и вел... — слабо вымолвил он.

Анимаида Васильевна глядела на него, едва глазам верила и говорила, покачивая головою, со строгим лицом:

— До чего себя довел!.. А уверяет еще, что не болен!.. Где вы так отделать себя успели?.. Не могло же вас приключение Диночки так основательно разрушить?.. Тем более что — вот — все улаживается, как вы говорите... Надо подбодриться... Обдумаем, раскинем мыслями, сопоставим необходимости и возможности, выйдет какой-нибудь для всех удобный компромисс... Вы... извините за откровенность, не пили тут без меня?

Истуканов с полузакрытыми глазами отрицательно качнул головою.

— Я уже с год не пью много, — сказал он, — а с весны не брал вина в рот... Последний стакан шампанского выпил в апреле на вечеринке у Оберталя... когда он праздновал свой шпальный подряд...*)

— Какая хронология точная! — заставила себя пошутить Анимаида Васильевна в надежде, что немножко приободрит его.

Но Василий Александрович вяло возразил:

— Потому и помню, что был последний.

— Это хорошо, — одобрила Анимаида Васильевна.

А он объяснил:

— У меня от вина сердца не стает в груди, ноги пухнут и затылок делается... этакий... будто гущею налит... мягкий...

— Завтра же извольте отправиться к Остроумову, — сурово приказала она с испуганными глазами. — Если его нет в городе, то к Шервинскому. И привезите мне точнейший

*) «Девятидесятники», II.

диагноз, в каком вы состоянии... Это Бог знает что! Судя по вашему припадку и по тому, что вы говорите, у вас сердце должно быть, как пуховая подушка. И затем, уж извините, заставлю лечиться... Из того, что я не хочу идти за вас замуж, еще совсем не следует, чтобы я желала остаться вдовою... А с подобными припадками вы сами не заметите, как отправитесь к отцам...

— Ничего, завещание у меня сделано, — успокоительно пробормотал он.

Анимаида Васильевна вздрогнула и сверкнула глазами: что это — наивность или оскорбление, отместка за давешнее? Но выдержала характер и холодно возразила:

— Это очень благоразумно с вашей стороны, но возможность вашей смерти меня интересует не только тем, кому и что вы после себя оставите...

И в движении жалости, победившей обидное подозрение, рассматривала она больного и восклицала:

— Может быть, вы правы... вам в самом деле лучше бросить дела. Уедем за границу, в Наугейм... куда велят... Это удивительно! Я вас сегодня будто впервые вижу... В какие-нибудь два месяца он ухитрился превратить себя в старика! Что же, как же вы с собою сделали? Ну говорите: что вы тут без меня делали?

Истуканов чуть усмехнулся и поднял на нее похорошевшие, голубым светом проникнутые глаза.

— Вас любил, — сказал он.

И в голосе его дрогнуло что-то значительное, точно — вот-вот — сейчас навстречу восклицаниям Анимаиды Васильевны сломится то тайное и стыдное, что тонкою стенкою отчуждения стоит между ними, прорвется правда — признание и прощение — и в правде любовь...

Но Анимаида Васильевна вспомнила все, что она передумала в вагоне о раздвоенной к ней любви Василия Александровича, и не узнала момента, когда можно было раздвоение

спаять и два слить в одно. Властное и педантическое начало взяло верх над женским чутьем и приказало ей сказать учительно и сухо:

— То-то вот... все ваши шелковые шалости да лиловые игрушки!

Он глухо возразил, потупленный, не глядя:

— Всякий человек вправе иметь пристрастие, которое его утешает...

— В чем? — холодно обрезала она.

Он не ответил.

Анимаида Васильевна продолжала:

— Во всяком случае, я больше вам этого пристрастия не позволю. Да. Слышите, Василий Александрович? Не позволю. Это должно быть кончено — однажды и навсегда... Разговаривать с вами на эту тему я сейчас не стану, потому что вы слабы и я не хочу вас волновать. Еще опять припадок повторится. Но, когда вы будете здоровее, мы к этому разговору вернемся. И предупреждаю вас: тут я буду беспощадна и неумолима. Потому что это меня оскорбляет и унижает. Если вы меня любите, то любите как женщину, а не как фантастический призрак. Поняли?

Он молча шевельнул головою: слышу, мол, понимаю... не стоит и говорить!

Анимаида Васильевна продолжала:

— Музей этот ваш прекрасный — я требую — потрудитесь уничтожить, а квартиру сдать. Вы можете быть уверены, что я туда более ногою не ступлю, а вам без меня там бывать незачем и не следует. Это слишком вредно для вашего здоровья, — с сердитою насмешкою подчеркнула она. — И можете не смотреть на меня такими испуганными глазами... Не голову с вас снимаю, но вас же спасти хочу...

— Вы хотите лишить меня большой радости в жизни... — пробормотал Истуканов, медленно вставая.

Она отвечала с гневным движением:

— Какой именно радости, Василий Александрович? Будьте любезны, назовите ее настоящими именем...

Он отвернулся неловким трусливым движением смущенного, оробелого волка.

Анимаида Васильевна подхватила с язвительным укором:

— Теперь у нас разные красивые слова в моду входят. Псевдонимы для некрасивых вещей. Эстетическими фразами замазывают скверную правду слов, которые пишутся на заборах. Но вы немолодой человек, Василий Александрович, вам поздно и стыдно верить в подлоги эстетических фраз. Какой-нибудь мальчишка-декадент, вроде Иво Фалькенштейна*), быть может, определил бы вашу радость как подмен Альдонсы Дульцинеей. Но я вам не обиняком скажу, что радость вашу вы найдете в энциклопедическом словаре под буквой «о», а в Библии — в книге Бытия, главы, простите, не помню... И я решительно отказываюсь служить источником подобных радостей — хотя бы даже только и в призраке моем... Это, может быть, не то, за что школьников секут по рукам, но не утешайте себя — очень родственное!..

Он стоял пред нею — все в том же волчьем повороте, но теперь подняв голову, и, когда Анимаида Васильевна встретила взгляд его обесцветившихся, мутных глаз, ей внутри себя стало жутко. Она почувствовала, что в этот момент он, захваченный врасплох, сам не знает, что сделает, — упадет ли к ногам ее, рыдая, как пристыженный мальчишка, и утопит в слезах раскаяния разоблаченную и прощенную вину; или, как преступник, угаданный и пойманный на месте преступления, бросится душить ее, ненавистную свидетельницу и обличительницу своего позора... И почувствовала, что жуткий выбор этот сейчас только от нее, от ее мужества и выдержки, зависит... Она смело выдержала вперенный в нее взгляд, в котором, как огненные буквы электрической вывески,

---

*) «Девятидесятники», I и II.

вспыхивали, чередуясь, убийство и самоубийство, — и заставила страшные глаза погаснуть и опуститься...

— Пусть и так... — услыхала она хриплый шепот, — но что же, кроме этого... мне дает... любовь?

Анимаида Васильевна почувствовала себя победительницей. Опасность пролетела мимо. Она гордо выпрямилась и, продолжая смотреть в упор на сгорбленного Истуканова, произнесла, опять чеканя слова, будто диктовала условия:

— Этот упрек я принимаю. Его я, может быть, заслужила. Признаю, что мне следовало быть внимательнее к вам и не доводить вас до желания двоить меня на Альдонсу и Дульцинею. И даю вам слово, честное мое женское слово, что этого больше не будет, но и вы мне должны обещать, что не будет больше того... лилового бреда...

Она смело подошла к Истуканову, как укротительница к усмиренному зверю, и положила обе руки на плечи его.

— Дорогой мой друг, — ласково и мягко сказала она, — старый вы мой, сумасшедший вы мой Васенька!.. Поймите же вы, что я хочу, чтобы нам обоим вместе было хорошо, дружно и уютно... Я много думала и надумала... И — как хотите, верьте мне, не верьте, а пришла я к тому заключению, что я вас, моего старого чудака Васю Истуканова, люблю гораздо больше, чем не только вы почитаете, но и чем сама я воображала... Ведь двадцать лет, Вася!.. Нам с вами не разъединяться, а соединяться надо — сковывать свои отношения крепче и крепче, чтобы жизнь уходящую вместе дожить... ведь у нас дочери... две дочери, Василий Александрович!..

— Вы мне забыть об этом велите... — тихим хриплым звуком отвечал он.

— Неправда, — спокойно возразила она. — Я только не хочу вас мужем. Но отцовства вас лишать и не хочу и не могу. И от того, что вы мой любовник, отрекаться совсем не намерена. Ни перед кем... слышите вы: ни перед кем!.. Ни вывесок, ни отречения... Почему я ненавижу идею о заму-

жестве, я объяснила вам десятки раз. И сегодня тоже мы говорили...

— Вы стыдитесь меня, — печально и тяжело задыхаясь, твердил Истуканов, — простите, если я ошибаюсь и обвиняю вас ложно... Но мне так кажется... я годами привык так думать, что вы стыдитесь меня...

— Годами привык! — с укоризненною печалью воскликнула Анимаида Васильевна. — Не привыкать надо было, а проверить в первую же минуту, когда эта дурная мысль постучалась вам в голову... честно, прямо спросить, как человек человека... А вы вместо того замолчали, спрятались, ушли в себя на годы и годы... Воспитали привычку дурной, оскорбительной мысли... Сбежали от меня к лиловому призраку... мечту предпочли жизни!.. Эх вы! И еще хотите, чтобы я примирилась с мужевластным бытом!.. Вот какие доверчивые отношения между мужчиною и женщиною им воспитываются!.. Слушайте, Вася. Давеча я сказала вам, что желала бы, чтобы все осталось попрежнему. Если этот прежний наш быт заставляет вас думать, что я стыжусь вас, то я нисколько не держусь за него и, за исключением законного брака, готова на всякую его перестройку. Если вам нужны, так сказать, вещественные знаки невещественных отношений — пожалуйста! Сойдемся наконец открыто, будем жить вместе... Я согласна. Вы качаете головой? Почему?

— Благодарю вас, Анимаида Васильевна, — сказал Истуканов, несколько просветлевший и более бодрым голосом. — Но этого не нужно... Я очень счастлив тем, что вы сейчас изволили выразить, и мне довольно ваших слов... Превращать же их в дело... нет... не нужно...

— Почему? — настойчиво повторила Анимаида Васильевна.

— Потому, — возразил Истуканов, — что это борьба и вызов обществу, а для борьбы я, Анимаида Васильевна, не гожусь...

— Да, темперамент у вас не из боевых!

— И по темпераменту, — спокойно согласился Истуканов, — а также потому, что для борьбы нужно убеждение, а во мне нет убеждения, чтобы вы, Анимаида Васильевна, были правы...

— А вы — как Андрий, сын Тараса Бульбы, ради своей прекрасной польки пойдете в мой лагерь, феминистом по любви, — засмеялась она.

Но Истуканов возразил серьезно:

— Андрий трагически кончил, Анимаида Васильевна, а себя не оправдал и делу не помог...

— И то правда... Но как же тогда?.. Думайте, я вас не тороплю, но и медлить мы не можем долго... Это должно быть решено прежде, чем я уедук Дине: я должна говорить с нею, уже имея готовую программу...

Затрещал звонок.

— Это, наверно, Алевтина поспешила по моей телеграмме, — сказала Анимаида Васильевна, посмотрев на часы и в ответ на вопросительный взгляд Истуканова. — Так слушайте, Василий Александрович. Коротко и ясно. За исключением брачной зависимости, союз — в какой форме вам будет угодно. Пустые страхи и выдумки выбросьте из головы. Я — та же, что и была прежде. Прежде всего своя, а после того, как своя, — ваша. Я ваша, дети мои ваши, дом мой ваш, постель моя ваша. А лиловые призраки и шелковые бреды — вон! Серьезно и решительно говорю. Хочу вас уважать и не хочу делиться с собственною тенью своей любовью, мне одной принадлежащей. Вы видите: и я могу быть ревнива... — засмеялась она уже через плечо, радостно, с распростертыми объятиями спеша навстречу Алевтине Андреевне Бараносовой, которой рослую красивую фигуру она завидела через двери входящею в соседнюю комнату...

Оттуда послышались их оживленные восклицания, смех и спешный, перебивчивый говор двух дам, долго не видавшихся в то время, как произошли важные для обеих события.

А Василий Александрович, оставшись один в вечереющей комнате, полной отблесков розового заката прекрасного дня, долго стоял, вперив тяжелый, едва сознательный взгляд в письменный стол Анимаиды Васильевны, с которого бессловесно смотрели на него из золоченых рамок грустный Тургенев с белою прядью на лбу; косматый Рубинштейн, нахмуренный, с углами глаз, опущенными к вискам; опрятный, доброжелательный, седенький и редковолосый джентльмен Чайковский... все с любезными автографами!.. Сухая старуха с умными глазами, железными скулами, строго сжатыми губами — покойница Клавдия Алексеевна, мать Анимаиды Васильевны... И кабинетный портрет молодого человека, в бархатном черном пиджаке, обшитом тесьмой, и отложных воротничках, как носили лет пятнадцать тому назад, в начале восьмидесятых годов, худолицего под буйною гривою черных кудрей, большелобого, с красивым профилем Демона и недоброю, умною насмешкою в пронзительных глазах и луком изогнутых под небольшими усами, преступных губах...

Истуканов, сам не зная почему, потянулся к давно знакомому портрету этому и, взяв в руки, долго всматривался в давно знакомое странное лицо, которого он не любил, машинально перечитывая давно знакомую дерзкую надпись крупным, но осторожным почерком человека, думающего о том, что пишет:

Анимаиде Васильевне Чернь-Озеровой.

Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il crout.
La Rochefoucauld*

От
Антона Арсеньева.

Москва, 20 сентября 1881 года **).

* Кто живет без страсти, тот не так мудр, как кажется. Ларошфуко (*фр.*).
**) «Восьмидесятники», «Девятидесятники», II.

Василий Александрович долго разглядывал выцветшие буквы...

«Жаль, не загадал... вот и утешение!» — горько думал он.

А жуткое лицо давно умершего человека улыбалось ему с портрета насмешливо и как будто сочувственно, точно спрашивало понимающими глазами: «Так как же, Василий Александрович? Лиловые призраки и шелковые бреды?»

И — отсветом зари — портрет делался красным, и буквы точно оживали и шевелились зеленея...

И вдруг Василий Александрович вспомнил безумие, в котором умер этот человек, и страшное дело, которое совершил он перед тем, как умереть... И ему почудилось, что портрет сочится кровью, все алее, все гуще, что она выступает из рамы и течет по его пальцам.

Истуканов тихо вскрикнул и уронил портрет. Он звякнул об угол стола и упал на пол, осыпав ковер разбитым стеклом.

А Василий Александрович очнулся и, спохватясь, что разбил одну из любимейших вещей Анимаиды Васильевны, бросился подбирать осколки и второпях обрезал себе палец. Кровь в самом деле побежала ручьем. Истуканов инстинктивно сунул палец в рот и окровавил себе при этом лицо и жилет.

Вошедшие дамы со страхом и изумлением смотрели, как он, стоя на коленях на ковре, закручивает палец в быстро краснеющий платок... А он на испуганный оклик Анимаиды Васильевны: «Что с вами?!» — отвечал, не торопясь встать, с растерянною, нехорошею улыбкою:

— Да, вот... чудеса... уж извините... приятель покойничек... укусил...

VIII

В числе великого множества московских новостей, привезенных Анимаиде Васильевне Алевтиною Андреевной, последнею и самою сенсационною была — в связи с расска-

зами о браке Константина Ратомского и Татьяны Романовны Хромовой, — весть тоже свадебного содержания. Давно налаженный роман между графом Евгением Антоновичем фон Оберталем и многомиллионною невестою, купеческою дочерью Ларисою Дмитриевною Карасиковою, тою самою, которую Реньяк прозвал некогда «Мадонною во грехе», а Москва — да и она сама под веселую руку — звала просто «Савраскою без узды», — пришел наконец к благополучному завершению законным браком. О свадьбе этой, свершившейся как-то чрезвычайно внезапно и чуть не тайно — в глухое время года, в довольно отдаленном от Москвы поместье Карасиковой и без приглашения родных и знакомых, — ходили по Москве слухи и легенды, только что не сверхъестественные. Видеть девицу Карасикову после ее чуть не пятнадцатилетнего буйства на незамужнем положении наконец добродетельною супругою и, вероятно, в скором времени матерью семейства, продолжающею славный род графов фон Оберталей, было для московского общества так непривычно, что даже дико. А стремительный и секретный способ свадьбы эту дикость еще усугублял. Одни уверяли, что граф Оберталь заставил прекрасную Ларису выйти за него замуж чуть не под угрозою дулом револьвера. Другие, наоборот, оспаривали, что — нет, это не граф грозил револьвером, а «Савраска Лариса», нарочно и хитро заманив его в свое логовище, предложила ему на выбор: либо венчаемся, либо я вас при посредстве моих служащих пребольно высеку и всему свету об этом рассказывать буду. Граф, конечно, выбрал женитьбу. Разумеется, во всех подобных московских сказаниях не было ни слова точной правды. Ну а не точная — тоже, пожалуй, как во всех московских сказаниях, — чуточная-чуточная, но была. Дело в том, что, оставшись по делам своего подряда в Петербурге и настолько ими занятый, что не мог даже сопровождать Анастасию Романовну Латвину в ее путешествии и быть на свадьбе Татьяны Романовны, граф

Оберталь успел очень дружески и откровенно поговорить с Алексеем Никитичем Алябьевым, который тоже проводил лето в Петербурге, ведя какие-то таинственные переговоры с известным Леонтьевым, тогда еще не абиссинским графом, и, по-видимому, собирался принять участие в каком-то новом предприятии этого интереснейшего авантюриста... Алябьев, как человек, не очень близкий к Оберталю, но все-таки старый товарищ, откровенно дал ему понять, что он будет напрасно и безуспешно вести игру около Анастасии Романовны. Она в качестве княгини Латвиной на положении супруги, уволившей мужа в бессрочный отпуск и куда-то за тридевять земель, в тридесятое царство, лишь бы с глаз долой, чувствует себя преудобно и лучше чего нельзя. Положение это ей дает много, а не обязывает ее ни к чему. Развода брать она ни в каком случае не согласится ни для кого — просто уже потому даже, что удобный и требовательный нынешний брак ее превосходно гарантирует ее от возможности заключить в каком-нибудь новом увлечении новый брак, глупый и неудобный...

«Ни для кого, кроме тебя», — подумал про себя Оберталь со вздохом, поблагодарил Алябьева за откровенность и, пообдумав, окончательно выбросил этот выдохшийся брачный план из головы. В другое время он, может быть, не отказался бы так легко от такой большой возможности, не посмотрел бы даже на соперничество с Алябьевым, хотя втайне весьма его побаивался. Но он понимал, что если и предпринять эту кампанию, то она пойдет в долгую, тут штурмом ничего не поделаешь, а надо вести искусную осаду, которая, может быть, протянется не только месяцы, но и годы, а будет ли успех, все-таки бабушка надвое говорила. А между тем Оберталю мешкать было некогда. Его душили старые долги, накопленные еще в период военной службы. Да и это бы ничего, как ни громадны были суммы, которыми его теснили кредиторы. Главное: в своей новой горячке предпринимательства он сразу

размахнулся так широко и жадно, словно хотел сделаться миллионером в один месяц. Предприятия его были, все без исключения, далеко не глупы и показывали практическую сметку, умевшую ловить момент, попадать в самую суть общественных надобностей и снимать пенки с действительных нужд времени и места. Но, дельные по идее, предприятия Оберталя не выдерживали практического развития и если не лопались, то шли, спотыкаясь, ковыляя и ежеминутно готовые погибнуть от худосочия, по самой простой причине: у него почти не было оборотного капитала. А находя суммы для оборота, Оберталь не успевал ими раздобыться, как их съедали колоссальные куртажи и проценты по разнообразному дисконту, в мирке которого граф Евгений Антонович уже успел получить достаточную известность в качестве новой овцы с золотым руном... В настоящее время Оберталь в подряде на шпалы для Никитской железной дороги действительно нашел золотое дно — это все дельцы признавали. Но и для того, чтобы нырнуть на дно это, нужен был большой, постоянный, не обремененный сторонними платежами, вполне свободный оборотный капитал... Граф рассчитывал сложную, но довольно правильную возможность. Невеста будущая, кто бы она ни была, должна очистить его долги. Это мгновенно освободити возобновит ему кредиты в местах старых обязательств. Освобожденными кредитами он воспользуется, чтобы двинуть затормозившуюся постройку своего московского ресторана-монстра настолько, чтобы кредитное общество «Отрада домовладельца», в котором друг и приятель его Лев Августович Гроссбух — полновластный владыка, могло выдать ему под заклад постройки полумиллионную ссуду, к которой он при помощи Гроссбуха подбирается вот уже более года...

«Что же, — думал он, — не проходит с Настею, удовольствуемся Ларисою... Капиталов там, пожалуй, меньше, но не намного... А как женщина она даже интереснее... И моло-

же, и красоты писаной, и более европейская... В Настасье, как она себя ни рядит и ни окультуривает, все-таки Волга-матушка сквозит, да и не без примеси Таганки... А эта Мурильевская мадонна — женщина большого и настоящего шика... В Париже и Монте-Карло эффект производила... Mein Liebchen! Was willst du noch mehr?..* Скверно одно: репутация... Заговорят, что продался на покрытие чужих грехов... Настасья в этом отношении, конечно, была бы лучше... Ее распутство тоже притча во языцех, но она женщина, а Лариса — по паспорту девица. Большая разница, соединяешь ли свой титул с именем разведенной супруги князя Латвина или покрываешь девические приключения купеческой дочери Карасиковой... Жениться на разводке от князя Латвина — это я понимаю, но надо было сидеть в таких тисках, как Латвин чувствовал себя в Петербурге, чтобы жениться на Насте Хромовой... Да... Но это все, в конце концов, теория, а на практике-то я сейчас тоже в тисках, ничуть не более мягких, чем были латвинские... И — все-таки из всех денежных невест эта — наиболее подходящая. Да и наиболее объяснимая... Ведь так хороша, что одною красотою уже заставит молчать всякую клевету... Не то удивительно, что женился, удивительно было бы — около такой красавицы не забыть всех ее грехов за счастье назвать ее своею женою... Я думаю, что мы поладим... Характер безалаберный, сумасшедший... воспитание шалое, купеческое... Москва-матушка... Однако ведь и то надо иметь в виду, что она никогда не чувствовала себя в настоящей мужской руке... У меня не раскачается: на мундштуке поведу... Времена, когда с подобными госпожами жантильничали, слава Богу, прошли. Теперь вон даже философы учат, что, когда идешь к женщине объясняться в любви, захвати с собою хлыст».

---

* Мой дорогой! Что ты еще желаешь?.. (*нем.*)

Хорошо обдумав предстоящую ему роль и план, так сказать, военных действий, граф Оберталь напросился погостить в деревню к Ларисе Дмитриевне, но так ловко напросился, что вышло, будто не он желал туда ехать, а она настояла, и ему, даже с неохотою и ущербом для своих дел, пришлось повиноваться ее назойливому капризу... Что касается Ларисы Дмитриевны, то новый роман быстро стал для нее вопросом — прежде всего — самолюбия. До сих пор весь ее флирт с графом Оберталем строился почти исключительно на уверенности, что граф Евгений — любовник княгини Анастасии Романовны. Уж очень соблазнительно манило желание отбить его у этой своей нежно любимой подруги, с которою ее, лет семнадцати-восемнадцати, судьба и общее положение богатейших невест Москвы связали и нежнейшею показною дружбою, и искреннейшею втайне ненавистью — особенно сильною со стороны Ларисы Дмитриевны. Ведь, несмотря на всю свою красоту, внешнее изящество и остроумие, она в скачке житейского успеха както всегда шла сравнительно с Анастасией Романовной, что называется на спортивном языке, «на полголовы» сзади... Кроме того, сам по себе Оберталь, с его выразительною черкесской красотой, превосходными манерами и большим умением обращаться с женщинами, ей нравился. Опытная чувственность подсказывала ей, что роман с этим барином может быть пикантен, занимателен и разнообразен... Что он метит к ней в женихи, она видела очень хорошо и, в сущности, ничего не имела бы и против того, чтобы выйти за него замуж, если бы вообще хотела выходить замуж... Но к почтенному институту законного брака купеческая дочь Карасикова чувствовала такое беспредельное отвращение, что только теперь перевал за тридцать лет заставил ее серьезно задуматься о необходимости приступить наконец и к этому шагу. Она с удовольствием прожила бы без него и остальную свою жизнь, если бы не боялась старости, потери красоты и одиночества — угрюмого и грязного жребия страст-

ной женщины, которая, пережив свою привлекательность, не в силах, однако, отказаться от мужской любви и начинает приобретать ее средствами унизительными и позорными, покупать за деньги и кончает обыкновенно жизнь свою рабою в лапах какого-нибудь проходимца-альфонса... Примеров тому Лариса Дмитриевна видела вокруг себя великое множество среди вдов, старых дев и покинутых жен из богатого купечества, начиная с собственной семьи, в которой и ее покойница-мать, и ее вдовые тетки — все без исключения — были обираемы кто актером, кто каким-нибудь смазливым адвокатиком, поверенным в делах, кто цирковым гимнастом, а одна так даже иеромонахом... И все это безобразие творилось откровенно, грязно, с чудовищными скандалами, широкою оглаской, ругней, драками, карикатурами в газетах — словом, чаша женского унижения наливалась полною, с краями и выпивалась до дна... И все они, эти злосчастные купеческие бабы-богачихи, жертвы «поздней любви», погибали жалким образом. Большинство спивались, две с ума сошли, одна отравилась, о другой было подозрение, что ее отравили, третья застрелила любовника, офицерика, на двадцать три года моложе ее. Преступление было замято, сведено к самоубийству, чтобы не позорить полка, тем более что старуху тут же на месте преступления разбил паралич, от которого она две недели спустя и скончалась... Взвешивая ожидания и предвестия старости, Лариса Дмитриевна, от природы совсем не глупая, ни за что не хотела дожидаться дряхлого одиночества, которое рано или поздно должно было к ней подкрасться... А всего более пугала ее в перспективах этих та сторона, что она не могла без дрожи внутренней даже вообразить себе: а вдруг она, стареясь, ослабнет характером, станет способна раскисать и разнеживаться, а подлецы мужчинишки, разглядев, что она «сдала», примутся ее обирать? Клянчить денег, подарков, брать без отдачи взаймы, примазываться к делам и предприятиям

ее торгового дела, вообще наносить ущерб ее капиталу, который был хотя и меньше латвинского, а все же Москва справедливо считала его не в один миллион... Большой блеск и шик, в которых всегда являлась Лариса Дмитриевна публично — перед Москвою ли, в крымских ли, кавказских и заграничных своих вояжах, скрывали от неопытных глаз основную черту ее характера. А черта эта была такая, которую, казалось бы, просто-таки нелепо предположить в женщине, столь наглядно швыряющей деньгами, тратящей безумные суммы на туалеты и украшения, щедро покровительствующей артистам, крупно и эффектно благотворящей... Потому что черта эта была — скупость... И именно скупость, а не жадность... Страсть сохранения, а не приобретения. В этом была ее коренная разница с княгинею Настею. Та в деловом размахе не робела никаких трат, когда высчитывала, что они необходимы. Она к деньгам как деньгам, ради них самих не имела ни малейшей жалости. Рубли в ее руках были — как разбойники, бросающиеся на добычу. И — разбойники по призванию, грабящие без разбора, в согласии с пословицей, что «нашему вору все впору». Мания захвата у Анастасии Романовны доходила до явлений трагикомических, а иногда просто-таки отвратительных... До того, что ее серьезно обвиняли втихомолку, будто она, не довольствуясь своими громадными операциями торгово-промышленного характера, занимается потаенным ростовщичеством по баснословным процентам через подставных лиц, между которыми на первом месте называли любимую ее камеристку Марью Григорьевну. До того, что она очень способна была истратить несколько тысяч для того, чтобы выиграть мелкий процесс, осуществлявший ее право на собственность стоимостью в сотни рублей... Вот и сейчас, выдавая замуж сестру, Анастасия Романовна широко разошлась и в приданом, и в предсвадебных тратах, и имение купила молодым, и денег отсыпала им — кажется, вдвое больше, чем было разрешено для Тани не любившим ее по-

койным отцом... А в то же самое время она, уже твердо зная, что Костя Ратомский не уйдет из ее рук и непременно будет ее зятем, бесцеремонно облапошивала его на каждой у него покупаемой картине и была искренно довольна, когда ей удавалось оттянуть с цены хоть сто рублей, которые в ее бюджете вряд ли значили больше, чем в бюджете Ратомского двугривенный... Анастасия Романовна неутомимо обрастала новыми и новыми делами, протягивавшими из Москвы радиус своего захвата и на Дон, и на Крым, и в Бухару, и на Печору. Лариса Дмитриевна пришла бы в священный ужас, если бы ей сказали, что хоть один рубль из ее капитала должен пойти в какое-либо новое дело, не заведенное ее родителями. Развитие старых заведенных дел — правда, поставленных стариками великолепно — она кое-как понимала, хотя и в них на всякое новшество подавалась чрезвычайно туго, с упрямством староверки, увертками и отнекиваниями дикарки, а иногда даже с горькими слезами, громкими и бесцеремонными подозрениями служащих и доверенных лиц в обмане и эксплуатации ее доверия и трогательными жалобами на свое сиротство, в котором-де всякий ее норовит надуть и обидеть... Анастасия Романовна после короткого разговора с толковым и дельным человеком, который внушал ей доверие и умел разъяснить какой-либо новый проект с действительно выгодной стороны, кончала дело в несколько слов, сейчас же посылала за нотариусом для составления контракта и, не морщась, писала многотысячные чеки, — не морщилась и потом, если иной раз тысячи эти пропадали понапрасну в неудачном опыте... Ларисе Дмитриевне директор ее мануфактуры три года не мог втолковать необходимости перейти на электрическое освещение, и она сдалась только после того, как генерал-губернатор на балу невинно спросил ее: той ли системы электричество у нее на фабриках, как у него во дворце? За любезное слово властного лица, за честь принять у себя особу из администрации или получить при-

глашение в высокопоставленный круг Лариса Дмитриевна готова была — хотя бы скрепя сердце — жесточайше потрошить сундуки свои и кубышки, принять чье угодно сомнительное покровительство, скакать в длинные путешествия, кланяться, льстить и унижаться... Анастасия Романовна для китайского императора с места не двинулась бы, прежде чем не учтет: сколько это принесет ей и стоит ли себя беспокоить? Не было дома в Москве, где бы роскошнее и эффектнее принимали гостей, чем у Ларисы Дмитриевны Карасиковой. Но никто никогда из посторонних не гостевал в ее дворце дальше приемных комнат среднего этажа, а настоящая-то жизнь дома между тем шла наверху, в маленьких клетушках, ютивших целое народонаселение какой-то удивительной родни и приживальства. И здесь Лариса Дмитриевна Карасикова являлась совсем не тем Зичевским демоном, каким привыкли видеть ее залы московских симфонических собраний, но — даже страшно приложить к такой красавице такое вульгарное имя! — оказывалась просто-таки бабенкою-колотовкою, Коробочкою в молодости с весьма определенными задатками состариться как раз в ту Коробочку, которой даже Чичиков вынужден был посулить черта. Тут возможен был по часам продолжавшийся визг из-за того, что в среду или пятницу подан был к каше не тот сорт постного масла, что составило на всю честную компанию перебор этак в гривенник, а то и весь пятиалтынный. И иногда из алмазных очей девицы Карасиковой проливались горькие слезы по случаю учиненной кучером Семеном растраты неведомо куда — шутка ли! — целого гарнца овса... И производилось строжайшее следствие, в котором Лариса Дмитриевна была неутомима на розыск и беспощадна на взыскание. И — уж когда она на этой линии обозлится, то тут хоть ты ей на голове кол теши: ничего не слушает, ничего не понимает, никого и ничего не жалеет... Вот должна она, стоя за добро свое, органически должна выместить на ближ-

них своих эту бутылку масла и этот украденный гарнец овса; и, покуда не выместит, до тех пор ничем нельзя ее утешить...

Вся эта двойственность, совсем не редкая именно в московском купеческом быту, совершенно скрылась от петербургских глаз графа Оберталя. Да оно и неудивительно. Разъяснить пред ним Ларису Дмитриевну было некому. Ведь люди светского круга, которых знал граф Оберталь, знали ее тоже лишь как блестящую красавицу фею, в присутствии которой даже и в голову прийти не может нелепая мысль о Коробочке, усчитывающей гарнцы овса и ложки постного масла. Правда, Реньяк, сам москвич до мозга костей, делал скептические гримасы и саркастические замечания, когда при нем кто-нибудь уж очень воспевал идеальное существо прекрасной Ларисы. Но Реньяк — известный скептик, москвич старого дворянского пошиба, отживающий барин, который привык смотреть на новые купеческие слои свысока и с сословным предубеждением, — Реньяку на этот счет нет веры... А Анастасии Романовне давным-давно в голову впало — отделаться от Оберталя, сбыв его в мужья Ларисе Дмитриевне, и таким путем вознаградить его за потери на одной крупной биржевой афере, когда она безжалостно надула графа, от него же выпытав предварительно все нужные сведения, — так безжалостно, что даже самой потом стало совестно. В этих благодетельных целях Анастасия Романовна действовала, как самая усердная сваха, и, конечно, старалась показывать выхваляемый товар как можно более лицом, а не обнажать его изнанку...

Фатум тяготел над Оберталем. Если бы он нагрянул в деревню к Ларисе Дмитриевне всего несколькими днями раньше, то застал бы ее в полном разгаре Коробочкиной суеты, так как, приехав в деревню после долгого зимнего отсутствия, она не замедлила найти всюду чудовищные беспорядки по всем хозяйственным статьям и с утра до вечера грызлась то с управляющим, то со скотницей, то с конюха-

ми. Испортила себе несколько фунтов крови, оплакивая невознаградимые потери этак в общей сумме рублей на пятьдесят, а людей разогнала, оштрафовала и всячески обездолила на добрую тысячу. Но, на счастье ли, на беду ли Оберталя, за несколько дней перед ним Ларису Дмитриевну посетили из Москвы другие гости, притом весьма именитые, знакомством которых она гордилась, и, таким образом, Оберталь нашел ее уже превращенною из молодой Коробочки в великолепную и очаровательную фею. А затем — они остались вдвоем на лоне природы, и роман их с места в карьер пошел к быстрой развязке. Лариса Дмитриевна, как уже говорено было, ничего не имела против того, чтобы выйти за Оберталя, хотя предпочла бы не выходить, сыграв в привычную ей «свободную любовь», без обязательств. Но у Оберталя плотно сидел в голове совет, вбитый ему в ум и память Анастасией Романовной:

— Милый Евгений Антонович, держите с Ларисою ухо востро: помните, что если вы будете ее любовником, то никогда вам не бывать ее мужем...

Поэтому в деревенском tête-a-tête* между девицею Карасиковою и графом Оберталем завязалась довольно странная любовная игра: какое-то хроническое представление трагикомедии между Иосифом Прекрасным и женою Пентефрия. Всегда без удержа чувственная, а теперь и заскучавшая в деревенском уединении, Лариса Дмитриевна буквально вешалась на шею Оберталю. А граф, вооружившись совсем уже не черкесскою, но, скорее, кенигсбергскою, что ли, выдержкою, делал вид, что совершенно ее наскоков не замечает. И, давая искусно и прозрачно понять, что в глубине души пленен ею до безумия, в то же время держал себя с бесстрастием мраморной статуи. И при каждом удобном случае усердно и настойчиво вел разговоры на ту тему,

* Любовное свидание (*фр.*).

что он, потомок рыцарей фон Oберталей, усвоил вместе с их титулом и наследственное рыцарское понимание любви и отношений к женщине. Он решительно не способен к легким любовным чувствам и связям: чем больше он любит женщину, тем святее он к ней относится...

— Ну что вы врете? — оборвала его Лариса Дмитриевна. — А Настька Латвина? Что же вы с нею, молебны, что ли, служили? Воображаю!

Граф Оберталь, подготовленный к этому вопросу, отвечал с видом очень серьезным и сдержанным, что, хотя видимость и московская молва в этом случае против него, но между ним и Анастасией Романовной никогда не было иных отношений, кроме «чисто дружеских» — «по крайней мере с моей стороны», подчеркнул он... И хотя это не совсем удобное признание, но Лариса Дмитриевна такой хороший друг и ему, и Анастасии Романовне, что от нее не стоит хранить этот секрет: то недавнее охлаждение, которое все замечают между ним и княгинею Латвиною, вызвано именно тем условием, что он, заметив, что их отношения начинают принимать как будто окраску несколько фривольную, поспешил отойти в сторону. К этому он был обязан, во-первых, уважением к Анастасии Романовне, которую он никак не считает удобным предметом для легкой интриги; а во-вторых — она, хотя и врозь с мужем живет, все-таки княгиня Латвина, а князь Латвин — его старый друг, однополчанин, товарищ... В этих условиях граф решительно не считал возможным какое-либо сближение с его, даже не разведенной, женой... Даже если бы и была страсть... Но не было не только страсти, но и простой влюбленности... Так, вежливый салонный флирт светского человека и — может быть — легкий каприз избалованной женщины, привыкшей к безусловному поклонению и повиновению... К сожалению, Анастасия Романовна, по-видимому, не оценила мотивов, руководивших графом, потому что возымела на

него скрытое неудовольствие, которое — граф с сожалением должен сказать — она даже выразила в форме мстительной и очень для него прискорбной... И тут он рассказал Ларисе Дмитриевне ту злополучную операцию, на которой Анастасия Романовна его действительно «нажгла»...

До сих пор Лариса Дмитриевна слушала нельзя сказать, чтобы с большим доверием. Слыхивала она на своем веку рыцарские песни-то. И почище графа трубадуры певали. Но язык цифр для нее был убедителен, а то обстоятельство, что Анастасия Романовна отомстила за любовную неудачу, стукнув несговорчивый предмет своего увлечения по карману, показалось ей и вполне естественным и вполне в характере возлюбленной подруги. С этого разговора к влечению, которое и без того уже тянуло Ларису Дмитриевну к Оберталю, прибавилось еще новое: непременно победить человека, который «наплевал» на Настьку Латвину, и тем доказать Настьке Латвиной, насколько она, Лариса Карасикова, обворожительнее и увлекательнее и как напрасно она, Настька, всегда над нею возвышалась и первенствовала. Под взаимодействием этих двух влечений графу Оберталю приходилось со дня на день все больше и больше замораживать свою кенигсбергскую выдержку, потому что Лариса Дмитриевна повела на него амурную осаду — правильную, беспрерывную и беспощадную. Но человек, которому во что бы то ни стало надо добыть полмиллиона, владеетсвоими страстями лучше всякого пустынника на ложе из кремней и терновых колючек. Граф обнаружил выдержку сверхчеловеческую и тем более удивительную, что Лариса Дмитриевна действительно начала ему остро и требовательно нравиться как женщина и предостерегающая фраза Латвиной порою была близка к тому, чтобы потерять над ним силу и власть... В конце концов ему удалось-таки сломить московский скептицизм Ларисы Дмитриевны и убедить ее в своем отвращении к легкой любви и в непременном решении не сближаться

ни с одною женщиною, если он ее уважает, кроме той, единой, любимой, которая должна стать его женою. Убедил настолько, что когда княгиня Анастасия Романовна Латвина, обвенчав в Симбирске Таню с Ратомским, возвратилась в Москву круговым путешествием через Каспий, Кавказ и Крым, то в числе первых визитов, полученных ею, был визит счастливых молодоженов — графини Ларисы Дмитриевны и графа Евгения Антоновича фон Оберталей... Нельзя сказать, чтобы граф Евгений Антонович приятно провел время в течение этого визита: обе дамы воспользовались случаем наговорить друг другу с самым ласковым видом самых отчаянных колкостей и дерзостей, после чего Лариса Дмитриевна отбыла в твердой уверенности, что наконец-то она уничтожила Настьку. А Анастасия Романовна, призвав верную свою Марью Григорьевну, хохотала над глупою злостью Ларисы и нелепым положением ее молодого супруга до тех пор, пока не доложили ей о новом госте, да таком интересном и важном, что она, оправляя на ходу прическу, мгновенно выбежала ему навстречу, радостная, с сияющими глазами, с дружелюбно протянутыми вперед обеими руками...

Гость, ожидавший ее, мускулистый, среднего роста человек, стриженный бобриком и в бородке a l'Henri Quatre*, поражал при первом взгляде на него повелительною проницательностью острых, внимательных глаз и железною резкостью страстного рта, вооруженного сильно развитыми, хищными челюстями. В костюме и манерах господина была заметна предумышленная смесь европейского джентльменства с простецким русачеством; сквозь парижский лоск просвечивал замоскворецкий купец. Это был мануфактурист Антипов — тот самый, первомайские беспорядки на фабрике которого так перебаламутили Москву, прославили девицу Волчкову и от-

* Генрих Второй (*фр.*).

правили в ссылку Дину Чернь-Озерову. «Знаменитый Антипов» — царек городского самоуправления, «купец с государственным умом», как величали его поклонники, «Дионисий, тиран сиракузский», как ругали его враги.

Слегка наклонив голову к своей даме, Антипов говорил ей мягким баритоном, почти не умеряя громких, самоуверенных интонаций — интонаций умелого, привычного оратора:

— Вы, кажется, только что расстались с Ларисою Дмитриевною Карасиковою... то есть с графинею Оберталь, — поправился он. — Никак не могу привыкнуть к ее титулу. Бог знает что! Были сто лет купцы Карасиковы, почтенная заслуженная фирма, знали ее по всей России... и вдруг — графиня Оберталь! Почему графиня? Почему Оберталь? Какое отношение имеют какие-то Обертали, съевшие от голодухи последних мышей в своей лифляндской башне, к карасиковским мучным лабазам? Почему нищая фамилия Оберталей выживает с вывески этих лабазов почетное купеческое имя Карасиковых? Нелепо! Глупая мода, глупая бабья погоня за титулами...

Латвина перебила его шутливым упреком:

— Вы забываете, Петр Павлович, что я тоже титулованная.

— Вы меньше действуете мне на нервы, потому что я не знал вас до замужества, познакомился с вами уже как с княгинею Латвиною. Но — Лашка Карасикова! Лашка!! Я с нею в горелки играл, флиртировал, с братьями ее в университете вместе был, чуть не «ты» ей говорил... и вдруг Лашка — не Лашка, а, ни село, ни пало, графиня, ее сиятельство!.. А одобрять, конечно, я и вас не одобряю. У вас миллионам счета нет; зачем вам титул? А ради титула вы вышли Бог знает за кого, тотчас же уволили супруга в бессрочный отпуск и, я думаю, который уже год сами не знаете, где он, что с ним... Вы не сердитесь, что я вам как бы нотацию читаю?

Латвина засмеялась.

— Нет... ведь это уж как-то принято в Москве, что вам — неизвестно по какому праву — все позволено.

Антипов продолжал:

— Тщеславие, женская страсть к побрякушкам, к громкому звуку...

— Однако согласитесь, что княгиня Латвина звучит красивее, чем Настасья Хромова.

Он возразил:

— Да ведь это звучит красивее, потому что так натолковали нам князья Латвины да графы Обертали, а мы, молодое сословие, сдуру еще поддаемся гипнозу, верим исторической мороке... капитолийских гусей.

— Послушать вас, Петр Павлович, мы с Лашею сделали чуть не mésalliance*.

Глаза Антипова блеснули.

— А вы думали, что вы сделали «партию»? — едко сказал он. — Оказали честь себе и своему сословию? Полно вам! Вы это, не подумав, пошутили. Вы слишком умная женщина, чтобы не понимать, что далеко не заслуга примазать к историческим... — да, да, не улыбайтесь! к историческим, — потому что у них тоже своя столетняя родословная, — купеческим миллионам имя и хищную лапу какого-нибудь титулованного авантюриста. Разве можно и честно дарить миллионные состояния только за то, что тот граф, этот князь и его прадедушка сек на конюшне вашего дедушку?

— Да у меня нет исторических миллионов, — улыбалась княгиня. — Я плебейка даже в купечестве. Мой тятенька землю пахал…

— И напахал вам семь миллионов. А князь Латвин, за которого вы вышли, вероятно, семь миллионов прожил и нанялся к вам в приживальщики по званию номинального супруга. Как же не mésalliance? Нет, Анастасия Романовна! Пора нашим купеческим женщинам взяться за ум и беречь свое сословное достоинство.

---

* Неравный брак (*фр.*).

— Пусть мужчины покажут пример.

— Не попрекайте: показываем. Мы растем, Анастасия Романовна, не по дням, а по часам. Мы — молодое будущее России. Нам завидовать некому, не за кем гнаться: пусть нам завидуют, за нами гонятся! Какая нам нужна аристократия? Мы сами себе аристократы. Антиповы, Холодовы, Полушубкины, Карасиковы... ха! Эти «ваши степенства» перевесят любое «ваше сиятельство».

Анастасия Романовна слушала Антипова — мало с сочувствием, с благоговением, но все-таки лукаво возразила ему:

— А кто в третьем году сам едва не женился за границею на княжне, да еще — чуть ли не светлейшей?

Антипов гордо поднял голову.

— Так это другое дело. Не я лез в титулованные, а титулованную брал в купчихи. Да и то рад теперь, что разошлось это дело. Ну ее! Али у нас, в Замоскворечье, девичьего товару не стало?

— Вы фанатик! — рассмеялась княгиня.

Улыбнулся и Антипов.

— Не одним же Оберталям гордиться своим сословием.

— Молодец же вы! — искренно воскликнула Анастасия Романовна.

— Рад стараться! — с такою же веселою искренностью отозвался Антипов.

— Счастливая будет ваша жена, — задумчиво сказала Латвина, — большой вы... хорошо иметь такого мужа.

— А кто вам велел выходить за Латвина? — полусерьезно возразил Антипов. — Будь вы свободны, я бы не задумался ни минутку: шапокляк под мышку и — предложение руки и сердца.

Анастасия Романовна внимательно посмотрела в его умные, смелые глаза и покачала головою.

— Нет, я бы за вас не пошла.

— Чувствительно благодарен! За что такая немилость?

— Не подходим мы с вами друг к другу. Или, вернее, уж слишком подходим. Точно брат и сестра. Вы — деспот, я — не из мягких. А, знаете, два медведя в одной берлоге...

Антипов перебил ее — у него вообще была властолюбивая замашка не дослушивать чужих слов, когда он предугадывал мысль собеседника и знал, что со своей стороны на нее возразить.

— А я, напротив, думаю, что, если соединить в одном труде два характера, как ваш да мой, мы, просто не знаю, чего не достигли бы...

— Построили бы башню до неба и воссели на ней богами?

— А там началось бы смешение языков, — ответил Антипов в тон шутке. — Но вы замужем, значит, не о чем и толковать. К тому же, я слышал, вы влюблены... И опять в дворянина, разбойница!

Анастасия Романовна сделала комическую ужимку.

— Уж такое попущение! — вздохнула она.

— Но на этот раз, впрочем, я не решаюсь осуждать вас: Алябьев — интересный и, кажется, порядочный человек, не чета Латвину или Оберталю... Вот что, — понизил он голос, — я хочу вас предупредить. Вы знаете мое расположение к вам... Но, чур! Чтобы мои слова были — как в могилу.

Княгиня прошептала с комическим пафосом:

— Коммерческая тайна.

Взгляд ее серых глаз сделался острым и сторожким. Между бровей легла морщинка. Она сразу постарела на десять лет; что-то мужское появилось в ней...

Антипов тоже почти шептал:

— Вы имеете деловые отношения к Оберталю? К нему, а не к ней? Вы знаете, конечно, что это большая разница...

— Имею... — протянула княгиня.

— На много заинтересованы?

— Не знаю в точности, — сфальшивила Анастасия Романовна. — Я ведь сама не вхожу в дела, все мой главный министр, Козырев Артемий Филиппович...

Антипов остановил ее с грубою откровенностью:

— Нет, вы мне очков не втирайте и вашего Артемия Филипповича не подсовывайте: я до мифов не охотник. Знаем мы, как вы сами в дела не входите. Я ведь не взаймы у вас прошу... Так — на сколько? Тысяч на двести, на триста?

— Да, в этом роде.

— Лик-ви-ди-руй-те...— медленно сказал Антипов.

В глазах Анастасии Романовны сверкнул странный, как будто радостный огонек.

— Что случилось? — спросила она с притворным испугом.

— Пока ничего, но случится... и очень скоро.

Он многозначительно прищурил один глаз.

— «Отрада домовладельца»... понимаете?

— Неужели ревизия? — шепнула княгиня.

Антипов кивнул головою.

— И еще какая! Из Петербурга... тузовая!

— Ваша инициатива?

Он улыбнулся холодно и самодовольно.

— Да, по моему представлению. Черт знает какие злоупотребления в этой «Отраде»! Я не успокоюсь, пока не посажу на скамью подсудимых всю правленскую компанию... Во всяком случае, теперешним заправилам Гроссбухам и tutti quanti* — шабаш! А что значит это для афер графа Оберталя, их благоприятеля, вы соображаете?

— Еще бы! — вздохнула Анастасия Романовна.

— Потеря последнего кредита и не-со-сто-я-тель-ность... Граф лопнет, как мыльный пузырь. Он — банкрот и даже не несчастный. Пусть благодарит Бога, если его признают нео-

* Им подобные (пренебрежительно) (*ит.*).

сторожным, а попадется несговорчивый истец, закатает его сиятельство и в злостные...

По отъезде Антипова Анастасия Романовна распорядилась, чтобы больше никого не принимали, и немедленно вызвала из конторы своего рыжебородого управляющего, Артемия Филипповича Козырева. С мудрецом этим она долго просидела, запершись в кабинете, за обсуждением новости, которую шепнул ей великий московский человек... В катастрофе, ожидавшей графа, была для нее и смешная сторона:

— Ха-ха-ха? то-то, однако, сюрприз Лариске!.. А графа хоть и жаль — да поделом! Не суйся в воду, не спросясь броду... Туда же — подрядчик! Ну дворянское ли это дело?!

Но, когда лес рубят, то щепки летят, и Анастасия Романовна с Козыревым немедленно принялись снаряжать подводы, чтобы, когда начнется рубка Оберталева леса, очутиться на месте ее первыми и забрать щепки самые крупные, лучшие и выгодные. Собственно говоря, Анастасия Романовна могла в любую минуту задушить Оберталя теми долговыми обязательствами, которые она на нем имела. Но это был еще не совсем выжатый лимон: имелся в нем кое-какой сок, к которому Анастасия Романовна имела аппетит — обдуманный и резонный. Правда, вопрос о Дуботолковском направлении магистрали Никитской железной дороги — через совместные хлопоты Оберталя, купца Тихона Постелькина и присяжного поверенного Авкта Рутинцева и благодаря покровительству всемогущего воротилы петербургских дел по «внутренней безопасности», тайного советника Илиодора Алексеевича Рутинцева — был решен окончательно в положительном смысле и, следовательно, в безусловно желательную для Анастасии Романовны сторону. Но в этом деле граф ей еще был нужен, и компрометировать его, прежде чем он не окажет все возможные от него услуги, она находила не расчетливым. Тем более что была совершенно уверена, что уж ее-то деньги за Oберталем никак не пропадут. Каких-либо других долгов мужа новая графиня Оберталь, урожденная Лариса Карасикова, мо-

жет быть, и не заплатит, а уж ее-то, Анастасии Романовны, снисхождением пользоваться не захочет: амбиция, ревность и ненависть не допустят. Поэтому вопреки предостережению Антипова Анастасия Романовна и Козырев пришли к решению — не только оставить на кредите Оберталя суммы, ранее им полученные, но и в случае надобности поддержать его небольшим кредитом еще некоторое время... Решение как будто бы чрезвычайно великодушное, но настоящий, внимательный и опытный деловик не задумался бы определить эту, ожидавшую Оберталя, поддержку тою самою, которую веревка оказывает повешенному... Козырев и Латвина подсчитали все долги Оберталя, все возможные для него источники новых кредитов и пришли к убеждению, что, как бы он ни вертелся, как бы ему ни везло, а выполнить подряд, им получаемый, для него будет чудом. Он, как гимнаст с ношею, идет по канату над пропастью, и достаточно самого малого толчка, чтобы он с каната рухнул и погиб... А что толчок будет, и жестокий, — за это ручалась ревизия, выхлопотанная Антиповым. Значит, когда акробат свалится, задача будет в том, чтобы вовремя подхватить и унаследовать его драгоценную ношу — этот его подряд, громадные выгоды которого княгиня Настя представляла себе совершенно точно и знала, что в ее привычных и практических руках он может принести прибыли, гораздо более щедрые, чем даже ожидает сам Оберталь... Раньше она не перебила подряда у Оберталя только потому, что, во-первых, граф был уж очень ей нужен для петербургских хлопот о железной дороге, уход которой от Дуботолкова на Вислоухов разорил бы принадлежавший ей Тюрюкинский завод; а во-вторых и в главных, потому, что были у нее в это время незавершенные предприятия, которые обещали выгоды еще более надежные и крупные при требовании гораздо меньших затрат... Теперь некоторые из предприятий этих уже определились настолько выгодно, что капитал освободился и требовал новой работы, нового применения. План Анастасия Романовна составила такой. Поддержать Оберталя настолько, чтобы он в исполнении своего

подряда оказался от нее кругом зависимым и, следовательно, отчасти уже и теперь работал бы на нее. А когда подряд будет Оберталем исполнен в самой большой и дорогой части своей и готов к окончанию и к сдаче в казну, тут-то вот через когонибудь из своих агентов нанести кредиту графа Евгения Антоновича такой жестокий удар, что — хочет не хочет — граф должен будет к ней же прибежать за помощью против конечного разорения и позора... Ни конечное разорение графа, ни позор его Анастасии Романовне ни на что не были нужны, и она уже заранее решила, что и выручит его, и отпустит гулять на все четыре стороны и наслаждаться пылкою любовью молодой своей супруги, но — только отберет подряд. Графу, таким образом, предоставлялось найти свое «золотое дно» и заплатить все расходы, исполнить весь труд по его находке и разработке, а готовые результаты — отдать Анастасии Романовне по той цене, которую она продиктует... И это еще Анастасия Романовна в глубине души своей считала великодушием, так как — «ведь, ежели уж оченьто притиснут, так и даром можно взять, только за цену своих расходов»... В расходах, то есть в новых кредитах Oберталю и в соучастии его делам, Анастасия Романовна решила идти до ста тысяч рублей, то есть — если сбудутся ее планы по захвату подряда — сцапать последний всего за двадцать процентов ожидаемых от него прибылей...

IX

Брак с Ларисой Дмитриевной Карасиковой, конечно, оживил кредит графа Евгения Антоновича Оберталя, однако не слишком. Петербург поверил, что граф, женясь на миллионерке, сам стал миллионером, но Москва, которая на сей почве всякие виды видала, не очень-то поверила и ждала, не убеждаясь даже тем очевидным доказательством, что граф с большим блеском и до последней копейки расплатился со своими холостыми долгами. Ильинка и Таганка превосходно знали, что покойный родитель

Ларисы Дмитриевны Карасиковой обусловил в завещании своем крупный капитал, который был предназначен Ларисе в виде приданого и только со дня ее замужества; раньше она распорядиться им никак иначе не могла. Это был, так сказать, капитал на приобретение законного мужа с треском и блеском, к которым покойный родитель Ларисы Дмитриевны питал такое же страстное влечение, как и дочка его, а хорошо изучив темперамент по-следней, предвидел, что приобрести мужа громкого и блестящего для нее будет дело недешевое, и, так как она скупа и над каждою копейкою трясется, то, пожалуй, на свой собственный счет она никогда и не выйдет замуж. Старик был совершенно прав, потому что — сколько бы Лариса Дмитриевна ни распевала песенок в похвалу и славу своей девичьей свободы, но ее разборчивость к женихам и упорное нежелание выйти замуж в значительной степени обусловливались также и тем, что ей и этих-то денег, ассигнованных ей на будущего мужа, вчуже до смерти жалко было. И надо было, чтобы Оберталь распалил ее пылкие страсти до совершенной уже невменяемости, чтобы она наконец преодолела эту жалость и этот страх и закрыла глаза на капитал, который пятнадцать лет хранила, подобно собаке на сене: сама не ела и другим не давала... Учитывая все это по совокупности, Ильинка и Таганка подсчитывали платежи графских долгов и с насмешкою себе на уме поговаривали:

— Покойниковы денежки плачут... Это — как быть должно, а — что будет вперед, поживем да посмотрим, а посмотрим — так и увидим...

Благодаря уплате долгов генералу Долгоспинному было легче настоять на том, чтобы граф Оберталь получил свой желанный подряд. Но его надо было обеспечить установленным залогом; сумма значительно превышала маленький личный капитал графа. Залог он внес. Убедившись в реальности подряда, Гроссбух заставил «Отраду домовладельца» раскошелиться на ссуду Обертали под пустопорожнее место его фантастического ресторана — и хотя получил граф не полмиллиона, а всего

двести тридцать тысяч, да и из тех Гроссбух отщипнул изрядный процент куртажа за комиссию, — однако извернуться было можно. Но деньги становились уже нужны не для одного залога, но и для открытия работ по подряду, для задатков лесовщикам, для законтрактования рабочих рук.

— Без двухсот тысяч рублей Oберталю не подняться с места, — говорили опытные дельцы.

Граф поклонился жене. Лариса Дмитриевна заплатила более четырехсот тысяч рублей по долгам своего жениха — личным и фамильным. Сумма достаточная, чтобы, заплатив ее, считать мужа приобретенным в собственность. И Лариса считала. Ей нравилось, что Евгений Антонович, собственно говоря, «золотой нищий», что в тот день, когда он посмеет взбунтоваться против нее, ей стоит лишь уничтожить данную ему доверенность на управление ее имениями, и великолепный, всеми любимый и даже немножко уже уважаемый граф Оберталь сразу обратится в нуль. Она хорошо понимала, что даже в личных делах своих и аферах, ей не известных, граф только и живет, и дышит, что ее кредитом: верят не Oберталю, а мужу Ларисы Карасиковой.

— Профершпилится мой барин, — говорила она с досадою княгине Анастасии Романовне Латвиной, — плати потом за него...

— По закону ты не обязана, — насмешливо возражала Латвина.

— Знаю; да по Москве-то какой разговор пойдет? Ты первая такого накричишь... Без всякого закона заплатишь.

Когда граф Евгений Антонович для одного из первых своих коммерческих дебютов потерял около семнадцати тысяч рублей на участии в небольшом компанейском рафинадном заводе Черниговской губернии и попросил жену внести за него эти деньги, чтобы спасти дело, между супругами вышла резкая сцена.

— Зачем ты берешься за коммерческие дела, если не понимаешь их? — язвила Лариса Дмитриевна.

— Почему это я их не понимаю?

— Однако ты потерял семнадцать тысяч.

— Потеря временная. Теперь кризис. Не я один — все теряют. На будущий год поправимся с огромным процентом.

— Вот на будущий год и войти бы тебе в дело. А зачем же ты пошел в него, когда кризис и все теряют?

— Ах, Боже мой!

— Нечего фыркать на меня! Очень красиво: прогорел, выручай тебя из петли, да еще фыркаешь.

— Но мог ли я предвидеть и неурожай свеклы, и киевские интриги, и...

— Надо было предвидеть. Настоящий купец предвидел бы.

— С чем его и поздравляю.

— И стоит поздравить. А ты барин — барин, а не купец. И я этому очень рада. Потому что я шла замуж за барина, а не за купца. Кабы мне нужен был муж-делец, я вышла бы за кого-нибудь из Холодовых, Полудовых, Полушубниковых... Мало ли их сваталось! Но я искала мужа не для дел, а для приятной жизни. И если что не нравится мне в тебе, так это — твоя деловая жадность. Ну чем ты недоволен? Чего тебе не хватает? Неужели моего капитала мало на нас двоих? Право, стыдно, Женя. Ведь меня считают в семи миллионах — шутка ли?! Всех денег со света не ограбишь в свой карман. Да уж если грабить, так и грабить надо умеючи. А то пошел наш Федя с дубинкою на большую дорогу, да позабыл, что у дубинки два конца, и ухлопали Федю дубинкою.

И в то же самое время, когда через Москву следовал на юг полк, где до брака служил Оберталь, и граф задумал дать бывшим товарищам праздник в своей подмосковной, Лариса Дмитриевна с искренним удовольствием подарила мужу на этот случай двадцать тысяч рублей. Ее контора оплачивала аккуратнейшим образом счета «Яра», «Стрельны», «Эрмитажа», где Оберталь давал своим друзьям и «нужным людям» пиры, о которых кричала вся Москва. В одну из своих петербургских поездок Евгений Антонович вдребезги проигрался

знаменитому шулеру Матутичу. Лариса Дмитриевна не только не попрекнула мужа, но даже ощутила некоторую гордость:

— Вон он у меня какой! с Матутичем играет... Говорят, этому Матутичу сам принц Уэльский проиграл триста тысяч франков...

Словом, Евгений Антонович имел право и возможность тратить сколько ему угодно на joie de vivre*, в какие бы похоти ни сложила ему эту «прелесть жизни» капризная, избалованная фантазия. Однажды, сидя в балете, он громко рассмеялся.

— Что ты? — удивился его сосед, Владимир Павлович Реньяк.

— Мне пришла в голову дикая мысль: что, если я возьму на содержание Мстиславлеву?

— Лариса Дмитриевна выцарапает тебе глаза.

— Ты ее не знаешь. Напротив, она будет в восторге и с удовольствием станет платить Мстиславлевой — через контору, разумеется, — по моим ордерам. Вот свяжись я с какою-нибудь кордебалетною «от воды» — тогда, пожалуй, глаза действительно в опасности. А то — содержатель Мстиславлевой! шику-то, шику-то сколько!.. «Вы знаете Оберталя?» — «Ну еще бы! это — который женат на Карасиковой и живет с Мстиславлевою... Ха-ха-ха! Parlez moi de ca!..**»

Острота разошлась по Москве, достигла Ларисы Дмитриевны. Она злилась, кусала губы и думала о муже: «Ну погоди ты у меня ужо!»

Теперь, когда муж пришел к ней просить денег для подряда, она вся еще кипела этим злом на него и отказала наотрез.

— Не дам.

— Почему, Лариса? Разве ты мне не веришь?

— В делах? Ни на вершок.

---

* Радость бытия (*фр.*).

** Скажите мне об этом!.. (*фр.*)

— Спроси кого хочешь, Лариса, есть же в купечестве люди, кому ты веришь...

— Еще бы!

— Всякий скажет тебе, что этот подряд — золотое дно...

— Тем лучше для тебя, но я денег все-таки не дам.

— Это каприз, Лариса, и злой каприз.

— Пускай каприз.

— Ты лишаешь меня возможности сделать себе состояние.

— А какая мне радость, что у тебя будет свое состояние?.. Знаем мы этих мужей при собственных капиталах, видывали!.. то-то сокровище! совсем не желаю такой радости!..

— Лариса!

* * *

— Ну как я дам вам денег, граф? — хохотала Латвина, лежа на кушетке в своем кокетливом будуаре, между тем как Оберталь тоскливо шагал из угла в угол. — Лариса и без того меня ненавидит.

— И пускай. Вам-то что? — насильственно улыбнулся Евгений Антонович. — Я знаю: хорошенькой женщине нет ничего приятнее, как если ее ненавидит другая хорошенькая женщина.

— Да ведь это — когда по ревности, граф, а тут — фи! — денежные счеты.

— А вы воображаете, что она не ревнует меня к вам?

— Ха-ха-ха!

Оберталь присел на кушетку у ног княгини.

— Если б вы знали, сколько сцен я вынес из-за вас!

— Ах, бедный!

— Она убеждена, что я ваш любовник. А если, говорит, этого нет теперь, то было раньше.

Латвина потянулась на кушетке...

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — хладнокровно возразила она.— Мало ли что, где, когда и с кем было, да

прошло и быльем поросло... Так, значит, надо дать вам денег, граф? Непременно? — ласковее спросила она.

Оберталь повеселел.

— Дайте, Настенька! — искренно попросил он, взяв Латвину за руку.

— А с какой стати, Женечка?

Она посмотрела на него лукавыми глазами.

— Уж разве в память прошлой дружбы? А?

— Ну хоть в память прошлой дружбы.

— Хорошо, будь по-вашему. Заезжайте завтра к Артемию Филипповичу.

При этом имени расцветший было граф опять увял и, состроив неприятную гримасу, поблагодарил Латвину гораздо холоднее, чем заслуживала обещанная услуга. Артемий Филиппович Козырев, главный управляющий княгини Латвиной, был ее щитом и козлом отпущения во всех щекотливых денежных операциях. Княгиня не отказывала никому, кто просил у нее взаймы, но когда заемщик являлся в латвинскую контору пред суровые очи рыжебородого Артемия Филипповича, то в девяти случаях из десяти он слышал:

— Виноват-с. Сейчас никак невозможно. Прошу повременить.

— То есть — сколько же повременить? Если час, другой — я подожду...

— Нет, вы зайдите этак недельки через три...

— Бог с вами, Артемий Филиппович, мне деньги нужны сегодня вечером!

— Немыслимая вещь-с.

— Но княгиня приказала...

— Мало ли что приказывает княгиня! Разве княгине известно наличное состояние кассы? У нас срочные платежи.

— Так не выдадите?

— Видит Бог, не могу-с.

— Я буду жаловаться княгине, что вы отказались исполнить ее прямое распоряжение.

— Сколько угодно-с. Я пред ними чист. Нет свободных денег в кассе, а на нет, милостивый государь, и суда нет.

Заемщик летел объясняться с княгинею, кипятился, кричал:

— Помилуйте, Анастасия Романовна, ведь это же Бог знает какое своеволие. Вы невозможно распустили своего Козырева; он просто смеется над вашими приказаниями.

— Голубчик, — мягко возражала Латвина, — клянусь вам, вы ошибаетесь. Артемий Филиппович — самый исполнительный человек в мире и предан мне, как абиссинский раб. Если он не слушает моего приказа, значит, у нас действительно мало денег. Я ведь — вам известно — сущая бестолочь в этих делах, никогда не знаю, сколько там у нас... Nostro — loro, loro — nostro...* темна вода в облацех небесных, а скука страшная. Да лучше всего позовем сюда самого Артемия Филипповича и допросим, в чем дело.

Являлся Козырев, мрачный, суровый, сверкающий огненной бородой.

— Артемий Филиппович! Бога вы не боитесь! Я прошу вас выдать господину Ельникову тысячу рублей, а вы говорите: денег нет.

— Нет, ваше сиятельство.

— Сколько же у нас в кассе?

— Не стоит и говорить, ваше сиятельство: совсем не имели получений в этом месяце.

— Прелестно! — воскликнула княгиня. — А я-то воображаю, что у меня денег куры не клюют... Слышите, monsieur Ельников?

— Слышу, — уныло отозвался заемщик.

— Но, Артемий Филиппович, я надеюсь, что по крайней мере на жизнь-то, на мои личные расходы у нас довольно денег?

— Суммы вашего сиятельства неприкосновенны.

— Так и дайте господину Ельникову из этих сумм.

* Наше — им, их — нам... (*лат.*)

— Не могу, ваше сиятельство.

— Но я приказываю.

— Не могу-с. Вам самим потребуются деньги: откуда я вам тогда их возьму? У нас каждая копейка на счету и в деле. Не могу-с. Я в счетах спутаюсь. Уж лучше вы извольте меня уволить.

Княгиня бранилась, топала ножкой — Козырев оставался тупо-неумолим. Наконец она гнала его вон и извинялась пред заемщиком:

— Простите меня, голубчик. Я поставила вас в неловкое положение. Мне ужасно совестно. Но вы сами видите: что я могу сделать? Это такой кремень, такой педант!

— Не понимаю, что за охота вам быть в рабстве за свои же деньги? — возмущался заемщик. — Ведь, взглянуть со стороны, не Козырев вам служит, а вы Козыреву. Я бы на вашем месте давно прогнал этого Артемия Филипповича.

— Ай нет! что вы говорите? Он груб и скуп, но по крайней мере знает свое дело и честный человек. У него ни одна копейка не пропадет. Я верю ему безусловно.

Впрочем, было бы и мудрено пропадать копейкам у этой несведущей и нерасчетливой княгини. Артемию Филипповичу часто приходилось получать от нее записочки в таком роде:

«Проверяя отчет по Плавдинскому заводу, заметила просчет: не внесены в доход триста двадцать рублей за старый локомобиль, который мы продали в лом маклаку Куприянову. Как вы просмотрели такую небрежность? Пожалуйста, будьте внимательнее, а плавдинскому директору напишите, чтобы он оштрафовал бухгалтера».

— И как, она, дьявол, помнит все эти пустяки?! Вот памятища-то! — изумлялся Козырев и с досадою, и с восторгом; он благоговел пред своею хозяйкою и подобно многим считал ее коммерческим гением.

При таких условиях понятно, что отсыл к Артемию Филипповичу не возбудил в Обертале ни особого восторга, ни

радужных надежд. Однако он ошибся. Козырев принял его чуть не с распростертыми объятиями.

— Денежки готовы, граф... С утра дожидаются вашего сиятельства.

— Но мы еще не говорили об условиях...

— Помилуйте, граф! какие условия? Анастасия Романовна строжайше запретила брать с вас проценты... Напишите обыкновенный вексел
ек — и кончено дело.

— Я очень тронут, но...

— Сосчитаемся, граф! Мы — вам услугу, а вы — нам. Вот и сейчас, сказать правду, есть к вам маленькое дельце...

«Маленькое дельце» состояло в том, что, давая графу двести тысяч рублей с рассрочкою на три года и без процентов, Латвина требовала, чтобы он заключил с нею контракт на поставку лесного материала с ее дачи на Десне.

Граф опешил.

— Но эти дачи — черт знает как далеко от линии.

— Где же далеко, граф? Всего шестьдесят три версты, сплавная река...

— Хорошая сплавная: две недели половодья, а потом ее куры вброд переходят! Разве я не знаю, что эти дачи не дают вам дохода именно по бездорожью? Мне придется разориться на подводы. Нет, уж лучше вы, Артемий Филиппович, возьмите с меня прямо и откровенно хороший процент.

— Строжайше запрещено княгинею.

Оберталь отправился к Анастасии Романовне, но та приняла его, кислая, расслабленная, в жесточайшей мигрени, не стала его слушать и даже уши заткнула.

— Ничего не знаю и знать не хочу. Какие-то проценты, плоты, подводы... какое мне дело? Отвяжитесь от меня, Женечка... У меня виски лопнуть хотят, а вы — с подводами!

Деньги были нужны до зарезу. Оберталь заключил контракт. Подсчитав плоды этой операции, он убедился, что Латвина отстригла от будущих барышей его подряда не ме-

нее пятнадцати процентов и что на двухстах тысячах, занятых им, по-видимому, так льготно, он теряет по тяжелому контракту тысяч до восьмидесяти.

* * *

Только вступив в подряд, Оберталь отдал себе отчет, какая чудовищная машина — дело с миллионным размахом и чаемой полумиллионной прибылью. Деньги Латвиной растаяли в подряде в два месяца. Все казенные льготы, какие могло доставить Оберталю покровительство Долгоспинного, были получены, все ссуды взяты, а подряд все разевал свою пасть, как ненасытный Молох.

Вначале, когда Оберталь только что стал во главе подряда, он не мог жаловаться на недостаток кредита. В банках, конторах, меняльных лавочках Ильинки и Кузнецкого моста считать умеют. Предприятие Оберталя было разобрано, взвешено, признано верным, а граф — временно кредитоспособным даже и сам по себе, помимо расчетов на капиталы и нежные чувства его супруги. Под будущие свои блага, хоть и не за нелегкие проценты, Евгений Антонович доставал крупные суммы. Векселя писались и переписывались, учитывались и переучитывались; чтобы платить проценты по старым долгам, делались долги новые. По Москве пошел шепот, что граф Оберталь «запутывается». Кредит между тем был нужен ему с каждым днем все чаще и шире. Казалось бы, чем ближе становилось осуществление подряда и сдача его казне, тем легче должен был доставаться кредит. На самом же деле выходило совсем наоборот. В последнее время граф добывал деньги все с большим и большим трудом и на жестоких условиях. Когда и отчего утратил он кредит, он решительно не мог сообразить и терялся в догадках: даже стал подозревать здесь интригу своей самолюбивой и озленной Ларисы Дмитриевны.

А время, как нарочно, случилось тугое. С одного участка линии телеграфировали о забастовке рабочих. С другого — о раз-

ливе реки, унесшем свезенный к обработке лес. С третьего, наоборот, о небывалом обмелении обычного водного пути и, следовательно, о необходимости заменить дешевых плотовщиков дорогими возчиками. Один законтрактованный графом лесовщик умер, другой обанкротился, и вместо закупленного, готового к сдаче материала пред Оберталем очутились два спорных имущества с перепутанными претензиями наследников и кредиторов. Граф подсчитал: ему нельзя было обернуться без пятидесяти тысяч рублей. В банках и у солидного купечества он встретил либо прямые отказы, либо уклончивые ответы — лишь бы проволочить время, а денег все-таки не дать. У Латвиной в присутствии графа систематически разбаливалась голова, и стоило ему заикнуться о своих нуждах, как Анастасия Романовна начинала стонать:

— После, граф, дорогой; ради Бога, после. Я и всегда мало смыслю в этом, а сегодня совсем невменяема: адская боль...

К счастью для Оберталя, через Москву проехал ревизовать что-то где-то Алексей Борисович Долгоспинный. Сановник этот не любил задумываться. Узнав о затруднениях племянника, он даже рассмеялся.

— Eugène, душа моя! дело улаживается очень просто. Я выдам тебе обратно твой залог.

— Разве это возможно, дядя?

— Даже очень. На что он нам, в сущности? Что такое сам по себе залог? Формальность, юридический обряд — не больше. В процессе залога, собственно говоря, всего лишь два реальных момента: когда его вносят и когда его получают обратно. Промежуток, когда он лежит мертвым капиталом, бессмыслица, бесполезная для казны и вредная для подрядчика. У подрядчика отнята часть денег — отнят нерв его деятельности, а казна лежит на этом нерве, как собака на сене: сама не ест и другим не дает. Я, mon chèr*, на такие вещи

* Мой дорогой (*фр.*).

смотрю свободно. Ты внес залог, следовательно, первый момент тобою оправдан. А от дальнейшего можно тебя и освободить: ты человек порядочный, дело твое верное, подводить старого дядю и друга под ответственность ты, надеюсь, не станешь.

— Но, дядя, залоги хранятся в казначействе. Под каким же мотивом вы потребуете к себе мои деньги?

— Я и не буду требовать. В моем распоряжении много чрезвычайных, переходных и специальных сумм. Я выдам тебе из них эквивалент твоего залога, вот и все. Я сам для себя делаю иногда такие займы у отечества, когда спешно нужны деньги и негде перехватить их из частных рук.

— Но, дядя, это же...

— Что, племянник?

— Сделка, которую... гм, как бы вам сказать... которою очень рискуешь...

— Почему? — искренне изумился сановник.

— Да представьте, что вдруг стрясется какая-нибудь беда... Пойдут проверки отчетности... Ну и трудно будет оправдать такую сделку!

Генерал презрительно скривил рот — алый и сочный, как у юноши, даром что старику стукнуло уже 65, — ударил племянника по плечу и, насмешливо глядя ему в лицо белыми выпученными глазами, со значительною расстановкою возразил:

— Я Дол-го-спин-ный-с!

Эта незаконная ссуда почти совершенно выпутала Оберталя из стиснувших было его тенет. Крупная сумма залога помогла ему настолько блистательно расплатиться по целому ряду срочных обязательств, что Ильинка и Кузнецкий мост расправили свои нахмуренные брови и взглянули на графа ласковыми очами: кажись, мол, из тебя и впрямь будет прок? А — главное для Евгения Антоновича — по Москве пошел слух, что Оберталю помог сам Долгоспинный — и помог неспроста: что Оберталь, мол, подставное лицо, а подряд за спиною племянника держит сам вельможный дядя... Что Долгоспинный, когда ему

надо, не делал ни малейшей разницы между средствами собственными и управляемого им ведомства, коммерческий мир знал хорошо. Средства ведомства неистощимы — следовательно, неистощимы и средства у подряда, сданного Долгоспинным Оберталю. А делу с неистощимыми средствами — и кредит неистощимый... Оберталь поднял голову и, забыв недавние невзгоды, смотрел гордо и самоуверенно.

X

Красивая, желтая осень пестрила луг и лес. Речка Осна катилась в гнедых глинистых берегах, с правою горою и с левым заливным выгоном, уже чующая наступающие холода, светлая, как ртуть, и такая же тяжеловесная, задумчивая, готовая остановиться по первому стуку дубинки дедушки Мороза... Здесь, близ села Махарина, в котором нашла себе приют высланная из Москвы Дина Николаевна, по паспорту незаконнорожденная дочь крестьянской девицы Марьи Пугачевой, предмет стольких беспокойств Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой и Василия Александровича Истуканова, — здесь Осна еще тиха и ленива, чуть лишь начинает ускорять свой плавный, вынесенный из лесного болота ход. Но ниже Махарина, верстах в пяти, путь Осне, на уклоне, загородят розово-кирпичатые, зелено обомшенные валуны, иона запрыгает и забурлит по ним, шипя, седея, белея и волнуясь серебряною стремниною, дрожа в воздухе радугами в солнечный день и навесив серый туман брызг в день тусклый. А затем Осна так уж и летит вниз и вниз, так уж и несет силу свою, растущую от глотаемых справа и слева ручьев, и сама питая уползающие в глубь лесов мочажины и болота, по-здешнему рямоды. Летит лесною пустынею, летом зеленою, теперь бурою, с темными пятнами хвойных островов, все быстрее, все шумнее, стуча мельницами и лесопилками, пока не вбежит широко заболоченным устьем в огромное, верст пять-

десять в окружности, озеро, составляющее часть Мариинской системы. Дика местность по Осне, худы дороги по сдавившим ее дремучим лесам-хранителям, редки селения на берегах. В крепостные времена почти все здешние земли, кроме государственных, принадлежали старому дворянскому роду Махариных, который, однако, еще до эмансипации раздробился и в чрезвычайном размножении и постоянных разделах и процессах по наследствам обеднел. Шестидесятыми и семидесятыми годами он был смыт со старых гнезд своих как бы незримою волною. Оскуделые Махарины ушли в Питер на отхожие промыслы, украшать собою министерские департаменты, а земли их по большей части скупило весьма зажиточное здесь крестьянство. Так что теперь от Махариных в Махарине сохранилось только имя. Наиболее состоятельная ветвь их окупечилась через женскую линию и теперь называется Гордыбакиными. Но в течение восьмидесятых годов и Гордыбакины тоже кудато стаяли, и последняя из них, Антонина Никаноровна Гордыбакина, по первому браку Остапенко, звалась теперь во втором браке госпожою Зверинцевою*). Усадьба этой барыни прилегала к Махарину, и местное крестьянство по старой памяти звало Зверинцевых — «наши господа». Люди были нехудые, с крестьянами ладили; поместье их считалось из лучших по уезду и даже не было обременено второю закладною. Зверинцевы, немолодые уже супруги, первые пришли к Дине Николаевне на другой же день после того, как жандармы привезли ее в Махарино и поселилась в нем девушка на попечении псаломщика и псаломщицы, так неожиданно оказавшихся ей дядею и теткою, к собственному своему и к ее великому изумлению.

Зверинцевы обласкали Дину. Это знакомство очень скрасило первые дни ее пребывания в ссылке. Тем более что, кроме Зверинцевых, у нее интеллигентных соседей не оказалось. До ближайшего села с господскою усадьбою, в кото-

*) См. мой роман «Виктория Павловна».

рой время от времени живет, наезжая на отдых от частых отлучек, владелица, считается вниз по течению реки 22 версты. Село зовут Православою, а владелицу усадьбы — Викторией Павловной Бурмысловой*). С тех пор, как Дина Николаевна поселилась в Махарине, она об этой госпоже слышит едва ли не каждый день — и все любопытное, жуткое, соблазнительное, волнующее. Какою-то лесною феей или чертовкою, русалкою, из Осны вынырнувшею, чтобы сделаться местною царицею Тамарою в полуразрушенном своем, заложенном и перезаложенном терему, рисует ее широко и неутомимо ползущая уездная сплетня. Кроткая, тихая, степенная псаломщица даже крестится, когда говорит о госпоже Бурмысловой, точно ее имя рот поганит и на язык черта садит. Дина воображает, что было бы, если бы в один прекрасный день Виктория Павловна вздумала приехать к ней в гости! На пятьдесят, а то и больше верст кругом нет землевладельца, чиновника, врача, учителя, которому молва людская не приписывала бы хоть какой-нибудь любовишки к правосленской чаровнице. А про многих прямо-таки говорят, как про ее любовников, прошлых или настоящих, а — кто, мол, ни в сех ни в тех, так все равно еще будут! Она негодяйка добрая и на разврат свой тароватая: никого не обидит!.. Дамы махаринской поповки — попадья, дьяконица, учительница, — рассказывая о Виктории Павловне, даже губами белеют, глазами зеленеют и голосами по-змеиному шипят, хотя ни одна из них с нею незнакома. А самый лютый и непримиримый враг ее на Махарине, Антонина Никандровна Зверинцева, даже никогда ее не видывала. Все это очень возбуждает любопытство Дины, и крепко ей хочется как-нибудь встретиться с победительною правосленскою красавицею. Тем более что женским наговорам она не очень-то верит, а все мужчины, с которыми она познакомилась за житье свое в Махарине, словно в заговоре. При женах своих, когда они ругают Викторию Павловну, молчат, как в рот

*) См. мой роман «Виктория Павловна».

воды набрали, а когда жен нет, почти каждый оглянется осторожно и, если не мелькает близко женино платье, быстро и втихомолку скажет:

— Вы, Дина Николаевна, не извольте верить... Так говорится... зря ... В неразумии женской ревности и озлобления...

А сам землевладелец махаринский, Михаил Августович Зверинцев, пятидесятилетний сивоусый и сивокудрый великан в картузе и синей поддевке (барин человичный, звали его в округе за рост его), бывалый душа-человек, с необыкновенно пестрым и даже отчаянным прошлым, но чрезвычайно уважаемый в уезде за честность и простодушие, даже испросил у Дины нечто вроде тайного свидания. В рощу ее выманил — нарочно затем, чтобы говорить о Виктории Павловне вдали от женских ушей, а в особенности от своей дебелой и плаксивой супруги, прослывшей по губернии под выразительными кличками: «перина», «дождевой пузырь», «десятина» и даже просто «многотысячная дура».

— У Виктории Павловны, — таинственно озираясь, гудел Зверинцев, — я, многоуважаемая Дина Николаевна, имею честь бывать и, можно сказать, принят у нее как свой... Друзья... И смею вас честью заверить: все, что вы слышите о ней от жены моей и прочих барынь, выдумки на нее и соседские, бабьи, с позволения сказать, клеветы... Никаких развратов и безобразий я в дому ее не видывал. А что, простите на слове, любовниками ее обставляют, так это ей просто мстят за красоту ее и свободное со всеми обращение. На самом же деле я хоть икону со стены вам сниму: ничего подобного! Понятно, странно им, женщинам, и злобно: живет девушка-красавица, одинокая, небогатая; всегда вокруг нее нашего мужского сословия — рои пчелиные, а замуж не идет... Ну и венчают ее со зла то с тем, то с другим... Извините за откровенность, даже вот и я, многогрешный, подобной сплетни не миновал, хотя немолодой уже человек... Она меня — ха-ха-ха! — даже «дедом» дразнит... Отсюда Антонина и свирепствует... Но Богом святым вам клянусь: ничего не было... нет... и быть не может!.. И о других в том же

совершенно уверен... О всех без исключения!.. Потому что, если бы вы ее видели и знали, то сами постигли бы, какой это человек и что подобные пошлые глупости совсем ей не нужны. Если бы она к подобным вопросам легче относилась, давно княгинею была бы и миллионершею. Князь Белосвинский по ней который год пропадает-убивается... богач... блестящего рода... превосходнейший человек! Да разве он один? Из красавцев и тузов, которые вокруг нее, как богини какой-нибудь, на коленях стояли, и молили, и плакали, гвардейский эскадрон можно составить... А она — ни-ни! Друг — всем. Невеста или там любовница, что ли, — никому... Да и нашему брату тоже при ней как-то, знаете, амуры в голову не идут... Красота! Душа! Сердце настежь!.. Вот когда внутри тебя тоска гнездо свила и начинаешь на гвоздики поглядывать, который покрепче вбит, да о веревке подумывать, которая подюже свита, тут вот, действительно, Виктория Павловна — нам прибежище и сила. Тогда ее не то что, извините, на жену, на мать родную не променяешь. Потому что разговорить унывающего человека от дурных мыслей, от ненависти к людям и самому себе — нет другого подобного дарования на свете... И утешит, и обругает, и встряхнет, и рассмешит, и поплачет... ах, ты душа! солнце красное!.. Что она нашего брата выправила и на ноги поставила, скольких от запоя и всякого захолустного бесстыдства отучила... А иным — прямо-истинно вам доложу, Дина Николаевна: если бы не внимание да влияние Виктории Павловны, то и действительно болтаться бы им, горемыкам, на веревочке, зацепившись за гвоздик... И уж если вам полной откровенности угодно, то от таковых, прекраснейшая вы моя барышня, первый есмь аз!..

В том же роде, хотя и не так подробно и страстно, намекали Дине на роль Виктории Павловны в уезде и истинный характер своих к ней отношений другие местные интеллигенты, полюбопытствовавшие побывать в Махарине по слухам о проявившейся в нем интересной ссыльной барышне, а главное, по стараниям Зверинцевых, взявших Дину под

свое покровительство и очень усердствовавших, чтобы ей не было скучно и одиноко.

— Ну вы такая красавица, — наивно бухнул Дине при первом же знакомстве дремучий, на Пугачева в черной колючей бороде своей похожий, помещик Келепов, — что и при Виктории Павловне не померкнете...

А неразрывный и неразлучный друг его и почти однофамилец, Шелепов, зеленокожий, длинный, тощий блондин с лицом, похожим на судачье рыльце, подхватил восторженным визгом:

— Будете светить... это верно! будете-с!..

— Господа, — засмеялась краснеющая Дина, — пощадите! Кто же подобные вещи говорит прямо в лицо.

— Э, барышня! — пробасил Келепов, тараща страшные рачьи глаза и ероша красною ручищею жесткую ежовую щетину, обрастившую щеки его. — Поживете с нами, привыкнете! Мы люди простые, едим пряники не писаные...

— Вам бы, — восторгался, дрожа кадыком на длинной шее, Шелепов, — с Викторией Павловной в живых картинах «День и Ночь» изображать...

— Верно! — рыкнул Келепов.

— Потому что совершенный контраст красоты. Виктория Павловна на малороссиянку похожа. Марию, что ли, из «Полтавы» напоминает или там Оксану какую-нибудь... Великолепие, знаете ли, этакое... даже как бы несколько демоническое. А вы — златокудрый ангел...

— Даже херувим! — расхохоталась Дина. — Меня так и дразнили в гимназии «Вербным херувимом»...

— А что же тут худого?! — возопили оба приятеля.

— А что же хорошего? Щечки розовенькие, глазки голубенькие... воск крашеный! Ненавижу! брр!

— Помилуйте! Как можно? Вы на комплименты напрашиваетесь!

Встретиться и познакомиться с Викторией Павловной Бурмысловой Дине хотелось, тем более что она слыхала эту

фамилию от Анимаиды Васильевны, и, кажется, с благосклонным одобрением...

«Феминистка, должно быть, какая-нибудь, если Анимаида Васильевна ее хвалит, — соображала Дина. — Да и по здешним рассказам... Ну это скучно... я в эту игру не играю... Волчкова и Брагина совершенно правы: феминизм — пустоцвет, с которого уже спадают лепестки... Увлекаться феминизмом в век социал-демократии — это значит вести грунтовую дорогу там, где необходим железный путь... Но, во всяком случае, фигура незаурядная по здешним местам... Странно только, если она феминистка, почему ее мужчины так любят и хвалят? Обыкновенно они до этой породы женщин не охотники... Непременно сведу знакомство... Вот только немножко обжиться... успокоиться... одной побыть и обдуматься... А то нервочки мои стали себя оказывать: гудут, бедненькие, как струны эоловой арфы под ветром... Ох, гудут, гудут, гудут...»

Но познакомиться с Викторией Павловной оказалось для Дины не так-то легко. Отъезд дальше пяти верст надо было заявлять местному начальству, т.е. уряднику, довольно добродушному и покладистому старику из бывших скобелевцев, так что сохранить визит в Правослу в секрете Дина не могла. А открыто и въявь поехать значило поставить против себя на дыбы не только все женское население Махарина, но и по всему уезду ославиться, возбуждая лютую и мстительную вражду Шелепихи, Келепихи, Зверинчихи и прочих ненавистниц. А от них зависит местное общественное мнение, а следовательно, и судьба девушки, заточенной в глухом захолустье. В Москве Дина не посмотрела бы ни на каких госпож с длинными языками. Напротив, их запретительная злость только подстрекнула бы ее к нарочному дерзкому вызову. Но тюрьма и путешествие в вологодскую ссылку и короткое пребывание в маленьком, но препротивном северном городке с нравами из «Мертвых душ» и «Ревизора» уже несколько пообтерли Дину от детского пушка и умудрили некоторою опытностью. Она очень хорошо понимала, что теперь — энергичес-

кими хлопотами Василия Александровича Истуканова — она поставлена в лучшие условия, на которые она может рассчитывать в течение еще очень и очень долгого времени, и в условиях этих надо удержаться, чтобы не было хуже. Потому что ведь и это лучшее все-таки было достаточно одиноко, тоскливо, бездельно и скверно. Тюрьма обширная, красивая, здоровая, сыто кормящая, но все же тюрьма — безысходная и зоркая. Тюремщики спокойны и не злы, но — тем не менее — они тюремщики. И то, что они мягки и любезны, не более как отражение мягкости и любезности, с которою покуда относится к Дине уездное общество. Но, собственно-то говоря, Дина в лесной махаринской трущобе над Осною чувствовала себя — по существу — не лучше, чем в звериной берлоге, сознавая, что только и жизни ей, покуда звери ее терпят и рассматривают с любопытством испытания и уважения. Несмотря на странное свое паспортное звание, новая невольная жительница села Махарина была встречена уездными барынями очень благосклонно. Этому больше всего способствовал предварительный приезд Василия Александровича Истуканова. Он, не жалея, сыпал деньгами в Махарине по крестьянству — для доброго соседства, а по сельской полиции — для тихого начальства, и обрыскал весь уезд с визитами дворянству и видному купечеству, сидящим на земле, чтобы уготовить Дине добрый прием и «на случай чего» скорую местную заступу и убежище. Любезный и внимательный, старый торговый практик, он сопровождал визиты свои ловкими и деликатными взятками, открывая уездным хозяйкам и щеголихам широкие и долгосрочные кредиты на Бэра и Озириса. Барыни были им очарованы и заранее расположились принять Дину, как сказочную принцессу. А в народе и в самом деле пошла молва, будто в Махарине селят в наказание ссыльную княжну, которую-де псаломщику с псаломщицею велено выдавать за свою племянницу, и оттого привалило им такое богатое счастье, что вон они, бесы, даже и новый дом уже рубят... Вины, за кото-

рые ссыльная княжна заточена в Махаринскую пустыню, изобретались разнообразно и замысловато.

— Против царя пошла. Царь ей, стало быть, жениха сватал, генерала своего, а она сблажила: уперлась, что не хочу, мол, генерал-от ваш старый, ему пора о домовине думать, а не то чтобы молодую жену круг налоя водить... Ну ее, сердечную, за ослушание сейчас и того... к козе на пчельник!

— Правую веру нарушила, в церковь ходить перестала и от креста отреклась. Митрополит ее за то анафемой проклял и велел в монашки постричь, но родные взятку дали, умолили, чтобы только скрыть ее от соблазна в темные леса.

— И все неправда, людская ложь. Ничего княжна веры не нарушала, а, напротив, за правую веру страдает по примерам святых отцов. Вычитала в книгах старую правду нашу, доНиконову, да, исполнясь духа пророческа, и стала начальство обличать и предрекать антихриста, борзо грядуща. Начальство испугалось, что от слов княжны народ мутится, — за то и услали горемычную антихристовы слуги в избушку на курьих ножках, в медвежий терем.

— Через ревность и зависть страдает. Потому — в нее иностранный принец влюбился, а ему другая невеста приготовлена, еще родовитее и богаче. Та-то из себя нехороша, а княжна — рафинад с малиной! Вот ее и припрятали, чтобы принец опамятовался, к ней козлом не бросался, настоящую свою суженую любил.

— По богаческой и боярской злобе: потому что к царице доступна была и всю правду ей докладывала, как бедный народ терпит утеснение от начальства и господ.

— За иностранную измену: у самых больших начальников секреты выведывала и неприятелю продавала.

— Она-то сама ни при чем, а родитель ейный, князь старый, правительству измену оказал и врагам отечества передался. Ну его повесили, сыновей — в Сибирь, а мать-княгиню с дочерями разослали, кого — в монастырь, кого вот к нам в медвежий угол.

— Ничего такого особого нет, а просто фамилию осрамила: от незначительного любовника забеременела — заточена против столичной молвы и шкандалу.

Вся эта пестрая смесь выдумок вилась вокруг Дины неведомо для нее самой, облепляя ее самыми неожиданными посещениями и просьбами часто совсем незнакомых и дальних крестьян, уверенных, что она сильный человек в столице и может оказать великую помощь... Приходили с межевыми спорами, с жалобами на земельную тесноту, не будет ли прирезки, с судебными делами и недовольствами по давно проигранным и безнадежным тяжбам... Дина внимательно и добросовестно выслушивала всех, но со стыдом и ужасом чувствовала, что она решительно ничего не понимает из того, что говорят ей и о чем просят ее все эти люди, что ей чужд даже самый язык их, совсем непохожий не только на тот, которым говорило ее московское общество, пишутся книжки и газеты, но даже на тот, которым объясняются на сцене герои народных пьес, виданных ею в театрах. И рабочие так тоже не говорили — те, к которым водила ее Волчкова на немноголюдные загородные сходки в Марьиной роще или под Даниловым монастырем читать «Ивана Гвоздя», «Ткачей», «Царь-голод» и «Манифест» Маркса.

— Турово примчал*), — похвалил дядя-псаломщик знакомого ямщика, который привез Дину и жандармов, спутников ее, в Махарино, сделав от ближайшей шоссейной станции 17 верст проселками в два часа.

А тот отвечал:

— Тодиль сухмен, тады глобками труни не хочу, а тово днях вез товарку в поплавень, ажно гнилами то по мокру усю путину ступью шли...**)

---

*) Быстро приехал.

**) То ли дело, как время сухое, тогда по лесным дорогам поезжай на рысях как хочешь. А вот помнишь: на днях вез я торговку, когда был дождь проливной, — ну так по глине-то да по слякоти всю дорогу ехали шагом.

Дина слушала и думала, что — вот тебе: она, и за границу не ездя, очутилась среди чужеземного народа, не в нашем царстве, в неизвестном государстве, в народе, объясняющемся на неслыханном языке. А между тем на ближайшем столбе шоссейном значилось: «От Петербурга 179 верст, от Москвы 428, от г. Рюрикова 43».

— Ох ты, липонька! желта коса, дивья краса! — ласкала Дину кроткая, веселая названая тетка, псаломщица, которая с первого же взгляда влюбилась в нее со страстью пожилой хорошей женщины, несчастной своей бездетностью и получившей наконец предмет к утешению материнского своего любвеобилия. — Ты, Динушка, не скорби, не тосни, нас, крылошан простых, не ужахайся. Мы с хозяином люди талые. Спосыкаться да ячмениться не горазды... авось приобычимся! Уж ты мне поверуй: что ни луччий участочек, твой буде! Мы тебя, люба.

Дина чувствовала беспредельную ласку голоса и мягких серых глаз, но слова приводили ее в отчаяние, а обещание «луччаго участочка» смешило, как роковой житейский каламбур. И даже малые ребятишки, которых Дина брала проводниками для прогулок своих, чтобы знакомиться с местностью, ставили ее в тупик, когда уговаривали ее «урывать на усклон»:

— Тамотку спыхнем, барышня!

— Грамотница будешь? — спросила Дину встречная незнакомая баба.

Дина, конечно, сказала, что да, а затем баба привела к ней дочь учиться, с полтиною денег и горшком каши... Оказалось, что «грамотница» значит по-местному «учительница». А когда Дина спрашивала ребятишек, с нею бродивших по рощам, которые они называли лядинами, много ли у них в школе учеников, они с недоумением отвечали:

— Учеников у нас нет, одна ученица.

Потому что на их языке ученица обозначала тоже учительницу, а сами они были учни, учельщики и учелыцицы и учились не в школе или училище, а в учельне.

Здесь не звали, но «вопили» или даже «рыгали». Покойник был «умран» и «умирашка». И о себе узнала Дина, что сама она байсна, токма што жаль, люто темнуха*), что «на шшочках у нее лумочки»...

— Ой ли, дева, как ты на Василь Ликсандрыча сшибаешься! — смутила ее псаломщица при первом же свидании чуть не вторым словом. Дина с удивлением хотела отвечать, что, напротив, у нее с Василием Александровичем никогда никаких столкновений не выходит. Но псаломщик объяснил ей, что сшибаться «по-нашему» значит быть похожими, и Дина смутилась еще больше, покраснев так густо, что действительно на «шшочках» у нее белыми пятнышками обозначились две прелестные ее «лумочки».

Псаломщик с псаломщицею были люди в самом деле «талые», то есть покладистые, добродушные и веселые. Очень любили друг дружку и потому по целым дням в промежутках работы подсмеивались друг над дружкою. Псаломщик был побойчее жены и обыкновенно побивал ее остроумием, взятым от Писания и приправленным из «Биржовки», которую он получал, изменив «Свету». И тогда псаломщица, притворно сердясь, нападала на него:

— Стихни́, обмыумок несчастный! Я ли те не обачу? К чему же ты меня поддергиваешь?**)

А псаломщик, длинный и здоровый, как человек, которому суждено сто лет прожить, закрывал глаза, закидывал голову и, тряся козлиною бородкою, заливался козлиным хохотом.

Эти люди крепко полюбили Дину.

— Узор-то мой все умилятся на те***), — говорила девушке псаломщица.

А псаломщик подмигивал:

---

*) Красавица, только жаль, слишком печальна с виду.

**) Молчи, малоумок. Я ли тебе не угождаю? За что же ты надо мною издеваешься?

***) Чудак-то мой все радуется на тебя.

— Вы старухе не веруйте. Лукавая старуха, даром что лесная, а люта подблаживаться.

Народ, о котором так много говорилось и читалось в столице, которому предполагалось посвятить всю жизнь, со всем ее трудом, знанием и любовью, за который Дина шла по следам Волчковой на Антиповскую демонстрацию и теперь маялась в ссыльном одиночестве, вставал пред девушкою во весь свой рост, огромный и странный. И был он совсем непохож ни на то, чему Дину учили о народе умные книжки, тонкие и толстые, и беседы умных и ученых столичных людей, ни на то, что Дине воображалось после книжек и бесед, во что материализовался тогда вызываемый ими призрак народа.

То, что городская жительница называет любовью к народу, есть, собственно говоря, высокомерно-жалостливое чувство покровительства, снисходительная готовность помощи сверху вниз. Это отношение, в большей или меньшей мере, обще всей интеллигенции городской культуры. Оно тянется тонкою нитью от доброго барина, хотя бы и крепостника, к гуманному либералу, от либерала к социал-демократу, отрицающему мужика как «голодного неудачника буржуя» и зовущему его от земли на фабрику, от сохи к машине, в армию рабочего пролетариата. При всей родовой разнице городских интеллигентов у всех у них воображение — не явно, так тайно, не сознательно, так бессознательно — подчинено исторической привычке к идее «меньшого брата» и роднит мужика с нищим. Дина, в городе выросшая, городом воспитанная, городом пропитанная, приехала в Махарино именно с таким чувством: готовая к самоотверженному равенству, втайне свысока, к самой участливой помощи, втайне филантропической и учительной. Мужик — стало быть — хнычет и просит, стало быть, темен, голоден, беспомощен, грязен, вшив, безграмотен, груб, дик, кругом несчастен, кругом раб. Без силы просветительной, от города идущей, ему очи роса выест, прежде чем солнце взойдет: помается-помается мужик в пустоте живота своего да и перемрет втуне...

Махарино сильно озадачило Дину. Вот уже целый месяц бродила она по околотку, приглядываясь и изучая, а того мужика, которого ждала: прирожденного нищего уже по натуре своей и исторической привычке бедовать и клянчить, — она почти не встречала, и куда он, такой классический мужик, от нее спрятался, не могла ума приложить.

— В богатую сторону, что ли, я попала? — поверяла она свое удивление Зверинцеву.

Тот отвечал тоже удивлением:

— Ну вот! Какое богатство? Что вы? Так, изворачиваются...

— Земля особенно плодородная?

— У нас-то? Бог с вами! Песок да глина, хуже чего нельзя...

— Да чем же живут? Как? Ведь бедности нет. Я бедных не вижу.

— Ну как нет? Чего другого, а этого добра — сколько угодно... Только не такой он, бедняк нашей стороны, как вы ожидали, вот вы его и не видите. У вас еще глаза столичные. Наживете деревенские глаза — разглядите...

И смеялся:

— Это у столичных всегда так на первых здесь порах... Многие даже недовольны остаются, обижаются... Потому что ехал человек к народу благотворителем этаким, душа, как ворота, растворена и самые хорошие чувства в ней облаками клубятся. Распростертые объятия к народу простирают, елей и сахар благодетельного самарянина в сердце растворяют...

— Ну я ни елея, ни сахара в запасе сердца своего не имею, — холодно возражала Дина, сдвигая строптивые бровки свои.

Старый богатырь смышлено улыбнулся в усы и вежливо ответил:

— Боже сохрани, чтобы я позволил себе подобное иносказание относительно вас... А вот верстах в тридцати от нас барон фон Беренгоф в имении добровольно заточился... Благороднейший господин, гуманный, образованный, книжки хозяйственные

читает, агрономии знаток. И не для себя все это, знаете, потому что у него управляющий дока, хозяйничает — во!.. — Зверинцев даже кулак сжал и в воздухе им тряхнул. — Не такой человек, чтобы допустил барона разводить свои фантазии в собственном имении. Нет, барон усердствует, чтобы вчуже благотворить и народу пользу приносить... Ну так вот, он очень обижался нашими местами... И в самом деле, что же это такое? У человека сердце на сострадание раскалилось, а сострадать некому! Припас полон кошель медяков для раздачи — нищих нету! Привез полну голову дельных советов — охотников до них нету! Знают все про себя сами лучше нас и в нас ничуть не нуждаются! Оскорбительно!

Зверинцев оглушительно захохотал и потом сказал серьезно, внушительно подчеркивая слова:

— Новгородчина-с... Прадеды ушкуйниками были... Кровь-то сказывается... С Ярослава привыкли в лесу себе хоромы рубить и в хоромах жить... Поклонных голов тут не ищите: наш мужик не то что нам с вами, а Миколе Чудотворцу — вровень в глаза смотрит...

И видела Дина, что даже относительно «хором» Зверинцев прав. Махарино, село в 115 дворов, красивое, холмистое, трижды прорезанное быстрою речушкою Полыменью, бурливо бросающейся в плавную Осну, произвело на Дину, когда ее только что привезли сюда усатые стражи ее, первое впечатление какого-то допетровского детинца, скученного из высоких теремов. Таких огромных, красиво и прочно слаженных изб — в два этажа, с широкими сенями, с клетями, с подклетьями Дина не видывала под Москвою. Окна высоко, рукою не достать, от земли; тесовые, а где и железные крашеные крыши; на кровлях разные коньки; в окнах — белые занавески фестонами, герань в горшках. Подвезли Дину к старостиной избе. Выбежал рыжий сухощавый жердь-мужик с юркими, бутылочного цвета глазами, по прозвищу Молоток. Закланялся, зазвал в избу. И избы такой тоже не представляла себе Дина, и то, что увидала, не вязалось с при-

вычною ей теоретически «идеей избы». Угол занят «Божьим благословением» громадных размеров в серебряной ризе, швейная машина стоит, в стороне швец кроит поддевку из тонкого сукна...

«К кулаку я, что ли, попала?» — удивилась тогда Дина.

Но теперь она уже давно знает, что Молоток совсем не кулак, а зауряд крестьянин, при трех лошадях и трех коровах во дворе. Таких в Махарине много. Безлошадников здесь нет вовсе. Молоток этот — старовер часовенный и принадлежит к тем, кто втайне уверен, что Дина страдает за до-Никонову правду, за правую веру. Он умен, грамотен, бывалый местный человек и крепко держит в руках огромную семью, в которой что ни рот, то и руки, ни одного напрасного едока, все работники.

— Мужик — утюг! сутугий! — бранчиво хвалят его махаринцы как крепкого хозяина, который не то чтобы скуп, а пользу свою понимает, и на даровщинку от него не очень-то поживишься.

Дина Молотку понравилась.

— Будьте к нам ухожи, — благосклонно пригласил он ее при первом знакомстве таким поощрительным тоном, что Дине смешно почудилось, будто он царек некоего лесного племени, а она — путешественник, заблудившийся в его диком царстве.

Дина любит заходить в гости к Молотку, потолковать с его бабами. Из них жена Молотка умом не задалась, только силою да выносливостью лошадиной работоспособности славится на весь околоток, даром что ей уже за пятьдесят лет. Зато старшая сноха, Маремьяна, и красёха, и кропотунья, и — ух, умница!

— Щека баба, с косым отгложется! — одобряет ее Молоток, что на местном наречии, к которому Дина начинает понемногу привыкать, обозначает: «А и прытка же баба, от беса отбранится».

Свекровь у нее из рук глядит... Только что устав хранят, то и слывет старая Молотчиха в миру большухою, а на деле-то вся большина на руках у Маремьяны. Энергическая особа эта большая приятельница Дины.

— Хорошо у вас, Маремьяна!

— А что?

— Справно живете.

— Нравится?

— Да хоть купцам впору.

— Ну где нам до купцов! А живем — ничего! Бога хвалим, не жалуемся. Теперь что! Захудало село. Посмотрели бы вы нас до пожара.

— А давно горели?

— Пять лет назад, в Троицкую субботу.

— Только пять лет?

Дина вспомнила непременных скитальцев подмосковных дачных мест, погорельцев из Тульской, Тверской, Калужской губерний, оборванных, изможденных людей с молящими речами, похожими на панихиду, с суровыми глазами, в которых застыли ужас и горе, прихлопнувшие человека на всю жизнь, и грозит и мрачно царюет беда, надевшая суму на плечи целому поколению... И опять ничего не понимала!

— Дивлюсь, что вы так скоро оправились. Помогали вам, что ли, щедро?

— Какое помогали! Никто пальцем не двинул; даже леса пожарного не получили на обстройку. Сами поднялись, своею силою. Конечно, что лес у нас дешевый.

— То-то вы так высоко строитесь!

— Нам иначе нельзя. От дедов-прадедов так. И то весною из подклетей в горницу переносимся. Бурны у нас полые воды: подтопят. Хошь не хошь, а верехи ставь. Ты не смотри, что у нас холмы. Осна подымется, а пуще Полыменка взбушует — беда. Прошлый год десять дней улицы не было, вода стояла. От пригорка к пригорку так и ездили на лодках. А супротив церкви, под косогором, низинка не просыхала до Петрова дня...

Познакомилась Дина и с бароном-неудачником, потерпевшим в этой таинственной стороне благотворительное фиаско. Еще молодой человек, желтоволосый, с плешью,

бороду бреет, а усы висят унылыми палками, сразу обличающими душу смятенную и тоскующую, а глаза испуганные, сумасшедшие...

Барон показался Дине немного жалким, но приятным человеком. Немножко слишком дворянин, сказывается белая кость, чувствуется голубая кровь, но дворянин с грамотою не из дворянского банка, не из рвачей. Человек несомненно благожелательный, но — озадаченный. Почему, с какого петербургского огорчения бросило его в планы просвещать и счастливить деревню, Дина не могла точно узнать. Но что планы эти перепутались в многодумной голове барона в страшную кашу, это Дина даже при всей своей городской неопытности сразу постигла. Читал барон ужасно много, и книжки сидели в его памяти крепко, но как-то беспорядочно, точно библиотека, которую расставлял по полкам неграмотный человек. Когда же из чудовищного хаоса цитат на четырех языках выплывала на свет какая-нибудь оригинальная — как выражался Зверинцев — «баронова фантазия», слушатели обыкновенно предпочитали внимать барону с опущенными глазами, так как рождал он проекты удивительные, выражая их не менее удивительным языком. Так, для первого знакомства он осчастливил Дину восторженным признанием:

— А у меня, знаете, все коза в голове!

Это должно было обозначать, что барон додумался до проекта возрождать крестьянское благосостояние посредством разведения коз, «положительно необходимых для каждой семьи». Другою мечтою барона было — провести законодательным порядком «билль» (он так, этим самым словом, и выразился) о безбрачии крестьянских парней, прежде чем не отбудут воинской повинности, и о сокращении деторождения в «недостаточно обеспеченных» крестьянских семьях.

— Правительство должно взять на себя проверку, имеет ли жених средства прокормить будущих своих детей!

Зверинцев грохотал с раскатами:

— Барон! Да отчего бы прямо уж не требовать от мужиков пятитысячного реверса, как с офицеров, которые женятся ранее капитанского чина?

Зверинцев грохотал, а на лице барона выражалось острое страдание. Как большинство кротко-упрямых людей, трудно рождающих свои мысли, он их любил тою болезненною, опасливою любовью, которою матери любят своих заведомо ненадежных, хрупких здоровьем и хилых умом золотушных детей...

— С этим Божьим человеком, бароном, невозможно спорить, — говорил о нем Зверинцев, — у него при каждом возражении такие глаза делаются, точно ты при нем ребенка бьешь или с живой твари кожу снимаешь... А уж что несет! что он только несет!.. Дивны дела твои, Господи, но неизмерима и бездна глубокомыслия человеческого!

Младший сын Молотка столярил. Что-то он работал на барона, понравился, и барон возгорелся мечтою отправить его учиться к немцу-мастеру в Петербург. Парень бы весьма не прочь, но старый Молоток отказал наотрез:

— У нас этого не заведено.

Барон волновался и сердился, Зверинцев уговаривал, но Молоток твердил — будто в самом деле молотком приколачивал:

— Не ходим мы в Питер. Что нам Питер? Зачем?

— Помощь семье была бы. В дом ведь, а не из дому.

— Оставь... Какая помощь? Заработает много, а проживет — того больше. Да еще гнилой вернется... А ты, барин, видал, какой у нас народ? Чистый!.. В Питер идти — это, барин, значит большой ответ на себя брать. Поэтому что в Питере надо жить крепко, а то взамен, чем разжиться, выйдет одно разорение семье и здоровью. В Питере народ слабнет. Нет, не ходим мы в Питер. Не заведено.

— Что же, если не «заведено»? — спорил барон. — Мало ли что не заведенным остается, пока кто-нибудь умный и ре-

шительный не догадается завести... Вы, Молоток, умнее других, вот и начните!

— На добром слове спасибо, а нет, барин, увольте. Деды не ходили, отцы не ходили, как нам идти?

— Деды и отцы ваши, — возражал барон, — пахали землю тучную, здоровую, а сейчас она у вас тощая, больная. Не очень-то на бледно-желтые и светло-серые свои глины рассчитывайте. Пора вам приработков искать.

— Авось родит! Родителей кормила и нас накормит. Вы, барин, земель наших не хайте. Известно, не чернозем, а грех Бога гневить. Ежели за нашею землицею походить, как надобыть, по-крестьянскому, она, кормилица, ничего, благодарствует, родит.

— В Питер! — посмеялся барону Зверинцев. — Чего захотел! В тридцати верстах, на железнодорожной линии, Паробков-купец стеклянный и фарфоровый заводы поставил, посмотрите, много ли у него рабочих из местных... Финнами обходится, в Питере нанимает...

— Невыгодно, значит? — удивилась Дина.

— Как невыгодно! Нет: земельники. Земли не желают оставлять. Ну и староверов много... те машин не любят...

— Мы машин не любим, — спокойно согласился Молоток.

Барон перебил, обращаясь к Зверинцеву с некоторым раздражением:

— Вы, Михаил Августович, говорите: земельники. Да уж, если они так любят землю, то хоть бы за нею-то ходили как следует... А то ведь что в девятом веке было, то и теперь: за тысячу лет земельное хозяйство шага вперед не ступило...

— А куда ему? — улыбнулся Молоток. — Мы земли не обижаем, навозим... Скотиною, слава Богу, не жалуемся... В любом дворе три лошади, а где и четыре... Коровушки...

— То-то вот: лошадушки да коровушки... — с досадою передразнил барон. — Дальше ни желания, ни воображения недостает... Недвиги! лежачие камни!

— Козы нам несподручны, — хитро улыбнулся Молоток.

Барон слегка покраснел.

— Вот, как вам это нравится! — воскликнул он, обращаясь к Дине. — Разговаривайте с ними, лесными логиками! То у них отцы да деды — и ни шагу от предков. А найдешь в старине предков что-нибудь в самом деле полезное, что воскресить следует, чураются, как новшества, смеются... Разве мне эти козы сами вскочили в голову? Я их из старины же вашей вычитал, в летописях нашел... Вы поймите, Молоток: еще при царице Елизавете козье молоко в нашем краю было в гораздо большем употреблении, чем коровье. Коза по всему северу жила и была опорою крестьянского хозяйства. Даже до Устюга Великого! Приходите ко мне, Молоток, я вам покажу в старых книгах... Это потом вывелось...

— А вывелось, стало быть, не повелось, — победоносно возразил несокрушимый Молоток.

Барон только очи возвел горé: Господи, мол, Ты видишь...

— Ну хорошо, — скрепясь, заговорил он. — Коз вы не хотите, козы — новшество. Ну а против свиней вы что имеете, позвольте спросить?

Молоток улыбнулся и сказал:

— Кто про что, а барин все с рыушками...

А барон стоял перед ним и даже в грудь себя колотил худыми руками:

— Кажется, уж от свиньи-то выгода несомненная: кормится отбросом и вся, от кончика ушка до копытца, идет хозяину в прямую пользу. Или вы и против этого намерены спорить?

— Зачем зря спорить, — уклонился Молоток, — не маленькие...

— Тогда позвольте: оповещал я по уезду, что желающие могут приобретать в моем питомнике породистых поросят на племя по ценам даже ниже земских? Будьте любезны, ответьте: известно вам это мое предложение?

— На миру живем... слыхали...

— Ага! Не только что по земской цене, даром я раздавал поросят хозяевам, которые казались мне надежными, что отнесутся к моему предложению серьезно и в самом деле намерены включить свиноводство в свое хозяйство...

— Ваше превосходительство, — лукаво улыбнулся Молоток, — так ведь брали же. Ужли ж не брали?

— Да, брали! — с негодованием возразил барон. — А к Рождеству всех покололи и на ветчину выкоптили... Праздник устроили на всю пятину!

И не выдержал, сам засмеялся. Засмеялся и Молоток.

—Дело-дело! Стричь народ!*) — сказал он и, махнув рукою, прибавил: — А ну их! Грязная скотина! Чуть не усмотрел — всю улицу перекопает. Сказано ей имя: рыушка — так она рыушка и есть.

— Ну, и набаловались же вы, ребята! — заметил Зверинцев.

А барон хотя промолчал, но даже ногою слегка притопнул.

— Да чего нам? Земля кормит... Какого нам рожна еще надо?

— Дело-то прибыльное.

— Так-то так, однако и ходить вокруг него надо много... Живем, слава Богу, и без рыушков, а всех денег, братец ты мой, в один карман не огребешь!

— Полон уж, что ли, очень карман-то? — пошутил Зверинцев, щуря один глаз на Дину.

— Ну... где! — даже удивился Молоток. — А так... изворачиваемся!

И, помолчав, пояснил:

— Карман, братец ты мой, барин Михаил Августович, у нашего брата никогда не может быть полон, не с чего. А вот на что я счастлив, так это — в добрый час молвить, в худой

---

*) На это нас взять! Разбойник — народ.

промолчать, — работников у меня в избе много... Ребята крепкие, снохи здоровые, не ленюги... Выходит, стало быть, все себя оправдывают, даром хлеба не едят, ну и ничего, жить можно... Это, милый ты человек, в нашем быту самое первое, чтобы захребетников не было, завелись нерабочие рты — шабаш! съедят!

Дина слушала и думала про себя: «Вот оно — деревенское-то буржуйство!»

Но Зверинцев возражал:

— Стариков же своих кормите...

— Как не кормить? — согласился Молоток. — Стариков нельзя не кормить. Родителей кормить мы всегда согласны... Дело божеское.

— Божеское-то божеское, но — вот тебе и нерабочие рты.

— Никак нет, — возразил Молоток с таким лукавым выражением лица, что ясно было: он уже не в первый раз над вопросом этим задумывается и давно его обмыслил и решил.

— Как нет? Что же, ты деда Дормидонта в поле пошлешь, что ли, когда он слеп, глух и у него ноги больные?

— А зачем его в поле посылать? Будет с него! Находился на своем веку... — спокойно возразил Молоток. — Свое сработал. Уломался. Топере его сдолье стариковское.

И пояснил:

— Я, барин, об этом так рассуждаю. Капиталу накопить мы никак не можем, но работа наша — она те же деньги. И ежели человек, как вы топере, к примеру, взяли родителя моего, пришел, крестьянствуя, в преклонные лета, это обозначает, что он за хребтом своим работы скопил необхватно. И вся эта работа его в нас же шла, в детей да опчество. Топере смотрите. Ежели бы его работу на деньги перевести, вышла бы огромаднейшая сумма, которую, выходит, он нам отдал вроде как бы взаймы. Так я говорю али нет? А ежели я у него взял деньги взаймы, то должен я ему платить про-

цент. Кабы деньгами взял, деньгами бы платил. А работою взяли, то и платим тем, что теперь от своей работы его, нерабочего, кормим.

Выходя от Молотка, огорченный барон споткнулся о выставленную у крыльца к починке сломанную борону, больно ушиб ногу и, раздосадованный не столько ушибом, сколько зрелищем первобытного орудия, оскорбившим его в лучших его хозяйственных чувствах, указал Дине:

— Вот, полюбуйтесь, насколько отстал народ, какое невежественное, варварское хозяйство. Вы видите, у них бороны еще с деревянными зубьями, как боронили в этих местах еще Микула Селянинович и старик Гостомысл... Стыдитесь, Молоток! Справным хозяином слывете, а не хотите завести борону с железными зубьями... Спрашиваю; что вы можете сделать такою жалкою решеткою? Одна польза, что вашею бороною боронить, что лукошко по земле волочить.

Слова барона казались Дине справедливыми, но Молоток выслушал их не только равнодушно, но даже и посмеиваясь в рыжую свою бороду: слышали, мол, и переслышали! не впервой!

И возразил:

— По нашему месту железные бороны не годятся.

— Сказки!

— Нет, барин, не сказки. Шестидесятый год крестьянствую, пора мне свою землю знать. У нас слой хорошей земли тоненький, а железная борона хватает глубоко; она нам такой земли с-под низу наковыряет, что урожай-то выйдет — колос от колоса не слыхать девичья голоса. Вон барин попробовал железную борону-то, — указал он рукою на Зверинцева. — Невелики скирды поставил...

— Это правда, барон, — подтвердил Зверинцев. — Кругом был урожай, а мы едва зерно воротили.

— Да что же доказывает единичный опыт?

Барон плечами взметнул.

— Ну... несчастье, случай, катастрофа! Если бы вы выдержали характер и повторили...

— Нет уж, покорно благодарю! Жена меня и без того за эту катастрофу четвертый год угрызает.. Новаторствуй кто хочет, а я возвратился к уставу дедушки Гостомысла...

Мужик городских представлений — жалкий, скверный, постыдный — нередко попадался Дине и здесь, но нетрудно было сразу распознать, что в здешних-то понятиях это не настоящий мужик, а так, упадочник, в своем роде декадент крестьянства. И Дина видела, что к подобному мужику собственная среда не питает не то что уважения, но даже жалости, как к отщепенцам и отбросам, что ли, своим...

— Лытыри пригосподские, — презрительно говорил Молоток. — Тагалаи!

И лицо его становилось неприятно холодным и враждебным, и Дина вдруг чувствовала, как между Молотками и ею ложится незримая, отчуждающая полоса, ее же не прейдеши.

«Вот ницшеанцы доморощенные! — с досадливым изумлением думала она. — Белокурая раса... Падающего толкни!»

А раса действительно была белокурая. Славянин-северянин сохранился здесь во всей неподдельной красоте своего типа. Богатырь-народ, с пригожими лицами, широкими плечами, русыми кудрями, воспетыми еще в былинах. Смелые глаза, вольный язык, вольный дух. Вежливы чрезвычайно, кланяются при встречах самым истовым и почтительным образом, но без всякого раболепства и подхалимства. Как-то раз случилось, что Дина, идя махаринскою улицею с супругами Зверинцевыми, заговорились между собою и за оживленною беседою не ответили на поклон встречной бабе. Та немедленно окликнула господ и заметила весьма внушительно, что, мол, этак не годится: коли мы вас почитаем, то и вы нам честь отдайте... Зверинцева оскорбилась и вспыхнула, а Дине чрезвычайно понравилось.

— Да уж это дело известное, — трунил Зверинцев, — русскую либералку сахаром не корми — дай, чтобы народ ее обругал...

— Во-первых, я не либералка, — сухо возразила Дина.

— На том извините, я ведь человек старинный, новых делений не знаю.

— А во-вторых, конечно, отрадно видеть, как в забитой среде просыпается чувство собственного достоинства...

— Просыпается? — с удивлением возразил Зверинцев. — Да оно в них никогда не спало.

— А крепостное право? — изумилась Дина.

— Его здесь где не было, а где — оно не чувствовалось по соседству помещичьих крестьян с государственными... Помните некрасовскую Вахлаччину с дедом Савелием? Ну вот они — внуки... Говорят, Некрасов своего бойца Шалашникова с генерала Махарина писал, благоверной моей прадеда, последнего владельца неразделенных махаринских палестин... Разве от забитых предков может быть этакое здоровое поколение? Тут, голубушка, Дина Николаевна, шевельните-ка крепостные-то воспоминания: не то что немцев управителей в землю закапывали — к Аракчееву ходоков посылали: отступись, не трожь, не то с ножами пойдем... Вот, жаль, маменька моей супруги, старушка Гордыбакина, не дожила до вашего приезда. Она бы вам порассказала про старые годы... Еще живы в Махарине старухи, которые, бывало, при встрече звали ее просто Михайловной... И теща этим гордилась, что — вот, мол, каков мне почет у крестьянства, умела, значит, ладить и честь заслужить, не то что иные соседушки...

Наблюдая отношения местного народа к господам, включая в число последних всех, кто носит немецкое платье и выражает претензию на образование, Дина не встречала ни ненависти, ни презрения, но сталкивалась кое с чем, может быть, худшим и того, и другого: с глубоким равнодушием, обусловленным твердою историческою уверенностью, что мужики

сами по себе, а господа сами по себе, и нет им ни в чем общей части. И скорее светопреставление приключится, чем мужик поймет господина, а господин мужика и оба столкуются к общему благу.

Благодаря чете Зверинцевых, а также частым наездам Келеповых и Шелеповых у Дины не было недостатка в товарищах для посещения села и окрестных деревень. Но она скоро охладела к подобным прогулкам целым господским обществом, так как заметила, что они возбуждают в крестьянах интерес приблизительно одного характера с тем, как приход табора цыган или приход ученого медведя.

— Уж и не разберешь, — горевала Дина, — то ли мы, подобно библейским сынам Божиим, сходим к сынам человеческим и производим на них впечатление особых высших существ таинственного, избранного в соль земли рода; то ли сыны человеческие глазеют с теми ж чувствами, как если бы «по улицам слона водили, как видно, напоказ...».

И однажды наконец некоторая бойкая бабенка преязвительно отчитала господ, праздно скитавшихся, выискивая твердые тропки в обход глубоких рыжих луж:

— Вы, господа, ходите к нам почаще. Потому ребята у нас за день набегаются, обголодают, много хлеба жрут. А как взвопишь их господ смотреть, так и хлеба не надо: будут с утра до вечера стоять да глазеть — только пальцы сосут. Так — без хлеба и спать на голодное брюхо лягут... А нам от того прибыток.

— Вот дерзкая дрянь! — возмутилась госпожа Келепова.

— И лицо у нее какое злое, антипатичное! — поддакнула госпожа Шелепова, рассматривая сатирическую бабу в лорнет. А та тем временем, набрав охапку соломы, шла, подоткнутая по колена, через улицу прямиком по грязи, делая вид, будто не замечает враждебного внимания, обращенного на нее нарядными барынями, и на злые взгляды их она, вольная лесная жительница, «чхать хотела».

Дина тоже нашла, что лицо у бабы не из добрых и характерец, должно быть, ой-ой-ой!

— А только говорит она умно и правду.

— Помилуйте, Дина Николаевна! — заспорила недовольная Келепиха. — Что тут умного — наговорить ни за что ни про что неприятностей людям, которые не с худым же пришли в ее деревню...

— Положим, что и добра она от нас покуда еще не видала.

— Но и зла тоже! — подхватила Шелепиха. — Согласитесь, что и зла никакого мы не принесли ей. А ведь у нее был такой злой и подозрительный тон, будто она кровных врагов встретила...

— Чужих встретила, — задумчиво возразила Дина. — По-моему, права. Разве мы свои? Я по крайней мере не чувствую...

Мужчины стали на ее сторону.

— Да, — согласился Пугачеву подобный Келепов, — как ни верти, а оно — правда: мы, землевладельческая интеллигенция, представляем для народа некий чуждый мираж, к которому ни он не делает ни шага, ни от миража не видит действительного приближения к себе.

— Ну а в финале, — захохотал Зверинцев, — взаимное удивление по рецепту Козьмы Пруткова: «Друг мой, удивляйся, но не подражай!»

Конечно, не обошлось без того, чтобы не осадили Дину хворые и болящие. Как административная ссыльная, она не имела права принимать их, но, так как чуть ли не первым пришел к ней за медицинскою помощью сам господин урядник спросить средствица против ломоты в ногах, то с полицейской стороны неожиданная практика Дины обставилась благополучно. А смущало девушку то, что уж очень мало она знает о здоровом и больном человеке. Нашелся у псаломщика старинный Бок, у Зверинцевых — Флоринский. Мало, наивно, первобытно, а больные валом валят, и недуги все разнообразные, пестрые.

— Ты бы к доктору шел!

— Далеко, день потеряю.

— Ну к фельдшеру.

— Ищи его, волосатого.

— Да ведь я не знаю, что с тобой делать, чем тебя лечить. Я не медик.

— Авось поможешь!

— Да что у тебя?

— Нога лишаем пошла... Потому — места наши озерные.

Смотрит Дина ногу: Бог знает что такое! По городской медицине, с такою ногою надо в больничной койке лежать, раны сулемою промывать, перевязки два раза в день менять.

— Да как же ты с этою страстью ходишь?

— А чего мне не ходить? Добро бы болело... А то — так, только зудит да саднит...

— Тут, милый, я ничего не могу. И лекарств у меня таких нет, чтобы тебе помогли, да и страшно: сгноишь тебе ногу — в ответ пойдешь.

— Вона! — равнодушно возражает пациент, точно услышал невесть какую глупость: что выдумала барышня! В ответе быть — за мужицкую-то ногу!

Дина чувствует, что мужик ни за что не уйдет без средства, с пустыми руками, и глядит на него с отчаянием. А он глядит на нее с убежденным ожиданием, как на ведунью, которой стоит только проделать что-то — раз, два, три! — и нога исцелела...

Дина роется во Флоринском.

— Ну! — радостно восклицает она, наконец откопав в лечебнике нечто такое, что если пользы не окажет, то и вреда не принесет. — Вот что, дядя: возьми ты картофельной муки и присыпай... может быть, и присохнет.

— Какой муки?

— Картофельной.

— Картофельной муки... ишь!.. А где ж я ее возьму?

— Неужто на деревне нету?

— А на что она? Нету!

— Ну, погоди, я хозяюшке скажу, попрошу тебе отсыпать.

— На том спасибо... Так — картофельной, говоришь?

— Да, да, картофельной. Присыпай помаленьку.

— Хорошо-с, будем присыпать.

Однако не уходит, мнется у порога, теребит шапку в руках и вдруг — приступает к Дине с решительным возгласом:

— Слушай, барышня, ты мне нашатырного спирту вели дать, не пожалей.

— Зачем?

— Да в прошлом году, видишь ли ты, нога эта самая тоже у меня болела…

— Ну?

— Доктору я ее в те поры показывал...

— Ну?

— Велел он мне ее водой с нашатырным спиртом обмывать. Дюже скоро помогло. В неделю затянуло. Не зудит, не саднит.

— Так что же ты раньше-то молчал?!

— А стыдно. Думал: ты пожалеешь...

— Помилуй, что тут жалеть? На гривенник нашатырного спирта в бутыли развести — тебе на месяц достанет...

— Господь же вас, господ, знает...

— Да что же мы, господа, по-твоему, звери, что ли? Жалости лишены?

— Зачем звери? Крещеные... А как, стало быть, всякий стоит за свое добро...

В такие минуты Дина чувствовала, что ей хочется схватиться обеими руками за голову и завыть на голос от горя и оскорбления... А пациенты видели, как она меняется в лице, и со страхом думали: «Гневается!.. И жадна же... Господская кровь!»

Бабы приходили все больше с нервными расстройствами. Много было икотниц. Дина ждала жертв деревенской

страды, но их не было, кроме молодухи, надорвавшейся на молотьбе, на которую вышла «с пылей», т.е. сгоряча, не оправившись от родов, да старухи, которую лягнул в живот норовистый мерин и с тех пор у нее маточное кровотечение. Прибрела как-то баба из дальних, просит лекарствица от ломоты в груди. Вид жалкий, испитой. Дина думает: «Ага! вот, наконец и она —

Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать».

— Работаешь, что ли, через силу?

— Нет, у нас бабы мало работают... больше возле дома. В поле мужики... Так, своим болею.

— Как же у тебя началась болезнь?

— А дочка у меня потонула, третий годок шел... Перва-то сын в реке залился, шести лет был мальчик, а потом девочка — в ключе... Мне как сказали, я себя не вспомнила — свой час приступил. Ударило меня оземь, а потом я ржами-то все в поля, все в поля... Далече меня тогда поймали... Ну с той поры грудка-то все болит, ломит... Доктор давал капли, помогали, только теперь вышли все.

Понюхала Дина пузырек: валериан.

— Ну, эти капли не хитрые. Я их имею. Отолью тебе.

— Спаси тебя Христос.

И, покуда Дина увязывала пузырек, женщина задумчиво говорила:

— А люди бают, чахотка у меня...

— Ну где, какая там чахотка!

— Ай нету?

—Ты о подобных пустяках и не думай, не запугивай себя. Чахотку не лечат такими слабыми каплями, какие дал тебе доктор.

— Хорошо, кабы твоя правда была... Умирать-то ровно бы-сь и не хочется: дети еще малы... Бог весть, кому попа-

дут! Муж-то у меня не старый еще... Помру — без хозяйки в дому ему не прожить, должен будет другую жену взять... Люты бывают к пасынкам мачехи-то... Сейчас-то мы живем больно хорошо, справно... ни в чем горя не видим, ни на что не жалуемся... Вот только бы грудь полегчала, а то — какой еще жизни?

«Чем они довольны?» — недоумевала Дина, слыша подобные фразы и видя, что раздаются они из уст не обеспеченной сытостью лени, а труда неустанного, воистину каторжного.

Антонина Николаевна Зверинцева в ответ только делала томное лицо и с презрением произносила:

— Почему же им не быть довольными? Живут сыто, а высших потребностей у них нет... Мужики! Чего вы от них хотите?

Но сам Зверинцев отрицательно тряс кудрями своими и повторял:

— А вот поживите с ними, отвыкнете от города, разглядите...

— Не любите вы города, Михаил Августович?

— Не люблю-с... Много кручен был жизнью по ним, городам то есть... Отравлен ими... Не люблю-с... Сверхчеловеческое учреждение... «Неволя душных городов», — сказал наш Пушкин... Недаром первый город выстроил Каин, первый сверхчеловек...

Барон тоже не любил города и декламировал против него очень красноречиво.

— Город, — восклицал он, — это отказ от физического труда и соприкосновения с природою! Город — уединение человечества от всей остальной Божьей твари. Город — попытка человечества жить лишь самим собою и лишь в самого себя. Город — та Вавилонская башня, которую люди строят, чтобы взойти по ней на небо и стать в нем богами, но не могут достроить, потому что языки их вдруг мешаются и они перестают понимать друг друга. Город — отрица-

ние естественного равенства материального и нравственного...

— Ну мы, социал-демократы, думаем об этом иначе! — возмутилась Дина.

— Да разве вы социал-демократка?— с истинным изумлением воззрился на нее барон. — Вот не думал.

Дина, уколотая, гордо выпрямилась.

— Надеюсь, — произнесла она, надменно закинув хорошенькую головку свою.

Барон покачал головою как бы с сомнением, а потом сказал:

— То-то вы тогда на Зверинцева за либералку обиделись... Ну да ничего...

— То есть как это ничего? — вспыхнула Дина. — Что значит ваше ничего?

— Деревня вас распропагандирует... Истинный русский социализм, Дина Николаевна, здесь, и отсюда предстоит судьбам его решаться, а формам будущего строя определяться...

— Можете не продолжать, — насмешливо остановила Дина. — Дальше, конечно, последует гимн общине?

Но барон устало смотрел вдаль, на красный вечерний запад, и говорил, уйдя в свои мысли, и вряд ли даже слышал возражение Дины:

— Вот я приехал провести лето в деревне, а она забрала меня и не выпускает уже третий год, и не знаю, выпустит ли когда-нибудь... И это неправда, что я ее люблю... Я ее признаю, но не люблю, власть ее ощутил и понял, но не люблю... Я городской человек, совершенно городской, я очень чувствую, что на деревенских позициях я часто бываю смешон и что деревня должна смеяться надо мною... Может быть, какой-нибудь Молоток считает меня помешанным... Мне, Дина Николаевна, до сих пор приходится ломать себя и перевоспитывать, чтобы стать здесь таким же, как все, и быть... то есть стараться быть полезным, как все... Город плетет вычуры умов, навязывает им

мнимую культуру, оторванную от связи с живою природою, порабощенную отчуждением от всего, что не человек, а человека обращающую в волка для другого человека...

— Вы толстовец, барон? — насмешливо возразила Дина. — Впрочем, вопрос почти излишний... Кто же теперь из образованных людей вашего класса не толстовец? Сейчас в России все титулованные так делятся: либо крепостник, либо толстовец… иногда то и другое вместе, но середины — нет...

— Нет, — грустно сказал барон, — я не толстовец... куда мне... А на класс мой, Дина Николаевна, не нападайте: он у нас с вами общий, один...

Дина сердито засмеялась:

— К сожалению, в качестве ссыльной, находящейся под полицейским надзором, не могу ознакомить вас с моим крестьянским паспортом... Или вы тоже, как здешние крестьяне, верите, что я княжна, скрываемая начальством по каким-то там особым правительственным расчетам?

— Нет, в это я не верю, — сказал барон, — но согласитесь, Дина Николаевна, что крестьянских девиц, воспитанных англичанками и говорящих на трех европейских языках, в России не так уж много... Я тоже воспитан англичанкою, потом учился в привилегированном заведении... Обобщая нас обоих в одном классе, я именно этот класс и имел в виду.

— Воспитанных англичанками и говорящих на нескольких языках?

— Да... Что бы ни стояло в вашем паспорте, все-таки к нам вы гораздо ближе, чем к ним...

Он кивнул в сторону села, к которому они возвращались.

— Сейчас, да, — сказала Дина, подумав, — я и не отрицаю... Я сейчас в деревне — хуже, чем в темном лесу... Но — увидим!

Голос ее прозвучал угрожающе, а барон одобрительно кивнул головою.

Дина продолжала:

— А разница между нами все-таки есть, барон. И, по-моему, органическая. Вы вот жалуетесь, что деревня вас захватила, но вместе и раздвоила: вы, собственно говоря, городской человек и не любите деревни, а только заставляете себя ее любить. А я люблю ее, барон. Уже люблю. Да — что там «уже»! Люблю с первого момента, как нога моя коснулась почвы ее, хотя, вы знаете, случилось это не при веселых обстоятельствах...

— Боюсь, что любовь эту вам трудно будет помирить с социал-демократическим кодексом, — усмехнулся барон. — Ведь по вашему-то символу веры tant pis — tant mieux...*

— Ну, как вам не стыдно? — вспыхнула Дина. — Повторяете пошлости, которые «Московские ведомости» высиживают...

— Виноват, — поправился барон, — я имел в виду не политическую программу, а только доктрину школы, что в настоящем моменте русская деревня умирает вместе с общиною, своею кормилицей, и страна земледельческая перерождается в страну фабричного производства и заработка. И нам о том надлежит не сетовать, но ликовать, потому что таким способом мы возносимся на высшую ступень культуры. Я не люблю деревни, но и мне обидно, когда я нахожу в ней следы этого омертвляющего процесса. И мне кажется, что сочетать восхищение к нему с любовью к деревне — это в своем роде почти объять необъятное. А вообще-то я вас очень понимаю и завидую вам в цельности, с которою вы приняли впечатление...

— А ведь знаете что, барон? — вырвалось как-то раз среди подобного разговора у Дины. — Вы ее, деревни этой, для которой работаете, просто-таки боитесь... Вы насильно заставляете себя служить силе, в добро которой не верите и, напротив, ждете от нее для себя всего скверного... Вы, извините меня за резкость, просто даете взятку будущему... Вроде — опять извиняюсь на сравнении — той старушки, которая находила бла-

* Чем хуже, тем лучше... (*фр.*)

горазумным поставить свечу Георгию Победоносцу, поставить другую — на всякий случай — и змию...

— Такие остроумные расчеты не приходили мне в голову, — улыбнулся барон. — А что боюсь, может быть, вы и правы... боюсь... Знаете ли, у меня есть своя теория...

— Это ничего... Всякому барону полагается своя фантазия! — засмеялась Дина.

— Вы повторяете Зверинцева, — засмеялся и барон. — Ну фантазия... Не гонюсь за словом... И фантазия моя заключается в том, что мы замыкаем круг великой цивилизации, которая изжила свой идеал и лучившиеся из него силы и должна умереть... Европейский мир, высосав христианскую цивилизацию до кожуры, отбрасывает ее, как выжатый лимон, чтобы самодовольно схватиться за старый языческий культ первобытного эгоизма. Он — в воздухе. Им дышат политика и история, практика и теория. Страшное ницшеанское противоевангелие от Заратустры — это предельная точка перезревшей культуры, момент, когда ее охватывает самодовлеющая гордость, повелевающая строить Вавилонскую башню, когда старинный совет райского змия — «Eritis sicut Deus scientes bonum et malum»* — представляется уже одряхлевшею наивностью. Добро и зло познаны. Мы — боги, сознательные и бессознательные. И так как мы боги, то довлеем лишь сами себе. И так как мы довлеем лишь сами себе, то нам «все позволено». Какое наслаждение проявлять, даже не призадумавшись, свою силу над бессильным! Вспомните Ницше. Какое удовольствие de faire le mal pour le plaisir de la faire**. Какая радость в насилии. И так как нам все позволено, мы понемножку дичаем. И так как мы понемножку дичаем, то утрачиваем волю, разумную энергию, дрябнем, расшатываем свой союз, то есть свою цивилизацию. А расшатав свой союз, становимся бессильны и не нужны и требуем себе исторической

* «И будете, как Бог, знать добро и зло» (*лат.*).
** Ради удовольствия (*фр.*).

смены. И вот приходят варвары, колотят нас, порабощают, схватывают из нашей отжившей цивилизации то хорошее, что успело дожить до их прихода, и с помощью этих обломков и своих здоровенных восприимчивых натур строят на развалинах нашего мира новый, свой собственный...

— Из Владимира Сергеевича Соловьева, — саркастически заметила Дина. — Успокойтесь, барон. Великого переселения народов больше не будет, потому что оно совершается каждый день и одна неделя железнодорожной работы передвигает по Европе людей больше, чем Аттила мог привести на поля Каталаунской битвы.

Барон серьезно покачал головою.

— Я тоже не верю ни в орды монголов, которые потекут разрушать нашу цивилизацию, ни в антихристов, которые после того восстанут. Наши варвары придут не извне, они — внутри стран, нами обитаемых, они — с нами уже, родные нам, одноплеменные, одноязычные и даже единоверные, хотя между их христианством и нашим — пропасть.

— Ага! — засмеялась Дина. — Ну что? Кто прав? Не говорила ли я, что вы струсили аграрной революции и забегаете зайчиком вперед, чтобы столковаться с нею и выговорить себе амнистию.

А барон задумчиво проповедовал:

— Когда Тацит писал «Германию», чтобы отрезвить римских «сверхчеловеков», тоже вызревших в культуре своей до ницшеанства, хотя все-таки менее откровенного теоретически, чем нынешнее, он приблизительно совершал такой же подвиг, как в наши дни в России совершают народники...

— Вот вас куда тянет, — сказала Дина, — ну, знаете, c'est un jeu manqué*.

— Голоса, вопиющие, чтобы привлечь внимание людей, одиноко стоящих на вершинах цивилизации и готовых погиб-

* Это плохая игра (*фр.*).

нуть от своего одиночества, на громадную свежую силу сырого народного материала, с которым надо породниться, чтобы спасти себя и свой культурный строй от гнилого разрушения, ему грозящего. Вместо народничества римскому литератору улыбалось варварничество. Но римский литератор не предвидел, что в самом непродолжительном времени варвары, им воспеваемые, потянутся неудержимою грозою на Рим. Мы же очень хорошо знаем, что подобная сила, спящая мертвым сном по селам и деревушкам безграмотной Руси, мозолящая руки на ее фабриках и заводах, — наша непременная преемница. Вот вы, — улыбнулся он, — все поддразниваете меня революцией. Да нет же, я гораздо дальше вас иду. Без всяких гроз, переворотов и переселений, простым, статистически растущим наплывом снизу вверх, она, эта поддонная сила, когда мы вовсе испоганим и обессмыслим нашу цивилизацию по рецептам сверхчеловеческих идеалов, столкнет нас с ее обломков, сядет на них пановать и начнет заново свою собственную мужицкую историю, может быть, очень похожую на нашу, а может быть, и вовсе непохожую.

— И господину барону это будет очень неприятно, — заметила Дина. — И господин барон бежит вперед прытким-прыткким зайчиком, чтобы неприятность эту обогнать и свести на нет... Но господин барон напрасно тратит свою рыцарскую энергию: против землетрясений буферов не существует...

— С природой сговориться нельзя, — угрюмо возразил барон, — а человек с человеком всегда могут столковаться. Папа Лев заставил же Аттилу отступить от стен обреченного гибели Рима...

— То был Лев Первый, а теперь в Ватикане сидит с обрубленными коготками Лев Тринадцатый... Вы, часом, не католик, барон?

А он, пропуская ее насмешки мимо ушей, знай твердил с огнем кроткого фанатизма в бледных глазах, ставших в самом деле несколько сумасшедшими:

— Безверный Рим спасло, что он нашел христианскую веру. Нас, мнимых, номинальных христиан, спасут те лучшие люди из нашей полуязыческой среды, которые, храня еще исконные культурные заветы христианства, идут и пойдут навстречу поддонной силе с тем христианским просвещением, которого она алчет и именно за которым поднимается наверх, из вечного мрака к солнцу вечной любви и правды.

— Ну, так, так! — воскликнула Дина. — Барон, да вы, кажется, в самом деле собираетесь под крылышко к Льву Тринадцатому? На пропаганду благословенного им христианского социализма?

— Это католическая затея, — сухо сказал барон, — а я лютеранин...

— Ну, значит, в Армию Спасения, — допекала его безжалостная Дина.

Дина скоро заметила, что крестьяне больше любят и откровеннее говорят с нею, шире распахивают душу и быт свой, когда она приходит к ним одна, без новых знакомых и друзей своих из местных господ. И много она думала, и чем больше думала, тем факты деревни становились для нее, освещаясь по-новому, яснее, а обобщить их в психологическую систему и логическую программу, напротив, становилось все труднее...

«Рай, — думала она, переживая над Осною бодрую, погожую, желтолиственную, золотую осень. — Истинный рай. Но рай, откуда Адам и Ева уже изгнаны, и у врат стоит грозным стражем херувим с пламенным мечом, и в вихре ветра, и в шуме трепещущих дерев гудят роковые слова: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой!.. Будешь обрабатывать землю, и она родит тебе тернии и волчцы!.. В болезнях будешь родить чада!.. Смертью умрете!..» Мы, в городах, умели заглушить это страшное проклятие, окружив его шумом и звоном самодовлеющей культуры. Так бьют барабаны, чтобы не слышны были слова преступника, взводимого на эшафот. Но ведь он все-таки говорит, насмешливый преступник,

и слова его существуют уже в мире, хотя мы и заставили себя не слышать их, чтобы не смущаться ими. Мы принудили извечное проклятие надеть маску и казнить нас вежливо, медленно, под шумок».

Но среди деревенской природы, прелестной, но строгой на ласку, богатой, но скупой, старая клятва встает во всем своем мрачном величии...

И в тревогах новых дум, пытливо блуждая от деревни к деревне, от одних обшарпанных избушек с тряпками в разбитых стеклах подслеповатых оконниц к другим, гордо сияющим резьбою по оконницам и крашеными коньками на новых тесовых крышах — и здесь и там одинаково, — Дина до галлюцинации ясно видела труд, болезнь, голод и смерть подобно всадникам Апокалипсиса, скачущим на скудные селения и поля, где рассеяны, как бессильные крупицы, порождения Адамовы, не захотевшие уйти от доли праотцев, от Адамова пота. И, видя, содрогалась... И таяло высокомерие, выращенное на Каиновой городской почве, и росло смирение человеческого братства у груди земли-кормилицы. И ясно думалось, что без братского союза человеков во имя матери-земли нет в мире ни силы, ни власти, достаточно мощной, чтобы противостоять страшному, апокалиптическому наезду.

И шептали, вспоминая детство, благоговейные уста:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...

«Романтизм! — насмешливо укорял рассудок. — Но в восемнадцать лет сердце не умеет чувствовать, а ум родить мысли без романтической метафоры...»

И внезапным благовестом гудело в душе вещее слово, призывая Дину к благоговейному смирению пред странным миром

бессознательно мудрых невежд, здоровых больных, богатых бедняков, которым тайну презрения к смерти открыл, которых на победу страдания благословил Тот Великий, о Котором легенды народов в двадцативековой усталой мечте твердили, что Он попрал смерть смертью и пременяет зло в добро. Твердят — и все разочароваться не хотят, сквозь тернии и по скользкому льду веру несут и не хотят перестать верить...

В золоте, прозрачном золоте последним теплом льющегося солнца сияют заречные холмы, пока не кладет предела взору темно-фиолетовая даль. Тают облачка в небе... Косогор, с утра запорошенный инеем, а теперь спускающий его влагою с рыжей пашни, ожил: словно сплошь ризой одет, журчит, дрожит, зыблется бронею мелкой сверкающей струи; подумаешь, гора расплавилась и стекает в подвижную синь Осны... Тихо... Земля вздыхает. Что-то шуршит в ней, точно прорываясь к воздуху и свету... Речушка Полымень, в которой вечно играют на солнце щучки, лепечет и поет... Сопровождающий Дину в прогулках новый друг ее, огромный дворовый пес, белолобый Лыско, подставил Дине под руку свою волнистую спину, стоит, внимательно и зорко следя за чем-то невидимым по ту сторону речушки, в темной купе деревьев, что скрывает убогую часовенку, где люди молятся пред старыми иконами и черными каменными крестами, вырытыми из курганов давно забытых племен. Тихо... Земля вздыхает и кряхтит... Хрустнул сучок за спиною... Дине странно и жутко обернуться, жутко посмотреть по сторонам. Ей чудится, что там, на лесном скате, между склоненных темною хвоею сосен, она увидит высокого бледного человека в белой одежде и с золотым кружком над темнорусою головой: он смотрит кроткими очами на избы, что буреют за Осною, как взлохмаченные копны, и, подъяв пронзенную, струящую кровью руку, осеняет их издали широким-широким крестом...

XI

«...С прискорбием убеждаюсь, что не имел счастия оправдать доверие, которого был удостоен, а потому мне остается лишь просить о милости: снять с меня обязанности, коими я был незаслуженно облечен, и передатьих лицу более меня достойному...»

«Весь Петербург» — в департаментах, канцеляриях, в антрактах театральных спектаклей, в ресторанах — только и делал, что обсуждал и смаковал казенную фразу эту, споря, раздалась ли она устно на докладе в Царском Селе или заключала собою письменное прошение об отставке, поданное Алексеем Андреевичем Долгоспинным после очень немилостивого приема в «сферах»...

Липпе свалил Долгоспинного и, сев на его место, обдумывал, как ему поступить с побежденным врагом: сейчас же скушать сей политический труп или придержать его впрок — на всякий случай. Для того чтобы вообще-то скушать, старый государственный циник хорошо знал — предлогов и поводов при передаче ведомства, чуть не десять лет управлявшегося в порядке семейственном и патриархальном, найдется больше, чем надо... Пообдумал и решил — вроде того, как княгиня Латвина о графе Обертале:

«Колодезь сей засыпать всегда успеем, а покуда в нем есть сколько-нибудь воды, плевать в него не годится».

Долгоспинный же с ужасом размышлял о том, что теперь вполне во власти Липпе зажарить его на медленном огне не только придирок — что уж там! — но и простой поверки отчетных сумм, зиявших чудовищными прорехами. В числе последних — самым видным и болезненным бельмом стал теперь для отставного сановника возврат залога графу Оберталю. Об операции этой говорили в городе громко, и следы ее Долгоспинный должен был скрыть, во что бы то ни стало вернув деньги в казну прежде, чем раздалось зловещее слово — «растрата».

Граф Оберталь метался по Москве в бесплодной погоне за деньгами уже третьи сутки. Из Петербурга летали телеграммы все нетерпеливее, все тревожнее. Алексей Андреевич, видимо, струсил и потерял уверенность в племяннике... В каждой депеше он непременно упоминал о своем преемнике и заклятом враге Липпе и о контролере Аланевском, фанатике казенных интересов и потому тоже недоброжелателе Долгоспинного. Именно его доклад и отнял пост у Алексея Андреевича. Между строками этих упоминаний Оберталь ясно читал: «Ты видишь, с кем мы имеем дело. Если растрата не будет пополнена, меня не пощадят. Неужели ты будешь так подл, что посадишь своего благодетеля на скамью подсудимых?»

— Неважно, очень неважно ваше положение, Евгений Антонович, — говорил Оберталю, возвратясь из Петербурга, его поверенный Бурмин, — падение Алексея Андреевича произвело панику. Я, знаете, пощупал кое-кого из петербургских банкиров...

— Ну?

— Только что не смеются в глаза: «Граф Оберталь? Да чего же он теперь стоит?» А здесь как?

Граф махнул рукою.

— То же самое.

— Скверно.

— Но, Вадим Прокофьевич, я не понимаю: откуда такое недоверие? До сих пор мы оправдывали свои документы...

— Блистательно.

— Ну, положим, дядя пал, и даже не без скандала. Но дядя — одно, я — другое. Я-то за что терплю в чужом пиру похмелье?

— Есть такая пословица: «Лес рубят — щепки летят».

— Подряд все же остался в моих руках. Его у меня отнять нельзя.

— Никаким манером, но — выгодная ли он теперь операция, Евгений Антонович?

— Вадим Прокофьевич, да не мы ли с вами считали вот в этом самом кабинете и досчитались до полумиллиона чистой прибыли?

— Те-те-те, батенька! Это было, да прошло. Давайте-ка считать сызнова. На операции с Латвиной вы потеряли тысяч сто? Больше? Ага! Вечная переписка векселей почти вдвое чего-нибудь вам стоила? Перевозка брусьев выросла против сметы — забыли? Нет, теперь я — даже при Алексее Андреевиче — не оценил бы вашего подряда больше, чем в двести тысяч...

— А без Алексея Андреевича?

Бурмин помолчал.

— Что же, — возразил он с расстановкою, — господа купцы, пожалуй, правы. Дело ваше — табак. Я бы за него гроша медного не дал.

— Да почему, черт возьми?

— А потому что подумайте-ка: кто и как будет теперь принимать от вас подряд? При Алексее Андреевиче вы ставили, что хотели, и хоть с гнильцой и пыльцой, ничего: казна все вытерпела бы, все сошло бы с рук. Еще, пожалуй, орден бы получили. А Липпе и Аланевский... нет, милый человек, тут не шутки-с! Они вам такую приемную комиссию назначат, что каждую шпалу перенюхает. Тут не орденом, а Сибирью пахнет-с, местами не столь отдаленными.

— У нас все, кажется, в порядке.

— Да ведь это как взглянуть. Захочет приемщик найти все в порядке — ну и найдет, и ступай, значит, господин подрядчик, в храм славы! А захочет придраться — ну и поздравляю вас вместо порядка с хаосом и окружным судом. По-вашему, у нас подряд ведется образцово. И я скажу: ничего, живет, исполняются подряды и хуже. А все-таки я, если хотите, сейчас вам укажу по крайней мере десять поводов отдать вас под суд.

— Например?

— Что далеко ходить — разве годился в обработку тот же латвинский лес?

— Да... негодяйка! Обобрала меня да еще наградила гнилью!.. Хоть бы капля совести...

— Совершенно справедливо изволите говорить: ни капельки. Этого леса не то что принять было нельзя, его прямо надо было везти к прокурору как вещественное доказательство: вот, мол, госпожа Латвина намерена заняться систематическим человекоубийством — ставит на шпалы мусор вместо леса... А мы приняли, и шпалы из латвинского леса у нас — через четыре пятая, на протяжении трехсот семидесяти верст-с.

— Это надо будет переделать! — сквозь зубы процедил граф, глядя в сторону.

— В этом-то и штука, ваше сиятельство, что теперь, с новым начальством, придется очень многое переделывать, а многое делать иначе, гораздо лучше, чем раньше. А все сие стоит денег и денег. Репутация ваша у Липпе и Аланевского такова, что, если вы не поставите самого отличного материала, к которому и придраться уже нельзя — недобросовестно будет, — они скажут: поставил дрянь. Вон вы с помощью дядюшки произвели краткосрочный заем из Государственного казначейства — правда, не предупредив о том контроля, — а Аланевский кричит на весь Питер, что Долгоспинный с племянником обокрали казну, и чуть не требует ревизии... Все зависит от взгляда на предмет. И вот-с, я полагаю, что при настоящем взгляде, то есть при Липпе и Аланевском, вы не только ничего не заработаете на подряде, но еще не потерять бы вам тысяч пятидесяти, а то и всех ста.

Почти то же самое высказали графу многие московские тузы, к кому бросился он за помощью, и откровеннее всех Артемий Филиппович Козырев.

— Значит, — горько усмехнулся Оберталь, — дело стоит так: пока я мог, если бы захотел, вести подряд мошенниче-

ским манером, вы считали меня достойным кредита; а когда я не могу его вести иначе, как на честнейшей отчетности, я не стою вашего участия? У вас есть кредит мошеннику и нет — для честного человека?

— Ну зачем такие резкие слова, такие горькие фразы, граф? Просто вам верили, пока из подряда можно было иметь выгоду, а сейчас нельзя... То есть вам нельзя, а другому — очень даже можно. Если бы вы пожелали передать подряд и правительство разрешило бы вам передачу, даже мы не отказались бы купить его у вас...

— Никогда! Ни за что!..

— Ну, граф, в таком случае, скажу вам прямо: лучше и не стучитесь к солидным фирмам — приятного для себя ничего не услышите.

— Что же, пропадать мне? — почти грозно вскрикнул Оберталь, страдальчески хмуря брови.

Козырев поглядел на его желтое осунувшееся лицо...

«Жаль малого!» — подумал он и уже мягче посоветовал:

— Зачем пропадать? Попытайте дисконтеров. Может быть, и добьетесь какого-нибудь толка. Потому что ведь это их прямое ремесло: торговать вексельную бумагою как самостоятельным товаром... Конечно, они обдерут вас как липку, но другого исхода я для вас не вижу...

— Что Оберталь? — спросила в тот же день Латвина своего управляющего.

— Бьется как рыба об лед... даже жаль смотреть. Теперь по дисконтерам ударился.

— Вы не знаете, к кому именно?

— Я его направил к Моргенбаху, Ракианцу, Халвопуло и Опричникову...

— Вы считаете его дело совершенно потерянным?

— То есть — как крупное дело, — конечно, оно не стоит ничего; но выбраться из него без потери, даже с порядочной прибылью очень можно.

— Даже при новом обязательстве на эти семьдесят пять тысяч, которые он ищет?

— Даже.

Анастасия Романовна закрыла глаза и считала в уме. Потом укоризненно посмотрела на Козырева.

— Какой же вы чудак, Артемий Филиппович! Зачем, в таком случае, вы послали графа к этим пьявкам? Надо было прямо направить его к Гаутонше…

Артемий Филиппович взглянул на хозяйку немножко дикими глазами.

— Но, ваше сиятельство, я не смел...

— Почему?

— Вы изволили распорядиться, чтобы графу был прекращен кредит...

— Ну да, в моей конторе. А какое мне дело до Гаутонши? Надеюсь, между мною и madame la baronne Эйс-Гаутон нет ничего общего... При чем же тут мой кредит графу? Я его закрыла, а Эйс-Гаутон может открыть, и даже, я надеюсь, наверное откроет... Ну-с, а затем — ваш доклад кончен?

— Исчерпан-с.

— Так до свидания...

Но от дверей Латвина вернула управляющего, чтобы снова приказать ему:

— Если сумеете, непременно устройте, чтобы Оберталь нашел деньги именно у Гаутонши... Прощайте.

Артемий Филиппович покрутил головою, щелкнул перстами...

— Бисмарк, а не баба!!!

Тем временем граф, напрасно побывав у Моргенбаха, Ракианца и Халвопуло, маялся, как в застенке, в темном чуланчике при меняльной лавке дисконтера Опричникова. Чудной это был старик: маленький, седенький, желтенький, опрятненький, попрыгун и непоседа, точно в его жилах текла ртуть вместо крови; глаза — изжелта-карие, без ресниц, в красной опухоли — смотрели странно, напоминая то хищную птицу,

то юродивого. По купечеству Опричников слыл — немного рехнувшись, но ростовщические операции свои обделывал артистически, отличаясь памятливостью, скаредностью и жадностью поразительными. В ссудах был тяжел и прижимист, во взысканиях безжалостен; в деловом разговоре — несносен, мешая с серьезными фразами совсем полоумное шутовство.

—Хи-хи-хи! ха-ха-ха! как нам жалко петуха! — запел Опричников, едва Оберталь показался в его лавке: они были несколько знакомы по общим собраниям общества «Отрада домовладельца». — Милости прошу к нашему шалашу!

Он увел Оберталя в свой «хозяйский» чуланчик, усадил его к столу, под огромный, сверкающий золотою ризою и драгоценными камнями образ, и принялся отвешивать гостю частые, дурашливые поклоны, приговаривая:

— Се кланяюся ти, Евгение, понеже погублен еси безвинно.

— Что это значит? Я не понимаю, — пробормотал Оберталь, сразу сбитый с толку.

— А то и значит, что мне — хи-хи-хи, ха-ха-ха! — очень жалко петуха.

И, подсев к гостю, старик прищурил на него хитрые глаза.

— Что, брат, дядюшка-то — того? Ау, Матрешка?.. То-то! И сочинитель Сумароков когда-то писал:

Суетен будешь ты, человек,
Если забудешь краткий свой век...

Я ведь, брат, дошлый: все знаю. У меня тут друг-приятель по соседству, под воротами, букинист знакомый: все мне книжки дарит. Должен мне, ну и дарит. Процент процентом, а книжка книжкою — такое уже положение... А ты все-таки носа не вешай, отче Евгение, что вешать? Всякое бывает на свете: и трын-траву козы едят. Несостоятельным объявляешься? — неожиданно спросил он, впиваясь в Оберталя ястребиным оком.

Тот даже отшатнулся.

— Что вы! Бог с вами!

— Ну и молодчага! А то дурак ноне народ пошел, ох, дурак! Чуть в делишках трень-брень, глядь — либо из пистолетки себе неприятность окажет, либо — в несостоятельные. Вывернуть кафтан, барин, хорошо тому, у кого денег много, а у кого их нет, это, значит, из поля вон.

— Вот что, Демьян Кузьмич, — перебил Оберталь, — у меня в эти дни голова кругом идет, так что я обиняки и шутки ваши даже плохо уразумеваю... Будьте добры, поговорим серьезно. Можете?

— Я-то? Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! Смотри, как насупился: могила Бовы Королевича и Еруслана Богатыря!

— Я к вам, конечно, за деньгами.

Старик зевнул.

— Ну, брат,— равнодушно возразил он,— ради такой новости и супиться не стоило. Зачем же к Демьяну ездят люди, как не за деньгами?

— Дадите?

— Дам. Отчего не дать? Давалкою, сказывают, люди сыты бывают.

— Мне много надо.

— Все бери!.. — Опричников сунул руку в карман и вытащил горсть серебра. — Видишь? Последние: двугривенный, гривенник, четыре пятиалтынных... Все бери! Знай Демьянову ласку!

— Да будет вам дурачиться!.. — нервно вскрикнул Оберталь, вставая с места.

Опричников притворился смертельно испуганным: заболтал руками и ногами, затряс головою.

— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! — бормотал он с хитрою улыбочкой злого идиота.

Граф оперся руками на стол и, тяжело дыша, нагнулся к старику.

— Мне семьдесят пять тысяч надо, — сказал он, глядя прямо в глаза ростовщика.

Тот замигал веками и высунул язык.

— Вот так фунт! Это, что называется, наше вам всенижайшее, ходите почаще — без вас веселее.

Граф хмуро и вызывающе смотрел на него.

— Дадите?

Опричников сорвался со стула, стал в гордую позицию, топнул ногою и завизжал пронзительным фальцетом:

Для тебя, моя душа,
Ничего не жалко:
Вот два ломаных гроша,
Вот мешок и палка!

— И вот вам, господин Анджело Мазини, десять рублей — кресла первый ряд, у барышников — четвертная. Слыхал?

— Что? Кого?

— Мазини-то, говорю, слыхал?

— Черт вас возьми совсем!

Оберталь крепко стукнул по столу кулаком. Мускулы смуглых щек его дрожали под побледневшею кожею, глаза сверкали. Опричников пристально посмотрел на него, смирненько сел на стул и переменил тон.

— У Моргенбаха был?

— Нет, не был, — солгал граф и тут же спохватился: — А, впрочем — черт! Что вам лгать-то? Все равно — наведете справку... Конечно, был.

— У Ракианца? Халвопуло?

— У всех.

— Не дали?

— Если бы дали, зачем бы мне быть у вас?

— И я не дам, — как-то даже успокоительно заключил Опричников.

Евгений Антонович тяжело вздохнул и повесил голову.

— Не потому не дам, чтобы я тебе не верил или боялся за деньги, — продолжал Опричников, — а потому: видишь, Бог-от у меня какой?

Он торжественно указал на икону и перекрестился.

— Кузьма и Дамиан — бессребреники!.. Вот и, стало быть, в такие большие дела мне соваться не резон. Вот кабы тебе тысячку, другую... А то эку махину выворотил: семьдесят пять тысяч! Да я в жизнь свою не давал такой суммы в одни руки. Раз как-то помог одному молодцу, ссудил пятнадцать тыщ, соблазнился процентом... и процент же, душенька ты моя, был! Люли-малина! Абрикосов конфет, полтора рубля фунт, ананасный ломоть на покрышку задаром! Вот какой процент. Так, веришь ли, и проценту был не рад. Просто исстрадался, пока деньги не пришли домой. Ну вот точно я свою присягу нарушил. С той поры — баста: за десяток не переваливаю, ни-ни! Пусть Моргенбахи да Халвопулы хапают; большим кораблям большое и плавание, а я человек маленький... Курочка, знаешь, по зернышку клюет, одначе сыта бывает... Стой, стой, братишка, куда ты?

Он отнял у Оберталя шапку.

— Посидим, потолкуем. Денег я тебе не дам, а добру научу. У тебя чей бланчик-то будет?

— Реньяк поставит, Бурмин — адвокат, Меховщиков...

Опричников презрительно пожевал губами.

— Не коммерческие люди.

— Откуда мне взять коммерческих? Все отступились.

— Жена не поставит?

— Отказала наотрез.

— Плохо твое дело.

Старик опять зажевал губами и вдруг с размаху ударил Оберталя по колену, так что тот даже вскрикнул от неожиданности.

— Латвинский бланк достань, братец ты мой! Вот это — деньги.

— Просил, — угрюмо возразил Оберталь.

— Ну?

— Говорит, будто она никогда не выдавала ни одного векселя, не ставила ни одного бланка и начинать не желает...

— Та-ак... Это точно. Слыхал и я про нее такую молву, слыхал. Однако что я тебе, братец ты мой, скажу…

Опричников нагнулся к самому уху Оберталя.

— Латвинские бланки я сам — вот умереть мне на этом месте, — своими глазами видел... Что почерк ее, Латвиной, не поручусь, а бланки ее.

— Но как же...

— Да вот так же. Гаутоншу знаешь?

— Понятия не имею.

— А еще делец! Есть такая госпожа Фелицата Даниловна Эйс-Гаутон: из хохлуш, а муж у нее был — она говорит — барон ирландский, а мы так скажем, машинист с чугунки, из аглицких жидов... Понимаешь?

— Пока ничего не понимаю.

— Дурашка! Эта самая Фелицатка — тоже наш брат Исакий: деньги дает — и только под самые крупные обязательства. Хе-хе-хе! Сотельница, шельма!

Старик осклабился.

— Есть у нее еще одно занятие, постороннее... Да тебе не любопытно: у тебя жена красавица. Ну-с, так у Гаутонши этой векселей с латвинскими бланками — полна шкатулка…

— Откуда же они взялись?

— Уж это надо спросить тех, чьи векселя.

— Демьян Кузьмич! Я очень невысокого мнения о Латвиной, но в этом отношении уверен, что она меня не обманула: бланков она действительно не ставит.

— Хе-хе-хе! Я же и говорю тебе: за почерк не поручусь... Дурашка! Руки-то, чай, у всякого есть, и грамоте тоже иные не попусту обучались. Разве трудно написать на обороте векселя: «Княгиня Анастасия Романовна Латвина»? Это на что я прост, и то сумею.

Оберталь дико уставился на ростовщика.

— То есть... подлог?

Опричников равнодушно пожал плечами.

— Товарищи прокуроров так это дело ругают, а по-нашему, простецкому имя ему — двойное обеспечение.

— Хорошее обеспечение: фальшивый бланк!..

— Преотличное, братец. Чудак! В Сибирь-то никому не хочется. Есть меж нашего брата, купца, мастера по части выворачивания кафтанов. Так — веришь ли? — сам был свидетель: обыкновенному кредитору платит по гривеннику за рубль, а Гаутонше — мало что полным рублем, еще с надбавкою, — только отстань и не погуби!.. Потроха свои в Охотный ряд продашь, а по такому векселю заплатишь! Так-то, друг любезный!

— И часто это практикуется?

Опричников только свистнул...

Оберталь долго молчал, видимо озадаченный.

— Все это так невероятно, — сказал он, — но... вы, например, Демьян Кузьмич, решились бы дать денег под такой вексель?

Опричников зорко взглянул на графа и покачал головой.

— Я? Нет.

— Почему же дает Эйс-Гаутон?

— Дело у нее другое, крупное дело. Сказываю тебе: я — курочка, клюю по зернышку. Моего клиента тащить в суд — один срам. Эка важность: подкатил мальчишка дядину подпись на вексeле в пятьсот целковых! Тут, коли попадется бойкий адвокат, пожалуй, не он, а ты подсудимым-то выйдешь. Поднял я один раз дело — сам не рад был: прокурор, брат, от обвинения отказался; защитник битых полчаса пущал на меня мораль, ровно бы не подсудимый, а я сам подделал вексель; Ринк[*] такое заключе-

[*] Товарищ председателя Московского окружного суда в восьмидесятых и в начале девяностых годов. Славился замечательными и едко-остроумными резюме.

ние сказал, инда у меня уши горели; присяжные и минуты не совещались — вышли с чистым «не виновен»; публика в ладоши хлопает... Благодарю покорно! И денежки мои плакали, и я же оплеван... А у Гаутонши — и клиент не тот, и суммы не те. Одна штука, коли за княгиню Латвину распишется на векселе в пятьсот целковых какой-нибудь Мотька Сидоров, но совсем другая модель, коли вексель-то не на пятьсот рублей, а на семьдесят пять тысяч, да и расписался-то за княгиню Латвину не Мотька Сидоров, а, скажем, к примеру, граф Евгений Антонович Оберталь...

— Я просил бы вас выбирать примеры осторожнее, — проворчал граф.

Он погрузился в глубокую задумчивость. Опричников лукаво поглядывал на него искоса.

— Вы, кажется, сказали, — протяжно спросил граф, — что эта Эйс-Гаутон дает деньги только под латвинские бланки?

— Не «только», но всего охотнее под латвинские.

— Почему это?

— Ну уж Бог весть, какие меж ними стосунки...

— Что такое?!

— А это, вишь ты, полячок один ко мне ходит, так он завсегда вместо «делишки» говорит «стосунки», а я у него, по юродству моему, перенял... Коли Гаутонше верить, так она с Латвиной и не знакома даже.

Оберталь встал и решительно взялся за шапку.

— Прощайте, Демьян Кузьмич. Поблагодарил бы вас, да, правду сказать, не за что...

— Ну, ничего, Бог тебя простит. Как-нибудь в другой раз поблагодаришь. Прощай, душа. Заезжай на свободе — гость будешь... Да, стой, совсем забыл!.. Может быть, дать тебе адресок?..

— Какой?.. — резко спросил граф.

— Ее, — усмехнулся ростовщик, — то есть где Гаутонша жительство имеет.

Оберталь побагровел.

— Вы с ума сошли! — крикнул он и, запахнув шинель, быстрыми шагами вышел от менялы.

Опричников долго смотрел сквозь зеркальные окна лавки вслед быстрым санкам графа.

— Врешь, брат, врешь! — бормотал он, ухмыляясь. — Криком нас не надуешь... Прямо в адресный стол поехал. Разве-разве что сперва заедешь по дороге посоветоваться с Бурминым... Эй, малый!

Он нацарапал у конторки на двух листках синей бумаги кривые каракули и отдал лавочному мальчишке на посылках:

— На-кася, неси этот лоскуток к Фелицате Даниловне, а этот к Артемию Филипповичу... Да живо! чтоб одна нога — здесь, другая — там...

А граф действительно поехал к Бурмину. Адвокат знал Гаутоншу.

— Но это отвратительная женщина, граф, — предупредил он. — Беспощадная ростовщица, и, говорят, у нее на шее немало сомнительных дел. Притом она дает деньги только под самое верное обеспечение...

— Козырев обещал мне, — сказал Оберталь, глядя в землю, — уговорить Латвину поставить бланк на моем векселе...

Бурмин воззрился на него с не совсем доверчивым изумлением. Оберталь гордо выдержал взгляд.

— А, это другое дело! — возразил адвокат почтительным тоном. — Но тогда, милый друг, зачем вам эта ведьма, Гаутонша? Такую редкость, как латвинский бланк, учтут вам в любом банку al pari*.

* * *

Граф Оберталь долго звонил, прежде чем дверь с медною дощечкою, обозначавшею, что тут живет Фелицата Да-

* По номинальной стоимости (*ит.*).

ниловна Эйс-Гаутон, пред ним отворилась. Горничная, одетая как барышня, увидав пред собою незнакомого мужчину, смерила его удивленным взглядом.

— Фелицаты Даниловны нет дома, — сказала она с сильным немецким выговором, не впуская графа в переднюю.

— Не может быть! — воскликнул граф. — Она сама назначила мне этот час.

— Ваша фамилия?

— Граф Оберталь.

— А! Это другое дело. Велено принять.

«Однако по-министерски... — думал граф, оправляя перед зеркалом усы и волосы. — Черт знает чем у них тут надушено? Горький миндаль какой-то... дышать нельзя... Или это от этой?»

Горничная казалась ему странною. Она не помогла снять ему шубу; смотрела холодно и надменно, точно своим приездом граф нанес ей лично оскорбление. Его удивило несоответствие почти роскошной фигуры девушки с тощим лицом ее, глазами в синем ободке и больными, обметанными розовой сыпью губами.

— Идите за мною...

Горничная повела Оберталя длинным коридором, застланным мохнатым ковром. Из боковой двери выглянула молодая растрепанная девица в расстегнутом пеньюаре и ничуть не сконфузилась, когда взгляд Оберталя встретился с ее мутным, как будто слегка пьяным взглядом.

— Wer ist der Herr, Lehnchen?* — окликнула она горничную.

— Ein Affairengast zur Frau Baronin**.

— Ah, Je!..***

Девушка сделала дурашливую гримасу и скрылась.

---

* Кто этот господин, Ленхен? (*нем.*)

** Гость к госпоже Баронин (*нем.*).

*** Ах, да!.. (*нем.*)

«Куда это я попал?» — подумал изумленный Оберталь.

— Подождите здесь, — отрывисто сказала горничная, отворяя дверь в маленькую гостиную, причудливо освещенную фонариком с разноцветными стеклами. — Фелицата Даниловна сейчас выйдет.

«Куда я попал?!» — вторично воскликнул граф, оглядывая обстановку комнаты: неестественно выгнутые и покатые козетки и диванчики, группу трех граций на камине, а на стенах откровенных дам Жмурко и Сухоровского, в мастерских копиях — едва ли не «повторениях» от руки самих художников. Откуда-то из-за стены доносились слабые отголоски многолюдного разговора, смех, стук ножей и вилок, звяк стаканов.

Появилась еще одна девица. Оберталь сразу признал ее за сестру растрепы, встреченной в коридоре. Эта, однако, была одета прилично и даже слишком изысканно для «у себя дома».

— Простите, граф, — извинилась она, — тетушка заставляет вас ждать; она очень занята; минут через пять освободится...

Три женщины, которых Оберталь успел видеть в этом таинственном доме — горничная, растрепа и ее прилично одетая сестра, — имели типическое сходство между собою: у всех хриповатые, срывчатые голоса, у всех худые измятые лица на статных телах, поблекшие щеки, обметанные губы и темные подглазицы; у всех нехорошая, притворная улыбка и взгляд вместе и скрытный, и нахальный, точно они сообща хорошо спрятали какую-то гадкую, порочную тайну и смеются над теми, кто ее ищет. Барышня занимала графа с четверть часа разговором о погоде, о Фигнере в «Онегине», о последнем романе Бурже... Говорила, как печатала: бойко, складно, толково. Граф терялся, с кем он имеет дело.

«Это не то, что я сперва подумал, — соображал он и невольно покосился на нескромные картины, — но, в таком случае, что же это?»

Барышня поймала его взгляд.

— Тетушкин вкус, — рассмеялась она неестественным смехом.

Оберталь невольно подумал: «Не твой ли, голубушка?»

И, несмотря на свой приличный вид и приятный разговор, собеседница сделалась ему противна. Особенно раздражала его ее некрасивая привычка ежеминутно трогать языком свои больные губы, точно она дразнилась. Граф перестал смотреть на барышню, но узнавал каждый раз, как она проделывала эту штуку, — по ее произношению. Он молча удивлялся на самого себя, насколько пережитые им три тяжелых дня развинтили его нервы: «Если она еще раз высунет мне язык, я, кажется, обругаю ее. Дошел же я, однако, до точки: ненавижу женщину, которую впервые вижу, только за то, что у нее есть дурная манера... Это уж что-то истерическое...»

К счастью, Фелицата Даниловна соблаговолила наконец выйти, и барышня скрылась, несказанно облегчив душу Оберталя.

Будь г-жа Эйс-Гаутон повыше ростом, она могла бы носить мужское платье без страха выдать свой пол. Перед Евгением Антоновичем сидела толстая коротенькая дама со смуглым лицом сорокалетнего провинциального актера, из драматических резонеров.

«Кувшинное рыло!» — вспомнил Евгений Антонович крепкое офицерское слово.

Приглядываясь к ростовщице, Оберталь приметил, что она подбривает волосы на щеках, под ушами и густо синеющие под пудрою усики.

«Если ее не побрить день-два, у нее будет вид переодетого дезертира», — подумал он.

— Чем могу служить вашему сиятельству? — начала Фелицата Даниловна.

Голос ее, довольно приятный по тембру, тоже походил скорее на густой тенор, чем на контральто.

«Недурно, хоть бы извинилась, что я по ее милости торчу здесь чуть не битый час!» — обиделся граф и сам проглотил приготовленное было извинение, что ему пришлось оторвать хозяйку от важных занятий... Он объяснил свою просьбу... Эйс-Гаутон слушала, внимательно глядя на него — точно экзаменуя — черными бесстрастными глазами.

— Так-с, — сказала она, когда, граф кончил и, в свою очередь, устремил на нее выжидательный взгляд. — Семьдесят пять тысяч рублей под простой вексель... У меня нет...

«Отказ!» — с замиранием сердца подумал граф... и ему захотелось даже закрыть глаза, чтобы не видеть света в момент своего приговора.

— ...Нет обыкновения отказывать в деньгах, когда их спрашивают на верное дело. Ваш подряд мне известен и кажется мне верным делом. Я готова ссудить вас этою суммою.

Граф вздохнул, радостный румянец бросился ему в лицо.

— Но как же без обеспечения-то, ваше сиятельство? — продолжала Эйс-Гаутон. — Я верю вам, конечно, безусловно, вы мне прекрасно рекомендованы, но как же без обеспечения?

Чутье подсказало Оберталю, что Эйс-Гаутон расположена дать ему деньги, и он решил пойти напролом.

— Скажу вам откровенно, Фелицата Даниловна, единственное обеспечение, какое я могу предложить вам самостоятельно, это — вера в мое дело и в мою честь.

Он подчеркнул слово «самостоятельно», и Фелицата Даниловна догадливо кивнула ему головою на том же слове: знаю, дескать, что хочешь сказать.

— Вы, кажется, имеете полную доверенность от вашей супруги?

Графа покоробило.

— Да, — глухо возразил он, — но доверенностью этою я не могу воспользоваться.

— Гм...

— Вам, Фелицата Даниловна, покажется, может быть, странным, но никому полная доверенность не связывает рук более крепким узлом, чем мужу богатой женщины, если он честный человек, а не аферист, задавшийся целью обобрать свою жену.

— Я понимаю это. Пожалуй, вы правы. Продолжайте.

— Я муж Ларисы Дмитриевны, урожденной Карасиковой, — горько усмехнулся Оберталь, — но не смею назвать себя самым близким к ней человеком, разумеется, я говорю лишь о деловых отношениях. Моя доверенность — фикция, красивая декорация нашего семейного счастья для людских глаз. Между мною и моею женою стоит множество соглядатаев, жадных и гадких людишек. Они ненавидят меня, потому что все они ютятся около ее капитала, надеясь что-либо сорвать, и я, женясь на Ларисе, по их мнению, украл их доли... К сожалению, Лариса Дмитриевна верит этой торгашеской шайке, то есть не ее добросовестности, но ее практическому смыслу и опыту; я же, на ее взгляд, барин, дилетант. Мне можно, пожалуй, позволить забавляться коммерческими предприятиями за свой собственный страх, но войти в мое дело — никогда, ни за что. Смею вас уверить, Фелицата Даниловна, что в обществе Ларисы Дмитриевны, деловом этом, каждый деловой шаг мой известен, разобран, осмеян, выставлен жене моей как вопиющая бессмыслица. Владея полною доверенностью, я не вправе продать лишней коровы из имения, не предупредив жены, потому что за мною следят десятки глаз; потому что на меня летят десятки гадких доносов. Если бы я запродал или заложил своевольно хоть сотню десятин ее земли, она на другой же день уничтожит доверенность. А вы сами понимаете, что вместе с тем я буду покончен: у меня не останется ни денежного, ни нравственного кредита, и я банкрот. Судите же сами, могу ли я воспользоваться доверенностью Ларисы Дмитриевны в выгодах своего личного дела?.. Завтра же вся Москва будет кричать чуть не о растрате...

— Чудеса, — засмеялась Эйс-Гаутон, — через золото слезы льются. Как же вам помочь? Я не придумаю...

— Быть может, вы удовлетворитесь хорошим бланком, — медленно выговорил Оберталь, чувствуя, что у него холодеют руки. Он напряг всю силу воли, чтобы говорить ровно и спокойно.

— Чьим, например?

— Я предложу вам княгиню Анастасию Романовну Латвину.

Эйс-Гаутон загадочно улыбнулась.

— Вы хороши с княгинею?

— Очень.

— Отчего же вы не возьмете денег у нее самой?

— Оттого, что она никогда не согласится взять с меня проценты, а дружеских услуг я не хочу — они обязывают.

Улыбка Фелицаты Даниловны стала еще шире, обнажая ее зубы, крупные и клыковатые...

— Это уже романтизм, — возразила она. — Впрочем, вы потомок рыцарей, вам и книги в руки...

Оберталь поклонился, с трудом переводя в улыбку судорогу, которою дернуло его лицо при этих словах. Сердце его душили какие-то горячие тиски, совсем не позволявшие ему разжиматься...

— Я, разумеется, имею понятие о княгине Латвиной, — продолжала Эйс-Гаутон, — хотя и незнакома с нею. Под ее бланк я могу дать деньги.

— Условия?

— Вам нужны чистые семьдесят пять тысяч?

— Да.

— Вексель на сто; полугодовой срок.

Оберталь отшатнулся.

— Позвольте, Фелицата Даниловна, это выходит...

Он запнулся, пораженный громадностью процента. Ростовщица спокойно глядела на него, пока он считал в уме.

— Почти семьдесят годовых!

— Шестьдесят шесть и две трети, — поправила Эйс-Гаутон.

— Фелицата Даниловна, это не шутка?

— Помилуйте, граф: какие же могут быть шутки в денежной сделке?

— Шестьдесят семь процентов!

— Шестьдесят шесть и две трети, граф.

— Это ужасный, невероятный процент!

— Я не заставляю вас принимать его, ваше сиятельство, — холодно возразила Эйс-Гаутон.

— Вы уступите мне, надеюсь?

— Ни копейки. Я не торгуюсь с клиентами. Я объявляю вам мои последние условия.

— За что, главное? За что? — недоумевал Оберталь, разводя руками: он был совсем ошеломлен; с таким грабежом средь бела дня ему еще не приходилось встречаться.

— Как за что? За риск, ваше сиятельство, — выразительно подчеркнула Эйс-Гаутон. — Я даю вам семьдесят пять тысяч рублей в обмен за лоскуток бумаги, где вы и княгиня Латвина поставите свои фамилии. Вас я вижу впервые в жизни, княгиню Латвину не имею чести знать вовсе. Другая на моем месте потребовала бы от вас, чтобы княгиня сама пожаловала ко мне и на моих глазах поставила бланк.

— Бланк будет предъявлен вам, если угодно, нотариально засвидетельствованный, — сухо заметил Оберталь.

— О граф, я вовсе не к тому говорю и вовсе не нуждаюсь в нотариальном засвидетельствовании. Вексель и без него — дело крепкое. Вы подпишете документ, княгиня поставит фамилию на обороте, с меня довольно. Ее бланк будет мне интересен лишь полгода спустя, да и то если вы неаккуратно заплатите и придется беспокоить княгиню. Другие торгуют векселями, учитывают их — кому приятно? Оговорка, разговор, сплетни. А у меня по старине и просто-

те. Деньги из шкатулки, вексель — в шкатулку и лежит там, как покойник, покуда не придет срок выкупа... Вот за что я беру большой процент, ваше сиятельство. Угодно — рада служить, неугодно — как угодно. Поищите в другом месте. Но вряд ли найдете выгоднее.

Она встала; Оберталь растерянно взялся за шапку... Каждое слово Гаутонши жгло его, точно кипятком. «Бланк... риск... риск... бланк...» — бессмысленно стучало в его голове...

— Как же, граф? Расходимся мы или сойдемся?

Граф опомнился.

— Надо сойтись, — насильственно улыбнулся он, — хотя вы жестоко меня прижимаете. Деньги нужны спешно, искать некогда.

— Когда вы желаете получить валюту?

— Если можно, завтра...

— Гм... не знаю, успею ли взять из банка... разве к вечеру?.. Хорошо-с, заезжайте в это же время. Будет готово... До свидания. Ленхен, проводи графа.

Когда Оберталь спускался с лестницы, на одном из поворотов ему встретились две женщины под густыми вуалями; граф дал им дорогу; они пробежали мимо, опустив лица в воротники ротонд. Они как будто узнали Оберталя, но не хотели быть узнанными. Графу было не до них... Он прошел, не обратив на таинственных незнакомок никакого внимания.

— Ah, que le diable m'emporte!* — с облегчением вздохнул он, садясь в сани. — Точно из помойной ямы вырвался...

Назавтра — в условный час — он привез Гаутонше вексель и получил деньги. Пока граф прятал пачки кредиток и процентных бумаг в портфель, Felицата Даниловна долго и внимательно читала документ и разглядывала четкую, твердую подпись княгини Латвиной. У графа вздрагивали руки, он стоял с опущенными глазами, белый как бумага, но

* Ах, черт меня подери! (*фр.*)

улыбался. Наконец Эйс-Гаутон сложила документ пополам и спрятала его в ручную сумочку.

— В порядке, надеюсь? — нашел нужным пошутить Евгений Антонович.

Ростовщица молча наклонила голову.

— Отвильнуть от уплаты нельзя?

— Да, — сказала Эйс-Гаутон, неопределенно улыбаясь и с ударением на каждом слове, — по этому документу вы непременно заплатите...

* * *

Вечером следующего дня Оберталь получил новую телеграмму от дяди — ответную на телеграфированный ему утром банковый перевод...

«Заочно обнимаю тебя и жму твою руку, — писал Долгоспинный, — благодарю тебя несчетное число раз; никогда не сомневался в твоем благородстве».

— Никогда не сомневался в твоем благородстве!.. — вслух повторил граф последнюю фразу.

Он горько засмеялся и гневным движением швырнул скомканную телеграмму в корзину под письменный стол.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗАКАТ СТАРОГО ВЕКА

Впервые — в журнале «Современник». 1911. № 1—3, 7—12. Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 17. СПб.: Просвещение, <1912>. В эпопее «Концы и начала. Хроника 1880—1910 гг.» роман открывает серию, посвященную эпохе царствования императора Николая II.

С. **9.** *...прозвали его из какого-то стихотворения «Матильдою с плотным усестом».* — См. в стихотворении В.Г. Бенедиктова «Наездница» (1835): «Люблю я Матильду, когда амазонкой // Она воцарится над дамским седлом, // И дергает повод упрямой ручонкой, // И действует буйно визгливым хлыстом, // Гордяся усестом красивым и плотным...»

С. **16.** *«Ревизора» в Александринке видел?* — Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836) на сцене старейшего театра России — Александринского (СПб., 1832—1920) была впервые поставлена 19 апреля 1836 г. и с того времени входила в его основной репертуар.

С. **17.** *Кюба* Андре — владелец петербургского ресторана «Бельвю» на Каменном острове.

«Яр» — самый популярный в XIX в. московский ресторан (открыт в 1826 г.), в котором выступали лучшие цыганские ансамбли, в том числе знаменитый хор Ильи Соколова.

С. **20.** *...боишься — голубой цвет не к лицу?* — Голубые мундиры — форменная одежда жандармов.

Сократ (ок. 470—399 до н.э.) — древнегреческий философ, ученики которого обучались и воспитывались, подолгу беседуя и споря с учителем. Сократические диалоги сохранились в нескольких воспроизведениях Платона (427—347) и Ксенофонта (ок. 425 — после 355 до н.э.).

С. **20.** *Критий* (ок. 460—403 до н.э.) — древнегреческий поэт, философ и государственный деятель. Его именем назван один из диалогов Платона.

Алкивиад (ок. 450—404 до н.э.) — древнегреческий полководец и политический деятель, отличавшийся обостренным честолюбием. Ученик Сократа.

С. **21.** *...чуть не с Грозного царя...* — Иван IV Грозный (1530—1584) — великий князь Московский и всея Руси с 1533 г., первый русский царь с 1547 г. из династии Рюриковичей.

Константин Петрович Победоносцев (1827—1907) — государственный деятель конца XIX — начала XX вв. Ученый-правовед, переводчик и публицист. Учитель цесаревича Николая Александровича, императоров Александра III и Николая II, а также членов семьи венценосцев. В 1880—1905 гг. — обер-прокурор Святейшего Правительственного Синода.

С. **23.** *...как Екклесиаст, постигший до дна суету сует чести мирской.* — См. в Библии: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?.. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (гл. 1, ст. 1, 2, 9). Екклесиаст (греч. «проповедующий в церкви») — ветхозаветная книга Библии, авторство которой традиция приписывает царю Соломону.

Хлестаков — персонаж комедии Гоголя «Ревизор».

С. **24.** *...определил меня в одной категории с жандармами.* — Илиодор Рутинцев служил чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел, который являлся одновременно шефом жандармского корпуса.

С. **28.** *Елена Павловна* (1806—1873) — вел. кн., супруга великого князя Михаила Павловича, брата императоров Александра I и Николая I. Прославилась как благотворительница и покровительница деятелей культуры и науки.

Константин Николаевич (1827—1892) — вел. кн., второй сын императора Николая I; генерал-адмирал, наместник Царства Польского (1862—1863). В 1865—1881 гг. — председатель Государственного совета. Меценат.

С. **29.** *«Новое время»* (СПб., 1868—1917) — главная газета русских консерваторов, издававшаяся с 1876 г. А.С. Сувориным.

С. **32.** *Югурта* (не ранее 160—104 до н.э.) — царь Нумидии. Затеяв войну с римлянами, потерпел поражение и был ими казнен.

С. **32.** *...платить онколи.* — Т.е. оплачивать текущие счета, ссуды по кредитам, выделенным до востребования (от англ. on call — по требованию).

С. **37.** *«Русская старина»* (СПб., 1870—1918) — исторический журнал.

С. **40.** *...превратить... из Ира в маленького Креза...* — Ир — имя нескольких библейских персонажей. В тексте — вероятно, младший в роду, не имеющий прав на наследство. Крёз (Крез; 595—546 до н.э.) — царь Лидии, накопивший несметные богатства, вошедшие в поговорку.

С. **42.** *Страсбургская колокольня* — готический собор в главном городе германской имперской земли Эльзас-Лотарингия, памятник зодчества XIII—XVI вв.

С. **45.** *Брудер* — брат (от нем. Bruder).

Скальковский Константин Аполлонович (1843—1905) — горный инженер, публицист, очеркист, театровед.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт-сатирик.

Иван Федорович Горбунов (1831—1895) — прозаик, театровед, актер театров Малого в Москве и Александринского в Петербурге; зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа. Юмор Горбунова, по словам современника, «рассыпался по всей России и вошел в поговорки, в пословицы» (*Плещеев А.А.* Что вспомнилось. Актеры и писатели. СПб., 1914. Т. 3. С. 119).

С. **46.** *Ах, Петр Алексеевич!.. нашел же ты... местечко выстроить городок.* — Имеется в виду Петр I (1672—1725), царь с 1682 г., первый российский император с 1721 г. Основатель новой столицы (1703) — Петербурга, построенного на заболоченном месте.

С. **54.** *Монтионовская премия* — «За добродетель» (фр. «Prix de vertu»). Премия учреждена на средства благотворительного фонда французского барона-филантропа Антуана Оже Монтиона (1733—1820).

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), граф — в 1886—1888 гг. успешно управлял Юго-Западной железной дорогой. В 1892 г. назначен министром путей сообщения (в феврале), а затем министром финансов (в августе). Инициатор денежной реформы 1897 г., укрепившей рубль, и строительства Транссибирской железной дороги. С 1903 г. — председатель комитета министров. Один из авторов Манифеста 17 октября 1905 г. о даровании гражданских свобод. После отставки — член Государственного совета. Автор мемуаров.

С. **55.** *Рейтерн* Михаил Христофорович (1820—1890) — в 1862—1878 гг. министр финансов. Поддерживал развитие железнодорожной сети России за счет частного капитала и системы частных коммерческих банков. Сторонник капиталистической индустриализации страны, что впоследствии стало программой действий С.Ю. Витте. В числе его ошибочных сделок — продажа США Аляски в 1867 г.

Бунге Николай Христианович (1833—1895) — экономист, педагог. В течение десяти лет — ректор Киевского университета. Автор многих научных трудов. В 1882—1886 гг. — министр финансов, член Государственного совета. С 1887 г. — председатель комитета министров.

Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1892) — профессор Петербургского технологического института, опытный банковский и биржевой делец. С 1887 г. — управляющий, в 1888—1892 гг. — министр финансов. Продолжатель финансовой политики Бунге. «От его крупного ума, — вспоминал К.Ф. Головин, — чем угодно, только затхлостью не пахло. Беда в том, что он склонен был смотреть на государство как на частное предприятие, как на компанию на акциях, лишь бы дивиденд выходил крупным».

С. **58.** *Фрер* — братец (от фр. frere).

С. **62.** *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839), граф — с 1801 г. — статс-секретарь Александра I. Автор «Введений к уложению государственных законов», в которых изложен план государственных преобразований самодержавия в конституционную монархию. В 1812—1816 гг. был в опале. Затем — пензенский гражданский губернатор (1816—1819), генерал-губернатор Сибири (с 1819 г.). В 1826 г. возглавил II отделение Собственной его императорского величества канцелярии. Под его руководством составлено «Полное собрание законов Российской империи» в 45 т. (1830), а также «Свод законов» в 15 т. (1832). Удостоен всех высших орденов России. В графское достоинство возведен Николаем I за полтора месяца до кончины.

С. **69.** *Шамиль* (1799—1871) — имам Дагестана и Чечни. В 1834—1859 гг. возглавлял борьбу горцев Кавказа с Россией. Сдался русским войскам и поселен с семьей в Калуге. Умер на пути в Мекку.

С. **71.** *Драгомиров* Михаил Иванович (1830—1905) — военный теоретик, педагог, историк, генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1895). Под Шипкой в августе 1877 г. был тяжело ранен. С весны 1878 г. — начальник Академии Генерального штаба.

В 1889—1903 гг. — командующий войсками Киевского военного округа и одновременно (с 1898 г.) киевский, подольский и волынский генерал-губернатор. Автор многих трудов. Приверженец и пропагандист идей А.В. Суворова.

С. 72. *Мольтке* (Старший) Хельмут Карл (1800—1891) — немецкий генерал-фельдмаршал и военный теоретик. Сторонник теории внезапного нападения и окружения противника с последующим разгромом.

Китченер Горацио Герберт (1850—1916) — британский фельдмаршал. Руководил подавлением восстаний в Судане, главнокомандующий войсками в англо-бурской войне в 1900—1902 гг. С 1914 г. — военный министр.

Гольц-паша — Кольмар фон де Гольц (1843—1926), барон — немецкий военачальник и военный писатель, находившийся в 1883—1895 гг. на службе в Турции; реформатор турецких военно-учебных заведений и армии.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист, социолог, критик; теоретик народничества. В 1892—1904 гг. — редактор журнала «Русское богатство».

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — прозаик, публицист.

Вильгельм II (1859—1941) — германский император и прусский король с 1888 г. Свергнут в 1918 г.

С. 75. *Стрепетова* Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903) — актриса петербургского Александринского театра в 1881—1890 гг.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист и издатель; основал в Петербурге газету «Новое время» (1876) и журнал «Исторический вестник» (1880). На паях с П.П. Гнедичем и П.Д. Ленским организовал в Петербурге частный театр (1895—1917), который с 1912 г. назывался Театром литературно-художественного общества имени А.С. Суворина.

С. 76. *Буланже* Жорж (1837—1891) — французский генерал. В 1886—1887 гг. — военный министр. В дальнейшем возглавлял движение шовинистов (буланжизм), стремившихся к государственному перевороту. Бежал из страны и покончил с собой на могиле своей возлюбленной.

С. 77. *Ульпиан* Домиций (ок. 170—228), *Папиниан* Эмилий (ок. 150—212) — римские юристы.

С. **79.** *...видели каких-то Садовских, Васильевых...* — Названы семьи выдающихся московских актеров, прославившихся выступлениями на сцене Малого театра.

С. **80.** *«Отечественные записки»* — в тексте имеется в виду журнал, издававшийся в Петербурге с 1867 г. Н.А. Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным и Г.З. Елисеевым.

«Море смеялось» — первая строка рассказа М. Горького «Мальва» (1897), вызвавшая эпатажный интерес современников.

Айвазовский Иван Константинович (1817—1900) — живописец-маринист.

Иматра — водоскат на реке Вуокса в Финляндии.

С. **81.** *Михаил Ильич Кази* (1835—1896) — моряк по образованию, капитан-лейтенант, командир парохода Добровольного флота «Нижний Новгород». Впоследствии (1876) — директор Балтийского завода. Один из инициаторов развития сети железнодорожных училищ. Председатель Императорского Русского технического общества.

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

С. **83.** *Салтыков.* — Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин; 1826—1889), прозаик, публицист, классик сатирического жанра.

С. **84.** *...в пасть Молохову...* — До середины XX в. считалось, что Молох — это библейское божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно дети. Ныне считается, что словом «Молох» обозначается сам жертвенный ритуал (см.: Мифологический словарь. М., 1990. С. 367).

С. **86.** *...отказалось от фритредерских шарлатанств...* — Фритредерство — свободная торговля (от англ. free trade).

С. **87.** *...«пустое в ы сердечным т ы»...* — Первая строка стихотворения Пушкина «Ты и вы» (1828).

С. **89.** *Гог и Магог* — в мифологии иудаизма, христианства и ислама имя воинственного народа и северной страны, откуда последует гибельное нашествие перед «страшным судом» Мессии.

С. **91.** *Валькирия* — героиня одноименной оперы (1856) из тетралогии «Кольцо нибелунга» немецкого композитора, дирижера, драматурга, музыковеда Рихарда Вагнера (1813—1883).

С. **95.** *«Тангейзер»* (1818) — опера Р. Вагнера из тетралогии «Кольцо нибелунга».

С. **95.** *Ершов* Иван Васильевич (1867—1943) — оперный певец (драматический тенор), с 1895 г. — артист Мариинского театра.

Яковлев Леонид Георгиевич (1858—1919) — оперный певец (лирико-драматический баритон), в 1887—1906 солист, в 1918—1919 гг. режиссер Мариинского театра.

С. **96.** *Андреевский* Сергей Аркадьевич (1847—1918) — поэт, критик, переводчик, юрист, занимавший, по вспоминаниям А.Ф. Кони, «одно из виднейших по талантливости мест в адвокатуре».

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт.

Карабчевский Николай Платонович (1851—1925) — адвокат, публицист, мемуарист. Страстный театрал, игравший в любительских спектаклях. Дружил с К.А. Варламовым, В.Ф. Комиссаржевской, О.Л. Книппер-Чеховой, А.В. Собиновым. После 1917 г. — в эмиграции.

Коломнин Алексей Петрович (1849—1900) — товарищ председателя Литературно-артистического кружка, заведующий финансовой частью издательства А.С. Суворина и его зять. Автор юридических и исторических статей.

Яков Рубинштейн — сын композитора, дирижера и пианиста Антона Григорьевича Рубинштейна.

Барятинский Владимир Владимирович (1874—1941), князь — драматург, публицист, театральный деятель. С 1914 г. жил за границей.

Гретхен — персонаж трагедии И.В. Гёте «Фауст».

С. **97.** *Петр Исаевич Вейнберг* (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литературы. В 1870—1874 гг. — редактор газеты «Варшавский дневник», один из основателей журналов «Век» (1861) и «Изящное искусство» (1883—1885), редактор «Театральной газеты» (1893). В 1897—1901 гг. — председатель Союза взаимопомощи русских писателей, а затем — Литературного фонда.

С. **99.** *Плачет Фемида слепая...* — В греческой мифологии богиня правосудия изображалась с завязанными глазами.

Петроний Арбитр Гай — римский писатель, автор стихов и романа «Сатирикон», принужденный в 66 г. императором Нероном к самоубийству.

Пыляев Михаил Иванович (1842—1900) — прозаик, очеркист. Автор книг «Старый Петербург» (1888), «Старая Москва» (1891), «Замечательные чудаки и оригиналы» (1898) и др.

С. **100.** *Фалалеи* — простаки.

С. **103.** *Вокабулы* — слова иностранного языка с переводом.

С. **105.** *Шехерезада* — рассказчица из знаменитого собрания сказок «Тысяча и одна ночь».

...воспламеняться гневом Ахиллеса. — Ахиллес — герой поэмы Гомера «Илиада», которая начинается словами; «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына».

Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — французский писатель и философ-просветитель. С его именем в России связано распространение вольтерьянства, т.е. духа свободомыслия.

Людовик Пятнадцатый (1710—1774) — король Франции с 1715 г. (до 1723 г. под регентством герцога Орлеанского). Находился под большим влиянием своих любовниц — маркизы Помпадур и графини Дюбарри.

С. **106.** *Фрина* — афинская красавица гетера (IV в. до н.э.), увековеченная на многих живописных полотнах; она послужила моделью для ваятеля Праксителя (ок. 390 — ок. 330 до н.э.), своего любовника, создавшего скульптуру «Афродита Книдская» (одно из первых изображений обнаженной богини любви), и живописца Апеллеса (2-я половина IV в. до н.э.), написавшего портрет «Афродита, выходящая из моря».

Аспазия (Аспасия) — одна из образованнейших женщин Древней Греции, ставшая женой афинского стратега и реформатора Перикла (ок. 490—429 до н.э.). В ее доме собирались поэты, музыканты, философы, художники.

С. **107.** *Демивьержки* (от фр. demi-vierg полудева) — юные, развращенные девицы.

Прево Эжен Марсель (1862—1941) — французский прозаик, автор любовно-психологических и эротических романов.

Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812—1891) — иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, духовный писатель, духовник философа, прозаика, публициста К.Н. Леонтьева, собеседник Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского (в его романе «Братья Карамазовы» прототип старца Зосимы).

Княжич Борис (1894—1943) — сын князя Болгарии немецкого принца Фердинанда Кобурского, ставший в 1918 г. царем Болгарии Борисом III.

К.Р. — Константин Константинович Романов (1858—1915), вел. кн. — поэт, переводчик. Автор четырех прижизненных сборников стихов (1886, 1889, 1900, 1911), мистерии «Царь Иудейский» (1914)

и книги «Критические отзывы. Литературно-критические статьи о русской поэзии за 1905—1913» (1915).

С. **107.** *Пятницы Случевского* — литературные вечера у поэта Константина Константиновича Случевского (1837—1904).

...был или не был Александром Первым томский старец Федор Кузьмич. — Имеется в виду легенда о перевоплощении Александра I (1777—1825, с 1801 г. — император России) в старца, распространившаяся после его скоропостижной кончины.

Мессалина (25—48) — жена римского императора Клавдия, казненная им как заговорщица. Славилась властолюбием, распутством и коварством.

С. **108.** *Куза* Валентина (Ефросинья) Ивановна (1868—1910) — певица (сопрано).

С. **109.** *Направник* Эдуард Францевич (1836—1916) — дирижер, композитор. С 1869 г. — первый капельмейстер (главный дирижер) Мариинского театра.

С. **117.** *Лохвицкая* Мирра (Мария) Александровна (в замуж. Жибер; 1869—1905) — поэтесса.

С. **118.** *Дисконт* (учет) — в банковской операции размер скидки в процентах.

...пожалуйте на попечение к Чечотту и Томашевскому. — Т.е. в сумасшедший дом. Оттон Антонович Чечотт (1842—?) — психиатр, старший врач Петербургской психиатрической больницы св. Николая. Томашевский — вероятно, врач этой же больницы.

С. **119.** *Мопассан* Ги де (1850—1893) — французский прозаик. В тексте упоминаются его новеллы «Мадемуазель Жиро, моя подруга» и «Подруга Поля».

Отелло — герой одноименной трагедии (1604) У. Шекспира.

Позднышев — герой повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» (1889).

Кассио — персонаж трагедии Шекспира «Отелло».

...«дай вам Бог любимой быть другим!..» — Из стихотворения Пушкина «Я вас любил: любовь моя, быть может...» (1829).

С.**123.** *Сандрильона* — Золушка, героиня французской сказки.

С. **126.** *Маргарита Готье* — героиня романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848). См. также коммент. к с. 219.

С. **126.** *«Кто тебя, Кит Китыч, обидит...»* — Из комедии А.Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1855). Кит Китыч —

Тит Титыч Брусков, купец-самодур, персонаж также еще одной комедии Островского — «Тяжелые дни» (1863).

С. **128.** *Фактотум* (от лат. fac totum — делай все) — доверенное лицо, беспрекословно исполняющее поручения доверителя.

С. **135.** *Гарибальди* Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из вождей национально-освободительного движения против иностранного господства, за объединение Италии.

...Леонтьева, молодого авантюриста... — Вероятно, это Иван Леонтьевич Леонтьев (1856—1911). Окончив Павловское военное училище, он с 1874 по 1883 г. служил в армии, участвовал в русско-турецкой войне. Выйдя в отставку, занялся литературной деятельностью, стал известным прозаиком и драматургом, печатавшимся под псевдонимом Ив. Щеглов.

С. **136.** *...сия коварная госпожа Сафо?* — Авкт называет Надину именем выдающейся поэтессы античности Сафо (Сапфо; 7—6 вв. до н.э.), жившей на острове Лесбос и руководившей кружком знатных девушек, которых обучала музыке, пляскам, слаганию стихов и песен.

С. **138.** *...была в Мариинском театре, слушала «Тангейзера».* — Эта опера Р. Вагнера в Мариинском театре была поставлена 13 декабря 1874 г.

«Кот» — сутенер.

С. **140.** *«Рамоли»* —старикашка (*фр.*).

«Гусар» (1833) — баллада Пушкина.

С. **141.** *...как молодые ведьмы на Броккене...* — Эпизод «Вальпургиевой ночи» из трагедии Гёте «Фауст». Броккен — самая высокая гора в Гарце, легендарное место праздничных весенних оргий ведьм.

С. **142.** *Александр Второй* (1818—1881) — император России с 1855 г., осуществивший в 1861 г. отмену крепостного права.

Давыдов Александр Давыдович (наст. фам. Карапетян; 1849—1911) — популярный оперный и эстрадный певец (лирико-драматический тенор), артист Малого и Большого театров, а также Московского артистического кружка и театра оперетты.

«Пара гнедых» (1870-е гг.) — романс С.И. Донаурова на слова А.Н. Апухтина; одним из лучших исполнителей романса был А.Д. Давыдов.

С. **142.** *Чигорин* Михаил Иванович (1850—1908) — чемпион России по шахматам в 1899—1906 гг., основоположник отечественной шахматной школы.

С. **149.** *«Русское богатство»* (СПб., 1876—1918) — журнал либерального народничества, редактировавшийся М.Н. Михайловским и В.Г. Короленко.

«Вопросительный знак» («?»)— вероятно, имеется в виду один из псевдонимов прозаика, публициста, критика Болеслава Михайловича Маркевича (1822—1884), автора популярного в 1870-е гг. романа «Марина из Алого рога», сотрудника газет «Московские ведомости» М.Н. Каткова и «Гражданин» М.П. Мещерского. Под таким псевдонимом печатались также И.Г. Долгомостьев и К.А. Скальковский.

С. **157.** *Клетошников хуже терпел.* — Вероятно, имеется в виду Николай Васильевич Клеточников (1846—1883), агент террористов из «Народной воли», служивший по их заданию в тайной полиции. Разоблачен, окончил свои дни в казематах Петропавловской крепости.

С. **161.** *...солдатского Егория...* — Речь идет об ордене св. Георгия (с 1913 г. — Георгиевский крест) для низших чинов, учрежденном в 1807 г. и имеющем 4 степени.

С. **162.** *Нечаев* Сергей Геннадьевич (1847—1882) — организатор тайного общества «Народная расправа» (1869). Заподозрив в предательстве студента И.И. Иванова, убил его и бежал за границу. В 1872 г. выдан швейцарскими властями России. Умер в Петропавловской крепости.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — политический деятель, философ, теоретик марксизма.

«Искра» (1900—1905) — марксистская газета, издававшаяся за рубежом и нелегально ввозившаяся в Россию.

С. **163.** *Анахарсис* — скифский мудрец из царского рода, живший в VI в. до н.э. Он совершил путешествие в Грецию, где увлеченно изучал культуру и быт страны. За попытку ввести на родине ритуальные обряды греческих мистерий был казнен.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — философ, публицист. Автор знаменитых «Философических писем», за которые был объявлен сумасшедшим. Родоначальник «западнического» направления философской и социально-политической мысли в России.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — прозаик, философ, публицист, революционер, один из основоположников народничества. С 1847 г. — в эмиграции. В 1853 г. основал в Лондоне «Вольную русскую типографию», в которой издавал (вместе с Н.П. Огаревым) альманах «Полярная звезда» (кн. 1—7, Лондон, 1855—1862; № 8,

Женева, 1868) и первую русскую революционную газету «Колокол» (1857—1865, Лондон; 1865—1867, Женева), а также агитационно-обличительную литературу.

С. **163.** *Шелгунов* Николай Васильевич (1824—1891) — публицист, критик, мемуарист, революционер-шестидесятник.

Чертопханов — персонаж «Записок охотника» (1852) И.С. Тургенева (рассказы «Чертопханов и Недоплюскин», «Конец Чертопханова»).

Куролесов — помещик-крепостник, персонаж «Семейной хроники» (1856) С.Т. Аксакова.

Балалайкин — лжец и хвастун, персонаж нескольких произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, в том числе книги очерков «В среде умеренности и аккуратности» (1881), романа «Современная идиллия» (1883).

С. **165.** *Струве* Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, историк, философ, критик, публицист, политический деятель; академик (1917). Теоретик «легального марксизма». Лидер партии кадетов. В 1906—1918 гг. — редактор петербургского журнала «Русская мысль». Соавтор сборника «Вехи» (1909), вызвавшего долгую политическую полемику, которая завершилась изгнанием ее участников из России. С 1920 г. — в эмиграции.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — экономист, историк, один из представителей «легального марксизма».

С. **167.** *«Уриэль Акоста»* — опера Валентины Семеновны Серовой (1846—1924), впервые поставленная в Большом театре в 1885 г.

С. **169.** *Дурново* Петр Николаевич (1842—1915; год рождения в большинстве справочников называется неточно: 1845) — юрист. В 1884—1893 гг. — директор департамента полиции. С 1893 г. — сенатор. В 1900—1906 гг. — товарищ министра внутренних дел и министр, сыгравший решающую роль в подавлении революции. Был приговорен к смерти Боевой организацией эсеров (вместе него по ошибке убили путешествующего француза). В 1905—1915 гг. — член Государственного совета, в котором с 1908 г. возглавлял правую группу.

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — в 1881—1884 гг. — директор департамента полиции. С 1884 г. — сенатор и товарищ министра внутренних дел. С 1900 г. — министр, статс-секретарь по делам Великого княжества Финляндия. В 1902—1904 гг. — министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов. Убит эсером Е.С. Созоновым.

С. **169.** *Престидижитатор* — фокусник, манипулятор, проделывающий номера, основанные на быстроте движений рук и пальцев.

С. **169.** *Алексей Михайлович* (1629—1676) — российский царь (с 1645 г.).

С. **171.** *«Code Napoleon»* («Кодекс Наполеона») — свод законов французского императора Наполеона I Бонапарта (1769—1821), составленный в 1804—1810 гг.

С. **172.** *«Духовный регламент»* — устав Русской православной церкви, утвержденный 25 января 1721 г. и опубликованный под названием: «Духовный Регламент Всепресветлейшего, Державнейшего Государя Петра Первого, Императора и Самодержца Всероссийского». Уставом отменялось патриаршество, создавался Синод во главе с обер-прокурором.

...пришлось Николаю Первому посадить в Синод гусарского полковника. — Имеется в виду полковник лейб-гвардии гусарского полка Николай Александрович Протасов (1798—1855), назначенный в феврале 1836 г. обер-прокурором Святейшего Правительствующего Синода. За 20 лет он реорганизовал духовное ведомство, превратив его в подобие министерства. В частности, полезные преобразования бывший полковник внес в учебные заведения своего ведомства: установил преподавание на русском языке (вместо латыни), ввел в программы духовных училищ и семинарий естествознание, медицину, сельское хозяйство, т.е. приблизил обучение будущих священнослужителей к светским учебным заведениям. Нововведения осуществлялись при противодействии духовенства, но при полной поддержке императора.

«Табель о рангах» — закон о порядке государственной службы и соотношении чинов, введенный 24 января 1722 г. Петром I. К одной из статей Устава о службе была приложена Табель чинов, действовавшая (с измененями) вплоть до 1917 г. В ней устанавливались 14 классов чинов, из которых в гражданском ведомстве действовали следующие:

I. Канцлер (генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал).
II. Действительный тайный советник (генерал от кавалерии, генерал от инфантерии, генерал от артилерии, адмирал).
III. Тайный советник (генерал-лейтенант, вице-адмирал).
IV. Действительный статский советник (генерал-майор, контр-адмирал).
V. Статский советник.
VI. Коллежский советник (полковник, капитан 1-го ранга).
VII. Надворный советник (подполковник, капитан 2-го ранга).
VIII. Коллежский асессор (капитан, ротмистр).
IX. Титулярный советник (штабс-капитан, штабс-ротмистр).
X Коллежский секретарь (поручик, мичман).

XI. Упразднен.
XII. Губернский секретарь (подпоручик, корнет).
XIII. Упразднен.
XIV. Коллежский регистратор.

С. **172.** *...милютинская чересполосица, результат «великодушия» девятнадцатого февраля.* — Имеется в виду проект освобождения от крепостной зависимости крестьян с наделением их землей за выкуп. Документ был подготовлен товарищем министра внутренних дел Николаем Алексеевичем Милютиным (1818—1872), входившим в редакционные комиссии по подготовке крестьянской реформы, которая была осуществлена по Манифесту 19 февраля 1861 г. Проект Милютина активно поддержали либерально настроенные члены комиссий Г.П. Галаган, Ю.Ф. Самарин, Я.А. Соловьев, В.А. Черкасский и др.

С. **174.** *Вольно-экономическое общество* — старейшее в мире Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства было создано в 1765 г. по инициативе Екатерины II. В разное время активную деятельность в Обществе вели великие русские ученые К.К. Арсеньев, Н.А. Бекетов, И.В. Вернадский, Б.Б. Веселовский, В.В. Докучаев, Е.П. Ковалевский, Д.И. Менделеев, А.А. Нартов, Д.Н. Прянишников, А.И. Чупров, путешественники Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, П.П. Семенов-Тян-Шанский, писатели Г.Р. Державин, В.В. Стасов, Л.Н. Толстой и др.

Паскевич Иван Федорович (1782—1856), граф Эриванский, светлейший князь Варшавский — генерал-фельдмаршал (с 1829 г.), пользовавшийся неограниченным доверием Николая I. Участник всех войн своего времени. Во время Крымской войны в мае 1854 г. был контужен и в армию не возвратился.

С. **175.** *«Утес»* — популярная песня (слова и музыка А.А. Навроцкого) «Утес Стеньки Разина» («Есть на Волге утес, диким мохом оброс...»; 1864).

С. **179.** *Магдалина* — персонаж Библии, Мария из Магдалы; раскаявшаяся блудница, ставшая самой преданной последовательницей Христовой веры; ей первой явился Иисус после своего Воскресения.

С. **181.** *...чужой язык, как Моисею — Ааронов...* — Моисей — ветхозаветный вождь израильского народа. Аарон — старший брат

Моисея, славившийся красноречием и выступавший перед народом вместо своего косноязычного брата.

С. **182.** *Зубатов* Сергей Васильевич (1864—1917) — жандармский полковник, начальник Охранного отделения.

С. **183.** *Йоркшир* — английская порода свиней.

Пилат, Понтий Пилат — римский прокуратор (наместник) в Иудее с 26 по 36 гг. н.э.; он судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию.

С. **188.** *Вендрих* Альфред Альфредович фон (1845 — после 1913) — военный инженер (полковник), статистик. В 1892—1893 гг. — инспектор при министре путей сообщения, в 1907—1908 гг. — товарищ министра путей сообщения, сенатор. «Он человек хотя и недурной, — вспоминал С. Ю. Витте, — но крайне ограниченный, глупый, с известным прямолинейным нахальством».

С. **190.** *Иван Логгинович.* — Горемыкин (1839—1917), занимавший в 1895—1899 гг. пост министра внутренних дел. Впоследствии председатель Совета министров (в 1906, 1914—1916 гг.).

С. **194.** *Орден Андрея Первозванного* — высший российский орден, учрежденный Петром I в 1698 г.

С. **200.** *...при третьей Плевне...* — Имеется в виду последний штурм города-крепости Плевны, осуществленный генералом М.Д. Скобелевым 30 августа 1877 г. Геройски защищавшийся турецкий генерал Осман-Нури-паша вынужден был отступить, а затем и сдаться в плен вместе с 40-тысячной армией.

Долгоруков Владимир Андреевич (1810—1891), князь — генерал от кавалерии; в 1865—1891 гг. — московский генерал-губернатор. С 1881 г. — член Государственного совета.

С. **201.** *...в Сербию добровольцем не ушел...* — Имеются в виду сербо-черногорско-турецкие освободительные войны 1876—1878 гг., ставшие частью русско-турецкой войны, способствовавшей освобождению народов Балкан от османского ига.

С. **202.** *Мариоттов закон* (закон Бойля—Мариотта) — один из газовых законов, который установили независимо друг от друга французский физик Эдм Мариотт (1620—1684) и англичанин, физик и химик, Роберт Бойль (1627—1691).

С. **203.** *Минский* Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1856—1937) — поэт, публицист, философ, драматург, переводчик. Один из инициаторов Религиозно-философских собраний (СПб.,

1901—1903) и соредактор журнала «Новый путь» (1903—1904). С 1914 г. — в эмиграции.

С. **219.** *...Травиата из оперы или несчастная Маргарита Готье.* — Травиата (ит. падшая, заблудшая) — героиня одноименной оперы (1853) Дж. Верди — Виолетта Валери. Сюжетная основа оперы — драма (1852) Александра Дюма-сына, написанная им по роману «Дама с камелиями» (1848; здесь имя главной героини Маргарита Готье).

С. **230.** *Гарпагон* — персонаж комедии Мольера «Скупой» (1668), имя которого образовано от лат. harpago (в переносном значении — хапуга). Жан Батист Мольер (наст. фам. Поклен; 1622—1673) — французский комедиограф.

С. **262.** *Павел Иванович Чичиков* — главный герой «Мертвых душ» Гоголя.

Саваоф — одно из имен бога Яхве.

С. **266.** *Васнецовы* — семья художников: создатель фольклорно-исторического жанра в русской живописи Виктор Михайлович (1848—1926) и автор пейзажей старинной Москвы Аполлинарий Михайлович (1856—1933).

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — живописец.

С. **272.** *«Русские ведомости»* (М., 1863—1918) — ежедневная политическая и литературная газета, основанная Н.Ф. Павловым.

Левитов Александр Иванович (1835—1877) — прозаик, очеркист.

Нефедов Филипп Диомидович (1838—1902) — прозаик, журналист, этнограф, археолог.

С. **273.** *Герменевтика* — толкование текстов, в основном древних.

Патристика — произведения отцов Церкви II—VIII вв. о христианском вероучении и богословская наука, исследующая эти тексты.

...Милля с примечаниями Чернышевского... — Вероятно, имеются в виду «Очерки политической экономии (по Миллю)» Н.Г. Чернышевского (Современник. 1861—1862). Чернышевский также перевел и прокомментировал двухтомный труд английского философа и экономиста Джона Стюарта Милля (1806—1873) «Основания политической экономии и некоторые приложения их к социальной философии».

С. **275.** *Коровин* Константин Алексеевич (1861—1939) — живописец, театральный художник, прозаик, мемуарист. Академик живописи с 1905 г.

С. **276.** *Медуза* — в греческой мифологии одна из горгон, чудовищных порождений морских божеств. Всех, кто взглянет на нее, превращала в камень.

С. **279.** *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, критик, эссеист, переводчик; один из вождей русского символизма. В 1905—1913 гг. жил за границей. С 1920 г. — в эмиграции во Франции.

С. **280.** ...*Саломею, танцующую пред царем Иродом*... — Саломея (Иродиада) — внучка царя Иудеи Ирода I Великого (62—4 до н.э.), ставшая возлюбленной его сына, правителя Галилеи Ирода Антипы и побудившая его казнить Иоанна Крестителя.

С. **282.** *Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), лорд — английский поэт.

С. **286.** ...*в толстом бархате колета*... — Колет — «плотно скроенная куртка; одежда некоторых конных полков, уланов и кирасир» (В.И. Даль).

С. **287.** *Всероссийская выставка* — вероятно, речь идет о 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке, которая открылась в Нижнем Новгороде 28 мая 1896 г.

С. **288.** ...*с его вивёрскими наклонностями*... — Вивёр (фр. viveur) — человек, живущий в свое удовольствие (разг. устар.).

С. **306.** ...*попадает под сюркуп*... — Здесь в знач.: попадает в полицейский участок или тюрьму. Сюркуп (фр. surcoup — перекрышка) — карточный термин.

С. **308.** *Дантон* Жорж Жак (1759—1794) — деятель Великой Французской революции 1789—1794 гг., один из вождей якобинцев. Казнен за примиренческую позицию по отношению к жирондистам, противодействовавшим развитию революции.

Марат Жан Поль (1743—1793) — парижский врач, ставший одним из вождей якобинцев во время Великой Французской революции. Издатель газеты «Друг народа». Убит Шарлоттой Корде.

18 брюмера VIII года (по республиканскому календарю Великой Французской революции) — государственный переворот, совершенный Наполеоном Бонапартом 9—10 ноября 1799 г. Директорию сменил режим военной диктатуры в форме Консульства.

Демулен Камиль (1760—1794) — журналист, деятель Великой Французской революции. Казнен с Дантоном.

Сен-Жюст Луи (1767—1794) — якобинец, сторонник Робеспьера, казненный термидорианцами.

С. **308.** *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк, возглавивший в 1847 г. правительство Франции, свергнутое революцией 1848 г. Один из создателей теории классовой борьбы.

Тьер Адольф (1797—1877) — историк, в 1871—1873 гг. — президент Франции, заключивший унизительный договор с Пруссией. В 1871 г. возглавил версальцев, подавивших Парижскую коммуну. Автор труда «История Французской революции».

Гамбетта Леон (1838—1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 гг. Лидер левых республиканцев.

Клемансо Жорж (1841—1929) — в 1880—1890 гг. — лидер радикалов; премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг..

Делькассе Теофиль (1852—1923) — французский министр колоний в 1894—1895 гг., министр иностранных дел в 1898—1905 гг., морской министр в 1911—1913 гг.

Дюпюи Шарль (1851—1923) — министр-президент Франции в 1893—1895 и 1898—1899 гг.

С. **315.** *Гостомысл* — по свидетельству летописей, новгородский князь, прогнавший варягов. Однако, лишившись сыновей, призвал княжить варяга, сына своей дочери Рюрика. По другим источникам — легендарный предводитель новгородских словен, живший в первой половине IX в.

Батый (1208—1255) — монгольский хан Золотой Орды, внук Чингисхана, разоритель княжеств Северо-Восточной Руси.

С. **318—320.** *Собакевич, Степан Пробка, Кай, Трошка, Памфил, Дементий* — персонажи «Мертвых душ» Гоголя.

С. **320.** *Ликург* — легендарный законодатель Спарты (9—8 вв. до н.э.).

С. **323.** *Пшибышевский* Станислав (1868—1927) — польский прозаик, драматург, публицист, писавший на польском и немецком языках.

С. **325.** *Кин* — герой пьесы Александра Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство» (1836). В России пьеса впервые была поставлена в Александринском театре 11 января 1837 г. и в дальнейшем с успехом шла также в Малом театре и на других сценах.

С. **339.** *Тенериф* — самый большой из Канарских островов у западного берега Африки.

С. **350.** *Иезекииль* — древнееврейский пророк VII—VI вв. до н.э. Автор одной из книг Ветхого Завета.

С. **353.** *«Князь Серебряный»* (1863) — исторический роман А.К. Толстого.

С. **355.** *Роден* Огюст (1840—1917) — французский скульптор.

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866—1938), князь — скульптор-импрессионист. Автор конного памятника Александру III в Петербурге. С 1906 г. жил в основном за границей.

Дега Эдгар (1834—1917) — французский живописец, график, скульптор.

Морелли Доменико (1823—1901) — итальянский живописец.

С. **364.** *Говоруха-Отрок* Юрий Николаевич (1850—1896) — литературный и театральный критик, публицист, прозаик.

«Русское обозрение» (М., 1890—1898) — литературно-политический и научный журнал.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт; автор антологических (в духе античных) произведений, посвященных эпизодам из русской и европейской истории.

Якубович Петр Филиппович (1860—1911) — поэт, революционер-народоволец, отбывавший каторгу и ссылку в 1887—1903 гг. Автор мемуаров «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника» (1896—1899).

С. **365.** *Пантеизм* — философское учение, согласно которому Бог не сверхприродное начало, а тождествен с природой, растворен в ней.

С. **368.** *Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, переводчик, критик.

С. **369.** *Дедлов* — псевдоним Владимира Людвиговича Кигна (1856—1908), прозаика, публициста, критика.

С. **370.** *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ.

Рёскин (Раскин) Джон (1819—1900) — английский писатель, историк, искусствовед, публицист; проповедник строгих моральных установлений, видевший в искусстве выражение морали, религии и национального духа.

С. **371.** *Маркс* Карл (1818—1883) — философ, социолог, основоположник марксизма.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — немецкий мыслитель, один из основоположников марксизма.

Каутский Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии.

Бельтов — псевдоним Г.В. Плеханова.

В.В. — псевдоним многих публицистов и писателей, в том числе В.Г. Белинского (в тексте, вероятно, он и имеется в виду).

С. **371.** *Николаев-нов...* — Он — псевдоним многих публицистов и писателей. Вероятно, имеется в виду сотрудник газеты «Новое время», публицист, драматург и переводчик Николай Николаевич Окулов (1866—после 1916).

С. **373.** *Давид Риццио* (Риччио; 1540—1566) — музыкант, секретарь шотландской королевы Марии Стюарт, убитый по приказу ее мужа-ревнивца Генри Дарнлея.

С. **381.** *Потапенко* Игнатий Николаевич (1856—1929) — прозаик, драматург, критик. Автор воспоминаний об А.П. Чехове, с которым встречался и переписывался.

Ходынка — трагические события на Ходынском поле в Москве, случившиеся 18 мая 1896 г. во время раздачи царских даров по случаю коронации Николая II: в давке погибли 1389 человек.

С. **384.** *«Жизнь за царя»* (1836) — опера М.И. Глинки. С 1939 г. шла в Большом театре с новым текстом С.М. Городецкого под названием «Иван Сусанин».

С. **386.** *Власовский* Александр Александрович (1842—1899) — полковник, московский обер-полицеймейстер.

С. **387.** *Гиляровский* Владимир Алексеевич (1853, по другим сведениям 1855—1935) — журналист, прозаик, поэт; «король репортеров».

Чижовка — «казематка, арестантская комната, чулан, темная, блошница при полиции, при волости» (В.И. Даль).

С. **389.** *Кустодия* (устар.) — стража.

С. **411.** *...двумя годами отделенную от кровавой даты 1 марта...* — 1 марта 1881 г. террористы убили Александра II.

С. **415.** *...с легендарных времен Цинского и Беринга...* — Цинский (Цынской) Лев Михайлович, генерал-майор, в 1833—1845 гг. — обер-полицмейстер в Москве. Беринг — обер-полицмейстер в Москве в 1858 г.

С. **416.** *Иван Калита (?*—1340) — московский князь (с 1325 г.), великий князь владимирский (с 1328 г.). Заложил основы политического могущества Москвы.

С. **422.** *Монтебелло.* — Гюстав Ланн, граф де Монтебелло (1838—1907), французский посол в России.

ДРОГНУВШАЯ НОЧЬ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 26. Концы и начала. Хроника 1880—1910 гг. Серия вторая. Дрогнувшая ночь: Роман. СПб.:

Просвещение, б.г. Роман посвящен Савве Тимофеевичу Морозову (1862—1905), директору-распорядителю правления мануфактурной компании, крупнейшему пайщику Московского Художественного театра, председателю Нижегородского ярмарочного комитета.

С. **436.** *Варфоломеевская ночь* — массовая резня гугенотов, учиненная католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея).

...от нобелевских и ротшильдовских... бумаг... — имеются в виду шведские изобретатели и промышленники, основатели нефтепромышленного предприятия в Баку братья Нобели: учредитель Нобелевских премий Альфред Бернхард (1833—1896), Людвиг (1831—1888) и его сын Эммануэль (1859—1932). Ротшильды — семья банкиров.

С. **437.** *Морозовы* — знаменитая династия купцов и фабрикантов, активно занимавшихся благотворительностью и меценатством. Из Морозовых наиболее известны: основатель ткацких и красильных фабрик в Москве и других городах Савва Васильевич (1770—1860), видный деятель старообрядчества и благотворитель Викула Елисеевич (1829—1894) и С.Т. Морозов, которому посвящен роман.

Крестовниковы — владельцы «Фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых», председатель правления — Григорий Александрович Крестовников (1855—1918), известный так же как политик, один из лидеров партии октябристов.

Хлудовы — династия предпринимателей. Основатели Торгового дома «А. и Г., Ивана Хлудова сыновья»: Алексей Иванович Хлудов (1818—1882), который был также известным коллекционером древнерусских рукописей и книг (ныне его коллекция в Историческом музее); Герасим Иванович Хлудов, коллекционер русской живописи.

С. **440.** *Гешефтмахер* — спекулянт.

С. **442.** *...Каин Авеля убил...* — Эпизод из Библии: Каин, в библейских преданиях старший сын Адама и Евы, убил из зависти своего брата Авеля.

С. **444.** *Рыцарь Тогенбург* — персонаж одноименного стихотворения Ф. Шиллера, в России ставшего известным в переводе В.А. Жуковского (1818).

С. **446.** *Дон Жуан, донна Анна* — герои оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан» (1787).

...принял... Альдонсу за Дульцинею Тобосскую. — В романе Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605; 1615)

воображение влюбленного Рыцаря Печального Образа превратило в благородную красавицу Дульсинею Тобосскую крестьянку Альдонсу Лоренсо. «Девка ой-ой-ой, с ней не шути... — рассказывает своему сеньору оруженосец Санчо Пансо. — А уж глотка, мать честная, а уж голосина!» Но для рыцаря она не деревенская простушка, от зари до зари гнущая спину на скотном дворе или в поле, а — принцесса, о которой он слагает высокопарные вирши. Этот романтический пафос великого романа вдохновил русских символистов на такое же рыцарское служение Красоте.

С. **448.** *Островский* Александр Николаевич (1823—1886) — драматург, заложивший основы национального репертуара в русском театре.

С. **449.** *Подколесин* — герой комедии Гоголя «Женитьба» (1840—1841).

С. **450.** *Синодик* — список умерших.

С. **454.** *Готский альманах* («Almanach de Gotha») — генеалого-статистический сборник, издававшийся ежегодно с 1762 г. в Готе (Германия).

Екатерина II (1729—1796) — российская императрица с 1762 г.

Семирамида (греч. «горная голубка») — в греческой мифологии жена царя Вавилона, после смерти которого много лет успешно управляла страной: выстроила ирригационные и оборонительные сооружения. Ей приписывается возведение висячих садов, ставших одним из семи чудес света.

С. **459.** *Макарьевская ярмарка* — устраивалась в XVI—XVIII вв. в приволжском г. Макарьеве. После пожара 1817 г. перенесена в Нижний Новгород.

Александр III (1845—1894) — император России с 1881 г. Его правление вошло в историю как «эпоха контрреформ» в отличие от «эпохи великих реформ» его отца.

С. **461.** *Баранов* Николай Михайлович (1837—1901) — генерал-лейтенант, сенатор. С 9 марта 1881 г. — градоначальник Петербурга, через год отправлен губернатором в Архангельск, а в 1883 г. — в Нижний Новгород.

...в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес... — Из стихотворения Пушкина «К портрету Чаадаева» (1820). Люций Юний Брут (V в. до н.э.) — легендарный основатель Римской республики, выступивший против тирании царя Тарквиния Гордого и добившийся его изгнания. Брут был убит в поединке с сыном царя. Перикл (Периклес; ок. 490—429 до н.э.) — выдающийся афинский государственный деятель-реформатор.

С. **462.** *Горас Вальполь* (1717—1797) — английский писатель, посмертную славу которому принесли его остроумные письма (т. 1—6, 1841, т. 1—2, 1851) и мемуары (1845—1859).

С. **463.** *Владимир Иванович Ковалевский* (1848—1934) — тайный советник. В 1896 г. активно участвовал в подготовке Всероссийской торгово-промышленной выставки и Всероссийского торгово-промышленного съезда в Нижнем Новгороде. Инициатор издания «Торгово-промышленной газеты» в 1898 г. Под его редакцией вышли работы «Производительные силы России» (1896), «Россия в конце XIX века» (1900), «Полная энциклопедия русского сельского хозяйств и соприкасающихся с ним наук» (т. 1—12; 1900—1912). В 1900—1902 гг. — товарищ министра финансов С.Ю. Витте, который характеризовал своего заместителя как «человека живого, очень энергичного и талантливого, человека, о котором нельзя сказать ничего, кроме хорошего».

С. **466.** *Милютин* Дмитрий Алексеевич (1816—1912), граф — военный министр в 1861—1881 гг. Участник преобразований Александра II, осуществивший реформу в армии, что повысило ее боеготовность. Вышел в отставку при Александре III. С 1898 г. — генерал-фельдмаршал. Автор «Дневника» (т. 1—4) и «Воспоминаний» (т. 1—3).

С. **467.** *Тимирязев* Василий Иванович (1849—1919) — товарищ министра финансов в 1902—1905 гг., министр торговли и промышленности в 1905—1906 и 1909 г., вице-директор департамента торговли и мануфактур в 1906—1917 гг.

С. **469.** *Мамонтов* Савва Иванович (1841—1918) — предприниматель, строитель железных дорог, меценат, театральный деятель, режиссер, либреттист, переводчик.

...позвонить в колокола Финляндского и Оловенникова. — Вероятно, имеются в виду публицисты Константин Иванович Якубов (1860—1900), печатавшийся под псевдонимом «Финляндский обыватель», и Владимир Владимирович Оловенников (1872—1908), издававший с женой монархический орган «Союза русского народа» — газету «Вече» (М., 1905—1910).

С. **470.** *Дмитрий Васильевич Григорович* (1822—1900) — прозаик. Автор повестей «Антон Горемыка» (1847) и «Гуттаперчевый мальчик» (1883), принесших ему известность, а также книги «Литературные воспоминания» (1893). Знаток живописи и скульптуры, собравший редкостную художественную коллекцию.

С. 472. *...майоликовый павильон Кузнецовых.* — Имеется в виду выставочный павильон Товарищества фарфоровых и фаянсовых изделий, в котором председателем правления был Матвей Сидорович Кузнецов (1846—1911).

С. 474. *Сенкевич* Генрик (1846—1916) — польский прозаик.

Сократ (ок. 470—399 до н.э.) — древнегреческий философ.

С. 476. *Пиквик* — герой романа Чарлза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

Алексеев Николай Александрович (1852—1893) — владелец золотоканительной фабрики, директор и казначей Русского музыкального общества, а с ноября 1885 г. — московский городской голова. Его соперниками на выборах были известный публицист И.С. Аксаков и строитель И.И. Пороховщиков. Алексеев был убит 9 марта 1893 г. мещанином В.С. Андриановым, страдавшим манией преследования (в кармане убийца оставил записку: «Прости, жребий пал на тебя!»). См. очерк А. Амфитеатрова об Н.А. Алексееве в т. 5 наст. изд.

С. 477. *Прохоров* Николай Иванович (1860—1915) — председатель правления Товарищества Прохоровской мануфактуры.

С. 479. *Морозова* Марфа (Мария) Федоровна (урожд. Симонова; 1830—1911) — совладелица Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°». Мать С.Т. Морозова.

С. 484. *Коковцов* Владимир Николаевич (1853—1943), граф — в 1896—1902 гг. — товарищ министра финансов С.Ю. Витте, в 1904—1916 гг. (с перерывом в 1905—1906) — министр финансов. Член Государственного совета. В 1911—1914 гг. — председатель Совета министров. С 1918 г. — в эмиграции во Франции.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — химик, ученый-энциклопедист, педагог. Открыл в 1869 г. периодический закон химических элементов. Автор более пятисот трудов.

Коновалов Александр Иванович (1875—1948) — предприниматель, член совета съездов представителей торговли и промышленности; организатор торгово-промышленной партии (1905). В марте—мае 1917 г. министр торговли и промышленности Временного правительства.

С. 485. *Ходский* Леонид Владимирович (1854—1918) — профессор политэкономии Петербургского университета в 1895—1918 гг., публицист, редактор кадетской газеты «Наша жизнь» (1904).

С. 487. *Сила Кузьмич Хлебенный* — персонаж романа Амфитеатрова «Сумерки божков» (см. т. 4 наст. изд.).

С. **488.** *Рябушинские* — семья фабрикантов, банкиров, предпринимателей, издателей, коллекционеров, меценатов.

С. **488.** *Кузнецовы* — семья предпринимателей, владельцев мануфактурных, чаеводческих, фарфоровых и фаянсовых предприятий.

Журавлевы — предприниматели, из которых более других известен Михаил Николаевич Журавлев (1840 — не ранее 1910), член правлений Товарищества Соколовской мануфактуры и ряда пароходных обществ, активно занимавшийся благотворительной деятельностью в Москве и Петербурге.

С. **491.** *...знаменитого московского «Эрмитажа».* — «Эрмитаж» — 1) ресторан и гостиница на Трубной площади в Москве. 2) Сад на улице Каретный ряд, арендованный М.В. Лентовским; здесь на открытых площадках давались представления, ставились оперетты, драматические спектакли. А 26 мая 1896 г. в саду «Эрмитаж» состоялся первый в Москве киносеанс.

С. **492.** *Расплюев* — персонаж пьес А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1855) и «Смерть Тарелкина» (1869).

Подхалимов, граф Твердоонто — репортер и граф, персонажи из очерковой книги М.Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (1880—1881). Прототипом графа является обер-прокурор Синода Д.А. Толстой.

Лист — предприниматель, владелец торговой фирмы «Георгий Лист», его настоящие имя и фамилия Александр Николаевич Найденов (1866—1920).

С. **499.** *Ревет ли зверь в лесу глухом...* — Первая строка стихотворения Пушкина «Эхо» (1831). Цитируется с неточностями. У Пушкина: «Родишь ты вдруг».

С. **504.** *Тихон Кабанов, Кабаниха* — персонажи пьесы А.Н. Островского «Гроза».

С. **505.** *Шаляпин* Федор Иванович (1873—1938) — певец, солист Московской частной русской оперы, Большого и Мариинского театров.

Лешковская Елена Константиновна (1864—1925) — артистка Малого театра.

С. **507.** *Кармен, Хозе, Эскамильо* — персонажи оперы Ж. Бизе «Кармен» (1874).

С. **508.** *Радамес* — начальник дворцовой стражи, персонаж оперы «Аида» (1870) Дж. Верди.

...Ефрон-Брокгаузов «Энциклопедический словарь». — Издание знаменитого «Энциклопедического словаря», предложенного

по инициативе С.А. Венгерова, осуществил в 1890—1907 гг. издатель Илья Абрамович Ефрон (1847—1917) в содружестве с немецкой фирмой Фридриха Брокгауза (1772—1823). Издание состояло из 82 основных и 4 дополнительных томов. Тираж достигал 75 тыс. экз.

С. **511.** *Васька Буслаев* — новгородский богатырь, персонаж многих фольклорных произведений.

С. **513.** *Вильгельм I* (1797—1888) — король Пруссии с 1861 г. и император Германии с 1871 г.; власть при нем фактически находилась в руках канцлера Бисмарка.

Ликуй, Исайя... — «Исайя, ликуй!» — литургический гимн, исполняемый во время бракосочетания. Исайя (евр. «спасение Господне») — библейский пророк, которого называли божественнейшим и мудрейшим; автор Книги пророка Исайи, одной из самых поэтичных в Ветхом завете (считается пятым Евангелием). Пророк погиб мученической смертью: за обличения царского двора был перепилен деревянной пилой. Память Исайи Церковь отмечает 9 (22) мая.

С. **516.** *Рустем* (Рустам) — герой иранского эпоса, богатырь.

С. **517.** *Кольбер* Жан Батист (1619—1683) — французский государственный деятель, обеспечивший рост торговли и промышленности, способствовавший развитию мореходства, укрепивший налоговую систему.

С. **518.** *...Атласовы разные Камчатку разыскивали...* — Атласов Владимир Васильевич (ок. 1661 или 1664—1711) — землепроходец, сибирский казак, совершивший в 1697—1699 гг. походы на Камчатку и собравший сведения о ее природе и населении.

...русский Север, со времен Ченслера... — Ричард Ченслер (?—1556) — английский мореплаватель, участник экспедиции, искавшей проход Северным морским путем. В 1553 г. достиг устья Северной Двины. В 1554 г. был принят Иваном Грозным, вручившим ему грамоту на право свободной торговли с Московским государством.

Ротштейн Адольф Юльевич (1857—1904) — банкир и финансист, директор-распорядитель правления С.-Петербургского международного банка; германский подданный.

С. **522.** *Содом, Гоморра* — в библейской мифологии два города, жители которых погрязли в распутстве и за это были сожжены огнем, ниспосланным с небес.

...никакого тебе лона Авраамля! — Авраамово лоно — иносказательное выражение, обозначающее место покоя и блаженства праведников после смерти.

С. **526.** *Сыромятников* Сергей Николаевич (1864—1934) — публицист, печатавшийся под псевдонимом Сигма.

Ухтомский Эспер Эсперович (1861—1921), князь — публицист, поэт, путешественник, с 1896 г. — редактор-издатель газеты «С.-Петербургские ведомости». Автор книг «От калмыцкой степи до Бухары» (1891), «Путешествие Наследника Цесаревича (ныне Государя Императора Николая I) на Восток в 1890—1891».

Ли-хун-Чанг (1821—1901) — в 1896—1898 гг. министр иностранных дел Китая; в 1900 г. руководил мирными переговорами с европейскими державами.

С. **528.** *Карр* Альфонс Жан (1808—1890) — французский писатель-сатирик.

Николай Семенович Лесков (1831—1895) — прозаик, публицист.

С. **532.** *Перовская* Софья Львовна (1853—1881) — член исполнительного комитета «Народной воли», организатор и участница убийства Александра II. Повешена.

С. **534.** *Крафт-Эбинг* Рихард (1840—1902) — немецкий психиатр. С 1873 г. — в Австрии. Один из основоположников сексологии. Автор монографии «Сексуальная психопатия» (1886), переведенной на основные европейские языки.

С. **538.** *Тургенев* Иван Сергеевич (1818—1883) — прозаик, драматург, поэт.

Виардо Мишель Фернанда Полина (урожд. Гарсиа; 1821—1910) — французская певица и композитор; близкий друг И.С. Тургенева.

С. **539.** *Росси* Эрнесто (1827—1896) — итальянский актер, выдающийся исполнитель ролей в трагедиях Шекспира.

С. **544.** *Панургово стадо* — из романа французского прозаика Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль». Бродяга Панург, чтобы отомстить своему обидчику — скотопромышленнику, выбрасывает с корабля в море одну из его овец. Однако вслед за нею последовало все стадо. Те, кто пытался их спасти, во главе с хозяином утонули. Выражение, обозначающее глупую человеческую стадность, стало нарицательным.

...существуют только в романах Маркевича и Крестовского... — Имеются в виду трилогия «Четверть века назад» Б. Маркевича и дилогия «Кровавый пуф» (романы «Панургово стадо», «Две силы») Всеволода Владимировича Крестовского (1839—1895).

С. **544.** *Во Франции, при Второй империи...* — Время правления императора Наполеона III (с 1852 по 1870 г.), закончившееся революцией.

С. **558.** *...у Абрама Морозова сыновей...* — Сын купца Абрама Саввича Морозова (1806—1856) — директор правления Товарищества Тверской мануфактуры Абрам Абрамович (1839—1882) и внуки, пайщики Товарищества, меценаты и коллекционеры Арсений Абрамович (1874—1908), Иван Абрамович (1871—1921), Михаил Абрамович (1870—1903).

С. **567.** *Захарьин* Григорий Антонович (1829—1897/98) — терапевт, профессор (с 1862 г.), директор терапевтической клиники медицинского факультета Московского университета, почетный член Петербургской Академии наук.

С. **573.** *Прокрустово ложе* — в греческой мифологии два ложа разбойника Прокруста. В маленькое он укладывал высоких, у которых отпиливал не помещавшиеся части; в большое — низкорослых, которых бил молотком, чтобы вытянуть до нужных размеров.

С. **574.** *Сизифова работа* — тяжелая и бесплодная. По имени Сизифа, мифического царя Коринфа, которого боги приговорили вечно вкатывать в подземном царстве камень на гору и скатывать его обратно.

С. **588.** *Судейкин* Григорий Порфирьевич (?—1883) — полковник, сотрудник секретной полиции, одним из первых использовавший метод провокаций. Убит С.П. Дегаевым. Отец художника С.Ю. (Г.) Судейкина, представителя петербургской художественной богемы начала века, завсегдатая «Бродячей собаки».

С. **589.** *Дегаев* Сергей Петрович (1857—1921) — член «Народной воли», завербованный в провокаторы Г.П. Судейкиным. Революционеры приговорили его к смерти. В обмен на жизнь согласился убить Судейкина, после чего бежал в США.

С. **593.** *Бабушка* — вероятно, Бабушкин Иван Васильевич (1873—1906) — большевик. Один из организаторов восстания в Чите в 1905 г. Расстрелян карателями.

Волховский Феликс Вадимович (1846—1916) — революционер-народник, неоднократно судимый. В 1874 г. приговорен к ссылке, откуда бежал за границу. В 1906 г. вернулся в Россию и примкнул к эсерам.

Натансон Марк Андреевич (1850—1919) — революционер с 1860-х гг. Один из создателей террористической организации «Народная воля».

Неоднократно судим. В 1907—1917 гг. жил за границей, где в 1907 г. стал инициатором (привлек к этому Б.В. Савинкова) покушения на Николая II на броненосце «Рюрик» в г. Глазго (Шотландия).

С. **593.** *Кропоткин* Петр Алексеевич (1842—1921), князь — публицист, мемуарист; теоретик утопического социализма и международного анархизма; географ, геолог, историк, биолог. Автор знаменитых книг «Дневник» и «Записки революционера».

С. **599.** *Дельфийская пифия* — жрица-прорицательница в храме бога Аполлона в Дельфах.

С. **613.** *...как подмен Альдонсы Дульцинеей.* — См. примеч. к с. 446.

С. **616.** *Андрий, Тарас Бульба* — персонажи повести Гоголя «Тарас Бульба».

С. **617.** *Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829—1894) — композитор, пианист; основатель Русского музыкального общества (1859), с 1873 г. — директор Петербургской консерватории. Автор 15 опер, среди которых лучшая — «Демон» (1871).

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — композитор, дирижер, педагог, музыкальный общественный деятель.

С. **622.** *Мурильевская мадонна* — героиня картин из жизни Богоматери, созданных испанским живописцем Бартоломе Му́рильо (1618—1682).

С. **642.** *Профершпилиться* — проиграть (от нем verspielen).

С. **658.** *«Полтава»* (1828) — поэма Пушкина.

С. **659.** *...из бывших скобелевцев...* — Из числа служивших в войсках генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843—1882).

С. **662.** *«Ткачи»* (1892) — драма о восстании в Силезии немецкого драматурга Герхарта Гауптмана (1862—1946).

«Царь голод» (1908) — драма прозаика и драматурга Леонида Николаевича Андреева (1871—1919).

«Манифест» Маркса — «Манифест Коммунистической партии» (1848), написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом. В нем были впервые изложены основные идеи марксизма.

С. **664.** *«Биржовка»* — «Биржевые ведомости» (СПб., 1880 — окт. 1917), газета биржи, финансов, торговли и общественной жизни; с 1905 г. — политическая, общественная и литературная газета.

«Свет» (Пб., 1882—1917) — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в разные годы В.В. Комаровым, П.А. Монтеверди, Н.Э. Гейнце.

С. **668.** *...страдает за до-Никонову правду...* — Речь идет о догматах старообрядческой веры. Никон (в миру Никита Минов; 1605—1681) — патриарх Московский и всея Руси с 1652 г., проведший реформы в православной Церкви, которые привели к ее расколу.

С. **673.** *...при царице Елизавете...* — Елизавета Петровна (1709—1761) — императрица России с 1741 г.

С. **677.** *Лытыри* — бездельники, праздные гуляки.

Ницшеанцы — последователи учения о «сверхчеловеке», изложенного в жанре философско-художественных эссе немецким философом Фридрихом Ницше (1844—1900).

С. **678.** *Савелий, Шалашников* — крестьянин и помещик, бывший военный, персонажи из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1866—1876).

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — государственный и военный деятель в эпоху императора Александра I; пользовался при нем неограниченной властью.

С. **680.** *Козьма Прутков* — коллективный псевдоним, которым в 1850—1860-е гг. подписывали свои сатирические стихи, пьесы, пародии поэты А.К. Толстой и братья Жемчужниковы: Алексей Михайлович (1821—1908), Александр Михайлович (1826—1896) и Владимир Михайлович (1830—1884).

Бок Карл Эрнест (1809—1874) — немецкий анатом, автор научно-популярных книг по медицине, в том числе «О здоровом и больном человеке» (17 изданий), переведенной на русский язык.

Флоринский Василий Маркович (1833—1899) — акушер и археолог, профессор военно-хирургической академии.

С. **688.** *...ницшеанское противоевангелие от Заратустры...* — Имеется в виду книга философско-литературных эссе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1884). Заратустра, Заратуштра, Зороастр (между X и первой половиной VI в. до н.э.) — пророк и реформатор древнеиранской религии.

С. **689.** *Владимир Сергеевич Соловьев* (1853—1900) — философ, поэт, богослов, публицист, оказавший огромное влияние на русскую философию и культуру Серебряного века.

Аттила (?—453) — предводитель гуннов, совершивший опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию.

С. **689.** *Каталаунская битва* (451) — знаменитое сражение гуннов с римлянами и вестготами.

Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 117) — римский историк. «Германия» (98) — географо-этнографический трактат Тацита.

С. **690.** *Лев Первый* Великий (?—461) — римский папа, богослов. Автор «Догматического послания» (449).

Лев Тринадцатый (1810—1903) — римский папа с 1878 г. Автор энциклики «Rerum novarum» (1891), провозгласившей извечность частной собственности и классов и призвавшей отказаться от классовой борьбы.

С. **691**. *Армия Спасения* — религиозно-общественная ассоциация, основанная в Англии в 1865 г. Уильямом Бутом (1829—?). Решала задачи спасения масс от бедности путем религиозно-воспитательной работы и филантропии.

С. **692.** *Всадники Апокалипсиса* — Конь Белый, Конь Рыжий, Конь Вороной, Конь Бледный и их всадники, персонажи-символы библейской книги Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), предвестники грядущих испытаний и бедствий для человечества.

С. **698.** *Дисконтер* — участник банковской кредитной сделки.

С. **699.** *Бисмарк* Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен (1815—1898) — рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг.

С. **700.** *Сумароков* Александр Петрович (1717—1777) — поэт, драматург, издатель первого русского литературного журнала «Трудолюбивая пчела».

С. **701.** *Давид* — царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. — ок. 950 гг. до н.э.

С. **702.** *Мазини* Анджело (1844—1926) — итальянский оперный певец (тенор), с 1877 г. гастролировавший в России. Один из выдающихся представителей искусства бельканто.

С. **709.** *...о Фигнере в «Онегине»...* — Партия Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878), одна из лучших в певческом творчестве Николая Николаевича Фигнера (1857—1918), солиста с 1887 г. Мариинского театра в Петербурге.

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель, произведения которого пользовались большой популярностью в России в начале XX века.

С. **710.** *Кувшинное рыло* Иван Антонович — персонаж «Мертвых душ» Гоголя.

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.
63 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. Концы и начала. Хроника 1880–1910 гг. Закат старого века. Дрогнувшая ночь / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. М.: НПК «Интелвак»; ОО «РНТВО», 2003. — 752 с.

ISBN 5-93264-016-2 (т. 7).

В седьмом томе Собрания сочинений А.В. Амфитеатрова публикуются романы «Закат старого века» и «Дрогнувшая ночь» из эпопеи «Концы и начала. Хроника 1880–1910 годов».

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 7

ЗАКАТ СТАРОГО ВЕКА
ДРОГНУВШАЯ НОЧЬ

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *С.В. Цыганова*
Макет и верстка *Ирина Ануфриева*

Подписано в печать 15.10.2003 г.
Формат 84 × 108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 39,40. Уч.-изд. л. 42,22.
Тираж 2000 экз. Заказ № 5604.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелвак»
117105, Москва, Нагорный проезд, 7

Факс 127 3847. Тел. 127 3846. E-mail: iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ФГУИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122